Александр Бек

3

Александр Бек



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1975

Александр Бек

Собрание сочинений в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Александр Бек

Собрание сочинений

Том третий

●

Талант

(Жизнь Бережкова)

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р 2
Б 42

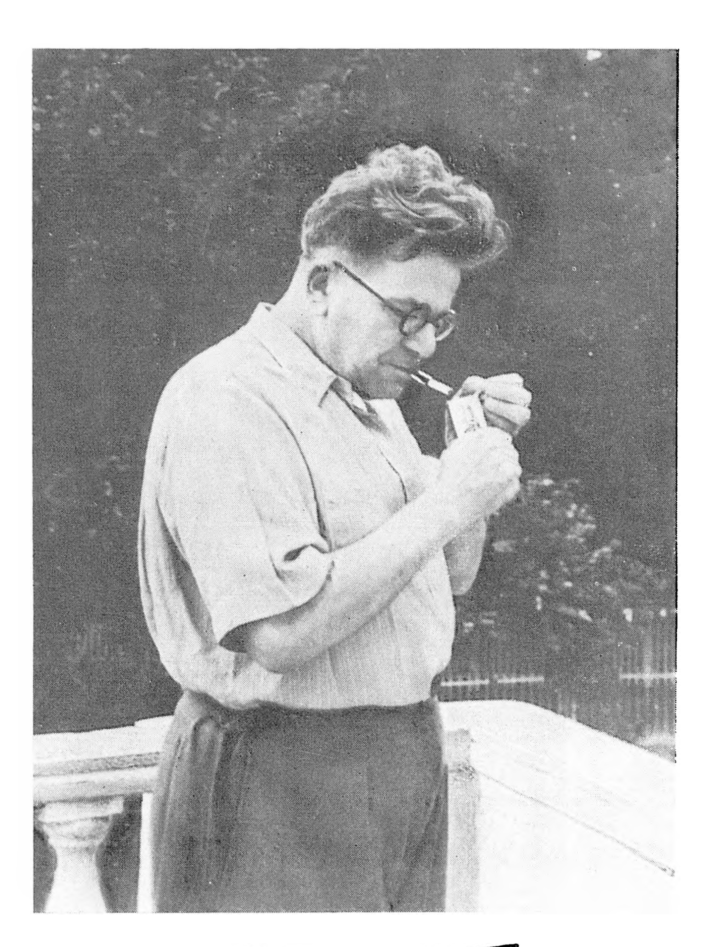
Редакционная коллегия:
Н. ЛОЙКО, М. КУЗНЕЦОВ, А. РЫБАКОВ

Комментарии
Т. БЕК

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Комментарии.

Б $\frac{70302\text{-}209}{028(01)\text{-}75}$ подписное



А. Бек

Талант

(Жизнь Бережкова)

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мотор «Адрос»

1

— Не может быть! — изумился я.

Ничто не воодушевляет так рассказчика, как это простое, кстати вставленное восклицание.

— Я говорю вам: потрясающе! — продолжал Бережков.— Хотелось что-то крикнуть, но от волнения пропал голос. А он уже летел,— вы представляете момент? — летел над Ходынским полем.

— Не может быть!

— Потрясающе! Ультранеобыкновенно!

Увлеченный рассказом, Бережков возбужденно повторял любимые словечки. Мой интерес,— возможно, в силу особенностей моей тогдашней профессии чуть преувеличенный,— доставлял Бережкову истинное удовольствие. Он любил рассказывать и понимал толк в этом искусстве. Сейчас он выдержал паузу в самом интересном месте.

Его небольшие зеленоватые глаза весело прищурились, улыбающиеся пухлые губы слегка шевелились, словно ощущая вкус минуты.

Я знал, что Бережков обожает научную фантастику, а также романы, где одно приключение сменяется в стремительном темпе другим, и мне подумалось, что история, которую он так пылко излагал, напоминает главу из подобного романа. Не фантазия ли все это?

Бережков уловил, вероятно, мою мысль.

— Хотите, я покажу вам фотографию? — азартно спросил он.

Не дожидаясь ответа, Бережков поднялся со стула. Я знал, что в тот год ему исполнилось сорок, но он — худощавый, высокий, подвижной — выглядел на десять лет моложе. Ему шла его короткая, почти мальчишеская стрижка.

Выдвинув ящик письменного стола, Бережков достал большой пакет и высыпал оттуда груду фотографий.

Я смотрел через его плечо. Мелькали групповые снимки, портреты: Бережков на мотоцикле у памятника Пушкину в Москве, еще какой-то знакомый уголок Москвы, Бережков у самолета, опять и опять у самолета. Один снимок заставил его рассмеяться. Он повернулся ко мне, и я снова увидел его бритое свежее лицо, улыбающиеся пухлые губы и прищуренные в щелочку глаза, от которых побежали веселые морщинки. На фотографии был запечатлен молодой Бережков среди снежного поля около аэросаней — в ушанке, в полушубке, туго подпоясанный ремнем, с револьвером на правом боку.

— Сани с самоваром. Конструкция Бережкова. Гениальнейшая выдумка,— с комически унылым видом произнес он.— Когда-нибудь я вам особо доложу об этом конфузном происшествии.

Он отбрасывал снимок за снимком, но не мог отыскать фотографии, которую обещал продемонстрировать. Я усмехнулся. Стоя ко мне спиной, Бережков, конечно, не мог видеть мою скептическую полуулыбку, но его уши порозовели.

— Думаете, Бережков врет? — обернувшись, возбужденно спросил он.

— Слишком невероятная история,— уклончиво ответил я.

Признаюсь, я чуточку поддразнивал Бережкова, рассчитывая вызвать этим новый поток убеждающих подробностей, драгоценных крупинок жизни, за которыми я по должности охотился.

— Невероятная? — переспросил Бережков.— Ультраневероятная! Знаете что?

Он взглянул на часы и подошел к раскрытому окну. У него была приметная походка. Он чуть припадал на левую ногу, но вместе с тем ходил удивительно быстро, легко, будто не ощущал хромоты.

На дворе стоял чудесный майский день. Отсюда, с седьмого этажа нового жилого дома, виднелись крыши Москвы. От кровельных листов, то выкрашенных суриком, по нашему старому обычаю, то оцинкованных, всюду слегка потемневших от налета городской пыли, сейчас нагретых солнцем, поднимались горячие воздушные струи. В их трепетании в блистающем небе как бы плыли контуры строительных мачт над громадой дома, возводимого на Садовом кольце недалеко отсюда. В свежей, очень свет-

лой на солнце, тоже будто горячей кирпичной кладке каждый сияющий оконный проем, каждый выступ был обведен полоской тени, что сохраняло архитектуру, подчеркивало объемы. С Садового кольца, скрытого домами, доносились непрестанные гудки автомобилей, а здесь, где вкривь и вкось переплелись переулки древней Москвы, остался открытый для всех старинный сад и большой пруд, сейчас тоже сверкающий множеством бликов.

— Знаете что? — повторил Бережков.— Хотите, я вам покажу это фантастическое колесо в натуре?

— В натуре?

— Да.

— А как мы его найдем?

— Это моя забота. Едем!

— На чем?

— На мотоциклетке!

Вспомнив прихрамывающую походку Бережкова, я едва удержался, чтобы не выразить вслух своего удивления. И не нашел ничего лучшего, как произнести:

— Гм... А дорога хорошая?

— Дорога не имеет значения. Где человек не пройдет пешком, там Бережков проедет на мотоциклетке. Едем!

2

В те времена — это был, как указывает дата моих записей, 1936 год — я служил в «кабинете мемуаров». Служба была увлекательной и странной. Лишь несколько человек во всей стране были моими сотоварищами по профессии, обозначаемой в наших штатных ведомостях неуклюжим словом «беседчик».

Мы, небольшой штат «беседчиков», работали под рукой Горького в одном из основанных им литературных предприятий, в уже упомянутом «кабинете мемуаров». Нам было сказано: ищите интересных людей, маленьких и крупных, прославленных и безвестных, пусть они расскажут свою жизнь. Приносите записи и стенограммы, это будет собрание человеческих документов, материал для историков и для писателей, это будет ваша профессия и ваш хлеб.

От «беседчика» требовался прежде всего один талант — умение или даже искусство слушать. Это талант сердечности, взволнованности и внимания. Писаной инст-

рукции у нас не существовало. Но на одном из наших совещаний кто-то прочел вслух страницу из романа «Война и мир», и мы единодушно восприняли ее, эту страницу, как своего рода «памятку беседчика».

«Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами».

Конечно, со временем у нас выработались и свои профессиональные приемы. В основе их лежал горячий интерес к человеку, который открывал нам свою душу. Без такого взволнованного интереса «беседчик» ничего бы не достиг, не мог бы работать для горьковского кабинета.

Пусть извинит меня читатель, но я еще продолжу выписку из «Войны и мира»:

«Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера».

Конечно, здесь выражен, раскрыт секрет нашего дела. Это было наше «в людях»,— с нами, жадно читая записи, которые мы приносили, как бы ходил на склоне своих дней по людям и Горький.

Так вот, исполняя свою службу в «кабинете мемуаров», я однажды пришел к Алексею Николаевичу Бережкову, конструктору авиационных моторов, известному в то время лишь сравнительно узкому кругу работников авиапромышленности.

С первой же встречи, послушав с полчаса его рассказ и еще, конечно, вовсе не проникнув в его характер, в его душу, я уже был уверен, определил это чутьем «беседчика»: передо мной своеобразный, очень одаренный человек. И замечательный рассказчик.

Я стал приходить к нему; принялся, как золотоискатель, добывать для нашей сокровищницы-кабинета запись еще одной жизни.

3

Мы сошли во двор. В сарае стоял чистенький мотоциклет, старый бережковский служака, о котором, пока мы спускались по лестнице, я узнал множество необычайных подробностей.

Надев перчатки, Бережков быстро и ловко заправил машину маслом и бензином. Завинчивая пробку, он говорил:

— На этой мотоциклетке я установил рекорд, которого никто не мог побить.

— Какой?

— Я проехал, не держась рукой за руль, с пассажиром на багажнике, по одному трамвайному рельсу от Большого театра до Зубовской площади, ни разу не сойдя с рельса.

— Не держась за руль?

— Да.

— Не может быть!

— Опять не верите? Хотите, повторю?

— Нет, пожалуйста, не надо.

Бережков покосился на меня и чему-то улыбнулся. Мне показалась подозрительной эта улыбка.

Он вывел машину из сарая. Отлично отрегулированный мотор завелся с первого нажима и мягко затакал без неприятной оглушительной стрельбы.

Бережков стоял, прислушиваясь к рокоту мотора, со странным взглядом, будто устремленным внутрь себя. Уже побывав у Бережкова два или три раза, я не впервые ловил у него такой взгляд. Самоуверенный, азартный Бережков, склонный похвастаться, любитель поблистать, становился в такие минуты иным: с него словно слетала мишура.

— О чем вы думаете? — спросил я.

— Просто слушаю мотор. Садитесь.

Бережков перекинул через мотоциклет ногу, я устроился на заднем сиденье, он включил скорость, и машина легко тронулась.

И вдруг, очевидно в возмездие за мои скептические замечания, Бережков стал проделывать в узком московском дворе, среди каменных стен, поистине головокружительные номера. Не держась рукой за руль, он описал по двору несколько кругов. Мне казалось, что мы вот-вот

врежемся в угол дома, или в крыльцо, или в мусорный ящик, но накренившийся мотоциклет всякий раз огибал препятствие.

Сознаюсь, я вцепился в плечи Бережкова. А он сидел на седле, сложив на груди руки. На ходу он обернулся, удовлетворился, вероятно, моим видом, подмигнул и вылетел за ворота.

Через несколько минут наш попыхивающий, сотрясающийся мотоциклет уже стоял перед красным огнем светофора на площади Маяковского среди машин, тоже не выключивших двигателей, нетерпеливо дрожащих, пропускающих другой, поперечный, поток и готовых мгновенно, лишь вспыхнет зеленый сигнал, ринуться дальше. В то время на углу площади еще не было ни здания Концертного зала, ни станции метро. За глухой деревянной оградой, помеченной понятной всем москвичам буквой «М», находилась лишь шахта метро. Там, видимо, работали и по воскресеньям. Оттуда выбежали девушки в брезентовых куртках и штанах, в громоздких резиновых сапогах, в мокрых шахтерских широкополых шляпах, торопливые, веселые, забрызганные свежим бетоном. Они быстро и ловко пробирались между стоящих машин, и Бережков не удержался, чтобы не помахать им рукой.

Вскоре мы двинулись дальше, еще не раз застревали у светофоров и наконец, миновав окраину, вырвались за город, на зеленый простор.

Мотоциклет несся, перегоняя все попутные автомашины. Казалось, Бережков не может равнодушно видеть идущую впереди машину, он обязательно должен обогнать. В ушах свистело, на каждой выбоине меня швыряло, и я благословлял минуты, когда впереди не виднелось машины, тогда наша скорость была как будто не столь бешеной.

4

Мы были в пути уже больше часа, уже промчались по мосту над блистающей Окой, оставили в стороне шоссе, когда Бережков наконец затормозил машину.

— Где-то здесь,— сказал он.— Да, да, вот наша платформа.

Я не заметил никакой платформы. Мы находились у железнодорожной линии, с обеих сторон надвигался лес, и нигде не виднелось построек.

— Чистенько сработано! — сказал Бережков и ударил обо что-то ногой.

Приглядевшись, я увидел потемневший от времени срез толстого столба, спиленного вровень с землей. Рядом виднелись такие же срезы — остатки какого-то помоста.

— Историческое место,— говорил Бережков, поглядывая вокруг.— Я с ним расстался в тысяча девятьсот восемнадцатом году.

— И с тех пор ни разу не бывали?

— Ни разу! Черт возьми, все пути-дорожки заросли.

Я тоже посмотрел вдоль полотна и увидел лишь две стены леса, смыкающиеся в отдалении. Одна сторона была залита солнцем: там в игре света и тени блестела смолистая хвоя и словно прозрачная зелень берез.

Сложив руки, Бережков постоял, полюбовался. Однако надо было куда-то держать путь. К счастью, на пешеходной тропинке вдалеке показался человек. Это сразу заметил и Бережков.

— Едем! Наверное, кто-нибудь из здешних.

Скоро мы нагнали пожилую крестьянку.

— Здравствуйте,— сказал Бережков.— Вы здешняя?

— Здешняя.

— Не приходилось ли вам слышать, что тут, в ваших краях, давным-давно строили одну машину?

— Не знаю. Я малограмотная, сынок.

— Ну, нет ли тут у вас в лесу чего-нибудь особенного? Какого-нибудь чудища? Не стоит ли где-нибудь около реки этакая железная штуковина?

— Нетопырь?

— Как?

— Мы его нетопырем зовем.

Расхохотавшись, Бережков обернулся ко мне и с торжеством выкрикнул:

— Что?! Меткое слово!

В невероятном сегодняшнем рассказе Бережков тоже называл это чудище «нетопырем» — прозвищем, которое придумали солдаты.

В ответ на дальнейшие расспросы женщина объяснила, как найти тропинку.

— Разыщем! — сказал Бережков.— Спасибо, мать.

— И вам спасибо на хорошем слове. А кто вы такой будете?

— Бережков.

— Бережков? Такого не слыхала.

Бережков стоял перед ней — высокий, статный, в светлой, легкой рубашке, заправленной в брюки, со щегольским галстуком. Как раз в это время высоко над нами проходил серебристый самолет. Слабо доносилось рокотанье мотора. Бережков посмотрел вверх, подмигнул мне и переспросил:

— Не слыхала?

Мы вновь тронулись. Бережков осторожно направлял мотоциклет по едва заметной лесной тропке. Скоро сквозь стволы берез показалась большая поляна, поросшая молодняком.

— Вот он! — закричал Бережков.

— Где?

Я не видел «нетопыря». За долгие годы неподвижности он слился с местностью, утратил и цвет, и геометрические очертания. Взглядом я искал его как на загадочной картинке.

Поставив мотоциклет, Бережков быстро зашагал по поляне. Я шел за ним и вдруг совсем близко различил два увязших огромных ржавых колеса, напоминающие чем-то пароходные, высотою чуть ли не до макушек леса. Да, передо мной был словно остов странного, фантастического парохода. Я различил короткий, клинообразный, как у ледокола, нос и округлую, тоже массивную корму.

Еще несколько шагов, и я мог взяться за колесо рукой. Слой рыжей ржавчины легко отломился и раскрошился в моих пальцах. Толстые железные плицы виднелись лишь в верхней половине колес; внизу их скрывал молодой березняк. Задний каток почти целиком ушел в почву; там возвышался лишь твердый замшелый горб.

На всем «нетопыре» не сохранилось ни единой гайки. Все, что можно было отвинтить, сбить или оторвать, было отвинчено, сбито и унесено. И все же стальная махина уцелела.

Вот история, рассказанная Бережковым перед нашей поездкой на мотоциклете.

Помню, он прошелся по комнате, сосредоточиваясь, потом многозначительно поднял указательный палец и, сдерживая шутливую улыбку, приступил к повествованию.

— Вся грандиознейшая эпопея,— сказал он,— которую я вам сегодня изложу, началась с того, что в один прекрасный день, осенью тысяча девятьсот пятнадцатого года, куда-то исчез Ганьшин. Это, как вы, надеюсь, не забыли, мой двоюродный брат, мой репетитор по математике, мой друг, а потом...

Внезапно Бережков оборвал себя на полуслове и воскликнул:

— Нет!.. Все зачеркните. Такое начало не годится. Исчезновение Ганьшина пойдет у нас второй главой. А первую назовем так: «Ладошников». Прошлый раз я что-нибудь говорил вам о Ладошникове? Ничего? Черт возьми, ужаснейшее упущение... Но мы сейчас это поправим. Я был еще учеником реального училища (правда, перешедшим уже в последний класс), когда познакомился с Ладошниковым. Как вам известно, летние каникулы я обычно проводил у того же Сергея Ганьшина или, говоря точней, пользовался гостеприимством моей тети, его матери, которая учительствовала во Владимирской губернии, неподалеку от усадьбы профессора Николая Егоровича Жуковского. О Жуковском вы уже кое-что от меня слышали.

— Пока очень мало.

— О, про Николая Егоровича можно рассказывать без конца.

Улыбаясь, Бережков посмотрел на большую фотографию, которая висела на стене. Там был снят во весь рост Николай Егорович Жуковский, грузный седобородый профессор в широкополой шляпе, в болотных сапогах, с охотничьей двустволкой и собакой,— отец русской авиации, как он назван в декрете, подписанном В. И. Лениным. Глаза даже на фотографии казались ясными и зоркими.

— Мне привелось видеть Николая Егоровича,— произнес Бережков, глядя на портрет,— еще с совершенно черной курчавой бородой. У меня это удержалось, как обрывок первых воспоминаний детства, обрывок, неве-

роятно яркий. Было так... Впрочем, виноват, не будем отвлекаться. Но вы пометьте у себя: «Николай Егорович с черной бородой». Потом напомните, я вам прелюбопытную сценку расскажу. На чем мы остановились?

— Вы упомянули о Ладошникове.

6

— Да, да... Я познакомился с ним там же, во Владимирской губернии. Он, студент, член студенческого воздухоплавательного кружка в Московском Высшем техническом училище, проводил в тот год летние каникулы у Николая Егоровича. Впоследствии мы узнали, что Ладошников уже тогда, в усадьбе Жуковского, готовил свою дипломную работу: проект самолета. Два года спустя мы с Ганьшиным присутствовали на защите этого диплома, а пока... Пока нам удавалось только издали видеть Ладошникова. Уж и разглядывали же мы его, этого студента, который был гостем и, наверное, любимцем Николая Егоровича.

Ладошников шагал в одиночку по полям, всегда словно насупясь, долговязый, сутуловатый, в полотняной вышитой косоворотке, в сапогах.

Как-то в июльский или августовский жаркий день мы с Сергеем разбирали у пруда купленный в складчину подвесной лодочный мотор. Этот маленький двигатель фирмы «Сиам» служил нам для всяческих экспериментов. Бесконечная возня с моторчиком доставляла мне гораздо больше удовольствия, чем катанье по реке. Я придумывал десятки разных переделок, и лишь холодный язвительный разум Сергея, а также главным образом ограниченность наших финансовых возможностей обуздывали меня. Все же я сумел не только применить шпильки и шплинты «системы Бережкова», но и по-своему устроил зажигание и, кроме того, ввел очень простой механизм собственного изобретения для подсасывания рабочей смеси.

Лодка была вытащена на берег. Разобранные части двигателя лежали перед нами на корме. И вдруг, представьте себе, откуда ни возьмись, по берегу к нам приближается Ладошников. Подошел. Остановился. Не сказав ни слова, посмотрел на разъятую машину. Мы пытались казаться равнодушными, но, конечно, принялись исподтишка его разглядывать. Насупленные брови прида-

вали ему угрюмый вид. Под сильно выступающими надбровными дугами прятались глаза, казавшиеся очень маленькими. Неужели он так и уйдет, не раскрыв рта? Я не мог найти подходящей фразы, чтобы начать разговор, но Ладошников сам нарушил молчание. Показав на придуманный мною механизм, он спросил:

— Кто это смастерил?

Разумеется, я ничего не ответил и лишь скромно улыбнулся. Сергей объявил о моем авторстве. Слово за слово, выяснилось, что Ладошников все рассмотрел: и мои необыкновенные шпильки, и новую систему зажигания. Через некоторое время, обращаясь ко мне, он спросил:

— Как тебя зовут?

— Алексей Бережков.

— А ведь ты, Алексей, когда-нибудь, пожалуй, изобретешь собственный мотор.

Без малейшего колебания я ответил:

— А как же! Обязательно!

— Может быть, ты уже знаешь, каков он у тебя будет?

— Знаю. Поршневой! Двухтактный. С короткими цилиндрами. Чтобы ход поршня был меньше диаметра. И с небывалыми противовесами.

Я ожидал, что мой ответ поразит Ладошникова. Моя выдумка, захватившая воображение еще в шестом классе реального училища, казалась мне ультранеобыкновенной. Но вышло так, что Ладошников поразил нас. Взяв из груды металлических частей длинный стерженек и подходящую гайку, он при помощи этих несложных предметов наглядно изобразил ту самую схему двигателя, которую я считал абсолютно новой, никому еще не ведомой.

— Так ты себе это представляешь? — спросил он.

— Вы... Откуда вы знаете?

— Видимо, не ты один размышляешь над проблемами развития техники... Другие тоже иногда этим занимаются.

Поворачивая стерженек и гайку, он показал некоторые тонкости задачи, тонкости, о которых, не скрою, я не подозревал. Мы с Сергеем слушали Ладошникова, разинув рот. Он заговорил с увлечением, голос стал звучней. Знаете, что еще удивило меня? Голубовато-серые глаза, которые раньше глядели исподлобья и казались маленькими, были большими, ясными, красивыми.

— Вот, Алексей, имей все это в виду, когда займешься своим двигателем.

— А вы? Почему вы сами не занялись таким мотором?

— Мне, брат, не до этого. Руки не дойдут.

Бросив стальные детальки, Ладошников мотнул на прощанье головой и зашагал от нас. Так мы с ним познакомились.

Два года спустя я действительно построил маленький лодочный мотор собственной конструкции на основе принципа, о котором мы толковали с Ладошниковым в летний день на берегу пруда. Об этом моторчике я вам прошлый раз уже рассказывал. Помните?.. Впрочем, не будем отвлекаться.

7

Еще одна картина неотступно возникает предо мной, когда я вспоминаю о молодом Ладошникове.

Вообразите актовый зал Московского Высшего технического училища. Весна 1913 года. В окна льется солнце. На высокой подставке укреплена модель аэроплана с обшитыми полотном крыльями. Это самолет Ладошникова, названный по его фамилии «Лад-1».

В то время гремела слава «Ильи Муромца», многомоторного воздушного корабля, на котором русские летчики только что установили ряд мировых рекордов, в частности, на дальность полета и грузоподъемность. А «Лад-1» обещал превзойти «Муромца». Проект был дерзновенным. Одномоторная машина Ладошникова с размахом крыльев в тридцать шесть метров была, согласно проекту, быстроходнее «Муромца» и вместе с тем могла поднимать не полторы, как «Муромец», а две с половиной тонны груза.

В зале черным-черно от студенческих тужурок. Такая же тужурка и на мне. Я сижу подле Ганьшина во втором ряду.

Ладошников уселся в стороне. Его тужурка испачкана мелом. Три часа подряд, отвечая на возражения и вопросы, он защищал здесь свой проект. Теперь он ждет заключения комиссии. Брови сдвинуты; глаза, которые только что сверкали, когда он боролся у доски за свою конструкцию, глядят куда-то вниз. Рука все еще держит кусок мела; пальцы сжимают, сдавливают этот мел; на пол, на черную кожу сапога сыплется белая пыль.

Только что прозвучал звонок, означающий окончание перерыва. Все рассаживаются по местам, ждут заключения комиссии. Вокруг стола, застланного зеленым сукном, стоят пустые стулья. Сейчас дипломная комиссия выйдет в зал.

Я смотрю на Ладошникова и, мне кажется, понимаю его мысли. Незадолго до перерыва выступил один из членов комиссии, известный профессор прикладной механики, постоянный консультант московского завода «Дукс», где уже было выпущено несколько аэропланов. Он доброжелательно сказал:

— Не слишком ли большие требования мы предъявляем к дипломанту? Разумеется, такой аэроплан, если на минуту предположить, что он будет построен, никогда не взлетит. Но взглянем на это иначе — как на студенческий проект, как на фантазию юноши, становящегося инженером...

Профессор продолжал говорить, но Ладошников вдруг перебил:

— Почему не взлетит?

— Об этом, если пожелаете, побеседуем особо... Пожалуйста, я всегда к услугам молодых талантов.

Ладошников мрачно выслушал эти слова. «Никогда не взлетит!» Только это, наверное, звучало в тот момент в его ушах.

Но вот члены комиссии вышли в зал, расположились в креслах, вот с председательского места поднялся Николай Егорович Жуковский. Пожалуй, еще никогда я не видел его таким небудничным, торжественным. Изо дня в день он появлялся на лекциях в поношенном просторном пиджаке. Всем было известно, что Жуковский не любил облачаться в мундир или в сюртук даже в тех случаях, когда ожидался приезд кого-либо из высочайшего начальства. Но в этот день, как бы в честь своего ученика, закончившего долгий труд, в честь этого события, Николай Егорович надел длинный сюртук. Освещенный солнцем, игравшим в густой белой бороде, он, создатель науки о летании, старый профессор, с большим куполообразным лбом, с проницательными темными глазами, был величав в эту минуту. Мы услышали его знакомый, любимый всеми нами, высокий, звучный голос:

— Комиссия единогласно решила,— сказал он,— присудить Михаилу Михайловичу Ладошникову диплом пер-

вой степени с отличием. А что касается вопроса, взлетит ли когда-нибудь...

Жуковский не договорил. Ему помешали рукоплескания. Мы аплодировали Ладошникову, его проекту, его упорству и успеху, аплодировали его руководителю — нашему учителю Жуковскому. Николай Егорович посмотрел на Ладошникова, все еще насупленного, быстро выбрался из-за стола и, протягивая обе руки, подошел к своему ученику. Ладошников порывисто вскинул голову. Мы увидели, что Николай Егорович обнял и поцеловал его. Тотчас мы вскочили с мест и, продолжая аплодировать, обступили их обоих. И услышали, как Жуковский произнес:

— Взлетит твоя ладушка, взлетит!

Ладошников, видимо, не мог ничего выговорить. Безмолвно говорили лишь его глаза, вдруг заблестевшие, опять ставшие большими.

8

— Вот теперь мы,— продолжал Бережков,— вправе перейти к следующей главе нашей необычайной эпопеи. Перенесемся на два с половиной года дальше.

Итак, как я уже упомянул, однажды осенью 1915 года внезапно исчез Ганьшин.

Накануне мы условились, что утром он зайдет за мной и мы вместе отправимся на конкурс зажигательных бомб.

Тогда, в первый и во второй годы войны, подобные конкурсы были в большой моде. Но это был особенный конкурс. На нем демонстрировалась одна адская штучка, которую придумал Алексей Бережков. Эту вещь я изобрел летом все в той же Владимирской губернии, где по неизменному обычаю мы с Сергеем проводили каникулы.

Надо вам сказать, что к тому времени мы оба уже были полноправными членами студенческого воздухоплавательного кружка, созданного Жуковским. В нашей компании энтузиастов авиации Ганьшин числился великим математиком. Трактаты по математике он проглатывал, словно это были похождения Шерлока Холмса, и мог часами говорить об интегралах. Николай Егорович поручал ему самые умопомрачительные вычисления, и в двадцать два года, еще студентом, Ганьшин заведовал расчетным

бюро у Николая Егоровича в аэродинамической лаборатории. И вдруг в самый драматический момент, в день конкурса на лучшую зажигательную бомбу, он пропал неведомо куда. Моя бомба произвела на конкурсе потрясающее впечатление, в этот день я праздновал свой успех, но нет-нет да и мелькало беспокойство о Сергее. Куда он делся? Я не волновался бы, если бы не знал так хорошо Ганьшина. Этот холодный скептик, постоянно подвергающий язвительной критике мои фантазии, был чудесным другом. Какие причины могли заставить его исчезнуть в такой волнующий и торжественный для меня момент? Что могло случиться?

На следующий день Ганьшин опять не появился. Что такое? А еще через день, когда мне удалось вырваться к нему на квартиру и узнать, что он отсутствует уже три дня, я почти не сомневался, что произошло нечто трагическое.

Кто же его видел последний? С кем он разговаривал перед тем, как исчезнуть? Кажется, его вызывал Жуковский. Я побежал к Николаю Егоровичу.

— Николай Егорович, вам не известно, куда пропал Ганьшин?

— Пропал? Разве? Не знаю...

А сам отводит глаза.

— Вы знаете, Николай Егорович!

— Нет, ничего не знаю.

Однако Жуковский не умел говорить неправду. У него смущенный и таинственный вид.

— Не волнуйся, дорогой,— проговорил Николай Егорович,— твой друг жив.

— Но где же он?

— Не могу сказать.

Пришлось уйти ни с чем. Но загадочные ответы Жуковского не давали мне покоя. Что за дьявольщина? Что за тайна?

9

Только через две недели я узнал, куда исчез Сергей. Он сам пришел ко мне.

— Поедем.

— Куда?

— К инженеру Подрайскому.

— К какому Подрайскому?
— Узнаешь.
— А где ты пропадал?
— Все узнаешь.

Его сухощавое, немного курносое лицо, его глаза за стеклами очков были непроницаемы.

Через полчаса Ганьшин доставил меня к месту назначения,— этот домик на Малой Никитской я запомнил навсегда. Большие окна, смотревшие на улицу, зеркально блестели; я заметил, что, хотя еще вовсе не смеркалось, окна изнутри были наглухо задрапированы малиновым бархатом. Ганьшин позвонил у ворот, нас пропустили во двор, и мы вошли в особняк через черный ход. В прихожей кто-то спросил мою фамилию и отправился докладывать. Затем был приглашен я один, без Сергея. Меня провели в огромный кабинет, залитый электрическим светом, с двумя солидными несгораемыми шкафами у стен. Наглухо закрывая окна, тяжелыми складками спускались те самые драпри, которые я заметил с улицы.

Из-за стола навстречу мне неторопливо поднялся человек среднего роста в элегантнейшем синем костюме. Его черные усы были подстрижены с такой изумительной аккуратностью, что казались бархатными.

— Здравствуйте. Вы Бережков?
— Да.
— Алексей Николаевич?
— Да.
— Вы сконструировали зажигательную бомбу?
— Я...

Он подошел к двери и закрыл ее на ключ. Что такое? Куда я попал?

Затем он приблизился ко мне и, пристально глядя на меня, заставил поклясться, что я ни одной живой душе не расскажу о том, что услышу от него.

— Если вы скажете кому-нибудь хоть слово, то сразу — военно-полевой суд и расстрел в двадцать четыре часа.

— Расстрел?

— Да. С заменой, в случае помилования, пожизненной каторгой. Подпишите.

Он подал мне бумагу, где в письменном виде перечислялись эти предстоящие мне казни. Сгорая от любопытства, я моментально подписал.

Аккуратно сложив бумагу, он запер ее в несгораемый шкаф. В полной тишине дважды щелкнул замок. Затем он с торжественной медлительностью объявил:

— В этом доме помещается секретная военная лаборатория.

Я молча смотрел на него, ожидая, что из-под бархатных усов выпорхнут еще какие-нибудь сногсшибательные тайны. Он продолжал:

— Я приглашаю вас работать. Сумеете сконструировать прицельный бомбосбрасывающий аппарат?

Этот вопрос вызвал разочарование. Бомбосбрасывающий аппарат? Только и всего?

Я ответил, как всегда отвечал в молодости:

— Если я не сумею, значит, никто больше не сумеет!

Подрайский быстро на меня взглянул.

— Никто не должен знать, где вы работаете,— объявил он.— Для всего мира вы должны исчезнуть.

Такова была моя первая встреча с инженером Подрайским. В тот же день я был зачислен в его секретную лабораторию на должность младшего конструктора с жалованьем восемьдесят рублей в месяц.

— Велел исчезнуть? — спросил меня Ганьшин.

— Да.

— Не обращай внимания, живи дома. Это его штучки. Я тоже вначале на них клюнул.

Мы брели по Никитскому бульвару. Весь этот денек, как иногда случается поздней осенью в Москве, был удивительно ясным, солнечным, теплым. Дело шло к вечеру, но в аллею еще проникало солнце. В его лучах все казалось прелестным, золотым. Я это отметил как счастливое предзнаменование.

Удалившись на достаточное расстояние от таинственного особняка, я, разумеется, изобразил Ганьшину в лицах весь разговор с Подрайским. Затем поинтересовался:

— В чем тут подоплека с бомбосбрасывающим аппаратом? Зачем он ему нужен?

— Разве Подрайский тебе не объяснил? Для самолета Ладошникова.

В изумлении я остановился.

— Ладошникова? Он строит самолет Ладошникова?

Ганьшин повлек меня вперед.

— Не кричи на весь бульвар. Да, представь, Подрайский прибрал и эту вещь к рукам. Как раз теперь

я пересчитываю ее, составляю полный аэродинамический расчет. И живу у Ладошникова. Пойдем к нам, выпьем чаю.

Конечно, меня не пришлось упрашивать. Вскоре мы пришли к Ладошникову. Он обитал в одном из переулков Остоженки. Впоследствии я не раз посещал этот бревенчатый двухэтажный флигелек, в котором снимал комнату конструктор самолета «Лад-1».

Из сеней по деревянным ступенькам, скрипевшим под ногами, мы поднялись на второй этаж. Сергей постучал и, услышав ответное «угу», отворил дверь.

Уже подступали сумерки, но в комнате, на первый взгляд очень большой, еще не было огня. Два окна смотрели прямо в небо, озаренное закатом, посылавшим неверный свет. На фоне одного из окон темнел силуэт Ладошникова. Он стоял без пиджака, рукава вышитой рубашки были засучены.

— Обождите! — крикнул он и запрещающим энергичным движением поднял пятерню.

Мы остановились.

— Черт возьми, опять занялся мухами,— проворчал Ганьшин.— Потеплело, вот они и ожили на мою беду.

Сперва я ничего не понял. О чем он? Какими мухами? Но в комнате действительно слышалось жужжание мухи. Присмотревшись, я различил очень странную муху, которая описывала круги над большим столом. Тут же на столе я увидел несколько лейденских банок и необычного вида аппарат с ручкой, фотокамерой и глазком объектива.

Склонившись над столом, Ладошников протянул руку, что-то тронул и... И в комнате вдруг засверкали молнии — разряды лейденских банок, слившиеся в единую вспышку.

Мне запомнилась освещенная этими молниями, лежавшая на столе рука Ладошникова — большая, с несколькими мелкими шрамами от порезов и ссадин, с темноватой от въевшейся металлической пыли, с шершавой, как у мастерового, кожей на подушечке большого пальца, с широкими, коротко подстриженными, видимо очень крепкими, блестящими ногтями.

— Хватит тебе! — крикнул Ганьшин, когда пронесся каскад электроискр.

Окна еще голубели, но после ослепительных разря-

дов комната стала совсем темной. Ганьшин повернул выключатель, вспыхнула лампочка под потолком.

Муха продолжала летать по своему странно правильному круговому маршруту. Ладошников поймал ее и посадил на ладонь. Разумеется, я немедленно приблизился и воззрился на эту загадку природы. Улыбнувшись, Ладошников объяснил, что мухи и другие маленькие крылатые создания, вплоть до комаров, служат ему для изучения законов летания.

— Ты, Алексей, наверное, даже и не подозреваешь,— говорил он,— что полевая муха развивает скорость до семидесяти верст в час. А эта госпожа лишь немного от нее отстает.

Я увидел, что мушиное крыло двумя волосками одуванчика было в определенном положении приклеено к туловищу, вследствие чего и создавался удивительный круговой режим полета. Необычайный аппарат был кинокамерой, сконструированной и построенной самим Ладошниковым,— камерой, которая успевала произвести двадцать четыре снимка в тот ничтожный промежуток времени, когда сверкали искусственные молнии.

Взяв маленькие ножницы, Ладошников перерезал волоски одуванчика, возвращая своей пленнице естественность движений. Его грубоватые, широкопалые руки нежно — другого слова тут не подберешь — справлялись с этой операцией.

— Бей ее! — воскликнул Ганьшин.— Она теперь чертовски злющая. Кусачая...

— Ничего,— сказал Ладошников.— Поработала, пусть поживет.

Приоткрыв дверь, он пустил муху в коридор и, последив, как она полетела, возвратился к нам.

Скоро на столе, где только что проводились удивительные эксперименты, появился кипящий самовар. Ладошников по-хозяйски расставил стаканы, сам заварил чай. Ганьшин сообщил о моем визите к Подрайскому, о моей новой должности. Я, разумеется, не преминул уснастить художественными подробностями это сообщение.

— Наверное, я когда-нибудь пристукну этого Подрайского,— вдруг буркнул Ладошников.

— А что, опять? — спросил Сергей.— Опять взялся за тебя?

— Заявил, что прекращает строить аэроплан.

— Это он врет,— проговорил Ганьшин.— Для чего же он заказывает бомбосбрасывающий аппарат? Да и мотор уже плывет по океану.

— По океану? — изумился я.

— Да. Из Америки. «Гермес». Двести пятьдесят сил,— объяснил Ганьшин.

У меня вырвалось:

— Ого!

В те времена американский авиамотор фирмы «Гермес» мощностью в двести пятьдесят лошадиных сил считался последним словом техники.

— Шут его знает, не пойму, когда он врет, когда не врет,— продолжал Ладошников.— Сегодня вызвал меня и сказал, что раскрывает мне все карты. Денег, мол, совершенно нет. Жизнь, мол, берет за глотку, поэтому он вынужден... Ну, и так далее... В общем, все свелось к тому, что он опять потребовал от меня идей... Новых идей! Сногсшибательных идей!

— А проект аэросаней? Что же, ему мало?

— Мало. Ему надо что-то такое, чтобы...

— Что-то уму непостижимое? — подсказал я.

— Вот-вот... Такое, чтобы немедленно принесло ему деньгу... А то действительно, черт его возьми, он вылетит в трубу.

— У меня есть одна идея,— скромно заявил я.

— Какая?

— Выбросить из автомобиля коробку скоростей. По-моему, над такой задачкой стоит поломать голову.

— Наш патрон не клюнет,— сказал Ганьшин.— Не действует твоя коробка на воображение.

Я с готовностью предложил еще несколько своих идей. Однако в данных обстоятельствах ни одна из них не была признана подходящей для Подрайского. Улучив удобную минуту, я задал вопрос, который, не скрою, меня очень занимал:

— А как он платит за идеи? Извините, Михаил Михайлович, мою неделикатность, но сколько, например, он заплатил вам за аэроплан?

Ладошников расхохотался.

— Ты, Алексей, не имеешь никакого понятия о Подрайском. Но и ты скоро услышишь: «Доходы в будущем». Пока же... Как видишь, он сам тянет с меня. Плачу изобретениями... Только бы строил...

Разумеется, я скоро узнал Подрайского поближе. О его таинственной личности непрерывно ходили всякие слухи среди сотрудников лаборатории. Он казался всемогущим: имел доступ в так называемые лучшие дома Москвы, был своим человеком в гостиной московского генерал-губернатора; говорили, что у него колоссальные связи в Петрограде, что он вхож к военному министру, и так далее и так далее. Мы знали, что его навещали и принимали у себя некоторые крупнейшие воротилы промышленного мира — Рябушинский, строивший автомобильный завод в Москве, Мещерский, владелец коломенских и сормовских заводов, и другие.

Подрайский всегда одевался в темно-синий костюм, который выглядел словно с иголочки; употреблял лучшие заграничные мужские духи; изумительно подстригал усы; постоянно был безукоризненно выбрит и прекрасно причесан на пробор. Разговаривал он, как-то вкусно чмокая губами, и сам казался сдобным, аппетитным. Мы прозвали его «Бархатный Кот».

Как вы увидите дальше, этот приятнейший Бархатный Кот был наделен необычайной оборотливостью. На Малой Никитской улице он снял особняк и устроил там, как я уже рассказывал, секретную военную научно-исследовательскую лабораторию. Штат лаборатории был подобран весьма своеобразно. У Подрайского был тончайший нюх на талантливых изобретателей. Он где-то их разыскивал, зачислял в штат лаборатории, и они работали там над осуществлением своих изобретений. Всякому, кто приносил интересную идею в лабораторию Подрайского, предлагалось подписать следующий контракт: вам за идею — десять процентов будущего дивиденда, остальное — Подрайскому. Однако если вы приносили не идею, а вещь — Вещь с большой буквы, то есть уже сконструированную, уже в модели, вычерченную, рассчитанную, проработанную во всех тонкостях,— тогда предвкушаемые дивиденды делились в контракте поровну между автором и Подрайским: пятьдесят на пятьдесят.

Любитель точных определений, Сергей Ганьшин придумал великолепное название для фирмы Подрайского: «Чужие идеи — наша специальность». Наш патрон не

знал, конечно, об этих язвительных шутках; сотрудники лаборатории всегда были с ним почтительны; он в высшей степени любил почтительность.

Достопримечательностью лаборатории был бакалавр Кембриджского университета, человек с огромной лопатообразной бородой, мы его звали «Борода». Когда в лабораторию приезжали генералы и солидные промышленники, Подрайский обычно представлял им бакалавра, выговаривая как-то очень вкусно этот титул. Впрочем, красавец бакалавр был по фамилии попросту Овчинников из волжской купеческой семьи. Ему-то как раз и принадлежала идея бомбосбрасывающего аппарата (контракт по низшему разряду — десять процентов за идею).

Две комнаты особняка были отведены под механическую мастерскую, где священнодействовали какие-то особые искусники, какие-то академики слесарного дела, вроде тех, которые в свое время в Туле подковали блоху. В других комнатах располагались конструкторское бюро, химическая лаборатория и контора. Весь этот штат трудился над секретнейшими военными изобретениями.

К числу таких изобретений относилось взрывчатое вещество, названное по имени жены Подрайского, Елизаветы Павловны,— «лизит». Истинным автором был химик Мамонтов, несчастный, вечно нуждающийся, чудаковатый старик.

Мамонтов был одним из немногих, кто имел не идею, а вещь,— он принес и положил на стол «лизит». В лаборатории он охранялся не только от всякого постороннего глаза, но и от взгляда сотрудников. Лишь много времени спустя, после разных событий, о которых речь впереди, я однажды увидел этот таинственный состав — абсолютно белый, похожий на сахарную пудру или на тончайший зубной порошок. Его взрывчатая сила была, по тем временам, действительно огромна, значительно выше того, что дают пироксилиновые порохи.

Сначала состав назывался «московит», а потом незаметно преобразился в «лизит». Думаю, химик согласился на это из-за неожиданно возникших трудностей или, быть может, попросту ради презренного металла.

Трудности заключались в том, что устойчивость этого состава оказалась недостаточной: некоторое время полежав, состав самовзрывался. Предполагалось, что эту

неприятность вскоре удастся устранить. Тем временем в ангаре-мастерской на Ходынском поле заканчивалась постройка тяжелого одномоторного самолета «Лад-1», рассчитанного на двадцать пять часов полета без посадки. А потом...

Потом, в один прекрасный день, целая эскадрилья этих самолетов будет нагружена авиабомбами марки «лизит», самолеты вылетят на фронт и... И вот тогда «лизит» себя покажет.

Остановка, казалось бы, была только за малым — за прицельным бомбосбрасывающим аппаратом.

Идея бомбардировочного авиационного прицела принадлежала, как сказано, Овчинникову, нашему бакалавру, Бороде. Принцип был бесспорно интересен, но дьявольски труден для решения. Оно не давалось ни автору идеи — бакалавру, ни двум-трем инженерам-конструкторам, которые служили в таинственной лаборатории.

Однажды Подрайский, раздосадованный и нетерпеливый, сказал Ганьшину:

— Не знаете ли вы какого-нибудь стоящего изобретателя-конструктора?

— Как не знаю? В воздухоплавательном кружке есть одно чудо природы — Бережков.

— Кто он такой?

— Студент.

— Студент? А что он сделал?

Ганьшин рассказал обо мне. В Москву после окончания Нижегородского реального училища я явился уже с изобретением, с уже упомянутым бензиновым лодочным мотором моей собственной конструкции.

Осенью 1915 года я мог похвастать и двумя премиями, завоеванными на двух конкурсах. Это были конкурсы на лучший походный аккумулятор и на лучшую зажигательную бомбу.

Все это Ганьшин подробно изложил Подрайскому, памятуя, разумеется, о том, что мне всегда адски требовалось подзаработать.

— Давайте Бережкова сюда! — распорядился Подрайский.

Такова была цепь обстоятельств, которые привели вашего покорного слугу к Подрайскому.

Рассказывая, Бережков что-то рисовал на листе бумаги. Потом поднял, полюбовался и, усмехаясь, показал. За столом, держа ложку над дымящейся тарелкой, сидел откормленный, улыбающийся кот. Вокруг шеи была повязана салфетка, ее концы пышно торчали в стороны.

— Это наш Бархатный Кот,— объяснил Бережков.— За обедом он всегда повязывал салфетку этаким манером и мурлыкал особенно блаженно. А посмотрели бы вы его портреты, принадлежащие кисти и карандашу моей сестрицы. Они где-то у меня хранятся. Маша гениально его изображала.

С сестрой своего героя, Марией Николаевной, я был уже знаком. Художница (а в ту пору, о которой повествовал Бережков, студентка Строгановского училища технического рисования в Москве), она, возможно, в самом деле более точно воспроизводила на бумаге облик основателя таинственной лаборатории, но я удовлетворился выразительным рисунком Бережкова. С его разрешения набросок был приложен к моим записям. Затем Бережков неожиданно спросил:

— Не приходилось ли вам читать роман «Тона-Бенге»?

— Нет.

— Жаль. Любопытная вещь. Один американец решает изобрести что-нибудь невероятное, что-нибудь такое, что прогремело бы на всю Америку. Он бродит в раздумье по городу и где-то на окраине, среди пустырей, видит на заборе полустертую надпись. Некоторых букв уже нельзя различить, а из других составляется непонятное и красивое слово «Тона-Бенге». Оно звучит как музыка. Американец возвращается домой, заказывает десять тысяч этикеток со словом «Тона-Бенге», наклеивает этикетки на изящные флаконы и наливает туда... подкрашенную воду. И «Тона-Бенге» покорила Америку. Это слово светилось по ночам на небоскребах, о нем распевали с эстрады в кабачках — всюду сияла и пела «Тона-Бенге».

В лаборатории Подрайского тоже пела, заливалась «Тона-Бенге». Чего там только не придумывали, не конструировали, чуть ли не шапку-невидимку! И к Подрайскому плыли деньги: в лабораторию приезжали, как я

уже говорил, солидные коммерческие и военные люди; в таинственном кабинете шли таинственные разговоры, но через некоторое время всякий раз неизбежно выяснялось, что изобретение не вытанцовывается.

Я, например, очень быстро, в полтора месяца, руководствуясь расчетами Ганьшина, смастерил бомбосбрасывающий аппарат. Все получилось как по-писаному. Летчик наводил визирную трубку на цель, а все вычисления, все поправки на снос совершал сам прибор. В какой-то момент автоматически загоралась красная лампочка, летчик нажимал рычаг, и бомба летела вниз. Это была бы совершенно замечательная вещь, если бы не один маленький дефект: в цель наши бомбы почему-то все-таки не попадали.

Немало других, не менее соблазнительных изобретений прошло через лабораторию Подрайского. Не выходило одно, другое — появлялось третье.

В первые же месяцы войны Подрайский ухватился за проект самолета «Лад-1». Еще бы! Ведь Бархатный Кот мог ссылаться на славное имя Жуковского, благословившего конструкцию. Конструкцию самого мощного самолета в мире! Такого, который сможет поднять две с половиной тонны груза и продержаться в воздухе двадцать пять часов, то есть совершить без посадки боевой полет от Варшавы или Вильно до Берлина и обратно!

Да, под это можно было получить субсидию. И, разумеется, Подрайский получил. А самолет строился без всякой серьезной технической базы, не на заводе, а в жалкой кустарной мастерской, устроенной на живую нитку в пустом ангаре, продуваемом насквозь всеми ветрами.

Только энергия Ладошникова двигала сборку.

12

Лаборатория Подрайского существовала, как говорится, на «фу-фу». Через каждые два-три месяца над нею нависал отчаянный денежный кризис. Казалось, вот-вот Подрайский прогорит.

Не ладилось, например, с «лизитом». Неунывающий Бархатный Кот говорил, что надобно лишь дотянуть, дожать, но проходили дни, а вещь оставалась недожатой.

В таких случаях Подрайский становился на время

мрачным, не платил поставщикам, не платил за дрова, не платил дворнику и кучеру. Наконец он прятался. Жена его, Елизавета Павловна, чье имя нежный супруг решил обессмертить, по нескольку раз в день звонила по телефону — спрашивала, где ее муж. Никто этого не знал.

Но вот в какой-нибудь прекрасный день Подрайский появлялся — веселый, довольный, мурлыкающий. Появлялся и расплачивался со всеми. Мы знали, что это означает: очередная неудача забыта, опять найдено или придумано что-то поразительное, где-то получены авансы, опять запела, заиграла «Тона-Бенге».

Свирепый денежный кризис стиснул Бархатного Кота в начале зимы 1915 года. А между тем приближалась некая торжественная дата, известная всем сотрудникам лаборатории. Ежегодно двадцать восьмого ноября Подрайский праздновал день своего рождения. По установившейся традиции работа в лаборатории в этот день не производилась. Служащим полагалось явиться с визитом к патрону, в высшей степени чувствительному, как уже сказано, к знакам почтительности. Однако на этот раз уже за две недели до своего праздника Подрайский словно сгинул.

Несмотря на это, днем двадцать восьмого ноября мы с Ганьшиным, исполняя долг вежливости, отправились к нему с визитом. Ладошников не пошел с нами. «Я бы предпочел, чтобы такие личности пореже появлялись на свет»,— пробурчал он. И уехал, как обычно, в ангар, где заканчивалась сборка самолета.

Подрайский жил в Замоскворечье, где снимал особняк из восьми комнат. Зная, что в последние дни Бархатный Кот никого не принимал, мы предполагали расписаться в книге посетителей и достойно удалиться. Но произошло иначе.

— Вас ожидают,— сказала горничная, когда мы назвали себя.

Она провела нас через анфиладу комнат.

— Наконец-то вы явились! — воскликнул Подрайский, едва мы вошли в его домашний кабинет.

К тому времени Подрайский вполне постиг наши таланты. Мы были уже столпами его лаборатории: Ганьшин стал начальником расчетного бюро, а я был произведен в чин главного конструктора.

Схватив со стола серебряный колокольчик, Подрайский позвонил.

— Третий звонок. Поезд трогается,— заявил он с торжественным и загадочным видом.

На звонок явилась та же горничная.

— Меня нет дома,— повелительно сказал Подрайский.— Никого не принимать.

Проводив горничную взглядом, он обратился ко мне:

— Алексей Николаевич, пожалуйста, закройте дверь.

Я плотно прикрыл дверь.

Подрайский огляделся по сторонам и вдруг, с неожиданной резвостью прыгнув к двери, распахнул ее ногой. Убедившись, что никто не подслушивает, он повернул в замке ключ и возвратился к нам.

Конечно, мы забыли, что пришли поздравлять новорожденного, и с любопытством ждали, что же последует дальше. Таинственно понизив голос, Подрайский спросил:

— Что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?

Мы переглянулись. Десять метров — это трехэтажный дом.

— Большое колесо,— ответил я.

Бархатный Кот улыбнулся.

— Для чего же такое колесо? — спросил Ганьшин.

— Это колесо перевернет историю. Это колесо раскроет все двери перед нами. Это будет,— Подрайский еще раз огляделся,— боевой самоход-вездеход.

Оказалось, что Подрайскому удалось где-то проведать о потрясающей штуке. Вообразите, что на вас надвигаются два огромных — в шесть-семь раз выше человека,— железных колеса, которые все подминают под себя. Для сравнения представьте себе ручную тачку. Ее обычно возят по доске. Попробуйте покатить ее по булыжной мостовой. Это вряд ли вам удастся, потому что маленькое колесо не перепрыгнет через булыжник. А извозчик легко двигается по мостовой. Колесо его пролетки имеет диаметр семьсот миллиметров и свободно перескакивает через камни и небольшие выемки. Десятиметровое же колесо будет легко преодолевать окопы, проволочные заграждения, заборы и даже крестьянские постройки. В бронированной кабине будут расположены пулеметы и пушки.

— Ну, что вы скажете? — воскликнул Подрайский.

Его голос осекся. Я увидел, что он, этот гроссмейстер

черной магии, волнуется, ожидая от нас, юнцов, приговора колесу. Перед ним стояли два антипода: конструктор и аналитик, фантазия и расчет, восторженность и скептицизм, ваш покорный слуга и Сергей Ганьшин.

— А что? Здорово! — воскликнул я.

Даю вам слово, колесо меня сразу покорило. Я зажигаюсь мгновенно. Воображение уже рисовало, где поставить двигатель, как расположить передаточные маханизмы, как перенести пониже центр тяжести посредством массивного заднего катка. Я уже мысленно видел этот необыкновенный вездеход, уже слышал его лязг, ощущал, как под ним содрогается земля.

Подрайский расцвел, услышав мой возглас.

— Имейте в виду,— продолжал он,— такое колесо сможет преодолевать и реки до пяти метров глубиной.

— Почему только до пяти? — проговорил я.— Ведь ему можно дать запас плавучести. Сделать его полым. А по краю расположить лопасти. Тогда у нас будет амфибия.

— Амфибия?

Подрайский столь радостно подхватил мои слова, что я мог бы тут же потребовать с него десять процентов за идею.

— Конечно, амфибия!

Мне уже виделся вездеход на плаву. Тяжелый задний каток, повисая в воде под герметически закрытыми корпусами двух огромнейших колес, обеспечивал бы устойчивость всего сооружения. Никакая волна не смогла бы его опрокинуть. Дав волю фантазии, я все это тут же преподнес Подрайскому.

— Так, так...— поощрительно повторял Подрайский.— На таких амфибиях мы, следовательно, сумеем форсировать даже Вислу.

— Вислу? А почему не Дарданеллы?! — вскричал я.— Такие амфибии пройдут за одну ночь Черное море, выйдут на турецкий берег и захватят Дарданеллы с суши.

Насколько я понимаю, в этот момент Бархатный Кот окончательно стал приверженцем амфибии. Он вдруг подскочил ко мне, схватил меня за руку и едва слышно прошипел:

— Не кричите же об этом! Тссс... Ради бога, тссс....

Разумеется, я поклялся молчать.

— Окрестим ее дельфином! — продолжал я.— Или моржом... Ганьшин, как ты думаешь?

— По-моему, лучше всего уткой,— хладнокровно ответил мой язвительный друг.— Позволительно, например, спросить: где вы достанете мотор для такой амфибии?

В самом деле, мотор? Ведь можно придумать колесо и в сто метров диаметром, но чем, каким мотором его сдвинешь? Для такого грандиознейшего сооружения, как наша амфибия, нужен был очень сильный по тому времени и вместе с тем легкий мотор.

— Мотор есть!..— сказал Подрайский.

— Откуда? Какой?

Жестом фокусника Подрайский вытащил из кармана телеграмму.

— Алексей Николаевич, будьте добры, прочтите вслух.

Я огласил телеграмму. В ней сообщалось, что четыре американских мотора «Гермес» мощностью по двести пятьдесят лошадиных сил прибыли во Владивосток и отправлены пассажирской скоростью в Москву.

— Это те самые моторы? — спросил я.— Для аэроплана «Лад-1»?

— Так точно,— ответил Подрайский.— Можете передать Михаилу Михайловичу: пусть прямо с вокзала забирает два мотора... А остальные... На амфибию поставим тоже мотор «Гермес».

Победоносно посмотрев на нас, Подрайский распорядился:

— Завтра же начинайте проектировать.— И добавил менее определенно: — О дивидендах договоримся.

13

Через некоторое время мы вышли от Подрайского. У меня горели уши. Они всегда загораются, когда загораюсь я.

Черт возьми, такой машины еще не знала история! С мальчишеских лет я мечтал стать создателем, конструктором небывалых вещей, мечтал о великих делах, которые я совершу, которыми прославлю Россию. Вот оно, это небывалое дело!

Меня охватило вдохновение. Думая об амфибии, о самодвижущейся диковинной машине с десятиметровыми

колесами, какие еще не ходили по земле, я видел неимоверное количество чисто конструкторских трудностей. Но тут же, на ходу, в воображении возникали решения, захватывающе остроумные, адски интересные, как всегда кажется в такие моменты.

— Изумительно! — воскликнул я, восхищенный, вероятно, какой-нибудь собственной конструкторской находкой.

Ганьшин посмотрел на меня сквозь стеклышки очков. Его курносая физиономия была, как всегда, скептической.

— Что ты? — беспокойно спросил я.— Как твое мнение?

— О тебе?

— Нет, об этой вещи.

— Игра ума, фантазия, чепуха.

— Как чепуха? Почему чепуха?

Здесь же, по пути домой, Ганьшин высмеял невиданное-неслыханное колесо. Прошло время, сказал он, когда воевали колесницами. Теперь на войне огромная амфибия, несомненно, окажется нелепостью. Высоченные колеса будут издали заметны и на воде и в поле; на такой махине нельзя незаметно подойти к неприятелю; эту мишень с легкостью разобьет артиллерия: для пушек это будет самая лакомая пища.

Но я не унывал, отлично зная, что еще не встречалось такой выдумки, которую Ганьшин сразу бы признал.

— Постой! — закричал я.— Ты забываешь скорость.

Ганьшин по-прежнему насмешливо спросил:

— Какую же ты предложишь скорость?

Именно в этом пункте заключалась главная конструкторская трудность, и как раз тут ждал меня, верилось, триумф даже у Ганьшина, не без основания прозванного мной величайшим скептиком всея Руси. В те минуты, когда мы шли от Подрайского, у меня родилось чудесное, абсолютно оригинальное решение, которое я с жаром стал излагать Ганьшину.

У знакомого флигелька мы остановились. Все вокруг было запушено снегом. В эту морозную погоду от снега, чистого, пушистого, исходил какой-то особый запах зимы — свежести, бодрости, удали. Не скрою, люблю этот запах. Словом... Словом, вы представляете мое состояние.

Увидев какую-то палку, я схватил ее и принялся чертить на снегу. Но Ганьшин отнюдь не был восхищен. Он задал прежний вопрос:

— Какую же ты все-таки предложишь скорость?

— Какую? При моем решении ты можешь избрать любую скорость. Пятьдесят, восемьдесят, сто километров в час! Вообрази, что такая громадина, адски грохоча, несется на тебя со скоростью ста километров в час...

— Тебя, возможно, согревает твое пылкое воображение,— сказал Ганьшин.— А я замерз. Пойдем-ка выпьем чаю. Кстати, я прочту тебе кое-что из курса физики о законах прочности.

Дома он не спеша сначала занялся чаем. А я ходил за ним по комнате, по коридору, в кухню и обратно, доказывая свое, бешено злясь на него и одновременно желая его критики.

Потом он действительно снял с книжной полки один том курса физики, отыскал некоторые формулы и преспокойно доказал, что необыкновенные размеры конструкции резко уменьшают ее прочность, что на большой скорости огромнейшее колесо неминуемо треснет и развалится при первом же ударе о какой-нибудь сложный профиль.

Ганьшин здраво и ясно изложил уничтожающий приговор. Но я не сдавался, я спорил. Природное чутье конструктора, которое часто делает меня невозможнейшим упрямцем, подсказывало и на этот раз: амфибия пойдет!

Должен признаться: это природное чутье не однажды подводило меня, особенно в молодые годы; случалось, что я упрямо строил уму непостижимые вещи, которые сам же впоследствии оставил как технические заблуждения, и лишь много лет спустя, закалившись как конструктор, научился держать на вожжах свое чутье.

Мне уже была дорога необыкновенная машина, возникавшая в воображении, меня уже увлек только что родившийся у меня конструкторский замысел. Вы не представляете, с какой силой, с какой страстью в таких случаях хочется увидеть шорох, первый стук сдвинувшихся, трущихся частей. В этом для нашего брата, создателя машин, момент высшего удовлетворения и восторга.

И вот что любопытно. Ведь нельзя же сказать, что я сам изобрел машину, грандиозную амфибию, но я так загорелся, будто давно вынашивал эту выдумку.

Видите ли, такова страсть конструктора. Я, например, разговаривая всерьез, почти никогда не называю себя изобретателем, а всегда конструктором. Конструкторски разработать идею, найти ей выражение в металле, сделать из идеи вещь, довести, пустить в ход — вот в чем для меня прелесть жизни, прелесть творчества.

Мы спорили. Я извел немало бумаги, рисуя во всевозможных разрезах свою схему вездехода-амфибии, графически изображая блеснувшие мне новые соображения, но Сергей Ганьшин, мой друг и всегдашний злейший противник, мой расчетчик, без которого я, конструктор, обречен на блуждание, на работу ощупью,— Сергей Ганьшин оставался непоколебимым.

Я продолжал обрабатывать своего друга. В нашей дружбе бывало не раз: язвительно высмеяв изобретение, Ганьшин поддавался потом моему порыву, моему жару, и я увлекал за собой своего критика. Я сказал ему, что впоследствии, проектируя, когда мозг будет возбужден борьбой с тысячей трудностей, мы найдем, обязательно найдем такие решения прочности, которые сейчас не даются в руки.

— Представь себе,— уламывал я Ганьшина,— газетные сообщения: «Блестящая победа. Наши бронированные амфибии внезапно овладели Дарданеллами».

Но Ганьшин только махнул рукой. Я почувствовал, что сбиваюсь на фальшивую ноту, и заговорил по-иному:

— Нет, как это звучит: «Чудо техники. Создание двух русских студентов...»

— Про нас с тобой никто не вспомнит. Фигурировать будет только Подрайский.

— Ну и ладно! А сотворим машину все-таки мы! Что, разве нам с тобой это не по зубам?

Я предложил завтра же приступить к делу. Ганьшину предстояло дать прежде всего общий расчет — рассчитать толщину плиц, обода, оси, определить приблизительный вес всей вещи.

— Чего нам? — говорил я.— Возьмемся и дадим.

— Нет,— сказал Ганьшин.— Фантазия. Бред. Авантюра. Ультра- и архиавантюра.

— Ну хорошо! — закричал я.— Подождем Ладошникова. Послушаем, что скажет Ладошников.

— Послушаем,— усмехнулся Ганьшин.

Ладошников явился вечером. Видимо, весь день он провел на сборке самолета. Раскрасневшийся с мороза, он принес с собой запахи работы — клея, машинного масла, керосина, грушевой эссенции, ацетона. Достаточно было вдохнуть этот букет, чтобы тотчас представить: в ангаре уже красят самолет, уже покрывают раствором целлулоида полотно на крыльях.

Ладошников взглянул на меня из-под бровей, кивнул, невнятно буркнул:

— А, Бережков! Славно, что пришел...

Он не отличался разговорчивостью. Может быть, поэтому меня так радовало каждое его приветствие или ласковый взгляд.

Я в ответ воскликнул:

— Михаил Михайлович, моторы «Гермес» прибыли!

Новость взволновала его. Ладошников ждал, давно и нетерпеливо ждал известия. Он сразу побледнел. Ведь теперь вплотную придвинулся момент — самый жгучий, волнующий, радостный, страшный,— момент первого испытания машины.

Все мы, конечно, помнили зловещее пророчество, произнесенное в актовом зале училища два с половиной года назад: «Никогда не взлетит». Вероятно, эти слова порой преследовали, жалили Ладошникова. Впрочем, такими переживаниями он ни с кем не делился.

С минуту Ладошников молчал. Подошел к своей постели, снял со стены полотенце. Потом выговорил:

— Прибыли? В Москву?

— Нет, во Владивосток,— ответил я.— Но уже отправлены в Москву пассажирской скоростью. Подрайский просил вам передать, что два мотора вы можете забрать прямо с вокзала.

Ладошников начал вытирать лицо полотенцем, забыв, что еще не умывался. Можно было подумать, будто ему предстояло немедленно ехать на вокзал.

— Сразу же забрать? — переспросил он.— Ишь какой любезный... С чего бы так? Должно быть, вынырнул с уловом?

— Да,— подтвердил я.— С потрясающим уловом... По-моему, это...

— Может быть, ты подождешь,— перебил Ганьшин,— пока человек умоется после работы...

Ладошников взглянул на перепачканное полотенце, расхохотался и пошел на кухню. Вернулся он в свежей вышитой косоворотке, с мокрыми, зачесанными назад волосами и, как я сразу увидел, в очень хорошем настроении. Его настроение можно было всегда определить по глазам. Обычно спрятанные, они были теперь широко открыты. Мне нравился их цвет: то темно-серый, то, в минуты увлечения или радости, темно-голубой. Сейчас они поголубели.

— Ну, Бережков,— произнес он,— чем же сегодня вас удивил Бархатный Кот?

Я сказал:

— Михаил Михайлович, мы тут с Сергеем чуть не подрались. Целый день спорили насчет некоей ультрафантастической вещи...

— Насчет некоей ахинеи,— хладнокровно вставил Ганьшин.

— А вот мы сейчас об этом спросим! — Я подошел к Ладошникову и, подражая таинственной манере Подрайского, спросил: — Михаил Михайлович, что вы скажете о колесе...

Ладошников не дал мне закончить:

— ...о колесе? Диаметром в десять метров?

— Михаил Михайлович, вы знаете? Он вам говорил?

— Это колесико я сам ему подбросил.

— Ты? — воскликнул Ганьшин.— Почему же ты мне раньше ничего об этом не сказал?

— Э, я ему этих идей столько накидал, что... Значит, он ухватился за колесико? Хорошо... Теперь наконец от меня отстанет.

И к тому же,— сказал я,— вы от него еще получите десять процентов будущего дивиденда за идею.

— Благодарю. За эти десять процентов он вытрясет из меня душу. Засадит за проект. А я этим заниматься не желаю. Мне хватит моего дела. К дьяволу его проценты! Конструктор должен быть свободным!

Конечно же свободным! В другое время я не преминул бы энергично поддержать эту потрясающую мысль, но в те минуты я видел перед собой лишь колесо.

— Михаил Михайлович, а оно пойдет?

— Почему же не пойдет? Великолепно пойдет... Нужно лишь иметь в виду...

Не прибегая к карандашу и бумаге, Ладошников удивительно наглядно, при помощи своих десяти пальцев, показал схему конструкции.

— Михаил Михайлович, а что, если...— Мой голос стал даже сиплым от волнения.— А что, если превратить его в амфибию? Понимаете, для этого мы сделаем колеса полыми. А задний каток будет свободно повисать в воде. Как по-вашему, это возможно?

— Вполне, Алеша. Молодец! Если вещь будет слишком тяжела, поставишь добавочные поплавки.

— Замечательно! — воскликнул я.— Может быть, мы их используем как цистерны погружения?

— Ого! Ты уже хочешь, чтобы амфибия плавала и под водой?

— Да! Будем брать водяной балласт и погружаться.

— С этим, Алеша, обожди... Не увлекайся.

Таким образом, поставив некоторые пределы моей разыгравшейся фантазии, Ладошников одобрил идею амфибии. Я торжествовал, а посрамленный Ганьшин обещал взяться за расчет.

В тот же вечер, придя домой, я раскрыл тетрадь, куда заносил заветные изречения и мысли, и записал: «Конструктор должен быть свободным» (Ладошников)». И поставил дату: «28 ноября 1915 года».

15

Минуло еще полторы или две недели. В багажном вагоне транссибирского экспресса моторы «Гермес» уже прибыли в Москву, два из них были отвезены на Ходынское поле в ангар-мастерскую Ладошникова... И наступил наконец знаменательный день первой пробежки самолета.

Вообразите себе эту картину. Вообразите огромное багровое солнце, вставшее над ничем не огороженным, затянутым туманной изморозью аэродромом. Поставленный на лыжи, «Лад-1» уже выведен из ангара в поле. Его сужающиеся, непривычно длинные, легкие темно-зеленые крылья притянуты тросами к вбитым в землю косты-

лям. Мотор уже гудит, работая вхолостую на разных режимах.

Когда-то, свыше двух лет назад, я видел модель этого аэроплана в углу актового зала, где Ладошников защищал свой проект, однако теперь машина в натуре заново поразила меня.

Здесь, на необозримом снежном поле, где, казалось бы, любое сооружение должно было затеряться, самолет Ладошникова все же производил сильное впечатление. Устойчивая, прочная тележка самолета была выше человеческого роста. Под корпусом, или, как мы говорим, фюзеляжем, свободно проходили люди. В те времена трудно было поверить, что этот огромный, мощный «Лад-1» может подняться на одном моторе. Но формы самолета были столь округленными, плавными, или, употребляя наше теперешнее выражение, обтекаемыми, что подчас чудилось, будто эта вещь создана самой природой.

Ладошников впервые в истории авиации обратил внимание на обтекаемость всех очертаний самолета, что другие конструкторы стали делать только десять лет спустя. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажу вам кратко: «Лад-1» был похож на современные скоростные монопланы. Сейчас вы, наверное, не нашли бы в нем ничего особенного. Но в этом-то и заключалась его необычайность.

На аэродроме, разумеется, фигурировал Подрайский. Вместе с ним приехал инженер, американец мистер Вейл, доставивший в Москву моторы «Гермес». Это был рослый, начинающий толстеть, очень общительный, экспансивный человек. Подрайский представил ему меня и Ганьшина. Мистер Вейл с радостной улыбкой приподнял свою фетровую шляпу, открывая не слишком тщательно приглаженные ярко-рыжие волосы. Несмотря на зиму, с его круглого лица еще не сошли веснушки, придававшие мистеру Вейлу простодушный вид. Он без стеснения составлял фразы на ломаном русском языке. С Подрайским он успел уже коротко сойтись, прохаживался с ним под руку.

Они направились было к Ладошникову, который, в короткой куртке, в сапогах, стоял возле самолета, глубоко нахлобучив меховую шапку, заложив руки за спину. Заметив подходивших, он насупился сильней. Подрайский остановился, придержал американца, посмотрел, подумал

и повернул назад. Конечно, от Ладошникова в такую минуту вряд ли можно было ожидать любезностей.

Приготовления закончены...

Мотор принял форсировку, взвыл. «Лад-1» плавно сдвинулся с места, заскользил по снегу, все быстрее, быстрее... Вот опытный, осторожный летчик-испытатель сбрасывает скорость, закладывает вираж; самолет, слегка накреняясь, прочерчивает по снегу правильную красивую кривую. И вдруг тяжело оседает на одну лыжу, принявшую на вираже главную нагрузку. Летчик пытается выровнять, потом останавливает аэроплан. Мы все идем туда. Выясняется, что в амортизаторе лопнула пружина. Этим завершилась торжественная первая пробежка.

И пошло... Сегодня не выдержал амортизатор, на следующий день порвались расчалки — их пришлось менять, усиливать; потом полетела шестерня, потом, после исправлений, выяснилось, что надо переделывать и соединительные муфты. Одним словом, происходила так называемая «доводка» самолета. Всякий раз пробежка оканчивалась поломкой. Всякий раз солдаты аэродромной команды тащили, волокли по полю в ангар многострадальную машину.

Ладошников мрачнел. Примитивная, убогая мастерская, устроенная в этом ангаре, конечно, не могла служить технической базой для доводки самолета. Новые детали приходилось заказывать на стороне, на одном из московских заводов. Туда ездил конструктор «Лад-1», продвигал эти заказы, следил за отливкой, за обточкой, сам получал детали, вновь собирал тот или иной узел самолета, затем опять сопровождал свой аэроплан на взлетное поле. И опять во время пробежки что-нибудь ломалось.

Меня поражало терпение Ладошникова. Он без конца исправлял и исправлял поломки, с невероятным упорством «доводил» конструкцию. А она продолжала ломаться.

Потом, в дальнейшей своей жизни конструктора, я не раз таким же образом бился над машиной. Доводка — это архимучительное дело, это целая школа выдержки, терпения. Первые уроки этой школы я прошел тогда, наблюдая упорство Ладошникова.

Он стал совсем молчалив. До нас дошел тревожный слух, что во время одной из пробежек летчик попытался

наконец поднять машину в воздух и не смог. «Лад-1» не оторвался от земли. Верно ли это? Ни я, ни Ганьшин не решились спросить об этом у Ладошникова. А он ничего не сказал. Он продолжал работать, переделал киль, переменил пропеллер.

16

Подрайский с каждым днем, с каждой неделей остывал к самолету. Теперь его «коньком» была амфибия, небывалая бронированная боевая земноводная машина с десятиметровыми колесами.

Ганьшин произвел предварительный расчет. Я изготовил чертежи.

Прошло немного времени, и в лаборатории была выстроена модель амфибии — в одну десятую величины. Выкрашенная в защитный цвет, снабженная небольшим мотором, амфибия, пыхтя и громыхая, двигалась по комнатам, куда Подрайский допускал лишь немногих избранных. Из прочных толстых томов энциклопедического словаря мы устраивали заборы, дома, окопы. Машина легко брала эти преграды. По приказанию Подрайского в одной из комнат таинственной лаборатории была вделана в пол глубокая цинковая лохань, которую наполнили водой. Мы пускали амфибию туда; ватерлиния проходила чуть выше оси, герметичность была полной, машина легко ходила на плаву и сама выбиралась из воды.

Затем наше произведение было упаковано в великолепный ящик красного дерева, и проникавший всюду, всесильный, всемогущий, вхожий чуть ли не в преисподнюю Бархатный Кот поехал в Петроград показывать изобретение царю. Кстати, на внутренней стороне крышки ящика красовалась бронзовая дощечка: «Амфибия Подрайского».

Подрайский был действительно принят Николаем. Самодержец всероссийский, как ребенок, два часа играл в кабинете нашей самодвижущейся колесницей. Николай выворотил чуть ли не всю библиотеку, расставлял на ковре своды законов, устраивал всевозможные барьеры, затем перенес испытания на воду, в комнатный мраморный бассейн, веселился и хохотал.

После этого визита на постройку амфибии был ассигнован, или, как выражался Подрайский, высочайше пожалован, миллион рублей. Миллион! Если бы вы слышали, с какой нежностью Бархатный Кот выговаривал это слово!..

У нас все было высчитано, вычерчено, можно строить. Но где? Таинственность прежде всего. Если нет таинственности, нет и эффекта, ореола вокруг дела. Таков, как вы знаете, был девиз Подрайского.

И вот он опять неожиданно пропал. Деньги есть, счета оплачиваются, поставщики любезны, а Подрайский сгинул. Проходит день, другой, третий, четвертый — Подрайского нет. Наконец, по истечении шести дней, он появился — все такой же гладкий, розовый, все с такими же бархатными черными усами.

— Что случилось? — спросил я.

— Тссс... Ни звука... Идемте в кабинет.

В кабинете я увидел странную картину. Один угол был буквально завален свернутыми в трубочку бумагами. Некоторые были расстелены на столе и на несгораемых шкафах. Оказалось, это были листы топографической карты-двухверстки издания Генерального штаба.

Закрыв дверь на ключ, Подрайский объявил:

— Нашел!

— Что?

— Нашел место для «Касатки»...

— «Касатки»?

Так иносказательно, по требованию Подрайского, мы именовали теперь нашу амфибию. «Касатка», как вы, наверное, знаете,— название одного подотряда китов.

— Да! — подтвердил Подрайский.— Мы будем ее строить в дремучем лесу.

Выяснилось, что Подрайский, которому давно уже некогда было проведать Ладошникова в его ангаре, целую неделю ездил по берегам близких к Москве рек, отыскивая места, абсолютно недосягаемые для посторонних глаз. На следующий день он повез меня и Ганьшина в облюбованное им местечко. Сначала мы ехали в автомобиле, потом в одной деревне пересели в розвальни. С немалыми трудами мы добрались до полянки в густом глухом лесу, расположенном на берегу Оки.

— Будем строить здесь! — объявил Подрайский.

Вскоре там уже работала рота саперов. Они снесли сотни деревьев, расширяя поляну. Были выкопаны невероятно сырые землянки и выстроены домики из сырых, обливающихся слезами сосновых бревен для саперно-инженерных войск, которым предназначалось сооружать амфибию.

Участок обнесли колючей проволокой, через сто — двести шагов стояли часовые.

— Когда-нибудь здесь будет город. Город Подрайск,— заявил однажды Бархатный Кот и вкусно чмокнул губами.

Но мы назвали наш участок «Полянкой». У нас появился свой паровоз и два вагона, в которых мы совершали рейсы между «Полянкой» и Москвой. На железной дороге, в кратчайшем расстоянии от «Полянки», соорудили платформу, куда выгружались прибывающие материалы. На соседних станциях дежурили солдаты. Они входили в каждый пассажирский поезд и ставили всех пассажиров спиной к окнам, чтобы никто не видел ящиков на платформе.

Словом, было сделано все, чтобы о необыкновенной, загадочной «Касатке» разузнали все, кому о ней не полагалось знать. Зато далеко вокруг «Полянки» сиял ореол тайны, вовсю пела и играла «Тона-Бенге».

А Ладошников тем временем...

17

Впрочем, лучше всего будет, если я, с вашего разрешения, сразу опишу, что произошло однажды вечером в феврале 1916 года.

Я сидел дома. Распахнулась дверь.

— Машенька, ты?

Прямо с улицы, в ботиках, в пальто, моя сестрица влетела ко мне в комнату. Я не ожидал ее увидеть в этот вечер у себя. Недавно выйдя замуж за художника Станислава Галицкого, своего однокурсника по Строгановскому училищу, она перестала баловать меня своими посещениями. Теперь из уважения к молодоженам я сам должен был посещать их семейный дом, поглощать там «питательные домашние обеды».

Маша уселась на моей постели и едва переводила дух. Пристало ли замужней женщине вести себя так несолидно?

— Что с тобой?

— Я сейчас встретила Ладошникова. Он совершенно пьян.

— Ладошников? Машенька, ты не ошиблась?

— Он кого-то на улице побил.

— Побил? Ну, значит, это не он.

— Как же не он? Он же со мной разговаривал... Алеша, надо сейчас же идти его искать.

Отдышавшись, Маша более или менее связно рассказала про свою встречу. Проходя по Неглинной, она увидела, что на тротуаре сгрудилась толпа. Хотела перейти на другую сторону, но вдруг заметила выдававшуюся над толпой голову Ладошникова в глубоко нахлобученной меховой шапке. Он что-то кричал. Конечно, моя сестрица, не раздумывая, бросилась к Ладошникову. Он держал за ворот какого-то господина с черными усиками, одетого в дорогую шубу.

— Знаешь, Алеша,— говорила сестра,— этот человек показался мне в первый момент очень похожим на Подрайского. Такой же кругленький, холеный. А Ладошников кричал: «В землю вколочу! Нажился, мерзавец, на войне!» Я так и не поняла, с чего у них началось, но публика явно сочувствовала Ладошникову. Тут послышались полицейские свистки. Я взяла Ладошникова под руку и поскорее увела.

— Куда?

— Если бы я знала куда... Понимаешь, он послушно шел. И все рассуждал о том, какая у тебя, Алешка, чудесная сестра...

— Это Ладошников так разговорился?

— Да, идет, разглагольствует... Я вдруг поняла, что он дико пьян. Повела его к нам, он вырвался и ушел...

— Как же ты упустила его?

— Ну, знаешь... Попробуй удержи такого дядю.

Я принялся быстро одеваться. Конечно, надо идти искать Ладошникова. Если он запил, то... Наверное, ему очень тяжело.

— Алеша, я думаю...— нерешительно произнесла Маша.— Думаю, что тот слух был, возможно, правильным.

Я кивнул. Мы с Машей легко понимали друг друга, у меня не было секретов от сестры. Но неужели Ладошников отчаялся, сдался? И куда же он пошел? Где его искать?

Не теряя времени, я отправился к Сергею.

18

Сергей, к счастью, оказался дома. Однако известие о пьяном Ладошникове не произвело на него особенного впечатления.

— Во-первых, мы с тобой ему не няньки,— сказал Ганьшин.— А во-вторых, ничего с ним не случится. Он и раньше запивал... И что же — обходилось...

— Как запивал? Когда?

— Разве ты не знаешь? У него это чуть ли не с шестнадцати лет... Тут, брат, целая история.

Отвечая на мои нетерпеливые расспросы, Ганьшин поведал мне примерно следующее. Ладошников рос болезненным, хилым. Неумная мать нередко причитала над ним, вбила ему в голову, что он «захудаленький», «несчастненький». Его отчим — портной на московской окраине — не любил ребенка. Так Михаил Ладошников и стал угрюмым, диковатым и, несмотря на бесспорную одаренность, скованным всегдашним сомнением в своих силах. Однажды — кажется, в день окончания реального училища — его напоили водкой. И вдруг он заорал на отчима, замахнулся на него кулаком и, едва веря себе, увидел, что тот попятился, испугался, побледнел.

Потом было тягостное пробуждение. Ладошников еще больше замкнулся, помрачнел. Однако с тех пор он стал время от времени прикладываться к горькому вину. Он пил не часто, но помногу — запивал.

Лишь спустя многие годы, общение с Николаем Егоровичем Жуковским, работа над проектом «Лад-1», казалось бы, почти исцелили Ладошникова. И вот он снова сорвался.

— Мы должны его найти,— заявил я.— Было бы подлостью оставить его в такой момент.

И я выложил разные мои мысли и предположения о том, что стряслось с Ладошниковым. Ганьшин слушал, покуривая трубку. Потом сказал:

— На днях я снова пересчитал его вещь. Расчет ве-

рен. Самолет должен взлететь. Я вижу лишь одну причину неудачи...

— Ну, ну, не томи... Какую?

— Мотор...

— Что мотор?

— Полагаю, что мотор не развивает мощности, указанной в прейскуранте фирмы.

— Ну, Ганьшин, это ты хватил... Что ты? Это же Америка!

— А что Америка? Там мало «бархатных котов», что ли?

Я призадумался. Ныне этому трудно поверить, но тогда, в 1916 году, американские моторы «Гермес» были действительно приняты нами без проверки мощности, на веру. Считалось так: если в прейскуранте фирмы указано «250 сил», значит, это свято. Разумеется, мы погоняли мотор «Гермес», я собственноручно разобрал и собрал один экземпляр, повозился с ним, удовлетворяя свою любознательность конструктора. Более детальным изучением мотора на испытательном станке, который имелся в лаборатории Николая Егоровича Жуковского, мне тогда некогда было заняться. Я отложил это на будущее. В те дни меня, как вам известно, целиком захватило колесо.

— Черт возьми,— воскликнул я,— неужели впрямь?..

— Убежден,— сказал Ганьшин.— Убежден, что «Гермес» недотягивает... И в этом вся загвоздка. Завтра же надо проверить его мощность.

— Так пойдем же! Скорей пойдем искать Ладошникова!

Ворча, Ганьшин все-таки оделся, и мы вышли.

19

Не буду перечислять всех мест, где мы побывали, отыскивая Ладошникова. Его следы были обнаружены на квартире Пантелеймона Гусина — изобретателя аэросаней, с которым Ладошников был дружен. Конструктор самолета «Лад-1» забрел туда после встречи с Машей, не застал Гусина и опять канул в ночную Москву.

Наконец часа в два или в три ночи мы, адски измученные, все-таки нашли его в ночной извозчичьей чайной, где-то на одной из Тверских-Ямских, близ Брестского вокзала.

Мне запомнился туман, застивший там все. Каждый раз, когда в чайной открывалась дверь, туда врывались клубы морозного пара. Электрические лампочки светились сквозь туман большими расплывчатыми пятнами.

Замерзшие, усталые, мы с Ганьшиным буквально плюхнулись на стулья возле столика Ладошникова. А он не удивился, ничего не сказал. Словно так и полагалось, чтобы в третьем часу ночи, чуть ли не под утро, сюда ввалились мы.

В его лице, необычно бледном, не было, казалось, и следов мрачности, угрюмости. Он даже выглядел веселым. Рядом с Ладошниковым сидели два извозчика в синих поддевках. Наш приход, как видно, оборвал оживленную беседу.

В чайной вкусно пахло жаренной на сале колбасой. Проголодавшись, я потягивал носом. Пахло и водкой. Тогда, на время войны, продажа водки была запрещена. Здесь, а также в заведениях вроде этого, ее наливали в белые фаянсовые чайники, предназначенные для кипятка. В маленьких чайничках, которые всегда для порядка подавались вместе с большими, был заварен чай.

Ладошников заглянул в большой чайник и крикнул в туман, чтобы нам принесли стаканы.

Ганьшин усердно протирал очки. Ему не терпелось начать разговор. Он уже позабыл, как ворчал, когда я тянул его на мороз, на поиски. Постепенно войдя в азарт, он еще дорогой предвкушал, как огорошит Ладошникова, обрадует его. Сейчас Ганьшин улыбался и близоруко щурился. Ладошников придвинул ему чайник. Ганьшин сказал:

— Слушай! Я, кажется, нашел причину, из-за которой твой аэроплан...

Ладошников вскинул голову, нахмурился. У него вырвался запрещающий жест. Он простер руку или, верней, пятерню, широкую в кости, грубоватую, с почерневшими от металлической пыли и смазки подушечками пальцев, пятерню конструктора и мастерового, которая когда-то поразила меня.

— Брось! — прокричал он.

— Погоди! Ты думал о том, что никто не проверял мощность мотора?

Но Ладошников явно не воспринял этих слов. Он шлепнул ладонью по мокрой клеенке, как бы пресекая

этим всякие разговоры об аэроплане. Ганьшин все же не сразу унялся. Мне пришлось охлаждать его пыл.

Ладошников налил всем водки. Мы выпили. Потом пили еще. Закусывали горячей колбасой со сковородки. Стало жарко. Захотелось спать. Мне уже нравился и туман, плавающий в чайной, и то, что свет лампочек совсем расплывался в глазах. Ганьшина, беднягу, тоже порядком развезло, но он опять заговорил о том же... Сквозь приятную дрему я слышал: «мотор «Гермес», «прейскурант», «заявленная мощность...» Потом у Ганьшина стал заплетаться язык...

Эта встреча завершилась неожиданно. Ладошников впоследствии всегда хохотал, вспоминая ту ночь. Он уверял, что протрезвел именно в тот момент, когда нас окончательно сморило. Поняв наконец, о чем толковал ему Ганьшин, он уже не мог добиться от нас ничего путного. Оба друга, которые примчались, чтобы спасти Ладошникова, уже, как говорится, не вязали лыка.

Пришлось Ладошникову везти нас на извозчике к себе.

20

Предположения Ганьшина оказались верными. Фирма «Гермес» действительно несколько завысила в рекламных прейскурантах мощность своего авиамотора. Выражаясь нашим профессиональным языком, «Гермес» недобирал до заявленных данных десять — двенадцать процентов.

Все это мы выяснили в аэродинамической лаборатории Московского Высшего технического училища. Вся лаборатория, как я, кажется, уже упоминал, занимала одну большую комнату, выделенную правлением училища.

Участники студенческого воздухоплавательного кружка сами смастерили все приборы. В одном углу высилась так называемая ротативная машина, несколько похожая с виду на гимнастические «гигантские шаги», служившая для исследования воздушных винтов — пропеллеров. Эту машину изобрел и построил один из учеников Жуковского, замечательный конструктор самолетов Сабин, к сожалению умерший молодым. Там же, в этой комнате, находились две аэродинамические трубы: одна круглая, диаметром в метр, другая прямоугольная, или, как ее называли, плоская,— сколоченные из обыкновенных досок. В свое

время Ладошников (разумеется, под началом Николая Егоровича) спроектировал эти трубы, а затем, вооруженный инструментами слесаря и плотника, сам с двумя-тремя товарищами их соорудил.

Кажется, я вам уже говорил, что характерной чертой Ладошникова было пристрастие к опытам, к экспериментированию. Он, например, из года в год с удивительной настойчивостью занимался исследованием полета мух и стрекоз, создав для этой цели собственную миниатюрную аппаратуру.

Поначалу эти его опыты вызвали ряд шуток, кто-то из товарищей прозвал его повелителем мух, но... Если вы хорошо представляете себе Ладошникова, то легко поймете, что подтрунивать над собой он никому не позволял.

Он очень серьезно относился ко всему, что делал. В аэродинамических трубах он множество раз продувал модель своего «Лад-1».

Приникая к стеклу, вставленному в стенку трубы, Ладошников часами следил, как ведет себя модель в набегающем воздушном потоке. Однако такого рода наблюдения не удовлетворяли Ладошникова. Ему же, необыкновенному конструктору, принадлежала одна выдумка, которая поныне применяется во всех аэродинамических лабораториях мира. Он стал обклеивать крылья, фюзеляж и хвостовое оперение продуваемой модели шелковинками, то есть тончайшими нитями некрученого шелка, которые делали как бы видимыми потоки воздуха, всяческие завихрения, срывы струй, показывали картину обтекания.

Таким образом, обтекаемость всех форм самолета, чем Ладошников как бы предвосхитил будущее авиации, была не только изумительной догадкой конструктора, но и... Нет, скажем лучше так: была изумительной догадкой, возникшей на основе упорного, последовательного, долгого труда.

Однако мы немного отвлеклись. В большой и вместе с тем невероятно тесной комнате, где расположилась лаборатория Жуковского, приютился и станок для испытания авиационных моторов. Станок мы тоже соорудили сами в мастерских училища. Скромная, недорогая, далеко не совершенная аппаратура в нашем уголке моторов была, однако, достаточно точной. Там, в лаборатории, уже в те времена возникла целая школа искусства испытания и измерения. Три студента — ныне серьезные деятели авиа-

ции — посвятили себя, и, как выяснилось, на всю жизнь, тому, что казалось всем нам чем-то малозначительным, малоинтересным,— аппаратуре лаборатории, испытательным и измерительным приборам.

И вот эти приборы показали, что «Гермес» «недобирает».

Ганьшин не мог себе простить, что доверился каталогу фирмы. Он, который ничего не брал на веру, вдруг так влип! Ладошников отмалчивался. Что же сказать? Ругайся не ругайся, а мощность мотора этим не поднимешь... А вдруг? Я всегда, во всех каверзах, надеюсь до последнего момента на некое «вдруг»...

— Вдруг мы до чего-то не додумались,— говорил я.— Скажем, определенный состав горючей смеси... Или какой-то способ форсировки... Вызовем представителя фирмы. Ведь американец лучше нас знает свой мотор... И вдруг!.. Это же известная американская фирма...

— Да, теперь-то нам она известна,— съязвил Ганьшин.

— А разве мы в конце концов не сможем заставить ее исполнить договор? Привлечем Подрайского... Надо, кстати, поскорее ему обо всем сообщить.

Я готов был тотчас же помчаться к месту службы, в таинственный особняк на Малой Никитской, но услышал громкий смех Ладошникова. Такова была его особенность. Он редко принимал участие в наших разговорах, но умел неожиданно расхохотаться и вставить резкое меткое словцо.

— Беги за сочувствием, Бережков,— проговорил он.— Имей только в виду, что Бархатный Кот сам никого никогда не надувал. И, наверное, не представляет себе, что это такое. Выдержит ли его нежная душа?

21

Нежная душа Подрайского выдержала. Впрочем, сперва он встревожился.

— А «Касатка»? «Касатку» он все-таки сдвинет?

Да, путь к сердцу Подрайского пролегал лишь через фантастическую земноводную машину — все было поставлено на эту карту...

— Сдвинет, конечно,— уверил он себя.— А на крайний случай у меня есть на примете нечто... Но пока тссс...

И он не сказал мне больше ни слова об этом таинственном «нечто». Его глазки вдруг сощурились, и на круглой розовой физиономии выразилось нескрываемое удовольствие. Я с изумлением наблюдал эту метаморфозу.

— Вообще говоря, все это очень хорошо! — продолжал он.

— Что хорошо?

Подрайский наклонился ко мне и, словно сообщая величайшую тайну, прошептал:

— То, что я еще не заплатил денег фирме «Гермес».

Откинувшись, он посмотрел на меня с видом человека, окончательно уверовавшего в собственный гений. Я все же решился напомнить:

— А как же «Лад-1»?

Но Бархатный Кот словно не слышал.

— Попрошу вас, Алексей Николаевич, завтра снова произвести испытание «Гермеса». Я привезу мистера Вейла.

— Обязательно привезите его. Возможно, он нам что-нибудь укажет. Какой-нибудь секрет или каприз мотора, чего сами мы не раскусили.

— Возможно, возможно,— промурлыкал Подрайский.

22

Американец явился в наилучшем, казалось бы, расположении духа. Его, видимо, ничуть не смутила претензия к произведению фирмы «Гермес». Войдя в лабораторию, он — ярко-рыжий, с веснушками на широком носу, в расстегнутом пиджаке, под которым обрисовывался животик,— с нескрываемым любопытством огляделся и приветствовал нас громким добродушным возгласом.

Ладошников, насупившись, едва ему кивнул. Мы с Ганьшиным поклонились тоже весьма сдержанно.

Невзирая на такой прием, мистер Вейл без малейшего смущения стал осматривать лабораторию, подошел к ротативной машине, выразил свое одобрение, покровительственно похлопал рукой по деревянной обшивке круглой аэродинамической трубы, направился к станку для испытания моторов, возле которого уже стояли все четыре авиадвигателя «Гермес», пригляделся к щитку измерительных приборов и опять одобрил:

— О, русски прибор! Хорошо... Очень хорошо!

Подрайский, следя за Вейлом, любезно давал ему некоторые объяснения, хотя не имел на это никаких полномочий. Мы молча наблюдали. Вчуже посмотреть — перед нами были два добродушных, милейших человека. Наверное, и я принял бы за чистую монету их приятные улыбки, если бы не знал подоплеки.

Укрепив на станке мотор, мы приступили к испытанию. Все показатели, как и в прежние разы, оказались меньше того, что фирма обещала в прейскуранте. Этот прейскурант, отпечатанный на плотной глянцевитой бумаге, неожиданно оказался в руках у Подрайского. Мне всегда чудилось, что такие предметы он достает, как фокусник, из рукава или попросту из воздуха. Чарующая улыбка играла на его физиономии.

— Вот-с,— произнес он, предъявляя прейскурант.— Не то-с...

Рыжий американец рассмеялся. Очевидно, у него был наготове неотразимый ответный ход. Протянув руку к панели, где были расположены измерительные аппараты, он проговорил:

— Русски прибор!

И замотал головой, показывая, что он, представитель американской фирмы, не может доверять нашей установке. Пожалуй, только в ту минуту я понял, почему вся его манера вызывала во мне смутную неприязнь. В его непринужденности сквозило явное пренебрежение.

Американец продолжал:

— О, этот прибор не для серьезный разговор!

Улыбка Подрайского стала несколько искусственной. Неужели и его задел тон американца? Нет, Подрайский остался Подрайским. Он был действительно взволнован, но лишь попыткой Вейла расстроить его хитросплетения.

Но Бархатный Кот не успел ничего вымолвить. Ладошников шагнул к американцу и, глядя на него в упор, отчетливо спросил по-английски:

— Больше ничего вы не имеете сказать?

Высокий — на голову выше толстяка американца,— сильный, костлявый, Ладошников был грозен. Конструктор аэроплана, он требовал ответа от фирмы, которая, вопреки своим обязательствам, так и не представила мотора обусловленной мощности. Вейл опешил перед этим натиском. Может быть, он испугался: как бы этот русский

верзила не ударил? Однако, ничего больше не промолвив, Ладошников круто повернулся и пошел из лаборатории.

Вейл кинулся ему вдогонку. Американец мигом сообразил, что в интересах фирмы — поскорее поладить миром. Ссора с клиентами? Скандал? Ни в коем случае!

Мы увидели, как Вейл, живо жестикулируя и рассыпаясь в извинениях, влек Ладошникова обратно в лабораторию. При этом американец чуть ли не обнимал Ладошникова, от чего тот энергично уклонялся.

Мешая русские и английские слова, Вейл говорил:

— Мистер Ладошников, пожалуйста, садитесь... Я вас понимаю... Понимаю как конструктор... Все сделаю для вас, мистер Ладошников... Конечно, отклонения в мощности на несколько процентов в ту и в другую сторону вполне возможны...

— К сожалению, у вас отклонения только в одну сторону,— буркнул Ладошников.

— Мы подберем для вас... Даю вам слово, мистер Ладошников... Если хотите, мы сегодня же напишем нашей фирме...

Тут прозвучал голос Подрайского — он, конечно, не упустил момента:

— Да, да, напишем... Обязательно напишем.

Поймав Вейла на слове, вцепившись всеми коготками в его неосторожно вырвавшееся обещание послать фирме письмо, Подрайский мгновенно расцвел. Мурлыкая, чуть ли не напевая, он взял Вейла под ручку и, мило попрощавшись с нами, подмигнув нам, увел американца.

Мы остались втроем в лаборатории. Чего же мы добились? Американец не показал нам никакого секрета, ничего не открыл. На станке все еще стоял мотор «Гермес», совершенно новенький, блещущий алюминием и сталью. Ни одна струйка масла не выбивалась из клапанов, не стекала по серебристому корпусу. Конечно, что ни говори, это отличная вещь. Лишь высокого развития индустрия могла выпускать такие машины. В американском моторе не было никакой поражающей оригинальной идеи — конструктор использовал и скомпоновал то, что уже было достигнуто моторостроением в разных странах,— но козырем фирмы, несомненно, была технология массового производства.

Как вы знаете, американцы еще прихвастнули, преувеличили достоинства своего мотора и подвели этим нас, но... Но где же нам взять другой? Где найти более мощный

двигатель? У нас, в России, авиационные моторы не производились... Значит, надо уповать все на ту же фирму «Гермес».

Ну, рассмотрим лучший случай. Мистер Вейл напишет своей фирме, письмо пойдет через океан, нам отгрузят из Америки новые моторы, которые опять направятся морем в Россию, морем, где рыщут немецкие подводные лодки. Предположим, что прибудут моторы повышенной мощности (что весьма сомнительно). Но когда мы их получим? Через полгода, вряд ли раньше. Неужели ждать? Неужели ничего нельзя поделать?

Я понимал, что ни на какое «вдруг» уже нечего рассчитывать. И все-таки... Все-таки думалось: а вдруг?!

23

Расскажу еще об одной встрече с Ладошниковым. Ганьшин к тому времени жил уже отдельно от него, снимал для себя комнату.

Надо вам сказать, что каждое утро по пути на службу я заходил к Ганьшину пить кофе. Это были наши так называемые кофейные утра. Став сотрудниками лаборатории, мы считались «богачами» и частенько обходились без дешевой студенческой столовки. Ганьшин умел очень вкусно варить кофе. К столу подавались какие-то замечательные булочки, только что из пекарни, еще теплые, с поджаристой, хрустящей корочкой. Мы пили кофе и разговаривали о математике, механике, аэродинамике. Как всегда, в моей голове бродили десятки технических фантазий, которые я с воодушевлением излагал Ганьшину, а он преспокойно рассматривал их в свете безжалостных законов физики.

В то же время мы не прочь были развлечься. Как-то я притащил из таинственного особняка стеклянную трубку длиной в метр и диаметром приблизительно в мизинец. Эта трубка стала нашим охотничьим спарядом. Из бумаги делался небольшой фунтик, склеенный слюной. К его острию прикреплялось стальное писчее перо. Затем этот фунтик вкладывался в трубочку и кто-нибудь из нас — главный конструктор или начальник расчетного бюро — изо всей силы дул. Фунтик расправлялся, скользил, плот-

но прилегая к стенкам, и затем, согласно законам аэродинамики, вылетал в виде страшной смертоубийственной стрелы. Вороны были нашей излюбленной мишенью — их немало полегло у окон Ганьшина. Нам очень хотелось убить воробья, мы по очереди целились и выпускали стрелы, но ни одного не удалось ухлопать. Это называлось утренней охотой.

И вот в одно из таких утр к Ганьшину кто-то постучался. В охотничьем азарте я не расслышал стука. Помнится, я стоял на табурете у раскрытой форточки и прицеливался из трубки. Ганьшин дернул меня за ногу. В дверях стоял Ладошников. Стараясь не выказать смущения, я лихо продемонстрировал Ладошникову нашу охотничью трубку, показал склеенный из бумаги фунтик, предложил полюбоваться моей меткостью. И вдруг встретил странный взгляд Ладошникова. Он смотрел из-под нависших лохматых бровей холодно, отчужденно, зло. Меня пронял, ожег этот взгляд. В самом деле, где-то в заиндевевшем, промозглом ангаре на Ходынке стоит под замком самолет Ладошникова, стоит уже всеми покинутый, оставленный, уже никто не выводит этот аэроплан на взлетную дорожку, никто больше не пытается поднять его над землей. И вот к нам пришел его создатель, конструктор, переживший великое горе, а я... До сих пор я вижу этот неприязненный, колючий взгляд.

Ладошников сказал, что по приглашению Николая Егоровича Жуковского он на днях начинает читать для военных летчиков курс лекций по аэродинамике. Он пришел к Ганьшину за некоторыми материалами для лекции «Расчет аэроплана». Разумеется, Ганьшин сейчас же принялся подбирать эти материалы. Свои бумаги Ганьшин содержал в полном порядке и теперь быстро находил все нужное. Однако, взяв одну тетрадь в черной клеенчатой обложке, он остановился в нерешительности. Я понял: это была тетрадь полного аэродинамического расчета «Лад-1». Конечно, она причинит Ладошникову новую боль. Однако, мгновение поколебавшись, Ганьшин присоединил ее к пачке материалов, отложенных для Ладошникова.

Но о самолете «Лад-1» никто из нас ничего не вымолвил. Мне хотелось чем-то нарушить этот непреднамеренный тягостный заговор молчания, хотелось что-нибудь сказать о самолете, но слов не находилось.

Меня терзало бессилие. «Никогда не взлетит!» Опять звучало в ушах это зловещее пророчество.

Ладошников недолго у нас побыл. Захватив бумаги, он сумрачно ушел.

24

События развивались дальше следующим образом.

От Бархатного Кота вдруг словно отвернулась фортуна. Если вы помните, он каким-то образом успокоил себя относительно судьбы амфибии, когда выяснилось, что «Гермес» недотягивает. «Что-нибудь придумаем!» — неопределенно воскликнул он. Оказалось, что на всякий случай он уже имел на примете другой двигатель для вездехода — немецкий мотор «Майбах», мощностью двести шестьдесят — двести семьдесят сил, который достался нам в качестве трофея из упавшего за нашей линией фронта «цеппелина». Подрайский был уверен, что этот мотор ему удастся заполучить для «Касатки». Но просчитался — «Майбах» уплыл, был отдан для нового русского управляемого дирижабля. Другого «Майбаха», пока идет война, конечно, не добыть.

В эти же дни неожиданно последовал и еще один удар. Морское министерство, где утверждался наш проект, установило толщину броневого листа, которая значительно превосходила ту, что мы запроектировали. Из-за этого вес нашей машины возрастал еще на две тысячи пудов. Ганьшин тщательно пересчитал конструкцию.

И вот однажды утром он преподнес мне новость. Расчеты показали, что мотор «Гермес» не потянет амфибии, отяжеленной усиленной броней. Не потянет даже и в том случае, если фирма «Гермес» предоставит двигатель, вполне отвечающий данным прейскуранта. Следовало сокращать диаметр колеса до семи метров или...

— Что или? — выкрикнул я.

Ганьшин пожал плечами.

— Или ставить мотор в триста сил.

Триста сил? В то время, насколько мы знали, никто, ни у нас, ни за границей, не сконструировал бензинового мотора такой мощности.

Подрайский не хотел и слышать о сокращении размеров колеса.

— Десять метров, и ни миллиметра меньше! — восклицал он.— Десять метров или все погибло!

Почему «погибло», каким образом «погибло», этого он нам не объяснял. Откровенно говоря, этого я до сих пор не понимаю. Ведь и семиметровые колеса были бы чудовищно грозными. Но восклицания Подрайского, его отчаяние, его шепот действовали гипнотизирующе. Я ходил по Москве, завороженный этими словами: «Десять метров или все погибло!»

По утрам Ганьшин и я на разные лады обсуждали положение. Подрайский мрачнел с каждым днем.

Но однажды, когда мы с Сергеем пили кофе, разговаривая все о той же незадаче, у меня вдруг загорелись уши.

— Идея! — закричал я.— «Касатка» пойдет.

Ганьшин недоуменно на меня взглянул.

— Ты полагаешь, что «Гермес» все-таки...

— К дьяволу «Гермес»! Идея! «Касатка» пойдет! И «Лад-1» взлетит! У нас будет мотор!

— Какой мотор? Что тебе взбрело?

— Новый мотор! Русский мотор! Мотор в триста сил!

25

Бережков с минуту помолчал. Его уши, загоревшиеся в тот давний день, и сейчас порозовели. Улыбаясь, он многозначительно поднял указательный палец.

— Вот тут-то и появляется на сцену,— продолжал он,— мой юношеский лодочный мотор. Помните, я вам о нем рассказывал. Помните: весна, река, на берегу — друзья, среди них моя любовь, я завожу мотор, раздается чудеснейший стук, я стою у руля, мой собственный мотор уносит лодку, с берега кричат и машут...

— Да, Алексей Николаевич, все это записано.

В записях прежних бесед с Бережковым, что я с торжеством принес в горьковский «кабинет мемуаров», уже были рассказаны многие приключения юного конструктора.

Уже было записано:

как он изобрел водяные лыжи и подводную лодку;

как смастерил в консервной банке паровую турбину, которая, конечно, взорвалась, от чего едва не сгорел весь дом вместе с отчаянным мальчишкой-изобретателем;

как, уже учеником реального училища, он влюблялся, страдал, писал стихи;

как пускал самодельные фейерверки;

как был первым конькобежцем, первым танцором и первым забиякой;

как подымался дым коромыслом всюду, куда он приходил, и как среди всего этого самыми прекрасными были часы, проведенные в физическом кабинете реального училища, когда он не дышал, производя опыты;

как не спал всю ночь после демонстрации паровой машины и перед ним в темноте двигались шатуны, поршни и валы;

как однажды он решил создать новый тип двигателя с небывалыми противовесами и как это стало его мальчишеской мечтой;

как каждое лето он ездил с Ганьшиным в деревню, где по соседству жил Николай Егорович Жуковский, и как Николай Егорович, окруженный гурьбой мальчишек, пускал в небо бумажные воздушные шары, наполненные горячим воздухом; как однажды Жуковский приехал в Нижний Новгород читать публичную лекцию об авиации, а мальчик Бережков стоял с тряпкой у доски, гордясь поручением Николая Егоровича стирать формулы и забывая это делать, воображая себя на самолете, чувствуя, как горят уши и прохватывает дрожь;

как на пустыре, за городом, вместе с ровесниками и друзьями строил деревянный самолет и приучался к высоте, натянув канат между верхушками двух огромных сосен и курсируя от одной сосны к другой в плетеной корзине, прикрепленной к канату;

как выдержал конкурсный экзамен в Московское Высшее техническое училище и как настал конец всякому учению, лишь только он увидел великолепные мастерские училища, литейную, механическую, кузницу, ибо там он мог наконец — теперь или никогда! — исполнить заветную мечту: построить мотор собственной конструкции — мотор, который понесет его, Бережкова, в пространство;

как он жил, забросив лекции и зачеты, завороженный своим лодочным мотором; как, сработав чертежи, затем сам сделал модели в деревообделочной, научился изготовлять отливки, сам выточил все части на станке, много дней подшабривал, подпиливал, пригонял по месту и, наконец,— о, радость, о, победа! — его мотор дал вспышку, застучал.

И вот весна, река, на берегу — друзья, он заводит свой мотор, раздается чудесный стук, он, шестнадцатилетний победитель, стоит у руля, его мотор уносит лодку, с берега кричат и машут.

Обо всем этом и о многом другом — о своей студенческой практике на Людиновском заводе, об участии в воздухоплавательном кружке, о новых изобретениях, новых приключениях,— обо всем этом Бережков уже рассказал в наши первые встречи.

Все это было записано.

Выслушивая эти удалые рассказы, я мысленно делал некоторую «поправку на снос». От сестры Бережкова, Марии Николаевны, я знал, что его юные годы были вовсе не безоблачными. Воспитываясь без матери, он подолгу жил у дальних родственников и, дорожа независимостью, стал уже в старших классах зарабатывать себе на жизнь. Однако я видел, что самого Бережкова не заставишь жаловаться на пережитое.

— Все записано,— повторил я.

— Интересно?

— Очень. Хочется скорее дальше. Вы крикнули: «Мотор будет!» А Ганьшин?

26

— Сергей? — переспросил Бережков.— Конечно, как вы сами можете предположить, насмешливая физиономия Ганьшина не выразила никаких признаков воодушевления.

Зная по опыту, что сейчас ему предстоит выслушать одну из моих фантазий, излагаемую с адским темпераментом, Ганьшин поудобнее растянулся в кресле и, прищурясь, рассматривал меня с таким видом, словно я был неким забавным существом. Конечно забавным. Ведь дело шло о моторе в триста лошадиных сил, в то время как немцы сумели дотянуть лишь до двухсот шестидесяти свой новейший двигатель для «цеппелинов», а американский «Гермес» не выжимал даже, как мы видели, и двухсот пятидесяти.

Но передо мной буквально в одно мгновение — это одна из моих особенностей, сохранившаяся по сей день,— ясно вырисовалась конструкция нового мотора. Я как бы узрел эту вещь в воображении. В подобных случаях я готов защищать свое до обморока.

— Подожди! — Я вскочил.— Через полчаса вернусь.

Я выбежал, поймал первого проезжавшего извозчика и через полчаса втащил на плечах в комнату Ганьшина свой маленький лодочный мотор.

И вот тут, разглядывая в натуре мою конструкцию, Ганьшин наконец заинтересовался.

Однако у него оставалось множество сомнений. И не только технических... Ни с того ни с сего в нем заговорил философ.

— Ну, выстроим мотор. А для чего?

— Как для чего? Ты что, сам не знаешь?

— Разве люди станут счастливее от твоего мотора?

— Оставь ты свою меланхолию.

Но он упрямо повторил:

— Разве люди станут счастливее от твоего мотора? Зачем, для чего мы его будем строить?

Подобное настроение время от времени накатывало на Ганьшина. Послушать его — так не стоило работать, не стоило жить.

Я ему ответил:

— Во-первых, мы дадим мотор Ладошникову, то есть докажем, что «Лад-1» может взлететь. Ты представляешь, как это прогремит? Молодые русские конструкторы дали самый лучший самолет и самый лучший мотор в мире...

— И что же? Для чего?

— Для покорения неба! Для развития авиации! Для России!

— Ну, что касается России, то... Кто в ней торжествует? Бархатный Кот и подобные ему пройдохи... Ведь ты отдашь ему в руки свою вещь. Твой мотор — это его удача.

Разумеется, Ладошников на моем месте буркнул бы в ответ: «Не всегда эта нечисть будет верховодить у нас». Но я был очень далек от политики, от революции, считал, что моя сфера — только техника, техническое творчество. В наших философских спорах, буде они возникали, Ганьшин почти всегда загонял меня в тупик своими скептическими силлогизмами. Сейчас, по его логике, выходило, что мой будущий мотор лишь укрепит царский деспотизм. А вдруг это в самом деле так? От всех этих вопросов я всегда в конце концов спасался бегством, уползал, как улитка в свою раковину, под прикрытие формулы «творчество для творчества».

— К черту философию! — закричал я Ганьшину.— Ничего не желаю знать. Желаю только выстроить мотор, который я придумал, какого еще нет на земном шаре.

Должен сказать, несколько предваряя дальнейшее повествование, что и в новом, социалистическом мире я не так-то легко пришел к иному пониманию законов творчества, таланта. А в те времена, о которых идет речь, позиции индивидуализма, позиции «техники для техники» казались мне неуязвимыми. Во всяком случае, в те времена только они давали мне возможность погружаться в творчество. Это была моя броня, панцирь конструктора, панцирь, которого не пробивали стрелы Ганьшина.

Вдоволь пофилософствовав, с несомненностью установив, что жизнь не имеет никакого смысла, Ганьшин соблаговолил вновь обратить взор на мой лодочный двигатель.

— Принцип интересен,— сказал он,— но мы с тобой не справимся...

— Почему? Ведь сделал же я маленький мотор.

— Здесь ты все пригонял по месту, а там придется рассчитать... И все неясно... Все совершенно ново...

— Чудак! В этом и суть! Этим-то мы и победим все моторы мира.

— Нет, по всей вероятности, только осрамимся.

Он перечислил массу технических неясностей, всяческих трудностей, которые возникнут у нас при проектировании такого авиационного двигателя. Он предполагал, что расчеты будут умопомрачительно сложны. Нет, он не берется за математический анализ этой конструкции. Да и никто не возьмется. Пожалуй, только Жуковскому по плечу такая задача.

— Жуковскому? Я пойду к нему...

— Ну, знаешь, надо иметь совесть. Не каждый способен беспокоить его из-за таких пустяков.

— Пустяков?! — заорал я.

Однако Ганьшин не долго пребывал в позиции скептика.

Мой накал в две тысячи градусов Цельсия разогрел в конце концов и его. Еще через час — впрочем, тут мы внезапно обнаружили, что пора зажигать свет, что день уже прошел, что таинственная лаборатория обошлась сегодня без нашего присутствия,— я уже чертил за столом Ганьшина, и мы уже обсуждали разные подробности конструкции авиамотора в триста лошадиных сил.

Я остался ночевать у моего друга, но не мог заснуть и несколько раз поднимал его, ворчащего и сонного, чтобы выложить блеснувшие мне новые соображения. Под утро в уме появилось название мотора. Я опять немедленно разбудил Ганьшина.

— Ганьшин! Ганьшин! Ну, проснись же! Есть название для мотора...

— Отвяжись...

— Послушай, как оно звучит... Нет, ты послушай!

Ганьшин сделал вид, что затыкает уши, но я продолжал:

— «Адрос». Авиационный двигатель «Россия». Что, подходяще?

— Угомонись! Никакого «Адроса» еще нет, да и, наверное, не будет.

— Будет! Ты же сам согласился, что надо идти к Николаю Егоровичу.

— Иди, иди... Только дай, пожалуйста, поспать.

— Не дам! Говори, как тебе нравится название.

27

В пылу рассказа Бережков посмотрел на меня с вызовом, словно перед ним сидел не я, а несносный Ганьшин. Сложив руки на груди, Бережков стоял под портретом своего учителя — седобородого грузноватого профессора в широкополой шляпе и болотных сапогах. Мне хотелось побольше разузнать о Жуковском. Вновь услышав его имя, я сказал:

— У меня сделана заметка: «Жуковский с черной бородой». Вы просили напомнить.

— Да, да! — воскликнул Бережков.

Казалось, он даже обрадовался. У Бережкова-рассказчика была характерная особенность: он не любил плавного, ровного повествования и, случалось, моментально перескакивал с одной темы на другую.

— Да, да! — воскликнул он.— Это надо описать. Потом вы все это расположите в порядке. Как я уже докладывал, каждое лето мой отец отсылал меня с сестрой, рано заменившей мне мать, в деревню, в гости к Ганьшиным. Рядом находилась родовая усадьба Жуковских. В этой усадьбе, совершенно доступной всем окрестным ребятишкам, Николай Егорович Жуковский всегда проводил

лето. И мое первое воспоминание о Жуковском связано с усадьбой Орехово, с ореховским прудом. В этой яркой картинке, засевшей в памяти, должно быть, с четырехлетнего или пятилетнего возраста, я отчетливо вижу Жуковского с черной бородой. Помнится солнце, мутноватая теплая вода, скользкое, немного страшное дно. Мы, мелюзга, плескались и барахтались у берега. Вдруг на плотине появился человек в просторном парусиновом кителе, в парусиновых брюках, большой, с брюшком, с черной и курчавой, как у цыгана, бородой. Он крикнул нам:

— Э, дети, вы, я вижу, совершенно не умеете купаться.

Быстро разделся и, разбежавшись, сделал огромный прыжок в воду, причем прыгнул ногами вниз. Вынырнув, он высоко поднял руки и в таком положении, с поднятыми руками, как бы стоя, переплыл весь пруд, пуская фонтаны изо рта. Я, должно быть, смотрел как завороженный на это чудо природы.

Эту картину — солнечный день, темно-бутылочную гладь воды, плакучие ивы на берегу, кое-где, у размывов, с обнаженными толстыми корнями, дальше огромный, в несколько обхватов, вяз,— эту картину я и сейчас вижу: она удержалась, словно осколочек зеркальца, запечатлевший момент детства.

Много лет по нескольку месяцев в году мне, мальчику, подростку, юноше, довелось жить рядом с Жуковским. Его жизнь была исключительно размеренной. В деревне он регулярно вставал в девять утра и приблизительно через полчаса пил чай. После этого он уходил в цветник и долгое время сидел, как это называлось, «под часами». В цветнике находились им же самим сделанные солнечные часы, а рядом с этими солнечными часами стояла скамейка. Там располагался Жуковский. Я не раз тайком наблюдал за ним, мне хотелось узнать, что он делает там, «под часами». Но он ничего не делал. Он раскидывал вот так руки на скамье, сидел и смотрел вдаль. Почти всегда у ног лежала Изорка, его собака. Иногда, машинально покачивая ногой, он задевал ее и бормотал:

— Изорка, Изорка, эка мерзкая собака...

Изорка оживлялась, но Николай Егорович смотрел и смотрел в пространство.

Теперь я понимаю, что Жуковский «под часами» отдавался свободному течению мыслей.

Посидев час-полтора, Николай Егорович шел в дом и брал свою бурку. У него была старая-престарая черная кавказская бурка с непомерно широкими плечами, которые стояли торчком. Брал он эту бурку, брал пачку белой бумаги и чернильницу, обыкновенную квадратную грошовую баночку с очень узким горлышком, которое закупоривалось самой простой пробкой. Я знал Жуковского в течение двадцати с лишним лет, но никакой другой чернильницы у него не вспоминаю. С этой квадратной баночкой и с тонкой круглой ученической ручкой, накинув бурку, в сопровождении неизменной Изорки он шел в сад. Это был редчайший старинный липовый сад, раскинувшийся на три десятины. В саду у Николая Егоровича была любимая береза. Под березой на траве он расстилал свою бурку, устраивался, как ему было удобно, и, лежа на животе или на боку, писал и писал свои формулы. Эти занятия Жуковского так и назывались: «Николай Егорович пишет формулы».

Мне приходилось видеть эти исписанные им листки. Текста на них почти не было — редко-редко попадались одна-две фразы,— а шла сплошная математика. Почерк был крупный, небрежный, строчки часто загибались вниз.

В шесть часов Николай Егорович обедал, а затем, после обеда, неуклонно ложился спать. Спал он всегда два часа, затем пил чай и опять садился писать формулы.

На следующий день все повторялось сызнова. Вместе с тем Жуковский был необычайно жизнерадостным и увлекающимся человеком.

Стоило, например, прийти пастуху и сообщить, что в округе появился волк, который зарезал и унес ягненка, как тут же под руководством Николая Егоровича затевалась экспедиция — охота на волка. Николай Егорович был страстным охотником. У него в кабинете хранилась сабля, «сабля майора», как она называлась. Какого майора, почему майора — никто не знал. Эта сабля вместе с кавказской буркой от кого-то перешла к Николаю Егоровичу в наследство. Отправляясь на волка, он брал с собой не только ружье, но и обязательно саблю. При этом он надевал какой-то немыслимый охотничий костюм, в котором, однако, чувствовал себя превосходно: форменный китель, сохранившийся с дней молодости, который давно стал ему узок, когда-то черную, но ныне выгоревшую, порыжевшую фет-

ровую шляпу, болотные сапоги выше колен и все ту же кавказскую бурку.

Николай Егорович охотился с азартом, с увлечением.

Однако он редко оставался ночевать на охоте. Он всегда стремился спать дома, чтобы утром, как заведено, опять подняться в девять, выпить чаю и уйти «под часы», к своим формулам.

28

В Москве Николай Егорович жил в тихом Мыльниковом переулке, в небольшом очень теплом доме. Туда постоянно звали гостей. Расположение и устройство комнат, обстановка, распорядок жизни — все это у Николая Егоровича было странным, старомодным. Хозяйством правила старушка Петровна, прожившая до девяноста лет, помнившая чуть ли не прабабушку Николая Егоровича. Подрастала Леночка, дочь Николая Егоровича; в ту пору, о какой я веду речь, то есть в наши студенческие годы, она была девушкой шестнадцати — семнадцати лет.

Вечером в доме часто собиралась студенческая молодежь, ученики Николая Егоровича с братьями и сестрами. Мы, студенты, народ не очень сытый, небалованный, отогревались в этом уютном, гостеприимном доме. Там, в маленьких низких комнатах, затевались игры, танцы, музыка. Под эту музыку, под суматоху Николай Егорович работал у себя.

Из кабинета он появлялся к ужину — седобородый, благодушный, толстый, очень любивший угостить. Иногда после ужина он играл с нами в фанты и, увлекшись, с улыбкой удовольствия мог просидеть очень долго. Но чаще бывал рассеян, задумывался о чем-то своем и после ужина скоро уходил в кабинет.

Изо дня в день в десять часов утра в неизменной широкополой шляпе, в профессорском пальто-крылатке, каких никто теперь не носит, Жуковский выходил из дому и садился на извозчика. Все ближние извозчики знали профессора, знали его извечный маршрут — из дома в Московское Высшее техническое училище. Там Жуковский читал лекции, там производил опыты в аэродинамической лаборатории. К обеду он возвращался домой. После обеда обязательно спал два часа. Потом садился за письменный стол.

Когда он ходил в театр, это считалось таким событием,

к которому дома готовились три дня и потом три дня переживали. Он любил иногда сходить поесть блинов в трактир Тестова, но и это случалось крайне редко, когда его приглашал кто-нибудь из приятелей-профессоров.

Я убежден, что «формулы» — то есть работа, творчество — были единственной страстью Жуковского.

Однажды я его спросил:

— Николай Егорович, как вы можете все писать и писать? Я, например, и часа не могу.

Он улыбнулся:

— Каждому хочется заниматься тем, что ему нравится.

Это ему нравилось. Я понимающе улыбнулся в ответ, но глаза Жуковского, выцветшие, зоркие, стали серьезными. Он произнес:

— И прежде всего это моя обязанность.

29

Изложение научных открытий Жуковского вы найдете в книгах. Я остановлюсь только на одной особенности Жуковского-ученого.

Свою магистерскую диссертацию он посвятил теме «Кинематика жидкого тела». Следующая его научная работа носит название «О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью». Путь ученого, классически далекого от жизни, был, казалось бы, предначертан Жуковскому.

Но примите во внимание характер Жуковского, живость его натуры, исключительную способность отвлекаться, решать разные задачи, которые как бы требовали его внимания, способность темпераментно, с душой, с азартом отдаваться увлечению.

Научный путь Жуковского с самого начала испещрен зигзагами, какими-то бросками в сторону, как будто бы незакономерными, случайными, непонятными для тех, кто не понимал самого Жуковского.

Например, в пору молодости Жуковского велосипеды были еще новинкой. Велосипед, на котором Николай Егорович раскатывал по Орехову, моментально увлек его как задача теоретической механики. Жуковского, как говорится, «забрало». День за днем он вычислял на листах бумаги, как работают спицы и обод велосипедных колес, писал

и писал формулы, математически решая велосипед. В результате появилась небольшая статья Жуковского «О прочности велосипедного колеса». Расчет велосипедного колеса, сделанный Жуковским, является первым и единственным в мире. Жуковский исчерпывающе решил задачу.

Или еще пример.

К Жуковскому, молодому профессору теоретической механики, автору работ о кинематике жидкого тела и о твердом теле с полостями, наполненными жидкостью,— работ, где властвует чистая теория, однажды обратились по вопросу о водопроводе, о самом обыкновенном московском городском водопроводе. Этот водопровод был тогда только что проложен, только что введен в работу, но с первого же дня его немилосердно преследовали странные несчастья — загадочные разрывы труб. И наш теоретик, наш кабинетный ученый, погруженный в свои формулы, принимается за водопровод, принимается не с пренебрежением, не со скукой, а со всей живостью, свойственной Жуковскому. Он увлекается, волнуется. Как всегда, это игра всех его жизненных сил. Он строит специальный водопровод на поверхности земли для исследования загадки разрыва труб при быстром закрытии заслона. Он опять пишет и пишет формулы, исписывает сотни и, быть может, тысячи листков. И в результате дает свое знаменитое решение задачи о гидравлическом ударе. Эта работа создала Жуковскому мировое имя еще до того, как он стал заниматься аэромеханикой.

А известно ли вам, как случилось, что Жуковский увлекся авиацией? Сам он никогда не любил летать. Лишь один раз, в начале девятисотых годов, на всемирной выставке в Париже он поднялся на воздушном шаре и в воздухе почувствовал себя очень плохо. Но там же, на всемирной выставке, Жуковский увидел модель планера. К тому времени уже были совершены первые полеты, но теории воздухоплавания, теории летательного аппарата не существовало.

Вам знакома изумительная черточка Жуковского — страстное любопытство к законам природы, к загадкам механики.

Что такое летание? Каковы его законы? Каковы теоретические основания самолета? Жуковский поставил себе эти вопросы, и его опять «забрало». «Забрало» и до конца жизни уже не отпустило. Он пишет и пишет форму-

лы в Мыльниковом переулке и в Орехове, математически решая самолет, и через некоторое время дает свое классическое решение задачи о подъемной силе крыла. Лишь благодаря Жуковскому стало возможным развитие авиации. Он первый сделал понятными таинственные ранее явления, связанные с понятием «летание». Появилась новая наука — аэродинамика. Жуковский был ее родоначальником и ее величайшим, самым крупным представителем, главой русской школы.

30

На следующий вечер после спора с Ганьшиным я вошел в кабинет Николая Егоровича с небольшим чертежиком под мышкой.

— Николай Егорович,— сказал я,— к вам можно? Я хочу вам что-то показать.

— Да, да. Сейчас. Присаживайся.

В этот вечерний час Жуковский, как обычно, «писал формулы».

Листки бумаги, исписанные крупным почерком, лежали не только на поверхности стола, но и на пепельнице, на стопке книг, на подоконнике. Старинные часы, всегда стоявшие на письменном столе Жуковского, тоже были закрыты листками. Два-три листка были положены на пол, на потертый коврик у ног Николая Егоровича.

Он сидел в домашних туфлях, в старенькой домашней тужурке. От жарко натопленной печки шло приятное тепло.

Некоторое время он продолжал писать. Тонкая вставочка в массивной морщинистой руке быстро ходила по бумаге. Он меня не стеснялся. Крупные губы под седыми усами чуть шевелились. На секунду перестав писать, он взглянул на пол, перегнулся грузным корпусом через подлокотник кресла и, слегка закряхтев, поднял один листок. Затем перо опять заходило. Мне показалось, что на его лице мелькнула довольная улыбка.

— Николай Егорович,— снова сказал я.

— Сейчас, Алеша, сейчас...

Затем, все еще не отводя взгляда от недописанной страницы, Николай Егорович откинулся, вздохнул и повернулся ко мне. Выцветшие добрые глаза рассеянно смотрели на меня.

— Что у тебя такое? — мягко спросил он.— Выдумал что-нибудь?

— Да,— сказал я, сразу охрипнув из-за волнения.—Сейчас я вам что-то покажу. Но, ради бога, никому ни слова...

— Ну, ну, только не пугай. И так сижу по уши в секретах.

В те годы Жуковского постоянно привлекали к консультации по вопросам военной авиации, а созданная им аэродинамическая лаборатория получала военные задания. Тут-то и сумел, заметим кстати, к нему проникнуть Подрайский. К этому же периоду, как легко можно установить по списку трудов Жуковского, относятся его работы о полете снарядов и о полете бомб.

Я развернул чертеж. На письменный стол Жуковского лег первый набросок мотора «Адрос».

С мальчишеских лет я привык, зная доброту Николая Егоровича, делиться с ним всеми своими конструкторскими выдумками. В Орехове, бывало, изобразишь что-нибудь на бумаге — и к нему. До конца жизни Жуковский сохранил способность удивляться. Рассматривая мои детские проекты, он обычно с удивлением прищелкивал языком. Потом говорил: «Знаешь, Алеша, это интересно. Очень интересно». Или иначе: «Знаешь, это сомнительно. Это, пожалуй, не пойдет». Затем начинались необыкновенно увлекательные для меня разговоры.

Объясняя Жуковскому идею мотора, я с волнением ожидал, что же он скажет: «интересно» или «не пойдет»?

— Интересно, очень интересно! — произнес Николай Егорович.— Оставь-ка это мне до завтра, чтобы я подумал.

Но по его глазам я видел, что Жуковский не заинтересовался. Он смотрел на меня ласково, но рассеянным, отсутствующим взглядом, думая явно о другом.

— Оставь это до завтра,— повторил Николай Егорович.

В его тоне слышалась просьба. Он словно просил меня, стесняясь сказать это прямо: «Сделай милость, не мешай мне, пожалуйста, сейчас».

Однако страсть, как известно, беспощадна, и страсть конструктора тоже. Уловив деликатную просьбу Жуковского, я, не дрогнув, произвел новый натиск:

— Николай Егорович, это не пустая выдумка. Есть коммерсант, который потратится на такой мотор. Эту вещь возьмет Подрайский для амфибии.

— Как? Для чего?

У Жуковского невольно вырвался этот вопрос, но взгляд по-прежнему был умоляющим, взглядом он опять попросил: «Избавь меня от этого!» Нет, Николай Егорович, не могу избавить.

— Разве вы не знаете? Только, Николай Егорович, это абсолютнейшая тайна. Меня отправят пожизненно на каторгу, если... Видите ли, Николай Егорович, придумана такая штука...

Тут же на листке бумаги я нарисовал амфибию с десятиметровыми колесами и постарался пострашнее рассказать, как это чудище будет действовать на войне.

— Интересно,— вяло проговорил Жуковский.

— Для этой махины пока нет мотора. «Гермес» слабоват... А я, Николай Егорович, сконструирую свой мотор так, чтобы по габаритам он сразу годился бы и для самолета Ладошникова...

— Для Ладошникова?

Пристально взглянув на меня, Жуковский взял со стола принесенный мной набросок и стал его рассматривать, отодвинув на вытянутую руку от слегка дальнозорких глаз. Я поспешил объяснить придуманную мной новую схему. И вот наконец-то, наконец-то Жуковский несколько раз удивленно прищелкнул языком. Потом оглядел меня, опять перевел взгляд на эскиз и опять прищелкнул.

— Знаешь, Алешка, это...— произнес он и приостановился.

По его взгляду, по тону я уловил: он уже не отсутствовал, он ясно видел чертеж.

— Это интересно! Это очень интересно! — с тем же выражением закончил Жуковский.

Третий раз он повторял эти слова, но теперь они были сказаны так, что меня словно подбросило ударом электрического тока. Захлебываясь, я выложил Жуковскому свои затруднения.

— Ганьшин отказывается делать расчет,— говорил я.— Сомневается в себе... А я ничего не могу, если нет расчета.

— Ну, это у него меланхолия,— сказал Николай Егорович.— Он отлично с этим справится... Хотя...

Вновь вытянув перед собой руку с эскизом, Жуковский опять всмотрелся. Потом вдруг засмеялся.

— Ай-ай-ай, что выдумал! — воскликнул он.— Да, тут есть кое-какие сложности. Интересно! Ты сам не понимаешь, до чего эта задачка интересна...

Его глаза загорелись. Жуковский был пойман. Жуковский увлекся.

Он поглядел на письменный стол, на листки, лежавшие у его ног, что-то досадливо пробормотал, расчистил на столе перед собою место, положил чистую страницу и сказал:

— Ладошникову еще ничего не говорил? Ну, пока не говори. Оставь мне это до завтра. Я этим немного позаймусь.

Выходя из его кабинета, я едва удерживался, чтобы не подпрыгнуть.

31

Рассказывая вам об этих давно ушедших временах, о приключениях моей юности, я порой сам поражаюсь, как удержались в памяти всякие мелочи.

Например, отлично помнится, что на следующий день пришлось воскресенье. А по воскресеньям Николай Егорович никуда не ездил. Утром я явился в Мыльников переулок и черным ходом проник в кухню. Старушка Петровна жарила в шипящем масле пирожки — Николай Егорович любил это блюдо к завтраку.

— Здравствуйте,— произнес я.— Николай Егорович не вставал?

Старушка всегда знала, что делается в доме. Увидев меня, она разволновалась.

— Как вам не стыдно, Алексей Николаевич? Что вы с ним сделали? Что вы ему дали?

— А что случилось?

— Вы ему что-то дали, и он не спал до пяти часов утра. Все мы бережем Николая Егоровича, а вы... Идите, пожалуйста, из кухни...

Ускользнув от разгневанной Петровны, я уселся в столовой на диван. Там адски медленно накрывали на стол. Появился кипящий самовар, появилась Леночка, я отвечал ей невпопад, слыша сквозь стены, как ходит, как умывается Николай Егорович. Наконец он вышел к завтраку. Я встретил его умоляюще-вопросительным взглядом.

— Не готово, Алеша, не готово,— улыбаясь, сразу объявил он.— Придется еще сегодня посидеть.

И, посматривая на пирожки, Жуковский с удовольствием потер руки.

Все воскресенье он просидел над задачей. Я целый день дежурил в доме в Мыльниковом переулке. К вечеру Жуковский сам разыскал меня в какой-то комнате.

— Пойдем, Алеша. Готово,— сказал он.

Я увидел его довольную улыбку. Глаза были добрыми-добрыми. В кабинете Жуковский протянул мне исписанную стопку листков. Это был полный расчет моего мотора. Я моментально заглянул в последние страницы, то есть, как говорят школьники, «в ответ». Заглянул — и обмер. Оказалось, что при вращении моих противовесов, они описывают сложную кривую. Я и не подозревал об этой кривой, хотя собственноручно, как вы знаете, построил лодочный мотор по такой же схеме. Но одно дело маленький мотор, где я все подгонял по месту, и совсем другое — самый мощный по тем временам авиационный двигатель. Если бы Жуковский не отыскал на своих листках этой кривой, вся конструкция не работала бы... На этих листках Жуковский вычислил размеры всех основных частей мотора, рассчитал скорости вращения, исходя из мощности триста лошадиных сил,— в общем, если сказать коротко, благословил мое дерзание. Я излил Николаю Егоровичу восторг и благодарность.

— Ну, ну, чего там,— сказал он и улыбнулся.— Теперь можешь идти к Ладошникову.

— Еще бы! — вскричал я.— «Лад-1» теперь взлетит... И «Касатка» пойдет.

— «Касатка»? А, амфибия...

— Кстати, Николай Егорович, как вы думаете: эта амфибия сможет действовать на войне?

— Не знаю... Машина будет двигаться, а как она станет действовать на войне, в этом, Алеша, я ничего не понимаю.— И, сразу помрачнев, нахмурившись, он повторил, отрывисто буркнул, явно отстраняя разговор о войне: — Не понимаю...

У меня почему-то сжалось сердце. В этом его коротком восклицании прорвалось что-то очень наболевшее. В дальнейшем духовная жизнь Николая Егоровича стала мне гораздо яснее. Жуковский, великий ученый России, постоянно сталкивался с преступлениями царского правительства, угнетавшего народ, подавлявшего русские таланты. Что мог он думать о войне? Она не воодушевляла

и никого из нас, молодых людей, собиравшихся в доме Жуковского. Не знаю, слышал ли он тогда о лозунгах большевиков, но чувствовалось, что его мучили думы о судьбе родной страны.

А тут меня еще дернуло сказать:

— Николай Егорович, Подрайский должен обязательно заплатить за это вам...

Я приподнял драгоценные листки. Жуковский недовольно на меня взглянул.

— Глупости, не надо... Не хочу связываться с этим жулябией.

— Нет, Николай Егорович. Вы должны взять с него, по крайней мере, тысячу рублей. Или знаете что? Может быть, лучше десять процентов дивиденда?

— Оставь. К чему мне это? Проценты, дивиденды...

— Как «к чему»? Вы же сами часто жалуетесь, что не дают денег на лабораторию.

— Ну что ж? А на чай я не беру.

32

Я примчался к Ганьшину с листками Жуковского в руках и вручил их моему другу для внимательнейшего изучения. Мы условились, что все переговоры с Подрайским относительно мотора буду вести я.

— Где вы пропадаете? — нервно спросил Подрайский, разыскав меня в лаборатории.

Как вам известно, в эти дни, после того, как обнаружилось, что у нас нет двигателя для амфибии, Бархатный Кот не мурлыкал и не потирал лапок. Я спокойно объяснил:

— Дело в том, что вчера было воскресенье...

— А в другие дни? Куда вы исчезали?

— Сидел у Ганьшина... Обсуждали неприятность.

— Тссс... Здесь ни звука. Пойдемте в кабинет.

В кабинете сидел Ганьшин.

Своим тонким нюхом Подрайский уже чуял, что мы неспроста не появлялись в лаборатории, и, перебегая взглядом по нашим лицам, ждал, чтобы мы выложили план спасения.

Но Ганьшин непроницаемо молчал. В его глазах за стеклами очков лишь один я мог уловить тонкую усмешку. А я разыгрывал мрачную подавленность.

— Не знаю. Не нахожу решения. Подумаю. Придется,

может быть, закрыть «Полянку»,— отвечал я на нервные вопросы Подрайского.

Закрыть «Полянку»! Нет, об этом он не мог и думать. Еще несколько дней он поджаривался у меня на медленном огне, что-то чуя и ничего не зная. Тем временем я наседал на Ганьшина, требуя поскорее детальных расчетов, лихорадочно изготовляя основные чертежи.

Наконец в один прекрасный день или, говоря точнее, в сырую весеннюю ночь, часа в три, когда все добропорядочные люди спали, я неистово затрезвонил у подъезда Подрайского.

В доме вспыхнул свет, кто-то разговаривал со мной через дверь, я твердил, что мне немедленно нужен Подрайский. Меня впустили.

Хозяин вышел в халате, в туфлях.

— Что стряслось?

— Сейчас же одевайтесь. Нас ждет извозчик.

— Куда? Зачем?

— Тссс... Здесь ни звука.

Эти слова так подействовали на Подрайского, что через десять минут мы уже сидели в извозчичьей пролетке.

— Что такое? — шепотом допытывался Подрайский.

Но я, ткнув пальцем в спину извозчика, опять прошипел:

— Тссс...

Так мы молчали до тех пор, пока не вошли в комнату Ганьшина.

Мне очень хотелось сказать: «Закройте дверь», но это было бы чрезмерно. Я сам, сохраняя полнейшую серьезность, проверил, нет ли за дверью шпионов, и сам повернул ключ в замке.

На столе торжественно высился мой лодочный мотор. Рядом, сунув руки в карманы и покуривая трубку, молчаливо стоял Ганьшин.

Подрайский дошел до белого каления.

— Ну, говорите, что у вас?

— Снимайте пальто,— ответил я.

Затем я подошел к мотору, взялся за верхнюю крышку и внезапно кинулся к окну, сделав предостерегающий знак. Но тревога, как вы догадываетесь, оказалась ложной: за окном не было ничьей подглядывающей физиономии.

Я поднял верхнюю крышку.

— Видите?
— Вижу.
— Что это?
— Лодочный мотор.
— Этот мотор перевернет историю. Этот мотор раскроет все двери перед нами.

Подрайский с недоумением воззрился на меня, потом оглядел Ганьшина.

Я стал проворачивать вал, начались вспышки, и мотор запыхтел. Ганьшин поднес к мотору настольную электрическую лампу, и мы втроем уставились на мое мальчишеское изобретение. Через минуту в стену возмущенно забарабанила хозяйка, разбуженная среди ночи. Я немедленно перестал проворачивать и снова шепнул:

— Тссс...

Когда за стеной все угомонились, я спросил:

— Что вы об этом скажете?
— О чем?
— О моторе.
— О каком?
— О том, которому под силу колеса в десять метров.
— Вы что-нибудь придумали?
— Да. Вы сами видели.

Подрайский ничего не понимал. Перед ним был маленький лодочный мотор для увеселительных прогулок.

— По этому же принципу,— с должной торжественностью изрек я,— мы построим мотор мощностью в триста сил.

Водевиль окончился, завязался серьезный разговор. Мы показали Подрайскому эскиз будущего двигателя, разъяснили принцип его действия, предъявили рукопись Николая Егоровича Жуковского, детальные расчеты, сделанные Ганьшиным, и мои чертежи.

И наконец я жестко заявил:

— Перед вами Вещь. Вещь с большой буквы. Договор пятьдесят на пятьдесят.

Ганьшин рассказывал потом, что в ту минуту в моем голосе были металлические нотки. Думается, лишь после этого Подрайский уверовал наконец в мой двигатель. Он принял ультиматум и, уходя, покоренный, радостный, нас чуть не расцеловал.

Однако на прощанье он все-таки спросил:

— Но почему вы подняли меня ночью?

Я ответил с самым серьезным видом:

— О таких делах лучше говорить по ночам.

— По ночам? — Подрайский немного подумал.— Пожалуй, вы правы. Пожалуй, вы совершенно правы.

Закрывая дверь за Подрайским, я не удержался, чтобы не шепнуть еще раз:

— Только тссс... Ради бога, тссс...

33

На следующий день Подрайский заключил с нами договор из расчета пятьдесят на пятьдесят, выдал аванс и, кроме того, в знак признательности и расположения презентовал каждому из нас по великолепной мотоциклетке.

Заказ на постройку «Адроса» был сделан московскому заводу «Динамо», причем Подрайский платил потрясающие деньги за срочность исполнения.

Я бывал на заводе каждый день, устраивал скандалы из-за малейшей задержки, давал указания мастерам и рабочим.

А в «Полянке» все шло своим чередом.

Разные агрегаты огромной колесницы были заказаны крупнейшим заводам — Коломенскому, Сормовскому, Путиловскому. Под видом кессонов изготовлялись ободья десятиметровых колес, под видом частей ледокола — нос и корма «Касатки».

В Москве мы заняли под мастерские большой манеж для приемки и контрольной сборки агрегатов, прибывающих с заводов. Отсюда металл отправлялся в «Полянку».

Там зимой под открытым небом клепались чудовищные стальные колеса. На лесистом берегу реки была выстроена кузница и механическая мастерская, где обтачивались, подшабривались разные детали. Люди жили в сырости, работали на морозе, среди дыма костров, которые никого не согревали. Народ, попавший в этот ад, прозвал наше чудище «нетопырем». В «Полянке» работало три роты саперно-инженерных войск, то есть, говоря попросту, несколько сот мобилизованных рабочих, одетых в солдатскую форму. Люди попадали туда, как на фронт, или, вернее, как в дисциплинарный батальон: никаких отпусков, хотя бы на двадцать четыре часа, не полагалось, часовые никого не выпускали за проволочные заграждения.

С первых же дней существования «Полянки» людей стали пожирать блохи, называемые лесными, необыкновенные по величине. Но ненавистнее блох было начальство. В «Полянку» подбирали каких-то особо бесчеловечных офицеров. Людей заставляли работать по шестнадцати часов, били по зубам, дубасили прикладами. Из-за этого Ганьшин и я дважды устраивали скандалы Подрайскому и заявляли, что не будем ездить в «Полянку», если там не прекратятся зуботычины. После этого начальство,— во всяком случае, насколько мы могли проверить — не давало рукам воли.

Колеса росли, оплетенные дощатыми лесами, как возводимый дом. Предполагалось, что, когда опытный экземпляр будет закончен и испытан, в тот же час на Путиловском, Обуховском и Сормовском заводах приступят к изготовлению нескольких десятков машин, которые затем в разобранном виде на платформах под брезентом будут завезены к Черному морю, там в две недели собраны и пущены в дело.

А на заводе уже шла сборка «Адроса». В ходе сборки многие детали приходилось переливать и перетачивать, пригонять, подчищать вручную. Я пропадал на заводе, переделывал чертежи, сам в нетерпении орудовал напильником и молотком. Чем ближе дело подходило к испытанию, тем я отчаяннее волновался. Верна ли конструкция? Пойдет ли мотор? Покажет ли он мощность в триста сил?

34

Миновал год с того момента, когда Подрайский таинственно спросил: «Что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?»

Сооружение «Касатки» близилось к концу, и мотор «Адрос» был уже построен. Запуск двигателя прошел блестяще. «Адрос» сразу заработал. Однако присутствующие могли восхищаться лишь в течение трех минут — через три минуты мотор сломался.

Исправив через несколько дней поломку, мы снова запустили «Адрос». На этот раз он работал шесть минут и опять сломался.

Начались муки так называемой «доводки». В те времена мы имели весьма смутное представление о том, что

такое доводка. А проблема серийного выпуска авиационных моторов была для нас вовсе книгой за семью печатями. Все казалось очень легким: мотор создан, надо скорее ставить его на рабочее место, потом быстро изготовлять еще сотни таких же и пускать в дело. Но не тут-то было. Мы исправляли, запускали, «Адрос» опять работал и опять ломался. После месяца адски напряженного труда мы заставили мотор работать двадцать минут. На двадцать первой он сломался.

Но терпения уже не хватало. Скорее, скорее испытать его под рабочей нагрузкой! Испытать в воздухе! Впрячь его в самолет Ладошникова! Попытаться поднять в небо «Лад-1»!

А что, если мотор сломается в полете? Какой летчик согласится испытывать самолет на таком еще совершенно недоведенном моторе? Но мне верилось: летчик рискнет!

А Подрайский? Что запоет он? Ведь по законам купли-продажи — законам Российской империи — Подрайский был собственником, хозяином моего мотора. Среди дикого количества трудностей, с которыми приходилось сражаться, была и такая: как подкатиться к Подрайскому, чтобы он разрешил установить мотор на самолете? Нет, он ни за что не разрешит! Ведь мотор один-единственный, он должен сдвинуть амфибию, как только та будет готова. Нет, нечего и заикаться — Подрайский не позволит! Как же поступить? Мы с Ганьшиным не находили ответа.

35

Неожиданно на помощь явилось некоторое стечение обстоятельств.

Дело было так. В конце 1916 года был расклеен приказ о призыве в армию студентов. Всякие отсрочки объявлялись недействительными. Я доложил Подрайскому, что меня забирают в армию, что необходимо добыть освобождение.

— Да, да, обязательно,— сказал он.— Мы это уладим.

Но проходили дни, а Подрайский ничего не предпринимал. Я еще раз напомнил ему, он еще раз промурлыкал:

— Пустяки, устроим.

Наконец наступил день, когда мне принесли повестку:

завтра в десять часов утра явиться с вещами в школу прапорщиков для отправки из Москвы. Бросить «Адрос»? «Касатку»? «Лад-1»? С повесткой в кармане я полетел к Подрайскому.

— Они кушают,— сказала горничная.

Кушает? Хорошо. Удачный момент для разговора. Я ожидал узреть Бархатного Кота блаженствующим, почмокивающим, с ослепительной салфеткой вокруг шеи. К удивлению, он ел без аппетита. На отодвинутой тарелке стыло жаркое. А салфетка была небрежно заткнута за ворот сорочки. Что с нашим патроном? Чем он расстроен?

Я нерешительно положил на скатерть свою повестку.

— Это ерунда,— проговорил Подрайский.— Сегодня это будет выяснено. Сегодня решится все.

— Все? Что-нибудь случилось?

Бархатный Кот по привычке оглянулся — не приоткрыта ли дверь — и доверительно сказал:

— Сегодня я принимаю одно очень важное лицо. От этой встречи для нас зависит очень многое.

— Очень многое? Для нас?

Подрайский наклонился ко мне ближе и едва слышно прошептал:

— Все в руках этого лица... Или он подпишет новое ассигнование, или... Ну, вы понимаете... Дальше строить не на что... Только тссс... Ради бога, тссс...

— Как не на что? А ваш миллион?..

Подрайский негромко присвистнул и сказал:

— Затраты... Колоссальные затраты...

— В таком случае... Почему же он не подпишет?

— Потому что... Потому что кое-кто постарался восстановить его против меня... Он может назначить генеральную ревизию. А это, знаете ли...

Я не дал Подрайскому досказать фразу. «Теперь или никогда!» — подумал я.

— Но ведь у вас есть потрясающий козырь!

Подрайский быстро на меня взглянул:

— Что вы имеете в виду?

— Конечно, это, может быть, лишь игра ума...

— Пожалуйста, пожалуйста... У вас, Алексей Николаевич, очень светлый ум...

— Благодарю... Так вот, на все неприятные вопросы, касающиеся амфибии, есть великолепнейший ответ...

— Какой, какой?

— У вас есть готовый к взлету самый мощный самолет и есть мотор...

На лице Подрайского я прочел внимание. Он, видимо, взвешивал эту мысль. Я торопился его убедить:

— В самом деле, почему нам, пока не готова «Касатка», не испытать «Лад-1»? Это же будет необычайное событие! Взлетел новый русский самолет, самый лучший в мире! Его поднял русский мотор!

— Гм... Гм... И вы думаете, «Лад» взлетит?

— Безусловно. Абсолютно в этом убежден...

— Да, тут есть материал для размышлений...

«Ого, Подрайский пойман!»

— Вот что, дорогой,— говорит он.— Когда, по-вашему, это можно совершить?

— В ближайшие же дни...

— Так... Я попрошу вас, Алексей Николаевич, будьте сегодня дома. Я к вам пришлю посыльного.

33

Оставив Подрайскому повестку, я вернулся домой. С нетерпением жду от него вызова. Заканчивается день, наступает вечер,— меня никто не спрашивает... Наконец в десять часов вечера появляется посыльный и вручает мне совершенно загадочную записку от Подрайского.

В записке говорилось: «Алексей Николаевич, сейчас же садитесь на мотоциклетку и приезжайте в манеж. Обратите особенное внимание на то, чтобы у вас хорошо действовал фонарь».

Странно, почему фонарь? Но размышлять некогда. Моментально выхожу, заправляю фонарь и мчусь полным ходом в манеж.

Подъезжая, еще издали вижу необыкновенную картину: стоит один часовой, другой часовой, третий — какое-то загадочное оцепление. Здесь же замечаю роскошную автомашину «роллс-ройс», каких в Москве еще не видели.

Дорогу преграждает часовой.

— Ваш пропуск.

Достаю пропуск, но тотчас же подбегает блестящий офицер.

— Вы Бережков?

— Да.

— Пожалуйста, проезжайте в ворота.

Охваченный любопытством, въезжаю в темный манеж. Сейчас мне кажется ультрадиким: почему мы не провели в манеже электричества, почему при нашей спешке не работали в две смены? Черт знает, какая кустарщина была во всем этом великом предприятии Подрайского!

Мой фонарь выхватил из темноты смутные очертания металлических конструкций. Я никого не увидел, но вдруг уловил тонкий аромат табака.

Повернув голову, вижу в неосвещенном пространстве две раскаленные красные точки — это были две сигары. В этот момент раздается голос Подрайского:

— Стоп! Идите сюда.

Подхожу и в очень бледном отсвете моего фонаря, направленного в другую сторону, различаю какого-то военного с седыми усами.

Подрайский представил меня:

— Это Бережков, мой главный конструктор, тот самый, который сконструировал мотор «Адрос».

— А, очень приятно,— суховато прозвучал голос военного.

— Вот на его моторе и поднимется этот самолет, о котором я говорил вашему превосходительству.

— Когда же это будет?

— В самые ближайшие дни... Мы полагали известить об этом вас уже после успеха... Сделать вам этот маленький сюрприз.

— Что же, если все будет удачно...

— В успехе мы не сомневаемся. Убедитесь, ваше превосходительство, в ближайшие же дни,— уверенно продолжал Подрайский.— У нас все подготовлено. Затраты, конечно, меня не останавливали. Шутка ли, имеем собственный превосходный двигатель, который отлично показал себя на заводских испытаниях. Только вот, ваше превосходительство... этого молодого человека, моего главного изобретателя, забирают в школу прапорщиков...

— Ну, это пустое...

Военный достал какую-то маленькую белую бумажку из бокового кармана шинели — при этом я успел заметить красную генеральскую подкладку — и сказал:

— Где бы тут можно было написать?

Подрайский попросил меня подвести мотоциклетку поближе. Затем он подал старику самопишущее перо — Бархатный Кот всегда носил в кармане это последнее

слово техники,— и генерал, что-то написав при свете моего фонаря, вручил это мне, сказав:

— Передайте эту карточку начальнику школы прапорщиков.

Затем они стали говорить об амфибии. Я водил рулем своей мотоциклетки и освещал прибывший с заводов металл, оказавшийся в тот день в манеже. Через некоторое время, отойдя в сторону, они еще о чем-то поговорили, едва освещенные смутным отблеском фонаря, и направились к воротам.

Услышав шум отъезжающего «роллс-ройса», я вскочил на свою машину и отправился домой. Но, отъехав метров пятьдесят, я вспомнил о врученной мне записке, остановился, слез с мотоциклетки и поднес к фонарю визитную карточку. Свет упал на строку мелкой печати. Я нагнулся и разобрал: «Михаил Васильевич Алексеев». Ого, кого залучил к себе Подрайский! Начальник штаба Верховного Главнокомандующего. На обороте я прочел: «Студента Бережкова в школу прапорщиков не зачислять. О нем последует особое распоряжение».

На другой день я отправился в школу прапорщиков. Меня с почтением отпустили, начальник на прощанье козырнул. Однако никаких документов мне не дали, и распоряжения обо мне не последовало до сегодняшнего дня.

37

...Опять бескрайнее, ничем не огороженное снежное поле — Московский аэродром. Январское утро 1917 года. Редкая в январе погода — голубое небо, солнце. По снегу будто рассыпаны мельчайшие алмазные кристаллики, рассыпаны неравно — где щедрее, полной горстью, так что невольно жмуришься, где поскупее, чуть-чуть. До сих пор вижу этот блистающий простор и круг белого, сплавленного с серебром золота на небе. В те часы почти никакие впечатления до меня не доходили, я ничего не воспринимал, если это не касалось самолета и мотора, но солнышко дошло. Подумалось: добрая примета...

Приближалась минута, когда самолет «Лад-1» с моим мотором будет выведен на расчищенную взлетную дорожку. Взлетит ли? Взлетит ли? Никто не произносил этих

слов; я, поглощенный множеством мелочей подготовки к летным испытаниям, тоже забывался в работе, как бы забывал, что нам предстоит.

Ночь перед испытанием все мы — монтажная бригада вместе с солдатами аэродромной команды, которые пришли нам помогать,— провели в ангаре. Слесари-сборщики еще раз пересмотрели каждый узел, каждое сочленение самолета, кое-что заменяли, кое-что заново крепили. Все распоряжения исходили лишь от одного человека — Михаила Михайловича Ладошникова.

Ему была свойственна одна особенность, о которой я, кажется, еще не говорил. Присущие ему насупленность, угрюмость оставляли его на работе. Здесь он держал себя свободнее, выглядел словно красивее. В заиндевевшем ангаре, в котором жаровни с тлеющим углем едва поддерживали температуру в несколько градусов тепла, у необыкновенно большого самолета, раскинувшего от стены к стене свои легкие темно-зеленые крылья, командуя десятком слесарей, Ладошников чувствовал себя вполне в своей стихии. В коротком полушубке, в теплой шапке, в валенках, с кронциркулем, с гаечным ключом в руках, он неутомимо обследовал самолет, строго проверял все сделанное, был четок, ровен, немногословен в каждом своем указании и, казалось, ни в малой степени не нервничал.

И только в последний момент, когда мы уже взялись за специальные тросики, чтобы вести самолет на волю, Ладошникова «прорвало».

Почти ничего вокруг не замечая, сосредоточенный мыслями только на машине, я вдруг услышал его крик:

— Не допущу! Все уходите, кто мешает. Все!

Оказывается, пока мы работали в ангаре, Подрайский, приехавший утром на аэродром, заметил ужаснейшее упущение: никто не подумал о молебне! Нет, неприлично начинать испытание без господнего благословения. Попа! Немедленно попа! Но где же его взять? Ехать в город, тащить оттуда солидного московского священника — это было бы сложно, долго, дорого. Подрайский сообразил, что в такую рань проще всего разыскать поблизости от Ходынского поля скромного деревенского батюшку и привезти сюда.

И в тот самый момент, когда мы уже выводили самолет, в ангаре появился седенький, сухонький священник в черной скуфейке и в епитрахили, надетой поверх шубы.

Тут-то Ладошников не сдержал себя, вспылил, закричал на весь ангар:

— Не допущу! Все уходите, кто мешает!

Попик оробел. Подрайский тоже приостановился, но сказал:

— Как же так? Священник в облачении... Михаил Михайлович, прошу вас не препятствовать...

Ладошников вдруг расхохотался. Глядя на испуганного старика в потертой плохонькой епитрахили, он махнул рукой:

— Ну, служите, батюшка... Только поскорей...

После молебна мы снова поволокли самолет к раскрытым воротам ангара, подкладывая катки под огромные лыжи.

38

Наконец самолет под открытым небом. Нас встретили солнце, и мороз, и искрящийся ослепительный снег, кое-где прорезанный то свежей, то уже заплывающей лыжней. Тут, конечно, были и следы «Лада-1». Его опять, как и в прошлом году, много раз гоняли по этому полю, проверяя машину в пробежках. Для этих пробежек был использован мотор «Гермес». А наш трехсотсильный «Адрос» мы приберегали для взлета. Мы знали: «Адрос» неизбежно сломается. Но когда? На какой минуте? Последний раз «Адрос» проработал на заводском стенде тридцать четыре минуты и остановился из-за поломки кулачкового валика. Сменив эту деталь, тщательно перебрав мотор, испробовав, хорошо ли он запускается, мы привезли его в ангар и поставили на самолет на место «Гермеса». Если «Адрос» продержится хотя бы четверть часа, этого вполне хватит для взлета и посадки.

А если не продержится? Если сломается, когда самолет лишь набирает скорость? Это гибель машины, это, по всей вероятности, и гибель летчика.

И все-таки летчик-испытатель, георгиевский кавалер, герой войны, штабс-капитан Одинцов идет на такой риск.

Мне запомнилась минута, когда он, взобравшись по приставной лесенке в кабину самолета, повернулся к нам, прежде чем закрыть за собой дверцу. Плечистый, нетороп-ливый, несколько даже неповоротливый в унтах и оленьей полудошке, он посмотрел на Ладошникова, стоявшего

возле машины, и улыбнулся ему. Этот штабс-капитан, который согласился поднять в воздух новый русский самолет на совершенно не доведенном, конечно, еще не пригодном ни для каких полетов двигателе, этот летчик-испытатель чувствовал себя спокойнее всех.

Так он мне и запомнился: выглядывающим из раскрытой дверцы самолета, с улыбкой на широком, немного скуластом лице.

Еще миг — и дверь захлопнулась. Теперь надо лишь запустить мотор. Я сам крутнул изо всей силы пропеллер. Нет, мотор не подхватил. Еще раз! Снова ни одного выхлопа. Еще раз! И опять не завелся... Господи, а если мы так и не запустим двигатель? Ведь он стоял на холоде столько часов, ведь я не догадался согреть его паяльной лампой... Я уже был готов проклинать себя, как вдруг мотор взял, взревел, зарокотал на все поле.

Но вот перебой, один, другой — оглушительные выстрелы в выхлопной трубе. На миг я потерял способность двигаться, не мог вздохнуть, грудную клетку заломило. Наконец «Адрос» загудел ровно.

Ну, теперь все в руках летчика. От меня уже ничего больше не зависит. Я отошел к Ладошникову. Он стоял, сжав губы, тоже уже ничем больше не распоряжаясь. Покосившись на меня из-под бровей, он отвернулся. Конечно, сейчас он не хотел ничьих слов, ничьих взглядов.

Несколько минут летчик прогревал мотор. Затем «Лад-1» стронулся, заскользил по снегу. Машина уходила от нас все быстрее, быстрее. Темный силуэт самолета на сверкающем белом покрове становился все меньше. Я нагнулся, чтобы не пропустить момента, когда бороздящие целину лыжи вдруг поплывут над полем, нагнулся и... Лыжи действительно покачивались над снегом, плыли в воздухе. Хотелось что-то крикнуть, но от волнения пропал голос. А «Лад-1» уже летел,— вы представляете момент?! — летел над Ходынским полем. Мотор «Адрос» распевал свою песню в небе.

Я кинулся к Ладошникову, увидел смеющиеся ярко-голубые глаза, ставшие большими. Он дружески ткнул меня кулаком в живот, но этот тычок, который Ладошникову показался на радостях, разумеется, легким, буквально сбил меня с ног. Не взвидев света, охнув, я на несколько секунд, кажется, перестал дышать. Ладошников кинулся ко мне, но я взмолился:

— Подальше... Отойдите подальше...

Тотчас же позабыв про боль, я отыскал в небе «Лад-1», описывающий круг над аэродромом, и с наслаждением вслушался в гул мотора. Да, этого момента уже нельзя отнять! Что бы ни случилось дальше, но самолет Ладошникова поднялся! И это совершено на моем моторе!

Но что это? Почему вдруг смолк мотор? Сломался? Да, видимо, так... Сумеет ли летчик посадить машину? Достаточен ли запас высоты?

Все напряженно следили за самолетом. Вдалеке, на самом краю поля, лыжи коснулись земли, самолет понесся, вздымая каскады снежной пыли, обо что-то как будто споткнулся, задрал хвост, тяжело осел на один бок и замер.

Мы побежали туда. На месте выяснилось, что при посадке самолет угодил в канаву. Герой летчик Одинцов был жив и невредим.

Все это было записано еще в Москве у Бережкова. Теперь мы с ним стояли в лесу, среди обширной вырубки, где возвышалась огромная амфибия, заросшая почти по ступицу молодым березняком.

— Ну-с,— лукаво улыбаясь, произнес Бережков,— «Лад-1» я вам, не взыщите, показать не смог. А «Касаточку» — извольте... Пожалуйста, любуйтесь...

— Но сдвинулась ли когда-нибудь эта машина?

— О, об этом надо рассказать... Это тоже было потрясающее переживание... Амфибию мы испытывали той же зимой. Доставили сюда «Адрос», который был заново перебран, вмонтировали его в брюхо «Касатки». Во всю ширь реки была продолблена прорубь для испытания вездехода на плаву. Перед пуском мы проверили все крепления машины. Я дико волновался. Приближалась минута, когда решится вопрос, правильно ли сконструирована вещь, пойдет ли она, не развалится ли на первых оборотах.

Мотор долго не запускался. Наконец он забился внутри бронированной коробки. Тяжеленная, вмерзшая в землю колесница задрожала. У руля сел я, рядом — Подрайский.

Я перевел рычаг с холостого хода на первую скорость и осторожно, не дыша, ощущая нервами и спинным мозгом, как возрастает нагрузка, стал отпускать сцепление. Вдруг что-то хряснуло. У меня упало сердце. Но в ту же секунду я понял, что с этим звуком промерзший металл оторвался от земли, что колеса повернулись и двинулись, двинулись вперед.

Народ кинулся в стороны, освобождая путь. Люди, построившие это чудовище, которые здесь намучились, в эту минуту кричали «ура» и бросали шапки. А я слышал и чувствовал лишь одно: биение мотора и напряжение металла в решающих узлах. Мотор, выдержавший колоссальную нагрузку в момент трогания с места, теперь работал ровно и легко. Я прибавил скорость, колеса слушались меня. Громыхая и гудя, мы обгоняли бегущих по снегу людей. Невдалеке стояла вековая береза. Я направил вездеход прямо на нее. Подрайский сжал мое плечо, я увидел его встревоженные глаза, но меня охватило озорство победы. Береза надвигается... Едва ощутимый толчок — и... береза сломалась, как спичка. Ну-ка, сейчас я ее найду.

Чуть припадая на хромую ногу, Бережков легко побежал в лес.

— Пожалуйте сюда! — прокричал он.

Я прибавил шагу. Бережков с торжеством продемонстрировал пень обломанной толстой березы, уже трухлявый, крошащийся под ударами ноги.

— Ну-с,— лукаво улыбаясь произнес Бережков,— что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?

— Действительно... А что же случилось дальше?

— Хочется дальше?

— Еще бы! Береза сломалась, а потом?

— Потом оказалось,— ответил Бережков,— что со всеми моими адскими переживаниями, с ускорением хода, с рухнувшей березой я проехал всего-навсего сто шестьдесят метров. Оказалось, что вездеход находился в движении всего-навсего полторы минуты или, точнее, восемьдесят восемь секунд. Ганьшин засек время на секундомере. А на восемьдесят девятой мы засели. Мотор работал, огромные колеса буксовали, выбрасывали куски мерзлой почвы, а вездеход — ни с места. Потом со страшным треском сломался мотор. Я соскочил с машины. Осмотрелся. Массивный задний каток, прокопав глубо-

кую черную полосу, застрял в мерзлой земле. До проруби наше земноводное чудовище так и не добралось. Здесь же на месте мы приняли решение — увеличить диаметр заднего катка.

Но мотор-то ведь все-таки сдвинул колеса! И поднял в воздух машину Ладошникова! Он все-таки был уже создан, уже существовал, наш русский мотор «Адрос», тогда самый сильный в мире бензиновый двигатель авиационного типа, новой, совершенно оригинальной, ни у кого не заимствованной конструкции. Теперь надо лишь скорее исправить поломку, строить серию «Адросов».

Увы, в то время я совсем не понимал, что значат эти два простых слова: «мотор создан». Сейчас я не буду развивать вам эту тему, а скажу кратко: без промышленности, первоклассной индустрии, самая замечательная, самая талантливая конструкция мотора не станет надежно действующим серийным механизмом.

Многого я тогда не понимал. Очень скоро выяснилось, что история была повернута не колесом диаметром в десять метров, не мотором в триста лошадиных сил, а силами совсем иного порядка, о которых я тогда не имел и понятия.

Шел год тысяча девятьсот семнадцатый... Стыдно сказать, я даже не пытался осмыслить происходившие события. В дни Февральской революции просто толкался по улицам, глазел... И больше всего меня волновал вопрос о судьбе моего «Адроса».

Кстати, им заинтересовались американцы.

40

Дело было весной 1917 года, еще до Советской власти, когда в России процветал частный капитал и велись всякие капиталистические операции. Однажды я и Ганьшин получили записку от Подрайского. Он загадочно сообщал, что придет завтра к Ганьшину в Трубниковский переулок для разговора необыкновенной важности.

В назначенное время он явился, но, представьте, не один, а с уже известным нам американцем, мистером Робертом Вейлом, представителем фирмы «Гермес». Вейл по-прежнему держался добрым малым, охотно к случаю и не к случаю хохотал. Его подвижная физиономия и раньше была украшена веснушками, теперь, весной, их

еще прибавилось. Подрайский представил нам американца (хотя однажды это уже было проделано), посидел несколько минут и ретировался. На прощанье он приложил палец к губам, как бы издавая свое излюбленное «тссс»...

Мы остались с гостем. Роль переводчика взял на себя Ганьшин, отлично знавший языки. Вейл заговорил о новинках американской техники. Кстати, о технике: он слышал о нашем «Адросе».

— Мне хотелось бы ознакомиться с вашим мотором,— сказал он.— Америка умеет ценить хорошие вещи.

Потом он наговорил нам комплиментов и попросил завтра же навестить его.

— Интересно, за сколько Подрайский собирается нас запродать? — сказал Ганьшин, когда мы проводили американца.— Только не видать Америке нашего «Адроса».

Ганьшин категорически заявил, что ни с какими визитами к американцу не пойдет. Но я взволновался. Я потребовал всестороннего обсуждения вопроса. Мы устроили при закрытых дверях конференцию вдвоем и приняли решение: чертежей из России не выпускать. Но построить у нас с привлечением американских капиталов большой завод для производства моторов русской конструкции — это, как мне тогда казалось, другой разговор.

Размечтавшись, я уже видел себя то главным конструктором этого завода, то директором-распорядителем всей будущей фирмы и энергично восклицал, что возьму все дело в свои руки. Ганьшин издевался надо мной.

— Смотри, сам станешь Подрайским,— предупреждал он.

Но меня уже ничем нельзя было удержать. На следующий день я отправился с визитом к мистеру Вейлу в гостиницу «Националь».

41

Помните ли вы прежнюю Москву, какой она была до реконструкции? Помните ли, каким был этот район, где расположена гостиница «Националь», самый центр столицы, созвездие наших знаменитых площадей — Красной, Театральной, имени Дзержинского, которая звалась тогда Лубянской, имени Революции (представьте, я уже

запамятовал ее прежнее название) и Манежной (которой, кстати сказать, в прежней Москве не было вовсе)? Помните ли узенькую кривую Тверскую, мощенную булыжником; Охотный ряд, тесно уставленный лотками, где дотемна стоял гомон уличного торжища и ютилась какая-то церквушка,— ах, да, Параскевы Пятницы; книжные развалы стариков букинистов у Московского университета; какие-то переулочки, лабазы, магазинчики, трактиры там, где ныне расстилается асфальтовый простор Манежной площади, открывающий взгляду Кремлевскую стену?

Весной 1917 года, в те времена, о которых у нас с вами идет речь, у чугунной ограды Московского университета, где торговали букинисты, постоянно бурлил водоворот, возникали стихийные митинги, споры. Спорили люди, покупавшие здесь книги, и студенты, собиравшиеся в университете, и случайные прохожие, забывшие, куда они идут, и солдаты.

Вот по такой бурлящей улице, мимо Московского университета, я добрался до гостиницы, где обосновался мистер Вейл. Помню, как сейчас, это посещение. Вейл умывался, когда я пришел. Нисколько не стесняясь, он, голый до пояса, появился из ванной, извинился и, добродушно улыбаясь, продолжал крепко растирать мохнатым полотенцем свое розоватое, с изрядным слоем жирка, тело. Одеваясь, он поставил на стол бутылку коньяка, бутылку виски и сифон с зельтерской водой. Потом заказал завтрак.

Уже после двух или трех рюмок он предложил мне, как конструктор конструктору, называть его попросту Бобом. Я немного знал по-английски, Вейл столько же по-русски. Мы объяснялись ломаными фразами, жестами и даже рисунками. Закурив сигарету, Вейл положил ноги на стол. Меня все больше разбирала злость. Кто я, черт возьми, ему? Туземец, как они там выражаются в своих романах? Как он смеет так себя со мной вести? Делать нечего: положил ноги на стол и я. Вейлу это как будто очень понравилось. Вскочив, хлопнув меня по плечу, он с помощью небольшого наброска объяснил, что такая поза наиболее соответствует конструкции человеческого организма. Пририсовав к этому чертежику мою физиономию (так, во всяком случае, следовало понимать его намерение), Вейл возгласил:

— Мистер Бережков в Америке!

И показал жестами, что приглашает меня с собой туда.

— Дудки,— возразил я,— мы еще потягаемся с Америкой.

Вейл никак не мог понять этой фразы, сколько я ни старался ее растолковать. Тогда я, полушутя, но все же в иной момент давая волю злости, стал с ним боксировать, направляя удары в выпуклый животик Боба и покрикивая:

— Как конструктор конструктору? Понятно?

Я загнал его к дивану и повалил на подушки. Сдавшись, Боб, как кутенок, поднял лапки. Потом, потирая свой жирок в тех местах, куда угодили мои кулаки, он долго хохотал, уразумев наконец смысл русского слова «потягаемся». Вероятно, ему это в самом деле казалось смешным.

Перейдя к деловому разговору, я постарался развить свою идею постройки грандиозного завода в России для выпуска наших моторов. Почему бы не выстроить такой завод, например, в Москве? Я даже вывел печатными буквами название будущего предприятия: «Московский завод «Адрос». Уразумев, Вейл отрицательно повел головой.

— Почему же? — воскликнул я.

Он взял меня под руку, подошел со мной к окну и показал на улицу, где в стихийно возникавших толпах митинговали, спорили солдаты, женщины с кошелками, люди в солидных котелках и в простецких кепках.

— Нельзя! — сказал Вейл.— Русский беспорядок.

Повернувшись ко мне, он продолжал:

— Мистер Бережков — большой талант. Большому таланту нужен большой...— Вставив английское слово, он изобразил жестами размах.— И большая техника... Америка... Россия не годится...

Я подумал: «Черта с два! Мы еще покажем, что такое Россия!» У меня опять зачесались кулаки, захотелось потягаться, но я не дал себе воли, удержался.

Как вы понимаете, мы не договорились. Фирма «Гермес» не предоставила конструктору «Адроса» капиталов, на которые он по наивности рассчитывал. С мистером Робертом Вейлом я больше не встречался.

Доскажу историю фантастического колеса.

После Февральской революции Бархатный Кот не растерялся. Его круглая мордочка блаженно лоснилась, он улыбался и чмокал в предвкушении необыкновенных дивидендов. От Временного правительства ему удалось заполучить новую субсидию. Но вскоре он стал раздражаться. Рабочие в солдатских шинелях, жившие в бараках «Полянки», избрали комитет солдатских депутатов и потребовали человеческих условий. Некоторые офицеры, возбудившие к себе особенную ненависть, были жестоко избиты и выброшены за проволочные заграждения. В «Полянку» явился Подрайский с красным шелковым бантом на отвороте пиджака, собрал митинг и, взобравшись на задний каток, завел речь о войне до победного конца. Его сволокли с «нетопыря» и вывезли на тачке.

Солдатский комитет выбрал меня техническим руководителем работ и даже кооптировал в свой состав. У меня до сих пор сохранилось удостоверение, что я являюсь членом исполнительного комитета Совета солдатских депутатов. Однако в вихре событий фантастическая колесница скоро оказалась забытой и заброшенной. Увлеченный новыми замыслами, я перестал ездить в «Полянку». А мотор мы с Ганьшиным еще долго доводили. Но это уже иные приключения, иная эпопея.

— Вот, собственно говоря,— закончил Бережков,— и вся эта история. Впрочем...

Вспомнив что-то еще, он улыбнулся и многозначительно поднял палец. Это был знак, что сейчас опять последует нечто любопытное.

— Впрочем, судьба «нетопыря» имела некоторое продолжение. Однажды в напряженнейшее время, когда в стране шла гражданская война, мне в Московское бюро изобретений — я там служил по совместительству — принесли повестку: явиться к такому-то часу дня на площадь Дзержинского (тогда еще Лубянскую), в Вечека, в отдел по борьбе с экономической контрреволюцией. Не зная за собой никаких провинностей, я все же волновался, отправившись по указанному адресу. Мне выписали пропуск, я вошел. Некоторое время пришлось ждать в коридоре. Затем пригласили к следователю. Он встретил меня исключительно любезно.

— Садитесь. Вы тот самый Бережков, который строил амфибию в лесу?

— Да, тот самый.

— Очень рад с вами познакомиться. Известно ли вам, что эта машина до сих пор стоит в лесу?

— К сожалению, я давно туда не ездил. Но я представляю, что ее мудрено извлечь оттуда.

— Однако ведь ей угрожает разрушение. Нам сообщают, что население растаскивает ее по частям. Что с ней делать? Считаете ли вы технически оправданной идею этой машины?

Я ответил, что сейчас эта вещь представляет лишь исторический интерес. Вездеход-амфибия с полыми колесами — это курьез. Интересен лишь мотор, который я продолжаю доводить.

— Ну что же нам все-таки делать с этой амфибией? — спросил следователь.

— По моему мнению,— ответил я,— было бы очень полезно водворить ее где-нибудь на пустыре. Или, скажем, у Москвы-реки, на Воробьевых горах. Пусть народ ее посмотрит. Пусть эта громадина-амфибия послужит символом царского строя, который пытался защитить страну с помощью этаких чудищ.

Меня поблагодарили за совет и отпустили с миром.

Мы шли по полянке к мотоциклету, под ногами мягко пружинил мох, негромко шумели молодые березы, играли солнечные зайчики, пахло прелым и свежим листом, влажной и разогретой корой. Бережков с явным удовольствием вдыхал эти запахи леса. У мотоциклета он воскликнул:

— Хватит на сегодня! Едем! Отвезу вас домой!

— Алексей Николаевич, когда же мы увидимся следующий раз?

— Хотите продолжения?

— Очень.

— Что ж, приходите опять в воскресный день. Продолжение будет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ночь рассказов

1

В обещанный день встреча с Бережковым не состоялась. «Беседчик» явился в назначенное время, но ему сказали:

— Алексей Николаевич уехал из Москвы.

— Куда?

— Куда послали. Нам он этого не говорит.

— Когда же он вернется?

— Сказал, что сам не знает.

Пришлось откланяться. Что поделаешь? Надобно запастись терпением. Сегодня Бережкова нет, завтра нет, но послезавтра... Послезавтра Бережков наконец у телефона.

— Алексей Николаевич? Вы? Здравствуйте. Я без вас извелся. Я жажду продолжения.

— До двадцать пятого, к сожалению, ничего не выйдет. А потом сразу наступит облегчение.

— Алексей Николаевич, нельзя ли, чтобы облегчение наступило раньше?

— Не скрою от вас, что мне самому этого хочется.

— Когда же к вам прийти?

— Прошу пожаловать в первое воскресенье после двадцать пятого.

На этот раз, «в первое воскресенье после двадцать пятого», многоопытный «беседчик» явился пораньше, чтобы наверняка застать Бережкова. Мне объявили, что Бережков еще спит. Это был добрый знак.

— Хорошо. Не беспокойте, пожалуйста, его. Я подожду, пока он встанет.

Меня провели в кабинет.

Что рассказывала эта комната о ее обитателе? Ничего лишнего, ни одной ненужной вещицы. На письменном столе так много свободного места, что на ум невольно приходило выражение: фронт работы. У стен —

приятные для глаза, очень удобные книжные шкафы, конструкция которых была, очевидно, продумана самим хозяином. Над столом висел большой фотопортрет Николая Егоровича Жуковского, тот самый, уже нами описанный, где старый профессор стоял во весь рост в широкополой шляпе и в болотных сапогах, с охотничьим ружьем.

За стеной, в спальне, раздался телефонный звонок. Затем донесся знакомый голос:

— Слушаю... Зазоры? В каком цилиндре? А как маслоподача?

Бережков еще некоторое время расспрашивал, употребляя малопонятные технические термины, затем сказал:

— Встаю, встаю... Через час буду на аэродроме.

Мне сразу стало грустно. Минут десять спустя Бережков появился — свежевыбритый, одетый, улыбающийся.

— Я слышал, как вы тут напевали,— сказал он, здороваясь.

Я изумился.

— Разве? Я как будто скромно молчал.

Бережков пропел:

— «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети».— Глядя на меня смеющимися зеленоватыми глазами, он развел руками, изображая извинение.— Но птичка, к сожалению, улетает.

— Вы шутите, а я в самом деле огорчен.

— Ничего, после пятого станет гораздо легче.

— Но ведь вы обещали: после двадцать пятого...

— Не вышло. Небольшая авария.

— У меня тоже авария. Но я мрачен, а вы поете.

Бережков рассмеялся.

— Конечно, не очень приятно, когда на испытаниях в твоей машине что-нибудь ломается, но я в таких случаях всегда говорю: «Если бы здесь не треснуло сегодня, то завтра развалилось бы в полете. А теперь нам видно, что у нее болит». Сейчас поеду. Разберемся.

— А мне с вами нельзя, Алексей Николаевич?

— Нельзя.

— Секрет?

Кивнув, Бережков предостерегающе поднял указательный палец.

— Тссс... Ни звука.

Его глаза опять смеялись. Давно минули приключения его молодости, он был уже крупным конструктором, и все-таки в нем жил, в нем играл прежний Бережков.

— Нельзя,— сказал он серьезно.— Но после пятого...

— Что — после пятого?

— После пятого, если не помешают сверхъестественные силы, все можно будет рассказать.

Он пригласил меня в столовую.

— Позавтракайте со мной...

Из кухни на шипящей сковородке принесли нарезанную ломтиками ветчину с зеленым горошком. На глубокой тарелке подали нашинкованную свежую капусту.

— Эликсир молодости! — возгласил Бережков, глядя на капусту.— Мое ежедневное утреннее блюдо.

Мне, однако, было ясно: нет, не капуста является для него «эликсиром молодости». Таким искрящимся, таким молодым в сорок лет его делало, несомненно, упоение творчеством, огромной работой и, в частности, какой-то еще неизвестной мне большой задачей, о которой он только что молвил: «Ни звука».

Я сказал:

— Может быть, Алексей Николаевич, вы что-нибудь пока расскажете? Используем эти десять минут, а?

— Хорошо. Только не больше десяти минут. Хотите, один потрясающий эпизод тысяча девятьсот девятнадцатого года?

2

— После небезызвестной вам истории с мотором «Адрос»,— начал Бережков,— в моей жизни был период, когда я брался то за одно, то за другое, а затем развернулась грандиознейшая эпопея под общим наименованием «Компас»... Подробно обо всем этом я вам доложу особо, а пока сообщу лишь самое необходимое о «Компасе». Однажды весной тысяча девятьсот девятнадцатого года ко мне влетел Ганьшин.

— Бережков, ты нужен. Бери мотоциклетку, едем.

— Куда? Зачем?

— К Николаю Егоровичу Жуковскому. Он получил письмо от Совета Народных Комиссаров. Просят, чтобы он помог построить эскадрилью аэросаней для Красной Армии. Сегодня у него первый раз соберется «Компас».

— «Компас»? Что это такое?

— Комиссия по постройке аэросаней. Сокращенное название. Ты тоже зачислен туда членом. А я, как видишь, послан за тобой.

— Пожалуйста, готов... Хотя у меня есть одно маленькое «но»...

— Только одно? Какое же?

— Я никогда не занимался аэросанями.

— А кто ими занимался? Только Гусин и Ладошников. А теперь впервые на земном шаре нам предстоит начать постройку аэросаней в промышленном масштабе. На войне такой род оружия еще никогда не применялся. Это будет механическая конница на лыжах.

— Черт возьми, замечательная мысль!

— Посмотрим, что ты запоешь, когда у нас ничего не выйдет. А по всей вероятности, так оно и будет.

— Ну, ну, не каркай... Едем!

И мы отправились к Николаю Егоровичу.

Жуковский был основателем, так сказать, духовным отцом «Компаса», а практическим руководителем, председателем комиссии стал другой выдающийся профессор Московского Высшего технического училища, глава кафедры двигателей внутреннего сгорания, специалист по авиационным моторам Август Иванович Шелест.

И вот спустя несколько месяцев после того, как мы взялись за постройку аэросаней (интереснейшие перипетии этих месяцев ваш покорный слуга изложит в следующий раз), как-то ночью, во время заседания «Компаса»,— а должен вам сказать, что мы заседали невероятно часто и главным образом по ночам,— раздался телефонный звонок. К телефону подошел Шелест. После первых же фраз он повернулся к нам и ожесточенно замахал рукой, требуя полнейшей тишины. Все смолкли. Был слышен только голос Шелеста:

— К башне Кутафье? В шесть утра?

Мы видели: Август Иванович делает усилие, чтобы говорить спокойно.

— Да, горючее есть... Кто? Да, да, понятно.

Положив трубку, Шелест повернулся к нам и проговорил:

— Кончено...

Насколько я помню Шелеста, ему вовсе не было свойственно уныние. В ту пору нашему председателю уже

шел пятый десяток, но он ничуть не отяжелел и оставался спортсменом, любимцем женщин, страстным поклонником мотоцикла. Даже седина с благородным блеском алюминия не старила его. Он обладал огромным запасом энергии, жизнерадостности и юмора. Только такие люди, скажу кстати, могли строить в те времена аэросани.

Однако в эту минуту Шелест был растерян.

— Кончено,— повторил он.

— Что кончено? Что произошло?

Шелест ответил:

— В шесть часов утра надо подать аэросани к Кремлю, к башне Кутафье.

— Для чего?

— Срочное задание. Пробег на сто — сто пятьдесят верст. Пункт не указан.

— А кого везти?

— Члена Реввоенсовета Четырнадцатой армии. Сказали, что он приехал с фронта всего на несколько часов. Одно из его дел в Москве — ознакомиться с аэросанями.

3

Выдержав паузу, Бережков продолжал:

— Надо вам сказать, что аэросани, рождаемые «Компасом», находились в периоде так называемой конструкторской доводки. Когда-нибудь я вам особо опишу, какая это дьявольская, мучительная штука — доводить! Доводка у нас непомерно затянулась. А ведь аэросани нужны были армии этой же зимой.

Как только выпал снег, мы чуть ли не каждый день производили испытания, после которых что-то исправляли в конструкции, но наши сани упорно капризничали: раз ходили, раз не ходили.

Попадая с ходу на камень или на трамвайный рельс, они издавали зубовный скрежет и застревали. В таких случаях все пассажиры вместе с водителем должны были наклоняться из стороны в сторону, раскачивая этим сани, на которых ревел мотор и бешено крутился пропеллер. Наконец вновь раздавался страшный скрип — и сани двигались. Нередко случалось, что в пути глох мотор и никак не заводился, случалось, что ломался пропеллер,— тогда приходилось вызывать лошадей и волочить сани на веревках в мастерские.

Но уж зато если разгонишь, то никакими силами не остановишься, особенно с горы. На санях не было тормозов, вернее, они существовали в виде клыков или тормозных досок, которые вылезали из-под лыж, но почти не тормозили.

Положение, как видите, было незавидным. Что мог Шелест ответить на требование подать сани? Доложить, что у нас нет саней,— значило расписаться в собственном банкротстве. Доложить, что у нас есть сани,— значит: подавай их к шести часам утра, вези, выполняй распоряжение.

Все молча сидели и думали. Наконец Шелест вскинул голову.

— Друзья! — воскликнул он.— Мы забыли, что у нас есть Бережков. Предлагаю принять постановление: задание выполняет Бережков.

Я вскочил:

— Что вы? Ни в коем случае! Сани надо раскачивать, пропеллер бьет, мотор глохнет, тормозов нет. Надо быть безумцем, чтобы демонстрировать их кому-то, пойти в дальний пробег...

— Поэтому-то мы к вам и обращаемся,— ответил Шелест.

Члены «Компаса» во главе с Шелестом принялись уговаривать меня. Ведь надо же кому-то ехать. И не кому-то, а именно мне, ибо я что-нибудь да придумаю, если понадобится. Но я решительно отказывался. Наконец Шелест, зная меня, сказал:

— До сих пор я был о вас другого мнения. Неужели боитесь? Неужели вы действительно не сможете повести сани?

Неожиданно для самого себя я выпалил:

— Смогу!

Я тотчас понял, что меня поймал умница Шелест, но было поздно об этом раздумывать: слово вылетело, я согласился.

Однако, согласившись вести сани, я потребовал, чтобы со мной в качестве помощника ехал Ганьшин и чтобы для связи за нами следовала мотоциклетка-вездеход. Такую мотоциклетку с выдвижными лыжами мы изобрели в «Компасе». Беда ее, однако, заключалась в том, что на цельном снегу она не выдерживала веса взрослого мужчины. Ее освоил только один наш рабочий-подро-

сток, очень способный и сообразительный, принимавший, кстати сказать, некоторое участие в изобретении этой штуки. Я потребовал немедленно поднять на ноги парнишку, чтобы он явился передо мной, как лист перед травой.

Конечно, мои условия были моментально приняты.

А уж шел второй час ночи! Вся комиссия немедленно отбыла в мастерские, которые помещались на Ленинградском шоссе, в конюшнях бывшего ресторана «Яр». По пути мы заезжали на квартиры наших мотористов и забирали их с собой, извлекая прямо из постелей.

До утра, не заснув ни на одну минуту, мы провозились с аэросанями, проверяя все узлы и регулируя работу винтомоторной группы.

В шестом часу утра мы с Ганьшиным уселись в сани и осторожно тронулись в ворота. Вся комиссия провожала нас.

Здесь произошло первое несчастье. Кто-то поспешил прикрыть за нами ворота и задел пропеллер, который на аэросанях укреплен сзади. Конечно, пропеллер — пополам. Это было очень скверное предзнаменование.

Пришлось снять запасной пропеллер, укрепленный на борту саней, и поставить вместо сломанного. Все с мрачными лицами наблюдали за этой операцией, на которую ушло около получаса.

Наконец, уже запаздывая, мы — аэросани впереди, мотоциклетка сзади — двинулись к Кремлю. Еще не светало. Луна освещала нам путь.

Кутафья башня, как всем известно, расположена возле Манежа. К ней ведет каменный мостик, перекинутый над Александровским садом. Здесь мы остановились. Над зубцами Кремлевской стены возвышался верхний этаж каменного дома с узкими маленькими окнами. Кажется, в свое время это был терем, где обитали царевны. А теперь перед этим теремом стоят, сотрясаются аэросани с невыключенным двигателем; оттуда, из этого дома, из этих неясно виднеющихся раскрытых ворот сию минуту выйдет один из комиссаров Красной Армии — армии, которая только что, три-четыре недели назад, остановила белогвардейские войска.

Было излишне докладывать о прибытии, ибо наш мотор ревел на всю округу. Я не выключил его, опасаясь, чтобы он не застыл на тридцатиградусном морозе.

Кого-то мне предстоит везти? Каков он, этот член Реввоенсовета 14-й армии? Ждать пришлось недолго. Сквозь облака мелкой белой пыли, которую вздымал пропеллер, я разглядел, как из ворот Кремля к саням зашагал человек в овчинном тулупе, почти волочащемся по снегу. Подойдя, он быстро обошел вокруг саней, оглядел их по-хозяйски. Он остановил и на мне блестящие, черные, как спелая вишня, глаза. Ему было тридцать два — тридцать три года. Несмотря на тяжелую одежду, походка была стремительной, легкой. В лунном полусвете я увидел шлем-буденовку на его голове. Буденовка была свободно распахнута внизу, у подбородка. И ворот тулупа не был поднят.

Член Реввоенсовета стоял в вихре снежной пыли, поднимаемой крутящимся винтом, и не прятался за овчинный ворот, не кутался, а, наоборот, словно чуть улыбаясь, подставлял налетающим колючим снежинкам свое смуглое, характерное кавказское лицо с черными густыми бровями, с черными усами, кончики которых, как мне показалось, были слегка закрученными, острыми.

Осмотрев сани, он подошел к нашей водительской кабине. Подавшись ко мне, спросил, сколько у нас с собой горючего.

— Часа на четыре,— сказал я.

— Очень хорошо. Выезжайте, пожалуйста, на Серпуховское шоссе.

Наш пассажир сел в кабину саней, я поддал газу и, чувствуя, что эту поездку запомню навсегда, что переживаю какой-то исторический момент, посмотрел на часы. Было...

О, наши десять минут давно прошли. О том, что случилось во время поездки, я расскажу в другой раз отдельным эпизодом.

— Алексей Николаевич, неужели ждать до пятого? Ведь это пытка!

— Интересно?

— Очень!

— В таком случае... Знаете что? Мне, быть может, предстоит вскоре одна ночка, когда я не смогу заснуть. Хотите, я тогда вам позвоню!

— Еще бы!

— Договорились! Ждите!

Прошло обещанное пятое, прошло десятое, пятнадцатое — от Бережкова не было звонка.

Признаться, «беседчик» не верил, что Бережков когда-нибудь позвонит сам, и считал нужным время от времени напоминать о своем существовании.

Однако Бережков был в эти дни неуловим. Он опять сутками пропадал из дому и из служебного кабинета, опять уезжал куда-то из Москвы. Лишь один или два раза мне удалось с ним соединиться.

— Ни одного часа не могу выкроить,— отвечал он по телефону.— Теперь самые ответственные дни.

— И бессонные ночи?

— Не намекайте, помню. Мы все-таки скоро, может быть, устроим ночь рассказов. Если удастся, позвоню.

Тайна напряженной работы Бережкова раскрылась неожиданно, однажды утром, при взгляде на свежую газету. В этот день в московских газетах было напечатано сообщение о том, что на рассвете советский самолет с мотором «Д-41» стартовал в полет по замкнутому кругу на расстояние 12—13 тысяч километров. Все ясно. Вот они, бессонные ночи Бережкова. «Д-41» — это его мотор.

Недавно был совершен блистательный, вписанный золотыми буквами в историю Советской страны перелет Валерия Чкалова и его друзей. Теперь наша авиация подвергается еще одному испытанию. Конечно, в полете по замкнутой кривой нет той притягательности, романтичности, как в могучем прыжке из одной точки земного шара в другую — прыжке, что доступен самолету. И все же 12—13 тысяч километров по замкнутому кругу — это мировой рекорд. Только что прославилась краснокрылая машина «ЦАГИ-25», с мотором талантливого конструктора Микулина, в новом полете покажет свои качества другой советский авиадвигатель конструкции Бережкова.

Мне представилось, как Бережков проверял, готовил в путь свой мотор, сидел и слушал — пятьдесят, восемьдесят, сто часов,— сидел и слушал могучий звук мотора. Вероятно, он, думалось мне, имел в виду нескончаемые эти часы, когда обещал позвонить ночью. Что поделаешь, не вышло.

На другой день газеты опять сообщали о перелете.

Уже вторые сутки самолет находился в воздухе. Вечером, в девять часов, по радио была передана очередная сводка с борта самолета: «Покрыли девять с половиной тысяч километров... Земля закрыта туманом. Все в порядке. Продолжаем полет».

Я подумал о Бережкове. Не позвонить ли ему? Как он, должно быть, волнуется, ожидая сводок. Нет, теперь к нему не время приставать.

И вдруг в одиннадцатом часу вечера меня позвали к телефону. Сняв трубку, я не поверил собственным ушам — звонил Бережков.

— Приходите! Сегодня я в вашем распоряжении до утра.

Сборы были недолги. Через двадцать минут я входил к Бережкову.

5

Там я застал его гостей. Позволю себе не всех упомянуть. Но нельзя умолчать о сестре Бережкова, Марии Николаевне.

Сдержанная, спокойная, она, конечно, очень отличалась от брата, но все же, не раз сопоставляя их, я легко мог заметить и общие, фамильные, «бережковские» черты. Природа наградила их совершенно одинаковой приветливой, открытой улыбкой. Требовалось большое усилие воображения, чтобы представить сестру или брата раскисшими, ноющими, в так называемом дурном расположении духа.

Жену Бережкова я до сих пор видел лишь однажды, да и то мельком. Помнится, она вошла с улицы решительным шагом, со свертком чертежей, с объемистым портфелем в руках, серьезная и, как мне подумалось, усталая. Бережков как-то сказал, что она в свое время оставила учебу, чтобы работать вместе с ним над созданием, над доводкой его авиамотора. Теперь она наверстывала упущенное, заканчивала курс в авиационном институте. Сегодня она была совсем не такой серьезной и строгой, какой показалась прежде. Вон она какая — эта тоненькая светловолосая студентка, жена известного конструктора,— скромная, простая, веселая и все-таки очень серьезная.

В углу сидел один из гостей приблизительно лет на

десять моложе Бережкова — синеглазый, в сером летнем костюме. Знакомясь со мной, он встал, сдержанно улыбнулся, протянул руку. Я обратил внимание на его несколько расплывчатые, не очерченные резкой линией губы, словно свидетельствующие о мягкости натуры, и вдруг при рукопожатии ощутил неожиданно широкую, твердую, крепкую кисть. Конечно, тогда я лишь безотчетно отметил этот контраст руки и лица, но впечатление вспомнилось потом.

Со стены на нас смотрели старческие добрые глаза профессора Николая Егоровича Жуковского, заснятого в аудитории у доски.

Поздоровавшись со всеми, я увидел в углу на диване какую-то свернувшуюся калачиком фигуру. Оттуда доносилось мерное дыхание спящего.

— Это небезызвестный Ганьшин,— кивнул туда Бережков.— Пока могу представить вам его только в таком виде.

Затем Бережков принялся за прерванное моим приходом занятие.

На электрической плитке он поджаривал кофейные зерна.

Придавая торжественность столу, там красовались три бутылки шампанского с массивными пробками в нетронутой серебряной обертке.

— Батарея для салюта! — объяснил Бережков.— Дадим залп, когда побьют рекорд. А пока... Скоро я вам предложу попробовать, что такое чудесно приготовленный кофе.

Ловко встряхнув зерна, он объяснил, что кофе надо поджаривать непосредственно перед заваркой, что тут не пригодна ни алюминиевая, ни эмалированная сковорода, нужна обязательно чугунная.

— Только чугунная,— повторил он.— И чтобы на жару обязательно потрескивало.

Наклонясь к сковороде, он прислушался и вдруг сказал:

— Вот и я сейчас поджариваюсь на чугунной сковородке...

Родные смеялись его шуткам, отвечали шутками же, но, конечно, тут ни на минуту никто не забывал, что где-то над среднерусскими просторами сейчас летит самолет с его мотором.

Через некоторое время мне налили стакан кофе, подвинули какую-то снедь. Я попросил:

— Расскажите, Алексей Николаевич, о перелете...

— Когда-нибудь потом... Не могу, пока не приземлились. Сегодня будем рассказывать про другое.

Он сел на диван в ногах у спящего и удобно привалился в угол.

— Начинается ночь кофе и рассказов,— объявил он.

Все в ожидании притихли, но Бережков вскочил. Из соседней комнаты он принес телефонный аппарат и, воткнув в розетку длинный шнур, поставил на стул около себя. Устроив аппарат, он протянул руку к трубке, но вздохнул и не стал звонить.

— Прогнали оттуда...

— Откуда?

— Из штаба перелета. Прогнали, как оно и следует. Велено спать. Велено на мои звонки не отвечать.

Он обвел взглядом комнату, подошел к стулу, на котором висел легкий цветной шарф, принадлежавший, видимо, одной из женщин, и набросил его на телефон. Затем сел.

— Ну-с... Начнем, как начинаются хорошие старые романы: «Давайте вашу руку, читатель...»

Все смотрели на Бережкова. Однако ему не сиделось. Снова вскочив, он прошел к полуоткрытой двери и плотно прикрыл ее.

— Почему вы закрыли? — спросил я.

— Флюиды улетучиваются,— объяснил Бережков.

Он опять опустился на диван, откинулся на подушку и посидел так с минуту, глядя куда-то невидящим взглядом.

Я сказал:

— Алексей Николаевич, прошлый раз вы не закончили про поездку на аэросанях. Что же случилось дальше, когда вы поехали? Расскажите для всех эту историю.

— Для всех? — Бережков усмехнулся.— Этот случай давно тут известен всем, исключая вас. Я прошу извинения, если некоторым из присутствующих придется выслушать кое-что знакомое.

В ответ раздались просьбы:

— Расскажи про мельницу...

— И про бюро изобретений...

— Нет, про Кронштадт...

— Все расскажу,— пообещал Бережков.— Все необыкновенные истории из жизни вашего покорного слуги будут сегодня вам доложены. Но, с вашего позволения, примем за основу хронологический порядок.

«Беседчик» придвинул блокнот и взял карандаш.

— Дойдем и до поездки,— обращаясь ко мне, сказал Бережков.

6

— Итак, начнем по порядку,— продолжал он.— Шел тысяча девятьсот восемнадцатый год. Тогда я очень мало смыслил в совершающихся событиях. Как вам известно, меня всегда безумно увлекала техника, а большевики казались мне людьми лишенными всякого интереса к технике. Занятия политикой я считал напрасной тратой времени. Какое отношение имеют большевики, политика к тем невероятным конструкциям, которые я мечтал создать?

Впрочем, я не философствовал. Мне было двадцать два года; из меня, словно под напором в тысячу атмосфер, фонтанировали всяческие проекты, идеи и фантазии; я готов был с жадностью взяться за работу, лишь бы что-нибудь выдумывать, создавать.

В эти дни в газетах появилось обращение Советского правительства, призывающее всех инженеров и техников заняться работой по специальности.

Прочтя воззвание, я вышел из дому и стал раздумывать: чем заняться, куда направиться?

В воззвании было сказано: по специальности. Но какова же моя специальность?

Конструктор-фантазер. Хорошо бы иметь свою контору с очень скромной вывеской: «Принимаю заказы. Конструкторски разрабатываю всякие фантазии». Нет, с таким предложением никуда не явишься, с такой специальностью погонят. Но куда же мне все-таки определиться? Пожалуй, больше всего на свете я люблю моторы. Где же занимаются моторами?

Размышляя таким образом, я бродил по улицам Москвы, уже усыпанным снегом. По пути я рассеянно разглядывал плакаты, афиши, объявления и приказы, расклеенные всюду.

Вдруг у одного подъезда я увидел вывеску: «Центральная моторная секция РСФСР».

Ого, моторы!.. Это, пожалуй, мне по сердцу. Я вошел.

Учреждение являло собою несколько пустых и холодных комнат, в которых сидели два или три товарища в шинелях.

Я отрекомендовался как студент последнего курса Московского Высшего технического училища, предъявил документы, немного рассказал о себе, и меня тут же приняли на службу в качестве заведующего организационным отделом. Я раздобыл лист бумаги и красиво вывел: «Организационный отдел центральной моторной секции РСФСР». Этот лист я прикрепил к дверям одной из комнат и расположился в ней.

Моторной секции принадлежал гараж на двенадцать — пятнадцать автомашин. Мы выдавали ордера на пользование этими автомобилями. Однако получить у нас машину было адски трудно, даже по записке из Совета Народных Комиссаров, ибо наши машины были вечно в разгоне или вечно чинились.

На должности заведующего организационным отделом мне пришлось заниматься чисто бумажной, конторской работай — я писал какие-то планы, какие-то отчеты. Однако через месяц-другой, несколько попривыкнув, я нашел случай развернуться во всем блеске и представил грандиознейший проект устройства в Москве центрального распределительного гаража на тысячу машин. Это был совершенно замечательный труд, толщиной не менее как в дюйм. Там до мельчайших подробностей описывались функции обслуживающего персонала от директора до подметальщика и были приложены десятки чертежей и схем. Проект предусматривал сооружение круглого двухэтажного здания для гаража с подъемными машинами, с автоматической сигнализацией. Машина выехала — в сигнальной комнате на пульте вспыхивает красный огонек, вернулась — светится зеленый. В учреждении, где нужна машина, нажимают кнопку, в сигнальной комнате на распределительной доске выскакивает соответствующий номерок. Чертеж этой комнаты был исполнен в красках. Я изобразил, как на вращающемся стуле сидит одна девушка и управляет всем автомобильным хозяйством города Москвы.

Конечно, весь этот проект мог иметь реальное значение только в будущем. Но заглянуть в будущее так приятно!.. Я писал и чертил с искренним воодушевлением, совершенно отрываясь от земли.

А на земле... А на земле у Александровского вокзала раскинулось кладбище автомобилей. Там машины сваливали и вверх колесами, и боком, и одну на другую, и как угодно. Под открытым небом лежало несколько тысяч разбитых и сломанных машин. Их привезли в Москву с Западного фронта, куда они, купленные у союзников, попали во время войны. Ремонтировать было негде и нечем, запасные части пропали или вовсе не прибыли, и всякий, кто хотел, бесцеремонно раздевал эти машины.

Бензина почти не было. Ездили на керосине, на газолине, на спирту и даже иногда на коньяке. Спиртом заправлялись в Лефортове на спиртовом заводе. Открывались ворота, машина въезжала во двор к крану, который был выведен наружу, чтобы не выдавать пропусков в здание. Из крана бежал чистый спирт. Это было невероятнейшее расточительство из-за нищеты.

Мой мотоциклет ходил на керосине. Перед отправлением в путь приходилось паяльной лампой раскалять карбюратор докрасна, и после этого машина шла как миленькая. По дороге мотор отказывал, снова пускалась в ход паяльная лампа, снова карбюратор раскалялся докрасна и — снова в путь.

Но часто не оказывалось ни спирта, ни керосина, ни бензина. Заводы стояли, здания не отапливались, электричество не действовало, годных автомобилей почти не было.

Бережков помолчал, улыбнулся и неожиданно сказал:

— А ведь они летят! Летят, черт побери!

«Беседчик» понял его чувство, его мысль. Да, как кратко и как вместе с тем велико расстояние от тех годов разрухи до этой ночи, когда, описывая огромные круги, третьи сутки без посадки летит советский самолет с мотором Алексея Бережкова, устанавливая новый мировой рекорд.

Как же был пройден этот путь? Сумеет ли Бережков рассказать об этом?

Бережков потянулся к телефону, но, сдержав себя, опять не позвонил.

— У той эпохи имеется, как вам известно,— продолжал Бережков,— общепринятое наименование: военный коммунизм. Помню лозунг того времени, повторявшийся в газетах, на плакатах, в речах: «Социалистическое отечество в опасности!»

Люди шли и шли на фронт. В Москве не хватало хлеба, не хватало топлива, многие заводы замерли, трамваи почти не ходили. И все-таки эти дни остались в памяти как время кипучего подъема, созидания! Сколько нового возникало тогда: закладывался новый мир! Как раз в эти годы был, например, создан Центральный аэро- и гидродинамический институт имени Жуковского. Изумительное время! Мы подголадывали, но не унывали. «Мировой скорбью» чело не омрачалось. Напротив, никогда раньше столько не смеялись. И сейчас вспоминается много смешного.

Например, посмотрели бы вы, как мы зимой добирались на службу на мотоциклетках. Приходилось приспосабливать ноги к функции лыж и маневрировать таким образом между сугробами. Ух, какие были тогда сугробы! Даже центр Москвы — Тверская и Кузнецкий мост — был заметен сугробами.

И, представьте, я не помню, чтобы я мерз на мотоциклетке. Мы были молоды и не ежились от холода в самые свирепые морозы. Холодно, когда стар. А весь наш новый мир был миром молодости. В то времена я ходил зимой в коротком овчинном тулупчике, подпоясанном широким военным ремнем, в крагах и в папахе, подаренной мне Ладошниковым. Мотоциклетка была моим неразлучным другом, участником и помощником во всех моих приключениях и романах. Выберешь свободный вечер, посадишь на багажник свою даму — и летишь, летишь куда-то против ветра, счастливый, молодой, уверенный, что тебе предстоит что-то великое совершить.

Скоро у меня появилась новая интересная работа. В один прекрасный день явился Ганьшин...

— Ганьшин, ты до утра, что ли, решил спать? — прервал вдруг рассказ Бережков и без церемонии схватил за ногу прикорнувшего друга.

Тот заворочался. «Беседчик» увидел заспанную, удивительно добродушную и действительно курносую, как описывал Бережков, физиономию. Приподнявшись, Ганьшин близоруко огляделся.

— Чего тебе? — проворчал он.

— Сегодня у нас ночь рассказов. Познакомься.— Бережков представил меня.— Если я что-нибудь совру, подымай ногу!

— Заранее поднимаю!

И в воздухе заболталась нога в коричневой штанине. Бережков поймал ее, прижал к дивану, но нога тотчас снова поднялась. Все рассмеялись. С Ганьшина сошла сонливость. Поджав обе ноги под себя, он пашарил в кармане очки и принялся их протирать. К нему сразу протянулось несколько рук со стаканами вина и кофе, бутербродами и пирожками. Ганьшина, видимо, любили в этом доме.

3

— Итак,— продолжал Бережков,— в один прекрасный день ко мне пришел сей муж и, как всегда, сказал:

— Бережков, ты нужен.

— Рад служить. Что, куда, где?

— Нам нужен председатель технического совета при Бюро изобретений. Нужно организовать совет, который рассматривал бы изобретения, давал бы им оценку, устраивал бы испытания,— короче говоря, нам нужен ты.

Мне так наскучила бумажная работа в организационном отделе автосекции, что я немедленно согласился на совместительство.

Грядущие поколения, вероятно, не поймут этого магического слова. В годы военного коммунизма можно было служить по совместительству хотя бы в десяти местах. Кто имел меньше трех-четырех совместительств, того мы считали просто лодырем.

Бюро изобретений помещалось в Замоскворечье, на Ордынке, в новом, очень высоком и страшно холодном доме. Там на пятом этаже я занял несколько комнат, где расположились машинистки, секретари, консультанты — все честь честью.

Я принимал заявки, рассматривал изобретения, организовал экспериментальную мастерскую и со всей доб-

росовестностью старался всякое мало-мальски стоящее изобретение оценить, солидно опробовать и рекомендовать.

Весьма полезное дело — штамповка жестяных мисок и тарелок — было третьим занятием, третьим совместительством вашего покорного слуги. Предложение о штамповке металлических мисок тоже прошло через Бюро изобретений, было рассмотрено и принято. «Изобретатель» (в данном случае трудновато произнести это слово без кавычек) получил патент и полукустарный заводик в Москве для производства своих мисок.

Однако дело почему-то не пошло. Из-под пресса почти сплошь выходил брак. Почему? Никто этого не понимал. Я смело взялся поправить беду, пошел по совместительству и на завод мисок.

Прежде всего я переконструировал пресс. Получилась изящная и сильная машинка. Но как ни поставлю металл — рвет. Опять повозился над прессом — нет, не его вина, пресс был рассчитан правильно.

Я стал вертеть в руках и разглядывать рваные миски. Вижу, что металл покрыт как будто наждаком, а наждак, как известно, создает огромнейшее трение. Странно — откуда тут наждак? Стали чистить керосином пресс, но миски опять выходили рваные и опять будто посыпанные наждаком.

Не злодейское ли это дело? Не подбрасывает ли какой-нибудь мерзавец наждаку под пресс? Но меня вдруг осенило. Я вспомнил, что когда на металлургическом заводе прокатывают раскаленные листы, то они покрываются тончайшей окалиной. И в тот момент, когда мы под прессом начинали тянуть металл, эта тончайшая окалина отделялась и превращалась в некое подобие наждака.

Вот где, оказывается, таилось злодейство! В неопытности, в невежестве, в незнании элементарнейших вещей. Что же, однако, делать? Как избавиться от наждака? Я устроил ванну из соляной кислоты и опускал в кислоту каждый листик металла перед тем, как дать его под пресс. В результате пошли идеальные миски, ибо кислота начисто съедала окалину.

Эти штампованные жестяные миски тогда пользовались большим успехом.

Сейчас я не совсем точно представляю, на каких

юридических основах существовали мисочный и другие подобные заводики, приютившиеся под крылышком Бюро изобретений. Это не были частные предприятия, но они не считались и всецело государственными. Действовало какое-то право патента, авторское право изобретателя. В наше время это кажется невероятным, но тогда «изобретатель» мисок получал по закону в собственные руки какую-то долю продукции в натуральном виде и сбывал ее на Сухаревском рынке.

Со мной же на фабрике расплачивались, к счастью, не мисками, а «дензнаками», как говорилось тогда, и я иной раз позволял себе роскошь угощаться и угощать своих друзей на той же Сухаревке, где главным лакомством была колбаса, поджаренная в кипящем сале.

Сейчас нам ясно, что вместе с мисками, вместе с жареной сухаревской колбасой лез и пролезал капитализм, запрещенный, изгнанный, но чертовски цепкий и живучий.

Знаете, что иногда мне приходит в голову, когда я обдумываю все пережитое? Если бы в России в те годы все-таки восторжествовал капитализм, то я стал бы или фантазером-неудачником, или, в лучшем случае, кем-либо вроде фабриканта мисок. Из дальнейшего рассказа вам это будет яснее.

9

Итак, Россия летела вперед, летела в будущее, летела через рытвины, сугробы, как летят аэросани по снежной целине.

К грандиозной эпопее с аэросанями я, с вашего разрешения, теперь и перейду.

Как я вам уже говорил, ко мне однажды вошел все тот же Ганьшин и сказал:

— Бережков, едем!

Тотчас на мотоциклетках мы отправились к Николаю Егоровичу Жуковскому. Это произошло весной 1919 года — не то в начале, не то в середине мая. Кажется, именно в те дни газеты сообщили о наступлении Юденича на Петроград. Коммунистическая партия снова обратилась к армии, к рабочим, к крестьянам, ко всем гражданам России с призывом напрячь силы на фронте и в тылу, чтобы отразить Юденича.

Вот в такие времена Жуковский получил письмо от Совета Народных Комиссаров с просьбой помочь в создании нового вида оружия для Красной Армии — аэросаней.

В его домик в Мыльниковом переулке мы приехали под вечер. Николай Егорович примостился на крыльце особнячка. На широких перилах он поставил чернильницу, разложил листки бумаги и, не замечая ничего вокруг, быстро писал. Он ловил последние минуты угасающего дневного света, ибо с электричеством постоянно случались перебои, а работать при коптилке Николай Егорович не мог. Ему уже исполнилось семьдесят два года, зрение стало сдавать, он надевал очки, когда писал. Здесь же, на крыльце, лежал раскрытый огромный зонтик Николая Егоровича,— видимо, просушивался после прошедшего дождя.

Никакая погода не могла задержать Жуковского по утрам дома. В восемнадцатом — девятнадцатом годах трамваи почти не ходили, от извозчиков осталось лишь воспоминание. Жуковский каждый день отправлялся пешком на Коровий брод в Московское Высшее техническое училище, где по-прежнему читал курс механики и аэродинамики. Зимой он шагал в медвежьей шубе и в бобровой шапке. Весной он выходил в старой профессорской крылатке, в широкополой серой шляпе, а в ненастье — с зонтиком и в больших резиновых ботах. Несмотря на преклонный возраст, он много работал, совершал новые открытия.

На восьмом десятке он пережил новый творческий расцвет после великой революции. По предложению и проекту Жуковского Советское правительство в декабре 1918 года утвердило решение о строительстве ЦАГИ (Центрального аэро- и гидродинамического института). В первое время одним из помещений института была комната, прежняя столовая, в квартире Николая Егоровича — эту комнату наименовали залом заседаний. Там же, в Мыльниковом переулке, на письменном столе Николая Егоровича были составлены первые учебные программы будущей Академии Красного Воздушного Флота, которая теперь носит имя Жуковского.

Необычайно деятельный, многосторонний — «почти университет», по выражению одного из его учеников,— Жуковский в эти же годы занимался еще множеством

проблем. При его участии был организован экспериментальный институт Народного комиссариата путей сообщения. По просьбе железнодорожников Жуковский создал ряд замечательных работ,— например, «О снежных заносах», где исследовал траекторию несущейся снежинки и выяснил характер снежных отложений перед преградой и за ней. С того времени и до сих пор борьба со снежными заносами всюду происходит «по Жуковскому».

Так с новым увлечением, с вдохновением старый Жуковский служил своей родине, революционной России.

Сейчас мы видели его, как всегда, за работой. Он сидел на крыльце и исписывал листок за листком. Кругом в палисаднике все зеленело, пахло свежестью, распускались первые веточки сирени. Поставив свои мотоциклетки, мы пошли к дому, перепрыгивая через многочисленные лужицы.

10

— Теперь, друзья, внимание! Сейчас я должен рассказать историю, которая в наших авиапреданиях фигурирует под заголовком «Николай Егорович и строгая девочка».

Последние слова Бережкова вызвали непонятное мне веселое оживление гостей, но рассказчик невозмутимо продолжал:

— На дорожке, ведущей к крыльцу, разлилась большая лужа. Это озадачило двух маленьких товарищей — мальчика и девочку, которые стояли перед лужей, раздумывая, как им обойти препятствие. Ребятам было лет по двенадцати — тринадцати. Они были одеты в одинаковые серые курточки, обуты в одинаковые сапожки.

Жуковский продолжал писать, не замечая детей. Девочка строго на него поглядывала. Вообще, как выяснилось, это была очень строгая девочка.

Шум мотоциклеток давно известил Николая Егоровича о нашем прибытии. Заслышав, что мы подходим к дому, он проговорил, не отрываясь от работы:

— Я сейчас, сейчас... Входите... Вся картина скольжения аэросаней мне совершенно ясна... Сейчас я о ней вам доложу.

— А разве бывают аэросани? — вдруг сказала девочка.

Николай Егорович смущенно огляделся.

— Вы ко мне, дети?

— Мы не дети, товарищ Жуковский,— поправила его девочка.— Мы к вам.

— Так проходите же, проходите... товарищи...

Тут ваш покорный слуга совершил ужасную оплошность. Видя, что мальчик ступил в лужу, направляясь напрямик к крыльцу, я осмелился приподнять серьезную девочку и перенести ее на ступеньки. Боже, каким осуждающим взглядом я был награжден!..

Затем дети объяснили Николаю Егоровичу, что они являются представителями детского дома, расположенного неподалеку, представителями юных коммунистов. Мальчик говорил несмело, было видно, что его волновала встреча со знаменитым ученым. Порой он поглядывал на свою спутницу, как бы набираясь у нее решимости.

— Юных коммунистов? — переспросил Жуковский.— Интересно... Очень интересно... Чем могу служить?

— Мы просим вас сделать доклад о происхождении жизни на Земле.

— Происхождение жизни? Признаться, я не особенно силен...

— Не может быть,— перебила девочка.— Вы же известный профессор.

— Деточка... То есть, извините меня, товарищ... Я прочитаю вам лекцию о развитии авиации. Это мне ближе.

— Вы должны думать не только о себе... Пожалуйста, заострите тогда такой вопрос: авиация против религии.

— Я приду к вам и расскажу, как человек летает и будет летать. И если не подведет электричество, мы устроим лекцию с туманными картинами.

— Обязательно с туманными! — воскликнула девочка, но, словно спохватившись, тотчас опять сделалась строгой.— Но, пожалуйста, не слишком погружайтесь в технику. Сейчас ученые должны уделять внимание общим вопросам мировоззрения.

Жуковский смиренно глядел на девочку, только глаза его улыбались.

— Постараюсь,— сказал он.

Затем юные делегаты договорились с Николаем Егоровичем о дне и часе его лекции.

Кивнув на прощание Жуковскому, ребята вскинули правые руки. Интересно, что впоследствии схожий жест стал общепринятым у пионеров.

В лице Жуковского выразилось любопытство.

— Что сие значит? — спросил он.

— Это наш знак,— ответил мальчик.

— Руку поднимаем выше головы,— пояснила девочка. Серьезно взглянув на Жуковского, она добавила: — Чтобы всегда помнить: общественные интересы выше личных.

— Вот как! — удивился Жуковский и тоже, по примеру ребят, приподнял согнутую в локте руку.— До свидания, товарищи.

Круто повернувшись, дети стали спускаться по ступенькам. На секунду они остановились перед злополучной лужей, но, взглянув на меня, вспыхнув, девочка решительно пошла вперед, прямо по воде, увлекая за собой товарища. Не оглянувшись, они зашагали к калитке, но возле наших мотоциклеток остановились, замерли. Они считали недостойным излишнее увлечение техникой, но пройти мимо таких притягательных, таких диковинных машин было немыслимо.

Я подмигнул Ганьшину. Видя, что Жуковский опять склонился над работой, мы тотчас очутились возле мотоциклеток. Сергей скомандовал мальчику:

— Садись... Покажешь дорогу к детскому дому.

Малец быстро взобрался на багажник.

Сильно робея, я предложил презиравшей меня девочке место на моем багажнике. Представьте, она согласилась...

Слушатели долго смеялись над этой историей, но поглядывали почему-то не на рассказчика, а на его жену.

11

Бережков продолжал:

— Угадайте-ка, с чего началось наше заседание? Разумеется, с того, что Сергей Ганьшин изложил некоторые свои сомнения.

Не провалим ли мы задание Совета Народных Комиссаров? Стоит ли нам браться не за свое дело — за се-

рийное производство машин, в данном случае аэросаней? Кто из нас обладает опытом промышленного производства? Никто. В чем же, если трезво рассудить, должна выразиться наша помощь? Мы можем дать конструкцию, теорию, чертежи, расчеты, дадим даже опытный экземпляр аэросаней, а заводским производством, серийным выпуском пусть займется какой-либо завод. Не будет ли это вернее? К тому же все мы, говорил Ганьшин, загружены и перегружены другими крайне важными делами, прежде всего созданием ЦАГИ, постройкой новых самолетов, организацией моторного отдела, и так далее и так далее.

Совещание происходило в просторной теплой кухне, которую Леночка, дочь Николая Егоровича, сумела сделать самой привлекательной, уютной комнатой большого, почти не топившегося зимой дома. Мы все уверяли Жуковского, что ни одна комната так не располагает к работе, к дружеским разговорам, как этот наш «малый конференц-зал».

Овальный стол, покрытый вязаной скатертью, плюшевая кушетка, большие старинные часы красного дерева — все это было сейчас скрыто сумерками. Электрического тока в этот вечер все близлежащие кварталы не получили. Огонь из плиты озарял наше собрание. Другим источником света был каганец на большом блюдце, поставленный на стол около Леночки, которая вела протокол на листах-четвертушках, вырванных из старых тетрадок.

Мы расположились возле плиты, на которой уже шумел чайник, обещавший нам вскоре по стакану горячего чая. Было бы жарко, если бы в открытое окно не врывался прохладный свежий воздух, пахнувший после дождя сырой землей, садом.

Сидевший на кушетке Николай Егорович повернулся боком к Ганьшину, продолжающему излагать свои неопровержимые доводы, вытащил носовой платок и, держа его в опущенной руке, стал машинально им помахивать. Это был явный знак, что Жуковскому пришлось не по душе то, что он слышал. В неверном полусвете нельзя было разглядеть его лицо, но движение руки, в которой белел платок, заметили мы все.

У самой топки на полу устроился Ладошников. Казалось, он был поглощен лишь обязанностями истопника.

Время от времени он подбрасывал в печь то березовые сыроватые полешки, то кусочки фанеры и досок. Он это делал ловко, умело. Вот помешал в топке кочергой, вот отодрал немного коры от березового полена, кинул бересту в огонь. Она мгновенно вспыхнула, свернулась трубочкой, отсветы огня ярче заплясали на лице и на руках, испещренных, как и прежде, мелкими шрамами, царапинами. Как-то случилось так, что из всех учеников Жуковского заботу о его нуждах в трудные годы разрухи взял на себя Ладошников. Сам крайне неприхотливый, не искавший никаких привилегий для себя, он лично доставлял Жуковскому повышенный продовольственный паек, получал и привозил для Жуковского дрова, которые здесь же, во дворе, пилил, колол и складывал, а иногда даже притаскивал на собственных плечах связку щепы из мастерских ЦАГИ.

Сейчас Ладошников неотрывно глядит в топку. Его лицо, озаренное пламенем, кажется чудны́м, не таким, как обычно. Странно — чему он улыбается? Определенно, на лице то и дело возникает легкая, почти незаметная улыбка. Или, может быть, это лишь шутки огня?

А Ганьшин продолжает говорить, находит все новые доводы. Гусин — наш неуемный славный «Гуся»,— щеголявший в ту пору в грубошерстном свитере и огромных, так называемых «австрийских» ботинках, не выдерживает, вскакивает, пытается перебить Ганьшина. Но профессор Август Иванович Шелест, который по просьбе Николая Егоровича вел собрание, неизменно останавливает «Гусю», охраняя права оратора.

Когда Ганьшин закончил, Шелест попросил всех помолчать и заговорил сам. Как всегда остроумный, чуть поседевший, но все еще молодой, он с тонкой усмешкой начал свое слово.

— Я берусь предсказать,— заявил он,— что́ произойдет, если мы, по совету уважаемого Сергея Борисовича Ганьшина, передадим заказ на аэросани какому-нибудь заводу. На заводе обязательно найдется свой Ганьшин. И знаете, что он там скажет? «У меня, товарищи, есть серьезные сомнения. Не провалим ли мы задание Совета Народных Комиссаров? Стоит ли нам браться не за свое дело? Зачем нам строить то, что сконструировано не нами?»

Под общий смех Шелест продолжал свою саркастическую речь. Он превосходно показал, что предполагаемый

заводской Ганьшин предложит, исключительно ради интересов дела, переслать заказ правительства снова Николаю Егоровичу Жуковскому и его ученикам, конструкторам аэросаней.

— А в итоге армия,— говорил Шелест,— останется без аэросаней. Времени у нас немного: всего до первого снега, до зимы. Предлагаю поэтому подшить к делу сомнения уважаемого Сергея Борисовича и приступить к производству аэросаней нашими силами... И дать их в срок...

Так остроумно и абсолютно убедительно Шелест разбил Ганьшина. Впрочем, наш посрамленный скептик недолго переживал поражение. Под конец он махнул рукой и стал смеяться со всеми.

12

Николай Егорович был доволен.

И только Ладошников... Вот удивительно! Несколько минут назад он как будто улыбался. А сейчас, когда все смеялись, он единственный сидел без всякого признака улыбки. Сидел, кидал в огонь кусочки фанеры и бересты, смотрел, как они свертывались от жара.

Жуковский обратился к нему:

— Михаил Михайлович, как твое мнение на сей счет?

Ладошников повернул голову к Николаю Егоровичу и некоторое время молча смотрел на него, потом быстро встал.

— Простите, Николай Егорович... Я все прослушал. Думал о другом.

— Может быть, позволительно узнать, о чем?

— Николай Егорович, не гневайтесь... Я давно ломаю себе голову, а сейчас сообразил... Сообразил, как сделать прочную конструкцию из фанеры. Трубчатая конструкция — вот решение! Легкие полые трубки из фанеры... Словно трубчатые кости птиц...

Николаю Егоровичу было трудно сердиться на своего любимца, особенно в такой момент, когда тот узрел в воображении новую конструкцию. По должности Ладошников в то время был преподавателем на курсах красных летчиков. Эти курсы, первые в республике, возникли в 1918 году при участии Жуковского. Но главным в жизни Ладошникова было создание ЦАГИ. Вместе с другими уче-

никами Николая Егоровича он разрабатывал проект этого исследовательского института авиации, а потом, после того как правительство утвердило проект, каждый день, чуть ли не с рассветом, а зимой даже и затемно, приходил в выделенное институту помещение, где был оборудован отдел опытного самолетостроения.

Теперь ему уже не было надобности запродаваться какому-нибудь коммерсанту, зависеть от жалких подачек. Теперь не в промозглом ангаре с кустарной мастерской в углу, а в центральном научном институте авиации, которому, несмотря на отчаянную разруху, молодая республика давала материалы, средства, топливо, Ладошников создавал свой новый самолет. Приноравливаясь к возможностям, он работал над конструкцией легкого, быстроходного боевого самолета, несложного в производстве, сделанного из самых доступных материалов. Одновременно он проводил разные свои исследования в нашей старой аэродинамической лаборатории.

— Интересно,— произнес Жуковский. В его голосе уже не слышалось ноток недовольства.— Очень интересно... Об этом мы с тобой еще поговорим. А пока сообщу для твоего сведения, что все собравшиеся здесь единодушно...— Жуковский взглянул на Ганьшина, и тот смущенно кивнул,— ...единодушно решили взяться за постройку аэросаней для Красной Армии.

— Правильно. Поддерживаю. Но я, Николай Егорович, буду заниматься самолетом...

— Конечно, будешь. Но сейчас мы решаем вопрос об аэросанях. Нас интересует одно: твое участие в этом деле.

— Николай Егорович, я не смогу... Не смогу отвлекаться...

Жуковский ничего не ответил. В полусумраке мы видели его грузноватую фигуру, патриархальную седую бороду, огромный куполообразный лоб. Носовой платок, который он держал за самый кончик опущенной рукой, снова заходил.

На этот раз никто не стал удерживать «Гусю». Вскочив, он воскликнул:

— Зачем же ты пришел? Ведь мы с тобой изобретатели аэросаней!.. Мы с тобой первые в России, первые в мире поехали на аэросанях... И если уж ты отказываешься, то кто поверит в это дело? Скажи, пожалуйста, зачем же ты пришел?..

— Будем считать меня отсутствующим.

Ладошников подошел к столу, взглянул на список присутствующих, аккуратно составленный нашим секретарем, отобрал карандаш у оторопевшей Леночки и вычеркнул свою фамилию.

— Мало ли что я придумывал,— пробурчал он.— Тот же вездеход... Но на него потом не отвлекался...

Вот тут-то и заговорил Николай Егорович. Заговорил очень тонким голосом, тончайшим фальцетом, что с ним случалось, когда что-либо возмущало его до глубины души. Он даже перешел на «вы».

— Вы позволяете себе считать, что в трудное для страны время вам дано право отсутствовать?..

— Николай Егорович, впервые в жизни я получил полную возможность делать то, что я хочу...

— А-а... Вы убеждены, что великие события в истории нашей родины произошли лишь для того, чтобы дать вам возможность конструировать то, что хочется... На каком же основании? На том, что вы обладаете талантом? Но талант, милостивый государь,— это обязанность! Обязанность перед народом!

Оборвав свою отповедь, Жуковский помолчал и вдруг мягко добавил:

— Ты помоги товарищам. И на самолет у тебя время останется...

Ладошников неожиданно расхохотался. Он снова взял злополучный карандаш и четко вписал свою фамилию. Потом в скобках поставил две буквы: «М. г.». Леночка спросила о значении этих букв.

— Это значит «милостивый государь»,— сказал Ладошников и вновь рассмеялся.

— И знаешь, Миша,— самым мирным тоном произнес Николай Егорович,— почему бы тебе не соорудить аэросани трубчатой конструкции? Будем рассматривать аэросани как бескрылый фюзеляж самолета. Ну-ка, как покажут себя там твои трубки из фанеры?.. Леночка, чайку бы...

Леночка стала разливать чай. Николай Егорович взглянул в раскрытое окно, с удовольствием втянул носом весенние запахи сада и, улыбаясь, сказал:

— А хорошие были эти ребятки из детского дома!.. Девица очень серьезная. Как это она? «Общественное выше личного...»

И Жуковский чуть приподнял над головой свою старческую руку.

В тот же вечер я вписал в тетрадь, куда заносил разные понравившиеся мне афоризмы, изречение Николая Егоровича: «Талант — это обязанность».

13

Так создалась наша комиссия. Она называлась «Компас» — комиссия по постройке аэросаней.

Я тоже был включен в состав комиссии, участвовал в обсуждении множества организационных и технических вопросов, выдвигал разные предложения, иной раз, поглощенный другими занятиями, пропускал заседания, то есть, говоря по правде, лишь походя помогал делу.

Однако месяца через два после учреждения «Компаса» у меня опять появился Ганьшин. Опять прозвучал его возглас:

— Бережков, ты нужен! Погибаем без тебя!

Надо сказать, что Ганьшин стал мало-помалу энтузиастом «Компаса». Вам, если не ошибаюсь, уже известна эта особенность моего друга: он сначала сомневается, киснет, брюзжит, потом соглашается, потом влезает в дело с головой.

Мы с ним отправились на внеочередное заседание «Компаса». На заседании все переругались, потому что дело не ладилось, а когда дело не ладится, люди обязательно переругаются. Но выяснилось следующее. Аэросани, как я уже упоминал, изобрели два друга, два русских конструктора — Ладошников и Пантелеймон Степанович Гусин. Гусин — «Гуся» — был одним из способнейших учеников Жуковского, милейшим человеком, бессребреником. Как сказано, он был изобретателем, однако таким, которого нельзя подпускать на пушечный выстрел к мастерским. Раньше чем там успеют что-нибудь построить, у Гусина рождаются новые идеи, он прибегает в мастерские, рвет чертежи и сует другие. Так строили, строили — и ничего не выходило.

На заседании в конце концов решили, что нужен главный конструктор, который поставит производство. Пост главного конструктора был предложен мне. Я сказал, что внимательно ознакомлюсь с положением на месте и завтра дам ответ.

На другой день я отправился в мастерские, где уже и раньше не однажды бывал.

В мастерских стоял дикий холод и полнейший хаос. Я обнаружил там Гусина, который ходил среди верстаков, хватал у рабочих инструмент и начинал сам пилить или строгать.

На первый взгляд казалось, что дело совершенно безнадежно. Но я всегда был стихийным оптимистом, всегда верил, что можно одолеть все трудности.

Вечером на заседании «Компаса» я заявил, что если мне окажут доверие, дадут полную, непререкаемую власть в мастерских, то я берусь организовать производство аэросаней. Вопреки протестам Гусина, это было принято.

Комиссия решила отстранить Гусина от производства и предоставила мне право единолично принимать все решения в мастерских, технические и организационные. Меня назначили директором заводоуправления «Компас».

Впервые в жизни я полностью отвечал за дело. И тут, отвечая головой, делая ошибки и исправляя их, я прошел настоящую жизненную и техническую школу. «Компас» был для нас школой. И не только школой...

Какое знаменательное слово «Компас» — правда? Для меня оно — это слово и это дело — было поистине компасом: оно, как намагниченная стрелка, указало мне,— еще не знавшему самого себя, не знавшему, что я хочу и что могу,— указало: вот твой путь!

Впрочем, я понял это лишь значительно позднее, после многих событий, которые в свое время будут вам изложены.

14

А теперь скажу вот что. С юности я был не только изобретателем, фантазером, но вместе с тем был человеком практики.

Еще до «Полянки» я прошел дьявольскую школу у Жуковского. Мы — несколько студентов, участников авиационного кружка,— вместе с Жуковским собственными руками выстроили его аэродинамическую лабораторию. Мы пилили, вытачивали, слесарили, мастерили из дерева и из железа. Все оборудование там было сделано нашими руками.

Когда мне теперь приходится иногда бывать в том

помещении, где зародилась лаборатория имени Жуковского, ныне безмерно разросшаяся, эти помещения страшно волнуют, потому что, глядя на какое-нибудь устройство, вспоминаешь, как когда-то сам это мастерил. Ведь в этой лаборатории, где ты строгал доски и забивал гвозди, потом учились, прошли курс сотни и тысячи студентов, ныне летчиков и инженеров авиации.

Далее следовала уже известная вам эпопея мотора «Адрос» в триста лошадиных сил. Причем должен сказать, что этот мотор вовсе не был похоронен после крушения Подрайского, после развала покинутой всеми «Полянки». В течение двух лет в сарае Высшего технического училища мы с Ганьшиным время от времени собственными руками крутили его. Обливаясь потом, изнемогая от усталости, мы вручную запускали его для того, чтобы он, сделав несколько сот или тысяч вспышек и при этом начадив так, что в сарае нельзя было дышать, через несколько минут заглох или сломался.

Мы исправляли его и снова запускали. На этом мы так развили себе мускулы, что рукава чуть не лопались от бицепсов.

Вот что такое школа конструктора! Надо почувствовать технику не только в лаборатории, в учебниках, на чертежах, но и собственной спиной, собственными бицепсами.

Миски, сколь бы они ни были презренны, тоже многому меня научили. Это тоже была неплохая школа — моя первая школа массового производства. Штампуя миски, я понял, что с массовым производством шутить нельзя. Вы повольничали, понервничали, ошиблись, и вся партия в несколько тысяч штук выходит в брак.

Но аэросани — это не миски. Мне доверили ответственное военное задание, новое заводское производство. Здесь закрепились, утвердились во мне качества и хватка практика. Здесь я вполне осознал истину, что дело конструктора не только чертеж, не только конструкторский замысел, но и производство, но и вещь в металле со всей ее последующей судьбой. Дальше вы увидите, что на другом, решающем этапе моей жизни это сыграло огромную роль.

Так некоторыми счастливыми обстоятельствами своего развития я был подготовлен к тому, чтобы понять, что нашу страну преобразуют, превратят в великую индустри-

альную державу не только изобретения, но, главное, заводы, множество заводов, массовое, серийное производство машин; понять, что нам нужна фантазия, нужна мечта, нужно преодоление невозможного, но преодоление невозможного в серийном, обязательно в серийном масштабе.

15

В мастерских мое первое распоряжение было таково: никаких улучшений, никаких усовершенствований, никаких изменений в чертежах, пока из мастерской не выйдет первая партия аэросаней.

Быть может, самое трудное, самое мучительное испытание для конструктора — не поддаться соблазну сделать лучше, когда конструкция уже запущена в серию.

Милейший Гусин продолжал чуть ли не каждый день приносить усовершенствования, иногда адски соблазнительные. Из меня тоже буквально фонтанировали новые, блестящие идеи, я в воображении видел, осязал новые потрясающие конструкции аэросаней, иногда я ловил себя на том, что рука вычерчивает эскизы, и я рвал и прятал чертежи; «наступал на горло собственной песне», не позволял ни себе, ни кому другому вносить ни одной поправки, пока не будут готовы первые десять машин, которые мы строили для Красной Армии.

Это был период, когда во мне закалялся дух конструктора. Я иногда мечтаю написать книгу под таким названием: «Как закалялся дух конструктора».

И, представьте себе, буквально через месяц, к первому снегу, мы выпустили десять аэросаней, десять машин, крайне несовершенных, без тормозов, с плохонькими моторами «Холл-Скотт», но все-таки машин, на которых можно ездить, хоть очень трудно остановиться.

Только теперь я понимаю, как я был прав тогда. Только теперь, будучи главным конструктором завода, выпускающего авиационные моторы, я понимаю, что достаточно поколебаться, отступить перед трудностями, склониться к мысли, что эту вещь лучше бросить, а сделать вместо нее новый мотор,— «перекинуться», как я называю, на новый мотор,— достаточно поддаться этому соблазну, и вы погубили свой мотор, свое доброе имя конструктора, вы и завод пустили под откос.

«Компас» для меня — чудесное время закалки.

В бывших конюшнях роскошного ресторана я работал до двенадцати, до часу ночи, потом садился на мотоциклетку и, усталый, но ощущающий подъем и счастье творчества, уезжал домой. Вскоре я совсем переехал на жительство в «Компас», облюбовал себе комнатку в подвале, рядом с котельной, где было потеплей, и почти не появлялся дома.

Помню, я сочинил чуть ли не целую поэму под названием «Компас». У меня, к сожалению, она не сохранилась, но у Пантелеймона Гусина, наверное, есть...

16

Бережков взглянул на часы. Было около двух.

Он плутовски подмигнул и сказал:

— А не потревожить ли нам «Гусю»? Он такой добряк, что не рассердится. Пусть по телефону прочтет мою поэму, мы ее запишем.

Бережков достал из кармана записную книжку, нашел фамилию Гусина, повторил два раза вслух номер телефона и, откинув с аппарата цветной шарф, поднял трубку. Дождавшись голоса телефонистки — в Москве тогда еще не было автоматического телефона,— он вдруг, вероятно, неожиданно для самого себя, назвал совершенно другой номер.

— Алло! Это Бережков. Я сплю. Клянусь, что сплю. Даю слово: как только скажете, сейчас же опять засну. Что? Над Уралом? Как мотор? Спасибо. Засыпаю, сплю...

Он положил трубку. Его глаза блестели. Но он, сдерживая себя, спокойным тоном объявил:

— Летят над Уралом. Там уже светает. Земли не видно. Из облаков торчат верхушки гор. Моторная часть работает великолепно.

С минуту он помолчал, потом снова взял трубку, назвал номер телефона Гусина:

— Пантелеймон Степанович? Разбудил тебя? Это Бережков. Спал? Тогда извини, бросай трубку, переворачивайся на другой бок — ничего спешного. Все-таки хочешь знать? Не надо, не хочу тебя тревожить... Что? Да, только что получили от них последние сообщения. Извини, засыпай, узнаешь утром. Очень хочется? Но только при одном

условии. Разыщи мою поэму «Компас» и прочти мне по телефону. Или нет, отложим, «Гуся», до утра. В один момент разыщешь? Стоит ли? Не надо. Ну, скажу, скажу, что с тобой сделаешь,— продолжал Бережков в трубку.— Летят над Уралом... Там уже показалось солнышко. Земли не видно. Из облаков торчат верхушки гор. Садиться, «Гуся», некуда. Но мотор рокочет, все в порядке. Они передают: моторная часть работает великолепно. Не сплю, не могу заснуть... Тут у нас ночь воспоминаний. Хорошо, давай поэму, жду.

Бережков победоносно повернулся к нам.

— Ищет,— смеясь, объявил он.

Изумляясь, я смотрел на Бережкова. В течение последних двух-трех минут проявились разные грани его личности. Только что в нем всколыхнулись поистине высокие чувства, но тотчас же, в разговоре с Гусиным, появился совсем другой Бережков: Бережков-хитрец, Бережков-дока. У нас на глазах, как по нотам, он разыграл своего «Гусю». Нельзя было не улыбнуться, увидев, как искренне расстроился конструктор прославленных моторов, узнав, что Гусин не разыскал поэмы.

— Припомни хоть что-нибудь,— потребовал Бережков.— Неужели ничего не осталось в памяти?

Тут же он, просияв, сообщил нам:

— О себе-то «Гусенька» запомнил!

Гусин, видимо, стал по памяти приводить отрывок. Повторяя за ним, Бережков со вкусом прочел строфы, которые рассказывали, как Гусин демонстрировал тормоза своей конструкции.

— Я начинаю! — крикнул Гусин и на педали враз нажал.
Хотя напор был очень силен, но тормоз доску не прижал.
— Ах, не прижал? Ну, и не надо,— он равнодушно нам сказал.—
Так я нажму вторично, слабо,— и из послених сил нажал.

Катил с него пот крупным градом. «Компас» от хохота стонал,
А тормоз, как под вражьим флагом, недвижно-мертвенно стоял.

— Славно? — спросил Бережков присутствующих. Затем он вновь заговорил в трубку: — Как? Как ты сказал? Неужели записан? Друзья! — обернулся он к нам.— Исключительная удача! Гусину попался один мой рассказец. Вмонтируем-ка его в нашу ночь рассказов. «Гуся», напомни мне начало...

Слушая, Бережков опять не удержался от смеха.

— Ладно, ложись спать,— милостиво разрешил он Гусину.— Дальше уже помню. Еще раз извини, дорогой!

Положив трубку, Бережков прошелся по комнате.

— Приступаю без всяких введений,— объявил он.— Согласно свидетельству милейшего «Гуси», данное произведение называется «Пергамент». Автор Бережков. Дата — тысяча девятьсот девятнадцать... Итак...

17

«ПЕРГАМЕНТ»

(Рассказ)

Кто из нас, друзья, не мечтал о необычайных приключениях, о какой-нибудь неожиданной встрече или удивительной случайности?

Но вместо необыкновенных приключений приходилось работать и работать. Каждый день с самого раннего утра работа забирала меня с силой зубчатых колес и отпускала только к вечеру. В нашем славном «Компасе» я нередко засиживался до полуночи и возвращался домой очень поздно, когда единственным звуком в пустынных неосвещенных переулках было таканье моей мотоциклетки.

Мой путь пролегал через Сухаревскую площадь, через знаменитую толкучку «Сухаревку». По субботам я освобождался раньше и проезжал по Москве засветло, еще заставая торг на площади. Зрелище огромнейшего толкучего рынка было для меня настолько притягательным, что я всякий раз останавливал мотоциклетку и не мог удержаться от искушения потолкаться, прицениться, а иногда и купить по дешевке какую-нибудь красивую старинную вещицу.

Как вы знаете, на службе мы получали пайки, а тут, на Сухаревке, было царство вольной торговли. Наряду с хлебом, крупой, картошкой, махоркой, салом,— причем за фунт сала приходилось выкладывать чуть ли не полумесячное жалованье,— продавались невероятнейшие вещи: корсеты, фраки, инженерные значки, медицинские инструменты, парижские духи, певчие птицы, табакерки, шкатулки с секретами и тайниками, ковры, меха, скульптура, живопись, термометры, микрометры и даже, вооб-

разите, моторы разных марок. Был случай, когда на толкучке мне шепнули: «Есть золото». Разыграв заинтересованность, я смог понаблюдать, как там расходилось золото. Оно по-прежнему было в цене. За маленький золотой десятирублевик выкладывали какие-то огромнейшие суммы в так называемых дензнаках.

В общем, на Сухаревке в любую минуту можно было набрести на неожиданность.

Однажды осенью, в субботу, после получки, я возвращался из «Компаса» домой и, дав волю воображению, предвкушал, что куплю на Сухаревке что-нибудь интересное. Но я опоздал: часы на Сухаревской башне показывали больше шести, торговля уже кончилась.

Смеркалось, моросил дождь.

Медленно проезжая по обезлюдевшей площади, я заметил женщину, которая одиноко стояла под дождем. Рукой она придерживала большую золоченую раму, поставленную прямо на землю. Я подъехал, включил фару, присмотрелся и был изумлен искуснейшей резьбой. Но еще поразительнее оказалась картина. В мрачном подземелье, выложенном грубо отесанными каменными плитами, опустившись на колени и подвернув рукава дорогого халата, старик копал яму. Он ядовито посмеивался. Его сатанинская усмешка показалась мне столь живой, столь выразительной, что я мгновенно соблазнился картиной.

— Сколько вы просите за эту раму? — с напускным равнодушием спросил я.

Женщина назвала некоторую, вполне доступную мне сумму. Я поторговался и купил. Получив деньги, женщина исчезла. На темнеющей площади я остался один на один с картиной. Осмотрел ее внимательней. На обратной стороне была крупная надпись: «Принадлежит дворянину Дмитрию Фомичу Собакину. Самарская губерния, имение Дубинки».

Кое-как пристроив покупку на багажник, я добрался домой. С недавних пор я заполучил по ордеру комнату в особняке с итальянскими окнами, с потолками, украшенными росписью. В комнате я долго прикидывал, куда пристроить картину, и, наконец, повесил ее над кроватью, против изголовья. Улегшись, я не сразу потушил свет, все изучал картину. Поверите, старик с картины смотрел прямо на меня и как будто хотел что-то сказать. Не дождавшись от него ни слова, я уснул.

Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Накинув одеяло и сунув ноги в туфли, я подошел к двери:

— Кто там?

В ответ послышался робкий голос председателя домового комитета:

— Алексей Николаевич, это я...

Я открыл дверь. В комнату быстро вошли три человека с пистолетами на поясах. За ними семенил председатель домового комитета. Один из вошедших, очевидно, старший — предъявил ордер на производство обыска. Ордер гласил: «Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией предписывает произвести обыск в квартире такой-то по такому-то адресу». От волнения у меня затуманилось в глазах. Однако старший очень вежливо извинился и сказал:

— Обыску, собственно говоря, подвергаетесь не вы, а бывший владелец дома. Мы имеем сведения, что перед бегством за границу он спрятал где-то в доме ценности.

Начался обыск. Я с интересом наблюдал. Была тщательно выстукана штукатурка, отодраны и вновь приколочены две-три половицы, осмотрены печные изразцы.

Когда все было исследовано и ничего не обнаружено, старший стал писать акт о результатах обыска. Закончив, он профессиональным взглядом еще раз окинул комнату, и его глаза остановились на картине, которая, снятая им же с гвоздя, стояла у стены.

— Картину смотрели? — спросил он.

Я хотел сказать, что картина принадлежит мне, а не владельцу дома, но — черт его знает, что могут в ней найти? — почел за благо промолчать. Один из пришедших ловким, несильным ударом разложил раму на четыре багета. В углах багетов ничего не оказалось. Начальник подписал акт, затем скрипнул перышком председатель домового комитета. Передо мной еще раз извинились.

Оставшись один на развалинах Карфагена, я решил ничего не трогать до утра и спокойно лег досыпать.

Проснувшись, я стал приводить комнату в порядок. Перед картиной я остановился в нерешительности. Что с ней делать? Без рамы и при свете дня она несколько потеряла привлекательность. Подземелье уже не казалось таким мрачным, улыбка старика — такой язвительной.

«Отвезу ее Маше,— подумал я,— пусть висит среди ее собственных творений».

Но так как в подрамнике картину везти неудобно, я решил свернуть холст в трубочку и принялся вытаскивать заржавленные гвозди. Когда холст стал отделяться, мой взгляд случайно упал в раскрывшийся зазор между картиной и подрамником, и мне померещилось, что там лежит какая-то бумага. Я моментально сунул руку и с удивлением нащупал плотный хрустящий пергамент. Текст, выведенный старинным каллиграфическим почерком, оказался сообщением о кладе.

Безумно заинтересованный, я разглядывал документ. После текста следовал грубый чертеж подвала. В одном месте стоял крестик. Может быть, это мистификация, шутка? Может быть, имения Дубинки вовсе не существует?! Может, дворянина Дмитрия Фомича Собакина вовсе не было на белом свете?

Мучимый сомнениями, я немедленно помчался в Государственную публичную библиотеку. Там я затребовал «Общий гербовник Российской империи», где указаны все фамилии русского дворянства. Пока ходили за книгами, я отправился в отдел рукописей, где попросил о величайшей любезности: определить по виду пергамента, по характеру написанных букв, к какому веку относится документ. Мне ответили быстро: царствование Екатерины Второй, вторая половина восемнадцатого века.

Затем я засел за «Гербовник». Через несколько минут я узнал, что дворянская фамилия Собакиных, обитавших в родовом селе Дубинки, Самарской губернии, значится в «Гербовнике». Дмитрий Фомич Собакин действительно существовал и умер в 1773 году.

Какие же события происходили в Самарской губернии в то далекое время? Какие обстоятельства могли заставить старика закопать клад?

В библиотеке нашлась «История Самарской губернии». Едва начав ее листать, едва найдя нужные мне страницы, я тотчас все понял. Восстание Пугачева, полки которого заняли Самару,— вот от кого бежал старик Собакин, зарыв в подвале свое золото. Чем черт не шутит,— возможно, оно до сих пор лежит в земле!

Здесь же, в Публичной библиотеке, я установил по справочникам, что село Дубинки расположено близ станции Шумиха. Где-то там неподалеку проходил сейчас фронт гражданской войны. Я внимательно рассмотрел карту фронтов, вывешенную в главном зале. Шумиха находи-

лась, насколько я мог судить, в ближнем тылу нашей армии. У меня мгновенно созрел план: попрошу командировку туда, в прифронтовую полосу, чтобы договориться об испытаниях аэросаней в полевых условиях.

В этот же день я снарядился в дорогу. В те времена устойчивой валютой, имевшей неограниченное хождение на всем пространстве бывшей Российской империи, была соль. Захватив новый синий костюм, я отправился на Сухаревку и обменял его на полпуда соли. Там же я раздобыл малую саперную лопату.

Получив на другой день в «Компасе» командировочные документы, я надел свою кожаную куртку, сапоги, приладил на спину рюкзак, набитый солью, захватил и еще один, необычайной прочности, мешок, пока порожний, предназначенный, как вы догадываетесь, для золота, и зашагал на станцию Москва-Товарная Казанской железной дороги.

Поезда ходили без расписаний, пассажиры обходились без билетов, требовалось лишь обладать «мандатом»,— так именовались тогда командировочные удостоверения.

Вместе с другими предприимчивыми пассажирами мне удалось устроиться на крыше товарного вагона в первом отходящем поезде. Вскоре мы тронулись. Удобно привалившись к мешку с солью, немного покачиваясь в такт качке вагона, овеваемый дорожным ветерком, а порой и паровозным дымом, я сидел на крыше среди множества попутчиков и — клянусь! — не жаловался на жизнь.

Не буду описывать разных дорожных приключений. Скажу кратко — в полторы недели я добрался до Волги. Мешок с солью изрядно отощал. Зато я поправился. На раскинувшихся у попутных станций полузапрещенных торжищах, которые порой при появлении продотрядников или милиции, искоренявших вольную торговлю, в мгновение ока разбегались, я позволял себе в обмен за стакан-другой соли полакомиться белыми лепешками, сметаной, холодцом.

За Волгой начиналась прифронтовая полоса. Там ходили лишь воинские поезда. Предъявив мандат, выданный «Компасом», я пристроился к маршевой роте, которая двигалась к Уральску. Рота состояла из саратовских рабочих, добровольцев, вступивших в Красную Армию по так называемой профсоюзной мобилизации. Они уже прошли

военное обучение на предприятиях, а теперь со сборного пункта ехали прямо на фронт. Обмундирование у всех было новенькое. Винтовки выдавались в поезде. Красноармейцы здесь же, в вагонах, получали и боевые патроны. Это был если не торжественный, то, во всяком случае, значительный момент. Ехали как будто весело, много смеялись, пели, но, когда старшина стал раздавать патроны, все притихли. Солдаты молча заполняли патронами новенькие, без пятнышка, брезентовые подсумки, заряжали боевыми обоймами винтовки. В теплушке слышался лишь лязг винтовочных затворов и перестук колес. А я молча сидел, ничем не выдавая своих тайных замыслов.

Вдруг на какой-то станции вашего покорного слугу приглашают в штабную теплушку. Гм... Один раз я там уже побывал, когда просил разрешения сесть в поезд. Сразу представился этот вагон: в одной стороне — нары, в другой — грубо сколоченный стол, лежавшие на нем фуражки, газеты, осьмушки махорки. И седенький человек за столом, читавший мой мандат.

Зачем меня снова зовут? Не возбудил ли я чем-либо подозрения?

Не выказывая встревоженности, я отправился по вызову. Обитатели штабного вагона, командиры и ординарцы, выглядели более подтянутыми, чем в тот раз, когда я впервые наведался сюда. Стол застелен чистой бумагой, на ней чернильный прибор и ничего больше. Место за столом занимал уже не старичок, а молодой, с отличной выправкой военный.

Появление здесь этого человека, очевидно, и вселило новый, строгий дух порядка, дисциплины, бдительности.

— Садитесь,— обратился он ко мне.

— Слушаюсь... С кем имею честь?

Он коротко ответил:

— Бронников. Политический комиссар дивизии.

Ого, комиссар дивизии! Большой пост у этого так молодо выглядевшего человека. Я тоже отрекомендовался:

— Конструктор Бережков.

Затем, вежливо поклонившись, сел.

— Мне доложили,— произнес Бронников,— что в эшелоне находится посторонний человек. Прошу вас предъявить документы.

— Пожалуйста... Хотя должен сказать, товарищ Бронников, что я уже их предъявлял и получил разрешение...

— Знаю,— бросил он.

Его холодные, строгие глаза побежали по строкам моего мандата, заверенного, согласно всем правилам, необходимыми подписями и печатью. Я сам в Москве, озаренный вдохновением, сочинил черновик этого документа. Мне удалось убедить сотоварищей по «Компасу» в целесообразности поездки. Однако теперь, в штабной теплушке воинского эшелона, поглядывая на комиссара дивизии и остро ощущая его недоверие, я вдруг понял, что мой документ составлен очень глупо. И, конечно, вызывает подозрения. В самом деле, что это за командировка: ознакомиться с возможностями действия аэросаней в полевых условиях? Подумаешь, нельзя с этим ознакомиться где-нибудь около Москвы? Ради чего этот субъект — так в ту минуту я мысленно именовал себя,— этот предприимчивый субъект, называющий себя конструктором, очутился здесь, в воинском поезде, идущем к фронту? Не шпион ли это? Какие у него скрытые цели?

Несомненно, именно с такими мыслями комиссар изучал мой мандат. Затем он сухо спросил:

— Другие документы у вас есть?

— Да, есть служебное удостоверение. Есть, кажется, и старая студенческая книжка...

— Дайте сюда.

В уголке удостоверения, гласящего, что я являюсь директором заводоуправления «Компас», была приклеена моя фотографическая карточка. Глаза комиссара испытующе прошлись по моему лицу.

— Похож? — пошутил я.

Не отвечая на шутку, он спросил:

— Чья это подпись?

— Это? Профессора Жуковского...

— Николая Егоровича?

— Да...

— А это чья?

— Профессора Шелеста.

— Августа Федоровича?

— Нет, товарищ Бронников, Ивановича.

Он сдержанно улыбнулся. По-видимому, он намеренно сделал ошибку, чтобы проверить меня. Но откуда же он знает эти имена-отчества? Я напрямик спросил об этом. Бронников приподнял лежавшую на столе мою потрепанную зачетную книжку.

— У меня с собой такая же, товарищ Бережков.

— Да?! С какого же вы факультета?

— С паровозостроительного... Должен был бы уже строить паровозы. А вместо этого, видите, приобрел новую профессию.

— Вижу,— сказал я.— Серьезная профессия.

Он опять не поддержал шутки.

— Так что же будут представлять собой ваши аэросани?

Я попросил листок бумаги и быстро воспроизвел общий вид саней. Объясняя конструкцию, я сообщил, что авторами являются Гусин и Ладошников. Оказалось, Ладошников тоже был известен комиссару.

— Как же,— сказал он.— Ладошников когда-то к нам наведывался.

— К вам? Куда же?

— На занятия одного кружка...

— Какого же?

— Социологического.

— Ну, что касается меня, товарищ Бронников, то я туда был не ходок.

— А теперь как?

— И теперь по этой части ни бум-бум.

Мой строгий собеседник наконец-то рассмеялся. Воодушевившись, я с новым пылом продолжал растолковывать конструкцию и действие аэросаней. Подыскивая красочные и в то же время точные слова, я ощущал, как Бронников все более располагается ко мне. Неожиданно он сказал:

— Очень хорошо, что вы сюда приехали. Правильно выбрали место. Именно здесь вы найдете то, что ищете.

На мгновение я оцепенел. «Найдете то, что ищете». Вот так предсказание! Э, знал бы он, что я собираюсь здесь искать... Однако, ничем себя не выдав, я спокойно выговорил:

— Почему вы так считаете?

Теперь настала очередь Бронникова взять карандаш. На бумаге пролегла железнодорожная линия, по которой двигался сейчас наш поезд. Бронников пометил станции, затем обозначил ряд сел и хуторов, расположенных в степи, в стороне от магистрали. Крупным, разборчивым почерком он надписывал названия населенных пунктов. Это он проделывал с видимым удовольствием, со вкусом. Во-

обще вся его манера изменилась. Всякие подозрения относительно меня он явно отбросил, смотрел на меня с доверием, разговаривал, как с товарищем.

Вскоре моему взору предстала схематическая карта некоторой части заволжского простора, где мы в данную минуту находились.

Вот Бронников нанес несколько последних точек. Я испытал словно удар тока, когда около одной из них он надписал: «Дубинки». Но этих своих переживаний я, как вы догадываетесь, ничем не проявил.

— Здесь нет сплошного фронта,— сказал Бронников,— железная дорога принадлежит нам. А в степи все перемешано. Некоторые села заняты нами, другие — белыми.

Он стал отмечать, слегка заштриховывать пункты, в которых находились наши части. Я с нетерпением ждал, когда он дойдет до села Дубинки. Вот, наконец! Слава богу, Дубинки в руках Красной Армии!

Бронников объяснил, что против нас здесь действуют главным образом полки Уральского казачьего войска, или, верней, контрреволюционная часть казаков. Они отброшены от железной дороги в степь, но до сих пор обладают преимуществом в коннице. Нередко казаки совершают налеты на то или иное занятое нами поселение, порой даже и на станции. Врагу помогают шпионы-наводчики, которых мы вылавливаем и расстреливаем на месте.

Не скрою, друзья, мне в эту минуту стало несколько не по себе... Расстреливаем на месте. Гм... Вспомнилась едкая, сатанинская усмешка старика. Не повернуть ли во благовремении обратно? Нет, только вперед!

Бронников добавил, что зимой преимущества конницы не так ощутимы: степь устилают глубокие снега, на конях можно передвигаться только по дорогам. Вот тут-то и понадобятся аэросани. Они смогут свободно маневрировать по степи, по ровной зимней глади. Внезапные удары по тылам врага будут иметь огромное значение. Да, да — именно здесь самый подходящий плацдарм для операции аэросаней.

— Очень хорошо, что вы сюда приехали,— еще раз заявил он.— Вам надо встретиться с командованием, увидеть своими глазами местность, обстановку, уяснить наши требования. И, прежде всего, главнейшее из них...

— Какое же?

— Надежность! Надежность конструкции в действии, на ходу... Это главное, чего мы от вас хотим...

Далее комиссар сказал, что маршевая рота выгрузится на станции Шумиха. Мне опять пришлось сделать усилие, чтобы не выдать радостного удивления. Ух, мне потрясающе везет! Шумиха!.. Именно там мне следовало сойти, чтобы попасть в Дубинки.

Бронников посоветовал мне заночевать у коменданта станции, а завтра двинуться в штаб армии.

— Куда же это? — спросил я.

Но именно этого спрашивать не следовало. Тон его сразу стал суховат.

— Вам это скажет комендант. Всего хорошего.

Несколько часов спустя поезд остановился в Шумихе. Едва я распрощался с красноармейцами, своими спутниками по теплушке, мысли мои приняли лишь одно направление. Вперед, за кладом! Мне даже слышался хруст пергамента, упрятанного в боковой карман... Я направился в село, протянувшееся вдоль полотна. Надо было искать оказию на Дубинки. Мне, разумеется, повезло. Длиннейший обоз стоял среди улицы. Красноармейцы-обозники кормили лошадей. На больших прочных повозках лежали снарядные ящики и укрытые брезентом мешки. Я спросил:

— Далеко ли держите путь?

Меня оглядели. На мне были сапоги, кожаная куртка, кожаная кепка, за плечами — армейского типа вещевой мешок. Вид был по тем временам в достаточной степени военный. И уверенный — уверенности, как вы знаете, вашему покорному слуге хватало. Мне ответили, что обоз следует в такое-то село.

— Не через Дубинки ли?

— Да... В Дубинках, должно быть, заночуем...

Я присоединился к обозу. Вскоре мы двинулись. Часа два-три пришлось пошагать рядом с повозками. Солнце уже садилось, когда вдали показалась церковь без креста. Это уже были Дубинки. Неподалеку от церкви, на фоне окрашенного закатом неба, среди вековых дубов, ясно вырисовывался силуэт большого дома с двумя вычурными башенками. Туда я зашагал, ничуть не сомневаясь, что передо мной бывшая барская усадьба, принадлежавшая господам Собакиным. Это подтвердил и встретившийся мне дед. Поправив на седой голове выцветшую казачью фуражку, он прибавил:

— Ныне там, милый человек, ревком.

Отлично! Я пошел быстрей. Вот и усадьба. Пользуясь последним светом угасающего дня, я внимательно оглядел дом. Часть стекол выбита, многие комнаты, как можно было понять, находились в запустении.

Ага, вот, кажется, вход в подвал... Тяжелая, окованная железом дверь распахнута, висит на одной петле. Меня повлекло туда. Дверь, видно, давно не затворялась. Но юркнуть ли по каменным ступенькам вниз? Меня, кажется, никто не заметил. Нет, буду соблюдать осторожность. За кладом пойду ночью.

Ревком расположился на втором этаже. Я поднялся туда, обратился прямо к председателю, коренастому мужчине в папахе, с маузером на боку.

В комнате находилось еще несколько работников ревкома, видимо, жителей села. У стены стояли ружья. Было нетрудно догадаться, что в ревкоме все вооружены.

Я попросил устроить меня переночевать. Мандат и здесь оказал магическое действие. Председатель с готовностью откликнулся, стал обсуждать с товарищами, в какой дом меня направить. Однако я сказал:

— Разрешите отсюда никуда не уходить. Устал, хочется лечь. Приютите где-нибудь здесь, на месте...

— Что ж,— согласился председатель.— Соломы подстелить найдем.

Я выбрал себе пустующую комнату в нижнем этаже, улегся на скромном ложе и стал дожидаться глухого часа ночи.

Надо ли говорить, что обессилевшему путнику совсем не хотелось спать. Я вскакивал, подходил к окну, вглядывался во мглу, прислушивался. И со вздохом ложился опять. Затем поднимался, чтобы перебрать на ощупь все оснащение для экспедиции в подвал: необычайной прочности мешок, саперную лопатку, спички, свечу, электрический фонарь. При потайном свете этого фонарика вновь внимательно рассматривал пергамент. Да, дверь в подвал — ныне полусорванная — на плане указана именно в том месте, где я ее заметил.

В селе все огоньки уже погасли. Лишь наверху, в ревкоме, долго еще горела лампа, бросающая отсвет в сад. Наконец-то потушили и ее. Полная темь... Не рассмотришь, не различишь ни одного дуба: черная листва слилась с черным небом. Сияли только звезды.

Захватив свои припасы, я бесшумно вылез из окна, коснулся ногами земли, прижался к стене дома. Простоял с минуту так. Не уловил ни одного подозрительного звука. Прокрался к подвалу. Проскользнул в дверь. На пергаменте было указано восемь ступенек... Ну-ка, посчитаем... Да, ровно восемь... Далее — плотно утрамбованный земляной пол. Протянув перед собой руку, я осторожно передвигаю ноги. Согласно плану, должна встретиться каменная поперечная стена. В ней есть проход. Да, натыкаюсь на стену, нащупываю, нахожу проход. Пролезаю туда... Какой затхлый, сырой воздух!.. Тут, пожалуй, уже можно воспользоваться фонариком, отсюда ни один луч наружу не проникнет.

В бледном пятне электросвета обозначилась стена. Я сразу узнал неровные крупные плиты дикаря-камня. Именно этот камень, эта кладка были изображены на картине. Старик стоял на коленях и рыл землю вот в этом углу. Над его головой горела свеча, укрепленная на небольшом выступе. Вот он, тот выступ! Не скрою — когда я его узрел, по спине пробежал морозец. Почудилось, сейчас я увижу на низком своде потолка след копоти, которую оставила свечка старика. Но копоти не было — ее стерли истекшие полтора века.

Я зажег свечу, установил ее на выступе, снова достал пергамент, убедился, что крестиком отмечен именно этот самый угол, встал на колени, точь-в-точь так же, как стоял старик, взял лопатку, лихорадочно принялся рыть. Земля была крепко утрамбована, в ней то и дело попадался щебень. Тяжело дыша, я с силой вонзал и вонзал лопату, выбрасывая грунт. Вскоре мне стало жарко. Приостановившись, я снял куртку, отер пот со лба. И вдруг услышал непонятный звук, какой-то глухой удар где-то снаружи. Вскочив, я мгновенно потушил свечку и прижал ухо к стене. Вновь глухо бахнуло, стена чуть заметно вздрогнула. Что там такое? Ночная гроза? Гром?

Подойдя в темноте к проходу, ведущему в переднюю половину подвала, я уловил частую ружейную пальбу. А вот застучал пулемет... Я догадался: это бой, на село налетели белые... Вот снова бахнуло. И снова дрогнула каменная кладка... Это, наверное, выстрел из орудия... Пожалуй, оно находится где-то недалеко... Может быть, рядом с домом... Вот еще раз: бух! Куда же оно стреляет? Или, возможно, лишь призывает помощь?

Ну, и угодил же я в историю! Куда мне сейчас деться? Никуда! Добуду клад!

Не зажигая свечи, я нашарил лопату, опустился на колени и с утроенной энергией продолжал копать. Яма становилась глубже, не раз у меня перехватывало дыхание, когда лопата со звоном ударялась о что-нибудь твердое, но это оказывались лишь камни.

В какую-то минуту мне почудилось, что стрельба вдруг разгорелась. Однако как раз тут лопата опять стукнула обо что-то твердое. Я хотел подковырнуть и выбросить камень, но... Почему-то он не поддается. Нет, это не камень. Усталость мгновенно прошла. Во все стороны полетела земля. Скоро я смог определить: под лопатой деревянный ящик, его угол я ощупал пальцами. Через некоторое время я освободил, очистил от земли крышку ларца. Теперь следовало его окопать, но у меня уже не оставалось терпения. Поддев крышку лопатой, я нажал. Что-то затрещало. Я надавил сильней, подгнившее дерево не выдержало, крышка оторвалась. Я моментально запустил руку в ларец и нащупал монеты, множество, огромное множество золотых монет. Они словно текли, скользили в пальцах. От падения раздавался слабый чистый звон... А вдруг это не золото? На миг я включил фонарик, осветил яму. Золотистый,— да, именно золотистый, светло-желтый, ясный отблеск ударил в глаза. Золото! Полный ларец золота!

Захватывая горстями монеты, я стал их ссыпать в мешок. Некоторые падали, укатывались, я их, конечно, не искал. Наконец мешок наполнен. Ух, я едва могу его поднять. Ничего, теперь еще карманы набью золотом. Потом придумаю, как выбраться отсюда.

И вдруг я услышал: кто-то ворвался в соседнюю половину подвала. Сначала как будто пробежал один, вслед тотчас, как я сообразил, влетела погоня. Близкий гулкий выстрел... Еще выстрел... Еще... Яростное ругательство... Отчаянный смертный крик...

Оставив мешок, я кинулся в угол, прижался к стене. Войдут сюда или не войдут?

Вошли... Фигур я не различал, в темноте чуть белели лица. Прозвучал голос:

— Кто-нибудь здесь есть?

Молчание. Один из вошедших чиркнул спичкой. Она постепенно разгорелась.

— Гляди, мешок,— произнес кто-то.

В этот миг меня заметили.

— Сдавайся! Руки вверх!

Спичка была брошена. Во тьме я ощущал винтовочные дула, направленные на меня.

— Сдаюсь.

— Бросай оружие! Выходи!

— Оружия нет.

— Проходи вперед. Ну, гад, поворачивайся...

Эх, выбросить бы из карманов золото! Нет, нельзя опустить руки. Так, с поднятыми руками, я и поплелся к проходу, выбрался в переднюю часть подвала. Из двери туда падал дневной свет. Меня сурово рассматривали красноармейцы. В стороне, раскинув руки, будто обнимая землю, лежало безжизненное тело. В выбоины пола натекла кровь. На плечах убитого тускло поблескивали погоны. Это был белый офицер.

Мне велели подняться по ступенькам. На воле меня ослепило солнце. Внезапно я услышал:

— Обыскать!

Неужели это голос Бронникова? Как я взгляну ему в глаза?! А мне уже вывернули все карманы, оттуда посыпалось золото. Ох, зачем я соблазнился этим проклятым кладом? «Компас»! Милый «Компас»! Зачем я изменил тебе?

Глаза привыкли к свету. Да, передо мной стоял комиссар дивизии, тот, что в теплушке начертил для меня карту. Я узнал также нескольких бойцов, с которыми ехал в поезде. Они молча глядели на меня, грязного, с запачканными землей руками и коленями, на оттопыренные золотом карманы.

Бронников резко спросил:

— Что вы тут делали? Занимались мародерством?

Я не ответил. Комиссар кратко приказал:

— Расстрелять на месте!

Кто-то толкнул меня прикладом:

— К стенке!

Весь в холодном поту, я посмотрел на эту стенку, на высокий каменный цоколь, к которому мне велели встать, и...

И, представьте себе, проснулся.

О, с каким облегчением я вздохнул, поняв, что все мои злоключения — только сон. С картины, которую я вечером водрузил против изголовья, ехидно ухмылялся старик. Я погрозил ему кулаком. Тут же у меня мелькнула мысль:

а что, если это вещий сон? Что, если под полотном действительно спрятан пергамент? Мгновенно я вскочил... Вдруг в самом деле я найду сообщение насчет клада?! Ей-ей, не удержусь, сейчас же полечу с пергаментом в Публичную библиотеку, а потом на Сухаревку покупать малую саперную лопату, менять новый синий костюм на соль.

Тотчас я снял картину, освободил ее от рамы, вытащил из подрамника несколько гвоздиков, заглянул в зазор... Нет, никакой записки не было. Вновь погрозив Собакину, я вынул все гвоздики, свернул полотно в трубку и в тот же день отвез в подарок Маше...

На этом, друзья, кончается авантюрно-фантастическое произведение, сочиненное некиим Бережковым в тысяча девятьсот девятнадцатом году.

Близким Бережкова, собравшимся ныне у него, была, разумеется, известна концовка «Пергамента». Что касается «беседчика», искателя правдивых свидетельств, жадно заполнявшего тетрадь, то он не смог скрыть неудовлетворения.

— Разочарованы? — спросил рассказчик.— Напрасно. Имейте в виду, сие произведение устной словесности было действительно мной сочинено в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Оно как-то характеризует время, характеризует и героя ваших записей. Впрочем, даю обязательство больше надувательством не заниматься. Прошу всех подкрепиться кофе, а затем слушать дальше.

18

Несколько минут Бережков отдыхал. Затем, глядя в пространство, он покачал головой и улыбнулся.

— Я сейчас вспомнил,— сказал он,— где и когда впервые выступил с этим произведением. Представьте, в ответ на мой рассказ о злополучной картине последовал другой рассказ, тоже о картине. Мне он так понравился, что я потом множество раз, лишь только появлялся новый слушатель, пересказывал, изображал в лицах эту вещь. Без нее, так же как и без «Пергамента», вам не предстанет тогдашний Бережков.

Однако изложу все по порядку. Свою новеллу я впервые огласил на именинах Шелеста. Перенесемся на мину-

ту туда, в просторную квартиру Августа Ивановича, какой она была в 1919 году. Разрухи, запустения в ней не чувствовалось. Даже паркет блестел. Наш Август Иванович был не из тех, кого могло смутить отсутствие полотеров: он не затруднялся, как мы знали, сам пройтись суконкой по паркету. Да и угощение по тем временам было выдающимся. На столе красовался доподлинный медвежий окорок (подчеркиваю: доподлинный, ибо однажды на вечеринке «Компаса», устройство которой было поручено, как вы, разумеется, догадываетесь, вашему покорному слуге, жареная конина фигурировала под благородным псевдонимом медвежатины). В обширном кабинете Шелеста, где упирались в потолок книжные полки, влек к себе широченный кожаный диван, самое удобное местечко для любителей порассказать и послушать. Там-то я и овладел вниманием окружающих, выложив два-три рассказа о необыкновенных приключениях, в том числе и «Пергамент».

Мои байки, имевшие грандиознейший успех у слушателей, раззадорили Августа Ивановича. Сидя напротив меня в глубоком кресле, он, председатель «Компаса», участник всех наших состязаний и пробегов, скрестил руки на груди и произнес:

— У меня тоже есть в запасе довольно любопытная новелла о картине... Если общество не возражает, то...

Конечно, общество потребовало немедленно рассказа. И вот... Впрочем, без дальних слов я вам воспроизведу историю, услышанную нами в тот вечер от Шелеста.

«КАРТИНА»

(Рассказ)

— Несколько лет назад,— начал Август Иванович,— получив заграничную командировку, я провел две недели в Париже, знакомясь там с автомобильными и авиационными заводами.

Однажды в воскресенье мои спутники по заграничной поездке увлекли меня в музей. Признаться, я не люблю музеев. Там очень скоро устаешь, начинаешь ощущать свой вес.

Полюбовавшись многими прекрасными полотнами, я почувствовал усталость и, незаметно ускользнув от спутников, нашел уютный диванчик в каком-то слабо освещенном коридоре.

Некоторое время просидел с полузакрытыми глазами, потом достал из кармана газету, стал ее просматривать, случайно кинул взгляд на стену, и вдруг мое внимание притянула картина, висевшая в этом коридорчике.

Собственно говоря, это была даже не картина, а набросок углем на большом картоне. Художник изобразил четыре или пять фигур или, вернее, не фигур, а четыре или пять физиономий, искаженных ужасом. Я смотрел на них, приподнявшись, забыв про утомление.

Наконец я подошел к картине, желая узнать имя художника. Но на картине не было ни подписи, ни даты. Намереваясь обратиться к кому-либо с вопросом, я оглянулся по сторонам и заметил старого служителя, который неторопливо подходил ко мне.

— Чья это картина? — спросил я.

— О! — с гордостью произнес служитель, очевидно угадывая во мне иностранца.— Это работа нашего народного художника Калло.

— Калло? Гений эпохи Возрождения?

Польщенный моим восхищением, служитель сказал:

— У этой картины интересная история. Мосье, должно быть, не знает ее?

— Нет. Расскажите.

Мы сели. Очень вежливый, обязательный, старик сообщил, что великий художник жил, как известно, в XVII веке и провел много лет в Италии. Затем служитель весьма красноречиво описал одно летнее утро в Риме того времени.

В это утро по каменным ступеням к реке Тибр спустился сеньор с красивыми седеющими кудрями, которые выбивались из-под шляпы. По берегу он прошел туда, где сидели и валялись грузчики. В большинстве это был бродячий люд, босяки, или, как их называют в Италии, «лаццарони». На берегу они грузят корабли, тут же едят и пьют, играют в кости, спят.

Сеньор медленно шагал меж грузчиков, всматриваясь в лица, словно кого-то ища. По пути, растянувшись во весь рост, лежал огромный детина, подставив солнцу обнаженную грудь, заросшую рыжим волосом, и босые ноги. Он спал. Лицо было прикрыто рубахой. Сеньор остановился и откинул тростью рубаху. Лицо оказалось под стать сильной фигуре: крупные черты, густая курчавящаяся борода.

— Что надо? — проснувшись, спросил грузчик.

Сеньор еще раз оглядел его и, видимо, остался удовлетворенным.

— Нужен человек, чтобы перенести груз.

— Дешевле трех лир не пойду.

— Хорошо.

— И обед с вином.

— Можно и обед. Пойдем.

Они поднялись в город. В одном тихом переулке сеньор остановился перед наглухо закрытыми воротами, достал большой ключ и открыл тяжелую калитку.

— Проходи,— сказал он.

Грузчик шагнул во двор. Войдя вслед, сеньор запер калитку на ключ. В глубине двора высилось здание с остроконечной застекленной крышей. Открыв дверь новым ключом, сеньор велел грузчику войти. Затем, заперев за собой на ключ и эту дверь, сеньор ввел грузчика в огромный пустой зал с гладкими белыми стенами. Свет падал сверху через застекленную крышу.

— Где же ваш груз?

— Вот! — ответил сеньор.

Посреди зала стоял стол, на котором находился какой-то длинный предмет, прикрытый простыней. Сеньор подошел к столу и откинул край простыни. На столе лежал труп. На восковом заострившемся лице уже появились пятна разложения, с губ стекала темная струйка.

— Бери,— приказал сеньор.

Грузчик не двинулся.

— Бери!

— Ну вас к черту с таким грузом.

Сеньор выхватил из кармана пистолет.

— Бери или ляжешь вместе с ним. Считаю до трех.

И, наведя пистолет, он отчеканил:

— Раз!

Грузчик выругался.

— Без разговоров! Два!

— Куда нести? — пробурчал грузчик.

— Пойдешь подземным ходом. Я буду показывать. Бери!

Грузчик подошел к столу, взвалил труп на плечи и, по указанию сеньора, двинулся к двери. Слегка согнувшись под тяжестью, он сделал шаг, другой, третий и вдруг...

Вдруг мертвец схватил его за горло. Грузчик испустил дикий вопль, волосы встали, как иголки. Он хрипел, его схватил столбняк, а труп все сильнее вцеплялся ему в горло.

Тем временем из углов комнаты поспешно вышли четыре человека в белых халатах, раньше не замеченные грузчиком. Держа куски картона, они вглядывались в искаженную ужасом физиономию грузчика и что-то рисовали углем. Такой же картон оказался в руках сеньора, он тоже рисовал. Труп разжал пальцы и, схватив картон, тоже стал быстро рисовать.

Наконец грузчик отдышался, глаза стали различать окружающее, вернулась способность говорить. К нему подошел сеньор и, ласково улыбаясь, похлопал по плечу.

— Извини нас, друг,— сказал он.— Ты попал в школу живописи. Я знаменитый римский художник, а это — мои ученики. Сегодня по нашей программе мы учились писать выражение ужаса и для этого разыграли маленький спектакль. Конечно, ты будешь должным образом вознагражден. Каждый из нас заплатит тебе по три лиры. Пойдем наверх, там тебя ждет обед с мясом и вином.

Знаменитый художник достал кошелек и, смеясь, продолжал:

— Кстати, не хочешь ли ты взглянуть, каким ты вышел на рисунках?

Молодые художники один за другим показали эскизы. Затем и сеньор с мягкой величавостью продемонстрировал свой рисунок.

— Понравилось? Узнал себя? — спросил он.

— Нет. И вообще, сеньор, мне кажется сомнительным ваш метод. К чему прибегать к таким спектаклям, устраивать нарочитые ужасы, если в жизни столько настоящих ужасов? И при этом вы убеждены, что рисуете с натуры?

Грузчик взял один из картонов, перевернул чистой стороной и, посматривая на лица окружающих, стал быстро водить углем.

— Пожалуйста, занимайтесь чем угодно,— говорил он.— Можете смеяться, разговаривать...

Вскоре он показал картон. Сеньор и его ученики узнали себя. Да, это были их лица, но искаженные смертельным ужасом.

— Картон, нарисованный грузчиком, вы, мосье, видите перед собой,— закончил старый служитель.— Этот груз-

чик и был Калло. Что же касается знаменитого римского художника и его учеников, то их имена, к сожалению, не сохранились для истории.

На этом Шелест поклонился и снова сложил руки.

— Не правда ли, дивная легенда! — воскликнул Бережков.

Август Иванович всех нас пленил своим рассказом. Возможно, наши восторги показались ему чрезмерными. Так или иначе, он счел нужным сделать добавление.

— Когда старый служитель смолк,— сказал Август Иванович,— я, крайне заинтересованный, спросил:

«Нет ли здесь других работ Калло?»

Служитель улыбнулся и провел меня в один из залов. Там царил Калло. Ему целиком принадлежал и соседний зал. На стенах висели не наброски углем, а гравюры и живопись. На небольшой табличке, сообщающей краткие сведения о жизни Калло, я прочел, что он оставил после себя свыше тысячи пятисот гравюр и картин и неисчислимое множество набросков.

Он, этот гениальный художник, с непостижимой легкостью создававший чудеснейшие вещи, вместе с тем работал в искусстве, как приговоренный,— работал, работал и работал.

Тут Август Иванович окончательно поставил точку.

Как сказано, эта новелла безумно мне понравилась. В те годы я с ней, что называется, носился. Однажды Шелест нам признался, что он где-то вычитал свою новеллу. Это не охладило меня. Не скрою, пересказывая при каждом удобном и неудобном случае легенду о Калло, я пренебрегал дополнением, которое присовокупил к ней Шелест. Оно мне казалось необязательным. И совершенно зря. Лишь впоследствии я осознал это.

19

— Однако перестанем отвлекаться,— продолжал Бережков.— Буду, как обещано, придерживаться хронологической последовательности. Первую партию аэросаней, выпущенную к первому снегу тысяча девятьсот девятнадцатого года, мы не решились сдать Красной Армии — это было бы преступлением. Но, запустив в производство

вторую партию, несколько усовершенствованную, сами мы, члены «Компаса», на свой риск и страх с удовольствием испытывали аэросани, курсируя во всех направлениях, устраняя всяческие неполадки, нередко терпя и аварии. В иных случаях, как я уже, кажется, докладывал, приходилось раздобывать лошадей и с позором волочить аэросани в мастерские.

На таких санях я и повез члена Реввоенсовета 14-й армии. С вашего разрешения, напомню предысторию этого события.

И Бережков сжато рассказал о том, что уже было известно мне: о том, как председатель «Компаса» профессор Шелест, взяв телефонную трубку, вдруг изменился в лице; как на заседании водворилось полное уныние; как Шелест воскликнул не без юмора: «Мы забыли, что у нас есть Бережков»; как члены «Компаса» провозились всю ночь над предназначенными для поездки аэросанями; как при выезде из ворот был разбит пропеллер.

— От Кутафьи,— продолжал рассказчик,— мы тронулись около семи часов утра. Миновав Серпуховскую площадь и Даниловку, аккуратно проскользнув сквозь тесный проезд под мостом Московской окружной железной дороги, я вывел сани, как мне было сказано, на Серпуховское шоссе. Стоял сильный мороз при ясном небе. Навстречу выкатилось красноватое солнце, не режущее глаз. Позади осталось несколько фабрик и заводов, расположенных в Нижних и в Верхних Котлах. Редко-редко кое-где курилась одна-другая заводская труба. Над остальными не виднелось дымков: в те годы царила разруха, не хватало топлива, множество предприятий было заморожено.

Сани легко скользили по широкой пустынной дороге. За Верхними Котлами, как хорошо известно московским автомобилистам, идет очень крутой спуск.

Взлетев на гребень, я увидел, что навстречу двигается в гору длиннейший обоз. Сблизившись, я спокойно налег на руль, чтобы обойти обоз справа, но передняя лошадь в этот момент обезумела при виде летящего на нее чудища с быстро крутящимся, сверкающим на солнце пропеллером (на аэросанях, как я уже говорил, пропеллер укреплен позади, но его длинные лопасти, обшитые медью, сливающиеся при вращении в прозрачный сияющий диск, видны и встречным). Обезумев, лошадь кинулась в ту сторону, куда я плавно направлял сани, и преградила дорогу.

Тормоза ненадежны, затормозить нельзя. Я резко повернул и...— в такие моменты соображаешь молниеносно — дал полный газ. Мотор взревел, скорость сразу прыгнула. Я попытался на крутом вираже обойти взбесившуюся лошадь. Правый полоз оказался над канавой. Чтобы привести сани в равновесие, я всем телом сделал бросок влево, и на меня тотчас с маху навалился Ганьшин, понимающий опасность. Сани накренились, и правый полоз в вираже несколько мгновений оставался в воздухе.

Все это происшествие заняло лишь две-три секунды — правда, очень отчетливые, как всегда при серьезной опасности,— затем мы опять мирно заскользили по шоссе. Вдруг я почувствовал, что кто-то хлопает меня по плечу. Обернувшись, я увидел черные веселые глаза нашего пассажира. Он подался ко мне и прокричал на ухо, чтобы я услышал в шуме мотора:

— Молодец! Я первый раз сегодня полетал.

Сразу стало веселее вести сани.

Мы проехали несколько деревень и опять стали спускаться с горы. На горах нас всегда будто подкарауливал рок. Как гора — обязательно приключение.

Я стал осторожно спускаться, притормаживая своеобразным способом: положив один полоз в санную колею, а другой — в рыхлый снег обочины. Спускаясь, мы обогнали буро-пегую лошадку, запряженную в розвальни, на которых сидел бородач, разглядывавший нашу машину.

Мы медленно скользили. Под горой виднелась деревня. Над запорошенными крышами вились мирные дымки. Чудесно голубело небо. И вдруг...

Я услышал — трах! Какой-то неприятный сухой треск. Машину затрясло, и в ту же минуту сзади раздался дикий вопль.

Выключив мотор, я уперся во все тормоза, перевел и другой полоз на обочину, ибо на малой скорости в рыхлом снегу тормоза кое-как действовали, и, прокатившись около сотни метров, все-таки остановился.

Поглядев назад, я увидел непонятную картину: крича во всю глотку, размахивая руками, возница топтался около лошади, недвижно лежавшей на снегу. Одновременно я с ужасом заметил, что одна из лопастей пропеллера имеет необычный вид: у нее недостает примерно одной трети.

Вместо изящно закругленного конца торчит оборванная обшивка и обломанное дерево.

Что за чертовщина? Ехали как будто осторожно, никаких твердых тел не задевали, и вдруг — пропеллера нет.

Я вылез из саней, осмотрелся и неподалеку от лошади увидел на дороге какой-то блестящий предмет: это был обломок нашего пропеллера. Но я увидел и другое. Размахивая кнутом и что-то крича, к нам бежал возница.

Из его воплей и ругательств мы уяснили, что наш пропеллер убил лошадь. Оказывается, когда мы медленно спускались, возница полюбопытствовал разглядеть поближе, что за чудо-юдо проскользнуло около него, и, нахлестывая лошадь, стал нагонять нас. Пропеллер, укрепленный на аэросанях сзади, при вращении сливается в прозрачный поблескивающий круг и неопытному взгляду почти незаметен, особенно против солнца. Получив кнута, несчастная лошаденка, несясь под гору, сумела нас догнать, и ее голова попала под пропеллер.

Я покосился на члена Реввоенсовета. Он сидел, приоткрыв заднюю дверцу и полуобернувшись к бородачу. В ответ на мой взгляд у него вырвалось:

— Вот угораздило!

Возница кричал, что лошаденка у него одна, что он получил ее от комитета бедноты, когда делили барское имущество, что теперь без лошади ему лучше не жить на белом свете, а пойти с вожжами в лес и там повеситься.

На его крик стал выбегать народ из близлежащих изб. В короткий срок мне стало ясно, что дело принимает плохой оборот.

Я сжал руку Ганьшину и шепнул:

— Немедленно отъезжаем!

Сказать-то я сказал, а сам подумал: как же мы будем запускать мотор, когда кусок пропеллера валяется где-то на дороге? Всем известно, что неуравновешенность пропеллера вызывает колоссальное биение винто-моторной группы, что мотор при таких условиях может просто отскочить. Однако приказываю:

— Ганьшин, запускай!

— Что ты? Как тут запускать?

— Запускай! Видишь, что творится.

Не вступая в перебранку, не отвечая на выкрики и на вопросы из толпы, я решительно направился на свое место, но меня остановил член Реввоенсовета.

— Куда вы?

Я поспешно ответил:

— Надеюсь, удастся стронуть машину под гору. Кое-как отмахаем версты три, а там осмотримся.

Член Реввоенсовета посмотрел на меня пристальным недоумевающим взглядом. И вдруг его смуглое лицо, раскрасневшееся на морозе, покраснело еще гуще. Это был мгновенно охвативший его гнев. Однако я не успел осознать этого, ибо тут стряслось еще одно происшествие: внезапно раздался детский плач и крик.

Как потом выяснилось, Ганьшин заметил, что из-под саней торчат две пары шевелящихся валенок. Он тотчас выволок за ноги двух мальчуганов, которые, пользуясь моментом, забрались под диковинные сани, где можно было поглядеть, потрогать, повертеть всякие любопытнейшие шестерни и гайки.

Мальчишки заорали; гул толпы сразу стал враждебнее; выделялся чей-то голос, настойчиво повторявший, что за убитую лошадь надо снять с нас шубы. Я видел, что в толпе эта мысль воспринималась, как вполне деловое предложение. И я снова крикнул:

— Ганьшин, запускай!

— А как же с лошадью? И с этим дядькой?

— Запускай!

Член Реввоенсовета, быстро высвободившись из овчинного тулупа, соскочил с саней. Он стоял передо мной в длинной кавалерийской шинели, которая оказалась под тулупом, в буденовке, распахнутой у подбородка. Говорят: «Глаза метали молнии». Пожалуй, в тот момент я впервые увидел, ощутил, как это бывает. Гневное, возмущенное выражение его черных, на редкость больших глаз заставило меня отвести взгляд.

— Как вы посмели? — вскричал он.— Опозорить себя бегством? Удрать? Кто же вы, черт возьми, такой? Откуда у вас это? Такая бесчеловечность, полное равнодушие к человеку?

Я слушал, потупившись... За меня вступился Ганьшин.

— Товарищ комиссар, надо принять во внимание...

— Что? — резко спросил член Реввоенсовета.

— То, что он отвечает за благополучный исход и безопасность поездки. А также и за вашу безопасность, товарищ комиссар.

— Не ищите оправданий для постыдного поступка!..

Круто оборвав разговор, член Реввоенсовета повернулся к крестьянам, стоявшим близ саней.

Тем временем обстановка изменилась. В толпе слышали, как он, никому здесь не известный военный, говорил со мной. Этого оказалось достаточно. Угрожающий гул затих. Бородатый дядька, лишившийся лошади, перестал размахивать кнутом и, заметно успокоившись, подошел к нашему пассажиру.

Я мрачно стоял около саней. Как же я повезу его дальше? Неужели не сдвинемся? Осмотрел пропеллер. Нет, двигаться нельзя, если не придумать чего-нибудь невероятного.

20

Вскоре прибыла наша связная мотоциклетка. На седле, держа под мышкой обломок пропеллера, подобранный в снегу, сидел прозябший паренек Федя Недоля, которого я взял в эту поездку.

— Вот он! — неожиданно воскликнул Бережков и указал на одного из своих гостей.

Это был тот самый синеглазый, светло-русый человек с очень нежным, почти девичьим лицом, с виду лет тридцати — тридцати двух, в летнем сером костюме, человек, у которого при рукопожатии обнаружилась такая крепкая, не соответствующая, казалось бы, нежному лицу, широкая в кости, сильная рука.

— Я, кажется, забыл его представить,— продолжал Бережков.— Федор Иванович Недоля, мой друг, а теперь и мой первый заместитель в конструкторском бюро.

Тот ничего не сказал, но лицо его чуть порозовело.

— Покраснел! — засмеялся Бережков.— Если бы вы знали, как он краснел мальчишкой!.. Во времена «Компаса» мы с ним построили трехколесный автомобиль с мотоциклетным мотором и с фанерным кузовом. Представьте, эта штука бегала. Я ее прозвал «беременная каракатица». Но Федя ни разу не произнес этого названия и всегда краснел, когда я так именовал нашу диковинку. Ему было тогда пятнадцать лет, он работал у нас учеником слесаря и был необыкновенно любознательным и сообразительным парнишкой. Я перевез в мастерские мой «Адрос» и время от времени пытался там запускать его. Этот мотор в триста

лошадиных сил притянул Федю. Много вечеров после рабочего дня он то со мной, то с Ганьшиным, а потом и сам разбирал и собирал «Адрос», вытачивал для него разные детали. Иногда в котельной «Компаса», где я устроил себе пристанище, он засиживался у меня за полночь, слушал всякие мои фантазии и, случалось, краснея, показывал собственные чертежи. Он задумал тогда потрясающую... Ну, Федор Иванович, не буду, не буду... Знаешь, каким ты был в тот день, когда, держа под мышкой обломанный кусок пропеллера, слез с мотоциклетки?

Разрешите, друзья, я вам опишу того Недолю. На нем были черные обмотки, из-за них он казался тонконогим, и огромные, не по ноге, солдатские ботинки, которые шнуровались сыромятным ремешком. Они были хороши в мороз, когда требовалось обвернуть ступню газетой и суконкой, надеть вязаные теплые носки. Но Федя все-таки продрог. Аккуратно перешитая солдатская шинелька, конечно, плохо грела. Над коротким носиком, заалевшимся от встречной поземки, от стужи, который Федя то и дело вытирал,— то бишь, Феденька, прости! — то и дело оттирал толстой рукавицей, торжественно торчало острие красноармейского стеганного на вате шлема-буденовки, явно слишком большого для его головы.

Вот таким был тогда наш Федор Иванович! Сойдя с мотоциклетки, он посмотрел на изуродованную лопасть, потом на меня и побежал ко мне, протягивая обломок, словно я мог приклепать или пришить этот оторванный кусок. И, представьте, было видно по его глазам: он верит, что я немедленно что-то соображу, придумаю, найду.

Нет, ничего не придумаешь! В ответ на расспросы Феди я лишь сквозь зубы выругался. Взятыми с собой одеялами мы закутали мотор, чтобы сохранить его теплым. Я проделывал это мрачно, ибо никаких надежд на продолжение поездки не было.

А наш пассажир, опять подойдя к саням, о чем-то живо разговаривал с обступившими его людьми,— по-видимому, отвечал на их расспросы. Но я не посмел даже прислушаться. Меня жгла мысль: как же быть, неужели мы не сдвинемся?

Федя ждал моей команды. Притопывая ногами не то от холода, не то от нетерпения, он все смотрел на меня своим верящим взглядом, надеялся, что я вот-вот скажу: «За работу, делать то-то».

Нет, ни черта не поделаешь! Неужели я сейчас пошлю его в Москву на мотоциклетке с сообщением об этом злосчастном происшествии? Язык не поворачивался произнести такое приказание. Неужели я так и посрамлю перед членом Реввоенсовета нашу работу, наши сани, весь наш «Компас»? А народ, крестьяне, собравшиеся тут? Для них эти невиданные аэросани являлись, конечно, в какой-то степени символом революционного города, Москвы, нового мира! Эх, черт возьми, как нехорошо!..

И вдруг сверкнула идея. А что, если изуродовать и другую лопасть, отпилив от нее равный кусок? Не уравновешу ли я этим пропеллер? Нет, это маловероятно. Таких случаев, таких операций, насколько я знал, еще нигде не бывало. Ну и что же,— почему не попробовать?

Через мгновение со всем свойственным мне пылом я был уже абсолютно убежден, что нашел правильный выход, и абсолютно поверил в успех.

— Федя! — крикнул я.— Немедленно езжай в деревню и привези как можно быстрей поперечную пилу.

— Зачем, Алексей Николаевич?

— Быстрей, быстрей!.. Объясню потом...

Но Федя уже сообразил.

— Уравнять? — проговорил он.

— Да, да... Лети...

Федя вскочил на мотоциклетку и дал ходу. Член Реввоенсовета обернулся. Я подошел к нему. Мне все еще было неловко после тех резких, гневных слов, которые я от него услышал.

— Товарищ комиссар, сейчас мы кое-что проделаем с пропеллером. Минут через пятнадцать, надеюсь, можно будет ехать.

— Ехать? Насколько я понимаю, с таким пропеллером двигаться нельзя.

Я вскинул голову.

— Двинемся! Двинемся и доберемся, куда надо.

Наш пассажир опять посмотрел на меня пристально, посмотрел так, будто увидел меня наново. На его лице, так изумительно передающем движения души, проступило выражение заинтересованности.

— Посмотрим,— сказал он,— как это вам удастся.

Нетерпеливо поджидая Федю, я подошел к мотору и, сунув под одеяло руку, с тревогой проверил, не остыл ли мотор.

Я нервно ждал: скоро ли явится Федя? Наконец он примчался с пилой.

Я залез на мотор, Федя встал внизу, и мы принялись перепиливать здоровую лопасть, чтобы отрезать от нее точно такой же кусок, какого не хватало у противоположной. Пилить пришлось по медной обшивке, и я один раз хватил себе пилой по пальцам. Показалась кровь, но в горячке я не чувствовал боли. После дьявольских усилий медь все же поддалась, и обе лопасти оказались одинаково изувеченными.

— Прошу садиться,— обратился я к члену Реввоенсовета.

Он посмотрел на пропеллер и недоверчиво покачал головой. Я твердо повторил:

— Прошу садиться. Сейчас тронемся.

А сам подумал: вдруг не тронемся? Но смело сделал приглашающий жест.

С мотора были сняты одеяла и тулуп. Наш пассажир подтолкнул мужичка в сани и сел рядом с ним, как бы говоря своим веселым видом: все будет отлично.

Занял свое место и я. Ганьшин встал у пропеллера. Ну, теперь будь что будет. Я прокричал:

— Запускай!

Запускали мы обычно так. Ганьшин подпрыгивал, цеплялся руками за верхнюю лопасть и, увлекая пропеллер весом своего тела, делал четверть оборота; затем, выпрямляясь,— вторую четверть и кричал: «Контакт!» Я отвечал: «Контакт!» — и давал газ. Мотор или забирал, или не забирал. Говоря по правде, почти в ста случаях из ста он не забирал. Тогда мы опять и опять начинали заново; опять и опять перекликались: «Контакт!» — «Контакт!», пока наконец не раздавался первый выхлоп.

Однако на этот раз нам адски повезло. Мотор был еще теплый и забрал сразу, причем как-то особенно бойко и весело.

Воздух сотрясся частыми оглушительными выхлопами, и народ в первый момент шарахнулся, как от пулемета. Я осторожно прибавил газку и легко сдвинул машину, благо она стояла на спуске.

Сани плавно убыстряли ход. За нами в восторге побежали мальчишки. Ганьшин догнал сани на ходу и, перева-

лившись через борт, сел рядом со мной. Я показал Ганьшину поднятый большой палец. У нашего брата, механика, это означает: «на большой», «на ять», «великолепно». Пропеллер был уравновешен. Я поддавал и поддавал газку, поднимая скорость. Я обернулся. Все глядели нам вслед. Впереди толпы, положив одну руку на руль мотоциклетки, стоял Недоля в своей старенькой перешитой шинельке. Великоватую ему буденовку он сдвинул на затылок, чтобы не мешал большой суконный козырек, и восторженно смотрел, как вертелись укороченные лопасти, уже сливавшиеся в единый почти прозрачный круг, как удалялись сани.

Член Реввоенсовета одобрительно кивнул и, слегка отогнув воротник шубы, улыбаясь, что-то крикнул мне. По движению губ я видел, что это было одно какое-то слово, но не разобрал его в гуле мотора. Мне, однако, почудилось,— впоследствии я тут не ручался за точность,— почудилось, что он крикнул:

— Контакт!

И я, уже опять повернувшись к ветровому стеклу, глядя на быстро набегающую снежную дорогу, во всю глотку проорал в ответ:

— Контакт!

Ганьшин подозрительно покосился на меня, но ничего не проговорил.

22

Замолчав, рассказчик встал, подошел к окну и некоторое время вглядывался в ночную Москву, в мерцание ее редких в этот час огней. Затем Бережков резко повернулся и сказал:

— Попробую воскресить настроение тех минут...

...Впереди, за ветровым стеклом,— все снег и снег. От бесконечного белого блеска порой набегает слеза. Давно наш бородач сошел в каком-то большом селе. Член Реввоенсовета вместе с ним побывал в исполкоме и вернулся в сани.

Мы несемся и несемся по Серпуховскому шоссе, по накатанной санной дороге. Иногда глаз отдыхает на мелькающих избах, дымках, на далекой темнеющей полосе леса, который вдруг, не успеешь оглянуться, уже встал по обочинам, навис лапами хвои или голыми сучьями над бы-

стро скользящими санями. А потом снова простор, наш особеный русский снежный простор с легкими тенями заметенных оврагов и речек, с чуть чернеющей в стороне деревушкой.

Внимательно смотришь вперед, управляешь санями, слушаешь мотор, ощущаешь биение винта, привычно на глаз определяешь скорость и лишь в какие-то редкие моменты, окидывая взглядом даль, вдруг сознаешь: это она, Россия.

Показались фабричные трубы Серпухова — мы, следовательно, уже покрыли свыше ста километров расстояния от Москвы. Ай да саночки! Не подвели!

По сторонам появились домики, я снизил скорость, сани на тихом ходу покатили вдоль широкой улицы, в которую влилось шоссе. Сбоку тянулись железнодорожные пути, виднелись составы красных товарных вагонов. Вот и надписи: «Вход на платформу», «Кипяток», еще дореволюционные, с твердыми знаками; вот и каменное массивное здание вокзала. Оно украшено гирляндами хвои, на красных полотнищах начертаны приветы недавно исполнившейся второй годовщине великой революции и призыв разгромить Деникина. С большого портрета смотрит Ленин.

В этот час здесь, видимо, грузилась на колеса какая-то воинская часть. На вокзальной площади расположились подводы, снарядные двуколки, пушки, походные кухни... Молодой боец, устроившись на тюках прессованного сена, с жаром играл на гармошке. Внизу, вероятно, плясали, но спины красноармейцев, папахи и буденовки заслоняли от нас пляску.

Лица поворачиваются к нам на звук мотора, даже гармонист, кажется, замирает в неподвижности, воззрившись на рокочущие невиданные сани. Мы с Ганьшиным мгновенно приосаниваемся. Тут нам и пронестись бы, оставив за собой лишь взвихренную пыль! Но вместо этого приходится со всей силой нажимать на тормоза. Черт возьми, проедем ли мы здесь?

К счастью, член Реввоенсовета, коснувшись рукой моего плеча, показывает на боковую улицу. Следуя его указаниям, я вывел сани почти на окраину и по его знаку затормозил у приметного белого каменного особняка.

За оградой стояло на привязи несколько оседланных коней. Велев нам подождать, он пошел в дом.

Изувеченный, но честно послуживший нам пропеллер продолжал крутиться. Я чувствовал, как дрожит машина, эта дрожь передавалась и мне. Как хорошо все получилось! Мы не посрамили «Компаса». В немыслимо трудном положении я все же нашел выход, сумел доставить члена Реввоенсовета сюда, к штабу. Я не ощущал абсолютно никакой усталости; хотелось получить еще задание, мчаться дальше.

Но нам было велено ждать. Приоткрыв дверцу, я поглядел вокруг. Позади, за два-три квартала от нас, пересекая улицу, где мы остановились, двигались ряды красноармейцев. Они держали равнение, за спинами блестели винтовки, над головами проплыл огненный шелк знамени. Чувствовалось, что они шагали под песню, но в гуле мотора нельзя было ее расслышать.

Внезапно Ганьшин схватил меня за руку.

К нам подходил наш пассажир, приветливый, улыбающийся.

— А что, товарищи,— спросил он,— нельзя ли продолжить нашу поездку до Тулы?

— До Тулы? Хоть сейчас!

— Отлично... Сначала подкрепитесь, пообедайте... Будьте готовы через два часа...

В сопровождении вестового, который был прислан, чтобы указывать нам дорогу, мы подъехали к другому дому, завели сани во двор и там дали наконец передохнуть мотору. Тут подоспел на мотоциклетке Федя. Закутав мотор одеялами и всякой ветошью, мы отправились в дом перекусить. Нам подали грандиознейший обед: мясные щи и огромные порции прекраснейшей гречневой каши. На сладкое был настоящий чай с настоящим сахаром.

Переволновавшиеся, не спавшие ночь, мы втроем забрались после обеда на огромную русскую печь и моментально уснули. В назначенный срок нас разбудили и скомандовали: «По коням!»

Веселые и бодрые, мы принялись запускать мотор, но не тут-то было. Как выдолбленная тыква абсолютно лишена способности произвести хоть единый выхлоп, так и наш мотор, сколько мы его ни крутили, не давал ни одной вспышки. Открыли карбюратор. Оказалось, что туда не поступает горючее. Для запуска у нас был прилажен отдельный бачок с эфиром. Открыли этот бак, отвинтив гайки, трубы, проделывая все это голыми руками на мо-

розе. Из бачка не течет. Выяснилось, что эфир (как известно, очень жадно поглощающий влагу) напитался водой, которая осела на дно эфирного бачка и там замерзла, наглухо закупорив трубку.

Так как эфир нельзя греть огнем, то мы кипятили воду и тряпками, намоченными в кипятке, отогревали бачок. Кипяток моментально стыл, мы совершенно заледенели, руки сковало морозом.

Член Реввоенсовета несколько раз подходил к саням и молча смотрел, как мы хлопотали около мотора. Наконец он потерял терпение, сказал, что поедет в Тулу на паровозе. Для нас это был жуткий конфуз. Однако он дружески попрощался с нами, не намекнув мне ни единым словом на мою провинность, из-за которой он вспылил в пути.

Он уехал, а мы еще долго возились с тряпками и кипятком, лелея блаженную надежду, что мотор наконец оживет. Но все было тщетно. Когда стемнело, я завел мотоциклетку, Федя уселся на заднее седло, и мы понеслись в Москву, чтобы прислать на выручку другие сани.

23

Через некоторое время мы выпустили вторую, усовершенствованную партию аэросаней (на этот раз с работающими тормозами) и с торжеством передали десять машин Красной Армии.

Экипажи этой первой боевой эскадрильи аэросаней были сформированы из команд бронеавтомобилей. Это был народ, побывавший на фронте. По нашему мнению, все они отчаянно придирались к саням. Командира этой группы, молодого рабочего, украинца, у нас так и прозвали «Смерть Бережкову». Новые хозяева ходили вокруг машин, запускали моторы, выверяли механизмы, испытывали сани на ходу, иной раз застревали в сугробах или опрокидывались на крутом вираже и тогда костили нас на чем свет стоит за недостатки конструкции.

Вскоре на подмосковной станции Перово мы провожали этот отряд, отправлявшийся на фронт, и помогали грузить аэросани на платформы, прицепленные к бронепоезду. Командир, прозванный «Смерть Бережкову», расцеловал на прощанье меня, Бережкова.

— Спасибо,— сказал он.— Будем вам писать. И когда-нибудь, наверное, еще свидимся.

Такое «спасибо» вознаграждает за все. Позади столько трудов, рабочих будней, мелких изматывающих неполадок, всяких споров, заседаний, ссор, курьезов, неприятностей, всего, что изо дня в день составляет жизнь конструктора, занимающегося «доводкой» машины, этой нескончаемой «доводкой», которую иногда хочется проклясть, и вот...

Мы стоим на перроне, отправляем наши сани. Гудок паровоза. Медленно трогается бронепоезд, направляющийся на фронт, проходят тяжелые бронеплощадки, изготовленные на московском заводе «Серп и молот», из люков выглядывают стволы орудий, затем проплывают открытые платформы с нашими аэросанями, на которых уже укреплены пулеметы, обернутые сейчас брезентом, и тускло сверкает в свете зимнего солнца медная обшивка на пропеллерах. Блестит и вороненая сталь штыков на винтовках у часовых — они сидят и стоят на платформах в тяжелых бараньих тулупах, в валенках и теплых шапках.

Поезд развивает скорость, мелькает хвостовой вагон, последняя теплушка, с тормозной площадки на нас смотрит молодой командир отряда. Он снимает ушанку и на прощанье машет ею нам. Еще некоторое время видны его темные вьющиеся волосы, улыбка, тяжеловатый подбородок, потом все сливается, все поглощает даль...

«Когда-нибудь, наверное, еще свидимся»,— сказал он мне.

И, знаете ли, так оно и вышло. Бывают же такие замечательные совпадения, замечательные встречи. Мы снова встретились шесть,— нет, виноват! — семь лет спустя при необыкновенных обстоятельствах, когда я... Но, впрочем, об этом у нас будет речь в надлежащем месте.

24

За окном светало.

— Третий рассвет,— сказал Бережков.

В комнате все понимали, что означали эти слова: «третий рассвет». Мотор Бережкова был уже двое суток в работе, нес и нес без единой остановки советский самолет по огромному замкнутому кругу.

«Беседчик» ждал, не скажет ли Бережков еще что-нибудь о перелете,— об этом так хотелось услышать!.. Самого Бережкова то и дело подмывало перейти на эту тему, но он и теперь сделал отстраняющий жест, опять «выключился», по его выражению.

— На чем мы остановились? — спросил он.

— Вы не закончили о «Компасе».

— О, «Компас» поработал не зря. Я уже вам говорил, как мы провожали со станции Перово первый отряд аэросаней. Этот отряд не раз отличался в боях. Наши войска гнали разбитую белую армию все дальше на юг, к Черному морю. Экипажи аэросаней пересели опять на броневики. А наши славные аэросани, вся первая партия, прибыли для ремонта к нам в Москву. Некоторые были расщеплены, пробиты осколками и пулями.

В 1920 году мы выпустили еще две серии по тридцать штук, но в боях этого года аэросани больше не участвовали. Война с Польшей, взятие белопольской армией Киева, затем наше контрнаступление, волнующие дни похода на Варшаву — все это было летом. Далее, тоже еще до зимы, последовал героический прорыв укреплений Перекопа, за которым отсиживался Врангель. Как вы знаете, разгромом Врангеля окончилась гражданская война.

Однако несколько месяцев спустя, в марте 1921 года, вспыхнул контрреволюционный мятеж в Кронштадте. В историческом штурме Кронштадта приняла участие колонна аэросаней, выпущенных «Компасом». Вы найдете в Центральном архиве Красной Армии приказ военного командования, отмечающий роль аэросаней в кронштадтской операции. Мы, группа работников «Компаса», тоже побывали там, на льду Финского залива. С вашего разрешения, я расскажу об этом.

Помню, как сейчас, весенний мартовский денек, когда во дворе мастерских «Компаса» ко мне подбежал Федя и, запыхавшись, волнуясь, проговорил:

— Алексей Николаевич, мы едем!

— Куда?

— В Петроград. На штурм Кронштадта.

— С чего ты взял?

— Пойдемте. К нам приехал комиссар бронесил республики. Он ищет вас.

— Ну... А почему ты вздумал о Кронштадте?

— Потому что он спросил, пройдут ли аэросани по такому снегу до Петрограда. И я сразу догадался.

— До Петрограда?

В Москве стояла оттепель. Глубокий еще снег всюду осел. На корпусах аэросаней, облупленных и поцарапанных, которые без моторов и пропеллеров находились тут, во дворе, под навесом, ожидая ремонта, блестела влага. Опилки, грудами лежавшие у циркульной пилы, отволгли, потемнели. Небо было сплошь затянуто низкой, ровной облачностью. В таких днях есть своя прелесть. Я люблю этот запах талого снега, весны. Но как отправиться по такой оттепели в пробег до Петрограда? А что, если по пути, на Валдайской возвышенности, на ее грядах, уже вовсе сошел снег?

Федя нетерпеливо ждал, что я скажу. Он был уже не тем пятнадцатилетним парнишкой в огромных, не по ноге, солдатских бутсах, в стеганной на вате, тоже великоватой для него буденовке, каким в нашей «Тысяче и одной ночи» впервые появился перед вами. Носик, конечно, был попрежнему коротковат, что, однако, не мешало нашему юному... Федя, не буду! Клянусь, о сердечных тайнах не скажу ни слова! Можно продолжать? На ногах, как и тогда, были обмотки, черные армейские обмотки, но уже новые, не те. Если не ошибаюсь, Федю немного обмундировали на курсах всевобуча — всеобщего военного обучения, куда он одно время ходил по вечерам вместе с группой молодежи «Компаса» и, кстати сказать, отличился там как пулеметчик. Ботинки, кепка, гимнастерка — все на нем было ладно пригнано. Он и теперь выбежал во двор в этой защитного цвета гимнастерке, слинявшей в стирках, выбежал прямо с работы, не застегнув ворота. Разговаривая со мной, он зачерпнул пятерней снегу и сырых опилок и, по свойственной ему привычке к чистоте, стал оттирать замасленные руки. Я смотрел, как с его рук падал сразу потемневший мокрый снег.

— По такому снегу? — сказал я.— Боюсь, что не пробьемся.

— Как же так, Алексей Николаевич?

— Попытаться можно.

— Пойдемте же! — воскликнул Федя.— Пойдемте к комиссару.

Но комиссар уже сам появился во дворе, уже шел к нам. Я поспешил ему навстречу.

Знаете, кто это был? Родионов. Дмитрий Иванович Родионов, которого впоследствии все мы знали как командующего авиацией, начальника Военно-Воздушных Сил страны. Тогда, в 1921 году, он был политическим комиссаром бронесил республики.

В тот день я его увидел впервые. Помню, еще издали что-то поразило меня в этом человеке. Что же именно? Попробую дать себе отчет. Лицо? Да, пожалуй, и лицо — чисто выбритое, с каким-то особым выражением собранности, сдержанности в складе губ, покрытое ровным красноватым загаром. Лишь позже я узнал, что он провел зиму под солнцем Средней Азии и, будучи членом Революционного военного совета Туркестанского фронта, воевал там с басмачами. На вид ему было приблизительно лет тридцать. Впрочем, еще до того, как я разглядел в подробностях лицо, внимание привлек весь его облик, удивительная прямизна стана, в чем, однако, не чувствовалось никакой нарочитости или напряжения, четкость походки и такая же четкость, строгость воинской формы. Звезда ярко выделялась на его буденовке. На груди, на серой шинели, стянутой в талии ремнем, проходили наискось, с одного борта на другой, три широких темных галуна, которые служили и застежками. Помните ли вы такую форму? Вы можете ее увидеть на некоторых известных портретах Михаила Васильевича Фрунзе, который тоже носил подобную шинель с косыми галунами. Всем своим видом приехавший к нам комиссар, казалось, подчеркивал: воинский долг есть воинский долг, дисциплина есть дисциплина.

Рядом с ним шли два-три работника наших мастерских.

— Здравствуйте,— сказал он, обращаясь ко мне.— Вы товарищ Бережков?

— Да, я.

Он достал из внутреннего кармана шинели бумажник, вынул небольшую твердую книжечку — удостоверение — и протянул мне. В развороте книжечки я увидел заверенную, как полагается, круглой печатью фотографию, на которой он выглядел еще моложе, и впервые прочел его фамилию. Упомяну еще одну подробность. В бумажнике, который он держал раскрытым, я заметил какой-то красный билет и невольно разобрал строку жирного шрифта: «Решающий голос». В тот момент я ни о чем не догадался

и только в дальнейшем, пожалуй, уже под Кронштадтом, где встретился с Родионовым снова, сообразил, что видел у него билет делегата X съезда партии, происходившего тогда в Москве.

Возвращая удостоверение, я сказал:

— Слушаю вас, товарищ Родионов.

Без всяких введений он приступил к делу:

— Сколько у вас в данный момент аэросаней?

— На ходу?

— Да. Нуте-с...

— Немного, товарищ Родионов. Всего шесть или семь.

— Почему «или»?

— Потому что «на ходу» — это весьма условное понятие, товарищ Родионов. И восемнадцать штук в ремонте.

— Так... До Питера пройдете по такому снегу?

— Сомневаюсь... Можно попытаться. Но на любой обнажившейся гряде, на любой плешине застрянем.

— В таком случае... Суть вот в чем, товарищ Бережков. В Питере у нас есть колонна аэросаней. Но они потрепаны и частью повреждены. Кроме того, они легко опрокидываются на морском льду. Нужны, следовательно, механики, знающие толк в этих машинах, и очень искусные водители. Найдутся ли у вас такие?

— Конечно, товарищ Родионов. Скажу без ложной скромности, что и я сам...

— ...искусные механики-водители,— перебил он,— которые смогли бы быстро отремонтировать сани и повести их в бой? Нуте-с?

В его речи появлялось время от времени это словечко «нуте-с», которому он придавал самые разные оттенки. Признаться, я предполагал было сообщить о некоторых своих достоинствах, о том, что имею основание считать себя всероссийским чемпионом по аэросаням, но вместо этого, в ответ на вопросительное подстегивающее «нуте-с», коротко проговорил:

— Понятно, товарищ Родионов... Смогу.

Он воспринял это так же сдержанно, как вел весь разговор. Казалось, никакого другого ответа он от меня и не ждал.

— Так. И надобно еще человек десять. Выдержанных, смелых, искусных в этом деле.

Выдержанных... Я покосился на секретаря нашей партячейки Авдошина, который вышел во двор вместе с Родио-

новым. По профессии ткач, не попавший в армию из-за возраста и, кажется, из-за болезни, высокий, сутулый, с острыми лопатками, обрисовывающимися под пальто, с желтоватым исхудалым лицом, Авдошин был к нам послан с какой-то остановившейся московской ткацкой фабрики и работал в «Компасе» уже приблизительно полгода. Совсем недавно он имел со мной крупный разговор, резко упрекнул за оторванность от общественных организаций, назвал «политически невыдержанным». Что-то он скажет сейчас? Может быть, ввернет что-нибудь такое, от чего меня бросит в жар...

— И побольше коммунистов, комсомольцев,— продолжал Родионов.

Недоля, стоявший возле нас, начал переминаться с ноги на ногу. Он покраснел, явно хотел что-то воскликнуть и лишь в силу дисциплинированности и природной деликатности не решился прервать наш разговор.

Авдошин вынул карандаш и потрепанный блокнот.

— Бережков,— произнес он,— помоги прикинуть список... Как ты думаешь, кто еще вызовется сам?

Родионов сказал:

— Да, давайте-ка сейчас наметим список. Выезжать надо сегодня вечером. И пусть товарищи успеют побывать дома, проведут часок с семьей. Возглавлять группу будет...

Он посмотрел на меня и неожиданно спросил:

— Вы знаете их лозунги?

— Чьи?

— Кронштадтцев. Вам ясен смысл восстания?

Признаюсь, я почувствовал, что краснею, и чуть не ляпнул, что некогда было в эти дни прочесть газету. Черт их знает, что у них за лозунги. Как будто «долой коммунистов» и «вольная торговля» или что-то в этом роде. В оттенках контрреволюции я не разбирался, раз навсегда уяснив одно: где контрреволюция — там иностранная рука.

— Смысл? — переспросил я.— Англичанка гадит.

Родионов рассмеялся.

— В качестве введения в философию это, пожалуй, правильно. Итак, товарищ Бережков, вы будете возглавлять группу. Наметим-ка ее.

Мы с Авдошиным занялись списком. Родионов тем временем раскрыл дверцу аэросаней, присел на место

стрелка, потрогал кронштейн, служивший для крепления пулемета, пригнулся, прищурив один глаз.

— Никогда еще не ездил на такой штуковине,— произнес он.

И обратился к нам:

— Нуте-с...

Список уже был начерно составлен. Однако едва Авдошин стал называть фамилии, Федя, не отходивший от нас, снова вспыхнул. Невольно вытянувшись, отчего его тонконогая фигурка стала как будто еще тоньше, он проговорил:

— Прошу записать меня.

Родионов оглядел его.

— Вы хорошо водите аэросани?

— Нет, не то чтоб хорошо... Я буду ремонтировать. И потом... Могу быть за пулеметчика.

— Знаете пулемет?

— Да.

— Какой системы?

— Знаю «максим», знаю «кольт».

— Хорошо стреляете?

— Последний раз на стрельбище поразил десятью пулями три поясных мишени.

— На какой дистанции?

— Пятьсот метров.

Федя, извини, может быть, я что-нибудь спутал, но у них тут пошел свой разговор о поясных и ростовых мишенях, о прицельных рамках, о дистанциях и так далее, словно у заправских пулеметчиков. И спустя минуту Федя действительно спросил:

— Товарищ Родионов, разве вы пулеметчик?

— Да. Даже учился в пулеметной школе. Но не пришлось окончить.

— Почему же? — вырвалось у Феди.

— Арестовали в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Так и не получил законченного пулеметного образования.

— Вы были солдатом?

— Солдатом. И никогда с незастегнутыми пуговицами не щеголял.

Поднявшись, Родионов быстро и ловко застегнул две пуговицы на вороте Фединой рубахи. Федя, как вы понимаете, стоял совершенно пунцовый. Ласково глядя на него, Родионов спросил:

— Нуте-с... Фамилия?

— Недоля.

— Комсомолец?

— Да.

— Что же, товарищи, не возражаете? Запишем?

Взяв у Авдошина карандаш и блокнот, Родионов сам вписал туда фамилию Недоли. Через несколько минут мы утвердили поименный список небольшой группы водителей и мотористов для выезда в район Кронштадта. Затем были быстро решены вопросы о получении документов, о месте сбора и тому подобное. Все это обсуждалось так деловито и спокойно, что я все еще не мог проникнуться мыслью, что мы здесь готовимся к бою, не ощущал еще никакой лихорадки или трепета перед этим боем, лихорадки, которую узнал потом.

Покончив с делом, Родионов побарабанил по обшивке саней и снова сказал:

— Никогда еще не ездил на такой машине. Как-то не пришлось. Что же, на месте все будет видней. Там встретимся, товарищи.

Он поднес руку к козырьку буденовки, прощаясь с нами, но я сказал:

— Товарищ Родионов, а не попробуете ли вы сейчас? У нас тут в гараже стоят аэросани наготове. Разрешите, я сам их поведу.

— Нет, нет... До вечера у вас не так много времени. А вам еще надо собраться, повидать близких.

Я промолчал. Близких... Ну нет... Сестре я пошлю с кем-нибудь из друзей самую безобидную записку. Экстренно уезжаю, мол, в командировку на несколько деньков... Нельзя же так, без подготовки, объявить Маше, что я отправляюсь на штурм Кронштадта. Недавно, в ноябре, она потеряла своего Станислава, погибшего под Перекопом. Лучше свидеться с ней, когда вернусь.

Родионов стал прощаться.

— До вечера вы, товарищ Бережков, свободны.

— Хорошо... Одного человека, товарищ Родионов, я действительно хотел бы повидать, прежде чем уехать.

— Кого же?

— Николая Егоровича Жуковского.

— Профессора Жуковского? Вы близко его знаете? Как он?

— Плох... Был второй удар. Он еще пытается работать, но...

— Как его лечат? Кто ухаживает за ним? Где он сейчас?

— Он в санатории «Усово». Там и врачи и сиделки... Да и ученики не забывают его...

Я запнулся, сказав это... Ведь я давно не навещал больного учителя.

— Товарищ Родионов, мне не хотелось бы уехать, не попрощавшись с ним... Тем более туда для аэросаней хороший путь. Через четверть часа я буду там.

— На аэросанях?

— Да... Хотите, товарищ Родионов, сейчас испытать их? Конечно, это не совсем как на морском льду, но все-таки и здесь вы сможете судить, каков этот род оружия.

Отогнув обшлаг шинели, Родионов взглянул на часы.

— Нуте-с... Поедем.

26

Не буду описывать эту нашу поездку на аэросанях.

Мой пассажир молча сидел рядом со мной. Конечно, даже короткий пробег позволял оценить боевые качества этой новой для него машины — машины, далеко шагнувшей от тех первых аэросаней, на которых когда-то я возил другого комиссара, черноусого члена Реввоенсовета 14-й армии.

Мы пронеслись через Петровский парк, потом мимо Ходынки, мимо Тушинского поля к берегу Москвы-реки и по ее руслу, где лежал плотный, нетронутый снег, к знаменитому сосновому бору Барвихи, к санаторию «Усово».

Главный врач санатория разрешил мне пройти к Николаю Егоровичу и посидеть у него четверть часа. Родионов остался с врачом.

Дверь палаты Жуковского была полуоткрыта. Впрочем, эта дверь вела не прямо в светлую, большую комнату — спальню Николая Егоровича,— а сначала в маленькую прихожую. Подойдя, я хотел постучать, но увидел в передней комнате Ладошникова.

Устроившись поближе к свету, он монтировал какую-то вещицу из новых, блестящих свежим лаком планок и брусочков, энергично ввинчивал шурупы. Работал он удивительно тихо, бесшумно. Что же он мастерит? Неужели

даже и тут, возле больного Жуковского, возится с какой-нибудь моделью? Я негромко окликнул его. Ладошников оторвался от работы, приветливо кивнул мне, жестом позвал в комнату.

— Вот черт, заедает,— проговорил он.— Погляди... Что ты посоветуешь?

Я разглядел очень остроумную конструкцию наклонного вращающегося столика, который Ладошников сделал для Николая Егоровича, чтобы тому было удобнее читать полулежа. Что-то не ладилось в конструкции, столик плохо откидывался, и Ладошникову пришлось здесь заняться его доводкой.

— Извините, Михаил Михайлович, некогда... Николай Егорович не спит?

— Кажется, просто сидит... Отдыхает. Сегодня он много диктовал.

— Он каждый день работает?

— Да... Большей частью записываю я.— Ладошников грустно добавил: — Спешит закончить.

Мы помолчали.

— А я приехал попрощаться... Сегодня уезжаю.

— Куда?

— Под Кронштадт... Понадобились наши аэросани. А кстати и водители. По-видимому, пойдем в бой...

— Кто же еще едет?

Я перечислил работников «Компаса», включенных нами в список.

— Почему же меня не записали?

— Михаил Михайлович, вы... Мы вас не пустим...

— Чепуха... Ты на чем сюда приехал?

— На аэросанях... Захватил с собой комиссара бронесил республики, продемонстрировал ему нашу машину... Кажется, он будет нами командовать.

— Где же он?

— Наверное, где-то тут... Я его оставил у врача.

Отложив отвертку, ничего не промолвив, Ладошников вышел.

27

Я постучал к Жуковскому. Мне открыла сиделка. Едва ступив через порог, я вдохнул запах яблок, чудесный аромат спелой антоновки. Николай Егорович любил такие

яблоки. Должно быть, ему прислали сюда целый ящик. Это мне сразу напомнило домик в Мыльниковом переулке, где всегда зимой стоял этот приятный, уютный дух антоновки, которую привозили из Ореховской усадьбы. Белая кафельная печка сразу обдала теплом. Это тоже вызвало какие-то воспоминания о кабинете Николая Егоровича, о его осиротевшем старом доме. Да, осиротевшем. Не так давно умерла Леночка, его двадцатилетняя единственная дочь. Жуковского сразило это горе. Последовал сначала один, потом второй апоплексический удар, кровоизлияние в мозг. Николай Егорович пытался бороться, продолжал работать, диктовал незаконченный труд, но вернуться домой, где раньше постоянно звенел голос дочери, уже не мог — это было свыше его сил.

Когда я вошел, он сидел лицом к окну в высоком, глубоком кресле, установленном на четырех маленьких колесиках. Очевидно, услышав мои шаги, он заворочал головой. Оглянуться ему было трудно, я быстро очутился перед ним.

— А, Алеша! Здравствуй,— проговорил он.— Наконец-то ты... навестил меня.

С болью в сердце я заметил, как затруднена его речь. Он радостно мне улыбнулся, и я увидел, как перекошено любимое седобородое лицо; парализованная сторона оставалась неподвижной. Лишь глаза жили по-прежнему, смотрели ясно. Колени были укрыты коричневым клетчатым пледом. На темной материи лежала желтая, будто восковая, тоже парализованная, старческая, морщинистая крупная рука.

Мне стало стыдно, что я давно не навещал Жуковского. Последний раз я был здесь у него вместе с другими учениками и близкими Николая Егоровича в день пятидесятилетия его научной деятельности. Мы торжественно прочли Николаю Егоровичу декрет за подписью Владимира Ильича Ленина, где Жуковский был назван отцом русской авиации, горячо приветствовали его. Он сидел в этом же кресле, хотел встать, ответить на приветствие. И не смог. И заплакал.

— Здравствуйте, Николай Егорович! — бодро сказал я.— Как вы себя чувствуете?

— Садись... Расскажи, что у тебя нового...

Но я повторил:

— Как вы себя чувствуете?

Здоровой рукой он показал на стол, где лежали книги и главным образом объемистые стопки рукописей.

— Вот... Диктую курс механики... Хочу обязательно закончить. Смотрю в окно. Видишь, как рано прилетели в этом году грачи... Наверное, и в Орехове они уже разгуливают.

Он помолчал, прикрыл глаза, потом они снова открылись, ясные, живые.

— Ну, а ты как? Как твой мотор?

— Забросил, Николай Егорович.

— Жалко... Ты его замечательно придумал. Поработай еще, поработай над ним. Обещаешь?

— Обещаю.

— А чем ты теперь занимаешься? Что еще выдумал?

Я сказал, что сегодня вечером уезжаю в Петроград, где колонна аэросаней будет участвовать в штурме Кронштадта.

— И ты тоже?

— Еще не знаю,— успокоительно ответил я.— Сначала буду занят ремонтом.

Но Жуковский понял, что мне предстоит,— я это увидел по его глазам,— понял, что я приехал проститься. Он опять помолчал, задумался. Потом спросил:

— А как там? Еще держится лед?

— Да... Но, наверное, очень скользко. Мокро. И мне говорили, что аэросани там легко опрокидываются.

— Конечно, опрокидываются! — живо воскликнул Жуковский. На минуту исчезла затрудненность его речи.— На скользкой ледяной глади поворот произойдет не так, как следует по его кинематическим условиям. Ты понимаешь?

Я кивнул. Однако Николай Егорович этим не удовлетворился. Он попытался повернуться к рукописям, которые находились на столе, не смог, и на его немного перекошенном лице отразилось страдание. С готовностью подошла сиделка.

— Нет, не вы... Позовите...

Он явно утомился. Ему уже было трудно говорить.

— Николай Егорович, не надо,— сказал я.

Сиделка поняла его желание.

— Михаила Михайловича?

Жуковский наклонил голову.

— Да...

Вскоре явился Ладошников. Николай Егорович обрадовался.

— Вот, вот... Достань, пожалуйста... мой доклад... «О динамике автомобиля»... Там, Алеша, ты найдешь... теорию... скольжения при гололедице... на поворотах... Возьми... Там тебе это пригодится.

Опять утомившись, он замолк. Потом, передохнув, обратился к Ладошникову:

— Миша... Знаешь, куда он уезжает?

— Николай Егорович,— сказал Ладошников.— Я тоже уеду...

— А ты куда?

— Тоже под Кронштадт. Уже решено. Я договорился с комиссаром...

— Как же это ты? А твой самолет? Не доведешь до испытаний?

— Вернусь и доведу. Николай Егорович, «милостивый государь» помнит, что вы ему сказали... И не будет... отсутствовать!

В дверь тихо постучали. Вошел, неслышно ступая, Родионов. Он был без шинели, в форменной военной гимнастерке. Николай Егорович беспокойно взглянул на него.

— Вы... тоже под Кронштадт?

— Да,— ответил Родионов.

— Ну, дай вам бог...

Парализованная желтая рука не шевельнулась, но другую руку Жуковский поднял, словно благословляя нас. Потом рука тяжело опустилась. Жуковский закрыл глаза. Сиделка сделала нам знак, чтобы мы оставили больного. Неловко, рывком, Ладошников поклонился любимому учителю и, круто повернувшись, пошел к двери.

Сиделка сказала:

— Николай Егорович, может быть, вам почитать?

— Нет, не надо... Я посижу так, подумаю о деревне. Скоро там, наверное, зажурчит под снегом, побегут ручейки в пруд. Помнишь, Алеша, наш пруд?

Я вспомнил, как двадцать лет назад видел Жуковского с черной курчавой, как у цыгана, бородой; как он крикнул нам, ребятам, с ореховской плотины: «А вы, дети, я вижу, совершенно не умеете купаться», как моментально сбросил просторный парусиновый костюм, прыгнул в воду и переплыл весь пруд с поднятыми над головой руками. Теперь это сильное, большое тело, сломленное года-

ми, личным горем, параличом, неотвратимо угасало. Я ничего не ответил, не мог говорить.

Мы на цыпочках вышли. Больше я не видел Жуковского. Он тихо скончался через несколько дней, на рассвете 17 марта 1921 года, почти до последнего вздоха не теряя сознания.

23

Случилось так, что в этот же день и в этот час, 17 марта, перед рассветом — в час смерти великого русского ученого, который нас напутствовал,— начался штурм Кронштадта.

Наш маленький отряд в составе шестнадцати аэросаней, приданный штабу 7-й армии, сосредоточившейся против Кронштадта, находился на берегу моря в Ораниенбауме.

Я был назначен водителем саней № 2, а также помощником командира по технической части. Следующее место в боевой колонне отряда занимал Ладошников, водитель машины № 3. Четвертым номером управлял Гусин. Еще несколько саней были вверены другим нашим товарищам по «Компасу».

Мы укрывались за дачными садами и строениями, частью разбитыми от попаданий снарядов. Вдали, прямо перед нами, отделенная от нас восемью или десятью километрами ледяной глади, днем, в ясную погоду, виднелась темная полоска каменных зданий Кронштадта. В бинокль можно было разглядеть казармы, собор, причалы и силуэты линкоров, захваченных контрреволюционерами. Это были «Петропавловск», «Севастополь» и еще некоторые корабли, названия которых я сейчас не помню. Их еще сковывал лед. Но кругом все таяло. На нашем низком отлогом берегу кое-где уже обнажился песок. Дул влажный, теплый ветер. Лед на море потемнел, потерял блеск. На этой тусклой свинцовой ледяной равнине блестели лишь большие лужи морской, чуть зеленоватой воды в тех местах, куда угодили снаряды из Кронштадта. Кромка воды уже другого цвета, мутной, снеговой, разлилась поверх льда и у берега. Штурм нельзя было откладывать. Вот-вот залив мог вскрыться.

За несколько дней до нашего приезда уже была предпринята первая атака Кронштадта. Она оказалась неудач-

ной. Тогда из Москвы со съезда партии прибыло около двухсот участников съезда, которые встали в строй с винтовками, как рядовые солдаты. Среди делегатов съезда, посланных на штурм Кронштадта, находился и Родионов.

Вечером, накануне штурма, он появился на короткое время у нас, в нашем отряде. Мы все дежурили около саней, даже спали в эти ночи в кабинках. Может быть, во мгле я не узнал бы Родионова, если бы не услышал негромкое характерное «нуте-с». Он у кого-то спрашивал:

— Нуте-с... Где командир отряда?

Из Кронштадта время от времени стреляли по нашему берегу. Незадолго до сумерек артиллерии мятежников удалось зажечь в Ораниенбауме два дома, и теперь пламя пожаров, треплющееся по ветру, служило для них ориентиром. Являясь не только водителем аэросаней № 2, но, как сказано, и помощником командира по технической части, я подошел на голос. В неверном — то меркнущем, то более ярком — красноватом полусвете я увидел Родионова. У него за плечом висела, точно у бойца, винтовка с привернутым штыком.

Да, он стал тут бойцом, одним из тех, кого разумеют, когда говорят, что в батальоне или в роте столько-то штыков. Полк, в рядах которого он находился, занял исходные позиции здесь же, в Ораниенбауме, поблизости от нас, и Родионов, рядовой этого полка и одновременно политический комиссар бронесил республики, зашел на часок в наш отряд, в единственную механизированную военную часть, которая могла вместе с пехотой участвовать в предстоящем штурме, действовать на этом непрочном, рыхлом льду, уже не выдерживающем тяжести броневиков или пушек.

Я подошел. Родионов узнал меня.

— А, товарищ Бережков?

— Так точно, товарищ Родионов.

— Нуте-с, как поработали? Как машины? В порядке?

Я поднял большой палец, чего в красноватой мгле он, вероятно, не увидел.

— В порядке, товарищ Родионов.

Так же сдержанно, немногословно он задал еще несколько вопросов о готовности отряда и выслушал мои ответы. Потом спросил:

— Флаги получены? Розданы?

— Какие флаги? Нет, товарищ Родионов...

— Вот как... Где же ваш штаб? Где командир?

Мы показали ему помещение штаба — сарай, к которому тянулись шнуры проводов. Родионов направился туда. Через некоторое время в штаб вызвали всех водителей — командиров саней.

Внутри сарай был освещен маленькой электролампочкой, работающей от аккумулятора. На столе лежала большая, как скатерть, топографическая карта нашего берега и Кронштадтской крепости, карта, где будто разлилась голубая краска моря, то более густая, то светлеющая, то есть с указаниями глубин, которые, если бы уж пришлось попасть под лед, были для нас, как вы сами понимаете, в совершенно одинаковой степени малоинтересны. Тут же на столе высилась стопка сложенных вчетверо полотнищ алого, почти огненного шелка. Как оказалось, это было шестнадцать — по числу саней — длинных красных вымпелов, приготовленных для нас.

Командиром нашего отряда был кронштадтский моряк Мельников, коммунист, когда-то механик миноносца «Новик», давно, чуть ли не с начала гражданской войны, воевавший на суше, водивший броневики и аэросани, смелый, спокойный красавец исполин, демонстративно сменивший в эти дни шинель на прежнюю морскую форму — на черный бушлат и бескозырку с ленточками.

Мы, добровольцы из Москвы, были обмундированы по-красноармейски. Ладошников, в солдатской папахе, с жестяной красной звездой, в серой шинели, стянутой поясным ремнем, раньше всех нас приобретший здесь, в отряде, военную собранность, подтянутость, сидел рядом со мной. Около стола, на скамьях, на чурбачках, разместились и другие водители. Когда все собрались, Мельников взглянул на Родионова, сидевшего тут же, словно испрашивал у него позволения открыть боевой сбор.

— Пожалуйста,— кивнул Родионов.

Однако Мельников сказал:

— Товарищ политический комиссар, разрешите просить вас огласить нашу задачу.

— Хорошо.

Родионов поднялся и, по своей манере, приступил к делу без всяких предисловий:

— В три часа ночи, товарищи, начинаем штурм. В истории еще не бывало, чтобы подобная первоклассная морская крепость, в изобилии располагающая боеприпаса-

ми всех видов, была бы взята пехотой с моря, по льду. А мы ее возьмем... Какие к этому у нас основания?

Вся его речь, которую я попытаюсь сейчас вам передать, продолжалась, вероятно, не более четырех-пяти минут. Во всяком случае, мне она показалась удивительно краткой. И вместе с тем удивительно ясной. Я, конечно, дословно не восстановлю сжатых, порой как бы чеканных его фраз, которые так естественно, легко ему давались, а изложу по памяти самую суть. Он проанализировал соотношение сил. Огневая мощь кронштадтской крепости была очень велика. Мы на берегу далеко не имели такого количества дальнобойных крупнокалиберных орудий, как Кронштадт. В критический момент, когда мятежники заметят наступающие цепи, у нас, может статься, будут только винтовки против сотен пушек и пулеметов.

— И наши сердца, наша решимость,— продолжал он.

Он по-прежнему ясно, как-то очень убедительно сказал, что нашим вооружением являются не только винтовки, патроны и штыки, но и великая священная идея, которую он тоже формулировал очень точно, наверное, точнее, чем я скажу сейчас: идея освобождения человека от эксплуатации, от всяческого порабощения, воодушевляющая народ на беспримерный подвиг. Ради этой идеи лучшие люди земли, говорил он, безбоязненно шли на каторгу, на пытки, на смерть. Эта идея сильнее всего на свете, она непобедима. Мятежники изменили ей и тем лишили себя силы, той особенной силы, которой обладают люди, борющиеся под нашим красным знаменем. Ради вольной торговли (при этом он слегка усмехнулся) не очень-то пойдешь на подвиг.

Затем как-то сразу, без переходных фраз, он заговорил о боевой задаче отряда:

— Вы сможете действовать только засветло. В данный момент трасса вашего рейда командованием армии еще не определена. Возможно, той или иной пехотной части придется залечь где-нибудь на льду под огнем. Тогда ваша колонна под этими знаменами...

Сдержанным жестом он приподнял верхний кусок красного шелка, который легко развернулся и словно заструился вдоль его шинели, приподнял и положил назад.

— Ваша колонна под этими знаменами, стреляя по противнику из всех пулеметов, вынесется в этот пункт, отвлечет на себя огонь и таким образом поможет пехоте

подняться, совершить последний бросок... Будьте, товарищи, к этому готовы! Подробности вы обсудите сейчас с командиром. До свидания. Мне надобно идти.

Он оборвал свою речь как-то круто, без какого-либо обычного призыва или восклицания, что называется, не закругляясь. На прощанье он четко поднес руку к козырьку, взял свою винтовку, прислоненную к стене, умело и, видимо, привычно накинул ее ремень на плечо и вышел из штаба, чуть наклонившись в дверях, чтобы штык не задел притолоку.

29

После этого сбора командиров мы тут же, в наших походных мастерских, изготовили новые длинные древки-флагштоки и накрепко установили их, подобно тонким мачтам, на всех аэросанях. К верхушкам, которые Мельников упорно именовал клотиками, вели прочные шнуры, вдетые за отсутствием блоков в железные кольца, моментально сделанные нами из простых гвоздей, и было достаточно потянуть рукой за шнур, чтобы над санями поднялся и заколыхался огненно-красный шелк.

Затем мы бесшумно, не заводя моторов, на руках протащили сани, машину за машиной, к морю и, перебравшись через прибрежные лужи, порой черпая голенищами, выстроили нашу колонну на сравнительно твердом льду.

А на берегу в это время строилась пехота. Пожары догорели. Теперь там, в этих точках, лишь тлел жар, раздуваемый теплым сырым ветром, да взвивались голубые язычки, уже ничего около нас не освещавшие. Впрочем, и свет, если бы вдруг сюда достал луч прожектора, вряд ли мог что-либо выдать. Всей армии были розданы маскировочные белые халаты с капюшонами. Даже вблизи трудно было различить белые фигуры красноармейцев на фоне льда и снега. Наши аэросани тоже были заново выкрашены цинковыми белилами. Подобно всем бойцам, и мы облачились поверх шинелей и шапок в белую ткань. Над морем стояла тьма и тишина. На небе не проглядывала ни одна звезда, и только в одном месте, где светлел большой мутный круг, за которым угадывалась луна, было заметно, как ветер гонит облака.

Было чуть видно, как ползают щупальца прожекторов из крепости, но отражения, смутные блестки возникали

лишь тогда, когда луч касался воды, разлившейся вокруг какой-нибудь пробоины. В этот глухой предрассветный час артиллерия мятежников смолкла. Не раздавалось ни одного выстрела и с нашей стороны. У пехоты слышались негромкие оклики, негромкие команды, будто люди опасались, чтобы туда, за полосу льда, не донесся голос.

Вот наконец еще одна команда — и полк двинулся. Я не мог разглядеть, как построены бойцы, лишь зашлепали сотни или тысячи сапог — сначала по талому снегу, потом по воде, потом по льду. Я стоял, прислонившись к передку своих саней, и вдруг увидел или, вернее, почувствовал рядом с собой Ладошникова. Велико же было его волнение, если он, всегда сдержанный, скупой на проявления дружбы, сейчас подошел и обнял меня. Так, в обнимку, наверное, никому не видимые в своих белых халатах, мы молча наблюдали за происходящим. Вот несколько белых фигур с винтовками прошагали мимо наших саней. На салазках провезли пулемет. Далее, тоже на салазках, протащили катушку провода, который уже разматывался и ложился черной змейкой на лед. Потом... Потом больше никто не прошел. Некоторое время еще можно было слышать хлюпающие по сырости шаги, становящиеся все менее отчетливыми. А теперь не уловишь и шагов, доносится лишь неясный удаляющийся шорох. Замер и шорох... Тьма и тишина снова нависли над морем.

Истек час, полтора... Давно ушел к своим саням Ладошников. Время от времени мы то прохаживались, то в несчетный раз осматривали свои машины. Федя то вставал, то опять садился к пулемету. Все еще ни выстрела, ни звука, никакого сигнала или признака тревоги на том берегу. Мы смотрели туда, в темноту, где исчезли бойцы, ушедшие на штурм. Казалось, вот-вот остановятся елозящие во всех направлениях далекие пучки прожекторного света, остановятся, упрутся в какую-нибудь точку, где будут обнаружены наши шагающие цепи, и вдруг ледяная равнина осветится белым сиянием ракет, заблещут молнии орудийных выстрелов, и все там загрохочет. Но прожекторы по-прежнему ищут, ничего не находя, и по-прежнему, перекидывая порой луч с края на край, обводят небо световыми дугами. В какой-то момент ветер разорвал облака, проглянула луна, озарила бледным светом лед. Нас лихорадило: сейчас, сейчас начнется... Но тишь не нарушалась. Окно в небе снова затянулось, луна скрылась, и

стало как будто особенно темно. Это бывает, если вы замечали, перед тем, как забрезжить рассвету. Вдруг какой-то один луч действительно застыл на месте; тотчас другой остановился на этой же линии; и тогда в гнезде мятежников, наверное, отчаянно прозвучал первый крик тревоги, и вот, как вспышки магния, сверкнули первые белые зарницы выстрелов, и посыпались, загремели удары, слившиеся в единый грохот, от которого и здесь, под нами, стал мелко дрожать лед.

Запечатлелся еще один миг. Неожиданно взвились ракеты, пущенные, как мы потом узнали, нашими частями по приказу: «Осветить Кронштадт», и мы увидели на какое-то мгновение далекую зубчатую полоску зданий. Ракеты погасли, но будто оставили какой-то след. Помню, меня изумило, что тьма не возвращалась. Вокруг помутнело. Я понял, что ночь перешла в рассвет. Приближалась наша минута.

Была дана команда: «Завести, прогреть моторы». Запустив двигатель своих саней, я прошел по колонне, проверяя еще раз исправность моторов. В стуке выхлопов мы перестали различать пушечный гром и, конечно, уже не опасались, что нас услышат на той стороне. Потом моторы были выключены. В уши снова хлынул грохот боя. Мы опять принялись ждать.

Около саней № 1, где сидел на водительском месте командир отряда Мельников, был установлен полевой телефон. Боевой приказ поступит сюда по телефону. Я вернулся к себе, к рулевому управлению саней № 2, сел и, подняв ветровое стекло, смотрел в сторону Кронштадта.

«Отвлечь на себя огонь»,— сказал нам Родионов. Вы понимаете, что содержалось в этой фразе? Будущая кривая нашего пути пока еще неизвестна, ее укажут нам по полевому телефону, но проляжет она в самом трудном месте. «Помочь красноармейцам подняться в последний бросок». Это тоже понятно.

С какой-то отчетливостью я видел в воображении отдельные отрезки предстоящего пути, взрывы снарядов, пробоины, проломы во льду, где предстояло маневрировать, снизив скорость.

Помню одно удивительное ощущение, еще никогда с такой яркостью меня не посещавшее. В эти часы перед боем окружающий мир приобрел для меня необыкновенную выразительность красок, небывалую отчетливость.

Чернота ночи, далекие вспышки, гром выстрелов, проглянувшая луна, дрожание льда, зубчатая полоска зданий Кронштадта, освещенная на несколько мгновений,— все это так у меня оттиснулось, что я и сейчас, закрыв глаза, все это вижу перед собой.

Это странное, обостренное ощущение мира распространялось не только на то, что я тогда слышал или видел воочию, но и куда-то дальше, далеко за этот кусок нашей земли, за этот лед, за это море.

Были мгновения, когда мне чудилось так. Кто это стреляет из тьмы? И я словно видел, что на нас наведены пушки не только из Кронштадта, но и издалека, очень издалека, из-за рубежей нашей страны. Казалось, снаряды оттуда дробят сейчас балтийский лед.

30

Туман редел. И вдруг на верхушки, или, по флотскому словцу нашего командира, на клотики, свежеобструганных мачт упал солнечный луч. Я поднял голову. Облаков — как не бывало. Небо еще было белесым, не голубым, но оно блистало, светилось, источало свет. С востока, со стороны Петрограда, поднялось солнце, удивительно яркое для такой рани.

Или, может быть, оно лишь мне показалось очень ярким? Это блещущее небо и солнечный луч были словно вестником победы. Только в эту минуту я как-то сразу поверил наконец своим ушам: пальба впереди уже не та. Слева пушечный гул явно слабел, в центре тоже образовалась какая-то умолкшая зона — там, наверное, прорвались наши,— и только справа пушки стучали и стучали.

Солнце добралось уже до белых корпусов наших саней, сразу заигравших мельчайшими капельками осевшей влаги, когда Мельникова позвали к телефону. Как и все мы, он был одет в белый халат с капюшоном, закрывшим его бескозырку. Я видел, как склонилась над полевым телефоном его исполинская фигура, каким напряженно внимательным стало его лицо, как шевелился его крупный рот, когда он что-то говорил. Затем, положив трубку, он выпрямился и крикнул:

— Командиры, ко мне! Захватите с собой карты!

Мы подбежали. Мельников сказал нам следующее. В некоторых пунктах штурмующие части ворвались в город и ведут уличный бой; кое-где мятежникам удалось задержать наше наступление и заставить красноармейцев лечь на лед.

Поступил приказ вынестись всей колонной к одному укрепленному участку и с ходу на вираже обстрелять там с возможно близкой дистанции батареи и пулеметные гнезда, ведущие огонь.

Легкая дымка, пронизанная солнцем, еще застилала Кронштадт, но Мельников, повернувшись туда, указывал нам ориентиры, будто ясно видя перед собой знакомый контур города. Он говорил спокойно и уверенно, входя во все нужные подробности, но внутренний жар проступил красными пятнами на щеках. Показав нам на местности дугу нашего рейда, он затем начертил ее на карте, на голубой краске моря. Затем в одной точке этой дуги он поставил красную отметку. Там надлежало сделать видимой нашу призрачную, белую, незаметную на льду колонну — поднять красные флаги. Мы нанесли эту линию и эту отметку на свои карты. Мельников скомандовал:

— По местам! Завести моторы! Двигаться по порядку померов. Не сбиваться в кучу. Следовать за ведущим.

Он неторопливо завязал тесемки на вороте халата и сел на свое место — на водительское место саней № 1. То тут, то там затрещали моторы. Моим помощником, мотористом саней № 2 и одновременно стрелком-пулеметчиком в переднем отделении машины был Недоля. В задней кабине находилась команда еще двух пулеметов. Мы быстро запустили мотор. Мельников обернулся, оглядел сквозь вращающийся пропеллер колонну, подождал, пока над какими-то припоздавшими санями не появится выхлопной дымок, потом поднял руку, махнул и плавно стронул свои сани.

Отпустив Мельникова на полсотни метров, покосившись на Ладошникова, которому надлежало двигаться за мной, дав ему знак рукой, я нажал педаль и почувствовал, что полозья заскользили.

До поля боя, куда мы понеслись, нам было хода четыре-пять минут. Но мне показалось, что протекло лишь одно мгновение, и перед нами, как будто совсем близко, возник темный берег, отвес набережной, какой-то бронированный корабль у причалов и белые взбросы на льду,

фонтаны битого льда и вспененной воды. Я еще не успел разглядеть, где же лежат наши бойцы, как над санями Мельникова взвилось и затрепетало, простерлось по ветру огненно-красное знамя. Федя уже держал руку на шнуре. Он взглянул на меня, я кивнул, не отрывая глаз от набегавшего с бешеной скоростью льда, и над нашими санями тоже взвилось длинное яркое полотнище красного шелка. Теперь надо было пересечь полосу взрывов, прорваться за нее. Я уже различал, как на льду сначала возникали крупные искры, рассыпавшиеся снопиком пламени, и как тотчас же, еще в этом пламени, вырастал столб воды и льда. Всюду ослепительно сияли, отражая солнце, лужи, озерца, натекшие из пробитых снарядами дыр. Вода мешала видеть эти проломы. Федя припал к пулемету и уже стрелял; из сотрясающегося пулеметного рыльца вылетали едва заметные острия пламени. Мельников мчался вперед, разбрызгивая лужи, оставляя за собой след взбурлившейся под полозьями воды. Он сбросил белый капюшон и немного привстал, сжимая руль. Вихрь трепал ленточки его морской бескозырки. В упоении боя он что-то кричал, все приближаясь на мчащихся санях к укреплениям изменников-кронштадтцев.

Мятежники, наверное, уже перенесли на нас прицел пулеметов, застрочили по нашей колонне. В шуме мотора нельзя было расслышать ни одного иного звука, но глаз схватывал, как в лужах вскипали кое-где пунктиры пузырьков и маленьких столбиков воды. Этим на ничтожный миг было отвлечено мое внимание, и когда я снова посмотрел вперед, то не увидел саней Мельникова. Лишь поверхность небольшого озерца была еще взбаламучена. Где же он? Подо льдом? Но размышлять об этом некогда. Сейчас уже я веду колонну. Слегка отвернул в сторону, полынья осталась сбоку.

— Дай им, Федя! Бей!

В пылу атаки я тоже приподнялся за рулем и стал кричать, как только что кричал наш командир. Еще немного, еще чуть поближе к крепости — и пора осторожно, очень осторожно, помня советы и статью Жуковского, заложить вираж. Я покосился в зеркало, укрепленное перед водительским местом, позволяющее видеть, что делается сзади. Да, летят, расстилаются в небе язычки красных знамен. Их не так много, всего восемь или девять, но мы уже прорвались сквозь завесу орудийного огня. А вот и

она, наша пехота, вот, наконец, когда я ее увидел, наступающую, бегущую вперед цепь бойцов в белых халатах с черными, очень тонкими полосками винтовок.

А где же Ладошников? Я ищу в зеркале идущие за мною сани... Неужели же?.. Нет, вот он... Успеваю разглядеть яростное вдохновенное лицо моего друга, который ночью молча обнял меня. Однако внимание, внимание, Бережков! Какие-то орудия бьют уже сюда. Сбоку впереди блеснула искра, взметнулись пламя и вода. Сани качнуло волной воздуха. Что ж, стреляйте, стреляйте, недолго вам осталось жить, пехота сейчас добежит! А мы... Через минуту мы уже пронесемся, выйдем из обстрела. Я опять чуть повернул руль, описывая дугу на льду. Еще одна искра... И ничего больше не помню.

Очнулся я лишь на другой день в госпитале.

31

Очнулся и сразу же спросил у палатной няни, наклонившейся ко мне:

— Няня, Кронштадт взят?

— Взят, голубок, взят...

На соседней койке сидел Федя с забинтованной головой. Мне захотелось привстать, крикнуть: «Феденька, ура!» — но я едва смог пошевелиться. При каждой попытке повернуться, сдвинуться я ощущал дикую боль в ноге. Она была распухшей, огромной, неподвижной, как бревно. В душе уживались два чувства: с одной стороны, радость победы, а с другой — тревога. Что с моей ногой? Неужели для меня, участника всех пробегов, чемпиона аэросаней и мотоциклетки, конструктора, который, бывало, сам отливал и точил детали для своего мотора, сам в поте лица запускал, заводил его,— неужели для меня все кончено?

Я потребовал доктора, сестру. Мрачно выслушал их неопределенные, успокоительные уверения. Потом кое-как повернулся и уперся взглядом в белую больничную стену.

Таким меня и застал Ладошников. Его, высоченного дядю в грубых солдатских сапогах, нарядили в куцый, тесный в плечах белый госпитальный халат. Мы с Федей не могли сдержать улыбок. Даже я на время отложил мрачный разговор. Ладошников был возбужден. Он

сразу принялся рассказывать о том, как, став ведущим, провел колонну через полосу обстрела, как благополучно вернулся со всеми уцелевшими санями в Ораниенбаум. За нахлынувшими грустными мыслями о Мельникове и других павших товарищах пришли думы о будущем.

— Как вы, Михаил Михайлович? — спросил я.— Какие у вас планы? Когда собираетесь домой?

— Изволь-ка бросить это «вы»,— сказал Ладошников.— Мы с тобой теперь однополчане. И на льду ты меня на «вы» не величал.

— Ладно... Когда же ты в Москву?

— Ну то-то же... Наверное, завтра вечером... Отвоевались...

В стенах госпиталя его голос гудел, казался зычным. В тот день мы еще не ведали того, о чем уже знала Москва,— не ведали, что умер наш учитель, наш Жуковский.

...Три месяца пришлось мне провести в постели. Хорошо, что по соседству некоторое время лежал Федя. О чем только мы тогда с ним не болтали, каких только великих изобретений не совершали! Во всяком случае, мы там придумали автомобиль совершенно нового типа, без коробки скоростей и с удивительным мотором, действующим без карбюратора.

Моя сестрица, примчавшаяся в Петроград, сумела раздобыть нам рулон ватмана, необходимого для наших чертежей.

Потом Федю выписали, а меня перевели в один из госпиталей Москвы. Мне уже было известно, что врачи не всесильны: с моей ногой не могут ничего больше поделать. Помню, солнечным июньским утром я подъезжал к Москве, вглядывался в ее окраины, в неотчетливые, далекие очертания города. Что же впереди? Что мне предстоит? Нет, никто не даст ответа. На душе было и радостно и смутно.

Уф, друзья, разрешите сделать на этом передышку.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Без компаса

1

На потолок комнаты, где мы всю ночь слушали рассказы Бережкова, легла полоска солнца. Это напомнило солнечный луч из его рассказа о штурме Кронштадта, луч, что коснулся кончиков мачт, как предвестник победы.

Было около четырех часов утра. Выпив чашку горячего черного кофе, Бережков привалился к подушкам дивана и отдыхал, полузакрыв глаза. Теперь было заметно, как он утомлен. На щеках проступил нервный румянец, обычно не свойственный Бережкову, краснота тронула и веки.

Не буду передавать негромкие разговоры, которые происходили в комнате. Гости как будто стали расходиться. Первым ушел Недоля. Он уезжал на завод, в конструкторское бюро Бережкова, где дежурила и, конечно, тоже не спала всю ночь молодежь, ожидая вестей о полете. Я понял, что и мне пора уходить, тем более что рука, державшая столько часов карандаш, почти онемела и уже отказывалась служить. Собрав свои тетрадки, всю драгоценную добычу этой ночи, я откланялся всем и, стараясь не всполошить Бережкова, направился к двери.

Однако уйти не пришлось. Бережков вскинул веки и тотчас энергично подался вперед, оттолкнувшись от подушек.

— Куда? — воскликнул он.

Его взгляд упал на портрет Жуковского, висевший напротив. В оживившихся маленьких зеленоватых глазах мелькнули искорки, и Бережков крикнул:

— Э, дети, я вижу, вы совершенно не умеете работать!

Он встал, потянулся, поддернул рукава рубашки и объявил:

— За дело! Писать так писать! Сейчас, друзья, я у всех вас разгоню дремоту! Следует новая глава из жизни вашего покорного слуги, грандиознейшая эпопея под названием «Вольный художник». Или нет, назовем-ка ее так: «Без компаса».

Не дожидаясь, пока я снова пристроюсь к столу и разложу бумагу, он уже с вдохновением, с огоньком, будто и не было бессонной ночи, стал продолжать свою повесть. Пожалуй, лишь в ту минуту я понял, какой заряд энергии таится в нем, моем Бережкове, с каким напором, должно быть, он ведет дело в своем конструкторском бюро. Я забыл, что рука онемела, и скорей сел записывать. Снова заходил мой карандаш.

2

— С вашего разрешения,— начал Бережков,— мы поднимем занавес в один осенний день тысяча девятьсот двадцать первого года.

Вообразите пасмурное утро, холодноватую комнату, где обитает ваш покорный слуга, его самого, не желающего вылезать из-под одеяла, и, наконец, неутомимую Марию Николаевну, которая, перед тем как уйти на службу, должна позаботиться о приунывшем братце, приготовить ему завтрак, поговорить с ним, пролить бальзам на его истерзанную душу. Машенька в то время работала штатным художником в Губсовнархозе, или, говоря по-русски, в Губернском совете народного хозяйства,— рисовала всяческие диаграммы, писала лозунги, клеила фотомонтажи и особенно прославилась как художник — оформитель выставок. Ни одна большая выставка в Москве, например, к съездам Советов или профсоюзов, не обходилась без ее участия.

Итак, преданная своему брату, добрая, любящая Маша подходит к кровати:

— Алеша, вставай...

— Зачем?

Маша всегда теряется после такого вопроса. Действительно, не может же она в продолжение трех месяцев ежедневно повторять одно и то же: «Затем, чтобы взяться за дело!» Об этом в госпитале мне говорил и Ладошников: «Найди себе дело по сердцу». А я не нашел. Мог бы после госпиталя поехать в Вятку, куда, поближе к северу, пере-

вели производство аэросаней, однако отбыть из Москвы я не пожелал. Остальные мои совместительства, мои службы тоже лопнули.

В стране происходили большие перемены — переход от военного коммунизма к новой экономической политике, к так называемому нэпу. Это была величайшая сенсация: большевики разрешили частный капитал. Не скрою, в то время я абсолютно не задумывался над политическим смыслом нэпа, не имел даже и понятия о том, что новой политикой решались огромные исторические вопросы. В моем представлении весь нэп, повторяю, заключался в одном: разрешена вольная торговля и частный капитал.

Газет я не читал. Сестре мрачно объявлял, что жить не хочется, и предпочитал валяться, показывая всем своим видом, что я отслужил, никому не нужен. Еще бы, ведь мне выдают паек инвалида. Прощай, кипучая жизнь! Прощай, старый друг мотоциклетка! Признаться, втайне я все-таки подумывал иначе. Во всяком случае, когда в трудную минуту Маша робко предложила продать мою мотоциклетку, я пробурчал, что оставляю ее как память.

Маша жалеет меня, считает, что я брошен друзьями. Верно, Ладошников давно не появлялся, очевидно, занят испытаниями своего нового самолета «Лад-2». Ганьшин засел за научный труд, за диссертацию. А Федя влюбился в свой завод и поостыл к человеку, который предался мрачной философии. Да, Бережков, ты позабыт! То обстоятельство, что друзья отступились не сразу, что на меня истрачено немало времени и ораторского пыла, конечно, не принимается в расчет. Да и вообще меня уже ничто не вернет к жизни. Разве что сверкнет какая-либо изумительная мысль, потрясающая выдумка, которой я удивлю всех. В глубине души я убежден, что это обязательно случится, но вслух не признаюсь.

Вот и сейчас, глядя на меня, Маша вздыхает. Ей некогда заниматься разговорами, она приводит в порядок мою комнату, подметает пол, тщательно обтирает тряпкой медведя, коршуна и другие фигурки, вырезанные из дерева руками Станислава. Еще года не прошло, как ее муж погиб под Перекопом, а я самым бессовестным образом терзаю ее.

Наконец, опустив руки, Маша поворачивается ко мне:

— Может быть, сходишь опять к Августу Ивановичу?

— Зачем?

Я уже наведывался к Шелесту, бывшему нашему батьке по «Компасу», нашему председателю, спортсмену и умнице, участнику всех наших пробегов, профессору двигателей внутреннего сгорания в Московском Высшем техническом училище. Теперь Август Иванович задумал создать при училище научно-испытательную станцию авиационных двигателей и ожидает утверждения проекта и сметы этой станции. Он мне сказал: «Охотно приглашу вас работать. Только теперь уже не времена «Компаса». Засажу вас за книги, за теорию. Будете исследовать моторы по моим заданиям». Я осторожно спросил: «А что, если я сам что-нибудь выдумаю?» Шелест весело ответил: «Не торопитесь... Давайте-ка сперва изучим, что выдумали до нас с вами другие. А затем... Поверьте, Бережков, у вас будет множество случаев показать свои возможности». Таков был тон этой беседы. Не скрою, перспектива поработать у Шелеста одновременно прельщала и отпугивала меня. Трудиться по его заданиям? Конечно, неплохо пройти такую школу... Но не подчинит ли он меня себе, своей творческой личности? Не стану ли я незаметным винтиком на службе у него? В мыслях снова и снова всплывало полюбившееся мне выражение: «Конструктор должен быть свободным». Каков же к этому путь?

Маша опять пытается как-то меня утешить, что-нибудь посоветовать. Она уговаривает меня зайти сегодня в совнархоз.

— Посмотришь нашу выставку. Увидишь, что делается на заводах. Некоторые еще ничего не выпускают, но везде уже есть инициативные группы инженеров и рабочих... Вот бы и тебе... Выбирай что хочешь. Тебя везде возьмут. Ведь ты такой талантливый...

— Кому я теперь нужен?

— Как кому? Везде! На любой службе...

— Службе?

Скорбно глядя в потолок, я натягиваю одеяло повыше. Нет, не влечет меня служба. Служить — значит кому-то подчиняться. В свое время я совместительствовал, носился по Москве, затем целиком отдался «Компасу», даже поселился чуть ли не на полгода в мастерских «Компаса» и при этом всегда чувствовал себя свободным, поступающим согласно своей воле, своей страсти. Это была, как мне казалось, не служба, а игра всех моих жизненных сил. И сейчас, постанывая, валяясь, вызывая сострадание своей

любящей сестрицы, я ощущаю: черт возьми, сколько во мне их, этих жизненных сил, энергии, желания и готовности совершить что-то необыкновенное. Вот вскочить бы и... И что? Куда? Не знаю... И снова брюзжу:

— Ну, что ты смыслишь? Ты, может быть, считаешь, что служба человечеству это и есть служба в учреждении? Нет, моя милая, изобретатель — это художник, вольный художник. Как ты думаешь, Репин, Серов ходили на службу? За канцелярским столом они создавали свои полотна?

Маша не знает, как ответить, как заикнуться, что она уже опаздывает в свой совнархоз.

— Что у нас на завтрак? — мрачно интересуюсь я.

— Ржаная каша.

— Опять?!

Машенька приносит из кухни тарелку горячей каши, сваренной из зерен ржи. Эту немолотую рожь мы оба получали в качестве пайка.

Подношу ложку ко рту, разжевываю разбухшие, распаренные зерна, выплевываю шелуху. Невкусно.

— Эх, хорошо бы, Маша, эту рожь смолоть...

— Негде,— говорит сестра.

— Как негде? Неужели во всей Москве нет мельницы? Напекла бы ты коржиков, оладий...

— Сама была бы рада угостить тебя... Но в Москве нигде нельзя смолоть. Не берут у частных граждан.

— А что же другие делают с этим зерном?

— Тоже варят. Завтракай, Алеша, и вставай.

Чмокнув меня, сестра вышла из комнаты.

А я в самом мрачном настроении продолжал лежать, поглядывая на остывающую кашу.

3

И вдруг звонок... Прислушиваюсь. В передней Маша кому-то отворяет дверь, с кем-то говорит. Узнаю глуховатый, буркающий, всегда будто сердитый голос Ладошникова. Вспомнил все-таки!

— Чего там? — доносится знакомое буркание.— Чего там раздеваться?

Моментально вскакиваю, натягиваю штаны. Поглядываю на измятую, раскрытую постель, пытаюсь наскоро привести ее в порядок.

Потом спешу в коридор. Там, в сумраке, словно заблестело солнце. Это Ладошников держит в руках охапку золотистой осенней листвы. Я здороваюсь, влеку гостя к себе. Но он упирается, смущенно поворачивается к Маше, протягивая ей листья.

— Везде теперь суют это добро,— как бы оправдывается он.— Не отстают, пока не купишь.

Маша благодарит, принимает букет.

— Простите, я вас оставлю,— говорит она.— Пора на работу. Ухожу.

— Ну и хорошо,— бурчит Ладошников.

Это звучит невпопад, Маша улыбается, но Ладошников упрямо повторяет:

— Хорошо... А это,— он показывает на листья,— извольте-ка нарисовать. Потом преподнесете своему ученику.

Было время, когда Ладошников упросил Машу позаниматься с ним. Он провозгласил, что каждый конструктор обязан уметь не только чертить, но и рисовать. Эти уроки сдружили их. Когда Маша овдовела, Ладошников как бы ненароком придумывал всевозможные темы для ее рисунков. Он был убежден, что, когда человеку плохо, его лечит дело, увлечение делом.

Маша благодарит за букет, прощается, она не может задерживаться больше ни минуты.

Мы с Ладошниковым входим в комнату. Его глаза скрыты под нависшими бровями. Кажется, будто Ладошников ни на что не обращает внимания, ничего вокруг не видит, но на самом деле — и я это отлично знаю — он примечает все. Конечно, он разглядел и неприбранную постель, и мою небритую физиономию. Чего доброго, еще расхохочется, посмеется надо мной. Но он молчит. Вроде и сам невесел.

Мой гость садится к столу, садится в том самом виде, как вошел с улицы,— в большой суконной кепке, в кожаной куртке. Он носит эту куртку чуть ли не во все времена года, мне все знакомо в ней — выцветшие, потрепанные обшлага, и протертые почти добела локти, и даже большое масляное пятно у левого борта. Знакомы и запахи грушевой эссенции, столярного клея, эфира, которые принес с собой Ладошников.

— Возишься с ацетоном? — не без зависти спрашиваю я.

Ацетон, растворитель целлулоида, входит в состав авиационных лаков, и не случайно от рабочей куртки конструктора самолетов исходит этот эфирный сладковатый запах. Однако Ладошников в ответ угрюмо машет рукой. Странно... Что с ним?

— Стакан чаю дашь? — говорит он.— Хотел было в чайную зайти, благо их теперь много развелось... Но повернул к тебе.

Мне вспоминается ночная извозчичья чайная, клубы морозного пара, расплывчатые пятна лампочек, водка в белом чайнике и пятерня Ладошникова, которую он простер запрещающим жестом, не позволяя говорить о его самолете.

— Михаил, а почему ты сегодня не на работе?

— Свободен,— неопределенно отвечает он.

Я решаю больше не допытываться: захочет — сам обо всем скажет. Ухожу в кухню, ставлю на керосинку чайник и возвращаюсь к Ладошникову.

Он разгуливает по комнате, с хрустом жует яблоко, протягивает и мне такое же.

— Сегодня уезжаю,— наконец сообщает он.

— Куда?

— В Питер... На новую работу...

— Как так? А «Лад-2»?

— С ним все покончено. Не принят в серию.

— Не принят? Но ведь на испытаниях...

— Мало ли что? Комиссия, в общем, постановила так: время деревянных самолетов отошло, сейчас не имеет смысла брать фанерную конструкцию на вооружение Красной Армии. Нужны самолеты из металла... Ну и... Одним словом, я признал решение правильным...

Ладошников опять шагает от стены к стене. Я смотрю на его сапоги простой дубки, прочные, большие. Он крепко, твердо ставит ногу. Нелегко согнуть, сломить такого. Вот он остановился, посмотрел на меня, сказал:

— Когда выяснилось, что «Лад-2» не нужен, я попросил, чтобы мне дали возможность конструировать большой самолет. Примерно такой, как «Лад-1»... Мне отказали... Несвоевременно. Нет больших моторов...

— Как нет? А, скажем, «Адрос»? Почему над ним не поработать?

— Если Бережков валяется, кто же будет работать?

— Гм... А если воспряну, комиссия, думаешь, пересмотрит свое мнение?

— Вряд ли...

— Я тоже так полагаю... Ну, а зачем тебя посылают в Питер?

— На заводик «Аэро». Слыхал? Назначен туда главным конструктором. Сейчас там все растащено. Будем восстанавливать. На первых порах придется выпускать не самолеты, а всякую мелочь из кольчугалюмина.

— Из чего?

— Из кольчугалюмина. Не знаешь? Это легкий сплав. Его сейчас производит Кольчугинский завод... Пока суд да дело, освоимся с этим материалом.

— Что же вы будете делать? Сковородки? Примуса? — насмешливо спрашиваю я.

Ладошников, видимо, задет.

— Хотя бы и сковородки! — с вызовом отвечает он.— Не побрезгаем и этим, чтобы восстановить завод... А потом дело закрутится, пойдет...

Я не без удивления вижу, что Ладошников уже захвачен своей новой задачей. Или, верней сказать, в тот день он еще раздваивался: горевал о своем детище «Лад-2», а вместе с тем был уже мыслями на новом месте, уже начинал любить разрушенный заводик в Петрограде, куда нынче ему предстояло ехать.

На меня за мой иронический тон Ладошников недолго обижался.

— В общем, постараемся,— объяснил он,— просуществовать на хозяйственном расчете... И будем подготовлять выпуск самолетов из металла. Если удачно сконструируем, если удачно испытаем... Тогда надобны лишь подкрепления и приказ: «Вперед!» Вот, Алеша, какая перспектива! Жаль только...

— Твоего «Лад-2»?

— Ну, он не пропадет даром. Знаешь, я уже подумываю о трубчатой конструкции из металла... Жаль только, что придется опять делать маленькую машину. Под мотор всего в сто сил. Моторчики, вероятно, будем покупать у немцев. И, кажется, попытаемся на заводе «Двигатель» выпускать «Гном-Рон» в сто сил.

Он посмотрел в окно, повернулся ко мне, проговорил:

— Конечно, это не то... Хочется, Алеша, делать большие машины. Понимаешь?

Я ответил кивком. Еще бы мне этого не понимать?! Большой самолет, мощный мотор — ведь и я мечтал об этом. Ладошников опять метнул на меня взгляд из-под бровей и вдруг расхохотался.

— Но ежели ты будешь валяться,—сказал он,— то, я видимо, не скоро заполучу мотор для большой машины.

В эту минуту у меня мелькнула замечательная, как мне показалось, мысль. Я вскричал:

— Слушай! Давай пошлем к чертям всякое начальство! Будем сами строить большой металлический самолет твоей конструкции!

— Как же это сами?

— Очень просто... Как вольные конструкторы! Устроим свое проектное бюро, свои мастерские... Ты же сам говорил, что конструктор должен быть свободен!

— Дурень! Свободен от Подрайского...

— Ну нет... Полностью свободен...

— Погоди... На какие же средства будет существовать твое бюро?

— На хозяйственном расчете... Ты ж собираешься на заводе «Аэро» сначала заняться сковородками. А мы с тобой придумаем что-нибудь похлеще сковородок. Изобретем что-нибудь такое, что к нам сразу потекут денежки.

— Алешка, не туда заехал...

— Почему не туда? Создадим контору выдумок, собственный экспериментальный завод.

— Ты что же, хочешь стать капиталистом?

— Не капиталистом, а вольным инженером. Свободным поэтом! И дерзнем сделать такое, чего тебе никогда не позволят на службе!

— Нет, брат, я поеду в Питер.

— А я тебе докажу... Пойду путем вольного конструктора... Дай мне два-три года — и увидишь...

— Я вижу, что ты мелешь чепуху... Это, брат, мысли кронштадтцев, которые требовали «вольного капитализма»... А мы с ними разговаривали оружием.— Несколько смягчившись, Ладошников добавил: — Ты сам не знаешь, чего хочешь...

— А ты знаешь?

Ладошников неожиданно опять расхохотался.

— Знаю... Зверски хочу есть...

Как гостеприимному хозяину, мне пришлось отправиться на кухню и принести ржаную кашу.

— Вот тут-то и начинается,— лукаво улыбаясь, Бережков поднял указательный палец,— новая глава нашей невыдуманной повести. К этой главе подошел бы эпиграф: «Роковая минута приближалась. Пушкин».

Предложив Ладошникову завтрак, я счел нужным извиниться за скудное угощение:

— Понимаешь, нет больше ни черта. И мне и Маше выдали такой паек. Кроме того, еще со времен «Компаса» у меня остался целый мешок ржи. Этим и питаюсь. Как по-твоему, есть можно? Уварилась?

— Сойдет...

Ладошников безропотно стал уминать распаренные зерна ржи, выплевывая колючую шелуху.

— А почему ты,— спросил он,— не смелешь эту штуку?

— Негде... Во всей Москве нет ни одной мельницы, где нам с тобой смололи бы зерно. Не берут от частных граждан.

— Эх ты, изобретатель!.. Вздыхаешь, ноешь... Лучше сотворил бы мельницу.

В тот же миг я чуть не привскочил, словно подброшенный ударом тока. Грандиозная идея! Вот она, изумительная выдумка, первая из тех, которые принесут мне — вольному изобретателю! — потрясающие деньги, основной и оборотный капитал для моей будущей свободной экспериментальной мастерской.

Как завороженный я глядел на кашу. Ведь в учреждениях и на предприятиях до сих пор выдают пайки, до сих пор тысячи людей получают немолотую рожь и затем, выплевывая шелуху, едят кашу из вареных зерен, потому что их негде смолоть. Следовательно, в самом деле надо устроить мельницу! Теперь это разрешено. Клянусь, это нужно и государству!

Ну-с, дорогой Ладошников, посмотрим, что ты скажешь о твоем друге, свободном конструкторе, через год-другой?

Не помню, как я попрощался со своим гостем. Проводив его, я быстро оделся и выскочил из дому. Выскочил, чтобы найти помещение для мельницы.

С деревьев падали листья, скупо пригревало осеннее солнце. Куда идти? Чего долго раздумывать? Пойду навстречу солнцу. Распевая, я шагал по бульварам Садового кольца. Уши пылали, тротуар пружинил подо мной.

Близ Самотеки я заметил небольшой желтенького цвета особнячок, одноэтажный, с мезонином. Домик стоял на юру, на углу тихого переулка, и был нежилым, заброшенным — это угадывалось с одного взгляда. От забора, растащенного, очевидно, на дрова, остались лишь обрубки столбов; оконные стекла запылились и кое-где потрескались; на двери висел огромный ржавый замок.

Я потрогал замок и заглянул в окно. На полу валялись затоптанные обрывки бумаг, как это часто бывает в нежилых домах. Удалось разглядеть что-то странное: какие-то станки (ого, это подходяще!), какие-то ванны или корыта, брошенный около дверей продранный диван.

Я моментально разыскал домоуправление.

— Чей дом?

Председатель домоуправления, который, судя по свободному пиджаку, был когда-то толстым, оглядел меня, очевидно, проникся почтением, встал, откашлялся и с готовностью сообщил, что до революции в доме помещалась мастерская по оцинковке и никелировке металлических изделий, а потом хозяева куда-то выехали. Теперь мастерская числится за автосекцией Московского Совета. Смиренный председатель так никогда и не узнал, что в эту минуту я его чуть не обнял. Но в те времена я уже умел сдерживать свой адский темперамент.

Мне буквально ворожила бабушка. В автосекции я всегда встречал ласку и привет как один из ее основателей, как достойный сотоварищ братства автомобилистов.

С Самотеки я поспешил в автосекцию, разыскал председателя, своего доброго знакомого, и сказал:

— Дай мне ключ от особняка на Самотеке.

— Какой ключ? Какой особняк? Понятия не имею ни о каком особняке.

— Дом числится за тобой, там висит замок.

— Ну и что же?

— Я хочу посмотреть, нельзя ли там опробовать одно мое изобретение.

— А что ты придумал?

— Объясню потом. Разреши сначала осмотреть.

— Пожалуйста. Мне этот особняк пока не нужен.

— Пошли кого-нибудь со мной. Мы откроем и произведем опись.

Вместе с одним из служащих автосекции я отправился обратно на бульвар и одним ударом лома сшиб заржавевший замок. Нашим взорам предстала брошенная на ходу жестяная и никелировочная мастерская.

Внизу стояло несколько ванн, в которых когда-то производились оцинковка и никелировка. В одной из комнат сохранились остатки обстановки: хромое кресло, облупившийся комод и продырявленный диван.

Опись была составлена в четверть часа. По этой описи я принял дом, обязавшись в ближайшие же дни снова приехать в автосекцию, чтобы оформить аренду.

6

Словно охваченный пламенем, я не мог угомониться.

Не было покоя и Маше. Первоклассная специалистка по устройству выставок весь вечер орудовала тряпкой и щеткой, подметала, мыла, скребла и все-таки никак не могла справиться с осевшей в особнячке многолетней пылью.

А я тем временем занялся электричеством, проверил провода, зачистил контакты и, абсолютно не чувствуя усталости, притащил из дому массу необходимых вещей, в том числе несколько лампочек, и осветил особнячок.

У Маши уже накопилась груда мусора.

— Алеша, все это надо вынести... Выбросить в помойку.

— Выбросить? Ты сошла с ума! Это драгоценнейшие вещи!

Я бережно перебрал всю кучу. Дырявые ведра — пригодятся; стоптанный ботинок — это же кожа, понимаешь, Маша, кожа для разных прокладок; драные решета, ого, еще как потребуются; обрезки жести — нужны, нужны; сломанные пружины от дивана — тоже пойдут в дело; рваная бумага — вот этим, пожалуй, можно пожертвовать. И то не выбросить, а протопить печку, подсушить воздух. Благо, вот и дровишки завалялись.

Рассортировав мусор, я занялся печкой, просмотрел дымоход, очистил топку от золы, прожег бумагой подтопок, надымил (чем, конечно, вызвал ропот Маши) и был необыкновенно счастлив, когда наконец печка потянула.

Прекрасное помещение!

— Машенька, ты думаешь, я ограничусь мельницей? Как бы не так... Это только начало. Плацдарм...

— Для великих дел? — подает голос сестра.

Я улавливаю легкую иронию. Весь день Маша помалкивает, не хочет портить мое великолепное настроение, помогает мне, но порой вздыхает.

Потрясающая идея сооружения мельницы явно не привела ее в восторг. Но ведь сама же она уговаривала меня хоть чем-нибудь заняться, лишь бы я перестал хандрить, валяться.

Какое там валяться! С нынешнего дня я буду спать вот на этом диване, из которого торчат концы пружин, буду вскакивать на рассвете и работать, трудиться над своим изобретением.

— Что? Ты намереваешься здесь почевать?

Отбросив свою робость, Машенька принялась разносить ужасное, отсыревшее помещение, в котором за одну ночь можно заработать туберкулез или по меньшей мере ревматизм. Но я только посмеивался. Еще раз сбегав домой, я притащил свою подушку, простыни и одеяло.

Спокойной ночи, Маша! Я целую и выпроваживаю возмущенную сестру, затворяю дверь, стелю на диване, гашу свет, ложусь. И погружаюсь в раздумье. Как же устроить мельницу?

Надо вам сказать, что о мельницах я не имел никакого представления. Лишь один раз в жизни я побывал на водяной мельнице и видел запруду, деревянное мельничное колесо и огромные жернова. Никакой литературы об устройстве мельниц у меня не было.

Но я вспомнил, что среди вещей, которые я захватил при переселении, имелся толстенный универсальный справочник для инженеров.

Я вскочил, снова зажег лампу, взял справочник и среди слов на букву «М» разыскал «Мельницы». Очень внимательно прочел. Потом открыл букву «Ж», нашел «Жернова» и узнал, что жернова делаются следующим образом: берется камень какой-нибудь твердой породы, мелко дробится, просеивается, засыпается в форму и заливается

раствором хлористого магния, который связывает каменную мелочь в монолит. Все сведения о жерновах были изложены в одном столбце убористой печати. Вернувшись на ложе, я продолжал соображать.

Камень какой-нибудь твердой породы... Ба! Накинув пальто, в ночных туфлях я вышел на улицу и под покровом темноты выковырял из мостовой несколько булыжников.

Доставив добычу в особняк, я всю ночь дробил булыжник. Несколько раз я угодил молотком по пальцам, но к утру с удовольствием созерцал разбросанный всюду битый камень и поставленное на лист жести решето, доверху наполненное каменной крупой.

Теперь нужен раствор хлористого магния. Где его достать? Денег у меня, как вам известно, совершенно не было, я ринулся на путь вольного изобретательства без копейки за душой. Где же раздобыть нужный раствор в кредит?

Пораскинув умом, я вспомнил о Подрайском. Конечно, у него сколько угодно хлористого магния. Да, вот кто мне его одолжит!

Что? Неужели я ничего не рассказывал о том, как устроился Подрайский при новой власти? Ну, тогда мы сейчас это восполним.

7

Итак, с Подрайским произошло вот что.

Впрочем, с вашего разрешения, я лучше нарисую одну сценку, относящуюся к весне 1919 года. Вообразите солнечный апрельский или мартовский денек.

Я сидел в промозглом, не топившемся всю зиму большом здании на Ордынке, где помещался тогда Комитет по делам изобретений, и, будучи там — разумеется, по совместительству — председателем технического совета, принимал изобретателей.

Помню, вошел бритый, худощавый человек в «финке» — очень распространенной в те времена круглой кожаной шапке с меховым околышем,— в потертой черной жеребковой куртке. Огромные шоферские перчатки с крагами были сунуты под мышку.

Я обратил внимание на какой-то странный запах — не то дыма, не то дегтя,— который исходил от посетителя.

— Садитесь,— любезно сказал я.— Чем могу служить?

И вдруг прозвучал потрясающе знакомый голос:

— Алексей Николаевич, неужели вы не узнали меня?

Боже мой! От изумления я чуть не свалился с кресла. Передо мной был Подрайский, бывший наш Бархатный Кот... Куда-то девались его черные усики, чарующая улыбка, румяные круглые щечки. Я не встречался с ним с 1917 года, с того времени, когда солдаты, строители амфибии, вывезли его на тачке. Где он обретался эти годы? Какие превращения претерпел? И что привело его сюда?

Он протянул мне руку, тоже какую-то странную — заскорузлую, желтую, будто крашенную хной. Я опять предложил ему стул.

— Прошу вас, Анатолий Викентьевич... Вы ко мне по делу?

Подрайский, однако, не сел... По давней привычке оглянувшись, он тихо произнес:

— Да... Имеется величайшее изобретение...

— Любопытно... Какое же?

— Алексей Николаевич, вы не смогли бы спуститься сейчас со мной на улицу?.. Я вам все покажу в натуре.

Через минуту мы вышли из здания. У подъезда стоял очень потрепанный, облезлый легковой автомобиль «фиат». Подрайский открыл переднюю дверцу и широким жестом, который мне напомнил наконец его безупречные былые манеры, пригласил меня в машину.

— Куда же мы поедем? — спросил я.

Подрайский таинственно ответил:

— Осмотрим изобретение.

Сев за руль, он повел машину. Несколько минут мы молча ехали, кое-где раздавливая слежавшийся почерневший снег, разбрызгивая ручейки и лужи.

— Ничего особенного не замечаете?— спросил Подрайский.

— Нет, ничего не замечаю...

Подрайский улыбнулся и сказал:

— Может быть, попробуете управлять сами?

— Что же, можно.

Мы поменялись местами. Взяв руль, я поддал газу, потом попридержал машину, потом опять ее погнал, она поскрипывала, как и полагается старушке, но, в общем, слушалась.

— Ну как? — снова спросил Подрайский.— Ничего особенного не замечаете?

— Не замечаю... Только, пожалуй...

— Что, Алексей Николаевич?..

— Пахнет как-то странно...

Подрайский, казалось, ожидал этих слов. Он довольно засмеялся и сказал:

— Знаете, чем это пахнет?

— Чем?

— Новой эрой в автомобильном деле. Отныне советский автотранспорт не будет больше испытывать недостатка в горючем.

— Ого! Если так, это действительно великое дело.

— Да,— подтвердил Подрайский.— Затормозите-ка, Алексей Николаевич.

Я остановил машину, Подрайский сошел, отвернул гайку карбюратора, налил оттуда прямо в ладонь немного жидкости желтоватого цвета и поднес к моему носу. Жидкость оказалась скипидаром. Так вот откуда этот запах дегтя. Не знаю, самому ли Подрайскому пришла идея использовать скипидар в качестве горючего, или он где-либо залучил это «изобретение», но, во всяком случае, его предложение произвело сенсацию.

Ввиду отчаянной нехватки бензина «изобретение» было немедленно принято, хотя, как вскоре выяснилось, от скипидара залипали кольца, что создавало всякие затруднения для шоферов.

В распоряжение Подрайского был выделен заводик около Москвы, где он организовал возгонку скипидара.

Наверное, у Подрайского найдется бутыль хлористого магния. Он не откажется дать мне ее взаймы. Скорее туда, к нему!

8

Что такое двадцать километров? В прежние времена я бы ответил: «Двадцать минут езды на мотоциклетке!»

Однако теперь, зайдя домой, чтобы наскоро позавтракать, я лишь вздохнул, посмотрев на свою машину, стоявшую в передней. Может быть, все-таки решиться? Выведу ее, испробую... Нет, я уже примеривался — левая нога не доставала до опоры.

Двадцать километров для меня теперь нелегкий путь. Трамваем я смогу подъехать лишь к заставе. А дальше? Э, доберусь на перекладных. Есть, знаете ли, такой способ. Оглянешься, увидишь попутную подводу, подождешь, попросишь: «Эй, друг, подвези!» Возница хмуро посмотрит на тебя и хлестнет лошадь; следующий тоже не посадит; третий, глядишь, и подвезет. Невесело, но чего не предпримешь, когда впереди маячит сверкающая огромная бутыль с чудесной жидкостью, посредством которой я превращу обыкновенный булыжник в прелестный жерновок.

Но вдруг Подрайский откажет мне в кредите? Вдруг его давно уже нет на скипидарном заводе? Так и хотелось хлестнуть лошаденку. Скорей, скорей!

При крохотном заводике, в маленькой директорской квартире, на окнах которой красовались отнюдь не малиновые бархатные, а скромные полотняные занавески, обитал Подрайский.

Дверь открыл он сам.

— А, Алексей Николаевич! Какими судьбами? По делу? Великолепно... Люблю деловых людей.

Подрайский провел меня в столовую. Вещи были новенькие, видимо сделанные здесь же, в столярной мастерской завода, отсвечивали лаком.

— Да, все новое! — восклицает Подрайский, заметив, что я окинул взглядом комнату.— Из старой жизни ничего не взято... Все кануло. И в душе ничего старого.

Его черные живые глазки останавливаются на развешанных веером портретах. Рядом с Марксом — выдающиеся представительницы коммунистического женского движения: Клара Цеткин, Роза Люксембург, кажется, Коллонтай...

Я повторяю:

— У меня к вам срочное дело, Анатолий Викентьевич!

— О делах успеется... Лелечка! Алексей Николаевич, знакомьтесь с моей женой.

Я, конечно, ничем не выражаю удивление, когда вместо Елизаветы Павловны, почтенной дамы, чьим именем был в свое время назван таинственный «лизит», меня приветствует довольно юная особа. Она шутливо восклицает:

— Рукопожатия отменяются!

Таков текст распространенного в те времена плаката. Я отвешиваю поклон. Супруга Подрайского откиды-

вает со лба короткие пышные волосы. Глядит она победоносно. Загорелая, в грубоватой, армейского сукна юбке, в ладных полумужских сапожках. Весьма современный вид!

Однако сейчас меня интересует отнюдь не хозяйка дома.

— Анатолий Викентьевич, мне нужна всего одна бутыль...

— Бутылочка всегда найдется в нашем доме.

Жена моментально подхватывает этот сигнал. Раскрываются дверцы буфета. На столе появляются водка, сало, хлеб, соленые огурчики.

— Не взыщите: угощение пролетарское,— говорит современная женщина.

Хозяин собственноручно накладывает мне соленых рыжиков. Его руки, которые я в последний раз видел заскорузлыми, желтыми, теперь пополнели, порозовели.

Из кухни выплывает сковородка жареной, потрясающе румяной картошки. Мы беседуем о том о сем. Лелечка несколько дней не была в Москве и сейчас выражает неудовольствие. Как это я не знаю, сколько еще магазинов появилось на Петровке? Правда ли, что в Столешниковом открылась кондитерская?

Меня жгуче интересует другое: достану ли я у Подрайского то, что до зарезу мне необходимо? Впрочем, меня волнует и другой вопрос: предложат ли мне еще жареной картошки? Проклятый аппетит...

Но что поделаешь, если с утра во рту ничего не было, кроме нескольких ложек опостылевшей каши?!

Подрайский любезно угощает:

— Разрешите наполнить вашу рюмку, Алексей Николаевич! Выпьем за вас, за вашу энергию, ваше будущее!

Супруга Подрайского значительно добавляет:

— Теперь жизнь повернулась к энергичным людям.

Подкрепившись, я и сам ощущаю прилив энергии.

— Анатолий Викентьевич, придумана потрясающая вещь. Нужна ваша помощь.

— С удовольствием, с удовольствием,— мурлычет Подрайский.

Я с удивлением узнаю интонации прежнего Бархатного Кота. Благосклонно взирая на меня, он поддакивает супруге:

— Лелечка права. Государство снова открыло дорогу энергичным людям.

— Да, да,— соглашаюсь я.— И вот потребовалась бутыль хлористого магния.

— К вашим услугам... И даже без всякой накидки. Так сказать, по себестоимости.

Вот черт, как выговорить, что я приехал за бутылью без гроша в кармане? Я бормочу:

— Но я... Но мне... Поверьте мне, Анатолий Викентьевич, на недельку в долг... Пущу мельницу и расплачусь!

— Мельницу?

— Да, прелестное изобретение,— спешу объяснить я.— Совершенно оригинальное...

Бархатный Кот наклоняется ко мне, с интересом выспрашивает о мельнице.

— Все понятно,— говорит наконец он.— Едем!

— Куда?

— Подкатим прямо к вашему особнячку... Получите бутыль, так сказать, с доставкой на дом... Сам довезу вас на машине.

— Только не на машине!

Это протестует Лелечка. Ее крупные ноздри выразительно потягивают воздух, и я вспоминаю запахи скипидара, пропитавшие облезлый «фиат» Подрайского.

— Поедешь на Еруслане,— решает она.— Сейчас скажу, чтоб подавали к крыльцу нашу конармию.

Меня несколько страшит неожиданная услужливость Подрайского, но предложение весьма кстати. Как иначе я дотащусь со своей драгоценной ношей?

Вскоре мы с Подрайским усаживаемся в заводской тарантас, у наших ног покоится в корзине с соломой заветная бутыль. Мой благодетель, указав на широкую спину кучера, подносит палец ко рту и шепчет:

— Тссс... Ни слова!

9

Подрайский помог мне втащить бутыль в особняк.

— Буду в Москве,— загляну к вам.

— Разумеется, разумеется.

Он повертелся, пожелал удачи и исчез.

«Удачи, удачи...» — напевал я. Немедленно из листа жести я соорудил примитивный противень, поставил туда

решето, наполненное толченым булыжником, и залил раствором. Затем в прекраснейшем настроении я отправился к Маше. Она принялась угощать меня все той же кашей — это после того, как меня попотчевали у Подрайских!

Нет, хватит с меня разбухших зерен!

Я уговорил бедную сестрицу продать на рынке всю оставшуюся рожь, вырученные деньги пойдут, как я выразился, на капитальные затраты. Пока, Маша, мы с тобой кое-как просуществуем, а через несколько дней... О, через несколько дней мельница вознаградит своего творца, к нему рекой потекут деньги. Это обеспечит ему, твоему славному братцу, независимость, свободу творчества. И он возьмется за серьезные, большие изобретения — за автомобильные, за авиационные моторы! И, может быть, у него — позволь, Маша, помечтать — будет собственный экспериментальный завод моторов. Как это тебе нравится — экспериментальный завод вольного изобретателя?!

Маша покачивала головой, пыталась возражать. Но мне некогда было углубляться в споры: будущая мельница требовала меня к себе. Напевая, я отправился туда. Заночевал опять в особняке.

Наутро, сгорая от нетерпения, я прежде всего понесся к решету. Ура! В решете — застывший монолит; тронул рукой — пальцы ушли во что-то студнеобразное, я заорал: кожу ожгло.

Черт побери, значит, не схватило! Ничего, подождем, схватит. На следующее утро каменная каша затвердела. Получился прелестный маленький жернов.

10

Жернова есть, но как их установить? Как крутить?

Надо вам сказать, что на всех мельницах земного шара жернова лежат плашмя и, вращаясь вокруг вертикальной оси, размалывают зерно притертыми каменными плоскостями. А в моем распоряжении — в станках, которые мне достались вместе с домом,— имелись лишь горизонтальные оси.

Мгновенно родилось изобретение. Впервые в мировой истории я поставил жернова вертикально, наподобие

точильных камней. Конечно, нет ничего хитрого в том, чтобы закрепить на горизонтальной оси два круглых камня, но все специалисты скажут, что молоть на таких жерновах нельзя. Прелесть творчества, однако, в том и заключается, что вы переступаете через «нельзя».

Я придумал особую насечку жернова, насечку по принципу Архимедовой спирали. Терпеливо выбивая на камне рисунок замысловатой спирали, я воображал себя зерном, попадал в ручеек спирали, с наслаждением чувствовал, как меня прихватывают, раздавливают, перетирают жернова, и, довольный, вываливался струйкой замечательной муки. Еще многое предстояло мне придумать и соорудить, чтобы пустить мельницу в ход. Все это я делал молниеносно, так как идеи обуревали меня.

Например, ремень. Из чего сделать передаточный ремень? О настоящем ремне в те времена не приходилось и мечтать. В годы гражданской войны и разрухи было срезано и превращено в подметки грандиозное количество заводских ремней. Над проблемой ремня я поломал-таки голову.

Перебирая в уме всяческие комбинации, я вспомнил о брандмайоре города Москвы, с которым когда-то, работая в мотосекции, чудесно провел один день, демонстрируя в поездке на сто километров отличные качества машины, переоборудованной в пожарную из обыкновенного грузовика.

Вы, пожалуй, спросите: при чем здесь брандмайор, когда дело идет о ременной передаче? А пожарный шланг?! Явившись к брандмайору, я получил два куска рваного пожарного шланга. Срастив их, просмолив, я стал обладателем великолепного ремня.

11

Теперь дело за мотором.

Оставалось роздобыть где-нибудь электромотор — и жернова закрутятся, мельница пойдет.

Я знал, что в свое время в мастерских «Компаса» имелось два-три запасных электромотора небольшой мощности, как раз то, что требовалось мне.

После того как «Компас» со славой закончил свою миссию, его наследством занялась ликвидационная

комиссия. Я понесся туда. Меня встретили радостными возгласами:

— Алексей Николаевич, что поделываете?

— Друзья, продайте мне электромотор.

— Зачем?

— Пока тайна. Одно гениальное изобретение.

Мне, однако, ответили, что ликвидационная комиссия, к сожалению, не вправе ничего продавать.

— Тогда дайте во временное пользование. Я подпишу обязательство, что по первому требованию верну мотор в идеальном состоянии.

Такая комбинация, по компетентному заключению главного бухгалтера, была признана возможной. Мы составили бумагу, согласно которой я получал во временное пользование один электромотор для того, чтобы, как было сказано в бумаге, испытать изобретение.

Завладев такой бумагой, я уже собирался крепко пожать всем руки и бежать за мотором, но оказалось, что необходима еще одна формальность: подпись профессора Шелеста. Теперь он, бывший председатель «Компаса», в знак уважения и доверия числился председателем ликвидационной комиссии.

С драгоценной бумагой я немедленно отправился в Высшее техническое училище к Шелесту.

Тут, едва я увидел знакомое здание, едва ступил во двор, на меня со всех сторон пахнуло воспоминаниями.

Вон оно, кирпичное, неоштукатуренное, трехэтажное строение во дворе, так называемое «красное здание». Там Николай Егорович Жуковский устраивал когда-то с помощью семи-восьми учеников-студентов свою аэродинамическую лабораторию, уместившуюся в одной комнате. Я был в числе этих семи-восьми; я там строгал, клеил, мастерил вместе с Архангельским, Юрьевым, Ладошниковым, Туполевым, Микулиным, Ветчинкиным. Кто-нибудь из них, наверное, и теперь в лаборатории. Может быть, заглянуть?

Нет, начнут еще расспрашивать... Осмеют «вольного изобретателя»... Или, еще хуже, пожалеют. Нет, я к ним приду потом, приду вовсе не смешным, не жалким.

А вон вдалеке сарай, где когда-то стоял наш мотор, наш «Адрос». Пять лет тому назад мы с Ганьшиным проектировали и строили его, как самый мощный бензиновый мотор в мире. Перед смертью Николая Егоровича я дал

ему обещание еще поработать над этим мотором. И поработаю! Сначала лишь создам себе плацдарм.

Мне не хотелось, как сказано, заходить в «красное здание», но оказалось, что Шелест находится там. Я решительно прошел через двор, толкнул дверь и, не оглядываясь по сторонам, не предаваясь больше никаким воспоминаниям, взбежал на второй этаж, куда мне указали.

Шелест стоял в середине большой комнаты, где несколько студентов и рабочих пилили и строгали, мастерили какие-то помосты. Он живо повернулся ко мне, и я, как всегда, ощутил энергию, которую источали его ясные серые глаза. Да, недаром и в пятьдесят лет он все еще управлял мотоциклеткой и аэросанями, этот профессор с красивой сединой цвета серебра с чернью, учитель всех русских инженеров — специалистов по моторам.

— А, Бережков! — радостно воскликнул Шелест.— Вот наконец он! А мы, как видите,— он показал вокруг,— оснащаем новый корабль. Я свое обещание держу. Команда небольшая, но для вас я оставил место.

И Шелест рассказал, что совет училища выделил помещение — на первое время одну эту комнату — и некоторые средства для организации научно-исследовательской станции автомобильных и авиационных моторов.

— Испытаем, изучим заграничные марки, а затем,— Шелест подался ко мне и заманчивым шепотом проговорил,— а затем будем конструировать свои авиамоторы. А? Что скажете?

Откинувшись, он посмотрел на меня. Опять склонившись ко мне, он продолжал:

— Сначала засажу вас, словно студента, за учебники... Наверное, многое за эти годы позабылось?.. Поработаем, подрастем и превратим нашу станцию в институт, создадим русскую школу авиационного моторостроения. А пока начинаем с нуля, с нескольких пар горячих рук, с нескольких горячих голов. Знаю, это как раз вам по нраву.

Да, это было по мне. Для меня всегда было невыразимо приятно оказаться там, где зачиналось что-то новое, быть самому среди таких зачинателей. Опять вспомнилось, как мы в этом же здании, этажом ниже, строили вот так же лабораторию Николая Егоровича Жуковского... Может быть, откинуть все и остаться здесь, у Шелеста? Воспользоваться его предложением, воспользоваться случаем

и вернуться к тому, с чего когда-то я, пятнадцатилетний неистовый изобретатель, начинал? К тому, что осталось навсегда незабываемым, как первая любовь,— к конструированию моторов? Нет, в эту минуту меня интересовал лишь один мотор... Получу ли я его? Как хотите, я уже не мог остановиться.

— Как же, тебя остановишь! — раздался голос Ганьшина.

Окружающие дружно засмеялись. Очевидно, здесь всем был понятен этот возглас. Но Бережков выразительным жестом отмахнулся: он не хотел, чтобы сейчас его что-нибудь отвлекало от рассказа.

12

— Мог ли я остановиться? — повторил он.— Мог ли загасить пламя, пожиравшее меня? Нет, нет, я был уже не в силах расстаться с моим особнячком, с моими маленькими жерновами, с моей Архимедовой спиралью. Я уже сам попал в эту спираль, она с потрохами втянула меня. Нужен лишь еще один шаг, один разговор, одна подпись и...

И завтра я услышу первый шорох трущихся частей, завтра пойдет, обретет жизнь моя изумительная мельница. А когда-нибудь потом я вернусь к моторам. Э, мало ли чудесного мне предстоит потом?

Внутренне дрожа от нетерпения, я, однако, оживленно поддакивал Шелесту:

— Да, да... Это адски интересно, это потрясающе. Но сейчас, Август Иванович, я увлечен одним небольшим изобретением. И у меня к вам просьба.

— Что такое?

— Пустяк... Уже все оформлено, требуется лишь ваша подпись. Мне нужен на несколько дней электромотор.

И я решительно протянул Шелесту бумагу.

— На несколько дней?

— Да.

Я заявил это, не моргнув глазом, настолько сильна была моя уверенность, что через несколько дней я смогу купить хоть десяток электромоторов.

— А для чего вам мотор?

— Сначала, Август Иванович, подпишите, а потом скажу.

— Извольте... Я всегда с удовольствием готов помочь вам, чем смогу, в ваших изобретениях.

И, достав автоматическую ручку, он одним росчерком подписал разрешение. Я мгновенно засунул бумагу глубоко в карман.

— Так для чего же? — спросил Шелест.

— Это пока секрет. Я открываю мельницу.

— Мельницу? Какую мельницу?

— Обыкновенную. Которая мелет зерно. Это будет первая и единственная мельница в Москве для свободного помола.

— Как вы сказали? Для...

— Для свободного помола. У вас, например, дома есть, наверное, пайковая рожь.

— Ну, и что из того следует?

— Что? Вы приносите вашу рожь ко мне на мельницу и... раз, два — получается мука. Вот и все. Древнейший и гениальнейший фокус.

— Бережков, неужели вы говорите все это всерьез?

— Вполне...

— Не понимаю... К чему вам эта мельница?

— Чтобы разбогатеть. Я хочу быть вольным конструктором-изобретателем.

— Дайте обратно бумагу, которую я вам подписал.

— Нет, Август Иванович, не дам.

Шелест несколько секунд молча смотрел на меня. Я спокойно выдержал этот жесткий взгляд.

— Что же... Вы в конце концов взрослый человек,— проговорил он.— Мне остается только пожалеть, что я был в числе ваших учителей. Поступайте, как вам угодно. Но имейте в виду, что я никогда не прощу вам этого!

Я не вслушивался в слова профессора, меня словно нес какой-то вихрь.

— Август Иванович, вы увидите, чего я добьюсь. Не скрою, у меня есть смелая мечта когда-нибудь пригласить вас быть главным консультантом в моей фирме.

— В мучной?

— Нет, мука только начало. Погодите, то ли еще будет!

— Уходите! — гневно сказал Шелест.— Уходите и не вздумайте, когда вас накажет жизнь, прийти ко мне пожаловаться на свою судьбу.

И он повернулся ко мне спиной. Я вышел.

Остаток денег, добытых продажей зерна и предназначенных на капитальные затраты, был поглощен перевозкой мотора в особняк. Установив мотор, я сам произвел все электромонтажные работы.

Настал наконец знаменательный миг, когда я включил рубильник. Пробежала голубоватая искра. Она, эта искра, означала, что мотор принял ток. В полнейшей тишине слышалось нарастающее жужжание мотора. Затем я перевел передаточный ремень с холостого на рабочий ход. Жерновок мягко сдвинулся, запел, зашуршал на ходу. Вот он, первый шорох ожившего камня и металла, первый шорох конструкции, которая зародилась в фантазии. Другой жерновок, прилегающий к первому, был плотно насажен на деревянную ось. Я стал осторожно сближать их, уменьшая просвет. Раздался скрежет, посыпались искры, я быстро чуть-чуть развел камни.

Лаская сердце, мельница отлично крутилась, но решающее испытание было еще впереди. Ведь изобретение заключалось в том, что, впервые в мире поставив жернова вертикально, я применил в насечке Архимедову спираль. Будут ли мои жернова молоть, правилен ли принцип?

Зерна, зерна, полцарства за зерно!

Но у меня не осталось ни горсти зерна. Весь мешок ржи был продан. Так случилось, что я оказался без зерна как раз в тот момент, когда оно потребовалось для испытания, когда конструктор готов прозакладывать душу, лишь бы испытать свою вещь.

Но уже вечер. Уже нет времени куда-то бежать, где-то раздобывать зерно. Э, была не была, открою мельницу так. Открою завтра с утра. И произведу испытание из зерна первого клиента. Так ваш покорный слуга разделался с этим затруднением.

Значит, все решено — утром открываю, утром начну молоть! А еще не сколочен помост, по которому, словно заправский мельник, я буду похаживать и посматривать, как идет помол. И не готова вывеска. Надо сейчас же заказать вывеску Маше. Скорей, скорей домой!

Вот когда я оценил дарование своей сестрицы. Откуда-то, чуть ли не с крыши, был притащен старый кровель-

ный лист, Маша послушно выложила на стол все запасы масляных красок, и закипела работа.

— Не жалей, Машенька, красок. Скоро я притащу тебе их целый ящик.

Маша только посмеивалась. Чего только я, будущий богач, не наобещал ей в эти дни!

— Не жалей красок! — повторяю я.— Пиши с выдумкой, с блеском. Стукни прохожего по голове.

Сочинив текст вывески, я отправился во двор, нашел в сарае несколько досок и, взвалив их на плечо, потащился по ночным улицам в особнячок завершать последние плотничьи работы, возводить помост.

За ночь я не прилег ни на минуту, но к свету — а осенью светает поздно,— к свету в особнячке все было совершенно готово.

Безумно торопясь, я побежал за вывеской.

Меня ожидал шедевр. На темно-синем фоне красивыми золотыми буквами было начертано: «Первая московская механическая мельница конструкции инженера Бережкова».

Однако при первом же взгляде на вывеску я почувствовал, что мимо нее можно пройти равнодушно, едва скользнув по ней взглядом. Озаренный вдохновением, я, несмотря на протесты сестрицы, намалевал внизу крупными буквами: «Свободный помол».

Затем, наскоро позавтракав, я потребовал, чтобы Маша по дороге на службу помогла мне водрузить вывеску. Мы шли нестерпимо медленно, так как краска на вывеске была еще сырой и приходилось быть крайне осторожными.

Как раз вблизи особняка высился толстый столб, уцелевший от былого забора. Я давно присмотрел его для вывески. Но лестницы у меня не было, и поэтому с приколачиванием вывески, прочно набитой на примитивную деревянную раму, мы опять-таки провозились довольно долго. Наконец все завершено.

Я отбежал на противоположный тротуар. Магические слова «Свободный помол» были ясно видны и оттуда.

Итак, мельница открыта!

Отпустив сестру — пусть отправляется на свою службу,— я остался у мельницы один. Вошел в особняк, взобрался на помост и встал там, ожидая клиентов.

Я долго стоял, снедаемый огнем ожидания. Но клиентов не было.

Несколько раз я выбегал наружу и впивался взглядом в улицу — то в одном направлении, то в другом,— не приближается ли кто-нибудь с мешком зерна за спиной?

Но люди проходили и проходили мимо. Мне нестерпимо хотелось остановить кого-нибудь — первого попавшегося! — потрясти его за плечи, указать на вывеску и прокричать: «Видишь? Сейчас же беги домой, тащи сюда зерно!» Некоторых я пытался загипнотизировать, но, увы, безрезультатно.

Утешая себя разными соображениями и отнюдь не теряя веры в гениальность моей выдумки, я возвращался в особняк, снова взбирался на помост и ждал, облокотившись на перила. Но клиенты не появлялись. Никто не стучался, никто не приходил.

Много мечтаний и мыслей пронеслось в эти часы ожидания. Думалось о грядущем богатстве, о каких-то великих будущих моих изобретениях.

Вспоминался, конечно, и профессор Шелест, который отвернулся от меня, но когда-нибудь — иначе я буду не я! — преклонится перед моим талантом и удачей.

Однако все эти мысли и мечты лишь слабо мерцали во мне, чуть вспыхивали и потухали. Все они оттеснялись переживаниями, что ведомы каждому конструктору. Никакие мечты о богатстве, о славе, о любви не сравнятся по силе, по жгучести с волнением, которое всегда овладевает мною, когда рождается замысел новой вещи и, в особенности, перед первым ее испытанием.

А ведь тут испытание, по существу, еще не произведено. И поэтому самым трепещущим, адски волнующим, адски интересным — гораздо интереснее всех благ, которых я ожидал от мельницы,— был для меня в те минуты вопрос, правилен ли конструкторский замысел, будет ли моя мельница молоть.

На дворе стало темнеть. Разочарованный, разбитый, я собрался уже закрывать мельницу, но вдруг кто-то неуверенно постучал в дверь.

Я закричал во всю глотку:

— Входите!

Дверь в ожидании клиентов не была заперта, но никто

не вошел. Неужели я ослышался, неужели дошел до галлюцинаций?

Я прыгнул с помоста, как тигр, и ринулся открывать дверь. На пороге стоял председатель домового комитета, тот самый, что на днях предупредительно отвечал мне на вопросы насчет особняка. Как сейчас помню его полуиспуганную, полуудивленную, виновато улыбающуюся физиономию.

Он смотрел на меня, согнувшись под тяжестью большого мешка. Вы понимаете — мешка!

— Простите, товарищ Бережков,— начал он,— я только что пришел со службы и увидел вашу вывеску. Значит, у нас во дворе теперь будет мельница?

— Да.

— И можно смолоть рожь?

— Пожалуйста. Сколько угодно.

— И частным гражданам можно?

— Конечно. Вы же видели: «Свободный помол».

— А дело законное? — выспрашивал мой первый клиент.

— Конечно. Нэп.

Я с твердостью заявил это, хотя в тот день у меня не имелось никакого торгового патента, никакого разрешения.

— Я как пришел домой,— говорил председатель, опуская мешок,— как увидел вашу вывеску, так и решил смолоть рожь. У меня много немолотой ржи.

Без дальнейших разговоров я подхватил мешок и поставил на весы, словно всю жизнь только этим и занимался. С приобретением весов тоже была своя история, но всего не перескажешь — ведь это же тысяча и одна ночь.

Взвесив, я ловко вскинул мешок на помост, вскочил туда сам и засыпал зерно в конус. Мой клиент с любопытством наблюдал за мной. Я тоже проделывал свои манипуляции с чрезвычайным любопытством: что выйдет из этого?

Прижал рубильник. Стрельнула голубоватая искра. Мотор зажужжал, двинулся жернов. Приоткрыв задвижку для зерна, я стал поджимать жернова друг к другу. Вдруг они завизжали, заскрежетали, завыли. И вслед за этим в ящик, куда должна была течь мука, посыпалось с искрами какое-то кашицеобразное, землистого цвета вещество. И невероятно пахучее, словно жженая калоша.

Я увидел испуганное лицо председателя и сам перепугался. Однако с самым невозмутимым видом, будто все шло, как надо, быстро раздвинул жернова. Но теперь зерно просыпалось в ящик, не размалываясь. Я опять стал с величайшей осторожностью сближать жернова, и в какой-то момент снова раздался дикий визг соприкоснувшихся камней. Снова распространился аромат жженой калоши.

Меня бросило в холодный пот. Что случилось? Мельница не работает.

Но в ту же минуту я догадался, что надо действовать смелее, надо прибавить подачу, то есть еще сблизить камни, чтобы мука могла создать пленку между ними. Я бесстрашно прибавил подачу, визг прекратился, перестали выскакивать искры, в ящик посыпалась мука. Уф! Наконец-то!

Правда, мука оказалась смолотой неважно, на зубах она хрустела, но все-таки это была мука.

Я заставил своего первого клиента полюбоваться, выразить свое восхищение остроумным устройством мельницы, затем мы с ним свернули из двух газет колоссальный кулек, и он щедро отсыпал мне — за помол — несколько фунтов муки.

Через минуту в замке особняка щелкнул мой ключ. Прижимая к груди кулек с мукой, я сделал пируэт на крыльце.

Вдруг, откуда ни возьмись, прозвучал женский голосок:

— Дорогу мучному королю!

Что такое? Возле столба, к которому была приколочена вывеска, остановился фаэтон Подрайского. На тротуар, отклонив помощь супруга, ловко спрыгнула Лелечка. Быстрыми шажками она подошла ко мне.

— Узнаете? А мы случайно оказались в вашем районе. Знаете, ездили по магазинам.

Крепкая загорелая ручка принялась отряхивать муку с моего пиджака. Фу-ты, оказывается, я перепачкался с головы до ног. Действительно, мучной король.

— Не сомневалась, что вы добьетесь успеха! — Лелечка одобрительно оглядела меня и добавила свою, как видно, излюбленную фразу: — Жизнь принадлежит энергичным людям!

Розовое лицо Подрайского сияло добродушием.

— Рад вас поздравить, Алексей Николаевич.

Я топчусь возле гостей. Неужели придется пригласить их в особняк?.. Дома меня дожидается Маша. Предстоят грандиозные оладьи. И вот извольте — неожиданная встреча... Как бы мне сбежать? Однако Бархатный Кот сам проявляет чуткость.

— Не беспокойтесь,— раскланивается он.— Мы только мимоходом... Как-нибудь в другой раз вас навестим.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— У вас, значит, все идет удачно?

— Еще бы! — Видя, что гости прощаются, я в восторге повторяю: — Еще бы, потрясающая, волшебная удача!

Супруги усаживаются в коляску, я машу им рукой, снова прижимаю к груди драгоценный кулек и бегу домой.

15

Маша, улыбаясь, замешивает тесто. Она любит принять, угостить друзей.

Но кого же пригласить? Ганьшина, засевшего за ученый труд, безнадежно звать. Одна надежда на Федю. Не будь я Бережков, если не притащу его сегодня на оладьи. Не помню, говорил ли я, что Недоля поступил слесарем-сборщиком на завод «Красный металлист» в Замоскворечье. Как бы добраться поскорее к Феде в общежитие? Трамваем? Ох, тяжеловато... Особенно в этот час, когда москвичи возвращаются с работы. И слишком медленно. Нет, это примитивный, устарелый способ передвижения. Но иначе как же?

Я и сам не заметил, как очутился возле своей мотоциклетки, стоявшей по-прежнему в передней. Может быть, все же попытаться? Ведь не мешает же мне нога бегать, носиться по улицам. Нет, как ни прилаживайся, а левая ступня не достает до подножки, лишена упора. А что, если... Что, если приподнять подножку? Или надставить небольшой брусок? Черт возьми, почему я раньше не додумался? Это же так просто.

Руки уже орудуют гаечным ключом, отверткой, молотком. Вот опора поднята. Сядем-ка, примеримся... Прекрасно. Обе ноги твердо упираются в подножки. В баке плещется горючее. Надо лишь вывести машину на волю, во двор, запустить двигатель и... Э, была не была — вперед!

И ваш покорный слуга, изобретатель, празднующий открытие необыкновенной мельницы, уже вылетает из ворот на своей мотоциклетке. Оглянуться бы, увидеть в окне Машу, наверное, и обрадованную и встревоженную одновременно,— нет, страшновато оторвать взгляд от мостовой.

Постепенно я прибавляю ходу. Свистит ветер. Ух, хорошо!.. Помните Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды?»

Промчался через центр... Мимо Кремля, над которым уже почти четыре года развевается красный флаг. Вот Пречистенка, Садовая, Крымский мост, Калужская площадь. Началась окраина. Потянулся глухой длинный забор завода «Красный металлист». С одного взгляда заметно запустение: в фонарях крыш выбиты стекла, уцелевшие тусклы, загрязнены; кое-где под карнизами птицы свили гнезда. Среди многих труб завода лишь несколько дымятся; виден наконец действующий цех; блестят вымытые окна; блестят смоленые железные колонны корпуса.

Ого, и тут свежая вывеска! Над главными воротами красуется крупная надпись: «РСФСР. Государственный завод «Красный металлист». Рядом с вывеской — красное полотнище, на нем выведен призыв восстановить основу социализма — тяжелую промышленность.

А где же общежитие? Федя говорил: «Двухэтажный дом почти напротив заводских ворот». Наверное, этот... Стоп!

Вскоре я вторгся в комнату, где обитал Недоля. Скромная комната. На некоторых койках — одеяла серые, солдатские, на других — лоскутные, деревенские.

У стола сидели несколько молодых рабочих, слушавших газетную статью, которую кто-то читал вслух. Разглядев Федю, я помахал ему рукой. Чтение оборвалось. На меня вопросительно воззрились.

— Алексей Николаевич, здравствуйте,— сказал Недоля. И пояснил для всеобщего сведения: — Это товарищ Бережков... Который был моим командиром под Кронштадтом...

Этих слов было достаточно. Тотчас присутствующие заулыбались. Меня пригласили сесть, послушать статью Ленина. Но я повлек Федю в коридор.

— Федя, одевайся, едем!

— Куда?

— Ко мне, Федя! На оладьи!

— Какие оладьи, Алексей Николаевич?

— Мои! Из моей собственной муки.

— Ясно, не из чужой...

— Ты ничего не понимаешь! Я сам ее смолол. На своей мельнице.

— Как «на своей»?

— Да, Федя, на собственной. Я сегодня открыл мельницу.

— Алексей Николаевич, вы что-то не то говорите.

— То, именно то! Могу называть ее своей, если я изобрел ее?

— Конечно, можете.

— Она тебе, Феденька, адски понравится.

Чертя пальцем на стене, я поведал историю небывалых, поставленных вертикально, жерновов, сделанных из обыкновенного булыжника. Наконец Федя поверил. Поверил и восхитился.

— Здорово! Неужели так и мелет без отказа?

— Говорю же, едем на оладьи. Это моя первая мука. Кстати, Федя, я сегодня решился взобраться и на мотоциклетку. Она здесь, внизу...

— Мотоциклетка?!

— Пошли! Сядешь на багажник, и поедем. А дома потолкуем. Мельница, брат, это только так... Игра ума. База для дальнейшего! Эх, какая мастерская мне мерещится! Или, скажем, депо выдумок.

— Здорово! Только вам лучше всего поступить к нам на завод. Нам сейчас как раз не хватает таких... Таких, как вы.

— Нет, Федя, меня на службу не заманишь. Что ты так на меня глядишь? Ведь каждому свой путь. Я должен быть сам себе хозяином. Вольным изобретателем. Слышал такое: вольный художник? Тот, кому дороже всего свобода. Лучше, Федя, ты переходи ко мне работать. В депо выдумок. Построим потрясающий автомобиль, который мы с тобой придумали...

Федя потупился, отрицательно повел головой.

— Чего ты? Не согласен?.. Иди, одевайся. Потолкуем за оладьями.

— Мне не хочется оладий...

— Ну, что ты куксишься?

— Я не люблю оладий,— упрямо сказал он.

Он не стал объяснять, не решился поучать меня. Застенчивый, деликатный Федя стоял, переминался с ноги на ногу, но когда я сделал попытку вновь заглянуть в комнату, он решительно заслонил дверь. Ему теперь не хотелось, чтобы товарищи по общежитию видели его бывшего командира.

Так и пришлось мне вернуться в одиночестве домой.

16

На следующий день на мельницу пришли три или четыре женщины с мешками. Я с деловым видом принимал зерно, взвешивал, молол, выдавал муку. За помол я получал по четыре фунта муки с пуда. В этот день мне досталось около двадцати фунтов. Ночевать я опять пришел домой. Уплетая оладьи, я заверял Машу, что недалек день, когда вокруг нашего стола соберутся друзья и все будут удивляться, поздравлять меня с удачей.

Отправившись к особнячку утром — это было утро третьего дня моей мельницы,— я еще издали увидел нечто потрясающее. У мельницы выстроилась колоссальнейшая очередь. У самого дома люди сбились толпой. Там стоял крик, конная милиция оттесняла толпу и наводила порядок. (Тут над диваном вскинулась, словно сигнал, нога в коричневой штанине. «Конная?» — иронически переспросил Ганьшин. «Ну, пускай пешая», — уступил Бережков.) Подняв над головой ключ от мельницы, я протискивался через толпу, крича во все горло, что я мельник.

В особнячок со мной вошли представители милиции. Мне было предложено предъявить документы, свидетельствующие о моих правах на мельницу. Что я мог предъявить? Милиция приступила к составлению протокола. Мне вменялось в вину беспатентное занятие промышленностью и торговлей, а также нарушение общественной тишины и порядка.

— Гражданин Бережков, подпишите протокол.

— А что же будет дальше? — спросил я.

— Мельницу мы опечатаем. Печати снимем, когда внесете штраф и все оформите.

— Какой же штраф?

Была названа сумма, превышающая в данный момент все мои возможности. Вот если бы мне разрешили продол-

жать молоть, располагать выручкой... Нет, об этом милиция не хотела и слышать. Сперва, гражданин Бережков, внесите штраф, потом будем разговаривать. Тяжело вздохнув, я подписал протокол.

В эту минуту дверь особнячка распахнулась. Нежданно-негаданно предстал Подрайский. До сих пор не понимаю, как сумел этот гроссмейстер черной магии выбрать столь подходящую минуту для появления, как ухитрился протолкаться сквозь толпу, осаждающую дом, и обойти милицию, которая никого на мельницу не пропускала. Несколько помятый в давке, без двух-трех пуговиц на пальто, видимо только что оборванных, но все же представительный, розовый, улыбающийся, он напомнил мне прежнего Подрайского, владельца таинственной лаборатории. Пожалуй, и усики начнет отпускать.

— Что тут стряслось? — Бархатный Кот вкусно чмокнул губами.

А я кинулся к нему, как к своему спасителю, указал на злополучный протокол. Подрайский не проявил никакого удивления.

— Что же, надобно выкладывать штраф,— мирно сказал он и с видом бывалого человека справился о сумме. Затем без дальних слов вытащил бумажник, отсчитал пачку дензнаков и положил на стол. Я был так поражен, что едва смог пролепетать:

— Анатолий Викентьевич, этот долг я в самые ближайшие дни...

Подрайский не дал договорить:

— Пустяки... Сочтемся...

Далее он предъявил властям различные свои бумаги, удостоверяющие его личность — личность автора нескольких выдающихся изобретений, запатентованных законным образом, получившего в свое распоряжение завод около Москвы.

Солидным тоном он предложил взять с него, Подрайского, письменное поручительство в том, что в недельный срок мной все будет оформлено.

Не дав представителям милиции опомниться, Подрайский подтолкнул меня:

— Алексей Николаевич, покажите товарищам изобретение.

Я постарался не ударить лицом в грязь: продемонстрировал на ходу мою конструкцию, рассказал, как родилась

идея, как было произведено испытание, рассмешил, заинтересовал. Подрайский взялся тотчас же поехать в надлежащие инстанции и достать все разрешения. Я подписал разные заявления, обязательства, доверенности, набросал чертежик, который следовало запатентовать, и вручил все это Подрайскому.

В заключение мой благодетель еще раз блеснул. По его предложению, мы тут же, в присутствии милиции, нарезали массу талонов и пронумеровали их. На каждом талоне Подрайский поставил печать — свою личную печать конструктора-изобретателя. При этом Бархатный Кот даже предъявил удостоверение, разрешавшее ему пользоваться такой печатью.

Тем временем в особняке каким-то образом оказалась и Лелечка. Она тоже не погнушалась прийти мне на выручку. Смело взялась навести порядок в очереди, то есть раздать талоны с номерами. Предваряя дальнейшее повествование, должен сказать, что в это же утро талоны были розданы на несколько дней вперед.

В общем, милиция пока удовлетворилась тем, что мы предприняли, и покинула мельницу; Подрайский отправился оформлять предприятие; его жена, весело покрикивая, раздавала на крыльце талоны, а я под напором клиентов молол, молол, с головы до ног в муке, и даже закусывал на помосте, не задерживая помола. Выручка этого дня составила около десяти пудов муки; по тем временам это была невероятнейшая ценность.

17

Подрайского, как мне казалось, я видел насквозь.

Вот он завтра или послезавтра явится, принесет мне документы, мурлыкающий, розовый, плутоватый. Я скажу: «Анатолий Викентьевич, я бесконечно вам обязан. Говорите, чем вас отблагодарить? Он ответит: «Принимайте меня в дело».

Бархатный Кот, разумеется, все рассчитал. Он знает, что отказать я не смогу: ведь он, можно сказать, меня облагодетельствовал, спас мою мельницу. Любопытно, как велика часть, на которую он метит. Пожалуй, процентов двадцать пять, а то и тридцать...

Но я не собираюсь торговаться. Пожалуйста, Анатолий Викентьевич, пятьдесят на пятьдесят! Только уж, будьте

добры, берите дело в свои руки, сами управляйте мельницей. Мое дело выдумывать, творить! Я представляю себе, как заворочает делами мой компаньон. О, тут запоет, заиграет «Тона-Бенге»! Вырастет новый корпус, появятся новые механические приспособления... Элеватор будет подавать зерно на второй этаж. Мука потечет в мешки, они будут автоматически взвешиваться и автоматически завязываться.

Ваш покорный слуга все это с удовольствием сконструирует. Подрайский же пусть занимается коммерцией. И отдает мне пятьдесят процентов прибыли. Это будет, черт возьми, немало! Хорошая основа для моих будущих конструкторских исканий!

Только бы Бархатный Кот не охладел, не отступился!

Нет, он все время подавал вести о себе. На следующее утро у дверей мельницы меня встретила Лелечка, которая по-прежнему ретиво поддерживала порядок в очереди. Эта юная энергичная особа сообщила, что ее супруг весь вчерашний день посвятил мельнице, продолжает и сегодня свои хлопоты. Затем она деловито передала его совет: немедленно устраивать и пускать в ход второй постав. Возможно, Подрайский сегодня же пришлет два первоклассных, фабричного изготовления, жернова, которые ему случайно подвернулись. Он уже выехал за ними.

Вскоре действительно прибыла от Подрайского телега с небольшими жерновами, а также с досками, фанерой и разными другими материалами в сопровождении дюжего неразговорчивого дяди. Тотчас был сооружен верстак, дядя стал по моим указаниям ладить второй постав, а я продолжал молоть.

Меня деятельно опекала Лелечка. Мое кредо вольного изобретателя ей безумно нравилось. Она твердила, что надо заботиться о лице предприятия, «сохранять лицо», дабы нас, изобретателей, упаси бог, не спутали с какими-нибудь частниками, нэпманами. Оформить такое «лицо» было, как она объясняла, не легко. Но появлявшийся время от времени на мельнице услужливый Подрайский твердо обещал все провернуть.

Еще несколько дней я молол сам, затем у жерновов меня заменил специально приглашенный мастер-мукомол. Мельница по-прежнему приносила мне по десяти пудов муки в день. Муку некуда было девать, и я объявил денежную плату. Вот тогда-то я и влетел вечером к Маше,

где не показывался два или три дня, влетел с огромной кипой денег, крича: «Клад! Клад! Золотые россыпи!»

Моя идея, моя мельница, действительно оказалась золотой жилой. Я уплатил все долги: и за весы, и за дом, и за все прочее, добытое в кредит. Электромотор я вернул «Компасу», как и обещал, через неделю, ибо купил в другом месте за наличные деньги не один, а сразу два электромотора.

А Подрайский то забегал лишь на минутку, то вовсе целыми днями не показывался.

Однажды Лелечка сообщила:

— Анатолий Викентьевич приедет сюда завтра утром. Все дела по оформлению мельницы у него закончены. Он сам все вам доложит...

И вот настало это утро — двенадцатое утро моей мельницы. Подойдя к особняку, я чуть не свалился с ног. На столбе красовалась новая вывеска: «Мельница «Прогресс» изобретателя Подрайского.

Как? Неужели он меня ограбил? Захватил мельницу? Да, представьте, именно это и случилось. Бархатный Кот меня попросту сглотнул — проглотил в один прием. Оказалось, что все документы были выписаны на его имя: и патент на изобретение, и арендный договор, и прочее, и прочее.

Он сам предъявил мне все эти бумаги, вернее — копии, заверенные у нотариуса. Я хотел запустить ему в физиономию чем-нибудь тяжелым, но возле меня стоял с видом вышибалы неразговорчивый дядя, присланный на днях Подрайским...

Впрочем, с вашего разрешения, я воспроизведу всю эту красочную сцену...

18

Высокий, худощавый, удивительно легкий на подъем, Бережков не раз вскакивал посреди рассказа и, то безудержно хохоча, то принимая трагический вид, представлял в лицах свои приключения.

За раскрытым окном солнце уже осветило улицы. Москва проснулась, шли трамваи.

Вдруг зазвонил телефон. Смолкнув, мгновенно побледнев, Бережков схватил трубку. Некоторое время мы прислушивались к его восклицаниям:

— Что, что? В тумане? Как? А экипаж?

Очевидно, произошло что-то исключительно важное, но по тону Бережкова я не мог понять, счастливая это или тревожная весть. Наконец он выкрикнул:

— Да, да... Сейчас выезжаю!

И положил трубку. Первый раз за все наши встречи я увидел, что у него дрожали руки.

— Сели,— отрывисто проговорил он.

Мы ждали подробностей, но Бережков без слов торопливо надевал ботинки взамен домашних туфель. Отовсюду раздавались вопросы.

— Сели, приземлились,— повторил он.— Кажется, все благополучно. Экипаж цел. Мотор до последнего момента работал безотказно...

У кого-то вырвалось:

— А рекорд?

Он взволнованно кивнул. Мы поняли: рекорд побит. Бережкову явно хотелось уйти в эту минуту в себя: пережить все молча, без наших расспросов. И все же у него хватило выдержки, убегая, улыбнуться нам всем на прощанье и в дверях помахать рукой.

Вскоре со двора донесся стрекот мотоциклетного мотора. В следующую минуту выхлопы уже раздавались под окнами, выходившими на улицу.

Из окна я увидел Бережкова. Забыв дома кепку, пригнув корпус и непокрытую, коротко стриженную голову к рулю, он уже мчался на мотоциклетке. Его подбрасывало на булыжной мостовой, пустынной в этот час; ветер вздул его легкую голубую рубашку.

19

Некоторое время спустя после «ночи рассказов», в осенний солнечный день, мы с Бережковым ехали в автомашине по Москве. Эта поездка была предпринята по моей просьбе. Мне хотелось увидеть места, о которых я знал по рассказу,— домик Жуковского в Мыльниковом переулке, Московское Высшее техническое училище, где учился Бережков, секретную лабораторию Подрайского, мастерские комиссии по постройке аэросаней и мельницу Бережкова.

Однако от мельницы не осталось следов. Неподалеку от Самотеки, на углу, где когда-то Бережков приколачивал свою вывеску, теперь строился многоэтажный камен-

ный дом. Прежние дома были снесены. В перспективе улицы виднелись и другие возводимые большие здания. В ясном небе тут и там были вычерчены строительные мачты и стрелы подъемных кранов — своего рода герб пятилеток.

Бережков остановил машину, показал мне, где в свое время находилась его мельница. Мы молча оглядели уходящую ввысь неоштукатуренную кирпичную кладку с прямоугольными пустотами окон.

Я пошутил:

— Теперь я могу как угодно расписать в книге вашу мельницу. Придумаю какие-нибудь башни, подвесные пути, что-нибудь в вашем стиле.

Бережков уже с интересом относился к книге, что я писал по его рассказам.

— Нет, нет,— сказал он.— Я вам все это вычеркну. Будем придерживаться истины.

Я невольно воскликнул:

— Алексей Николаевич, ведь вы же сами, я уверен, немало фантазируете в своих рассказах.

Бережков обернулся. На нем было распахнутое осеннее пальто коричневого драпа, такая же кепка, красивый, отнюдь не кричащий галстук. Мое восклицание вызвало у Бережкова улыбку. Впрочем, склад его лица и особенно губ был таков, словно он всегда вам улыбался. Несмотря на то что Бережкову шел уже пятый десяток, жизнь ничуть не оттянула вниз уголки его крупных, удивительно свежих губ. Наоборот, уголки были слегка подняты, создавая рисунок прирожденной безмятежной улыбки.

— Не верите — не буду и рассказывать,— произнес он.

Пришлось его улещать. Наконец он уступил.

— Когда-то здесь, на Садовой,— сказал он,— и на других улицах нередко можно было повстречать огромные крытые фургоны с надписью «Мука Подрайского». Может быть, помните такие? При ближайшем рассмотрении вы могли прочесть на этих фургонах еще несколько слов, выведенных мелкими буквами. В целом это выглядело так: «Мука, изготовленная на мельнице системы изобретателя Подрайского». А? Не угодно ли? Цапнул, да еще и «сохранил лицо», как учила Лелечка.

— А вы с ним не боролись?

— Из-за мельницы? Нет... Он предложил мне мировую: десять процентов за идею. А я крикнул: «Подавитесь моей мельницей! Я выдумаю еще сто таких вещей!»

Повернулся и ушел. Но к Маше явился в отчаянии: «Трагедия! Катастрофа! У меня украли мельницу!»

— Чем же кончилась эта история?

— Конец был потрясающим... Однажды за завтраком — дело было уже не то в тысяча девятьсот двадцать втором, не то в тысяча девятьсот двадцать третьем году — я заглянул, как обычно, в свежую газету. Заглянул — и чуть не упал со стула. На самом видном месте крупным шрифтом было помещено объявление об открытии двух государственных паровых мельниц. С величайшим интересом я прочел, что любой гражданин с сегодняшнего дня может молоть свое зерно на этих паровых мельницах по цене один рубль за пуд. Я знал, что Подрайский, как и другие мукомолы-частники, брал по пяти рублей. В один миг он был разорен, то есть буквально раздавлен, как букашка. Объявление означало моментальный и полный крах всех мукомолов-частников. Забыв про собственные мытарства — о них у нас еще будет речь,— я, как вы понимаете, злорадствовал.

— А как Подрайский? Был раздавлен навсегда?

— Что вы?! Несколько лет спустя он опять вынырнул. Причем в самом невероятном месте!

— Где же?

— Узнаете. Не торопитесь. Не будем нарушать хронологическую последовательность.

Бережков хотел еще что-то добавить, но внезапно отвлекся. Его взгляд пробежал по улице, где мы проезжали, и лицо вдруг стало лукавым, небольшие зеленоватые глаза заблестели, засмеялись, как мне показалось. Он неожиданно спросил:

— А про банку вы написали в вашей книге?

Я удивился:

— Про какую банку?

— Как «про какую»? Про банку эмалевой краски.

— Первый раз слышу. Вы ничего не рассказывали об этом.

Бережков энергично скомандовал:

— Стоп!

Мы остановились посреди Садового кольца, на Смоленском рынке. Впрочем, все эти названия давно превратились в анахронизм. Среди зданий Москвы будто прорублено широчайшее круговое шоссе, убегающее меж каменных отвесов в городскую дымку, что всегда чуть затушевывает

Москву, ее отдаленные выступы, ее перспективу. В редких пунктах Москвы в тридцатых годах машинам был открыт такой простор, как на Садовом кольце. Никакого Смоленского рынка давно не существовало: трудно было представить, что здесь когда-то под открытым небом кипела толкучка. Теперь там все было очищено для потока автомашин, теперь все это было единой полосой асфальта, разделенной вдоль белой осевой линией, полосой, где могло двигаться в каждую сторону по шести-семи машин в ряд.

— Без банки у вас никакого романа не получится,— заявил Бережков таким тоном, словно он написал не менее чем двадцать романов.— Хорошо, что я вспомнил. Это случилось как раз тут. Я вышел сюда вон тем переулком.

И, живо показывая все координаты, он преподнес такую историю.

20

Однажды, вскоре после того, как Подрайский прикарманил мельницу, Бережков проходил мимо Смоленского рынка. Дальнейшие перспективы вольного изобретателя были крайне неопределенны.

Сам не зная зачем, он завернул на толкучку. Пошатался там, порой прицениваясь к разным вещицам. У него не было никаких мыслей о покупках, ибо он располагал всего лишь трехрублевкой. Правда, в те времена еще не была введена твердая валюта, ходили миллионы, или, как их называли, «лимоны», но в переводе на обыкновенные рубли вся денежная наличность Бережкова приблизительно равнялась трешнице. Неожиданно он увидел, что кто-то продает банку эмалевой бледно-коричневой краски.

— Впрочем, нет,— поправил себя Бережков.— Такой цвет называется тепло-коричневым. Это был не банальный тон кофе с молоком, а нечто иное. Знаете, на топленом молоке бывает слегка подрумяненная, коричневатая поджаристая пенка. Ну вот, цвет был приблизительно такой, очень теплый, живой. Как вам известно, лежа в петроградском госпитале, то есть приблизительно год назад, мы с Федей придумали автомобиль, совершенно необыкновенный, без карбюратора и без коробки скоростей. Этот автомобиль в мечтах представлялся мне окрашенным именно в такой чудесный теплый цвет.

Бережков повествовал, обернувшись ко мне, удобно навалившись грудью на спинку сиденья. Мимо непрерывно двигались автомашины — почти сплошь советских марок, грузовые и легковые «ЗИСы» и черные сверкающие «эмочки», как ласкательно мы тогда их называли. В нашу машину, в маленький домик на колесах, врывались шумы Москвы — свистящий шелест автопокрышек, всяческие сигнальные гудки, фырканье моторов, музыка из радиорупора, паровозные свистки с недалекого вокзала, но шум явно не мешал Бережкову, истому сыну этого мира. На осевой линии асфальта, среди мелькания и гула, в тонком металлическом кузове автомобиля он чувствовал себя так же свободно, как и дома.

История продолжалась так. Бережков спросил продавца:

— Сколько стоит эта банка?

Продавец назвал цену. У Бережкова была именно такая сумма — не больше и не меньше. Не задумываясь, он вынул деньги, уплатил и забрал банку.

С банкой он явился к сестре.

— Что ты принес? Что-нибудь к обеду?

— Нет. Это банка эмалевой краски. Прелестнейший цвет. Коричневая пенка на топленом молоке.

Это вызвало недоумение. В доме не было денег не только на какую-то удивительную пенку, но и на обыкновенное молоко. Однако Бережков торжественно заявил:

— Этой краской я выкрашу свою новую машину. Клянусь, Машенька, у нас скоро появится своя машина.

Мария Николаевна слушала с улыбкой недоверия. Несколько задетый, Бережков еще более торжественно добавил:

— Это будет самая красивая, самая чудесная машина в Москве. Около нее будут останавливаться, ее будут разглядывать. А пока... Пока пусть банка постоит на этажерке.

21

Далее, в наших последующих беседах, Бережков рассказал, что всякий раз, когда ему приходила на ум новая выдумка, он с воодушевлением расписывал ее дома, потом подводил сестру к этажерке, где стояла в неприкосновенности банка эмалевой краски, и лукаво спрашивал:

— Ну-с, что ты скажешь теперь об этой баночке? Не зародилось ли у тебя предчувствие, что моя пенка очень скоро пойдет в ход?

И особым образом, словно под музыку, он водил в воздухе рукой. Было похоже, что он держит кисть и с нежностью красит.

Одной из таких выдумок был выключатель. Да, да, маленький комнатный электровыключатель. Возможно, где-нибудь в архивах за 1923 год еще и сейчас хранится патентная заявка на изобретение под названием «выключатель Бережкова».

Сам он изложил мне это так:

— Началось вот с чего. Возвращаюсь как-то вечером домой. Нашариваю рукой выключатель. Что за дьявол? Света нет. Выключатель не работает. В последние дни я чинил его два раза, и вот снова в нем что-то неладно.

Не угодно ли, вы приходите к себе, может быть, после какого-то решительного разговора, в мыслях печально повторяя, что женщины не любят неудачников, приходите с разбитыми мечтаниями, которые столько раз витали в вашей комнате, и... Впрочем, не важно, чем я был расстроен в этот вечер (в нашей книге мы с вами не касаемся моих сердечных тайн), но я больше не захотел чинить эту испорченную, надоевшую вещицу. Попросту сорвал ее и выбросил. И завалился спать.

Утром я проснулся совсем в другом настроении. Когда-то, в студенческие годы, Ганьшин, бывало, будил меня фразой: «Вставайте, вас ждут великие дела!» Ганьшин клялся, что граф Сен-Симон, знаменитый утопист, приказал слуге поднимать его каждое утро таким возгласом. Сейчас, проснувшись, я моментально произнес эту фразу и решил: «Пойду поброжу поищу по Москве счастья, кстати, куплю выключатель».

В Москве к тому времени открылось множество отличных государственных магазинов. В витринах были выставлены мужские и дамские костюмы, пальто, обувь разных фасонов, шелковые абажуры, галстуки, перчатки, меха, всевозможные ткани: текстильная промышленность уже оживала после разрухи. Выключателей, однако, нигде не оказалось.

Не спеша — спешить мне было некуда — я добрался до известного всем москвичам магазина электротехнических товаров на Мясницкой, ныне улице Кирова.

Представьте, выключателей не оказалось и там. Я попросил позвать заведующего. Вышел маленький приятный старик.

— Скажите, пожалуйста, почему во всей Москве нет выключателей?

— Временно наши фабрики не делают. Не хватает металла.

— Какого металла?

— Для корпусов. Делали корпуса из меди, из жести. Теперь этих материалов нет.

— А скоро ли будут?

— Ничего не известно. Лично я предполагаю, что не скоро.

— Гм... А что, если,— сказал я,— делать выключатели из чего-либо иного?

Мой собеседник улыбнулся.

— Надо изобрести.

— Изобрести? — переспросил я.

И в тот же момент — как хотите, верьте или нет — я уже придумал, уже изобрел, как и из чего делать выключатели.

В том же доме на втором этаже помещалось и правление «Электротреста». Я немедленно поднялся туда. Отыскал там заведующего производственным отделом. Заявил, что обошел всю Москву и не мог купить выключатель. Узнал то же самое, что и в магазине: для выключателей в данный момент на фабриках нет металла.

— Но, может быть,— спросил я,— вы подготовляете выпуск выключателей иной конструкции? Из иных материалов?

— Нет, это у нас пока не запланировано. Надеемся, будет металл. Ожидаем.

Откланявшись, я удалился, не раскрывая своих замыслов.

22

На улицу вышел возбужденным. Моя идея была очень проста: я придумал выключатель из стекла. Замечу здесь кратко, что идея у меня всегда возникает как образ и чертеж вещи. Уже в ту минуту, когда меня озарило в магазине, я мысленно увидел совершенно готовую вещь — ее

изящную форму, присущую данному виду материала, ее цвет, почему-то синий, все ее внутренние выемки, расположение винтов, удобную, красивую кнопку. Но самое главное — я тут же представил себе пресс собственной, совершенно оригинальной конструкции для штамповки моих выключателей.

Будто под легкую музыку я шагал и шагал, уже влюбленный в свое новое изобретение — «выключатель Бережкова». Конечно, это звучит юмористически: «Выключатель Бережкова», но фантазия по каким-то своим законам вдохновенно творила, как в любом случае, когда я что-нибудь выдумывал,— будь то мотор, или мельница, или всего лишь выключатель.

И одновременно неслись мысли о моей судьбе. Да, мне надо изобретать и изобретать.

Эх, когда же я заведу собственную конструкторскую фирму, свое чертежное бюро, свою контору? Над входом повешу небольшую вывеску: «Бережков. Контора изобретений». Из дерзости, из мальчишеского озорства подмывало прибавить на вывеске еще одну строку: «Изобретаю решительно все». Вот был бы фурор! Но всего лучше было бы так: на изящном щитке под стеклом выведено лишь одно слово «Бережков». И всякий прохожий знал бы, что здесь, за этой надписью, за дверью, находится знаменитая контора гениальных изобретений.

Однако и сейчас прохожие с любопытством оглядывают меня. Странно, почему они так смотрят? Я, кажется, пока что не прославился. Э, ведь я, как полоумный, жестикулирую и разговариваю с собой. Это, черт побери, обязательно бывает, когда я увлечен.

Да, я увлекся. О конторе изобретений думать пока рано. Нужны какая-то база, репутация, фонд капитальных затрат. Короче говоря, нужна удача!

Вдруг одна мысль заставила меня остановиться среди тротуара. По Москве бродит множество изобретателей. Неужели никто раньше меня не увидел, не протянул руку, не поднял эту драгоценную находку? А что, если в Комитете по делам изобретений уже заявлен и запатентован новый выключатель? И, может быть, не один?

Скорее туда! Скорее ставить заявочный столб, если он не поставлен. Я вскочил на ходу в трамвай, как вскакивали герои Джека Лондона в несущиеся нарты, запряженные

собаками, спеша вбивать колья в вольную землю, еще никем не занятую, где найдена золотая жила.

Было бы слишком долго излагать все перипетии моего изобретения. Скажу вам кратко. С заявкой меня никто не опередил. Соорудив свой штамп в мастерских Высшего технического училища, я провел затем несколько месяцев на одном стекольном заводе под Москвой, где меня приютили и приласкали, поили и кормили, лишь бы я довел во славу стекольного дела свою вещь. После многих опытов мы получили прелестнейшие корпуса чудесной окраски: под рубин, под топаз, под аметист. Но нас побила пластмасса, или, по тогдашнему выражению, «карболит». Государственная комиссия, которая решала вопрос о производстве выключателей, отдала предпочтение фабрике пластических масс, представившей свои образцы.

Как видите, не повезло... Мои стеклянные выключатели так и не появились в магазинах. Оставалась нетронутой на этажерке и моя баночка эмалевой краски.

23

— Было много еще всяких выдумок,— продолжал Бережков.— Одно набегало на другое. Всего не перескажешь. Но историю с ремонтом газогенераторов нельзя в нашей книге миновать. Завязка этой истории такова: мне предложили взяться за восстановление двигателей на фабрике «Шерсть-сукно». В годы разрухи фабрика стояла в бездействии, или была, как тогда говорили, «заморожена». Это выражение в данном случае следовало понимать буквально.

Дело было зимой. Для восстановления фабрики требовалось прежде всего оживить энергетику, то есть пустить два газогенератора, находившиеся в подвале. Помню, как я вместе с главным инженером, только что назначенным, подходил к этому подвалу. Сюда уже везли уголь и дрова. Рабочие, видимо ветераны фабрики, которых ничто — ни голодные годы, ни разруха — не оторвало от нее, выводили длинную поленницу. Некоторые присоединились к нам.

На огромных кованых, заржавленных петлях висела тяжелая дверь. Порог замело снегом. Под усилиями нескольких рук дверь подалась и, сгребая слой снега, раскры-

лась. Вместо ступеней, ведущих вниз, я увидел лед, монолит льда. Оказалось, что глубокий подвал был затоплен водой, словно шахта, и вода промерзла во всю толщу. Этот лед мне запомнился как символ оцепеневшей, замерзшей, замороженной промышленности. В те времена она у нас повсюду уже пробуждалась.

В этом ледяном массиве были погребены газогенераторы. Кто-то из стариков рабочих обратился ко мне:

— Неужто пустим эти моторы?

— Конечно, пустим! — уверенно воскликнул я, хотя еще ничего не видел, кроме льда. И мысленно проговорил, как говаривал в молодости: «Если я не пущу,— значит, никто больше не сумеет».

Предстояло сколоть лед, добраться до машин и произвести ремонт, пока неизвестно какой.

Я взял подряд на все эти работы, быстро подобрал артель в пять человек и сам во главе их принялся орудовать ломом. Много дней мы кололи лед. Наконец глазу открылся первый газогенератор. В нем все проржавело, стальная рубашка оказалась лопнувшей, кирпичная обмуровка раскрошилась, медные части были разворованы. Мы задали ему капитальнейшую чистку и капитальнейший ремонт, разобрали по частям, выскребли металлическими щетками, промыли керосином, склепали лопнувшие кожуха, обложили огнеупорным кирпичом. Недостающие детали, которые я начертил, были изготовлены по нашему заказу на стороне, в мастерской. Мы вмонтировали их, и настал наконец час, когда наш генератор, откопанный во льду, произвел под крики «ура» первый выхлоп. Стронулся многопудовый маховик, и застучала, задрожала, пошла тяжелая машина — мощный генератор. Это был праздник для всей фабрики. Предприятие получило двигательную силу для станков. Во всех корпусах шли каменные, кровельные, плотничьи работы, ремонтировались, чистились машины. Все оживало на глазах. Ткачи — ветераны фабрики — брались за любую черную работу, чтобы приблизить день пуска. Работа по воскрешению газогенераторов была невероятно грязной, невероятно утомительной, но, захваченные общим порывом, мы — я и моя артель — провели ее с увлечением. Удача на любимом поприще, у двигателей, первый шум оживших механизмов, радость фабричного народа — все это привело меня в чудеснейшее настроение.

Впрочем, одно обстоятельство меня все-таки злило. В конторе «Шерсть-сукно» нелегко было выцарапать деньги. Правда, во время производства работ, когда я начинал яриться, бухгалтерия кое-что выплачивала, но почти все эти деньги я тут же отдавал своей артели, чтобы дело шло веселее.

В будущем мне пришлось припомнить один разговор, происшедший в конторе в жаркий летний день. Я пришел, как обычно, требовать денег, и мне в бухгалтерии дали понять, что со мной могут быстро расплатиться ремонтно-строительными материалами, на которые рынок предъявлял острый спрос.

Рынок? Ну нет, никаких рынков. Я не торгаш, не спекулянт. Я вольный стрелок техники. Изобретатель. Дока на все руки.

И вот дирекция предложила мне еще один грандиознейший подряд — полную электрификацию всех корпусов фабрики. Это было по мне: у меня страсть к электротехнике.

Взяв этот подряд, я, прежде чем приступить к монтажу, поработал головой, пофантазировал, а затем продемонстрировал своего рода чудо — моя артель закончила работу в ошеломляюще короткий срок. Приемочная комиссия, несмотря на сугубую придирчивость, признала исполнение отличным. Замечания комиссии были незначительны. Артель принялась по списку замечаний производить кое-где идеальную зачистку, наводить сияние и лоск. Затем наступили дни безделья, дни ожидания денег.

Согласно договору, ваш покорный слуга должен был чертовски разбогатеть. Мне причитались очень большие деньги, ведь я еще недополучил и за ремонт газогенератора,— в общем, за все про все почти двадцать пять тысяч рублей. Это уже были червонцы, наш рубль равнялся рублю золотом. В свою очередь, я должен был рассчитаться с артелью и внести налоги. Прикидывая в уме, я сбрасывал на все эти предстоящие уплаты примерно половину денег, другая половина доставалась мне. В управлении фабрики для меня уже был заготовлен чек на всю сумму. Я собственными глазами видел его в бухгалтерии. Оставались лишь какие-то последние бухгалтерские формальности. Надо было потерпеть еще несколько дней. Все чаще я поглядывал на этажерку, на баночку эмалевой краски.

Итак, в ближайшие дни я получу несметное богатство. А пока я слонялся по Москве, мечтал.

Выбрав вечерок, я отправился на выставку, в оформлении которой, кстати сказать, принимала ближайшее участие моя любезная сестрица. Это была «Первая сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка», открывшаяся как раз в это время в бывшем Нескучном саду. Не скрою, я весьма слабо разбирался в проблемах механизации сельского хозяйства, хотя и побыл некоторый срок мукомолом. Удивительные зерноочистительные машины, которые, как я знал по рассказам Маши, были выставлены на обозрение, и даже грандиозный мельничный постав «Красного путиловца» не особенно меня влекли. Бог с ними, с поставами! Хотелось посмотреть некоторые другие экспонаты — о них я тоже уже был слегка наслышан.

Рабочий день, очевидно, кончился. На виадуке, перекинутом через Крымский вал, было тесно. В ворота выставки люди шли толпой. Мелькали кумачовые косынки девушек, бесчисленные кепки и фуражки. Я столь обтрепался за последний год, что и в этой скромно обряженной толпе выглядел отнюдь не щеголем. Впрочем, в воображении я уже видел себя одетым в новый костюм, в красивое демисезонное пальто с иголочки.

Я сразу направился к павильону «Металл и электричество». Я знал, что это — самое большое, единственное тут железобетонное здание. Шестигранник в плане, с шестью изящными портиками, павильон был очень хорош. А главное, перед одним из портиков, возле тонких квадратных колонн, виднелся прелестный силуэт аэросаней нового выпуска, из кольчугалюмина. Того самого кольчугалюмина, о котором когда-то мне говорил Ладошников. Теперь, вероятно, он и вспоминать обо мне не желает в своем Петрограде. Но ничего, близок день, когда он услышит обо мне!

Аэросани были огорожены несколькими металлическими столбиками, соединенными канатом. Я все же дотянулся рукой до пропеллера, потрогал обшивку. Вспомнилась поездка в Серпухов, вспомнился Кронштадт... Со времен Кронштадта прошло два с половиной года, а что я создал с тех пор? Эх, Бережков! Но ничего, теперь недолго ждать...

По ту сторону саней разговаривали двое. Какая-то настойчивая девица донимала экскурсовода вопросами; тот еле успевал отвечать.

— Без тормозов? — воскликнул девичий голос.— Не может быть, чтобы без тормозов! Ведь это же аэросани.

Где-то я уже слышал этот голосок... Да, да. Он и тогда звучал немыслимо строго. Точно таким же тоном строгая девочка допытывалась у Николая Егоровича: «Разве бывают аэросани?»

Я приблизился. Интересно, узнает ли меня эта особа, вспомнит ли она того, кто в далекий весенний вечер примчал ее на мотоциклетке к воротам детского дома?

Представьте, узнала: «Вы же ученик Жуковского!» К радости экскурсовода, получившего отставку, я был мигом засыпан вопросами.

— Что это за кольчугалюмин?

Мысленно отблагодарив Ладошникова, что в свое время просветил меня, я описал этот металл так, словно сам его изобрел.

В процессе беседы я не без удовольствия разглядывал свою слушательницу и тут же пришел к выводу, что самым восхитительным в женской внешности является сочетание блестящих карих глаз и светлых волос. Косы в те времена считались чем-то старорежимным, и волосы этой прелестной особы, золотистые, кое-где выгоревшие, были подстрижены в кружок. Тоненькую фигурку облегал легкий костюм в мелкую клетку. Такие костюмы, как вскоре пояснила мне Валентина (строгую девочку звали Валей), были сшиты всем выпускникам детского дома.

— Вы уже выпущены в жизнь? — спросил я.

— Да. И, кажется, буду работать в авиации.

— Отлично!

— Не знаю... Трудно выбирать. Чересчур много интересного вокруг.

— Интересно в жизни только одно,— безапелляционно заявил я,— интересно изобретать. Вот где необъятный простор!

Я указал на павильон «Металл и электричество», затем со свойственной мне скромностью произнес:

— Приглашаю вас на выставку следующего года, в зал с экспонатами Бережкова. Это будут потрясающие вещи!

— Еще бы! — отозвалась Валя.— Вы же ученик Жуковского.

Карие глаза глядели совсем не строго. Давно никто не верил Бережкову. А она верила!

Говорят, гениальные замыслы являются сразу, вмиг. Меня осенило: вот на ком я должен жениться! Я буду не я, если не женюсь... Разумеется, я не спешил высказать вслух эти мысли. Я шагал рядом со своей будущей женой и слушал, как она, снова сетуя, что в жизни слишком много интересного, рассказывает о себе. Ликбез, кружок юннатов, МОПР, борьба с пережитками скаутизма... Представьте, разговор, не имеющий отношения к проблемам техники, увлек меня так, что я чуть не растянулся, налетев на автомобильный двигатель, выставленный для обозрения. Безумно хотелось взять свою спутницу под руку, но мне уже приходилось убеждаться, что у нынешней молодежи это не принято. Мы идем дальше и дальше. Рядом со мной вышагивают худенькие, загорелые ноги в носочках и матерчатых, видимо, самодельных туфельках.

Вскоре я убедился в том, как изменчива моя Валентина. Мы зашли в павильон лесоводства. Павильон, не скрою, роскошный. Надписи у входа: «Сила страны», «Лес — наша мощь и богатство». Валя тянет меня от стенда к стенду. Оживилась, рассказывает, как провела лето в деревне. Там, в сельскохозяйственной коммуне «Смычка», трудились многие детдомовцы.

— Вот как...— говорю я.— Отсюда и ваш прелестный загар, и выцветшие прядки...

В ответ строгий взгляд и неожиданное заявление:

— Пожалуй, стану лесником.

— Кем?

— Лесником. Лесничим.

Нет... Надо скорее увести ее из этого павильона. Не могу же я в течение всей своей жизни заниматься изобретениями в дремучем лесу!

Перед выходом я намеренно задержался.

Подвел свою даму к искусно оформленной стене. Над стендами знакомая рука изобразила гроздья рябины, ветки клена и бересклета. Эти осенние листья напоминают прощальный букет Ладошникова.

Валя смотрит с восхищением.

— Если б я хорошо рисовала!.. Стала бы художницей...

И я объявляю:

— Это творение моей сестры!

Получилось эффектно. Но лучше поспешить отсюда. Кто знает, не вынырнет ли откуда-нибудь моя Машенька, не скажет ли: «Наконец-то выбрался, посетил жалкое место моей службы».

Уважение Валентины все увеличивалось. Она выяснила, что я был ранен под Кронштадтом (спросила, что с моей ногой), узнала, что руки мои огрубели на восстановлении фабрики «Шерсть-сукно». Если так пойдет, сегодня же сделаю ей предложение!

Смеркалось. Я решил создать соответствующее настроение и зашагал обратно, к павильону «Металл и электричество». Казалось, небо светится над ним! Дело в том, что внутри шестигранника находился двор, в центре которого бил фонтан, приводившийся в действие большим центробежным насосом. Сейчас фонтан сверкал тысячей разноцветных огней. Так же блестели глаза моей будущей жены.

Я взял ее под руку и ждал, не скажет ли она что-нибудь насчет буржуазных замашек. Но она не сказала. Я не стал предлагать ей обменяться кольцами, но подошел с ней к одному из киосков и предложил взять оттуда что-нибудь на память о нынешней встрече.

В киоске, между прочим, продавались некоторые велосипедные части и, главное, прелестные гаечки. Блестящие, никелированные. Шестигранная гайка в точности повторяла форму павильона «Металл и электричество». Я купил две и одну опустил в карман клетчатого костюма Вали.

— Храните ее всю жизнь,— шепнул я.

На оставшуюся мелочь я купил своей нареченной пирожок. Я стоял и блаженно думал о том, что в ближайшее время смогу ее угостить дюжиной пирожков.

— Валечка, скорей принимайтесь учиться, будем вместе работать. Удивим весь мир своими выдумками...

Валя стояла с набитым ртом. Я говорил:

— Перед нами необыкновенные перспективы... Всего несколько дней, и я стану богачом...

Валечка чуть не подавилась.

— Почему богачом?

Тут бы мне и обуздать свое красноречие, но не всем дано свойство останавливаться на полном разбеге.

В ход пошла и грядущая фирма «Вольный конструктор», и «Контора выдумок». Были развиты и некоторые мысли о службе, стесняющей свободу творчества.

— Где же вы заработали такие большие деньги? — прошептала Валя.

— На фабрике.

— Почему?

— Сумел.

И рассказал про подряд. Даже похвастал, что только Бережков может так чертовски ловко подзаработать.

Загорелое лицо стало белым, поразительно бледным. Мне в руку был вложен остаток пирожка. Я увидел затылок, прямую спину, строгий силуэт своей будущей жены. Она уходила от меня, уходила, казалось, навсегда!

На повороте девушка остановилась, взмахнула рукой. В свете фонаря что-то блеснуло и покатилось. Она выкинула мой подарок и исчезла. Я хотел ее нагнать, кинулся туда-сюда, но не разыскал: не нашел и выброшенного подарка.

Утешением служило лишь то, что хоть вторая гайка лежала у меня в кармане.

25

Наступило наконец утро получки. Изумительно приятное утро. Машенька дожидалась его почти с таким же нетерпением, как и я,— надо было уплатить один неотложный долг, который она сделала, конечно, ради братца. Помню, выдался первый заморозок, кое-где лег иней.

Как вам известно, я еще не являлся владельцем полноценного пальто (все было впереди!), пришлось надеть единственную изношенную, навек измаранную ржавчиной и маслом куртку. Кепка была тоже не из новеньких. Маша критически оглядела меня, покачала головой и взяла под руку. Мы отправились.

Я шел, легкомысленно насвистывая. Напевала и Маша. Однако, встретившись у ворот фабрики с мастеровыми из моей ватаги, я узнал сногсшибательную новость: этой ночью несколько человек из управления фабрики, в том числе главный бухгалтер, были арестованы. Встревоженный за судьбу моего чека, я прибавил шагу. Пришлось прикрикнуть на Машу, которая начала бормотать, что она всегда была против этих дурацких подрядов. Я заверил ее, что совершенно спокоен. Какое мне дело до каких-то арестов? Свои деньги я заработал честно, законно. У меня

на руках договоры и акты сдачи-приемки, за мной все права, мой чек не пропадет.

Войдя в бухгалтерский зал, я быстро посмотрел по сторонам. Да, бухгалтерия работала, сотрудники были на местах. Приблизившись к деревянному барьерчику, за которым были расположены столы, я спросил:

— Скажите, пожалуйста, к кому мне обратиться? Главный бухгалтер назначил мне сегодня прийти за моим чеком.

Сотрудник, перед которым я стоял, хотел что-то ответить. Однако откуда-то со стороны отчетливо прозвучал вопрос:

— Кто вы такой?

Я обернулся. На меня смотрел незнакомый мне человек. По каким-то признакам я всегда мгновенно отличаю людей, кому свойственна быстрота мысли, быстрота ориентировки. Этот был таким. Невысокий, смуглый, в обыкновенном пиджаке, в обыкновенной рубашке, он стоял невдалеке, ожидая ответа. Кто же он? Новый директор?

— А вы кто? — выговорил я.

Подойдя, он сухо сказал:

— Следователь отдела по борьбе с экономической контрреволюцией.

Наступила неприятная, настороженная тишина. Я искоса заметил, что все перестали работать и с любопытством взирали на меня. Я неловко буркнул:

— Бережков.

— Подрядчик Алексей Николаевич Бережков?

— Да...

— Хорошо. — Он помедлил, холодно глядя на меня.— Очень хорошо, что вы явились сами. Ваше дело у меня.

Маша молча смотрела на него. Я тоже оцепенел. Как это надо понимать: «явились сами»? Что это значит: «ваше дело»? У следователей такое слово имеет определенный смысл. Нет, нет, какое за мной дело? Не найдясь, я глупо молчал.

Но дальнейшее оказалось еще ужаснее, еще невероятнее. Он продолжал:

— Вам придется некоторое время подождать. Сейчас я допрашиваю других. Вас буду допрашивать позже. А пока я вас задержу.

На один момент я поймал новое выражение в его взгляде — взгляд стал очень внимательным, острым. Не-

смотря на свое смятение, я сообразил, что сейчас по первому впечатлению, которое не зря называют самым сильным, он составляет мнение обо мне. Быть может, это был решающий миг. Но что я мог предпринять? Я уставился прямо на него. Вот, смотри в мои глаза, смотри на мою симпатичную, открытую физиономию; перед тобой человек, который ни в чем не виноват, который честно заработал свои деньги. Однако он вынес как будто другое впечатление.

Открыв дверь в коридор, он кого-то кликнул. Вошел военный с пистолетом на поясном ремне. Следователь сказал:

— Задержите гражданина Бережкова.

Маша воскликнула:

— Это ошибка! Он ни в чем не виноват.

Следователь оглядел сестру.

— Не волнуйтесь, гражданка. Обвинение пока не предъявлено.— Помолчав, он распорядился: — Проводите гражданина Бережкова.

— Куда его, товарищ начальник?

— Ко мне. К тем, кто проходит у меня.

Военный козырнул.

— Идемте, гражданин.

Маша стояла, ухватившись за барьерчик. В бухгалтерии зашушукались. Донеслось: «Взяли». Да, меня повели.

26

Местом моего временного заключения оказалась приемная заместителя директора. Там уже находились несколько подрядчиков этой же фабрики — очевидно, тоже в ожидании допроса. Раньше я с ними почти не общался. В большинстве это были люди грубоватого склада, каким-то образом сколотившие деньгу, для меня малоинтересные. Но теперь я кинулся к ним.

— Что случилось? За что арестовали главного бухгалтера? Почему нас привели сюда?

На меня посматривали сумрачно, буркали что-то неопределенное. Но я взволнованно продолжал, обращаясь ко всем:

— Мне сейчас следователь сказал, что он из отдела по борьбе с экономической контрреволюцией. Что такое?

Какая тут была контрреволюция? И при чем мы? В чем нас могут обвинить?

У кого-то в ответ вырвалось:

— Пошел ты...

И последовала ругань по моему адресу. Другой раздраженно спросил:

— Ты дурак или притворяешься?

— Нет, я не дурак.

— А чего же пристаешь? Подсадили тебя сюда, что ли?

— То есть как «подсадили»? Я не понимаю...

— Ну и не понимай, черт с тобой. Отвяжись, не прилипай к людям!

За меня никто не вступился. Я оглядел мрачные лица и молча сел в угол. Конечно, чего я пристаю? Тут каждый встревожен; тут каждый, наверное, что-либо обделывал на своем веку в глубочайшей тайне; это вообще таинственное дело — наживать деньги. Вспомнилось, как мне намекнули, что со мной могут расплатиться материалами, которых не хватает на рынке. Эге, вот, видимо, где преступление. Хорошо, что я не стал даже слушать такие предложения, послал к черту все эти комбинации.

Через комнату, ни на кого не взглянув, быстро прошел с бумагами наш следователь. За ним — двое военных. Минуту спустя к следователю вызвали одного из подрядчиков. Поднялся рослый, тяжеловесный мужчина с большими руками, с большими ногами в сапогах. Он побледнел. Двух- или трехдневная щетина на лице сразу обозначилась резче. На ходу он хрипло откашлялся. За ним затворилась дверь.

Все напряженно ждали.

В полном молчании истек час. Потом, приблизительно еще через полчаса, дюжий подрядчик наконец вышел. Он появился не один: сзади, на расстоянии двух шагов, шел военный.

Кто-то быстро спросил:

— Ну, что там? Ну, как?

Об этом же взглядами спрашивали все. Тут произошел краткий эпизод, который доныне стоит в памяти. Подрядчик вдруг побагровел, остановился среди комнаты и исступленно выкрикнул, потрясая большими кулаками:

— Нет жизни! Не дают жить!

Конвойный резко скомандовал:

— Прекратить! Шагом арш! Не вступать в разговоры!

У подрядчика бессильно упали кулаки. Махнув рукой, он проговорил:

— Забрали! Не дают жить!

И тяжело зашагал.

На допрос был вызван следующий подрядчик. Он провел тоже больше часа за дверью кабинета и тоже вышел оттуда под конвоем. Следователь и его отправил в тюрьму, под суд. Проходили часы, нас становилось все меньше.

Вызывали к следователю одного за другим, и каждый, кто от него выходил, выходил только под стражей. Из столовой принесли обед, но я не притронулся к еде. Я повторял себе, что, слава богу, абсолютно безупречен, совершенно чист, но, вопреки доводам рассудка, мрачные предчувствия завладели душой. Наступил вечер, зажгли электричество, а следователь все продолжал допросы. Наконец я остался один. Протекло еще несколько томительных минут. Потом отворилась дверь, позвали меня.

27

Следователь сидел за массивным письменным столом заместителя директора. Я опять увидел его взгляд — все такой же холодный, как и тогда, в бухгалтерии. Лицо не было затенено, как, судя по многим описаниям, полагалось бы следователю. После целого дня допросов он был, несомненно, утомлен. В ярком свете электричества теперь были заметнее желтоватые тона на его смуглом лице. Слегка откинувшись в кресле, он безучастно, без видимого интереса, смотрел, как я подхожу к столу, но я в какой-то момент, еще шагая по ковру кабинета, будто прочел в его взгляде что-то для меня очень страшное — взгляд был, как я ощутил, не только холодным, а безжалостным. Невероятно обостренным чутьем я угадал, что вопрос обо мне он в душе уже решил.

— Садитесь,— сказал он.

Я сел. Стопка зеленых папок, сложенная очень аккуратно, была придвинута к краю стола. Это были, вероятно, дела тех, кого следователь сегодня отправил в тюрьму. Одна такая же папка находилась перед ним. Он еще минуту помедлил. Потом, чуть вздохнув, расстался с удобной позой и, подавшись корпусом к столу, откинул обложку.

Я покосился и поверх разных бумаг увидел свой чек. Следователь достал из портфеля, который лежал тут же на столе, чистый бланк с крупным заголовком «Протокол допроса», вложил в папку и лаконично объявил предупреждение: ложные показания караются законом. Я ожидал, по рассказам, что он сперва предложит мне папиросу, или угостит чаем, или вступит в некий предварительный, якобы приватный разговор, как это бывает, чтобы несколько рассеять настороженность, собранность преступника, а затем вернее его поймать, но в данном случае человек, что сидел напротив меня, без дальних слов, без околичностей, без угощений начал допрос:

— Фамилия?

— Бережков.

Он записал. Быстро следовали один за другими формальные первые вопросы:

— Имя, отчество? Место рождения? Возраст?

Я отвечал, он записывал.

— Профессия?

Нередко я с удалью отвечал на такой вопрос: «Моя профессия — фантазер». Нет, здесь так не ответишь.

Замявшись, я сказал:

— Видите ли, я немного не окончил Высшее техническое училище, и по специальности я, собственно говоря...

Следователь не дал досказать.

— Не окончили?

— Нет. Не сдал нескольких зачетов.

— Но тем не менее выдавали себя за инженера?

Я невольно воскликнул:

— Как «выдавал»? Когда?

Из лакированного высокого стаканчика для карандашей следователь достал один карандаш и положил на стол. Смысл этого движения не дошел до меня, однако я понял в тот миг, что он ведет допрос по обдуманному, совершенно ясному для него плану.

— Значит, инженером себя не называли? — спокойно спросил он.

— Возможно, когда-нибудь и называл, но не всерьез. В серьезных делах этого не было.

— А мельницу вы открыли не всерьез?

— Мельницу?

В ту же минуту я вспомнил: да, действительно, когда-то на вывеске мельницы я с сестрой легкомысленно

вывел: «Инженер Бережков». Неужели следователь знает про это?

— Видите ли,— торопливо заговорил я,— такой случай был. Однажды я назвал себя на вывеске инженером Бережковым. Но это я совершил не злостно, а... Ну, как вам объяснить? Мельницу я открыл по вдохновению... Меня словно несли необъяснимые силы...

Он чуть прищурился.

— Необъяснимые силы?

— Да, да... Можете не верить, но я этим увлекался, как игрой. И вот ради того, чтобы все было еще веселей, еще забавней...

Он опять прервал:

— За сколько же вы продали вашу мельницу?

— Я ее не продавал. У меня ее украли.

— Украли? И вам ничего не уплатили?

— Ничего! Один проходимец, некто Подрайский, все оформил на себя...

— Вы жаловались?

— Нет. Решил не связываться.

— Так,— произнес следователь.

И, вынув из стаканчика второй карандаш, опять положил на стол. Я смотрел, недоумевая. Для чего ему эти карандаши? Зачем он их кладет перед собой?

23

Он еще подождал, словно давая мне время что-либо добавить. Затем отчеканил:

— Значит, подарили свою мельницу. Так надобно вас понимать?

Впервые беспощадность, которую я уловил в глазах, прорвалась в голосе. Меня охватило отчаяние. Ведь за несколько минут я дважды в его глазах предстал лжецом. Как же мне быть? Как, какими словами разубедить его, переломить страшное решение, которое я вновь прочитал в его взгляде? И, с жутью понимая, что таких слов уже нет, что любые слова тут бессильны, я заговорил:

— Нет, нет, вы неправильно обо мне думаете. Я ничего не хочу скрывать. Даю вам слово: я мельницу не продавал.

Следователь лишь пожал плечами. Я видел: он не верит ни одному моему слову.

— Обозначим все же вашу профессию.

Обмакнув перо, он опять стал писать, произнося вслух:

— Частный придприниматель, торговец...

Я вскричал:

— Нет, я не торговец!

— Пожалуйста, запишем иначе: частный предприниматель, подрядчик.

Я подавленно молчал. Отложив ручку, он сказал:

— Мне известно о вас все. У вас есть единственный путь для облегчения своей участи: расскажите сами совершенно откровенно обо всем.

— О чем?

— О преступлениях, в которых вы тут соучаствовали.

Я вскочил.

— Что? Я не знаю за собой никаких преступлений. Каждая копейка, которую я тут заработал, досталась мне честно. На каждую копейку у меня есть документы. Я не понимаю, о каких преступлениях вы мне говорите.

Следователь положил в ряд третий карандаш. И вдруг я понял его жест. Он был совершенно уверен, что я и на этот раз лгу. Карандаши, как памятные знаки, знаменовали для него мою ложь. Три неправды — три карандаша. Проклятие! Неужели нет способа его разуверить?!

Из бокового кармана я выхватил бумажник.

— Вот! — закричал я.— Со мной все акты, все договоры.

Он остановил меня движением руки.

— Не трудитесь. Эти бумаги я имею. Успокойтесь, сядьте. Подумайте, я подожду. Выпейте воды.

— Не желаю я пить воды!

Я мрачно сел. Он полистал папку, задержался взглядом на каком-то листке, поднял глаза и вновь заговорил:

— Ну-с... Не желаете все рассказать сами?

Со всей искренностью я ответил:

— Клянусь, я не представляю, о чем вы меня спрашиваете.

Это не произвело никакого впечатления. Следователь жестко сказал:

— В таком случае я вам расскажу.

Сжато и ясно, абсолютно логично, он изложил мое преступление. Я пришибленно слушал. Следователь не ошибся ни в одной цифре, ни в одной дате: каждая подробность, которую он привлекал для обоснования ужаснейшего об-

винения, была верной. Под конец, когда мне предстало его построение, я моментами прислушивался к нему как бы со стороны и тогда с трепетом чувствовал, что сам начинаю верить, будто я, ваш покорный слуга Бережков, несомненно, преступник.

Вот какова приблизительно была цепь его доводов. Вначале он рассказал о том, как я получил первый подряд.

— Это был период,— говорил он,— когда арестованная ныне группа лиц из состава дирекции еще не вступила на преступный путь. С вами заключили договор, но не входили в сговор. Конечно, и тогда, исполняя этот договор, вы обогащались за счет государства, но без преступлений.

Он совершенно точно назвал сумму, которая после вычета всех моих расходов причиталась мне за ремонт газогенераторов,— что-то около двадцати пяти тысяч рублей за восемь месяцев грязной, тяжелой работы, то есть примерно по три тысячи в месяц.

— Главный инженер любого нашего крупнейшего государственного предприятия,— продолжал он,— получает пятьсот рублей в месяц. Вы загребали в несколько раз больше, но, к сожалению, вам было этого мало. К сожалению, издавна вас влекло к легким деньгам. Путь к ним открылся: группа лиц из руководящего состава фабрики поддалась разложению. Это был подходящий момент, чтобы вновь заиграли ваши «необъяснимые силы»...

Он выговорил это с презрением. Такова вообще была его манера: он холодно и как бы бесстрастно вскрывал факты и вдруг, словно давая волю живым чувствам, обжигал, как кнутом.

Содрогнувшись, я молча проглотил это. Что толку возмущаться, кричать? Нужны опровержения. А я уже видел, что их нет; я уже схватывал логическую цепь до конца — в конце была моя гибель.

Обжигающе хлестнув одной-другой фразой, следователь опять в тоне внешнего бесстрастия перешел к фактам.

— Преступления на фабрике,— сказал он,— начались несколько месяцев назад. В разных видах и формах производилось расхищение государственных средств. Некоторые лица здесь стали брать взятки. За взятку отсюда шли на частный рынок материалы, которых не хватает в стране; за взятку здесь принимали и оплачивали недоброкачественно проделанный ремонт; за взятку здесь подписывали договоры, при помощи которых частные предпринимате-

ли преступно обирали государство. Ныне преступления раскрыты.

Движением головы он указал на аккуратно сложенную стопку папок, отодвинутую к краю стола.

— Виновные уличены и сознались,— продолжал он.— Вы действовали тем же способом, как и другие. По второму подряду, который вы закончили на днях, вам, лично на вашу долю, то есть если исключить все ваши расходы, опять пришлась бы огромная сумма. Вам, подрядчику, за три недели работы отвалили в ваш личный карман во много раз больше, чем получил бы любой честный инженер на государственной службе, проделав работу в этот срок,— таково преступление, совершенное в вашем деле дирекцией «Шерсть-сукно». Разве вам это все не известно? Чего же вы играете в невинность, пытаетесь обмануть следствие? Последний раз даю вам возможность облегчить свою участь чистосердечным признанием. С кем вы имели сговор? Через кого передали взятку?

— Никаких взяток я не передавал.

— Отрицаете свое преступление?

— Да, отрицаю.

— Можете ли вы в таком случае объяснить, почему вам позволили извлечь из государственного сундука почти в сто раз больше, чем причиталось бы любому опытному инженеру по высшей государственной ставке? Другим это позволяли за взятки. А вам? Просто из любезности? Или опять вмешались «необъяснимые силы»?

Он уже дважды повторил это мое выражение «необъяснимые силы» и оба раза с иронией.

— Да,— с вызовом ответил я.— Необъяснимые силы.

— Больше ничего вы не можете сказать в свою защиту?

Он помолчал, по молчал и я.

— В таком случае,— жестко сказал он,— закончим на этом. Надеюсь, вы понимаете, что следствие не может признать существования необъяснимых сил.

— А талант? — закричал я.— Это не сила?

20

Следователь смотрел прищурясь. Видимо, этот аргумент несколько поразил его. А я продолжал говорить. Есть на свете слова, что запрещены человеку некоторым внут-

ренним чувством, когда он говорит о себе. Но погибающий рвет все запреты. А я погибал.

— Что, если перед вами не средний человек? — выпалил я.— Что, если перед вами человек необыкновенной одаренности?

Его губы тронула усмешка.

— Что из того? — сказал он.— У нас нет сверхчеловеков. Преступление есть преступление, кто бы его ни совершил.

— Что из того? — переспросил я.— Дайте мне лист чистой бумаги.

Первый раз в его взгляде мелькнул некоторый интерес ко мне.

— Пожалуйста,— проговорил он.

И протянул лист с надписью «Протокол допроса», что, почти незаполненный, лежал перед ним. Я увидел слова: «частный предприниматель, подрядчик». Мелькнула мелкая мстительная мысль: «Сейчас ты посмотришь, кто я такой!» И я перевернул лист обратной, совершенно чистой стороной. Среди трех карандашей, которые для следователя обозначали мою ложь, ложь и ложь, я давно подметил остро очиненный угольно-черный карандаш «Негро» — такой карандаш дает броский, яркий чертеж.

Повертев пальцами, чтобы их несколько размять, я схватил этот карандаш, твердо поставил локоть и одним оборотом руки начертил идеальную, геометрически точную окружность. Для меня это не было фокусом. Я с детства люблю и умею чертить. Черчению меня учил отец, развивая способности, которые даны мне от природы. В последних классах реального училища я уже чертил так — без линейки и без циркуля. Окружность, полуокружность, дуга без усилия и без промаха всегда изящно и точно возникали под моей рукой.

Подняв лист, я торжествующе сказал:

— Это идеально точная окружность. Проверьте. Велите достать циркуль. Вот, не угодно ли, точкой я нанесу центр.

И, вновь положив лист, я опять одним движением руки, одной точкой обозначил центр. И вдруг вздрогнул. Окружность не была точной. Я никогда не поверил бы, что со мной это может случиться, но глазом конструктора я теперь видел воочию: мне изменила рука.

К счастью, следователь не смотрел на меня. Заинтересовавшись, он слегка привстал и глядел на чертеж. А я уже

овладел собой, уже понял, что нельзя терять ни секунды,— надо поражать и поражать, чертить и чертить.

— Это геометрически точная окружность,— уверенно повторил я.— Вот ее центр.

Я указал на карандашную точку, которую только что поставил, которая, словно удар по глазам, мгновенно вскрыла мне фальшивую линию.

— Проверьте... Прикажите достать циркуль. Вот вам еще одна окружность.

И, развернув лист, я на развороте начертил вторую окружность. Проклятие! Рука снова не слушалась меня. В одном отрезке кривизна опять не была точной. Это легко мог установить глаз профессионала или циркуль. В отчаянии я готов был бросить карандаш, но спокойно сказал:

— Теперь вот вам несколько концентрических кругов.

Это, пожалуй, самое трудное в черчении: концентрически повторить испорченную неточную окружность, в другом масштабе воспроизвести ее порок, ее отступление от правильного круга. Это трудно сделать даже специальными инструментами. Малейшая новая фальшь при концентрическом расположении будет кричаще заметна. Но зато при удаче, в которую я уже не мог верить, будет достигнута иллюзия абсолютной правильности всех кругов. Раз! Одним махом я начертил концентрический круг, в точности повторяя неточность. И, не веря глазам, передохнул. Удалось! Иллюзия вступила в права, порок кривизны перестал быть заметным. Два! Возник следующий концентрический круг. Опять хорошо, чудесно, адски удачно! У меня, вероятно, горели глаза, горели уши, разгорелось лицо; следователь, человек логического мышления, острого ума, смотрел на меня как-то совсем по-иному, смотрел удивленно. А я продолжал удивлять:

— Вот прямая. Вот параллельная. Еще одна параллельная. Вот перпендикуляр.

Линии ложились безошибочно. Я проводил их от руки, твердо и чисто, словно по линейке. Карандаш давал угольно-яркую линию, все выглядело чертовски эффектно. Однако в запасе у меня был еще один потрясающий номер. Я вынул из кармана логарифмическую счетную линейку, которая всегда была со мной, и перочинный нож.

Взяв другой карандаш, я быстро подточил его, чтобы острие чуть кололось. Затем провел еще одну очень тонкую прямую.

— Теперь я буду откладывать размеры,— сказал я.— Прошу убедиться: это я делаю на глаз с такой же точностью, как этот инструмент.

Я резко пододвинул следователю свою линейку. И тончайшими черточками стал отмечать размеры, объявляя вслух:

— Два миллиметра... Шесть миллиметров... Восемь. Двенадцать. Расставляю цифры. Очень прошу вас, проверьте.

И я протянул следователю лист. Он взял линейку, покачал головой, словно удивляясь, зачем он это делает, усмехнулся и принялся мерить. Я не сомневался, что размеры точны.

Способностью без промаха откладывать размеры я тоже владел с юности: этот дар был своевременно развит упорным черчением, конструкторским трудом, и хотя в последние годы я не сконструировал, не начертил ни одной стóящей вещи, но недавняя работа по электромонтажу, требующая точности в чертеже и в натуре, все же упражняла глаз.

Следователь приложил к бумаге линейку, еще раз покачал головой и вдруг с улыбкой, с интонацией любопытства попросил:

— Отмерьте-ка двадцать два миллиметра!

— Двадцать два? Извольте.

Привстав, я на той же бумаге, на той же прямой, моментально обозначил еще один отрезок. По-прежнему с улыбкой любопытства следователь тотчас приложил линейку. Я видел: моя черточка абсолютно совпала с соответствующей чертой на линейке.

— Да, очень редкий талант,— сказал он.

Теперь улыбнулся я, расплылся в улыбке, порозовел от признания.

30

Однако, вспоминая это теперь, я предполагаю, что следователь, хотя и был, несомненно, поражен, все же не без тайного умысла произнес эту фразу. Способность чертить от руки, откладывать размеры на глаз еще не является талантом. Человека, который, например, быстрее арифмометра производит головоломные подсчеты в уме или мгновенно составляет стихи, еще нельзя назвать талантливым.

В возбуждении, в горячке минуты мне было простительно этого не понимать, но мой следователь, наверное, это отлично уяснил. И он все-таки сказал:

— Редкий талант...

— Необъяснимая сила,— торжествующе произнес я. Он живо откликнулся.

— Да? Вы так определяете талант?

Он уже разговаривал со мной так, будто бы шла вольная беседа, а не следствие,— вольная беседа двух мыслящих людей о некоторых загадках природы. Я ответил:

— Есть поговорка: «Что в поле туман, то ему счастье, талан». Это — определение народа. Стихийная сила, «что в поле туман».

Я говорил уверенно, но сам же почувствовал какую-то неточность, неполноту определения. Вспомнился миг, когда я беззвучно повторял: «Теряю талант, теряю талант». Вспомнилась окружность, которая незаметно для чужого глаза мне не удалась, окружность с неправильной, неточной кривизной. Что-то неладное, чего я еще не понимал, творилось с моим даром.

— Да, необъяснимая сила,— упрямо повторял я.— Пригласите сюда любого инженера. Дайте ему линейку и циркуль. И он потратит минуту на то, что я совершаю в секунду. Разница, как видите, в шестьдесят раз. А может быть, и того больше. Так имею ли я право, занимаясь, скажем, черчением, абсолютно честно зарабатывать в шестьдесят или в сто раз больше, чем такой инженер?

— Да, формально это так. Но если взять вопрос по существу, то я скажу: нет, в данном случае не имеете права.

— Почему?

— Вы не честны,— мягко сказал он.— Вы отравлены погоней за деньгами. Вы не честны перед самим собой, перед своим талантом. Вместо того, чтобы самоотверженно отдаться большому замыслу, большой идее, как это делали великие изобретатели и великие художники, вы превратили свой талант в средство мелкой наживы.

Я слушал, опустив голову. Этот человек, который, бесспорно, не заметил, как при нем мне изменила рука, как тогда меня пронзили ужас и стыд, уловил нечто более глубокое,— говоря попросту, понял меня.

С той же мягкостью он продолжал:

— Ведь вы занимаетесь черт знает чем... В погоне за деньгами не обойтись без грязи. К чему вы влачите свой талант по грязи? Ведь вы все-таки сунули здесь взятку. К чему это вам?

Это была последняя ловушка, которую он мне расставил. Возможно, он ожидал, что, не поднимая головы, я промолчу или как-то иначе наконец буду пойман. Меня взорвало. Я вскочил:

— Посмотрите же, черт побери, на меня! Я же не специально для вас надел сегодня эту куртку. А ботинки?! Поглядите на мои ботинки! Ведь я еще почти ничего не получил из тех самых денег, о которых вы столько говорили. Из каких же средств, если уж на то пошло, я мог бы давать взятки?

Следователь помедлил.

— Ладно, Бережков,— грубовато сказал он.

И нажал кнопку звонка. Появился один из людей в военной форме.

Следователь обратился к нему:

— Утром я распорядился, чтобы рабочие подрядчика Бережкова подождали моего вызова. Они здесь?

— Да. Ждут, товарищ начальник.

— Попросите их всех ко мне. А вы, Бережков, пока можете идти. Посидите в приемной. Потом я вас еще вызову.

31

Я вышел, приготовился ждать. За окном — темь. Под потолком тускло горит одинокая лампочка. Что-то поделывает сейчас бедная Маша? Верно, и не ужинает нынче? Я со вздохом пошарил в пустых карманах. Что это? Гаечка, принесенная с выставки... Мелькнула мысль: «Если будут обыскивать, отберут». Поглядела бы сейчас на меня та, которая не захотела хранить вторую!

Я перебирал подробности разговора со следователем. Пожалуй, мне удалось его убедить. А вдруг нет? Что станут думать обо мне Ладошников, Ганьшин, Федя? Тянулись минуты, я размышлял о своей судьбе.

В кабинет следователя, сопровождаемые конвойными, прошли мастеровые, вся моя команда. Волнение все сильнее разбирало меня, хотя я не сомневался, что рабочие подтвердят мои показания.

Приблизительно через полчаса они прошли обратно через комнату.

Дальше произошло невероятное. В приемной вдруг очутились Ладошников и Ганьшин. Конвойный вел их к следователю. Впереди шагал Ладошников, слегка наклонив голову, будто глядя себе под ноги, на свои высокие, простой дубки сапоги. До сих пор не могу понять, как он все-таки меня заметил.

— Алешка!

Я только и сумел произнести:

— Как ты... Как ты сюда попал?

— На самолете... На «Лад-3». Получил утром телеграмму Маши и...

Конвойный решительно пресек наш разговор. Пришлось подчиниться, замолчать. Ганьшин, к тому времени уже ставший чуть ли не профессором, приободрил меня улыбкой. Впрочем, она у него, как всегда, получилась иронической.

Через несколько мгновений я снова остался один: оба моих друга ушли к следователю. Время потекло еще медленнее, ожидать стало еще томительнее. В ушах вдруг прозвучали слова Михаила Михайловича: «На самолете... На «Лад-3». Самолет из металла, из кольчугалюмина... Неужели эта вещь уже совсем готова? Быстро Ладошников сумел ее выпустить...

Впрочем, почему же быстро? Последний раз мы виделись два года назад. Тогда я ему бросил вызов: «Повстречаемся через два-три года! Поглядишь, чего добьется вольный конструктор Бережков!» Вот и повстречались!

Не знаю, сколько времени я так просидел, ожидая вызова. Мои друзья прошли обратно. Ни тот, ни другой не пытались перекинуться со мной словечком. Не дурной ли это знак? Однако вид у обоих не был удрученным.

Все выяснилось, когда меня ввели к следователю.

— Ну-с, Алексей Николаевич (впервые он назвал меня так), объявляю вам мое заключение. Среди тех, кого я допрашивал, вы оказались единственным подрядчиком, который лично участвовал в работах, доброкачественно исполнял подряды и не пользовался для спекуляции материалами с государственных складов. Правда, вы заработали непомерные деньги, но фактически деньги не были получены, и поэтому следствие не предъявляет вам обвинений.

Я ожидал такого решения, и все-таки к груди, к лицу прихлынула горячая волна, я вспыхнул от радости. Следователь продолжал:

— Была у меня и долгая беседа с вашими друзьями...— Неожиданно в его глазах, которые всего час или полтора назад я видел беспощадными, мелькнула усмешка.— Пожелаю вам не забывать нашего разговора. Идите, вы свободны.

Я наивно спросил:

— А как же мои деньги? Мой чек?

Следователь холодно ответил:

— На чек я накладываю арест. Он останется в деле.

— Па... па...— Я почему-то стал заикаться.— Позвольте, но ведь эти деньги принадлежат мне по договору, по закону. Ведь мне даже нечем расплатиться с моими рабочими, с артелью.

— Не думаю, чтобы закон был в данном случае на вашей стороне. Это преступная бесхозяйственность дирекции.

— Как так? Ведь вы сами сказали, что у меня редкий талант.

— Но разве талант — привилегия частного предпринимателя? Разве у нас, в системе государственной промышленности, нет талантливых людей, нет места таланту? Извините, такой концепции я принять не могу. Впрочем, подавайте иск. Со своей стороны я дам заключение: оплатить из расчета фактически затраченного времени по государственной ставке.

Я хотел сказать, что этих денег мне опять-таки не хватит даже на расплату с артелью, которая работала у меня вовсе не по государственным ставкам, но следователь сухо закончил:

— Еще раз до свидания. Я вас не задерживаю.

Я вышел на улицу. Моросил дождь. Из окон фабрики падали косые потоки света, доносилось туканье газомотора. Там шли последние работы перед пуском. Я остановился. Помню свое ощущение. Почудилось, что я стою один где-то на безвестном полустанке и смотрю на сверкающий поезд, который через минуту умчится. А я? Я снова останусь один. Потянуло повидать своих — Ладошникова, Ганьшина,— поблагодарить их. Нет, именно перед ними я не хочу сейчас предстать! Не хочу явиться жалким, вновь потерпевшим неудачу. Подождите! Дайте еще срок!

Вскоре мы свидимся, но при иных обстоятельствах. Я буду не я, если не создам что-то изумительное, невиданное, потрясающее! Все же настанет денек, когда я приду к Ладошникову с настоящей Вещью — Вещью с большой буквы. Настанет день, когда я предъявлю ему свою новую конструкцию — некий замечательный мотор, столь мощный, столь необычайный, что Ладошников сможет наконец построить большой быстроходный самолет, о котором он так давно мечтает. А пока что не пойду к своим друзьям.

Все сильнее сказывалась усталость. Я брел под затянутым тучей вечерним небом Москвы. Оно, это небо, теперь было не темным, как в годы разрухи, а подсвеченным снизу тысячами городских фонарей, светящихся вывесок, светящихся окон и, казалось, мерцало или чуть пульсировало от непрестанных, далеких и близких вспышек трамвайных дуг. Скоро ли я найду себе место в этом звенящем, пульсирующем мире? Скоро ли удивлю свет?

32

Далее рассказ Бережкова продолжался так.

Однажды вечером, примерно через месяц с того дня, как он побывал у следователя, Бережков вошел в аптеку и направился к будке телефона-автомата. Достаточно было бросить беглый взгляд на его все ту же истрепанную куртку, на стоптанные ботинки с двумя-тремя так называемыми «незаметными» заплатками, чтобы уяснить: баночка эмалевой краски, конечно, еще не использована по назначению. Перед тем как позвонить, Бережков несколько раз прошелся около будки, хотя она не была занята. Потом все-таки открыл застекленную дверцу, шагнул и плотно притворил ее за собой. Вынул гривенник и опять поколебался. Слегка подкинул монету. Орел или решка? Выпал орел. Это было счастливое предзнаменование. Бережков решительно сунул монету в автомат, снял трубку и назвал номер — номер телефона профессора Августа Ивановича Шелеста.

— Слушаю,— раздалось в мембране.

Искусственно бодрым тоном Бережков воскликнул:

— Август Иванович?

— Да. Кто говорит?

— Август Иванович, это я — Бережков.

Он ждал в ответ какого-нибудь возгласа, слова, но Шелест молчал. Наконец в трубке раздалось:

— Бережков? Какой это Бережков?

— Август Иванович, вы не могли забыть... Помните, мы вместе строили аэросани. А потом... Ну, это я, Бережков, ваш ученик.

— А... Очень рад... (Это прозвучало крайне сухо.) Что вам угодно?

— Август Иванович, у меня есть одно изобретение. Я хотел бы, если позволите, показать его вам.

— Прошу извинить, но, к сожалению, не могу уделить времени на это.

Бережков наивно спросил:

— Почему?

— В свое время мы, кажется, раз навсегда установили, что ваши изобретения не по моей части.

— Нет, Август Иванович, теперь у меня совсем не то... Я сконструировал потрясающую...

Бережков потом вспомнил, что тут он самым жалким образом запнулся. От любимого словечка шибануло на версту хвастовством, а он намеревался быть смиренным и скромным. Но словечко сорвалось, натура взяла свое, и Бережков понесся, позабыв о благих намерениях:

— ...потрясающую вещь. Еще никто на земном шаре не придумал такой вещи... Это... Вы слушаете, Август Иванович?

— Да...

Покосившись на стекло будки, Бережков продолжал, понизив голос:

— Это двигатель совершенно нового типа. По телефону, как вы понимаете, я не могу распространяться об этом. Разрешите, Август Иванович, показать вам чертежи.

Опять наступило молчание. Потом Бережков услышал:

— Хорошо... Завтра в шесть часов вечера можете прийти ко мне домой.

И вот следующим вечером, очень волнуясь, он подходил к квартире профессора Шелеста. С собой он нес несколько свернутых в трубку чертежей — свою конструкцию, пока существующую лишь на бумаге. Он терзался и верил. Терзался своим неприглядным видом и верил, не переставал верить ни на миг, что свернутые в трубку листы ватмана, которые он бережно держал, перевернут моторное дело во всем мире.

Повествуя о своей жизни, в которую, как становая жила, были вплетены всякие технические выдумки, всякие замыслы прирожденного конструктора-изобретателя, Бережков стремился изложить их так, чтобы они были совершенно понятными, кристаллически ясными, как он любил говорить.

По моей просьбе он без затруднения, буквально в минуту представил на бумаге проект необыкновенного двигателя, с которым шел когда-то к Шелесту.

— Представьте себе примус,— объяснял мне Бережков.— Самый обыкновенный примус. Вообразите далее, что мы заключили его пламя в горизонтальную трубу. Начнем затем продувать сквозь эту трубу воздух, создадим воздушный ток. Для этого установим на одном конце трубы нагнетающий вентилятор с небольшим моторчиком для запуска. Нагреваясь в пламени и увеличиваясь, следовательно, во много раз в объеме, воздух будет вылетать из противоположного отверстия вихрем колоссальной силы. Вас интересует: как же не допустить распространения нагретого воздуха и в обратном направлении? А мы изогнем горелку. Видите как? Теперь струя пламени под огромным давлением рвется к устью трубы. Вот мы и создали вихрь. Подставим под этот вихрь лопатки паровой турбины (разумеется, несколько видоизмененные). Затем мы с вами можем спокойно сесть и созерцать. Наша вещь сама будет крутиться, пока есть в бачке горючее.

Таков был этот простой и, как мыслилось Бережкову, гениальный двигатель, с которым он шел к Шелесту.

— Прошу вас,— сказал Август Иванович.

Отлично натертый паркет блестел в его большом кабинете. В этот день, как назло, стояла оттепель, а у Бережкова не было калош. В передней он долго шаркал о половик промокшими башмаками. Теперь, стоя в дверях кабинета, он отчетливо представил, как появятся на этом паркете сыроватые следы его ног, и густо покраснел.

Шелест сидел у письменного стола в кожаном кресле. Отвлекшись от работы, он не привстал навстречу своему гостю и холодно взирал на него. Однако когда он увидел внезапно вспыхнувшие щеки Бережкова, выражение серых строгих глаз переменилось. Там промелькнули юмористические искорки.

— Прошу вас,— мягче повторил Шелест.

Подойдя, Бережков сел и положил на письменный стол около себя трубку чертежей. От волнения он не мог начать разговора.

— Это и есть ваша потрясающая вещь?

— Да.

— Что же, посмотрим...

Бережков лихорадочно развязал веревочку и снял обертку из газеты. Шелест поднялся, взял чертежи и присел на край стола, закинув ногу за ногу, лицом к электрической люстре. Смугловатый профиль склонился над развернутым листом. Волосы, изрядно поседевшие, цвета серебра с чернью, еще ничуть не утратили живого, молодого блеска.

— Вы понимаете, Август Иванович, струя пламени...— стал объяснять Бережков.

— Понимаю. Все понимаю. Действительно необыкновенное открытие.

— Да? — воскликнул Бережков. Ему почудилась ирония в тоне Шелеста.

— Да. Доныне считалось, что газовые турбины неосуществимы из-за низкого коэффициента полезного действия. Но вы, очевидно, опровергли это заблуждение. Не вижу только ваших расчетов.

— Я... Я еще не сделал расчетов. Это только первая компоновка. Только идея. Вы видите, струя пламени под огромным давлением...

— Гм... Под огромным? А во что превратится тогда ваше горючее?

— Как то есть «во что»?

— Вы этого не знаете? В так называемую «жидкость Зеленского», лишенную способности гореть.

— Но... Но давление можно в таком случае...

— В таком случае,— жестко перебил Шелест,— разрешите мне познакомить вас с одним трудом.

У стен кабинета на массивных полках тесно стояли тысячи книг. Храня комплекты многих русских и иностранных технических журналов, Шелест сам на домашнем станке любовно их переплетал. Он быстро нашел и протянул Бережкову толстый том. Это было новое издание его, Шелеста, капитального курса «Двигатели внутреннего сгорания».

— Вы это читали?

Бережков неуверенно кивнул. В студенческие годы он слушал лекции Шелеста и легко схватывал предмет, легко сдавал экзамены, почти не заглядывая в учебники. А нового издания книги Шелеста он никогда не раскрывал.

— Вы найдете здесь,— безжалостно продолжал Шелест,— описание вашей поразительной идеи. И у нас, и в других странах она уже, к вашему сведению, исследована практически и теоретически. Так потрудитесь же, по крайней мере, сначала узнать все, что было сделано в этой области до вас. А пока... Пока вот вам мой совет: завяжите это опять вашей веревочкой и никогда никому больше не показывайте. Чем еще я могу быть вам полезен?

Бережков не ответил. Шелест вновь посмотрел на чертежи, потом на их незадачливого автора, уныло опустившего голову, и произнес:

— Сейчас у меня в институте свободно место младшего чертежника. Если хотите, я вас возьму на эту должность.

— Младшим чертежником?

— Да. Если угодно, я вам напишу записку, и можете завтра выходить на службу.

— На службу? — опять переспросил Бережков.— Нет, Август Иванович, никогда!

— Ничего иного я не могу вам, к сожалению, предложить.

— Благодарю вас.

Бережков свернул в трубку чертежи, мрачно поклонился и пошел к двери. На паркете он увидел уже подсохшие следы своих много раз заплатанных ботинок. У порога он остановился. Обернулся. Тихо выговорил:

— Ну, напишите.

34

Наконец он приплелся домой. Бросил в передней на сундук смятый сверток чертежей. Выбежавшая к нему сестра ни о чем не спрашивала: все и так было понятно.

— Алеша, иди к себе. Ложись. Я сейчас принесу тебе покушать.

— Не надо. Ничего не надо.

— Обязательно ложись. Согрейся. Я у тебя печку затопила.

— Не надо. Оставь меня. Я погиб.

— Алеша, тебе надо только отоспаться. А утром ты опять встанешь таким же, как всегда.

— Нет. Утром я пойду на службу.

— На службу?

— Ну, не терзай меня. Дай побыть одному.

Сестра приготовила ему поесть, вскипятила чай, заставила разуться, надеть сухие, согретые у огня носки. А он, ее кумир и баловень, постанывал и повторял:

— Оставь меня. Иди. Мне ничего не надо.

— Но ведь ты упустишь печку.

— Печку? Я упустил... все!

Оставшись в одиночестве, он долго лежал не раздеваясь. На этажерке, на верхней полочке, красовалась нетронутая банка эмалевой краски. Сегодня, перед тем как идти к Шелесту, Бережков победоносно возгласил, потрясая скатанными чертежами и глядя на заветную банку: «Теперь или никогда!»

Да, никогда... Он поднялся с кровати, снял банку и, поддев плотно прилегавшую крышку перочинным ножиком, открыл ее. Краска уже ссохлась, загустела, по матовой коричневой поверхности протянулись трещинки. Бережков тронул ее пальцем. Неужели он никогда не увидит, как эта приятная краска, которой столько раз в мечтах он покрывал собственный автомобиль и вкусно называл пеночкой, поджаристой пенкой молока,— неужели никогда он не увидит, как она ложится под упругой кистью на металл? Для этого случая, который так и не настал, у него хранились специальная кисть и бутыль прозрачного орехового масла. Он бесшумно все это достал, принес из кухни чистую кастрюлю, отколупнул ножом несколько кусков густой, тягучей краски и тщательно растер ее в масле.

На цыпочках, в носках, осторожно отворяя двери, стараясь не скрипнуть половицей, он с кистью и кастрюлей прошел опять в кухню. В чуланчике нашлась старая лейка. Аккуратно разостлав на кухонном столе газету, он положил лейку, обмакнул кисть, стряхнул обратно лишнюю краску и провел первый мазок. Кисть мягко зашуршала. Нет, это все-таки не то: нет размаха для руки. Он остановился, отодвинулся, оглядел свою работу. Не то... Лейка не очищена от старой краски; под свежим слоем заметны места, где она ранее облупилась; выступают какие-то прежние сухие пупырышки, колючки. Нет, его автомобиль не выглядел бы так. Нежная пенка эффектно ляжет толь-

ко на чистый, зеркально-ровный металл. Что же ему выкрасить? А, вот что!

На стене висело большое оцинкованное железное корыто. Бережков провел по металлу ладонью. Да, это как раз та поверхность, которая ему нужна. Он поставил корыто на табурет, прислонил под удобным углом к стене, опять обмакнул кисть и начал красить. Хорошо! Дивно! Изумительно! Прелестный цвет! Блестящая точка электрической лампочки ярко светилась в свежей эмали. Бережков легко подпрыгнул и чуть качнул лампочку. Светящаяся точка закачалась в окрашенном металле, посылая снопики лучей. Вот так и солнце сияющими зайчиками отразится в лакированном блестящем кузове, когда машина на ходу будет пружинить на рессорах.

Но, боже мой, ведь это всего лишь корыто! Корыто, разбитое корыто его жизни. Нет, он не мог больше на него смотреть. Прощай, прощай навсегда, баночка эмалевой краски!

Он вернулся к себе в комнату. Початая банка опять потянула к себе. Ласково, как ребенка, он взял ее обеими руками. Подержал. Опустился на пол перед печкой, уже почти прогоревшей, где блуждали синие огоньки над крупным жаром. Возле печки на полу лежало несколько лучинок. Он отломил щепку, выковырял немного краски и бросил на пламенеющие угли. Краска сразу задымилась, запузырилась и вспыхнула, как фейерверк. Бережков повел носом: не запахло ли горелой краской? Нет, печка все вытягивала.

Многое промелькнуло перед ним, когда он смотрел в огонь. Вот вспыхнул его выключатель, озарил комнату отблеском яркого пламени и... И на углях остался только легкий пепел. Вот его всемирно знаменитая контора выдумок... Вот мельница, вот небывалый двигатель, вот вся его судьба вольного художника, свободного конструктора, который сам себе хозяин. С завтрашнего дня он пойдет на службу, откажется от вольности, потянет лямку. Что поделаешь: жизнь не удалась.

35

И все же утром он поднялся иным.

— Случается,— говорил мне Бережков,— проснувшись утром, вы не сразу вспоминаете, что произошло с вами вче-

ра. Есть момент полусознания, первое ощущение после сна, которое потом остается где-то в памяти.

В то утро для него таким первым ощущением было: сегодня предстоит что-то неизведанное, необыкновенное. И Бережков тотчас вспомнил: сегодня он пойдет младшим чертежником на службу. Неожиданно прозвучал знакомый внутренний голос: «Вставай, тебя ждут великие дела!» Бережков расхохотался в постели. Какие у него теперь великие дела? Но вчерашние унылые мысли не возвращались. Он вскочил бодрым, освеженным, потянулся так, что хрустнуло в суставах.

Одевался он с волнением, ощущение необыкновенности не улеглось. Сестра собирала его, будто отправляя первый раз в школу. Перед уходом Бережков был со всех сторон осмотрен. Свежая складка на брюках, белый накрахмаленный воротничок, красивый яркий галстук придавали ему оттенок изящества и даже, может быть, франтовства.

— Поношенный франт,— пошутил он, с сокрушением поглядывая на залатанные, вычищенные чуть ли не до зеркального блеска ботинки.

Но в лице не было поношенности. Глаза молодо блестели. Бережков повернулся перед зеркалом, поправил галстук, улыбнулся. Куртка, побывавшая во многих переделках, причиняла ему, по его выражению, жесточайшие душевные муки. Обтрепавшиеся обшлага были немного подрезаны и снова подшиты; из-за этого рукава стали коротки, и Бережкову казалось, что он, как мальчишка, вырос из своей куртки. Ну, ничего, он ее снимет на службе.

С двумя бутербродами на завтрак, с тридцатью копейками в кармане на трамвай, послав сестре на прощанье воздушный поцелуй, Бережков вышел из дому — шагнул во вторую свою жизнь.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«АДВИ-100»

1

Итак, Бережков поступил младшим чертежником в Научный институт авиационных двигателей, сокращенно именовавшийся АДВИ.

Институт занимал в те времена лишь одну комнату. Мне довелось ее видеть; Бережков однажды повез меня, показал первое помещение АДВИ. Это была не особенно большая комната площадью в тридцать — тридцать пять метров, в два окна. Других комнат институт моторов, созданный профессором Шелестом, тогда не имел; для бухгалтера и секретаря был выделен уголок в соседнем здании.

Явившись на службу, Бережков получил стол, ватманскую бумагу, готовальню и принялся очинять карандаши, ожидая задания. Однако, как новому человеку, в первый день ему дали приглядеться.

В комнате было очень тесно. За покатыми столами работали чертежники и инженеры-конструкторы, десять — двенадцать человек. Бережков сидел, прислушиваясь к негромким разговорам, порой вставал, осторожно проходил между столами, где-нибудь останавливался и, стараясь не мешать, молча смотрел на чертежи. На всех столах чертили и рассчитывали конструкцию Шелеста — авиационный двигатель в двести лошадиных сил. На стене в деревянной рамочке висел общий вид конструкции. Некоторое время Бережков рассматривал ее. Проектируемый двигатель был назван «АИШ» (Август Иванович Шелест).

К концу рабочего дня появился он, пятидесятилетний профессор, автор проекта, глава института,— быстрый, властный, энергичный. Кивнув присутствующим, Шелест подошел к столу старшего конструктора инженера Лукина. Тот — рыхловатый добродушный блондин — встал со слабой смущенной улыбкой и уступил Шелесту стул. Бесе-

дуя вполголоса, они стали обсуждать чертеж, лежавший на столе Лукина.

Не долго думая, наш младший чертежник поднялся со стула, прошел по комнате и остановился за спиной Шелеста. Профессор недовольно покосился, его взгляд означал: «Вас, сударь, кажется, не звали». Однако Бережков не двинулся со своей позиции: он не отличался особой чувствительностью в подобных случаях.

Ни слова ему не сказав, Шелест продолжал разговор. Бережков постоял несколько минут, посмотрел на чертеж с одной стороны, с другой стороны и удалился с безмятежным лицом, словно он прогулялся по комнате. Но не надо забывать, что он был наделен исключительной быстротой схватывания, быстротой восприятия. Иногда почти нечувствительный, почти глухой, он обладал в своей стихии, в сфере своего таланта, изумительным глазом и слухом. По чертежу, по нескольким замечаниям и вопросам Шелеста он вполне уловил суть разговора.

Положение с мотором, который работался на всех столах, было, как понял Бережков, таково: проектирование шло к завершению; главные разрезы, главные узлы были уже вычерчены; конструкция в целом была так или иначе решена; но одна существенная часть, головка цилиндра, не удавалась, получалась тяжелой, аляповатой, не вписывалась в оставленное для нее место; конструктор не находил удобного расположения клапанов; управление этими клапанами не вытанцовывалось. Неудача с головкой означала неудачу проекта или, в лучшем случае, требовала пересмотра всей конструкции.

2

Чертеж этой головки лежал на столе у Лукина. Он смотрел на Шелеста с виноватым видом. Много раз они за чертежным столом обсуждали проблему головки. Лукин чертил и так и этак, но злосчастная головка оставалась громоздкой, неуклюжей, нерешенной. Служебный день истек. Сотрудники АДВИ пошли по домам. На прощанье они откланивались директору. Шелест молча кивал. Он еще не собирался уходить. Кроме Лукина, он пригласил к чертежному столу заведующего конструкторско-расчетной частью инженера Ниланда и еще одного конструктора, чтобы по-

совещаться о головке. Бережкова опять потянуло подойти, но он отказался от этого намерения.

Он вышел из здания, направился к трамваю и рассеянно миновал остановку. До дому было далеко, но ему захотелось шагать, пройтись в одиночку. Он был взбудоражен, возбужден первым днем службы. Шагая, он мысленно все еще пребывал в комнате с некрашеными покатыми столами; перед ним мелькали эти столы, лица, разговоры, чертежи; он видел двигатель, который вычерчивали сотоварищи по будущей работе; видел смуглый профиль Шелеста, склонившегося над недающейся деталью.

И вдруг — сначала смутно, потом резче, потом во всех подробностях, во всех размерах — ему предстала очень изящная, очень легкая головка. На ней удачно, грациозно (как выразился, рассказывая, Бережков) расположились клапаны, которые упрямо не находили себе места на чертеже Лукина.

Со странной улыбкой, незаметной в сумерках, Бережков шел по улицам, не видя перед собой ничего, кроме головки. Дома он быстро пообедал, отвечая сестре невпопад, по-прежнему, словно загипнотизированный, всматриваясь в воображаемую вещь, и тотчас сел чертить. В своем рассказе Бережков настойчиво стремился поведать мне, раскрыть психологию конструкторского творчества.

— Надо вам сказать,— говорил он,— что я никогда не начинаю чертить, пока не вижу вещь. Создавая любую конструкцию, я закрываю глаза, ясно вижу перед собой чертеж и только тогда беру карандаш или рейсфедер. Когда я употребляю выражение «вижу вещь», это значит, что я вижу чертеж. У нас, профессионалов-конструкторов,— объяснял мне Бережков,— чертеж отождествляется с предметом.

Если, например, происходит какая-нибудь поломка и Бережкову показывают: «Посмотрите, как поломалось», он всегда просит: «Дайте чертеж, в натуре я ничего не понимаю». Если его спрашивают: «Посмотрите, правильно ли сделана эта деталь», он отвечает: «Дайте чертеж». Вещь в натуре не отождествляется у него с проектом; при взгляде на нее перед ним не возникает чертеж. Но, разглядывая чертеж, он физически ощутимо представляет натуру, как бы осязает ее, она предстает весомо, рельефно, во всех измерениях.

Таким образом, домой он пришел с готовым чертежом в воображении. Оставалось перенести чертеж на бумагу — отпечатать, как фотоснимок с негатива. Бережков заперся в своей комнате и, ничего не слыша, не откликаясь на приглашения к ужину, окончательно расстроив Марию Николаевну, теперь уже не сомневающуюся, что он не вынесет службы, чертил до трех часов ночи. Ему всегда нравилось дать так называемый выпуклый чертеж, то есть одни линии — тоньше, другие — толще, жирнее. Тогда, по его выражению, чертеж говорит, чертеж поет.

И хотя в последние годы, в смутные годы Бережкова, он редко склонялся над чистыми листами ватмана, но, взяв карандаш, проведя координаты, отложив главные размеры, нанеся первую контурную линию, он со счастьем ощутил, что рука по-прежнему легка, что чертеж как бы сам ложится на бумагу. Конечно, тут сказалась работа над проектом турбины, что отверг Шелест; в той недавней работе Бережков поупражнял руку.

К трем часам ночи создание Бережкова — уже не в карандаше, а в туши — было отделано до последней черточки. Головка вышла очень компактной, клапаны хорошо разместились; задача была изящно решена.

— Прелестно! Прелестная вещица! — в одиночестве восклицал он, любуясь своим чертежом.

Сделаем здесь одно замечание. Начало службы было, очевидно, столь значительно для Бережкова, что он повествовал о нем с особым вкусом, очень сочно и даже, я бы сказал, театрально. И, конечно, не преминул покрасоваться, поблистать. Я сохранил и тут колорит его рассказа.

Со свернутым в трубочку листом Бережков к десяти часам утра отправился на службу. О своих переживаниях он рассказывал так:

— Вообразите молодого художника, который несет на выставку, на суд знатоков, только что законченное произведение. Недавно с позором забраковали его вещь, а он нарисовал еще одну. Вообразите его переживания. Таким художником, еще не заработавшим известности, непризнанным, влюбленным в свою вещь и все же испытывающим трепет неуверенности,— таким художником я чувствовал себя в это утро.

С чертежом он вошел в комнату АДВИ, скромно сел на свое место, спрятал трубочку в стол. Через несколько минут Бережкова подозвал его непосредственный начальник,

заведующий конструкторско-расчетным бюро инженер Ниланд, необщительный, с жесткой складкой вокруг рта, человек лет сорока пяти.

— Начертите эту гайку и болт,— сказал он, протягивая карандашный эскиз.— Все размеры тут указаны.

— Для мотора «АИШ»? — поинтересовался Бережков.

— Да, для мотора.

Бережков критически оглядел набросок.

— А кто делал эскиз?

Вопрос раздражил начальника.

— Я делал. Приступайте к работе.

— Извините,— смиренно молвил Бережков.

3

С наброском гайки и болта, с этим элементарным первым поручением, младший чертежник вернулся на свое рабочее место. Занимаясь гайкой, он то и дело поглядывал на дверь, ожидая Шелеста. Наконец Шелест появился. Как и вчера, он кивнул всем и посмотрел на Лукина. Тот опять неловко улыбнулся, будто принося повинную. В смуглом нервном лице Шелеста мелькнула досада. Ни с кем не разговаривая, он прошел к своему письменному столу, к своему креслу и несколько минут молча сидел. Потом обратился к Лукину:

— Давайте!

Тон был упрям, приглашающий жест энергичен. Они опять занялись головкой. Несколько выждав, Бережков достал свое свернутое в трубочку произведение, поднялся и подошел к ним. Шелест прервал разговор.

— Что вам? — резко спросил он.

— Видите ли, Август Иванович, вчера у меня зародились некоторые соображения...

— Но, как видно, не о том, что следовало бы подождать, пока я освобожусь.

— Нет,— ответил Бережков,— об этой головке! Я, конечно, подожду. Прошу извинения.

Корректно поклонившись, он повернулся, чтобы уйти.

— Какие соображения? — быстро спросил Шелест.

Бережков выдержал паузу.

— Мне подумалось, Август Иванович, что тут возможна одна комбинация. И тогда клапаны, может быть, рас-

положатся удобнее. Дома я попробовал набросать небольшой чертеж.

— Где он?

— Пожалуйста. Правда, я не совсем уверен...

Бережков не разыгрывал скромность. Он волновался. Вдруг случится так, что Шелест с одного взгляда обнаружит некий порок вещи, ошибку, чего сам он, Бережков, сгоряча, может быть, не увидел.

Бережков развернул трубку шероховатой бумаги.

— Ого! — вырвалось у Шелеста.

Покраснев от удовольствия, он взял лист. Ему, эрудиту и знатоку моторов, в одну минуту стало ясно: у него в руках решение, которое он почти отчаялся найти.

4

— Меня тогда поразило,— рассказывал далее Бережков,— отношение ко мне Лукина.

Бережков был уверен, что наживет врага. А вышло вовсе не так. Глаза Лукина засветились истинным удовольствием, когда он рассматривал чертеж.

— Остроумно, очень остроумно! — сказал он.— Поздравляю. Верно решено.

Но некоторых недругов Бережков себе все-таки нажил.

На третий день службы он сумел испортить отношения с инженером Ниландом.

Этого человека Бережков характеризовал в наших разговорах так. Инженер Ниланд, сумрачный и раздражительный, еще до революции имел научное звание, готовил диссертацию и по своим данным был отлично приспособлен для научно-расчетных работ. Расчетчик — весьма серьезная величина во всяком конструкторском бюро. Это антипод конструктора, штатный критик, обязанный подвергать сомнению каждый чертеж, каждый проект, обязанный без снисхождения браковать замысел конструктора, если он, замысел, под ударами анализа где-либо надломится. Ниланд считался непогрешимым мастером расчета, все конструкторы АДВИ признавали его авторитет. Однако он не мирился с долей расчетчика, хотя бы и главного, а по неискоренимой тайной страсти упрямо стремился чертить, конструировать, создавать машины, хотя природа не наделила его таким даром.

Столкновение произошло из-за гайки. Исполняя задание, Бережков постарался покрасивее вывести нарезку болта и затем изобразил округлую легкую гайку. Чертеж, как полагается, поступил к Ниланду. На следующее утро, едва сев за стол, Бережков услышал его голос:

— Бережков, пожалуйте сюда!

На столе начальника лежал чертеж Бережкова. Ниланд молча взял красный карандаш и перечеркнул работу.

— Потрудитесь переделать по моему эскизу и в другой раз не фантазируйте.

— Но почему же? Я старался, чтобы гайка была легче.

— Напрасно. Незачем мудрить, когда существуют стандартные размеры. Переделайте.

Ниланд отвернулся, показывая, что разговор окончен.

Бережков посмотрел на карандашный эскиз, что лежал рядом с его перечеркнутой работой, и рискнул снова сказать:

— А не тяжеловата ли будет ваша гайка?

— Не беспокойтесь. Занимайтесь тем, что вам указано.

— Но мне все-таки кажется...

— Что вам, молодой человек, кажется? — повысив голос, перебил Ниланд.

В комнате кое-кто оглянулся.

— Мне кажется,— не смутившись, продолжал Бережков,— что ваша гайка как-то не гармонирует с изящными формами, которые свойственны современной авиации.

— Не знаю, что вам представляется изящным. Я не употребляю таких слов.

— Не смею сомневаться. Но, если угодно, я могу...

Ниланд, побагровев, вскочил.

— Прошу не иронизировать! — гаркнул он.— Вы, молодой человек, приглашены сюда не для того, чтобы меня учить.

Разговоры в комнате обычно шли вполголоса. Теперь все повернулись на окрик. Ниланд схватил объемистый потрепанный машиностроительный справочник, что лежал около него, и хлопнул этой книгой по столу.

— Я указал размеры на основании этого труда. Возьмите. Потрудитесь убедиться, что это общепринятая гайка.

— Поэтому-то она и не годится,— ответил Бережков.— В авиационном машиностроении употребляются другие гайки.

— Что? Может быть, вы мне их покажете?

— Пожалуйста. Сейчас вы их увидите...

Бережков знал, что еще со времен Жуковского рядом с аэродинамической лабораторией существовал небольшой музей или, вернее, зародыш будущего музея по истории авиации. Там, между прочим, хранилось несколько авиамоторов разных марок. И хотя эти моторы давно устарели, но и в них применялись — Бережков ясно это помнил — легкие гайки.

Он отправился туда и, улучив минуту, втихомолку отвернул несколько гаек, спрятал в карман и принес в комнату АДВИ. Гайки были положены на стол инженера Ниланда рядом с перечеркнутым чертежом Бережкова. Дальше спорить не приходилось. Чертеж Бережкова и гайки с разных авиационных двигателей были подобны по характеру. Два-три сотрудника подошли будто по иным делам, взглянули. Ниланд надулся и молчал. С того дня он невзлюбил Бережкова.

5

Так началась служба Бережкова. Через год он был уже не младшим чертежником, а полноправным конструктором АДВИ.

В своем рассказе Бережков не мог припомнить всех дел, которыми занимался в этот год. «Из меня попросту перло!» — восклицал он. Ему достаточно было услышать, что институту поручено разработать что-нибудь трудное, серьезное, требующее солидного срока для выполнения,— и через три-четыре дня он предлагал свое решение, свой чертеж. Дорвавшись после нескольких непутевых годов до чертежной доски, до создания — пусть пока на ватмане — авиационных моторов, он чувствовал, что наконец нашел себя, чувствовал, что из него, словно из артезианской скважины, достигшей водоносного пласта, хлынул фонтан конструкторского творчества.

Случалось, что в чертежах, которые он приносил в институт, обнаруживались ошибки, просчеты, неверные разрезы. Нередко бывало, что его били в спорах, били высшей математикой, ссылками на исследования, которых он не знал. Для того чтобы идти в ногу с инженерами, конструкторами АДВИ, чтобы не уступать им в эрудиции и, главное, чтобы вооружить себя для творчества, Бережкову пришлось упорно работать. Дома он ночами просиживал

над сочинениями классиков механики и теплотехники. Овладевал языками. Курс Шелеста «Двигатели внутреннего сгорания» выучил назубок, мог цитировать наизусть.

Я уже отмечал, что Бережков не любил жаловаться на трудности жизни. О том, сколько пришлось ему наверстывать, поступив в АДВИ, об его «адской» работоспособности, о том, как он порой почти не спал две-три ночи подряд, оставаясь тем же неизменно шутливым, бодрым, в полной «рабочей форме», я узнавал от его друзей, от сестры, от сослуживцев. Но не от самого Бережкова.

За один год он прошел следующие служебные ступени: младший чертежник, чертежник-конструктор, младший инженер-конструктор.

Примерно в это время институт получил заказ Военно-Воздушного Флота: спроектировать нефтяной мотор для авиации.

Эту конструкцию опять начертил Бережков. И опять без прямого поручения, раньше своих товарищей. Ни одно настоящее, серьезное задание, ни одно стоящее дело, которое затевалось в те годы в институте или около института, не оставляло его равнодушным. Жадный, он хотел все охватить, объять, ко всему приложить руки.

С благословения Шелеста, по чертежам Бережкова стали строить авиационный нефтяной двигатель «Аврора».

Мотор «АИШ» строился на заводе «Икар»; «Аврора» — на заводе «Прометей», который был в те времена полукустарной мастерской для ремонта автомобилей. Бережков ездил туда каждый день, сам вынимал теплые отливки из формовочной земли, следил за обработкой на станках, уносил, как трофеи, готовые детали в кладовую и прятал их под замок, шутил, сердился, очаровывал, подгонял и подгонял.

Рассказывая об этом, Бережков опять искал слов, чтобы изобразить, с каким нетерпением, с какой страстью конструктор ждет, торопит необыкновенную минуту, когда он увидит наконец чертеж ожившим в материале, превратившимся в машину, какой еще не существовало на земле.

Эта минута настала, машина была выстроена. И что же? Поломки замучили автора, замучили завод. Бережков бился много месяцев, но так и не смог довести мотор. Его «Аврора», в которую он, казалось, вложил весь свой темперамент и талант, вошла под каким-то номером в печальный список неудавшихся, мертворожденных моторов. Такая же

судьба постигла и мотор Шелеста. Машину долго не удавалось запустить, а после запуска пошли неисчислимые поломки. Безуспешная борьба длилась почти год, потом мотор вынесли в заводской сарай, словно на кладбище.

Все другие попытки оканчивались тем же. Ни один конструктор, ни один завод нашей страны все еще не могли дать авиации серийного отечественного, советского мотора.

— Но почему же? — допытывался я у Бережкова.

— Доводка! — воскликнул он в ответ.— Это слово известно на любом заводе, выпускающем машины. В нашей стране давно строили паровозы, локомобили, корабли, производились отличные артиллерийские орудия, и каждая новая конструкция требовала доводки. Но мы еще не знали, что такое доводка авиационного мотора. Еще не понимали, что конструктор должен обладать не упорством, а ультраупорством, ультравыдержкой, чтобы довести авиационный мотор. Доводка — вот что резало нас.

6

Для создания отечественного авиационного мотора требовались новые и новые усилия. Работа велась в конструкторских бюро нескольких заводов и в научных институтах.

В 1925 году Управление Военно-Воздушных Сил опять поставило перед АДВИ задачу сконструировать еще один мотор мощностью в сто лошадиных сил. Институту ассигновали деньги на проектирование, на некоторое расширение штата.

Работа над проектом длилась полгода. К этому времени институт получил собственное помещение: небольшой корпус на окраине Москвы. Туда привезли десятка полтора станков. Стояла зима. Корпус ремонтировали. Конструкторы и чертежники расположились в бревенчатой сторожке посреди отведенного для АДВИ участка. Ее прозвали «избушка». Там, в двух небольших комнатах, теснилось двадцать пять — тридцать человек. Из-под полов дуло. В избушке поставили чугунную печку, которую раскаляли докрасна. Чертежные столы время от времени стреляли — рассыхались.

В этой сторожке и спроектировали мотор, получивший название «АДВИ-100». Авторами компоновки были три человека, которых после многих ссор и примирений уда-

лось объединить: Бережков, Мезенцев и Ниланд. Во избежание еще одной неудачи компоновка, по директиве Шелеста, не содержала оригинальной идеи. Из нескольких известных иностранных образцов были взяты наилучшим образом решенные узлы и скомбинированы в одной композиции.

В целом проект «АДВИ-100» представлял собой пять больших синек, на которых давался общий вид, и шестьдесят — семьдесят листов ватмана, где было вычерчено не меньше тысячи деталей. Предстояло утверждение проекта в Научно-техническом комитете при Управлении Военно-Воздушных Сил.

7

Перед заседанием Бережков волновался. Сегодня он впервые войдет в зал Научно-технического комитета. Самые видные инженеры и профессора будут обсуждать проект, под которым стоит его подпись.

Шел май 1926 года. Установились теплые солнечные дни, и Бережков оделся по-весеннему: в белые брюки, светлую, фисташкового цвета сорочку с широким ярким галстуком. Поверх был надет темно-синий распахнутый пиджак. На улицах продавали цветы, и он, праздничный, возбужденный, вдел в петлицу крошечный букетик. Таким в день заседания он появился перед Шелестом.

— Дорогой мой,— сказал Шелест,— вы меня погубите.

— Что такое? Почему?

Розовый от волнения, Бережков искренне недоумевал. Он не улыбался, но уголки свежих губ заметнее, чем обычно, были загнуты чуть вверх, и рисунок прирожденной улыбки проступал особенно ясно.

— К чему эти цветы? Вы собрались на свидание? Выньте, оставьте здесь...

Бережков смиренно подчинился. Затем Шелест подозрительно потянул носом.

— Вы, кажется, еще изволили и надушиться? Нет, я вас не возьму.

— Август Иванович, это после бритья, это в парикмахерской. Разрешите, я умоюсь...

— Черт знает что! Вы совершенно не понимаете, куда мы едем! Неужели вы не могли надеть к этому пиджаку соответствующих брюк?

— А у меня... у меня,— признался Бережков,— соответствующих нет. Есть только коричневые.

— Еще хуже. Ей-ей, я не буду спокоен, пока вы сидите в зале.

— Но почему же? Что я, бомба?

— Вот именно. Вдруг вам взбредет фантазия выступить.

— Ну и что же? Я готов защищать наш проект.

— Ради бога, не защищайте. Предоставьте это мне. А то вы непременно что-нибудь ляпнете.

— Август Иванович, даю вам слово...

— На заседании будут государственные люди, политики. А вы иногда такое выдумываете... Дорогой мой, вы понимаете, что для проекта лучше, чтобы вы помолчали.

— Пожалуй,— кротко согласился Бережков.

— Поэтому прошу вас, ради всего святого, не выскакивать.

— Август Иванович, клянусь: я ничего не ляпну. Не раскрою рта.

— Ну хорошо. И, пожалуйста, садитесь там со мной рядом. Хотя...

Шелест снова оглядел Бережкова и ничего не добавил. Тому оставалось лишь повторить свои клятвы.

И все-таки три часа спустя, вопреки своим намерениям, вопреки обещаниям, он вскочил на заседании и... Председатель стучал о графин, тщетно призывая Бережкова к порядку; Шелест тянул его за руку вниз; к нему повернулся и внимательно на него смотрел начальник Военно-Воздушных Сил Дмитрий Иванович Родионов, а Бережков, ничего не замечая, выпаливал фразу за фразой.

Вот как это случилось.

8

Идею проекта на заседании кратко изложил Шелест. Выступая, он порой покидал небольшую кафедру, подходил к чертежам мотора, которые были развешаны на стенах, и с уверенной плавностью, мягкостью жестов действовал легкой лакированной черной указкой. На смуглом, нимало не обрюзгшем, чуть горбоносом лице ярко выделялись серые глаза, они словно лучились. Он вполне владел собой, умел среди доклада пошутить, и все же чувствова-

лось, как он, крупный русский ученый, общественный и научный деятель, волнуется за судьбу мотора, спроектированного в его институте.

После доклада стали дискутировать.

— Суждения о проекте,— рассказывал Бережков,— были крайне туманными. Мы с волнением прислушивались к каждому выступлению, замечанию, хотя и знали, что никто из находившихся в зале не мог бы сказать о себе: «Я сконструировал и довел свой авиамотор». Многие из присутствующих были людьми кабинетной науки, которые вообще никогда ничего не конструировали, не строили, раньше даже не помышляли о практическом приложении своих знаний. Они могли лишь предположительно гадать: это годится, а это сломается, это не пойдет. Все мы, приступавшие к созданию первого отечественного авиамотора, блуждали тогда среди неясностей.

Крайне туманные, по выражению Бережкова, высказывания на заседании были, по большей части, благоприятны для проекта. Заняв место рядом с Шелестом и сотоварищами из АДВИ во втором ряду, следя за обсуждением, Бережков все время невольно поглядывал на человека, который сидел в плетеном кресле у окна, в профиль к собранию, несколько поодаль от всех, поодаль от председателя. Это был начальник Военно-Воздушных Сил Дмитрий Иванович Родионов, тот самый Родионов, которого несколько лет назад, в дни, когда подготовлялся штурм Кронштадта, Бережков видел так близко, видел с винтовкой за плечом... Узнает ли Родионов его? Вряд ли... Ведь пролетело столько времени...

Одетый в летнюю, защитного цвета гимнастерку, Родионов сидел, ничуть не облокачиваясь, может быть даже с чрезмерной прямизной. На его сухощавом лице с выпуклой родинкой на конце носа лежал красноватый здоровый загар; верхняя часть лба была заметно белее, здесь оставался след фуражки: Родионов много времени проводил на аэродромах, на учениях, маневрах, в летных эскадрильях, разбросанных во всех концах страны. Ничего не записывая, не задавая вопросов, он внимательно слушал, внимательно смотрел на тех, кто выступает. Бережков запомнил Родионова в буденовке с красной звездой, обведенной темным кантом, и, пожалуй, еще не видел его без головного убора. Теперь его прическа поразила Бережкова. У Родионова был прямой, словно вычерченный по линейке, пробор.

Темные, слегка рыжеватые волосы были крепко приглажены щеткой; ни один волосок не выбивался над белой полоской пробора.

В те дни Родионов — да и только ли он? — был встревожен тем, что конструкторские организации и промышленность никак не могли дать авиации отечественного авиамотора. Не скрывая от себя, что корень неудач ему неясен, Родионов избрал путь, которому следовал всегда: лично приглядеться, послушать, познакомиться с людьми.

После многих выступлений председатель предоставил слово человеку, фамилию которого Бережков плохо расслышал. Однако он заметил, что Родионов чуть подался вперед на своем кресле и стал, казалось, особенно внимателен. Бережков спросил Шелеста:

— Кто это?

Шелест шепнул:

— Новицкий. Наше начальство. Окончил курс в этом году и быстро пошел — назначен здесь, в Комитете, начальником отделения моторов. От него очень многое зависит.

— Очень многое?

— Да. Почти все.

— Значит, это он маринует нас в избушке?

— Как сказать. Конечно, он мог бы все подвинуть. С ним надо...

— Как надо с ним? — спросил с любопытством Бережков.

— Помолчите, дорогой... Послушаем, что он о нас скажет.

9

Уже с начальных фраз стало ясно, что выступает умный, очень способный человек. Вполне владея теорией мотора, как она в то время преподавалась, он легко отстранил некоторые несущественные или гадательные соображения, высказанные на заседании. Невысокого роста, плотный, тяжеловатый, с карими, очень живыми глазами, он нередко во время речи поворачивался к Родионову, как бы докладывая ему. Новицкий говорил о проекте в достаточной степени одобрительно. То обстоятельство, что конструкция не содержала в себе какой-либо оригинальной идеи, не было, по его мнению, минусом проекта.

— На первых порах,— неторопливо и веско говорил он,— нам меньше всего следует стремиться к новому и непроверенному...

Так же не торопясь, он перечислил достоинства конструкции и ее уязвимые места. И, наконец, дал итоговую оценку — считать идею целесообразной и решение удачным.

— Поверхностная болтовня! — буркнул Бережков.

Новицкий не понравился ему. Шелест взглянул с удивлением.

— Нет, почему же? Очень толково.

В зале четко разносился голос Новицкого.

— Это первый проект такого типа у нас,— ясно формулировал он.— Работа свидетельствует о возросшей культуре проектирования, что достигнуто под руководством одного из крупнейших специалистов, которые честно работают с нами.

Шелест с места отвесил несколько иронический поклон.

— У нас есть,— продолжал Новицкий, полуобернувшись к Родионову, вновь как бы обращаясь к нему,— наши молодые кадры, чья судьба целиком связана с судьбой нашего строя. Однако я обязан сказать, что они еще не в силах дать нам подобный проект.

Насупясь, Бережков смотрел в пол. «А мы кто?» — с обидой мысленно вопрошал он и чувствовал себя оскорбленным. «Мы черт знает в каких условиях,— думалось ему,— создавали конструкцию, а он? Что сделал он для советского мотора? Чем он нам помог? Где его дела? На каком же основании он говорит о нас так свысока?»

Бережков безмолвно кидал эти вопросы. Его подмывало вскочить и что-нибудь прокричать, возразить, оборвать этого крепко сбитого, видимо твердого на ногах человека, четко произносившего фразы.

Новицкий меж тем излагал выводы. Он заявил, что мотор, по его мнению, следует строить, хотя в проекте лишь повторено то, что достигнуто несколько лет назад иностранными конструкторами.

— Таким образом, эта машина,— сказал он,— будет все же отставать от современного мирового уровня. А нам нужны моторы, находящиеся на этом уровне.

— И превосходящие его,— негромко вставил Родионов.

— Совершенно правильно, Дмитрий Иванович. Над этой задачей еще придется немало работать. И мы обязаны

ясно сказать, что отсутствие такого рода моторов несовместимо с перспективой развития Военно-Воздушного Флота, с задачами обороны страны.

Это была элементарная истина, бесспорная мысль, но Бережков вскочил и выпалил с места:

— А избушка совместима с обороной?

Новицкий спросил:

— Какая избушка?

Шелест сжал руку Бережкова и потянул его вниз. Но Бережков продолжал быстро говорить:

— Изба, в которой всю зиму теснятся тридцать чертежников и конструкторов! А ремонт помещения, который почти не подвигается? А станки, которые до сих пор не распакованы? Это совместимо с обороной? У нас на всех конструкторов один истрепанный справочник Хютте. Вы об этом позаботились, товарищ Новицкий? Это совместимо с обороной?

Бережкова прервал председатель.

— Товарищ! — взывал он, стуча карандашом по графину.— Товарищ, это не по существу.

Тут опять прозвучал голос Родионова.

— Почему не по существу? — произнес он.

В зале стало тихо. Родионов говорил со своего места, негромко, словно в небольшой комнате.

— Вы работали над этим проектом?

— Работал.

— Как ваша фамилия?

Задав этот вопрос, Родионов вдруг слегка прищурился, словно что-то припоминая. Бережков почувствовал, что он узнан, и радостно назвал себя.

Начальник Военно-Воздушных Сил улыбнулся одними глазами и сказал:

— Продолжайте, товарищ Бережков. Тому и слово, кто работал. Нуте-с...

10

Пять лет назад, в петроградском госпитале, Бережкову довелось услышать от одного делегата X партийного съезда, делегата, тоже раненного под Кронштадтом, историю жизни человека, который поставил боевую задачу отряду аэросаней, Дмитрия Ивановича Родионова. Сейчас

перед Бережковым всплыли известные ему страницы биографии командующего авиацией.

Сын петербургского рабочего, Родионов тринадцати лет поступил мальчиком-рассыльным в контору, стал зарабатывать для семьи. При случае выяснилось, что у него хороший почерк. Ему поручили надписывать конверты. Он старался, приобрел учебник каллиграфии, выработал безупречный конторско-каллиграфический почерк. На службе, кроме того, он подшивал бумаги. Немногие знают, что в этом тоже можно достичь мастерства и своего рода блеска. Родионов достиг этого: он не мог ничего делать небрежно или плохо. С виду он был благопристойным подростком в пиджачке и галстуке. Аккуратному конторщику много неприятных минут доставляли его рыжеватые волосы — непослушные, немягкие. Они вечно вихрились, торчали в стороны, сколько он их ни приглаживал. Из-за этого над ним подтрунивали. Родионов решил, что у него будет гладкая прическа, и добился своего, переупрямил собственные волосы, заставил их ложиться на пробор. Эта прическа осталась у него до конца жизни.

Как же он стал революционером, большевиком?

Семнадцати лет Родионов поступил, не оставляя службы, на вечерние курсы, где шли занятия по программе средней школы. Среди слушателей преобладала молодежь с предприятий, рвущаяся к знанию, в большинстве передовая, революционная. У Родионова уже раньше были там знакомые, сотоварищи по конторскому труду. С некоторыми он подружился. Почти все в этой среде были несколько старше Родионова; он прислушивался к спорам, помалкивал, думал, читал.

Родионов поставил перед собой цель получить образование и рьяно учился, не давая себе послабления, доводя до высшего балла, до ажура, как говорят в конторском деле, знание предметов программы.

Юноша-конторщик, ученик вечерних курсов, не подозревал, что уже близок день, который повернет его жизнь.

Это произошло так. В 1912 году на должность управляющего петербургской конторой «Продамета» («Продажа металла»), одной из крупнейших и солиднейших столичных контор, был приглашен бывший социал-демократ, инженер Лярэ. Он отошел от партии, но, как говорили, сохранил порядочность. Он принял на службу нескольких

способных, развитых конторщиков, приятелей Родионова по вечерним общеобразовательным курсам.

Как-то в одном из отделов «Продамета» освободилась вакансия помощника делопроизводителя. Друзья Родионова, служившие там, порекомендовали его на это место.

— Посмотрим. Пусть придет,— сказал инженер Ляро.

Родионов пришел. В огромном зале за канцелярскими столами работало свыше ста сотрудников, а в углу, за перегородкой из стекла, находился кабинет Лярэ. Он принимал там посетителей: прозрачная перегородка не пропускала звуков, но Лярэ видел всех, и все видели его. В этом стеклянном кабинете он поговорил с Родионовым. Сквозь очки в тонком золотом ободке, которые Лярэ всегда носил, он внимательно оглядел кандидата на вакансию, затем пригласил его сесть и спросил, сколько зарабатывал Родионов. Тот правдиво ответил.

— Здесь, на вашей новой должности, вы будете получать больше. Это будет крупный шаг в вашей жизни.

— Да.

— Мне говорили о вас. Вы учитесь, это похвально. Однако надо много работать, честно работать.

— Да,— снова произнес Родионов.

— Работать столько же, сколько работаю я. У меня правило — вечером никто не уходит, пока не ухожу я.

— Но ведь, как вы знаете, я занимаюсь на вечерних курсах.

Лярэ рассмеялся.

— Не беспокойтесь, я не зверствую.

Разговор закончился благоприятно для Родионова, он был принят на службу. Инженер Лярэ действительно не зверствовал; в конце рабочего дня всем за счет дирекции подавали чай и бутерброды, но после этого сверх служебных часов приходилось еще основательно поработать, корпеть над бумагами, пока не поднимался и не уходил Лярэ.

В конторе служили несколько социал-демократов большевиков. Они подготовили открытое массовое выступление против этого изощренного способа эксплуатации служащих. Однажды, в час бутербродов, в конторе начался митинг. Лярэ вышел из кабинета.

— Что здесь? — спросил он.

— Не будем работать за бутерброды.

— Не будете? — странно тонким голосом переспросил Лярэ.

Он подошел к шкафу, достал список сотрудников и произнес первую по алфавиту фамилию.

— Агапов! Не будете работать?

Этот служащий был отцом большой семьи, он промолчал.

— Садитесь на свое место! Акимов, не желаете работать?

Акимов был делопроизводителем отдела, одним из организаторов протеста. Родионов знал, что некогда тот был дружен с Ляра, они вместе провели студенческие годы.

Последовал твердый ответ:

— За бутерброды? Не буду!

— Вы уволены! Можете идти!

Ляра нервно зачеркнул строку в списке. Акимов стоял, побледнев, среди сослуживцев. Он ждал, что будут отвечать другие. Ляра посмотрел на Родионова, на аккуратный костюм юноши, на его приглаженный пробор и чуть улыбнулся.

— Родионов! Вы пока примете должность Акимова. Займите его место.

Впоследствии Родионов сам не мог объяснить, что с ним стряслось в эту минуту. Не ответив ни слова, он побагровел, шагнул к Ляра и с размаху закатил ему пощечину. Соскочили и со звоном разбились очки в золотом ободке. Закрывая рукой щеку, Ляра исступленно кричал:

— Полицию! Полицию!

А Родионов стоял, сведя брови, не опуская глаз, с неожиданно поднявшимся вихром на голове. Но его подхватили руки друзей, его быстро вывели из здания.

В ту ночь он не ночевал дома. И не только в ту ночь. Пришлось долго скрываться у товарищей. Многое теперь зазвучало для него по-иному: социализм, революция, партия. Он вошел в партию, стал профессиональным революционером-большевиком и остался таким навсегда.

Во время мировой войны в форме солдата, всегда выбритый, подтянутый, отлично владеющий винтовкой и пулеметом, он по-прежнему был работником партии, организатором и пропагандистом революции. В октябре 1917 года солдат Родионов командовал восставшими военными частями в городе Казани. В гражданскую войну был комиссаром и членом Революционного военного совета на фронтах, а в дальнейшем был назначен начальником Военно-Воздушных Сил нашей страны

И вот он на заседании, посвященном советскому авиамотору.

Ничто не укрылось от Родионова. Он видел, как Шелест сжал руку Бережкова. Весь этот мир конструкторов, создателей машин, ему, Родионову, был тогда еще не вполне ясен. Что это за люди? Как они творят? Почему до сих пор все их попытки кончались неудачей? В чем тут разгадка?

И он вмешался, он сказал:

— Продолжайте, товарищ Бережков.

И добавил, будто слегка подталкивая остановившегося Бережкова:

— Нуте-с, нуте-с...

11

Как уже говорилось, это несколько нетерпеливое «нуте-с» было характерным словечком Родионова. Оно не превратилось у него в омертвевший невыразительный придаток, а как бы жило в его речи. Самые разные оттенки — от ласки до гнева — Родионов умел вкладывать в свое «нуте-с».

По тону Родионова, по его позе, по живому взгляду Бережков ощутил, что тот не только узнал его, но с интересом, с доверием ждет его слов. Именно это — благожелательность, доверие, которое он прочел во внимательных умных глазах,— особенно на него подействовало. Ему сразу стало легко в этом зале; кровь, прилившая к лицу, несколько схлынула; вновь проступили черты бережковской врожденной улыбки. Он красочно, в подробностях и даже в лицах, описал сторожку — «избушку», где целую зиму ютился институт, чугунную, раскаленную печку, стреляющие чертежные столы. Его рассказ порой вызывал смех, он тоже смеялся со всеми.

— Однако, товарищи, это не только смешно,— продолжал он.— Это грустно. Это невыносимо. Пусть товарищ Родионов извинит, но я скажу: это постыдно для нас, для Военно-Воздушного Флота. А здесь произносят приятные слова о возросшей культуре проектирования. Нет, говоря по правде, мы, конструкторы АДВИ, испытываем кошмарную, мучительную задержку роста.

На миг Бережков очень явственно, словно сквозь невидимый увеличитель, увидел Новицкого на одном из кресел

за председательским столом. Удобно облокотившись, Новицкий слушал со спокойной, снисходительной усмешкой. Но Бережков уже чувствовал свое право громко и требовательно говорить в этом зале. И он говорил:

— Я абсолютно убежден, что мы сможем сконструировать чудеснейшие вещи, дивные моторы, которые займут первые места в мировом соревновании. Но надо дать нам, конструкторам, возможность работать в полную силу. У нас нет современных испытательных стендов, нет многих мерительных приборов, мы так и не знаем, например, что делается внутри цилиндра. Мне, к сожалению, не дано распоряжаться государственными средствами...

В зале засмеялись...

— Да,— энергично подтвердил Бережков,— я распорядился бы с размахом.

Шелест сидел, поглядывая уже одобрительно и с некоторым удивлением на стоящего рядом Бережкова. Август Иванович не раз намеревался сам поговорить с таким напором о нуждах института, но все откладывал: в его натуре для этого, видимо, чего-то не хватало.

— Все это, товарищи, к сожалению, вовсе не смешно! — продолжал Бережков.— Нельзя, чтобы в нашем государстве авиационные моторы проектировались в таких условиях. И тем более недопустимо называть это возросшей культурой проектирования.

Бережков сел. В зале снова прозвучал голос Родионова:

— Верно ли, товарищ Новицкий, что институт находится в таком безобразном состоянии, как сейчас здесь говорилось?

Новицкий выслушал стоя.

— Дело в том, Дмитрий Иванович, что институт нам не подведомствен.

— Нуте-с... Что из того?

Новицкий промолчал. В тишине Родионов встал, чтобы заключить заседание. Бережков второй раз в своей жизни слышал, как тот выступает: коротко, ясно, не повышая голоса, не торопясь. Чувствовалось — что он скажет, то и будет.

— Что из того? — повторил Родионов.— Сделаем его подведомственным. Если мы, люди Воздушного Флота, не позаботимся об институте, который проектирует авиационные моторы, кто же будет заботиться о нем? Мы познако-

мились с проектом, немного познакомились с конструкторами. Они, как показало обсуждение, стремятся и умеют работать. Умеют также,— Родионов кинул взгляд на Бережкова,— постоять за себя. Необходимо помочь институту, снабдить его лучшими современными приборами, обеспечить конструкторов всей нужной им литературой, всерьез двинуть ремонт здания.

Он приостановился, подумал, произнес свое «нуте-с», будто кого-то подгоняя, и продолжал:

— Эти расходы мы включим в смету Военно-Воздушного Флота. Выделим также некоторое количество валюты. Займитесь этим, товарищ Новицкий. Подготовьте мне на подпись необходимые документы.

Это было решение, которое он, начальник Военно-Воздушных Сил, принял и объявил на месте. На этом, никак не закругляя выступления, он оборвал свое слово.

Заседание кончилось. Из большого здания на Варварке, где помещалось Управление Венно-Воздушных Сил, конструкторы АДВИ выходили победителями. Улица мягко светилась в теплых лучах вечернего низкого солнца. Близ подъезда стояла девушка с большой корзиной цветов. Бережков подбежал к ней. Вновь заправив в петлицу букетик, он с вызовом обернулся к Шелесту, поджидавшему его.

— Хорош, хорош,— произнес Шелест.— Самый подходящий вид для нежного свидания. Что же, бегите, очаровывайте хоть всю Москву.

— Август Иванович, ну, как я выступал?

— Потрясающе! — с довольной улыбкой сказал Шелест.— Одно слово: по-бережковски.

— По-бережковски? Как государственный муж, а?

Бережков счастливо засмеялся. Он тогда еще сам не понимал, как много правды было в этой его шутке.

12

Рассказ Бережкова о дальнейшей судьбе мотора «АДВИ-100» продолжался так:

— Проект был утвержден. Постройка опытного экземпляра «АДВИ-100» была поручена моторному заводу на Днепре, на Украине, заводу, ранее принадлежавшему французам. Там выпускались моторы конструкции «Испа-

но». Мы с торжеством отправили туда проект, все семьдесят листов.

Однако на заводе не приняли наших синек, заявив, что по таким чертежам нельзя строить. Действительно, имелся повод забраковать наш материал. В то время мы в институте еще не добились полного порядка в изготовлении рабочих чертежей. Не всегда указывали допуски при обработке, порядок сборки и т. д. Несколько раз проект путешествовал из Москвы на Украину и обратно, несколько раз мы ездили на завод, спорили с пеной у рта, возвращались измочаленными, злыми, заново изображали все детали, стремясь удовлетворить требования завода, опять везли листы туда, но постройка не начиналась. Страшно сказать, целый год ушел на то, что мы ездили и переругивались.

Нас выводили из себя разные придирки. На заводе, например, никогда не видели цилиндров с воздушными головками и уперлись на том, что такие головки невозможно сделать. Мы доказывали свое, нервничали, требовали, но на заводе наших чертежей все-таки не принимали. Нам не терпелось скорее узреть наше творение в металле, а вместо этого... Вместо этого мы теряли в препирательствах месяц за месяцем.

— Вы не представляете,— восклицал Бережков,— какой пыткой был этот год для нас!

Как-то в этот год, во времена тяжбы с заводом, Шелест пригласил Бережкова в свой кабинет. Институт уже перешел в отремонтированное двухэтажное здание, где имелись мастерские, исследовательско-испытательная станция, большой чертежный зал и кабинет директора, обставленный дубовой мебелью.

Перед Шелестом на письменном столе находился объемистый сверток, в котором под оберткой угадывались книги; поверх лежал кому-то адресованный голубой конверт.

— Садитесь, Алексей Николаевич,— произнес Шелест.— Вы похудели. Но ничего. Перечерчивание проекта вы, слава богу, кончили. И я по-прежнему верю в вашу энергию.

— От этого перечерчивания, Август Иванович, у меня начались по ночам кошмары.

— А я, дорогой, приготовил вам лекарство.

— Какое же?

— Командировку. Проедетесь, попутешествуете па Украину. Хочу послать вас снова на завод.

— Снова в атаку?

— Нет. На этот раз я предложу вашему вниманию иной план военных действий. Видите ли...— Шелест стал серьезен.— Думается, мы в значительной степени сами виноваты, что у нас так испорчены отношения с заводом. Нельзя бесконечно переругиваться. Надо подействовать на людей иначе. Вы большой психолог, вы легко меня поймете.

Профессор смотрел ласково и хитро. Бережков с достоинством кивнул.

— Поезжайте еще раз туда,— продолжал Шелест.— Но будьте мудры, как змий. Плените, очаруйте там одного человека, и, я уверен, дело пойдет.

— Кого же?

— Главного инженера.

— Пленял,— сказал со вздохом Бережков.

— Попытайтесь снова. Найдите тонкие ходы. Захватите с собой вот что...

Шелест развернул лежащий перед ним сверток.

— Тут для него много интересного,— говорил он.— Ведь это знающий, талантливый, в прошлом даже блестящий инженер. Если не ошибаюсь, он свободно говорит на трех или четырех языках. Смотрите, что вы ему повезете...

Под раскрытой оберточной бумагой заблестело тисненное золотом на переплете название французского журнала, специально посвященного проблемам моторов. Это был полный годовой комплект. Шелест откинул крышку переплета. На чистой первой странице было написано его рукой: «Дорогому Владимиру Георгиевичу, нежному поклоннику и рыцарю моторов от огрубевшего старого моторщика, скромному труду которого посвящена разносная рецензия в этом журнале».

Бережков знал эту рецензию. В последнем томе своего курса Шелест критически разобрал высказывания иностранных теоретиков по вопросу об основных принципах конструирования авиационных моторов, установил в ряде случаев поверхностность, неясность, а порой и небеспристрастность суждений и впервые последовательно и подробно обосновал идею жесткости мотора.

Французский журнал ответил раздраженной высокомерной рецензией.

— Жаль расставаться с этой реликвией,— проговорил Шелест.— Разрушаю к тому же собственную библиотеку. Теперь буду пользоваться институтским экземпляром. Вы покажите ему вот что... Нет, нет, я имею в виду не рецензию.— Шелест говорил, быстро листая том.— Вот... Видите, у французов на этом чертеже изображены такие же самые головки, которые мы ввели в нашу конструкцию. Пусть же он взглянет на них, растает и сделает для нас...

— О, это я ему сумею поднести!

У Бережкова уже заиграла фантазия, он увидел в воображении предстоящую встречу.

— А вот тут,— продолжал Шелест,— головки совсем другого рода.

В пачке книг вместе с комплектом специального журнала оказались художественные альбомные издания, тоже привезенные из-за границы. Шелест раскрыл один альбом и стал бережно переворачивать страницы. Там были представлены французские художники конца прошлого века.

— Он обожает эти вещи,— говорил Шелест.— Пусть полюбуется, понаслаждается. Дарить ему их я не собираюсь, но вам это поможет завоевать его душу. Сложная миссия, Алексей Николаевич, но ведь вы у нас...

— Еду! — вскричал Бережков.— Лягу костьми, но обворожу этого черта.

13

Несколько дней спустя, в ближайшее же воскресенье, Бережков вышел из поезда на станции Заднепровье, близ которой находился завод. Он нарочно прибыл сюда в праздничный день, чтобы явиться к главному инженеру на дом. Однако, зная, как тот неумолим в вопросах этикета, Бережков не решился вломиться к нему без приглашения.

На вокзале он долго крутил ручку телефона, упорно добиваясь соединения сначала с городом, потом с квартирой. Аппарат был очень старый, дореволюционного выпуска фирмы «Эриксон», в громоздком деревянном футляре, укрепленном на стене. Такие аппараты давно

уже вывелись в столице, но ими еще пользовались в провинциальных городах. По остаткам исцарапанного, кое-где вовсе облезшего лака еще можно было представить, как блестел когда-то, лет двадцать назад, светло-коричневым глянцем этот ящичек. В трубке что-то трещало, заглушенно слышались чьи-то голоса, потом вдруг, как бы ни с того ни с сего, контакт прерывался, пропадал всякий живой звук, даже слабое гудение тока. Бережков осмотрел трубку, нашел разболтанный, шатающийся винт со сработанной нарезкой, потянулся было в карман за перочинным ножом с разными отвертками, но... Но улыбнулся и присвистнул.

— Ларец с секретом,— пробормотал он и, попросту прижав пальцем винт, снова стал звонить.

Наконец сквозь шумы и треск в трубке раздалось:

— Слушаю...

Наш герой почти пропел:

— Владимир Георгиевич?

— Да. Кто говорит?

— Владимир Георгиевич, я только что с поезда. У меня к вам письмо из Москвы.

— От кого?

Бережков предпочел пока избежать ответа. Он слегка оттянул винтик. Тотчас в мембране стало мертвенно тихо. Снова нажав, он продолжал взывать:

— Алло! Алло!.. Владимир Георгиевич, вы?

— Да. Вас плохо слышно.

— Письмо в голубом конверте! — кричал Бережков.— И книга для вас с надписью. Разрешите, я вам привезу.

Однако главный инженер завода, видимо, оберегал свой воскресный отдых. Он сухо сказал:

— Извините, сейчас у меня доктор... Я попросил бы...

Бережков решил не услышать продолжения этой фразы. Снова чуть двинулся винтик в его пальцах. Через секунду он опять кричал:

— Алло! Алло!.. Книга для вас с надписью: «Нежному поклоннику и рыцарю».

— Как, как?

— «Нежному поклоннику и рыцарю».

— Но от кого же?

— Владимир Георгиевич, я не могу кричать об этом на всю станцию. Разрешите к вам заехать.

— Но вы-то кто?

— Что? Что? Я ничего не слышу.

— Я спрашиваю: с кем имею честь?

— Да, адрес есть.

— С кем имею честь?

— Лошадей? Не беспокойтесь, доеду на извозчике.

— Фу... Ну, приезжайте.

Опустив трубку, Бережков тоже выдохнул:

— Фу-у-у... Техника на грани фантастики.

Благодарно взглянув на исцарапанный, давно отслуживший свое аппарат, он обратился с шутливой речью к ожидающим у телефона, достал перочинный нож и, используя подручные средства, то есть переставив с места на место некоторые винтики, закрепил контакт.

На привокзальной площади, куда он вышел с небольшим чемоданом, раскинулось рыночное торжище. Он там потолкался; съел для подкрепления душевных и телесных сил здесь же на солнышке добрый кусок холодца, несколько пышных оладий, все это запил горшочком сметаны, затем подрядил извозчика и на старенькой дребезжащей пролетке направился к полю предстоящей ему схватки, в дом инженера Любарского.

14

Городок растянулся вдоль Днепра. Скоро завиднелась сияющая речная гладь, даже издали прохладная. Бережков сказал извозчику:

— К воде, дядя! Помыться.

По тропинке он сбежал с чемоданом к Днепру. Там он искупался, кувыркаясь и ныряя, проделывая всяческие номера, которые помнились с детства, со дней азартных мальчишеских состязаний на воде. Потом, высыхая на солнце, он побрился у своего чемодана и облачился во все свежее: в белоснежные проутюженные брюки, в белые туфли, в легкую рубашку «фантазия». В заключение Бережков положил на руку светлый летний пиджак и с удовлетворением оглядел себя в зеркале реки.

— Теперь, дядя, не пыли,— попросил он, вновь усевшись на пролетку.

В городе было много зелени, палисадников, садов. В стороне, на фоне бледно-голубого неба, высилась чер-

ная железная труба завода. В тот день, в воскресенье, труба не дымила, но Бережков, рассеянно блуждая вокруг взглядом, нет-нет да и поглядывал туда. На этом заводе, где он уже не раз побывал с чертежами, должны были дать жизнь его детищу, воплотить в металл проект мотора, но все оттягивали и оттягивали это, без конца требуя переделки чертежей, терзая его душу.

Дом главного инженера, с красивой остроконечной крышей, с балконами и башенкой, с тонкими мачтами радиоантенны, стоял на прекрасном участке, над Днепром. Отпустив извозчика, Бережков с волнением приоткрыл калитку и ступил на аллею, посыпанную речным желтым песком. Из-за цветущих деревьев доносились заглушенные удары теннисного мячика. Слышались женские голоса. Бережков направился туда. Скоро сквозь просветы в зелени он увидел играющих. Главный инженер сражался против двух женщин. Весь в белом, с закатанными рукавами, загорелый, стройный не по летам, с бородкой клинышком, в которой тонкими блестками вспыхивали на солнце две-три серебряные нити, Любарский легко бегал по площадке, с силой посылая «резаные», как говорят спортсмены, низкие мячи.

— Доктор,— прозвучал его голос,— вам подавать.

Смуглая, несколько тяжеловатая для этой игры женщина улыбнулась ему. «Э,— подумал Бережков,— вот какой у тебя доктор!»

В паре с доктором играла девушка,— по-видимому, дочь инженера. Скрытый кустами, Бережков наблюдал, не решаясь шагнуть дальше. Его вдруг охватила робость. В предыдущие приезды он уже бывал с чертежами «АДВИ-100» в служебном кабинете у Любарского, волновался, доказывал, настаивал, но главный инженер в неизменно корректной манере, от которой Бережков еще более бесился, всегда умел его «отшить».

«Выставит! — размышлял Бережков, глядя на Любарского и невольно, глазом старого спортсмена, оценивая его искусные сильные удары.— Обязательно в два счета выставит!.. Ну, была не была, вперед!»

Набравшись решимости, он выступил из зеленой засады, скромно поклонился и проговорил:

— Здравствуйте...

Игра прервалась.

— А, это вы?! — протянул Любарский.

Бережков ощутил, что интонация была уничтожающей. Казалось, все его хитрости Любарский разгадал с одного взгляда. Некстати улыбаясь, Бережков стоял с чемоданом в руке под этим прищуренным взглядом. Главный инженер не спешил нарушить молчание.

— Присядьте,— предложил он наконец, указывая на скамейку.— Прошу вас подождать одну минуту.

И, обернувшись к женщинам, другим тоном воскликнул:

— Одну минуту для победы! Доктор, продолжайте. Я готов...

Бережков сел, рассеянно взглянул на докторскую сумку, которая лежала на скамейке, на дамский велосипед, прислоненный рядом.

Изволь-ка, очаруй этого Любарского! И с какой стати его очаровывать, лебезить, унижаться перед ним? Ведь Бережков не милости пришел сюда просить! Ведь этому черту, главному инженеру, предписано, приказано построить машину «АДВИ-100». Чего же он отлынивает? И встречает автора конструкции этаким оскорбительным прищуром, словно надоевшего маньяка-изобретателя? Бережков покраснел, еще раз представив себе прищуренный холодный взгляд Любарского и свою, как теперь ему казалось, глупую улыбку. Он смотрел на порхающего по площадке инженера, который уже ничем не проявлял к нему внимания и даже будто забыл про него,— смотрел и злился. Его опять подмывало поскандалить. Но вспомнилось наставление Шелеста: «Будьте мудры, как змий». Да, самое умное — обойтись без драки. «Хорошо, обворожу, черт его возьми! Не будь я Бережков, если не обворожу! Но как? Надо немедленно придумать гениальный ход!»

15

Время, однако, убегало, а гениальных ходов Бережков не находил. В прошлом любитель спорта, отчаянный гонщик на мотоцикле, автомобиле, аэросанях, Бережков был когда-то и страстным теннисистом. «Плохие мячи»,— машинально отметил он, приглядываясь к игре. Один мяч подкатился к нему. Бережков с готовностью вскочил, поднял, попробовал на ощупь — мячик был очень вял. Кинув мяч и снова усевшись, он вдруг со странным вниманием

посмотрел на раскрытую врачебную сумку. В ту минуту он еще сам не осознал, чем она его так заинтересовала.

— Понимаете ли вы толк в шахматной игре? — неожиданно спросил меня в этом месте рассказа Бережков.— Представляете ли, что такое комбинация? Вы глядите на шахматы и не замечаете ее, эту комбинацию, но тем не менее она содержится, таится на доске. Потом вдруг что-то брезжит перед вами, какое-то первое смутное прозрение. Это еще не сама комбинация, но уже ее предчувствие.

Бережков смотрел на свою шахматную доску, видел скамейку, сумку, сад, велосипед, теннисный корт, взмахи ракетки, тяжело прыгающий мяч, и вдруг перед ним замерцала комбинация или, пользуясь его выражением, может быть, лишь ее предчувствие. Но он на ней не сосредоточился. В мыслях возникали всякие другие ходы.

Выиграв партию, поклонившись с улыбкой партнершам, Любарский направился к скамье. Подошли и женщины. Бережков поспешил встать.

— Так... Это, значит, вы?! — произнес прежнюю фразу Любарский.— Что же, пойдемте.— И, обернувшись, добавил: — У дам прошу извинения. Отдохните, пожалуйста, десять минут, пока я не освобожусь.

Бережкова он не представил. Это явно означало, что он не принимает его как гостя в своем доме. Бережков торопливо заговорил:

— Нет, это я должен просить извинения. Простите, что я вторгся. Но я только что с поезда, прямо из Москвы.

— Из Москвы? — переспросила дочь инженера.— Привезли бы нам новые мячи. Я не могу этими играть. Никакого удовольствия.

— Да, ужаснейшая дрянь,— процедил Любарский.— Не догадались?

Он по-прежнему разглядывал Бережкова со слегка иронической спокойной усмешкой. Его взгляд словно говорил: «Не хватило у вас, сударь, ловкости на это?» Бережков снова ощутил прилив злости. В этот же миг перед ним в воображении, словно из туманной подводной глубины, взвилась на белый свет, заблистала его выдумка, его комбинация. Уши мгновенно покраснели.

— Догадался! — выпалил он.

Ему ответили возгласами:

— Давайте их! Где же они, ваши мячи?

— Пожалуйста, здесь!

Сразу преобразившись, Бережков хлопнул ладонью по докторской сумке и, сложив на груди руки, вскинул голову.

— Здесь! — загадочно повторил он.— Для этого в Москву ездить не надобно. Через двадцать минут мы будем играть великолепными мячами. И обещаю вам: с этих пор вы всегда будете иметь чудесные мячи. Дайте мне...

Он умолк и, посматривая на окружающих, стал закатывать рукава. Он уже проникся несокрушимой верой в свою выдумку, которая только что родилась в нем, уже вел себя, как волшебник, как артист.

Девушка не выдержала:

— Что же вам дать?

— Вот видите, в сумке два медицинских шприца. Я их попрошу.

Любарский спросил:

— Два шприца? Зачем?

— Спрысну эти мячики живой водой!

— Папа! Доктор! Сейчас же! Посмотрим, как это у него... Простите, как вас зовут?

Отрекомендовавшись, наш герой спросил:

— А вас?

(Однако имени девушки, замечу в скобках, я от Бережкова не узнал. Он стал было рассказывать: «Ее глаза, когда она на меня смотрела...» И попытался своими маленькими глазками изобразить восхищенный женский взгляд. Но спохватился: «Тссс! Об этом ни звука в нашей повести!»)

— Теперь я попрошу,— продолжал командовать он,— велосипедный насос... И немного резинового клея.

Через минуту Бережков безбоязненно, словно хирург, проколол мяч шприцем, наполненным резиновым клеем. Затем рядом, на расстоянии двух-трех миллиметров, вонзил еще один шприц, соединенный со шлангом насоса.

— Прошу покачать,— сказал он, бережно поддерживая на весу все сооружение.— Еще! Еще! — Мяч становился упругим, твердел в его руках.— Еще! Теперь стоп!

Осторожно нажав на второй шприц, он ввел каплю клея внутрь мяча. Затем быстро выдернул обе иглы.

Но публика была разочарована. Из проколов с тонким свистом вышел воздух. Перед зрителями был никому не интересный, продырявленный, никуда не годный мяч. Бережкова бросило в холодный пот. Как так? Почему он оконфузился? Неужели вся выдумка ошибочна? Бережков, однако, не выказал смятения.

— Не получилось! — победоносно объявил он.— Так и должно быть по закону Аристотеля.

— Кого? — вырвалось у девушки.

— Аристотеля! — смело подтвердил Бережков.— И русского естествоиспытателя, изобретателя аэросаней, Пантелеймона Гусина. Прошу внимания! С вашего позволения, беру следующий мяч!

Все процедуры, уже ранее совершенные над другим мячом были проделаны вновь. В мыслях Бережков лихорадочно доискивался: где же, в чем он допустил ошибку? Опять он осторожно нажимает на шприц с резиновым клеем... Осторожно?.. Может быть, в этом загвоздка? Может быть, он переосторожничал, впустил маловато клея? А ну, нажмем грубей! Вот так... Теперь выдернем обе иглы.

Подвергшийся операции мяч лежал на ладони Бережкова. Тот ждал: сейчас придется, наверное, услышать тонкий свист воздуха, который вырвется из дырочек... Нет, настороженное ухо не улавливало ничего похожего на такой свист. Маленькое чудо конструктора Бережкова свершилось. Облезший, ослабевший, старый мяч был омоложен, стал упругим. Воздух из него не выходил: клей мгновенно закупорил проколы под сильным давлением изнутри.

— Пожалуйста! — Бережков с силой бросил мяч об землю и поймал его высоко в воздухе.— Давайте сюда все ваши мячи! Патент оставляю за собой...

— Патент? Неужели вы это придумали! — воскликнул Любарский.

— Клянусь, только что придумал.

— А ну, дайте-ка сюда.

Он взял у Бережкова оба шприца, с интересом повертел их, принял от дочери следующий вялый мяч и, держа все это перед собой, рассмеялся.

— Просто! Удивительно просто! — проговорил он.

И воткнул в мяч одну за другой обе иглы. Бережков поймал его улыбку,— как ни странно, она напоминала сейчас прирожденную ребячливую улыбку самого Бережкова. Скрывая волнение, которое било его, как озноб, Бережков с ожесточением стал работать насосом. Любарский очень ловко проделал всю операцию. Было видно, что он тоже по натуре конструктор, что вещи легко подчиняются его умелым длинным пальцам. Омоложенный мяч и на этот раз отлично запрыгал.

Главный инженер уже смотрел без отчуждения на своего гостя.

Бережкова охватил восторг.

О, он порасскажет в Москве, в институте, о своих подвигах, о том, как оттаял этот неприступный инженер с мефистофельской острой бородкой. Любарский надул еще один мяч, потом третий, четвертый.

— Вы тоже любите теннис? — расспрашивал он.

— Еще бы!

Позабыв о своей хромоте, Бережков готов был хоть сейчас выбежать с ракеткой на площадку. Он был так возбужден, что и впрямь смог бы, наверное, показать неплохой класс игры. Однако Любарский уже говорил о другом:

— Где же ваш голубой конверт? По телефону вы прелестно меня заинтриговали... Сочинили целый роман.

— Что вы? Никогда не сочиняю. У меня для вас письмо от Августа Ивановича Шелеста и огромный том французского журнала с его надписью: «Нежному поклоннику и рыцарю моторов...»

— Моторов? — Любарский расхохотался.— Какой же журнал? За какой год?

Выслушав ответ, он живо сказал:

— О, для меня это новинка. С удовольствием посмотрю. Спасибо. Разрешите пригласить вас в кабинет.

— Нет! — вмешалась дочь Любарского.— Хозяйка я. Приглашаю нашего гостя к чаю.

«Нашего гостя»! Что еще требовалось Бережкову? «Победа! Победа!» — безмолвно повторял он, словно посылая радостные радиосигналы товарищам в Москву.

Вскоре он уже сидел за чаем на террасе и расписывал дамам прелести столичной жизни.

После чая Любарский любезно сказал:

— Пройдемте ко мне...

Огромный домашний кабинет главного инженера был расположен на втором этаже. Одна стена, срезанная по уголкам косыми гранями, была почти сплошь из стекла, словно фонарь. Отсюда далеко виднелось течение Днепра, кое-где будто прерванное изгибом берега, потом вновь блистающее в мареве солнца. Широко расстилалась приднепровская степь, изрезанная то свеже-зелеными, то желтоватыми, то темными полосками. Горизонт был неотчетлив; в неясной дымке степь сливалась с небом.

— Потрясающе! — воскликнул Бережков, залюбовавшись.— Потрясающий вид!

— Вам нравится? — откликнулся Любарский.— Я стал тут архитектором. Сам переоборудовал дом и устроил этот фонарик.

— Прелестно!

Бережков посмотрел направо и налево, в обе скошенные грани стеклянной стены.

— А где же завод? — спросил он.

— Позади. В это окно его не видно. Здесь только открытая даль.

У окна на специальной лакированной подставке находился радиоприемник, что в те времена было новинкой. Рядом стояли плетеные кресла и качалка.

— Я люблю здесь отдыхать,— говорил Любарский.— Слушаешь музыку и смотришь туда.

Он помолчал и негромко продекламировал:

— «Россия, нищая Россия! Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви...» Вы помните?

К стыду нашего героя, Бережков не помнил этих строк. И серых изб в окно он не увидел. Далеко на том берегу, в селе, белели украинские мазанки. Ни одной струны в его душе не затронуло умиление нищей Россией. Но он поспешил закивать в знак понимания.

— Присаживайтесь. Выбирайте, где удобнее,— предложил Любарский, указывая на кресло и диван.

В кабинете среди прочей мебели уместилась чертежная доска и некрашеный рабочий стол, где Бережков за-

метил тиски, инструменты и миниатюрный разобранный моторчик. Бережков покосился туда и отвел взгляд, чтобы не показаться нескромным.

— Там ваша мастерская? — деликатно спросил он.

— Да. Посмотрите-ка эту вещичку.

Они подошли к столу.

— Э, тут у вас, Владимир Георгиевич, что-то очень любопытное.

— Мотор моей конструкции в одну десятую лошадиной силы.

— Для чего же такой маленький?

— Хочу на днях запустить авиамодель с одним оригинальным пассажиром.

— С пассажиром? На таком моторчике?

— Да... Вот, не угодно ли?..

Любарский достал и протянул гостю большую фотографию. В небе парил коробчатый воздушный змей с привязанной плетеной корзинкой.

— Держите лупу... Видите, оттуда торчит собачья мордочка? Это у меня собака-летчик... Сейчас мы ее вызовем.

Повернувшись к распахнутой створке окна, Любарский заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Этот мальчишеский жест, мальчишеский свист восхитили Бережкова. Он тоже любил в свободный час поражать друзей и знакомых всяческими фокусами и с удовольствием узнавал такую же жилку в Любарском. Собака, однако, не явилась на призыв.

— Ушла, верно, с ребятами,— сказал Любарский.— Ничего, потом мы еще раз ее свистнем.

Бережкову понравилось и это — показалось очень милым, что ученая собачка где-то бегает на воле. Он уже чувствовал себя очень удобно и приятно в этом доме, уже не сомневался, что сумеет, когда подойдет решающий миг, добиться того, за чем приехал.

А пока Бережков склонился над моторчиком, рассмотрел его устройство.

— Чудесная идея! Я тоже, Владимир Георгиевич, когда-то сконструировал нечто подобное, но применил другой принцип.

Он вынул карандаш, попросил листок бумаги и быстро набросал схему. Любарский следил с интересом.

— Работал он у вас?

— Да. Работал по нескольку минут. Потом ломался. Потом я его забросил.

— Потом забросил... Извечная наша история. Тема для бессмертного романа о России.

— Нет. Хочется, чтобы герой в конце концов все-таки дожал! Вот была бы книга!

Этот ответ рассмешил Любарского.

— В технике вы мыслите куда оригинальнее,— сказал он и, не продолжая философического разговора, снова взял набросок.— Что вы скажете, если я попробую сделать маленький моторчик, используя ваш принцип?

— Пожалуйста... Доходы пополам,— пошутил Бережков.— И слава тоже.

Любарский опять рассмеялся.

— Какие доходы? Какая слава? Где вы живете? Эти милые игрушки я делаю собственноручно для собственного удовольствия.

— Но ведь потом такой моторчик можно запустить в серию, выпускать на заводе для авиалюбителей.

— Что вы? Ей-богу, вы ребенок! Где у нас вы найдете завод, который смог бы производить эти вещицы, требующие тончайшей обработки? Ведь все это я сам отшлифовал...

Здесь же на столе лежал и чертеж моторчика. Завязался разговор специалистов. Бережков снова восхитился некоторыми тонкостями в конструкторском решении, потом спросил:

— Вы позволите, Владимир Георгиевич, критиковать?

Любарский с улыбкой разрешил.

— Не кажется ли вам, что эта группа,— Бережков обвел кончиком карандаша некоторые детали в чертеже,— не совсем вам удалась? Что она как-то тяжелит всю вещь?

Главный инженер уже не улыбался. Да, Бережков угадал. Во всей конструкции эта часть была единственной, которая не удовлетворяла и Любарского; он изорвал много чертежной бумаги, но под конец все-таки сдался, примирился с вариантом, который ему самому казался грубым.

— А что, если бы,— продолжал Бережков,— вы в этом месте дали ей две степени свободы? Предоставили бы ей возможность поиграть...

Он что-то поправил в чертеже. И тотчас с опаской посмотрел на автора. Но Любарский сказал:

— Так, так... Развивайте вашу мысль...

Несколькими взмахами карандаша Бережков на чистом листке изобразил свою мысль.

— Видите, тогда вся эта группа...

— Верно! — воскликнул Любарский.

Не раз он в своих поисках ходил около этой же идеи, и она теперь уже казалась ему собственной.

— Верно! Я сам об этом думал! Но вы-то как это нашли?

Бережков порозовел. Он был чувствителен к похвалам.

— Чудо-ребенок,— со свойственной ему скромностью произнес он и развел руками.

— Чудо-ребенок,— повторил, смеясь, Любарский.— А ну, невинное дитя, давайте-ка ваше письмо...

Заветный чемодан тотчас был раскрыт. Вручив Любарскому письмо, Бережков положил книги аккуратной стопкой на круглый столик у дивана. Заблестело тисненное золотом название французского журнала. У Любарского вырвалось:

— Ах, как они это умеют!

Кончиками пальцев он провел по переплету, по очень искусной имитации кожи. Пробежав письмо, он опять тронул переплет, раскрыл и с улыбкой прочел надпись: «Нежному поклоннику...»

— «Нежному поклоннику...» Жаль, что у меня давно ничего не было в печати. Я написал бы ему: «Милой лисичке Августу Ивановичу Шелесту». С удовольствием провел бы с ним вечерок, посидели бы, пофилософствовали... Разносная статья о его книге? Любопытно...

— Сейчас я вам найду.

Бережков потянул к себе тяжелый том и... И последовал именно тот эффект, что предсказал Шелест. Под журналом лежали альбомы. Их увидел Любарский.

— Что это? Французы? — Он сразу взял альбомы в руки и расположился поудобнее на диване.— Где вы достали?

— У Августа Ивановича. Выпросил себе в дорогу, чтобы поглядеть в поезде для развлечения.

— Боже мой! Поглядеть! В поезде! Для развлечения! — Любарский осторожно переворачивал большие шершавые листы с приклеенными репродукциями, при-

крытыми тончайшей папиросной бумагой.— Ах, как переданы краски! В поезде! Варвар! Этим надо упиваться, созерцать... Ведь это художественные откровения, красота отчаяния, повесть нашего века...

— Нашего века?

— Неужели вас это не трогает? Вот, посмотрите... Одинокий пьяница перед пустой рюмкой. Взгляните на его лицо, на эту упавшую руку. Тут и рука говорит о том, что...— Любарский помолчал, не отводя взгляда от листа.— Нет, этого не скажешь словами. Какой мрак! Ничего впереди! Только эта рюмка! Какая страшная повесть о жизни...

Любарский опять помолчал. Чувствовалось, что его волнует эта живопись. Он развернул другой альбом. Открылась отлично воспроизведенная картина Ван-Гога «Прогулка заключенных». В четырехугольнике тюремного двора шагали друг за другом по кругу на прогулке заключенные.

— А эту вещь можно ли забыть! — воскликнул Любарский.

Сдержанный, суховато-корректный в служебные часы, он в иной обстановке, с людьми своей среды (а такими были для него преимущественно инженеры) любил поговорить и не мог сейчас отказать себе в этом удовольствии. Бережков лишь внимал — излияния главного инженера были для него еще одним знаком признания.

— Вглядитесь в эти тона,— говорил Любарский.— Как в них выражена безнадежность!.. Голубые и сиреневые камни... Вечные сумерки... Здесь никогда не бывает солнца. И никуда не вырвешься из этих стен... Ходи, ходи по кругу... Для чего, зачем? Не ищи ответа... Или, вернее, художник дал ответ: наша жизнь — тюрьма.

Он вздохнул и продолжал:

— Тюрьма... Тяжелая, жуткая бессмыслица. Кто из наших сумел так выразить трагедию существования?

Бережков не прерывал. С нетерпением выжидая момента для разговора о моторе «АДВИ-100», о головках с воздушным охлаждением, внутренне напряженный, как перед броском, он старался быть почтительным, хотя в душе ему казалось немного комичным, что этот удобно развалившийся на диване инженер, по-спортсменски сухощавый, загорелый, небрежно-элегантный, имеющий в своем распоряжении целый завод, устроивший по собст-

венному проекту эту комнату, кабинет-мастерскую, где сконструировал для забавы моторчик-игрушку,— казалось немного комичным, что он сокрушается о том, что «жизнь — тюрьма». Бережков попытался было ради почтительности, ради душевного контакта настроиться на такой же тон, меланхолически вздохнуть, показать и себя тонкой натурой, но ему это решительно не удавалось.

«Какая тюрьма?» — думал он.

Даже эта минута, когда главный инженер, смакуя, не спеша наслаждался раскрытым альбомом и, почти декламируя, толковал картину Ван-Гога, а Бережков с невинным лицом смиренно слушал,— даже эта минута, как ощущал Бережков, была трепетна, необыкновенно интересна. Жизнь — тюрьма. Что за чепуха! А эта борьба за мотор — разве это не настоящая жизнь? Каких же красок, каких страстей тут еще не хватает?!

Вечные сумерки... Откуда ему это взбрело? Бережков посмотрел в окно, в красочный, залитый солнцем мир. Теперь, когда солнце, все еще яркое, горячее, перевалило на вечер, там все стало отчетливее. Уже не сливались в одну блистающую гладь течение Днепра и пески. Вдали небо и земля разделились; само небо было не блеклым, а ярко-голубым; кое-где разбросанные, сияющие белизной облака тоже словно приобрели форму, рельефность. Было видно, как на легком ветру трепетали листья тополя, как играли в зелени тени и свет. Да, вот она, жизнь, ее трепетание.

А Любарский продолжал излияния:

— Ах, какой талант! — восклицал он, рассматривая картину Ван-Гога.— Ведь это написано с гравюры Доре. И живет само по себе! Вы, мой дорогой, любите гравюры?

Бережков не затруднился мгновенно полюбить этот вид художества.

— Но в сравнении с вами,— скромно признался он,— я, разумеется, профан.

— Доре! Калло! Великие мастера гравюры! Их надо изучать, им надо поклоняться!

Бережков оживленно закивал:

— Калло — это, Владимир Георгиевич, и мой, как бы сказать, кумир.

— Вот как? — Приятно удивленный, Любарский про-

должал: — Какую изумительную легенду мне однажды довелось выслушать о нем!

— Легенду? — переспросил Бережков.

Он чуть не добавил: «От Августа Ивановича?», но вовремя прикусил язык.

— Вы ее не знаете?

Бережков не решился отказать хозяину дома в удовольствии блеснуть поразительным рассказом.

— Не знаю,— вылетело у него.

— В таком случае я вас с нею познакомлю. Мне ее поведал... Впрочем, это выяснится по ходу действия... Дело было так. Когда-то, еще до нашей великой социалистической,— эти слова Любарский произнес с иронией,— я побывал за границей и провел некоторое время в Париже, знакомясь там с автомобильными и авиационными заводами. Свободные часы я отдавал музеям...

Далее Бережкову была почти слово в слово, лишь с некоторыми вариациями, преподнесена новелла, с которой он сам не так давно носился. Ему, разумеется, пришлось широко раскрывать маленькие глазки, изображать требуемый обстоятельствами отклик.

— Дивная легенда! — воскликнул в нужном месте он.

И не кривил душой: новелла и сейчас ему понравилась.

— Трагедия всей нашей эпохи,— вздохнул Любарский.

— Почему трагедия?

— Вы не понимаете? Впрочем, некогда и я был молодым. Мечтал быть исключением, нарушителем канонов, дерзновенным автором невиданных вещей... Но разве у нас это возможно?.. Легенда о Калло — это, мой дорогой, реквием, похоронный гимн в честь яркой личности, исключительной индивидуальности, каким нет и не будет места в мире, где мы с вами живем.

Бережкова подмывало затеять дискуссию. Когда-то, горестно макая кисть в заветную баночку эмалевой краски и окрашивая старое жестяное корыто, он хоронил мечты, предавался мыслям, похожим на те, что высказывает сейчас Любарский. Но, черт возьми, разве плоха вторая его, Бережкова, жизнь?! Разве он не обрел снова мечты, дерзания, веру? Э, сеньор Любарский, вы, я вижу, просто не сумели шагнуть во вторую свою жизнь, все скорбите о первой!

Бережков, однако, удержался от возражений. «Не ляпнуть бы чего-нибудь не в лад!» — предостерегал он себя. Но что-нибудь надо же сказать! Любарский вот-вот, ища понимания, вопрошающе взглянет на него, а Бережков, сколько ни шарил, ни одной реплики в тон Любарскому не находил. Ой, худо, худо! Надо скорее выбираться с этой зыбкой почвы. Хватит живописцев! Ведь у него подготовлен еще один эффект — самый главный, последний и неотразимый! Пора, пора! Пришло время для мотора. «Разрешите,— Бережков в воображении галантно откланялся художникам,— отпустить вас с миром». Он осторожно придвинул комплект французского журнала; покосившись, проверил, на месте ли красная шелковая тесьма-закладка, и стал выжидать паузу.

Однако, заметив движение Бережкова, Любарский наложил руку на раскрытый альбом.

— Нет, нет, не трогайте...— Он опять обратил взор на картину Ван-Гога, вздохнул.— Тюрьма, тюрьма... Круг заключенных... Перед этим полотном я когда-то простаивал часами... Ведь художник тут рассказал и обо мне, о нас, мой дорогой... Нет, как хотите, гениальное произведение, а?

Откинувшись, он наконец посмотрел на Бережкова.

18

В тот же момент Бережков протянул ему комплект журнала.

— А это, Владимир Георгиевич?! Что вы скажете об этих произведениях?

Развернув том на заложенном месте, он ловко положил его на колени Любарскому поверх альбома.

— Варвар! — вскрикнул Любарский.— Помнете!

Бережков немедленно помог высвободить альбом из-под тяжелой книги, и Любарский успокоился лишь после того, как цветной оттиск знаменитой «Прогулки заключенных» был прикрыт папиросной бумагой и в таком виде, под флером, оказался в безопасности на столике. Бережков в эти минуты, по его словам, сгорал от нетерпения. Но вот главный инженер снова уселся поудобнее и обратил взор на преподнесенное ему новое произведение.

Справившись с расчетными данными, напечатанными тут же, Любарский сделал несколько тонких замечаний.

— Обратите внимание,— говорил он,— как вписалась сюда линия маслоподачи. Чисто французская легкость. А в общем... В общем, ничего особенного. Вещь сделана способными людьми. Но где в ней откровение, волшебство, то, чем нас поражает гений?

Бережков от души соглашался. Он был такого же мнения об этой новинке. Дай он себе волю, как это бывало в жарких дискуссиях в АДВИ, и от нее полетели бы перья и пух. Да, посредственный французский моторчик. Обычный средний уровень, достигнутый европейским моторостроением. А линия маслоподачи действительно удачна. Приятно, что Любарский так верно и остро чувствует эстетику машины. Бережков деликатно высказал этот комплимент.

— Эстетика машины! — с удовольствием повторил Любарский.— Вы бывали во Франции? У французов эстетика в крови. Там все грациозно. Вот страна, где жизнь — очарование.

Он продолжал распространяться о Франции, снова почти декламируя и, казалось, совершенно позабыв, как только что он сам, трактуя новых французских художников, прочел в их картинах отчаяние, трагедию существования. Но Бережков теперь не дал ему повитать.

— А головки? Не находите ли вы, Владимир Георгиевич, что они, пожалуй, все-таки как-то мало эстетичны?

— Какие головки? А, эти...— Любарский опять обратился к журналу.— Нет, почему? Головки, по-моему, как раз безупречны.

Этого только и ждал Бережков. В тот же момент рядом с напечатанным в журнале чертежом лег небольшой фотоснимок продольного разреза «АДВИ-100». Любарский так и не уловил, откуда его гость достал эту глянцевитую, нисколько не помятую карточку — из кармана ли, из рукава или попросту из воздуха.

— Владимир Георгиевич, вот...— В голосе Бережкова звучали нотки и торжества и просьбы.— Вот, ведь в нашем проекте головки такого же типа!

Два чертежа лежали рядом. Что же теперь мог возразить главный инженер? Наконец-то, наконец-то он обезоружен, он пойман.

Любарский взял снимок и немного откинулся, чтобы

взглянуть издали. Проведя сегодня полтора-два часа в непринужденном общении с Бережковым, расположившись к нему, он по-новому рассматривал работу, которую дотоле в качестве главного инженера завода упорно отклонял.

— Это вы сконструировали?

— Да, принимал в этом участие,— скромно ответил Бережков.

— Что же, недурно... Тоже, конечно, ничего особенного, но приятно скомпоновано. Безукоризненна общая контурная линия. Она у вас, я бы сказал, женственна. Я тоже всегда стремлюсь дать такое очертание и, откровенно говоря, могу вам позавидовать. Вещица, конечно, не хуже «Испано».

— Так постройте же, Владимир Георгиевич, ее!

— С удовольствием бы! Но где?

— Как «где»? На вашем заводе.

— Здесь?

Усталым движением Любарский показал куда-то за спину, за стену, где находился завод, которого не было видно отсюда, из огромного окна. На загорелом лице с острой бородкой мелькнула гримаска.

19

— Неужели вы серьезно думаете,— говорил Любарский,— что мы можем построить ваш мотор?

— Но почему же нет? Ведь вы же сами сказали «ничего особенного». Ведь французы же...

— Боже, вы в самом деле дитя! Такие люди, как мы с вами, должны же понимать, что не нам в нашей дыре производить машины, которые теперь делаются за границей. Вы мне очень симпатичны, но, голубчик, вашего мотора мы не сделаем.

Любарский утомленно опустил веки. Они были морщинистыми, как мелко измятая бумага. Пожалуй, лишь они выдавали возраст этого щеголеватого, барственного инженера, все еще каждый день игравшего в теннис. Сейчас он казался стариком.

Бережков смотрел с ненавистью на эти веки. В ту минуту он увидел под блестящим покровом таланта, артистизма, образованности омертвелую ткань, выжженную

дочерна душу. Так вот почему его сиятельство, этот маркиз из Заднепровья, декламировал об отчаянии, опустошенности, тюрьме. Он сам опустошен, и мир для него темен. Можно ли найти еще слова, чтобы как-нибудь подействовать на него? Нет, все уже сказано, потрачено столько нервной силы, употреблено все, чем был наделен Бережков, совершен последний, много раз продуманный, неотразимый ход и... И в ответ пустой взор, скучающе опущенные веки. Нет, здесь действительно не построят мотора, пока главным инженером останется этот равнодушный и страшный человек.

Бережков бросил взгляд на раскрытый альбом, бережно положенный на круглый столик. Из-под прозрачной бумаги просвечивала картина Ван-Гога: понурые арестанты на прогулке в тюремном дворе. Не владея собой, он вскочил и сорвал прозрачный лист.

— В тюрьму! — закричал он.— В тюрьму!

И ударил кулаком по альбому без всякого почтения к искусству. Любарский ошеломленно выпрямился. Лицо сразу стало холодно-высокомерным.

— Вы, мне кажется...

— Нет, вам не кажется! — прервал Бережков. Он уже не кричал, он взял себя в руки и отчетливо, как бы спокойно выговаривал каждое слово.— Вот где для вас место!

— Будьте любезны, потрудитесь оставить этот дом. Сходить с ума можно и на улице.

— Да, я потружусь! Мы все-таки построим свой мотор, а вас... Вас я сам загоню сюда!

Бережков еще раз ударил кулаком по репродукции и, круто повернувшись, оставив альбомы, вышел от Любарского.

20

Хлопнув дверью в доме главного инженера, Бережков направился в гостиницу, устроился там. Он решил пораньше лечь, скорее уснуть. Это было его испытанным средством против всяких огорчений: во сне зарубцовывались душевные раны. Какой тяжелый день! С языка рвались ругательства, когда он думал о Любарском. Холодный убийца! Душегуб! Удушил, негодяй, наше творение. Но как бы не так! Бережков отоспится, зарядится новой

энергией и утром что-нибудь придумает, повоюет еще за свой мотор.

Однако он ворочался без сна. Как тут уснешь, когда перед глазами так и стоит этот проклятый Любарский. Вот он, прищурясь, с ракеткой в загорелой руке, холодно цедит: «А, это вы?» Вот он, удобно развалившись на диване, скучающе смотрит, говорит: «Такие люди, как мы с вами, должны же понимать». Мы с вами... Прогнившая тварь! Сам его убью! Это тотчас явилось воображению. Любарского ведут к оврагу. Читается приговор: «Виновен в том, что душит творчество... Душит свой завод... Потерял честь инженера... Расстрелять!» И Бережков наводит револьвер, спускает, не дрогнув, курок.

Но как же в конце концов уснуть?

Бережков откинул одеяло, подошел к открытому окну и вдохнул запах акации. Как тихо кругом! Повсюду в окнах темно. Городок спит. В лунной полумгле он разглядел протянувшуюся к бледным звездам железную трубу завода. Да, слабенький заводик. Даже труба в нем не из кирпича. Однако и на таком сколько можно всего сотворить! Опять поднялась тоска. Вспомнились мастерские Технического училища: токарно-механическая, литейная, кузнечная. Какими чудесными они казались Бережкову, когда он первый раз туда вошел! Он тогда забросил занятия в институте, потерял голову, словно влюбленный, и напролет целыми днями мастерил свой первый двигатель, лодочный мотор. Вспомнился Людиновский завод — мощное передовое предприятие, где выпускались тяжелые двигатели — локомобили. Как был счастлив Бережков на студенческой практике там! Даже сейчас, когда он стоял у раскрытого окна над кустами цветущей акации, ему почудились запахи завода: газок расплавленного чугуна, залитого в черную, тоже по-своему пахнущую, формовочную землю, испарения мыльной эмульсии, омывающей горячие, снимающие стружку резцы, и самый аромат этой свежей стальной стружки у станков.

Подумаешь, нельзя отлить головок! Надо захотеть, увлечься. Это же чудо как интересно! В памяти всплыл пренебрежительный, усталый жест, каким Любарский ткнул в направлении завода, указал куда-то за спину, за глухую стену своего кабинета с огромным окном-фонарем. Нарочно, сибарит, поставил так это окно.

Душно... Не заснуть... Почти не замечая, что он делает, Бережков оделся и вышел. Он брел машинально, как лунатик. Но не луна его влекла. Не луна, а труба завода.

21

Бережков брел по ночным, пустынным улицам. В тишине он слышал лишь свои шаги. Нет... Все время улавливался еще какой-то звук. Будто ровный далекий гул мотора. Или водопад... А, это воды Днепра клокочут в порогах. Далеко же разносится глухой ночью этот шум!..

Загудит ли когда-нибудь несчастный «АДВИ-100»? Коснется ли Бережков когда-нибудь его металлических шершавых стенок, ощутит ли пальцами его биение и тепло?

Впереди послышалась песня. Откуда же это? Тут и домов поблизости нет. Бережков уже шел мимо заводского забора, за которым все было темно. Юношеский высокий голос выводил:

Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река...

В приднепровском городке пели о Волге. В этом, разумеется, не было ничего удивительного, но пели как-то необычно, слишком размеренно. Бережков прислушался. Запевале вторили несколько молодых голосов. Откуда же они доносятся? Кажется, поют где-то за забором.

Или, пожалуй, дальше: за углом этой темнеющей длинной ограды. Гуляют? Не похоже. Никто не горланит, ни присвиста, ни пьяного вскрика. Допели «Стеньку Разина». Зазвучал другой мотив:

С неба полуденного
Жара — не подступи...

Сразу вступили те же голоса. Темп опять был слегка замедленным, очень мерным.

Конница Буденного
Раскинулась в степи.

Дойдя до угла, Бережков за поворотом забора увидел косые полосы электрического света из двух раскрытых окон главной конторы завода. В большой комнате с

некрашеными покатыми столами несколько человек чертили и пели. Запевал белобрысый парень, лет семнадцати на вид, с комсомольским значком на рубашке. Он чертил очень усердно. Прежде чем провести линию, он пробовал рейсфедер не только на клочке бумаги, но порой и на собственной руке. Левое запястье с той стороны, где прощупывается пульс, было до локтевого сгиба испещрено черточками туши. Рядом, подтягивая, работал молодой инженер в синей, сильно выцветшей парусиновой куртке, с которым Бережков уже встречался на заводе. Как его фамилия? Кажется, Никифоров. Или Никитин. Он заведовал здесь конструкторским отделом. Раньше, в предыдущие приезды, Бережков почти не обращал на него внимания. Новых моторов здесь не проектировали, должность главного конструктора считалась ненужной, а так называемый конструкторский отдел был, по существу, как понимал Бережков, заурядным чертежным бюро, не оказывающим сколько-нибудь серьезного влияния на заводские дела. Поэтому, видимо, туда и назначили заведующим какого-то птенца, только что выпущенного инженера.

Что же он, как его, Никифоров или Никитин, тут затеял? Чем-то очень знакомым веяло от этой картины, представшей Бережкову в раме ярко освещенного окна. Сразу припомнилось, как много месяцев назад в «избушке», вот так же по ночам, только без песен, питомцы Шелеста вычерчивали детали «АДВИ-100», стремясь скорее выпустить проект.

Из темноты Бережков невольно со вниманием обежал глазами стены. Да, на большом листе в деревянной рамке был изображен общий вид какого-то мотора. Четкие буквы составляли надпись «Заднепровье-100». Бережков тихо присвистнул. Ого, проектируют свою машину. И тоже в сто сил. Сощурившись, он разобрал на листе и строчку помельче: «Конструкция инженера П. Никитина». Вот, значит, кто тут настоящий запевала! Пожалуй, если приглядеться, у него любопытное лицо. Несколько скуластое. Небольшая горбинка на носу. И как бы упрямо оттопыренные уши. И темно-русые, слегка вьющиеся волосы.

За чертежными столами слаженно пели:

Никто пути пройденного
У нас не отберет...

— Можно войти? — крикнул Бережков.

Он стоял уже на свету у подоконника. Все обернулись.

— А, товарищ Бережков?! — сказал Никитин.— Пожалуйста, пожалуйста... Сейчас мы проведем вас сюда. Павлуша! (Паренек-запевала встрепенулся.) Или... Не махнете ли, товарищ Бережков, через окно?

— Не знаю... Кажется, отнялись ноги.

— Почему же?

— Проходил мимо и остолбенел, когда увидел...

— Наш мотор?

— Мотора-то я, собственно, еще не разглядел.

— Так посмотрите... Интересно, что вы скажете.

Никитин подошел и протянул руку. Бережков сжал ее и одним прыжком сел на подоконник. Перекинув ноги, он оказался в комнате.

22

У Никитина слегка заходили желваки, когда Бережков остановился у большого чертежа, оправленного в деревянную рамку. На лице, по-южному смуглом, проступил темноватый, почти незаметный румянец. На лбу яснее обозначилась светлая черточка шрама.

Бережков молча рассматривал чертеж мотора. В первый момент, когда он охватил одним взглядом конструкцию, у него чуть не вырвалось: «Страшилище! Ха-ха... Вздумали состязаться с нами. Посмотрел бы Август Иванович! Сработано не рейсфедером, а топором. Ну и ну, что этот Никитин натворил с динамкой. Она не вместилась в габариты мотора, и конструктор — ха-ха, вот так конструктор! — не нашел ничего лучшего, как вынести ее за контурную линию. У, как она торчит!»

В комнате все ждали, что скажет Бережков.

— Я вижу, что мы пробудили у вас творческую жилку,— проговорил наконец он.

— Товарищ Бережков, можно попросить вас об одной любезности?

— Конечно.

— Выскажите свое мнение напрямик.

— Что же сказать? Откровенно говоря, тут столько еще не продумано, не найдено, что...— С невольной улыбкой превосходства столичный гость стал разби-

рать проект.— Ну, начать хотя бы вот с чего... Разве вы не могли бы срезать эти углы, дать более плавный, естественный изгиб, уменьшающий лобовое сопротивление?

Никитин уже выглядел спокойным. У скул под смуглой кожей ничто больше не ворочалось. Схлынул темноватый румянец.

— Естественный? В этом я сомневаюсь. Углы дают мне жесткость. Я проигрываю в лобовом сопротивлении, но выигрываю в мощности на единицу объема и веса. Эти величины поддаются определению. И разница будет в мою пользу.

Взяв со стола карандаш, вынув из футляра счетную линейку, он тут же на стене стал вычислять. На белой штукатурке быстро возникала длинная цепь уравнений. Бережков улыбался. Смешно: ему, выученику и сотруднику профессора Шелеста, толкуют здесь о жесткости. Однако этот Никитин, пожалуй, кое-что понимает. Оригинально строит доказательство. Неужели он сам додумался до этих формул? Бережков уже следил с интересом.

— Позвольте,— сказал он,— но у вас тут получился другой коэффициент, чем в курсе Шелеста.

— Пожалуйста. Укажите координаты этой библии.

— Координаты... библии?

— Да. Том, главу, страницу. Мы сейчас достанем и проверим.

— Кого? Шелеста?

— А что же он, непогрешим?

Никитин довел вычисления до конца и протянул Бережкову карандаш:

— Прошу опровергнуть!

— И нечем крыть! — выпалил белобрысый парнишка.

— Павлуша, помолчи!

Это прозвучало строго, но, покосившись, Никитин не удержался, чтобы не подмигнуть уголком глаза Павлуше. А Бережков в самом деле не мог обнаружить ошибки в любопытном, замысловатом расчете. Он опять посмотрел на чертеж. Гм... В этой угловатости действительно есть некая система. Но в общем, вещь, конечно, топорна. Так и подмывает поправить.

— Боюсь,— все еще с улыбкой превосходства сказал он,— что мне трудно будет с вами спорить. Видите ли,

мне свойственно мыслить не формулами, а чертежами. И опровергать чертежами. Допускаете ли вы такой способ дискуссии?

— Предположим.

Бережков хотел было взять карандаш, но вдруг передумал. Из бокового кармана своего пиджака он вытащил фотоснимок главного разреза «АДВИ-100», в точности такой же, какой днем он положил перед Любарским.

— Разрешите приколоть?

— Пожалуйста.

Никитин сам ему помог прикрепить кнопками снимок к деревянной планке над листом, возле которого они стояли. Бережков отступил на несколько шагов. Ну о чем, собственно, спорить? Достаточно взглянуть на эти два решения. Он даже вздохнул. Да, компоновка «АДВИ-100» ему, несомненно, удалась. Как изящно она выглядит в сравнении с этим... С этим, ну конечно же, страшилищем!

— Посмотрите, товарищ Никитин, на обе эти вещи. И скажите совершенно искренне, как мы условились: разве вам не ясно, какая из них лучше?

— Ясно. Наша.

— Вот как?! — Бережков не сразу нашелся.— Ну, сравним. Сегодня даже ваш главный инженер мосье Любарский, черт бы его побрал, который целый год от нас отмахивается, назвал конфигурацию «АДВИ-100» безукоризненной. Или, как он соблаговолил выразиться, безукоризненно женственной. Взгляните. Подобные очертания вы встретите в природе, то есть у самого великого конструктора...

— Однако,— перебил Никитин,— природа сотворила также и мужчину, существо значительно более угловатое, жестче сконструированное...

Никитин продолжал говорить, а Бережков опять поймал себя на том, что следит с интересом за возражениями этого забияки-инженера.

— В этой мысли что-то есть,— протянул он.— Но вы осуществили ее до того грубо...

— Чем же вы это определяете?

— Чем? Конструктор это схватывает глазом, чутьем...

— Конструктор «божьей милостью»?

— Не скрою, я признаю такое выражение, хотя не верю ни в какого бога. А вы отрицаете?

— Подвергаю сомнению.

И вдруг в комнате раздалось:

С неба полуденного
Жара — не подступи...

Дирижируя исчерканной тушью рукой, Павлуша задал теперь удалой темп. Он ерзал и привскакивал па стуле. Над белесыми бровями блестели мелкие капельки пота. Всем, кто сидел тут за чертежными столами, было понятно: Никитин отстоял «Заднепровье-100», не срезался, бьет этого ферта, московского конструктора. Молодые голоса поддержали запевалу. Никитин жестом потребовал молчания, но, повернувшись к товарищам, улыбнулся им и закусил губу, чтобы сдержать эту улыбку.

— Вы, как я вижу, во всем на свете сомневаетесь,— сказал Бережков.

— Да. Лишь вот что несомненно.

Вскинув голову, Никитин показал на узкое красное полотнище, прибитое у потолка. Это был первомайский плакат. Кумач слегка выгорел. На нем мазками жидкого мела, уже кое-где потрескавшегося, были написаны слова о Первом мая и призыв: «Да здравствует победа коммунизма во всем мире!»

Бережков сел на табурет. Сколько лет этому скуластому инженеру-математику, который ничего не принимает на веру? Пожалуй, двадцати пяти еще не стукнуло. Этот не потеряет, не растратит времени просто так, на ветер, зря. Пожалуй,— Бережков покосился на скуластое лицо,— и дня не потеряет.

23

— В каком институте вы учились? — спросил Бережков.

— В Московском Высшем техническом училище.

— О, я тоже оттуда. А у кого слушали курс авиамоторов? У Шелеста?

— Нет, у Ганьшина.

— У Ганьшина?

В самом деле, ведь его друг, очкастый Ганьшин, с кем была проведена юность, уже успел вырастить немало учеников! Бережков смотрел на Никитина и как бы видел

перед собой время. Много его утекло. У Ганьшина уже ученики... А ведь в Никитине впрямь чувствуется что-то ганьшинское: математический уклон, аналитическая складка. И, пожалуй, язвительность. Но в остальном это совсем-совсем не Ганьшин.

Сразу нашлось много общих тем, помимо взволновавшего обоих спора. Дружелюбно разговаривая, перебрасываясь вопросами, они словно отдыхали после первой схватки. Снимок «АДВИ-100» был все еще приколот над главным разрезом конструкции, подписанной Никитиным — вот этим улыбающимся белозубым крепышом с голубоватым косым шрамиком на лбу. От чего у него шрам? От пули? Бережков спросил об этом.

— Нет,— ответил Никитин.— Я в детстве любил драться. «На камни», как у нас здесь говорят.

— Здесь? Разве вы местный?

— Да... Вы же знаете моего отца... Однажды добрались и до него со своими чертежами.

Бережков мигом сообразил. Удивительно, как он до сих пор не догадался. Да, да, у старика обер-мастера литейного цеха, с кем он как-то долго толковал, такие же скулы, такой же горбатый нос, только несколько нависший. И даже в голосе, в отрывистой манере есть что-то общее.

— Слушайте,— воскликнул Бережков,— ведь ваш отец сможет нам отлить головки! Надо лишь, чтобы завод принял чертежи.

— А Любарский не принимает?

— Нет. Хоть расшибись перед ним...

— Расшибаться перед ним не надо. Надеюсь, мы сами его скоро расшибем. Вернее, вышибем.

— Но когда же? Скажите, товарищ Никитин, мне начистоту: построим ли мы когда-нибудь здесь свой мотор?

— Начистоту? Я не верю в вашу вещь.

— Почему же? Посмотрите. Ведь это в самом деле безукоризненная конструкция. Европейского уровня, без всяких скидок.

— Согласен. Допускаю даже, что анализ, если бы нам удалось свести оба проекта к выражениям чистой математики, докажет ваше преимущество. Но необходимо иметь в виду, по крайней мере, два поправочных коэффициента. Первое — завод. Наша вещь опирается на возможности завода, на его оборудование, на его традицию. Она разви-

вает завод дальше. Второе... Второе я назвал бы материнством...

— Материнством?

— Да. Это будет и при коммунизме. Мы любим свое детище. И будем за него драться, не спать ночей, выхаживать его всем заводом. И построим, доведем, дадим реальный крепкий советский мотор.

— А... а наша машина?

— Завод обязан ее сделать... Но я уже сказал вам свое мнение. Это абстракция. Мне она чужда.

— Так, мой друг, повернулось дело,—говорил мне Бережков.— Я не нашел поддержки и в конструкторском бюро, у молодого конструктора Никитина. Должен, между прочим, заметить, что у него я перенял и как-то естественно вмонтировал в свою философию творчества слово «материнство». Оно очень точно выражает отношение конструктора к своему созданию. Ведь не случайно мадонна с младенцем, множество раз изображенная художниками, считалась из века в век символом творчества. Слушайте, однако, дальше. Надо рассказать еще про одну встречу, которая произошла у меня там же, в этом городке. Для живописания этой встречи перенесемся-ка на заднепровский стадион, на футбольный матч Заднепровье — Мариуполь...

24

Бережков бестолково провел день, требуя в заводоуправлении официального рассмотрения чертежей, нервничая и кипятясь, а после гудка, когда из проходной будки повалила оживленная толпа, он еще раз сквозь зубы чертыхнулся и, решив отвлечься, сел в переполненный рабочий поезд, отправился с завода в город и поехал на футбольный матч, о котором возвещала рукописная афиша.

Заняв место в тесном ряду зрителей на деревянной некрашеной скамейке, он уныло взирал на стадион.

Появились команды, совершили традиционную пробежку по границе поля и выстроились в центральном кругу друг против друга, оранжевые майки против темно-зеленых. Судья вызвал капитанов. От мариупольцев, из

зеленой шеренги, выбежал высокий, красивый, легкий паренек, а от заднепровцев не спеша, вразвалку, зашагал большой, явно тяжеловатый и явно немолодой капитан с темно-русой вьющейся густой шевелюрой. Что-то в нем — в очертаниях профиля или в повадке—показалось знакомым Бережкову. Он попытался припомнить, но вдруг кто-то со скамеек прокричал:

— Никитину!

Заднепровцы, патриоты своего города, приветствовали, подбадривали капитана. Некоторые называли его запросто по имени. В гуле то и дело слышалось:

— Андрюша!

Юноша-мариуполец чуть усмехнулся, а тот, кому кричали «Андрюша», никак не реагировал, продолжал неторопливо шагать, помахивая слегка согнутыми в локтях, видимо, сильными руками. Никитин... Вот, значит, что в нем знакомо. Но минуту назад Бережкову припоминалось как будто что-то иное, очень давнее, связанное почему-то с вьюжным морозным деньком, с Лефортовским плацем, укутанным в снег... С плацем? Нет, что-то не то...

Бережков спросил у соседа:

— Кто этот Никитин?

— Наш рабочий с моторного завода. Теперь учится в Москве на инженера. На лето приезжает.

— Родственник конструктора Никитина?

— Как же... Старший брат.

Так оказалось объясненным первое впечатление. Больше не утруждая себя этим, Бережков стал следить за матчем.

Нашу книгу, наверное, украсили бы две-три яркие страницы, посвященные футбольному матчу, этой любимой у нас игре, увлекательной и на знаменитом московском стадионе «Динамо», и на каком-нибудь истоптанном неогороженном поле, где гоняют мяч мальчишки. Как было бы соблазнительно нарисовать эту картину: мелькание оранжевых и зеленых маек, залитых склоняющимся к вечеру солнцем, взлеты мяча над выгоревшей, желтоватой травой, глухие удары, стремительный бег за мячом, прорыв к воротам, удар, еще удар. И, наконец, гол! Первый гол в ворота заднепровцев.

У Бережкова уже пробудилась спортивная жилка, он с интересом наблюдал за состязанием. И чем больше присматривался, тем яснее различал манеру каждой команды.

У мариупольцев все нити игры как бы стягивал к себе центр нападения, замечательно водивший мяч. Пленяла непринужденность, даже грация, талантливость его игры. Тактика команды заключалась, по преимуществу, в том, чтобы подать ему мяч. А у заднепровцев такой ясно видимой, выделяющейся центральной фигуры как будто бы и не было. Никитин, капитан команды, играл в полузащите и отнюдь не стремился лично забить гол, хотя порой, в нужный момент, несмотря на возраст и некоторую тяжеловатость, мог очень быстро бегать. Он искусно отнимал мяч, сильно и точно передавал его своим. У этой команды, сложившейся в небольшом, малоизвестном украинском городке, пожалуй, совсем не было блестящих игроков, но она отличалась иным: сработанностью, слаженностью, сплоченностью. Только это, как понимал Бережков, позволяло заднепровцам противостоять натиску зеленых маек.

Противники сыграли вничью. После матча здесь же, на футбольном поле, заднепровцы стали качать своего капитана. Туда же, за усыпанную песком линию, которая еще минуту назад была запретной, хлынули зрители, друзья команды. Никитин, улыбаясь, взлетал и взлетал, подбрасываемый десятками рук. Бережкову опять почудилось что-то знакомое в его улыбке. В чем дело? Не встречался ли он все-таки когда-нибудь с этим Никитиным? Но где же? Когда? Неужели лишь родственное сходство играет шутки с фантазией Бережкова?

25

Озарение памяти пришло наконец полчаса спустя на станции Заднепровье, куда был подан поезд, отправляющийся на завод.

Не решив еще, что ему вечером делать, Бережков похаживал по перрону. В окне одного вагона он снова увидел Андрея Никитина. Тот был уже не в майке, а в светлой голубоватой рубашке. Ничуть не помятая, просторная, она как будто делала Никитина еще более широкоплечим. Еще не совсем просохшие после мытья, зачесанные назад волосы уже распадались на вьющиеся крупные пряди. Он махал кому-то серой кепкой.

Бережков оглянулся и за решеткой перрона, на привокзальной площади, заметил Никитина-отца, рыжеусо-

го мастера-литейщика. Перекинув ногу через седло велосипеда, мастер стоял в горделивой позе, не сдерживая довольной усмешки, пробегающей то и дело под усами. Но Бережков не успел всмотреться, ибо в тот же миг будто разряд молнии выхватил из глубин памяти забытую встречу. Бережков резко обернулся. Никитин все еще махал.

Да, в тот давний морозный денек он тоже махал, сняв папаху, стоя на площадке удаляющегося последнего вагона, прощаясь с теми, кто провожал поезд. Это было в декабре 1919 года под Москвой, на станции Перово, где погрузилась на платформы, прицепленные к бронепоезду, первая эскадрилья аэросаней, выпущенных «Компасом». Да, да, этот самый Никитин, командир отряда, тогда еще очень молодой, принимал аэросани на Лефортовском плацу. Он, прозванный «Смерть Бережкову», вместе с ним, Бережковым, проводил учения, настойчиво требуя инструктажа. Потом погрузка. Метель. Колючие вихорьки снега, несущиеся по настилу. Пулеметы, уже установленные на санях, обернутые брезентом. Последние рукопожатия. Прощальные слова молодого командира: «Спасибо! Когда-нибудь, наверное, еще свидимся!»

Свидимся... Не раздумывая, Бережков вскочил в вагон. Футболисты, уже переодевшиеся, и сопричастные к команде любители футбола, главным образом заводская молодежь, тесно расположившиеся на сиденьях и в проходе, оживленно обсуждали перипетии матча. Бережков протиснулся к Никитину.

— Товарищ Никитин!

Тот неторопливо оторвался от окна.

— Товарищ Никитин! Андрей Степанович, если не ошибаюсь?

— Да...

— Здравствуйте. Привелось все-таки встретиться. Вы меня помните? Мы строили для вас аэросани. Я с вами...

— Бережков?!

— Он самый... Не забыли?

Никитин порывисто протянул руку.

— Какое там забыл? Бывало, засядешь где-нибудь в снегу и поминаешь Бережкова.— Никитин беззлобно, дружески расхохотался.— Ребята, дайте-ка местечко. Садитесь, товарищ Бережков... Поминали и хорошим

словом... Знаете, когда мы ворвались в Ростов, то была поднята чарка и за вас, за весь ваш «Компас».

Бережков сел на уступленное ему место. Начался одинаково интересный для обоих разговор о том, как доводилось воевать на аэросанях. Никитин не отличался многословием и, видимо, больше любил слушать. Рассказывая Бережкову о некоторых фронтовых эпизодах, он порой приостанавливался, припоминал, повторял последнюю сказанную фразу. В его словах чувствовалась продуманность и правдивость, и все же медлительная его манера немного претила натуре Бережкова. Он и не заметил, как сам, на чем-то перебив Никитина, принялся с увлечением описывать рейд аэросаней по льду в день штурма Кронштадта.

Потом разговор снова повернул к нынешнему дню. Бережкову хотелось поведать свои злоключения на заводе. Рабочий поезд тащился не спеша. За окном виднелся Днепр, уже пламенеющий в лучах заката. Кто-то окликнул Никитина:

— Андрюша! Твой старик-то... Гляди, не отстает.

Рядом с поездом по утоптанной тропке, вьющейся возле полотна, ехал на велосипеде рыжеусый мастер. Он быстро вертел педалями, раскраснелся, козырек сдвинутой на затылок кепки торчал вверх, вид попрежнему был победительный. На заводе его называли дедом, хотя седина еще лишь отдельными иголочками пробилась в пушистых усах. Заметив, что сын на него смотрит, он без видимого напряжения наддал ходу и ушел вперед. Андрей добродушно рассмеялся.

А Бережков уже достал из кремового пиджака еще один (кто знает, сколько их там у него было) фотоснимок главного разреза мотора «АДВИ-100». Никитин с интересом взял.

— Только имейте в виду,— с улыбкой предупредил он,— что я всего-навсего студент.

И, по своей манере помолчав, добавил, что учится в Московском Высшем техническом училище и перешел в этом году на четвертый курс.

— А специальность? Надеюсь, авиамоторы?

— Конечно... Наследственное дело.

Он склонился над листом плотной глянцевитой бумаги, где был оттиснут чертеж.

— Чья это подпись? Шелеста? Профессора Августа Ивановича Шелеста?

— Да.

— Замечательный профессор,— произнес Никитин.

— А вчера ваш брат усомнился и в его авторитете.

У Бережкова обиженно, несколько по-детски, выпятились губы. Он собирался пожаловаться старшему из братьев, но все-таки, вопреки накипевшей обиде, ему и сейчас втайне нравилась дерзновенность младшего, которую Бережков, неуемный конструктор, чувствовал и в себе.

— Это же Петя... Петушок,— сказал Никитин.— Так что же у вас, Алексей... Алексей?..

— Алексей Николаевич.

— Так что же у вас, Алексей Николаевич, с мотором?

В этой фразе, в имени-отчестве, Бережков различил новую нотку, новое уважение и внимание. Он выложил всю историю своих мытарств вплоть до вчерашнего ночного спора в конструкторском бюро с Петром Никитиным.

— Представляете, Андрей Степанович, вот его аргументация: вещь абстрактна, родилась не на заводской базе и ему чужда. Препятствовать, конечно, он ничем не будет, но у него нет к ней чувства материнства. Ну, что тут возразишь?

Никитин мягко улыбался.

— Это с ним случается... Он у нас не без загибов.

— Но ведь действительно же, я это знаю по себе, существует такое конструкторское материнство. Что с этим поделаешь?

— Поделаем... Отец в таких случаях хорошо с ним управляется.

Поднявшись, высунув в окно широкие плечи, он поднес руки рупором ко рту и закричал:

— Отец!

Старый мастер, работая педалями, шел голова в голову со стареньким небольшим пыхтящим паровозом, заводской «кукушкой». Услышав голос сына, он немного приотстал.

— Отец! Обожди меня на станции!

Мастер закивал и, отняв на секунду руку от руля, поправил кепку, усы и опять стал нагонять паровоз.

— Ну как, отец, что ты скажешь об этом?

Они уже подходили к домику Никитиных в заводском поселке. Андрей вел отцовский велосипед. Надев очки в стальной вороненой оправе и продолжая шагать, литейный мастер рассматривал чертежик «АДВИ-100». Бережков шел рядом.

Садящееся солнце позолотило все кругом: траву, булыжник мостовой, выбеленные домики, ограды палисадников, вишню и акацию. В этих лучах в волосах мастера играл блеск бронзы, а кожа на его лице, как это часто бывает у рыжеволосых, казалась совсем розовой. Старческой была лишь шея. Там пролегли глубокие извивы морщин, словно какие-то прорытые русла. Они в самом деле были, наверное, за много-много лет прорыты ручейками пота, обильно струящегося в горячем цехе.

— Я это уже видел,— сказал мастер.— Товарищ Бережков в прошлый приезд консультировался со мной, просил меня подумать.

— И вы подумали?! — воскликнул Бережков.

— Подумал. Тонкая работка...

— Степан Лукич, но вы сумеете отлить?

Одним легким движением старик лихо взбросил очки на лоб, словно это были привычные синие очки литейщика.

— Ежели я не сумею, тогда кто же сумеет?!

Бережков, по его выражению, чуть не упал в этот момент. Когда-то, в молодые годы, он часто с таким же удальством произносил подобную же фразу, но, повзрослев, уже не решался повторять ее. А этот старый мастер, которому минуло по меньшей мере пятьдесят пять лет, русский самородок, работающий с расплавленным жарким металлом, искусник стального литья, все еще дерзал говорить так по-молодому.

— Я так и знал,— с хорошей улыбкой произнес Андрей.— Но как же Любарский?

— Давай сюда не только что Любарского, а какого хочешь академика, я с ним возьмусь на грудки по этому вопросу и докажу практически.

Мастер покосился на сына: одобряет ли тот?

— Правильно. Теперь, отец, послушай о Петре.

— О Петре? А что?

— Послушай-ка, послушай...

— А что? — В знак серьезности вопроса Степан Лукич сдвинул очки на нос и из-под лохматых бровей, таких же рыжих, как усы, посмотрел на Бережкова.— Вы видели его проект?

— Видел,— сдержанно сказал Бережков.— Интересная идея. Вчера мы о ней поговорили. Думаю, вещь выйдет.

Отец довольно рассмеялся.

— Выйдет! — уверенно подтвердил он.— В этот проект и моего много внесено. Петро несколько раз собирал всех стариков, проводил с нами дискуссию. И дома, бывало, до того заспорим, что я ему кричу: «Забыл, как я ремень распоясывал?» — Он опять засмеялся.— Много от меня взято. Я и теперь захаживаю в чертежную, проверяю, как чертятся отливки, даю ребятам предложения...

— А нашего мотора,— сказал Бережков,— ваш Петр не желает признавать. И не поддерживает.

Бережков говорил, мастер слушал, шагал, мрачнел, кряхтел. Видимо, эта жалоба на сына была ему очень неприятна. Дойдя до своего палисадника и еще не открыв калитку, он грозно крикнул:

— Петро дома?

В раскрытом окне показалось миловидное девичье лицо, в котором угадывались несколько смягченные родовые, никитинские черты — тот же абрис подбородка, та же бронза в волосах. («Писаная красавица!» — рассказывая, воскликнул Бережков. Впрочем, каждое женское лицо, появляющееся хотя бы на миг в его повествовании, было, как мы знаем, обязательно прелестным.)

Девушка ответила:

— Что ты? Разве в такое время он приходит?

— «Приходит, приходит»,— заворчал отец.— Когда надо, вечно его дома нет.

— Папа, ведь он же на заводе.

— На заводе... Конечно, на заводе...

Он опять метнул взгляд на Бережкова, явно гордясь даже под сердитую руку младшим сыном. И мгновенно принял решение:

— Айдате к нему! Люба, забери велосипед!

На улице было еще светло, край неба был охвачен сияющими красками заката, только-только подступали сумерки, а в чертежном бюро уже горело электричество, выделявшее распахнутые, как и вчера, окна. Листья сиреневого куста, приходившиеся выше подоконника, казались более темными и четкими, чем нижние, уже неясные на глади фасада.

Степан Лукич направился было туда, к окну, но передумал и повернул к главному подъезду. Вахтер дружески его приветствовал:

— А, Лукичу наше нижайшее.

Но литейный мастер лишь кивнул и, пройдя вестибюль, зашагал по коридору. За ним, чуть поотстав, шли его спутники — Бережков и Андрей Никитин. У дверей чертежного бюро старик оглянулся на них, недовольно фыркнул сквозь усы, подождал, взялся за ручку и опять передумал. Достав из кармана потрепанный черный футляр, он вновь водрузил на нос свои очки в тонком ободке вороненой стали. Это сразу придало значительность и даже важность его подвижному горбоносому лицу. Он и сам, видимо, почувствовал себя по-иному: не выдавая запальчивости, спокойным, внушительным жестом открыл дверь и вошел:

— Здорово, воробышки! Как работенка? — произнес он, улыбаясь.

— Погляди сам,— сказал Петр Никитин.— Себя хвалить не будем. А, и Андрюша! И товарищ Бережков! Прошу, прошу...

Положив рейсфедер, он встал и движением головы откинул со лба непослушную прядь. Его волосы, тоже вьющиеся, темно-русые, казались на взгляд более тонкими, чем у старшего брата. Впрочем, потоньше была и фигура в парусиновой синей куртке, и шея, и очертания носа, и губы, и даже, пожалуй, усмешка. Он сделал знак, разрешая всем прервать работу, и продолжал:

— Прости, Андрей, никак не мог вырваться на матч. Говорят, была острая игра?

Андрей промолчал.

— И ребят ты не пустил? — спросил отец.

— Не пустил. Нельзя. Вот дожмем проект и тогда выйдем на поле всей командой...— Петр посмотрел на лица

за чертежными столиками и невольно расправил плечи, потянулся.— Побегаем, погоняем мяч.

Старик хмыкнул и опять метнул из-под бровей взгляд на Бережкова, явно довольный ответом своего младшего. Но, тотчас приняв суровый вид, он стал обходить столы, внимательно склоняясь над листами ватмана. Дойдя до белобрысого парнишки, у которого, как и вчера, запястье было испещрено полосками туши, старик проговорил:

— Ишь разукрасился... Чего чертишь?

— Вкладыш, Степан Лукич.

— Вижу, что вкладыш. Какой?

— Задний. Кулачкового валка.

— Так и отвечай... А почему мал приливчик? Я же указывал, чтобы приливчик делать толще.

Петр усмехнулся.

— Могу, отец, достать расчет.

— «Расчет, расчет...» Знаю, что расчет. А лить и обрабатывать так будет удобнее.

— Я твои доказательства обдумал. К сожалению, в данном случае они меня не убедили.

— Не убедили? — закричал отец и сердитым жестом взбросил очки на лоб.

Однако, сразу спохватившись, не желая растрачивать заряда, он водворил очки на место и сказал:

— Отпусти, Петро, ребят на пяток минут. Пусть поразомнутся.

Петр снова усмехнулся.

— Пожалуйста...

Мастер пожевал губами, подошел к висевшему на стене в рамке большому чертежу «Заднепровье-100», постоял около него и, как только затворилась дверь за последним сотрудником бюро, круто повернулся.

— Что же ты, Петро, товарища Бережкова зажимаешь? — спросил он напрямик.

— Никого не зажимаю. К этому московскому проекту я вообще не имею никакого отношения. Дело решает главный инженер. Но если у меня спрашивают мнение, я не скрываю, что вся концепция этого мотора мне чужда.

— А чем докажешь?

— Истина доказывается практикой. Вот построим наш мотор, и тем самым докажу.

— Что докажешь? У тебя будет мотор, у него калька. Ведь построить не даешь!

— Я же сказал, что не имею к этому...

Но старик уже не слушал.

— Почему ему не даешь доказать практикой? Что мы, не сможем, что ли, выстроить ихнюю машину?

В этот момент Бережков словно еще раз увидел гримаску на лице Любарского, услышал, как тот цедит: «Неужели вы серьезно думаете, что в этой дыре...»

А старик выпаливал:

— Чего затираешь человека, ежели за тобой правда? Выходи в открытую. Так я говорю, товарищ Бережков?

— Так,— сказал Бережков.

— Свое «я», вот что ты, Петро, хочешь доказать!

Петр спокойно парировал:

— А разве социализм отрицает личность, или свое «я», говоря по-твоему?

— Ах, режет, режет! — не без восторга воскликнул старик.— Да доказывай свое «я». Но не затирай и человека. Помоги ему. Вот поставим на испытании рядом два мотора и поглядим, чей будет верх.

Степан Лукич опять покосился на Андрея и на Бережкова, проверяя, находят ли его слова одобрение. Бережков медленно кивнул.

Петр опять хотел что-то ответить, но старший брат проговорил:

— Да, Петр, не по-партийному ты подошел к этому делу.

Это были первые слова, которые он произнес с того момента, как вошел сюда.

28

— Если вы предполагаете,— продолжал свою повесть Бережков,— что в результате этой моей встречи с чудеснейшей семьей Никитиных удалось сразу продвинуть наши чертежи в производство, то очень ошибаетесь. Впереди была еще долгая борьба. И на этот раз Любарский все-таки не принял чертежей под тем предлогом, что-де оборудование завода не позволяет изготовить столь сложную конструкцию, в которой поэтому требуются еще упрощения. Все это аргументировалось, казалось бы, самым деловым образом, очень обстоятельно и очень корректно, в официальном письме, под которым значилось: «главный инженер завода В. Любарский».

Бережков вернулся в Москву с этим письмом, скрежеща зубами, как выразился он. В Москве произошел резкий разговор между ним и Шелестом. Бывший младший чертежник впервые со дня своего поступления в АДВИ стал бунтовать против своего директора. Докладывая о встрече с Любарским, Бережков негодовал:

— Я ему крикнул, что уничтожу его.

— Глупо. В высшей степени глупо,— сказал Шелест.— Вы отправились с определенным намерением: наладить отношения. А вместо этого...

— И не раскаиваюсь. И пойду дальше. Пойду прямо к Родионову...

— Ну вот, новая выходка... Родионову, поверьте, и без вас известно, что завод отказывается строить. Я писал и говорил ему об этом.

— Не так говорили... Не теми словами. У вас, Август Иванович, нет решимости сказать, что на заводе должность главного инженера занимает человек, которого надо посадить в тюрьму. Это холодный убийца, негодяй, который спокойно удавит наш проект... Вот как надобно писать Родионову.

— Извините, доносами не занимаюсь. И, знаете ли, не люблю, когда этим занимаются другие.

— Нет, вы не любите своего дела, Август Иванович. Мало любите свой институт, мало любите мотор. Из-за этого все может погибнуть.

— Все... Белый свет провалится. Вечные ваши неистовые преувеличения. Я, конечно, буду у Родионова. Доложу ему, что положение нетерпимо.

— Вот-вот...

— Но без ваших выпадов. Нельзя, Алексей Николаевич, компрометировать инженера. Это непорядочно. Существует честь корпорации. А вы ведете себя так, как будто ничего этого не признаете.

— Не признаю!

— Следовательно, у нас, к сожалению, разные представления о чести, о порядочности,— не без яда проговорил Шелест.

— Разные! — с вызовом подтвердил Бережков.

Они не поссорились. Выговорившись перед профессором, Бережков на время угомонился, предоставив действовать Шелесту, но оба и много лет спустя помнили это столкновение.

Переговоры, переписка, препирательства между институтом и заводом продолжались еще два или три месяца. Наконец последовало вмешательство Центрального Комитета партии. Родионов доложил там, в Центральном Комитете, про этот безобразный случай волокиты. Директор завода был вызван в Москву, и с ним поговорили очень круто. Ему предложили без дальнейших проволочек и придирок приступить к сооружению «АДВИ-100». Начали строить. Прошло еще около года.

— Мы опять ездили на Украину,— рассказывал Бережков — вмешивались, нервничали, спорили, ругались...

— Наступил все-таки день,— продолжал он,— когда наш мотор был выстроен. Мы торжествовали. Наше творение, существовавшее дотоле в чертежах, было рождено. Однако мы побоялись запускать мотор на заводе, где мы по-прежнему были людьми со стороны, где пришлось бы снова воевать, требуя или выпрашивая техническую помощь, и решили взять нашего новорожденного домой, в Москву, чтобы произвести испытания в мастерских института. Теперь завод, думалось, не нужен; дома стены помогают; доводить будем у себя, на своих станках.

Привезли мотор в Москву. Это была величайшая наша ошибка. Мы обрекли сами себя не неминуемую неудачу, ибо, как оказалось, без завода, без серьезной технической базы нельзя произвести доводку, нельзя создать надежный, безотказно действующий авиамотор. Пустить можно, мотор пойдет, но...

Как в бездонной трясине, мы увязли в этих «но»... Понадобилось много трагических уроков, чтобы мы наконец вполне убедились в одной истине, о которой я не раз вам говорил. Извините, я повторю ее вновь: с пуском, по существу, лишь начинается работа над мотором.

Однако тогда это представлялось нам иначе. Казалось, завершен грандиознейший и решающий этап: обдуман проект, подготовлены чертежи, преодолены неисчислимые препятствия, кончены мучения, создана машина. На это ушло около двух лет. Теперь оставалось как будто немногое: испытать и сдать государственной комиссии готовый мотор. Но в опробовании начались с первого

же часа неполадки: потекло масло, обнаружился чрезмерный нагрев подшипников,— словом, открылось множество «детских болезней». Мы пытались бороться с ними собственными силами, вытачивали детали на своих станках, но, справившись с одной бедой, встречали дюжину новых. Не теряя мужества, мы кидались поправлять несчастья, снова запускали мотор, и он снова ломался. Мы с ужасом видели, что дефекты уже насчитываются сотнями. Это не преувеличение. Порой мне казалось, что я схожу с ума. Чудилось, что отовсюду, из всех сочленений, из всех частей мотора, вылезают, как змеи, всякие пороки. Мы рубили им головы, но, словно в страшной сказке, вместо отрубленных тотчас вырастали новые. И все множились, множились...

Кончилось тем, что через полгода с превеликим конфузом мы повезли «АДВИ-100» обратно на завод.

Тем временем на этом заводе группа молодых техников и инженеров во главе с Петром Никитиным тоже закончила сооружение авиамотора в сто лошадиных сил своей конструкции. Такой же мощности машина была построена и конструкторской группой на заводе «Икар». Этим группам было легче, чем нам. Мы со своим мотором вклинивались в чужие цехи; нам приходилось проклинать ужасную медлительность, приходилось умолять, чтобы тот или иной дефект поскорее был устранен, а оба коллектива конструкторов, с которыми мы соревновались, имели к услугам свои парки станков.

Однако и они, заводские конструкторские группы, еще немало помучились, прежде чем что-либо создали. Ни мы, ни заднепровцы, ни инженеры «Икара» так и не сумели в то время, в тот год создать маленький, маломощный авиамотор в сто лошадиных сил, не сумели довести машину до такого состояния, чтобы она выдержала государственное испытание — пятьдесят часов работы без поломок.

Стиснув зубы, мы доводили, дожимали «АДВИ-100». Я опять ездил в Заднепровье, проводил на заводе дни и ночи, требовал, грозил, умолял, и вдруг со мной случилось что-то странное. Он, наш мотор, в который было вложено так много усилий, вдруг стал мне неинтересен.

— Не знаю, сумею ли я вам это объяснить,— продолжал Бережков.— Вообразите: вы пишете интереснейший, как вам кажется, роман, остро ощущая, что ваша вещь попадает в самый нерв современности, что общество ждет такую книгу. Вы с увлечением трудитесь над ней, дожимаете, доводите ее и вдруг, сначала смутно, потом все отчетливее, чувствуете: случилось что-то странное. Вы еще не сознаете, что же, собственно, произошло, но чутье подсказывает вам: ваша недописанная книга — уже вчерашний день, она не захватит читателя. Что-то резко изменилось в современности, появились новые дерзания и мечты, новые люди, которых вы не знаете. Вы по инерции дорабатываете книгу, но в душе знаете: не то.

Что этому причиной? Конечно, в каждом таком случае действует много сил. Но я сейчас хочу выделить одну причину: время. Вы упустили время.

Упрямо дожимая «АДВИ-100», я все чаще ощущал, что время уходит, словно поезд от того, кто отстал. Поезд... Локомотив времени...

Здесь я должен рассказать про одну психологическую черточку, очень важную, как я убежден, для конструкторского творчества. Я говорю о чувстве времени.

Много лет назад я держал экзамен в Московское Высшее техническое училище. Полагалось сдать русский язык, математику, физику и закон божий. Первый экзамен — русский язык, письменная работа, сочинение. Тишина, торжественная обстановка. Над профессорской кафедрой тикали огромные круглые часы. Объявили тему: «Время». Я долго думал. Можно было бы, конечно, написать какое-нибудь рассуждение о геологических эпохах, об истории земли и цивилизации или о том, что время — деньги (это выражение было тогда очень в ходу), но я сообразил, что, наверное, все будут сочинять нечто подобное. А поступать, как все, мне казалось неинтересным.

Я сидел, уставившись на круглые часы, и вдруг уловил, как минутная стрелка дрогнула и передвинулась на одно деление. И внезапно в этот миг я наглядно, физически ощутимо представил себе время. В воображении сразу возникло все сочинение, можно было браться за перо.

Я начал так. Когда человек сидит перед часами, ему кажется, что время едва ползет. Как он ни взглянет на часовую стрелку, она словно застыла. Но если человек мчится в автомобиле, течение времени становится для него более наглядным. Пока он сосчитает «раз, два, три», мимо него уже промелькнуло и осталось позади несколько телеграфных столбов. А близлежащие предметы — например, камни мостовой — даже сливаются в одну бесконечную ленту. Каждая секунда, каждая доля секунды — кусок этой несущейся ленты.

В такой картине я изобразил время как движение. Помню, в своем сочинении я смело заявил, что при температуре минус 273 градуса Цельсия не существует времени, ибо при такой температуре нет движения, это абсолютная смерть, абсолютный межпланетный ноль.

А наше время, двадцатый век, я уподобил несущемуся на всех парах экспрессу.

Только не улыбайтесь. Надо и здесь учитывать время и, в частности, возраст отважного философа, строчащего за партой сочинение.

Итак, наш век я уподобил экспрессу. Мне очень хотелось провести жизнь в таком экспрессе; поэтому я поместил себя туда в качестве пассажира. Однако едва я написал слово «пассажир», это сравнение резнуло меня. Нет, увлеченно писал я, не пассажиром, не в вагоне, а на локомотиве мечтаю я провести жизнь. На локомотиве, чтобы и мои усилия убыстряли его ход.

Движение поезда я представил очень красочно. Этапы жизни были станциями, на которых останавливается поезд. Здесь мы теряли некоторых спутников, вместо них входили новые. Я сочинял с воодушевлением и особенно увлекся, когда вообразил человека, отставшего от поезда. Экспресс тронулся; в окно видно: человек бежит, догоняя последний вагон, но поезд набирает скорость, всем ясно — человеку не успеть, а он в отчаянии все еще бежит. Экспресс поворачивает на закруглении, здесь можно взглянуть на отставшего последний раз, и мы видим, как каждое мгновение нас отделяет от него, как между нами ложится время.

Для нас, будущих инженеров, писал я, жизнь есть яростное стремление вперед: инженер, человек техники,

кто хочет жить вместе с веком, никогда не должен отставать от времени, от экспресса современности. Этим я закончил сочинение и заработал пятерку.

А теперь, в 1928 году, упрямо дожимая «АДВИ-100», я все чаще ощущал, что время уходит, словно поезд от того, кто отстал.

По ночам меня стал преследовать кошмар: я куда-то бегу — локти прижаты к бокам, корпус устремлен вперед, мелькают коленки, дыхание учащенно — и вдруг с ужасом вижу, что не подвигаюсь ни на шаг, что бегу на месте. Во сне я делаю судорожные усилия, чтобы оторваться от мертвой заколдованной точки, напрягаю силы, но напрасно: продолжается страшный бег на месте.

31

Как-то в те дни, в вечерний час, к Бережковым зашел Ганьшин.

Бережков лежал на кушетке в своей комнате. Теперь он часто проводил так вечера — ничего не делая, не притрагиваясь к чертежной бумаге или к книгам, не включая света.

Он услышал шум в прихожей, услышал, как Мария Николаевна здоровалась с гостем... В иные времена Бережков выбежал бы к своему другу, встретил бы его шуткой и улыбкой, а сейчас не хотелось подниматься. Он услышал голос Ганьшина:

— Бережков дома?

— Да.

— Очень хорошо. Он нужен.

Нужен? Вдруг взволнованно забилось сердце. Бережков вскочил. Ему почудилось, что вот-вот, сию минуту, в его жизни произойдет какой-то нежданный-негаданный счастливый поворот. Это не раз бывало в прошлом. И нередко вестником новой, необыкновенной эпопеи являлся Ганьшин. Вспомнилось, как много лет назад, зимним вечером 1919 года, Ганьшин вошел сюда же, в этот дом, в эти двери, и воскликнул чуть ли не с порога: «Бережков, погибаем без тебя! Ты нужен!» И через пять минут друзья уже неслись на мотоциклетках по залитым луной зимним улицам Москвы на заседание «Компаса». Теперь опять такая же зима, такая же луна!

Вот она — в смутном прямоугольнике окна. От нее в неосвещенной комнате голубоватый полумрак.

Быстро нашарив туфли, Бережков бросился встречать того, кто только что сказал о нем, Бережкове: «Он нужен!»

Ганьшин уже снял тяжеловатую шубу на меху и меховую шапку. Носовым платком он протирал запотевшие очки. Без очков его лицо теряло обычную насмешливость, было несколько беспомощным и добрым. Уже известный профессор, теоретик-исследователь авиационных двигателей, он возглавлял винтомоторный отдел в Центральном научном институте авиации, постоянно бывал занят, сосредоточен на своих исследованиях и очень редко находил свободный вечер, чтобы встретиться с другом.

Бережков схватил обе руки Ганьшина и посмотрел ему в глаза.

— Подожди! Не надевай очков! Говори сразу! Скажи что попало, первую подвернувшуюся фразу. Пусть будет нелепость, ерунда, но говори, говори сразу!

Ошеломленный этим натиском, Ганьшин неловко улыбался. Бережков вглядывался в его близорукие глаза.

— Ну! — подгонял он.

— Интересная задачка,— проговорил Ганьшин.— И тебе хорошо за нее заплатят.

— Заплатят? — Бережков разжал пальцы, его руки вяло упали.

— Что ты?

— Надевай свои очки. Не то...

Бережков уныло покачал головой.

— Не то, Ганьшин...

— А я уверен, что ты увлечешься. Это интереснейший заказ. Я узнал о нем случайно и сразу объявил, что такую вещь может сделать только Бережков.

Ганьшин произносил фразы, которые раньше безошибочно действовали на Бережкова. Но тот сказал:

— А теперь ты врешь. Зачем?

— Вовсе не вру. Что с ним?

Ганьшину не нужен был ответ. Он знал от Марии Николаевны про подавленность, про тоску друга и составил вместе с ней небольшой заговор, чтобы как-то разбудить, воскресить прежнего жизнерадостного, вечно увлеченного, азартного и озорного Бережкова. Ганьшин

никогда не одобрял прошлых заблуждений и метаний своего друга, считал, что Бережкову не следует ничем отвлекаться от работы в институте авиационных моторов, от навсегда избранного прямого пути, но на этот раз в виде исключения все-таки решил помочь ему отвлечься. Он отыскал для Бережкова, специально этим занявшись, конструкторскую серьезную задачу, сулящую к тому же, в случае успешного решения, немалый гонорар. А сие, как было известно с давних пор, обычно тоже задевало некоторые струнки Бережкова.

Однако что-то с первых слов было испорчено, с первых слов не удалось.

32

Вскоре все сидели в столовой. На электроплитке готовили кофе. Бережков не надел пиджака, так и остался в домашней фланелевой куртке. Лицо, раньше всегда розовое, заметно пожелтело, казалось обрюзгшим. Уголки губ уже не загибались ребячливо вверх. Ганьшин положил на скатерть небольшой пакет, обернутый в газету,— видимо, какие-то бумаги,— передвинул его, многозначительно произнес: «Вот!» — и даже поднял по-бережковски указательный палец, но и этот прием, рассчитанный на неистребимое любопытство Бережкова, не произвел никакого действия.

— Что с тобой, Алексей?

— Ничего... Служу. Хожу на службу.

— Но ты как будто болен?

— Нет, температура не повышена.

— Духовная? Это я вижу.

Бережков усмехнулся:

— Ничего, бывает... Отлежусь.

— Но почему ты не спросишь, что я тебе принес?

— Я спрашивал.

— А этот сверток? Почему не крикнешь: покажи?

— Ну, покажи...

Сверток был раскрыт. Там оказались два американских журнала. В одном среди прочих рекламных объявлений целую страницу занимала реклама автомобиля «кросс» с несколькими фотоснимками.

На автомобиле был установлен мотор с воздушным охлаждением. В другом журнале, в обзорной серьезной

статье, этому мотору было посвящено пятнадцать — двадцать строк. О нем там говорилось, как о последней технической новинке. Но никакого конструкторского описания, никаких расчетных данных, ни одного чертежа не приводилось.

— Надо спроектировать,— повторил Ганьшин,— тракторный мотор такого типа. Мотор в шестьдесят сил с воздушным охлаждением, с вентиляторным обдувом. Ищут конструктора. Кто сконструирует подобный мотор? Я ответил: Бережков! Только Бережков!

Далее Ганьшин очень ясно проанализировал задачу, произвел примерный расчет теплоотдачи, набросав на полях два-три уравнения.

— Для проектирования,— говорил он,— дают шесть месяцев. А у тебя это будет готово, знаю, в две недели. И заработаешь три тысячи рублей. Столько тебе будет уплачено по договору.

Бережков молча рассматривал снимки.

— Ну, что же ты молчишь? Сделаешь?

— Должно быть, сделаю. Спасибо тебе... Не хочется, а сделаю.

— Что с тобой? — снова спросил Ганьшин.— Чего же тебе хочется?

— Чего мне хочется? Когда-то ты хорошо понимал меня. А теперь... Теперь мы с тобой очень разные.

— Все-таки скажи.

— Мне хочется,— сказал Бережков,— чтобы конструкторы Америки рассматривали снимки моего мотора. Нашего мотора, Ганьшин! И говорили бы между собой: «Черт возьми, никакого конструкторского описания, никаких расчетных данных, как бы нам сделать такую вещь».

Ганьшин промолчал.

— Хочется необыкновенных дел! — продолжал Бережков.— Мне надоела служба, опротивел наш несчастный мотор в сто лошадиных сил, над которым мы возимся два года, который за это время безнадежно устарел. Все опротивело, друг... Ты помнишь, мне мечталось... Э, мало ли о чем мечталось?!

— Но мы с тобой теперь хорошо знаем,— сказал Ганьшин,— что в технике не бывает необыкновенного. Все подготовлено предыдущим развитием. Есть законы технической культуры, через них не перепрыгнешь.

— Вот в этом и проклятие!

— Почему? Ты просто хнычешь. У нас культура моторостроения развивается, мы движемся...

— Движемся...— Бережков махнул рукой.

Он не продолжал спора, опять стал безучастным. А Ганьшин высказывал свои мысли. Человек инженерного мышления ныне уже не может сомневаться, что советский авиамотор скоро будет создан. Если это не удалось до сих пор, то совершится через год или через два года. Для этого есть база, несколько заводов, надо лишь работать. Индустриальная культура понемногу возрастает, научные институты расширяются. Чего ты еще хочешь? Поразить мир гениальными конструкциями? Чудесным способом перескочить через все этапы? Чепуха! Этого не бывает и не будет! Пора стать реалистом, обрести философию инженера. Возьми Ладошникова...

Бережков встрепенулся.

— Ну, как он? Что у него нового?

Ганьшин сказал, что новый большой самолет Ладошникова, «Лад-8», успешно прошел испытания в воздухе. Заинтересовавшись, Бережков расспрашивал о подробностях. Какой размах крыльев у этого «Лад-8»? Какую он показал скорость? Грузоподъемность? Сколько на нем моторов? Один? Какой же марки? Какой мощности?

— Ладошников,— говорил Ганьшин,— облюбовал «Майбах», последнюю модель, шестьсот пятьдесят сил.

— «Майбах»? — протянул Бережков.

Ему вдруг вспомнилась история «Лад-1», для которого одно время предполагалось заполучить немецкий мотор «Майбах», снятый в дни войны со сбитого русскими зенитчиками «цеппелина»,— мотор, тогда самый мощный в мире. Лишь «Адрос» был еще мощнее. Но где теперь «Адрос»? Заброшен, не доведен...

Ганьшин продолжал отчитывать Бережкова:

— Приглядись, как работает Ладошников. Это подвиг последовательности. Он с железной логикой переходит от одной своей конструкции к следующей. А ты мечешься. Предаешься пустым мечтам. Кем ты себя воображаешь? Разочарованным гением? Непонятым художником? Пора наконец уразуметь, что ты не художник, ты техник. Пожалуйста, можешь целый год прохныкать и проваляться на своей кушетке, мотор у нас появится и без тебя. Сна-

чала маломощный, небольшой, потом пойдет нарастание мощности, восходящая кривая. Но пусть это будет и твой восходящий путь. Другого перед тобой нет! Претерпи мужественно неудачи и работай! И не мечтай, пожалуйста, ни о чем несбыточном.

Бережков покорно слушал. Да, Ганьшин нашел свое место в технике, в науке, стал авторитетным ученым, вся последующая жизнь была перед ним словно прочерчена. А он, Бережков, опять маялся, опять не знал, что с собой делать, не находил себе дороги в мире.

Маша сказала:

— Ганьшин, довольно его пробирать... Давайте лучше чем-нибудь его развеселим.

— Хорошо,— сказал Ганьшин.— Где будем встречать Новый год? Чур, только не у вас!

— Почему?

— Потому что из этого субъекта,— он подтолкнул Бережкова,— мириадами выделяются флюиды мрачности. Вся квартира ими переполнена. Соберемся у меня, идет?! И тряхнем, Бережков, стариной. Придумай что-нибудь невероятное, чтобы гости ахнули!

— Да,— невпопад произнес Бережков.

Маша разговорилась, была рада гостю. Лишь Бережков сидел по-прежнему молча — отсутствующий, постаревший, погруженный в свои переживания.

Ганьшин рассказал о некоторых новостях. В промышленности, особенно в машиностроении и в металлургии, заметно оживилось проектирование. Проектируются новые заводы. Говорят, готовятся важные решения такого же рода и об авиапромышленности.

Бережков спросил:

— Новые заводы? Моторостроительные? Где?

Ганьшин этого не знал. Можно предполагать, сказал он, что будет выстроен завод для выпуска моторов типа «Майбах». Ладошников обратился к правительству с запиской о необходимости соорудить такой завод, чтобы обеспечить моторами его новые машины «Лад-8». Идут толки и о других новых заводах. Да и некоторые старые будут, как поговаривают, расширены, обновлены. Московский автомобильный завод АМО определенно будет перестроен. Там начаты уже проектные работы.

Оба друга не знали тогда, что эти толки, эти новости были предвестниками первой пятилетки, знаменитого пер-

вого пятилетнего плана; не знали, что менее чем через полгода этот план будет провозглашен с трибуны партийной конференции на всю страну и на весь мир. В тот вечер Бережков еще не понимал, что, тоскуя и томясь, он всем сердцем ждал эту новую эпоху великих и необыкновенных дел.

— Теперь везде требуются проектировщики и конструкторы,— говорил Ганьшин.— Ты валяешься, ноешь, а между тем настает, кажется, твое время. Поднимайся, берись за карандаш, черти и черти! Я уверен, ты еще потрясешь нас всех своей карьерой.

Бережкову вспомнилась фраза, которую он где-то прочел: «У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба». Он произнес эти слова вслух. Ганьшин махнул рукой.

— Неисправим! — воскликнул он.

У Бережкова радостно екнуло сердце. «Неисправим!» Значит, он еще прежний? Значит, его еще можно узнать?!

— Слышал ли ты, горе-поэт,— продолжал Ганьшин,— что кто-то изложил в стихах правила трамвайного движения. Там есть и такое: «Старик, оставь пустые бредни, входи с задней, сходи с передней». Понял?

— А мне это неинтересно.

— «Старик, оставь пустые бредни...» — еще раз продекламировал Ганьшин. Он рассмеялся. Ему нравилось это двустишие.

Прощаясь, Ганьшин снова пригласил всех к себе встречать Новый год.

— Тысяча девятьсот двадцать девятый,— сказал он.— И мне скоро тридцать шесть.

— А мне тридцать четыре. И еще ничего не сделано.

— Вот и делай скорей мотор с вентиляторным обдувом. Иди завтра же заключай договор. Пойдешь?

— Пойду. Подзаработаю.

— Иронизируешь? Перестань же ныть!

— Хорошо, не буду.

Уходя, Ганьшин долго надевал калоши, шубу. Потом, вдруг перестав укутываться, провозгласил:

— Знаешь, в запасе имеется еще один способ вывести тебя из спячки!

— Какой там еще способ?

— Обязательно приходи ко мне под Новый год. Приготовим тебе сюрприз. Новогодний сюрприз.

Проводив гостя, Бережков взял из столовой журналы, оставленные для него Ганьшиным, и пошел к себе.

В комнате по-прежнему был лунный полусвет. На полу в светлой голубоватой полосе вырисовывалась крестом тень оконных перекладин. Задумавшись, Бережков смотрел на этот крест. Час или полтора часа назад он услышал отсюда возглас Ганьшина: «Он нужен!» — и вскочил, как на призыв судьбы. Но друг ушел, а у Бережкова ничего не изменилось. Заказ? Ну, сделаю, а дальше? Он усмехнулся, включил электричество, положил на стол журналы и рассеянно стал перелистывать.

Плотная, меловой белизны, глянцевитая бумага скользила в пальцах. Типографские краски — цветные и черная — были очень яркие. Журналы молодой Советской страны печатались не на такой бумаге, не такими красками. Медленно переворачивая страницы, Бережков даже в пальцах ощущал иной, неизвестный ему мир — Запад, заграницу. Вот объявления знаменитой «Дженерал моторс компани», вот рекламы фирмы «Райт», фирмы «Сидней», вот небольшая, очерченная овальной рамкой марка Форда.

Бережков листал дальше. В рекламах, заголовках, фотоснимках, рисунках, чертежах перед ним вставала американская промышленность автомобильных и авиационных моторов, проплывала индустриальная Америка.

На раскрытой странице, занятой рекламой моторов «Сидней», был изображен леопард в прыжке. Объявление извещало о выпуске нового авиационного мотора «Сидней-Леопард» мощностью в семьсот лошадиных сил. Все свои моторы фирма «Сидней» называла так: «Сидней-Пума», «Сидней-Ягуар», «Сидней-Лев». К этой мощности, к достигнутому новому пику, сразу подошли, как знал Бережков, несколько конкурирующих американских фирм. Почти такой же мощности уже достигли и последние немецкие моторы «Майбах», «БМВ», «Тайфун» и другие.

А у нас? Советские заводы с великими трудностями стали выпускать авиамоторы в триста сил, и то иностранной конструкции, сегодня уже устаревшие, уже замененные на Западе более современными моделями. И ни одного своего мотора, созданного русскими конструкторами! Неужели мы, черт возьми, творчески бессильны?

Кто доказал, что американцы или немцы умнее, талантливее нас? Нет, с этим Бережков никогда не согласится.

Прошло свыше четырех лет с тех пор, как он смиренным младшим подмастерьем поступил в учение к Шелесту, в Научный институт авиадвигателей. Он уже чувствовал, на что способен сработавшийся коллектив, руководимый таким умницей. Сам он за это время был вышколен, получил теоретическую выучку, стал, без преувеличения, отлично образованным специалистом. Он учился с жадностью, жадно вчитывался в новейшие труды по специальности, жадно всматривался в чертежи. Конечно, чертежи самых новых, самых мощных авиамоторов были коммерческим секретом той или другой иностранной фирмы и не публиковались, но в институт Шелеста теперь часто поступали моторы в натуре, приобретенные в различных странах. Эти моторы изучались на испытательной станции АДВИ. Шелест сам с любовью, с увлечением занимался оснасткой такой станции в новом здании института. Из-за границы по его выбору были выписаны многие мерительные инструменты и приборы. В Управлении Военно-Воздушных Сил он не знал отказа, когда просил об ассигнованиях в золоте для этой цели. Родионов говорил ему: «Вы получите все, Август Иванович, только давайте скорее советский мотор для авиации». Но Шелест не удовлетворился иностранным оборудованием; он давно вынашивал мысли о некоторых собственных приборах, каких не знали за границей. Иногда он брал под руку Бережкова и, прохаживаясь с ним по испытательному залу, выложенному кафельными плитками, ласково заглядывая ему в глаза, делился с ним своими замыслами. Бывало, здесь же, в разговоре, с присущей ему легкостью, с улыбкой, Бережков находил конструкторские решения для какой-либо идеи Шелеста. Конечно, не все мысли поддавались так легко воплощению в некую вещь, в прибор. Коечто удавалось не сразу, требовало переделок, доводки, упорной работы. Шелест гордился своей станцией. Он утверждал, что она не уступает ни одной подобной установке во всем мире. Для изучения очень мощных двигателей был сооружен стенд на открытом воздухе — при форсировке, когда из мотора выжимается все, что он может дать, в институте из-за сотрясения и гула нельзя было бы работать, если бы мотор ревел в самом здании.

С неугасающей жадностью Бережков накидывался на все современные авиационные моторы иностранных марок, прибывающие в институт. Многие часы он проводил около них, разбирая и собирая механизм, чтобы схватить замысел конструктора, быстро набрасывая черновые, приблизительные чертежи главных разрезов. В заграничных конструкциях он нередко встречал то, что с совершенной ясностью давно видел в воображении, порой даже начертил, но не построил, не осуществил, не мог осуществить. Он в таких случаях ощущал, будто кто-то выхватил и отнял от него конструкторскую счастливую находку. Но он не злился: в ту пору в нем еще не пошатнулась вера, что его время впереди, что рано или поздно он станет создателем самых замечательных двигателей на земном шаре. Узнавая конструкции, которые давно виделись ему, он как бы говорил незнакомому автору: «Ну-ка, посмотрим, как тебе это удалось?» Иногда он восхищался отдельными решениями, но в этих своих заочных встречах с иностранными конструкторами он все же не нашел ни одного, перед кем открыто или втайне преклонился бы, кто заставил бы его признать: «Это гений, я не могу так». Нет, всякий раз Бережков испытывал даже некоторое разочарование, всякий раз он твердо знал: «Можно лучше!»

Недавно и Шелесту и Бережкову очень понравилась изящная мощная машина — американский мотор фирмы «Райт», в пятьсот лошадиных сил, для глиссера. Автор этого мотора, пожалуй, наиболее удачно воплотил идею, которая была теоретически разъяснена и разработана Шелестом. На специфическом языке конструкторов она, эта идея, обозначалась кратко: «жесткость». В курсе Шелеста так называлась большая глава, содержавшая много вычислений, расчетов и формул. Мотор «Райт» отличался так называемой блочной конструкцией, которая дотоле не употреблялась в авиационных двигателях,— все цилиндры «Райта» были отлиты в одном куске алюминия, в едином блоке, в монолите металла. Еще до знакомства с «Райтом» Бережков пришел к мысли, что современный авиамотор требует блока цилиндров, такая конструкция виделась ему в фантазии, он даже выразил ее в набросках, и теперь, разглядывая этот прибывший из Америки мотор, разъятый в сборочном зале АДВИ, Бережков снова ощутил, будто кто-то из чужой страны выхватил и осуществил

его замысел. Но теперь чувство было уже горьким. Неужели ему так и суждено лишь рассматривать чужое, неужели так и пройдет жизнь? Снова, но на этот раз с грустью, он мысленно сказал неизвестному ему конструктору: «Что же, поглядим, как тебе это удалось». Изучая машину, он быстро уловил в ней скрытые недостатки, которые для Бережкова, для его острого творческого взора, были кричащими. Талантливому конструктору, автору «Райта», все же не хватало дара общей компоновки. Резко повысив жесткость цилиндровой группы, он не вполне справился с высшей, более трудной задачей,— свою идею он не сумел сделать сквозной, провести сквозь все элементы машины, жестко скомпоновать вещь в целом.

Но вместе с тем Бережков ясно понимал,— может быть, яснее, чем сам конструктор «Райта», что в этой машине, в ее блочной конструкции, заложены возможности развития, которые делают ее наиболее передовой из существующих. Он ощущал в себе силу доказать это, выявить эти возможности в некоей новой машине. Он снова знал: «Я могу лучше».

Нередко после исследований на испытательных стендах его страстно тянуло к чертежному столу, к карандашу. Хотелось нанести на бумагу воображаемые его, Бережкова, создания, которые рождались в нем, томили его, как наваждение. Никто не заказывал ему таких работ, но Бережкову становилось иногда невмоготу. Словно под гипнозом, с немного смущенной мечтательной улыбкой он, случалось, вечером запирался у себя от всего света и, мгновенно выключившись из окружающего, начинал чертить, переносить на бумагу чертежи, которые представали ему в воображении. Но вдруг, опомнившись, печально опускал руки. И бросал, иной раз буквально швырял в угол, скомканный лист и карандаш.

Кому, для кого, для чего он чертит? Где, на каком заводе будут строить эту вещь?

Чертить в ящик? Творить для себя, для одного себя? Нет, Бережков никогда этим не занимался. Он попросту не понимал, как мог бы человек техники, индустрии, творец машин, находить удовлетворение в тщательно разработанных проектах, которым суждено остаться на бумаге.

Но почему же суждено? Завод, завод, могучая техническая база — вот что ему нужно!

С поникшей головой, в тоске, он стоял у своего стола, уже не перелистывая журналов, грустно уставясь на рекламы американских моторов.

Да, он сумел бы лучше! Не лукавя, не красуясь, Бережков повторил это сейчас, наедине с самим собой, перед своей совестью конструктора. Он уже знал себя, знал, что его талант созрел. Когда-то он творил словно по наитию, по чутью, чудесным и как бы необъяснимым образом, теперь, получив серьезное образование, поработав в коллективе Шелеста, он приобрел теоретически ясную техническую руководящую идею, стал зрячим в технике, в ее высших областях.

Но где же точка приложения его сил? Вспомнился опустошенный и словно выжженный, словно обугленный внутри Любарский, построивший для собственного удовольствия моторчик-игрушку. Как вздыхал этот инженер с мефистофельской бородкой, листая французские альбомы!..

Бережков машинально взял номер американского журнала. В мыслях вдруг предстал мистер Роберт Вейл, жизнерадостно крякающий, без стеснения растирающий при госте полнеющее розовое тело. Много времени утекло с тех пор, как Бережков бросил ему вызов, сказал: «Мы еще потягаемся с Америкой!» Да, утекло много времени... Бережкову уже тридцать четыре года, а он еще ничего не создал, ничего, кроме чертежей и нескольких заброшенных, недоведенных моторов.

Как изменить это? Что сказал бы Бережков, если бы его спросили: «Говори, что тебе надо?» Завод! Завод, где его чертежи, его фантазии становились бы машинами,— вот что ему нужно, вот где он померился бы наконец силами со всеми конструкторами Европы и Америки. Ему представился такой завод. Во всех проходных будках — завеса воды. Сначала раздеться, пройти сквозь теплый водопад, надеть по другую сторону белый костюм — только так можно вступить на территорию завода. Необыкновенная чистота во всех цехах!

Э, что мечтать?! Вздохнув, Бережков погасил свет и еще долго стоял, смотрел на пол, на лунную дорожку, где опять косым крестом вырисовывалась тень оконных перекладин.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Три вечера под Новый год

1

Бережков, не затрудняясь, назвал дату, когда случился новый поворот в его судьбе. Эту дату действительно нельзя было забыть; она была особенной, пожалуй, даже странной. Событие, о котором пойдет речь, прозошло под Новый год, в последний день, в последние часы уходящего 1928 года.

— Если нам с вами удастся правдиво написать про этот вечер,— говорил Бережков,— у нас получится настоящий новогодний рассказ нашего века. Совершенно фантастический и вместе с тем совершенно истинный. Мы с вами подходим к временам пятилетки. Это эпоха фантастических дел. Я впервые ощутил ее тогда, под Новый год. Ощутил и мгновенно был захвачен.

В этот день еще с утра Бережков удивился своему несколько приподнятому настроению. «С чего бы это?» — думал он. Одеваясь, он подошел к календарю, оторвал очередной листок, посмотрел на новое число, тридцать первое декабря, последний день года. Хорошо, что наконец истекает этот год, который не дал ему счастья. Вот, наверное, с чего взялась его приподнятость. Что предстоит ему сегодня? Новогоднюю ночь он, как условлено, проведет у Ганьшина. Тот посулил ему сюрприз. Что это будет? Может быть, какая-либо встреча, неожиданная и в то же время желанная.

Бережков смотрел на листок календаря, где типографской черной линией было как бы подчеркнуто «1928». Уже свыше пяти лет пролетело с того вечера, когда он в Выставочном киоске, близ павильона «Металл и электричество», купил две никелированные гаечки. Давно он затерял маленький шестигранник, который собирался беречь всю жизнь... Где-то затерялась и строгая девочка. А что, если она найдется? Нет, слишком нелепо было предполо-

жить, чтобы сегодня, у Ганьшина, который даже не знал о той давней встрече на выставке, могла объявиться Валентина. Однако Бережков подумал: «А вдруг?» Подумал, помечтал... Как это говорится? С Новым годом... С новым счастьем...

Бережков не запомнил, чем он занимался в этот день...

В очень светлом, большом чертежном зале института было шумнее, чем обычно. Праздник, предстоящий вечером, уже вторгся в служебный обиход, разбивал сосредоточенность. Каждому хотелось, чтобы скорее миновал рабочий день. Каждый предвкушал традиционную встречу Нового года, когда в дружеской компании провозглашают всяческие здравицы, пьют вино и веселятся до утра.

Приблизительно в час дня в зале появился Август Иванович Шелест. С утра он где-то читал лекции и сюда, в свой институт, только что приехал. Он тоже, видимо, сегодня не был расположен приниматься за дела. Кивнув всем, он не прошел в свой кабинет, не направился к столам конструкторов, а прислонился к горячей большой печке, облицованной молочно-белым кафелем. Смуглый, с орлиным профилем, с красивой проседью, он молча стоял, греясь у печки, и смотрел куда-то в окно с неопределенной довольной улыбкой.

Здесь вскоре нашла Шелеста его секретарша:

— Август Иванович, вам два раза звонили из Управления Военно-Воздушных Сил. Просили меня, как только вы вернетесь, сообщить туда об этом.

— Что же, сообщите,— сказал Шелест.

Через минуту произошел следующий телефонный разговор:

— Товарищ Шелест?

— Да.

— Говорят из секретариата товарища Родионова. Дмитрий Иванович просит вас приехать.

— Когда?

— Сейчас.

— Сейчас? А что такое? Может быть, вы меня ориентируете?

— К сожалению, ничего не могу добавить. Дмитрий Иванович приказал отыскать вас и немедленно пригласить к нему.

— Но...— Шелест несколько встревожился.— Мне все-таки следовало бы продумать, подготовить вопросы, о ко-

торых будет разговор. Не надо ли мне взять с собой те или иные материалы?

— Нет. Товарищ Родионов об этом ничего не говорил. Пожалуйста, сейчас же выезжайте. Он вас ждет.

Шелест отправился. В АДВИ стало тотчас известно, что директор института зачем-то вызван к начальнику Военно-Воздушных Сил. Строились всяческие предположения. Может быть, новогодние премии, награда? Но за что же награждать, если институт так и не создал советского авиамотора, если злосчастный «АДВИ-100» до сих пор так и не доведен? Или заграничная командировка? Нет, вернее всего, новое задание. Но какое?

Конструкторы с интересом ожидали возвращения директора. Однако через полтора-два часа, когда служебный день уже подходил к концу, оттуда же, из секретариата Родионова, вновь позвонили в институт. Было передано, что Родионов просит ведущих конструкторов института немедленно приехать к нему. Все они были перечислены в небольшом списке, утвержденном, видимо Родионовым.

— Пусть захватят с собой удостоверения личности,— предупредили из секретариата.— Пропуска для всех этих товарищей будут готовы.

В списке значился и Бережков.

Подобных приглашений доселе не случалось. От института до Управления Военно-Воздушных Сил было не близко. Поехали на трамвае. Бережков уже успел забыть о своих предчувствиях, теперь он был по-настоящему взволнован. Уставившись в замерзшее окно, он стоял на площадке трамвая, то и дело ощущая внутреннюю дрожь. Он не мог разговаривать от волнения, молчал всю дорогу.

2

В приемной начальника Военно-Воздушных Сил горело электричество: на улице уже смеркалось.

Войдя вместе с товарищами, Бережков увидел несколько конструкторов из винтомоторного отдела Центрального института авиации и среди них Ганьшина. Ганьшин сидел на подоконнике, как не полагалось бы сидеть профессору, в потертом, мешковатом, как всегда у него, пиджаке, в очках на вздернутом носу, с обычной скепти-

ческой полуулыбкой. Конструкторы из его отдела о чем-то расспрашивали его; они, видимо, тоже только что прибыли сюда; Ганьшин что-то ответил и пожал плечами.

В углу дивана сидел Шелест, явно раздосадованный или обиженный, надутый. Своих учеников, конструкторов АДВИ, он встретил без улыбки. «Э, тут что-то уже произошло»,— подумал Бережков. И подошел к Ганьшину.

— Здравствуй. Что такое? Почему нас вызвали?

Ганьшин лаконично ответил:

— Сверхмощный мотор...

— Как?

— Сверхмощный мотор,— повторил Ганьшин и опять пожал плечами.

— Расскажи толком! — закричал Бережков.

На него покосился секретарь Родионова, покосился, но ничего не сказал на первый раз. А Бережков требовательно сжал обеими руками кисти Ганьшина.

— Ну, расскажи же!

Вспомнилось, как он недавно стоял вот так же перед своим другом, ожидая от него каких-то чудесных, захватывающих слов. Но тогда их не оказалось.

— Спроси у Шелеста,— произнес Ганьшин.— Нам обоим там влетело...

Он указал на тяжелую, плотно прикрытую дверь, ведущую в кабинет Родионова. Туда вошел секретарь. Затем дверь снова раскрылась.

— Товарищи! Дмитрий Иванович вас просит.

3

Бережков первый раз в жизни вошел в кабинет Родионова. Вдоль стены, позади стола, где сидел Родионов, виднелись укрепленные на проволоке модели советских самолетов. Их было много. Выделялись характерные, однотипные по очертаниям, последовательно возраставшие в размерах, монопланы Туполева. Его новый самолет, тяжелый бомбардировщик, тогда только что вступивший в строй Военно-Воздушных Сил, во много раз уменьшенный в модели, был поднят несколько выше к потолку и раскинул почти на полстены мощные крылья светлого легкого металла. Рядом выстроились самолеты Ладошникова, тоже большие, длиннокрылые, поблескивающие нетронутым краской алюминием. Бережков знал: Ладошников, как и

все другие русские конструкторы, страдал из-за отсутствия отечественных двигателей. Он не мог развернуться вовсю, проявить весь свой дар: в его распоряжении были лишь моторы заграничных марок; все они являли собой как бы сгустки технической мысли уже истекшего, вчерашнего дня, то есть были, по существу, уже отсталыми, ибо промышленность, создающая моторы, уже ушла вперед, уже доводила, испытывала неведомые нам новинки.

В сравнении с машинами Туполева и Ладошникова казались маленькими многие другие самолеты, развешанные в кабинете, особенно разведчики и истребители. Все они были созданы советскими конструкторами. Но и для маленьких машин в стране не было своих моторов. Не было ни одной модели авиамотора и в кабинете Родионова. Правда, некоторые моторы иностранных марок выпускались на наших заводах, но Родионов не дал места в своем кабинете этим двигателям. Бережков одним взглядом охватил эту картину: самолеты без моторов.

Родионов поднялся навстречу входившим — сухощавый, высокий, прямой, в военном темно-синем френче. Он приветствовал всех улыбкой, показал рукой на стулья.

— Нуте-с, нуте-с, рассаживайтесь, товарищи,— весело заговорил он.— Разговор будет о большом деле.

Он помедлил, поглядывая на лица, ожидая, пока все расположатся. Снова улыбнулся и повторил:

— О большом деле!

Бережков мгновенно уловил — в те часы он был особенно чуток,— что Родионов переживает некое особенное состояние. Сквозь красноватый здоровый загар, всегда свойственный Родионову, пробился свежий румянец. Жест был сдержанно быстрым. Глаза блестели.

— Я почувствовал тогда обаяние Родинова,— говорил Бережков.

И, увлекаясь, забегая, пожалуй, несколько вперед, он очень теплыми, даже влюбленными словами нарисовал облик Родионова.

— В тот вечер я как бы вновь открыл для себя, понял Родионова,— рассказывал Бережков.— Потом Дмитрий Иванович часто вызывал нас, и я всегда восхищался его четкостью, целеустремленностью, деловой обаятельностью, которую он излучал. Он удивительно сочетал в себе деловую сухость, особого рода недоступность, краткость, лаконичность речи с необыкновенной привлекательностью.

Всем своим видом, каждым жестом он как бы говорил: «К делу! Быстрее к делу!» Однако, когда вы ему что-либо излагали, он, перебивая вас своим любимым «нуте-с», очень внимательно глядя вам в глаза, словно стараясь прочесть мысли, которые живут у вас, кроме тех, что вы высказываете, располагал к тому, чтобы быть с ним очень откровенным. Он умел слушать, от него исходил ток доброжелательства, доверия.

Однако случалось, что Родионов мгновенно изменялся. Именно мгновенно — это было его отличительной чертой. Вот он с вами спокойно разговаривает, спокойно и внимательно выслушивает, никакого волнения или раздражения вы в нем не замечаете, и вдруг, если для него выяснилось, что ваши слова или поступки являются неверными, вредными для дела, которому он беззаветно служит, его охватывало негодование. Он как-то особенно поднимал брови, густо краснел и сразу, без промежуточных оттенков, без нарастания, брал очень круто: начинал быстро, горячо, резко говорить, резко жестикулировать, гневно обрушиваясь на факты или мысли, которые, по его убеждению, являлись неправильными, нетерпимыми. В эти минуты прорывалась наружу его страстность. Потом, после такой вспышки, после того как с силой выбьет его пламя, оно, опять-таки не постепенно, как-то сразу, будто вбиралось внутрь, пропадало, как прихлопнутое. Дмитрий Иванович несколько секунд молчал, потом становился обычным, сдержанным Родионовым.

— Приведу еще одну черточку Дмитрия Ивановича,— вспоминал Бережков.— Бывают работники, которые взяли за правило считать, что в служебной обстановке нельзя посмеяться, пошутить. Они педантично придерживаются этого и ведут себя несколько искусственно, как, по их мнению, должны были бы вести себя на этом месте большие люди. В манере Родионова не было ничего подобного. Он был восприимчив к юмору. При обсуждении любого вопроса он легко улавливал какую-нибудь юмористическую грань, особенно если ее умел мельком выделить остроумный собеседник, и Родионов тогда с удовольствием, просто и весело смеялся. Его смех обрывался тоже как-то круто, и Родионов опять в один миг становился требовательным, внимательным человеком дела. Мягких переходов я за ним не знал.

На похвалу, на всякие материальные поощрения и награды он был очень скуп. Работы без напряжения, без увлечения, без накала он не признавал. Постоянное собственное напряжение, казалось, не утомляло Родионова. Весь смысл жизни для Родионова был в его борьбе, в его работе. Он служил своим идеалам, служил партии и в этом, как я думаю, находил единственное и полное удовлетворение.

В собранной, подтянутой фигуре Дмитрия Ивановича, во всех его поступках, даже в атмосфере, всегда будто несколько наэлектризованной вокруг него, жил этот дух преданности делу, которое ему поручила партия.

Все ради дела — вот чем всегда веяло от Дмитрия Ивановича. Мелкие люди, для которых личное благополучие, деньги, награды, карьера были самым главным в жизни, не любили Родионова и не удерживались около него. Но те, для кого счастьем жизни было творчество — например, конструкторское,— для кого высшей наградой, высшим наслаждением было само создание, сотворение нужной вещи, те обожали Родионова. Все ближе соприкасаясь с ним в дальнейшем, мы, конструкторы, вскоре убедились, что, если в том или ином изобретении, предложении имеется хоть малейший толк, оно найдет максимальную поддержку у Дмитрия Ивановича. Мы знали: он не только продвинет конструкцию в производство, он обеспечит требовательную, придирчивую проверку исполнения. А потом, в случае успеха, будет радоваться вместе с конструктором, будет не менее ярко, чем конструктор, хотя и внешне сдержанно, переживать удачу.

— Таков был человек,— заключил Бережков,— которого тогда, под Новый год, я для себя вновь как бы открыл, в которого с того вечера влюбился.

Приближался час, добавим от себя, когда Родионов, в свою очередь, заново открыл Бережкова.

4

Родионов стоял за своим столом.

— Придвигайтесь, товарищи, поближе,—проговорил он.

Еще с полминуты обождав, он сел и сразу, по своей манере, перешел к делу.

— Я не предполагал, товарищи, созывать сегодня вас. Однако, поговорив днем с вашими руководителями,

с Августом Ивановичем Шелестом и Сергеем Борисовичем Ганьшиным, я, к сожалению, почувствовал, что они не передадут вам моих слов так, как я этого хотел бы.

Посмотрев на Шелеста, затем на Ганьшина, он продолжал:

— Извините, что я говорю об этом прямо. В таких вопросах прямота необходима. Иначе нам не удастся быстро мобилизовать все наши силы, прежде всего душевные, чтобы выполнить задачу, которая ныне выдвинута перед нами Центральным Комитетом партии и правительством.

Родионов снова помедлил. Сосредоточиваясь, чуть сдвинув брови, он куда-то смотрел поверх голов. Затем, будто охватив в этот краткий промежуток молчания все, что он хотел сказать, Родионов продолжал речь, попрежнему сидя, чуть наклонив вперед, к конструкторам, свою нимало не сутулую фигуру. Его мысли были очень ясны. Он напомнил о так называемой «доктрине малого воздушного флота». Эта доктрина дискутировалась несколько лет назад. Вопрос стоял так. По сравнению с империалистическими западными государствами мы — технически отсталая страна. Как быть, если грянет война? Как воевать в воздухе? Сможем ли мы отразить в грозный час войны налеты тяжелых и быстрых эскадрилий врага? Сторонники «доктрины малого воздушного флота» отвечали: для того чтобы быть готовыми к войне, надо направить усилия на развитие оборонительной, легкой авиации, то есть главным образом одноместных истребителей, которые могли бы подниматься и летать на маломощных моторах. Еще в то время, несколько лет назад, партия решительно отвергла эту программу. Приняв ее, мы тем самым надолго признали бы себя второстепенным государством, которое не в состоянии принимать участие в мировом соревновании за высшие достижения в авиации, за первенство в воздухе. Еще тогда партия дала нам другую перспективу: Советская страна должна иметь большой и могучий Военно-Воздушный Флот. Мы часто повторяем это, но на деле это решается борьбой за одну ключевую позицию, которой мы до сих пор не завоевали. Больше того. Мы с вами как-то молчаливо согласились, что в ближайшее время ее нельзя завоевать, то есть, по существу, незаметно соскользнули к той же самой, якобы нами отброшенной,

доктрине малой авиации. Эта ключевая позиция — мощный мотор. Нам казалось, что надо начать с малого, с мотора в сто лошадиных сил. На этом мы сосредоточили усилия всех наших конструкторов, всех производственников. Нас постигали неудачи, но мы не отступались и, конечно, не отступимся, пока не добьемся тут полного успеха, который, несомненно, близок.

Родионов с некоторыми подробностями рассказал о том, что на Заднепровском заводе успешно подвигается освоение мотора в сто лошадиных сил, сконструированного инженером Никитиным, работником этого завода.

— Эти моторы у нас будут,— продолжал он.— Трудности серийного выпуска завод упорно преодолевает. Однако маломощный мотор не решит больших задач нашего фронта. На маломощных моторах не взлетят вот такие самолеты.

Родионов обернулся и сильным сдержанным жестом показал на серебристую металлическую птицу, очень рельефную в свете электричества, размахнувшую крылья над совсем уже темным окном.

— Не всякая великая держава,— продолжал он,— имеет сейчас такие самолеты. Но для них, как вы знаете, мы вынуждены приобретать мощные моторы за границей. А что будет в случае войны? Нуте-с...

На столе перед Родионовым лежал том сочинений Ленина, еще первого издания, в картонном переплете светло-коричневого цвета. Уголки переплета несколько пообтрепались; книгой, видимо, немало пользовались. Среди страниц виднелись две-три бумажные закладки. Родионов развернул книгу на одной из закладок.

— «Война неумолима,— четко прочитал он,— она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и *экономически*... Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей». Вот, товарищи конструкторы... Погибать мы не намерены.— Родионов скупо улыбнулся.— Но тогда — на всех парах вперед!

Родионов кратко рассказал, что на днях в Центральном Комитете партии состоялось заседание, посвященное вопросам авиации.

— Я передаю вам, товарищи,— продолжал он,— директиву партии. Вперед! Нам нужен темп развития, какого не знала ни одна страна, нужен небывалый, бес-

примерный в истории техники рывок. Что же это значит, если говорить об авиации и, в частности, о ваших задачах, товарищи конструкторы моторов?

Родионов назвал сумму, отпущенную на следующий год для капитальных вложений в промышленность авиационных моторов. Это были сотни миллионов рублей в золотом исчислении.

Немного подавшись вперед, к настольной лампе под зеленым абажуром, поглядывая в большой блокнот, Родионов негромко называл цифры. Бережкова потряс этот момент, этот контраст деловитости и дерзновения. Словно не веря собственному переживанию, Бережков покосился в обе стороны. Да, сидят его сотоварищи, конструкторы, люди технического образования, технического мышления; да, перед ними, техниками, только что прозвучали слова, пронизанные зажигательной романтикой: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед». Их прочел этот худощавый серьезный человек, который держится так прямо, у которого чуть пылают щеки и блестят глаза, прочел сидя, не повысив голоса, почти без жестов. Все это — вся сдержанная суховатая манера Родионова, который продолжал оглашать цифры вложений,— все это, казалось, лишь подчеркивало, резче оттеняло необыкновенный, поистине фантастический (как воскликнул, рассказывая, Бережков) смысл того, о чем конструкторы узнали в этот вечер в кабинете начальника Военно-Воздушных Сил страны.

— Таким образом, вы видите,— говорил Родионов,— что доктрина малой авиации вторично похоронена. Теперь мы не дадим ей воскреснуть. Вместе с ней отброшена и вся теория медленного, постепенного, или, как говорят, «нормального», развития техники, в частности техники моторостроения. Новые заводы авиационных моторов, или, во всяком случае, два из таких заводов, будут сооружены и пущены уже в наступающем году. Наилучшее, новейшее оборудование для них будет закуплено на Западе. Но на этом оборудовании надо выпускать советские моторы, которые вам, товарищи конструкторы, предстоит создать,— моторы, не уступающие в мощности сильнейшим заграничным двигателям. Партия поставила перед нами эту задачу — создать советский мощный авиамотор, самый мощный мотор в мире. Нужен проект, нужна конструкция, и не одна — несколько конструкций.

Родионов опять приостановился, словно давая время воспринять, освоить сознанием то, что он сказал.

— Я вызвал вас, товарищи,— добавил он,— только для того, чтобы вы лично от меня выслушали это. Ваши профессора, с которыми я сперва поговорил, к сожалению, усомнились в осуществимости этой большой задачи. Если, конечно, я правильно их понял... Нуте-с...

Он опять взглянул на Шелеста и Ганьшина. Шелест промолчал. Но Ганьшин принял вызов:

— Вы, Дмитрий Иванович, спросили, что я об этом думаю. И я, как специалист, как инженер...

Родионов нахмурился. По тону Ганьшина он уловил, что тот придерживается своего прежнего взгляда. Румянец на щеках Родионова вдруг перестал быть заметным, все лицо начало краснеть. Это был признак гнева. Ганьшин, однако, закончил:

— Как инженер, я не мог не высказать сомнений. Мы, Дмитрий Иванович, можем промахнуться, если сразу поставим себе эту большую цель.

Родионов справился с собой. Вспышки не последовало. Он промолчал. Вновь обозначился румянец. Но и в таких случаях, без вспышки, Родионов умел беспощадно разносить.

— Нет, я не могу назвать вас инженером,— не громко, но резко сказал он.— Если инженеру говорят: вот все, что тебе нужно, вот тебе завод с новейшим оборудованием, лучшие инструменты и приборы, вот тебе денежные средства для всех твоих затрат по производству, возьми все это и построй лучшую в мире машину,— неужели настоящий конструктор, настоящий инженер не вдохновится этим? Неужели инженер откажется от таких возможностей?

Бережков сидел, не чувствуя собственного веса. От волнения его все время будто покалывали иголочки. «Возьми все это и сделай!» Неужели он это слышит наяву? Он опять посмотрел на соседей, оглянулся, увидел помрачневшую упрямую курносую физиономию Ганьшина. «Послушай-ка, послушай! — подумалось ему.— Вот тебе мои фантазии!» Да, все наяву. Как странно за один этот час перевернулись их отношения. Всего несколько дней назад Ганьшин язвительно пробирал друга, впав-

шего в тоску, говорил: «Перестань ныть», а теперь... Кто из них ноет теперь?

Бережков уже всей душой принимал каждое слово Родионова. Как все это необыкновенно, какой потрясающий день!

Поднялся Шелест.

— Дмитрий Иванович!

Нервное смугловатое лицо пожилого профессора, учителя всех русских конструкторов-мотористов, было очень серьезно.

— Дмитрий Иванович! Вы не так нас поняли. Мы указывали на затруднения, но...

— Нуте-с, нуте-с...

— Но кто из нас не мечтает о таком моторе? Для нас будет величайшей честью, если мы, коллектив института...

— Почему «если»?

Шелест осекся. Родионов смотрел требовательно: он не любил условных предложений.

— Для нас, для коллектива АДВИ, будет величайшей честью,— повторил Шелест,— представить вам, положить на этот стол конструкцию самого мощного мотора в мире. И такой день придет, Дмитрий Иванович!

— Ну вот! Прекрасно... Но не опоздайте. У вас будут сильные соперники. Думаю, и группа Ганьшина соберется с духом. На этом, товарищи, сегодня мы закончим. Дискуссии излишни. Начинайте думать, работать! Вскоре, может быть, соберем большое совещание, где откроем дискуссию уже о чертежах. Нуте-с...

Родионов встал. Поднялись и конструкторы.

— Нуте-с,— улыбаясь, сказал он.— С Новым годом, товарищи! С новым мотором!

6

Выйдя из-за стола, Родионов подошел к Ганьшину.

— Что, Сергей Борисович, напустили на себя такую мрачность? Не прокатиться ли нам с вами завтра по случаю Нового года на аэросанях? Ведь это, кажется, давнее ваше увлечение? Или уже перевели себя в почтенный возраст? Поостыли?

— Нет, Дмитрий Иванович. Участвую во всех пробегах.

— А сани в порядке?

— Да.

— Ну, раз сам Ганьшин заявил, что вещь в порядке, значит...

Родионов рассмеялся, не найдя слов.

— Пожалуйста, могу подать,— все еще хмуро проговорил Ганьшин.

— Так прокатимся, Сергей Борисович, завтра на Волгу. И обратно.

— На Волгу?

— Да. Посмотрим площадку для нового моторного завода. Нуте-с, что скажете? Вчера туда уже отправилась комиссия, которая будет выбирать площадку. А тут и мы с вами нагрянем. И, может быть, АДВИ составит нам компанию на других санях. А, Август Иванович?

— С удовольствием,— сказал Шелест.— Алексей Николавич, поведете сани?

Бережков не ответил. Он был странно рассеян и почти не слышал разговоров. В воображении мелькали разные моторы, порой беспорядочно разъятые на части, возникали какие-то несуразные и даже уродливые сочетания, а он как бы со стороны присматривался к этому, еще не понимая в тот момент, что же с ним творится.

— Алексей Николаевич! — вновь окликнул его Шелест.

— А?

— Поведете завтра сани? Разрешите, Дмитрий Иванович, вам его рекомендовать как чемпиона аэросаней.

— Знаю, знаю,— произнес Родионов.— Мы ведь старые знакомые. Побывали вместе...— Его левый глаз прищурился, именно левый (так целятся, наводят мушку), а правый весело, приветливо взирал на Бережкова.— Побывали вместе в некоторых переделках...

Бережков молчал. Лишь слегка вспыхнуло лицо. Да, они повоевали вместе. Родионов это помнит: и поездку на аэросанях к Николаю Егоровичу Жуковскому, и встречу на балтийском берегу в ночь штурма Кронштадта. Помнится это и Бережкову. Странно, как похожа та лихорадка перед боем, тот порыв души, что Бережков познал там, в давнюю мартовскую ночь, на его теперешнее состояние. Но Бережков не нашел слов, чтобы ска-

зать об этом. Он согласился вести аэросани, участвовать в завтрашнем пробеге на Волгу.

— Хорошо,— сказал Родионов.— Итак, товарищи, старт с Лефортовского плаца завтра в девять утра. Возражений нет?

— Может быть, Дмитрий Иванович, в десять? — предложил Шелест.— Ведь мы сегодня встречаем Новый год.

— А я, думаете, не встречаю? Так и просижу Новый год здесь, в управлении? Если бы не Новый год, мы снялись бы на рассвете. Значит, в девять? Решено. Теперь, товарищи... Желаю вам повеселиться... Всего доброго.

Немного сгрудившись в дверях, конструкторы один за другим выходили из кабинета.

— Большое дело! — сказал Шелест, когда затворилась дверь.

Он был тоже взбудоражен и рассеян: тоже, видимо, уже думал о новом моторе. От угрюмости, с какой он сидел тут на диване, казалось, не осталось ничего.

— Алексей Николаевич,— обратился он к Бережкову,— ровно в семь утра приезжайте, пожалуйста, в гарайт...

— Куда?

— Тьфу, черт... В гараж.— Шелест рассмеялся своей оговорке.— Как будто опять времена «Компаса», правда?

— Да,— кратко ответил Бережков.— Хорошо, Август Иванович, в семь утра буду.

Он говорил, а в воображении шла не заметная ни для кого и еще непонятная самому Бережкову работа. Странная улыбка, не в лад с разговором, на миг появилась на его лице. Но он опомнился.

— Да, да... Буду на месте, Август Иванович.

7

От Варварки, от Управления Военно-Воздушных Сил, Бережков и Ганьшин переулками шли к Красной площади. Дул легкий ветер, падал снег. Ярко светились многие окна. На свету было видно, как кружились или неслись наискось крупные хлопья. По пути, на белой мостовой, на

белых тротуарах, то и дело вздымались маленькие завихрения, иногда обдавая снежной пылью.

Бережков взял Ганьшина под руку. Их обгоняли прохожие. Словно по молчаливому согласию, друзья ни словом не обмолвились о заседании, о моторах. Бережкову не хотелось говорить об этом. Он как бы инстинктивно оберегал незримую работу, которая совершалась в нем.

Дышалось легко. Бережков глубоко вбирал морозный воздух. Тротуар под ним словно пружинил. Куда делось угнетение, томившее его так долго?

На Никольской, оживленной улице, где сверкали витрины магазинов, сразу почувствовалась предпраздничная суета. Торопливо проходили мужчины и женщины со свертками, с последними покупками к новогоднему столу. Слышался говор, смех.

Сквозь пелену снега возник светящийся круг электрических часов.

— О, уже десятый,— сказал Ганьшин.— Пойдем прямо ко мне.

— Как же? А переодеться?

— Пустяки. Объяснишь, что такая неожиданность. Вызвали к Родионову. И завтра пробег черт-те куда...

— А кого ты ожидаешь?

Ганьшин перечислил нескольких общих знакомых.

— И кроме того, ведь я обещал тебе сюрприз. Он будет.

— Кто же он такой? Или, может быть, это она?

— Заранее не скажу. Сюрприз.

— Если она...— Бережков остановился среди тротуара.— Тогда, брат, не могу. Лечу переодеться.

— Оставь! — Ганьшин повлек друга.— Я чувствую, что ты сегодня и так, в чем есть, всех очаруешь.

— Знаешь, Ганьшин...— произнес Бережков.

Мечтательная странная улыбка опять проступила на его лице.

— Знаешь, я хочу сам очароваться. Ты когда-нибудь переживал это? Еще не самую любовь, а предчувствие любви, предчувствие, что она вот-вот тебя охватит.

— Переживал.

Бережков неожиданно продекламировал:

— «Мама! Ваш сын прекрасно болен...»

— Что это? Откуда?

— «Мама! Ваш сын прекрасно болен,— не отвечая, с улыбкой читал Бережков.— Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле,— ему уже некуда деться».

— Что это? — снова спросил Ганьшин.

— Маяковский. «Облако в штанах». Необыкновенно волнующая вещь.

— «Прекрасно болен»,— иронически произнес Ганьшин.— Не понимаю. Какой-то набор слов.

— Сухарь! — крикнул Бережков.

Болтал ли он с другом, молчал ли, но в мозгу, помимо его воли, продолжалась незримая работа. Порой будто мерцала новая комбинация, новая конструкция; он всматривался, и все распадалось. Мерещился, лез в голову глиссерный двигатель «Райт». Странно, почему Август Иванович так оговорился? «Гарайт»... Шелест, значит, думал о «Райте»... Вот навязался этот «Райт»! Из-за него, черт побери, не различишь что-то иное, свое, смутно возникавшее в сознании.

С угла улицы друзьям открылась Красная площадь. Прямо перед ними темнели зубцы стены Кремля, проступали сквозь летящий наискось снег силуэты башен, еще с двуглавыми орлами наверху. Над Кремлем трепетало по ветру полотнище красного флага, ярко подсвеченного снизу. Напротив Кремля фонари у длинного здания Торговых рядов бросали на площадь пучки света. Иногда проходили автомашины, вырывая фарами из белесой полумглы полосы проносящихся, кружащихся снежинок. В этой вьюге, в этом призрачном свете московской зимней ночи просторная площадь, покатая с обоих концов, вдоль стены Кремля казалась выпуклой, сфероидальной, как бы сегментом огромного шара.

Бережков опять остановился, поднял руку в шерстяной перчатке, поднял палец.

— Что ты? — спросил Ганьшин.

— Обожди. Постоим минуту.

— Зачем?

Бережков таинственно наклонился к другу.

— Ощущаешь,— понизив голос, сказал он,— как мы несемся в мировом пространстве?

Ганьшин усмехнулся.

— Расфантазировался. Пойдем.

— Обожди... Слышишь, мы с каким-то шуршанием рассекаем эфирные пространства...

— Нет, ничего не слышу.

— Молчи, сухарь.

Они двинулись дальше. Бережков легко шагал, наслаждаясь метелью. В полумгле воображения, словно при неверном свете фар, опять проступали какие-то очертания мотора. Идя об руку со своим маленьким другом, Бережков уже ничего не видел, кроме того, что совершалось в фантазии.

— Ты, пожалуй, на правильном пути,— вдруг проговорил Ганьшин.

Бережков удивленно посмотрел.

— О чем ты?

— Как «о чем»? Разве ты не помнишь, что сейчас ты бормотал?

— Сейчас? Честное слово, не помню... Ну, подскажи! Ну, что я бормотал?

Он тряс Ганьшина за плечи.

— Отпусти. Скажу.

— Ну, что?

— Проклятый «Райт»...

— Ты думаешь? — протянул Бережков.

Ганьшин кивнул. Они снова пошли под руку.

— Нет, ты, брат, не сухарь,— сказал Бережков.— Вовсе не сухарь.

Дорогой — опять словно по молчаливому согласию — они больше не говорили о моторе.

8

Вскоре друзья добрались к месту назначения. Ганьшин отомкнул и растворил перед гостем дверь своей квартиры. Впрочем, говоря точнее, под этим наименованием следовало разуметь две маленькие комнаты, которые молодой профессор, недавно обзаведшийся семьей, занимал в многонаселенной, так называемой коммунальной, квартире. Заметим в скобках, что Бережков просил принести извинение читателям в том, что из его повествования выпали такие события, как женитьба Ганьшина, рождение его дочки, а также потрясающая эпопея обмена двух комнат в разных районах на две вместе, те самые, куда теперь переносится действие этого новогоднего рассказа, совершенно фантастического и совершенно истинного, как объявил Бережков.

...До полуночи было еще далеко, шел лишь одиннадцатый час. От Бережкова веяло морозцем, щеки и руки раскраснелись. Он раскланивался, говорил любезности дамам, с интересом озирался, словно кого-то ища. Нет, напрасно он понадеялся на некое «вдруг»... В самом деле, откуда бы взялась здесь та, о которой он подумал утром, отрывая листок календаря?

Какую же встречу предвещал ему Ганьшин?

Из дальней комнаты кто-то окликнул Бережкова:

— Алешка...

Удивительно знакомый, глуховатый голос. Бережков мгновенно повернулся. Люди добрые, Ладошников! Бережков ринулся к тому, с кем не виделся несколько лет, «ленинградцу», как все уже привыкли называть Ладошникова.

Михаил Михайлович стоял в углу, возле ганьшинского письменного стола, который сегодня был очищен от всего, что напоминало о науке, покрыт, как и обеденный, белоснежной скатертью, уставлен закусками и непочатыми еще питиями. Высоченная, даже, пожалуй, исполинская, фигура Ладошникова как бы подчеркивала незначительные габариты комнаты; казалось, тут ему было тесновато. Годы пребывания в Ленинграде несколько изменили внешность Ладошникова. Как видно, он отвык от когда-то излюбленных высоких сапог и косоворотки. Теперь он был аккуратно подстрижен, одет в отлично сшитый, чтобы не сказать — щегольской, костюм. И все же это был прежний Ладошников. Даже смотрел он по-прежнему из-под бровей, таких же лохматых, нависших, как и раньше,— смотрел на приближающегося Бережкова и улыбался. Шагнув навстречу, слегка задев при этом стол, на котором качнулись бутылки, Ладошников решительно сгреб в объятия соратника по штурму Кронштадта, автора «Адроса», стиснул сильными руками, затем несколько отстранил и сказал:

— Ты, брат, помолодел...

Действительно, в этот вечер Бережков не мог погасить молодого возбуждения, блеска зеленоватых, ставших будто ярче глаз, неудержимо возникавшей улыбки. Он опять узнал прежнего Ладошникова в этом кратком восклицании: тот словно бы ничего не видел, но все примечал. Перестав различать что-либо вокруг, Бережков не отрывал взгляда от приезжего. Давняя юношеская

влюбленность мгновенно вновь завладела сердцем Бережкова. С нежностью он отмечал перемены, которые все открывались в Ладошникове. Того, видимо, покинула прежняя скованность, угрюмая застенчивость. В прошлом он никогда таким свободным движением не обнял бы Бережкова. И улыбка стала свободнее, полнее. Может быть, надо бы сказать «счастливее». Да, этому человеку, новому Ладошникову, ведомо счастье творчества, успех...

Подошел Ганьшин, толкнул Бережкова под бок.

— Ну, нравится сюрприз?

Потом Ладошников обратился к Бережкову:

— Ко мне, в Ленинград, доходили сведения, что ты стареешь, киснешь... А ты, оказывается...

— Какой черт, кисну? — перебил Бережков.— Завтра утром отправляемся в пробег.

— На аэросанях?

— Так точно. Присоединяйся!

— И Ганьшин участвует?

— Не только Ганьшин, но и сам Август Иванович... Видишь, чуть ли не весь «Компас» будет в сборе.

— Соблазнительно... Куда же вы держите путь?

Понизив голос — сведения о завтрашнем маршруте вряд ли следовало оглашать во всеуслышание,— Бережков ответил:

— На Волгу... На площадку нового моторного завода.

Вдруг словно какая-то тень прошла по худощавому лицу Ладошникова. Казалось, проступила на миг его прежняя угрюмость. Пожалуй, в другое время Бережков не уловил бы этой мимолетной тени, но сейчас с проникновением влюбленного он ее увидел.

— Что с тобой, Михаил?

Ладошников помолчал, потом буркнул:

— Нынче у меня день неприятностей.

— Что же случилось?

— Просил об одном деле... Но ничего не вышло... Отказали...

— О чем же просил?

— Дело большое... Касается судьбы одной моей машины.

— Какой? «Лад-8»?

Ладошников кивнул. Бережков не решился дальше расспрашивать на людях. Быстро взяв Михаила Михай-

ловича под руку, он повлек его в прихожую. Однако там среди вороха шуб и шапок — от некоторых еще тянуло холодом — уединилась молодая пара. Впрочем, это уединение было весьма условным: здесь же дымил папиросой пожилой военный. Пока Бережков оглядывал прихожую, отыскивая укромный уголок, раздались пронзительные звонки над входной дверью. К кому-то из обитателей коммунальной квартиры нагрянули гости. Нет, тут, на этой площади общего пользования, не поговоришь. Однако Бережков еще со времен новоселья Ганьшиных был знаком с местностью. Он тотчас нашел выход — выход на черную лестницу.

Смутный свет зимней лунной ночи проникал сквозь заросшие изморозью стекла небольшого окна, расположенного маршем выше. Два конструктора, очутившиеся наконец наедине, поднялись туда, к окну. На белеющем в полумгле фоне Бережков видел будто вырезанный из темного картона профиль Ладошникова: выпуклый лоб, выступающие, сильно развитые надбровные дуги, сжатый энергичный рот. Здесь, в тиши, Ладошников кратко рассказал о том, что называл «днем неприятностей». Приехав утром, он зашел в Управление Военно-Воздушных Сил и тотчас был принят Родионовым, который сообщил, что правительство решило не покупать чертежей «Майбаха», а строить завод для выпуска отечественного мощного авиамотора. Но такого мотора еще нет. И даже проекта нет.

— Кто знает,— продолжал Ладошников,— что станется теперь с «Лад-8»? Серийный выпуск невозможен, пока нет мотора.

Бережков слушал, но никак не мог изобразить на своем лице сочувствия. Опять неудержимо появлялась улыбка. Перед мысленным взором снова всплывали какие-то моторы-уроды, неясные, неустойчивые сочетания разных двигателей.

Перебив Ладошникова, Бережков стал с жаром излагать все, что произошло вечером в кабинете Родионова.

— Нам было сказано: погибнуть или на всех парах устремиться вперед! Это писал Ленин...

— Знаю...

— А сокрушаешься о «Майбахе».

Помолчав, Ладошников ответил:

— Интересный у нас получился дуэт... И печальная-то мелодия у меня.

— Развеселишься! Я тебе это предсказываю. На всех парах вперед! Так поставлен вопрос историей! Понимаешь?

— Ты, Алешка, кажется, совсем не замечаешь холода.

— Не замечаю... Ей-ей, не замечаю.

— А я, признаюсь, продрог.

— В таком случае пошли... Сегодня я тут всех буду развлекать. И тебя развеселю.

9

Некоторое время спустя Бережков уже рассказывал о знаменитой поездке в Серпухов на аэросанях.

В этом доме иные склонности и способности Бережкова нередко расценивались скептически, но его слава рассказчика здесь никогда не меркла.

— После обеда мы вышли на мороз веселые и бодрые,— повествовал он.— Принялись запускать мотор, но не тут-то было... Это, друзья, нечто уму непостижимое. Каждое необычайное событие моей жизни до сих пор обязательно почему-то было связано с необычайным для меня конфузом.

Будто рассказывая этот эпизод впервые, Бережков с прирожденным артистизмом, с жаром изображал все перипетии. По-прежнему, как и на улице, он с наслаждением ощущал, что опять обрел себя. До Нового года, до момента, когда часы начнут отбивать двенадцать, минутной стрелке предстояло пройти еще почти полный круг.

Бережков закончил рассказ, но все желали еще слушать. Стали упрашивать:

— Расскажите что-нибудь еще...

Бережкову и самому хотелось говорить и говорить. Только о чем? Пусть предложит Ладошников.

— Михаил! О чем рассказать?

Ладошников развел руками.

— Уж коль рассказывать, то о самом важном. Что ты считаешь самым важным событием в своей жизни?

— Самым важным? Дайте подумать.

Бережков улыбался. Мелькнула мысль, что, может быть, самое важное событие его жизни происходит именно теперь, сегодня, начавшись с той минуты, когда его вместе с другими вызвали из института к начальнику Военно-Воздушных Сил. На миг его не то детская, не то плутовская улыбка, его сощуренные искрящиеся глазки стали совсем иными, опять не в лад с шутливым тоном, отсутствующими, очень странными. Но всего на миг. Он тотчас воскликнул:

— Есть! Вспомнил одно событие колоссальной важности! Но...

Выдержав интригующую паузу, Бережков обвел всех взглядом.

— Но вы ни за что не угадаете, что это такое! Мои приключения многим тут известны. Попробуйте-ка угадать, о чем я расскажу...

Стали угадывать. Высказывали разные предположения, но Бережков неизменно отвечал коротким «нет».

— Ну-ка, я попробую,— проговорил Ганьшин.— Дай посмотреть в твои глаза.

— Пожалуйста.

Бережков с готовностью наклонился к другу.

— Это вот что,— сказал Ганьшин.— Это еще одно твое приключение на аэросанях.

— Ну, предположим... Ну, а дальше?

— Дальше... Это история твоего водяного...

— Ганьшин, довольно! Ты мне все испортишь. Как ты?..

— Да, думаю, ты правильно идешь...

— Куда иду?

Бережков искренне недоумевал. Он собирался преподнести обществу сильно комическую, эффектную новеллу и уже предвкушал, как в конце все рассмеются, как расхохочется и он. А другой поток в неясной глуби воображения протекал по-своему: там возникали и рассеивались всякие фантастические компоновки, возникали и рассеивались, казалось бы, без всякой связи с новогодней болтовней, с новогодними рассказами. Но что же означают слова Ганьшина?

— Итак, друзья,— произнес Бережков,— до Нового года нам осталось еще...

Стенные часы висели в другой комнате. Он вынул карманные. Весь рассказ у него уже сложился, предстал

ему готовым. И вдруг его рука остановилась. Уши стали краснеть. Он так и не закончил фразы, так и не посмотрел, сколько было времени, или, может быть, смотрел, но уже не видел циферблата. Исчезла плутовская улыбка. Он хотел что-то воскликнуть, но негромко выговорил:

— Извините, я сейчас должен уйти.

И с пылающими, как маков цвет, ушами побежал в переднюю. За ним пошел Ганьшин. Туда же поспешила Мария Николаевна.

— Что с тобой? Куда ты?

— Нашел, Ганьшин, нашел! — закричал Бережков.

— Подожди, но куда же ты?

— Чертить! Запрусь от всего мира...

— Стой! Ты, брат, кажется, хочешь унести чужую шапку.

— Разве? А где моя?

— Стой! Куда ты? — Ганьшин ухватил друга за пуговицу пальто.— Ведь тебе завтра вести аэросани. Ты всех своих подведешь.

— Ганьшин, придумай что-нибудь. Позвони сейчас же Шелесту, что я внезапно заболел.

— Ты, кажется, в самом деле болен...

— Да, да. Прекрасно болен. Понимаешь? Ну, пусти.

Он вырвался и устремился к двери. Сестра крикнула:

— Алеша, и мне пойти? Тебе что-нибудь надо?

— Ничего... Только обвязать телефон подушкой. Нет, двумя подушками.

И он выскочил на лестницу. Вдогонку прогремел бас Ладошникова:

— Бегите и вы, Мария Николаевна. Мы вам поручаем этого одержимого.

10

— Что же вы там хотели рассказать? — с интересом спросил я.— И что у вас внутри в тот момент произошло?

— Хотел преподнести историю водяного бака.

— Какого бака?

— Неужели я вам не говорил про этот случай?

— Нет.

— Не понимаю, как я это упустил? Ведь это — колоссальное событие в моей жизни,

И Бережков поведал мне историю, которую не успел рассказать на вечере у Ганьшина.

— С той ночи,— сказал он,— когда мы оконфузились, не сумев завести мотор, меня не оставляла мысль, что надо придумать какую-нибудь несложную вещицу для того, чтобы в любых условиях, на любом морозе быстро согревать мотор. Вскоре представилась возможность осуществить эту идею. В АДВИ имелся отдел аэросаней, и я, не оставляя многих других дел, которыми занимался в институте, стал строить аэросани собственной конструкции. Помню, я с упоением нарисовал прелестные обтекаемые формы этих аэросаней. Все неуклюжие части, которые обычно очень грубо, очень неэстетично выпирают, я постарался втянуть внутрь под единую красиво выгнутую линию. Затем пришел черед моему маленькому изобретению. Я придумал очень простую вещь, такую, которую не менее сотни лет все знают без меня: самовар. Да, решил вмонтировать в мои сани самовар или водяной бак, действующий подобно самовару. Несколько щепок, несколько сухих березовых чурок, для которых всегда найдется место под сиденьем, и во всякую пургу, в любом пустынном снежном поле у меня будет кипяток, чтобы быстро отогреть и легко пустить мотор. В моем рисунке бак и его трубки составляли приятную волнистую линию, вписанную в профиль саней.

Наконец сани были выстроены. Все испытания они прошли отлично. Был объявлен пробег Москва — Ярославль. В числе участников фигурировал, разумеется, и ваш покорный слуга. На старте я всех поразил моей новинкой; все критически рассматривали мои сани и необыкновенный «самовар», отпуская по этому поводу всякие шутки, со смехом прорицая мне разные беды. В ответ я скромно улыбался. Через некоторое время я уже мчался впереди всех по блестящей целине, по насту. В Ярославль я пришел первым. Пройдя черту финиша, я сделал крутой поворот или, как мы говорим, вираж, и в облаках снежной пыли опять подкатил к этой черте, где ожидали победителя. Открываю дверцу... Красивейшая девушка преподносит мне букет цветов. Нет, два букета... Она дарит мне прелестную улыбку. И вдруг...

Тут Бережков рассмеялся.

— Для гостей Ганьшина,— сказал он,— я, наверное, еще многое присочинил бы: какую-нибудь захватываю-

щую вставную новеллу. Лишь потом в рассказе последовал бы потрясающий эффект. Вам я этот эффект выложу сразу. Ярославль, финиш, заветная черта победы, букет цветов и прочее и прочее — все это было еще очень далеко, обо всем этом я лишь размечтался, сидя за рулевым управлением моих несущихся аэросаней. Вдруг меня сильно подбросило. Крак! Раздался неприятный звук, будто что-то сломалось или треснуло. Канава! Ее я не заметил. Однако после толчка сани снова скользили, лишь немного потеряв скорость. Продолжалось мерное гудение мотора. С минуту я прислушивался. Как будто все обошлось. Я осторожно прибавил ходу. Сани слегка рванулись, и вдруг что-то забарабанило, заскрежетало по обшивке. Что такое? Ведь сани безотказно идут, отлично выдержав удар. Что же там бьет, царапает обшивку? Уже догадываясь, я с упавшим сердцем нажал на тормоза. Сани остановились, я вылез. Так оно и есть. Мой прелестный водяной бак оторвался при толчке. Вдоль саней свисали разорванные трубки. Испустив проклятие, я достал инструменты и принялся отвинчивать болтающиеся жалкие остатки моего изобретения. Мимо проносились участники пробега, издеваясь надо мной.

— И вот тут-то,— Бережков многозначительно поднял указательный палец,— вот тут-то произошло колоссальное событие в моей жизни. Я внезапно понял, что такое жесткость. Нет, здесь не подходит слово «понял». Это я понимал и раньше, читал о жесткости в учебниках, много раз слышал о том же от Августа Ивановича Шелеста, который систематически отстаивал и развивал в своих трудах принцип жесткости в конструировании авиамоторов и воспитывал нас, своих учеников, в духе этого же принципа. Но только тут, на снегу, злясь и чертыхаясь, я впервые не только понял, я почувствовал этот принцип.

С тех пор, какую бы я конструкцию ни чертил, я говорил себе: «Бережков, помни, водяной бак был не жестко сконструирован». И я втайне думал, что, может быть, никто из конструкторов мира не ощутил, не воспринял так глубоко принцип жесткости, как я. Для вас, конечно, надо пояснить, что жесткой конструкцией, жестким креплением мы называем такое, когда при самом сильном ударе в машине ничто не сдвинется, не шелох-

нется, словно вся она отлита из одного куска металла. А ведь двигатель внутреннего сгорания, мотор, непрерывно выдерживает удары, взрывы в цилиндрах. Нетрудно повысить мощность этих взрывов, но тогда расшатается, рассыплется конструкция, в ней будут ломаться, отлетать разные части, как отлетел при ударе мой водяной бак.

В американском глиссерном моторе «Райт» была, например, достигнута максимальная для того времени жесткость цилиндровой группы, все цилиндры мотора, как однажды я уже вам говорил, составляли блок, то есть один слиток металла. Как видите, не зря мне неотвязно мерещился этот самый «Райт», когда, взбудораженный, я шел из Управления Военно-Воздушных Сил под руку с Ганьшиным.

А потом, когда я у него в гостях рассказывал всякие истории и решил комически изобразить случай с водяным баком, вдруг как бы в одно мгновение родилась конструкция. Я увидел способ резко повысить жесткость всей машины, а не одной лишь цилиндровой группы, то есть увидел наконец, словно при взблеске молнии, еще нигде не существующую, кроме как в моей фантазии, конструкцию самого мощного мотора в мире.

И выбежал в переднюю, как безумный. И, позабыв про Новый год, про завтрашний пробег, ничего кругом не замечая, зашагал по Москве домой — чертить, чертить.

Вот, мой друг, какие истории в наше время иногда случаются под Новый год.

11

Три дня или, вернее, трое суток, никуда не выходя из дому, не отвечая на телефонные звонки, питаясь главным образом лишь крепким кофе, Бережков чертил свою конструкцию, чертил в разных разрезах, в разных видах, на больших листах бумаги, размером во весь стол.

Порой, не раздеваясь, он на два-три часа забывался на кушетке, но даже и тогда перед закрытыми глазами назойливо возникали чертежи, то дико искаженные, то вдруг поразительно ясные.

Четвертого января утром, пропустив два рабочих дня, он прибыл на службу на грузовике. Грузовик под-

катил к подъезду института; Бережков стоял в кузове, бережно придерживая два легких деревянных щита, сложенные вместе, аккуратно завернутые в газеты и перевязанные бечевкой. Он не забыл поручить сестре заказать эти щиты, на которых теперь были прикреплены кнопками его чертежи,— Бережков всегда любил отделать до блеска свою вещь и с блеском ее продемонстрировать.

Осунувшийся, с желтоватыми тенями утомления, которые не согнал мороз, но не чувствующий ни этого мороза, ни усталости, наоборот, внутренне невероятно возбужденный, он — в коротком полушубке, в шапке, в теплых бурках — легко спрыгнул, осторожно снял щиты и расплатился с шофером.

К подъезду вместе с двумя-тремя другими сослуживцами в эту минуту подходил профессор Ниланд, заведующий конструкторско-расчетным бюро института, тяжеловатый человек — тяжеловатый, как мы знаем, и в переносном смысле,— тот, кто с давних пор, с первого столкновения из-за гайки, не жаловал Бережкова.

— Здравствуйте, Филипп Богданович! — звонко крикнул Бережков.— С Новым годом!

— Здравствуйте. Поправились? Воротник советую все же застегивать. Грипп нынче с осложнениями. Будьте осторожны.— Ниланд покосился на странную ношу Бережкова.— Что это у вас?

— Помогите мне, пожалуйста,— попросил Бережков,— подержите дверь.

Ниланд любезно открыл дверь и пропустил Бережкова. Они направились к барьеру вешалки.

— Что это у вас? — повторил Ниланд.

Бережков загадочно ответил:

— Одно скромное произведение. Сегодня вы узнаете.

— Не понимаю... Вы же болели эти дни?

Бережкову захотелось созорничать; он наклонился к уху Ниланда и доверительно шепнул:

— Встречал Новый год...

— Четыре дня?

— Да. Опомнился только сегодня утром.

— А мне кажется, что вы еще и сегодня не опомнились...

Бережков не совладал с неудержимо расползавшейся улыбкой, но увидел уже спину Ниланда.

Со своим неудобным грузом Бережков поднялся на второй этаж, где находились кабинет директора и главный чертежный зал. На площадке он заметил объявление с крупной надписью: «Внимание!» Сотрудники в большинстве проходили мимо, не задерживаясь; очевидно, объявление уже было прочитано всеми вчера или позавчера. Бережков прислонил свои чертежи к стене и стал читать. Перед ним был приказ по институту. Внизу, под текстом, стояла подпись Шелеста. Быстро пробегая по строчкам, Бережков узнавал слова, которые под Новый год вместе с другими конструкторами слышал от Родионова.

В приказе говорилось о задачах индустриализации, великого преобразования всей страны, о необходимости стремительных, невиданных темпов для того, чтобы догнать и перегнать в технической вооруженности капиталистические государства. Выдержка из Ленина, которая недавно потрясла Бережкова, приводилась и здесь, в этом приказе: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед». Казалось бы, для Бережкова это уже не было ново, но он опять ощутил волнение.

Далее несколько фраз было посвящено авиации. «Нашему государству,— читал Бережков,— нужен большой, могущественный Воздушный Флот. Ныне мы, коллектив АДВИ, получили от правительства задание, являющееся историческим: сконструировать авиационный мотор мощностью восемьсот — восемьсот пятьдесят сил, то есть мотор, который превзойдет в мощности и прочих показателях лучшие заграничные авиадвигатели».

Бережков посмотрел на свои щиты, хотел улыбнуться, но губы вдруг задрожали: сказалось нервное перенапряжение, бессонница трех суток; он сжал рот. Теперь, перед этим листком на стене, Бережков как бы заново понял значение того, что он сделал.

В заключение в приказе объявлялось, что ввиду особой ответственности и важности задания создается комиссия для руководства проектированием. Председательствование брал на себя Шелест. Наряду с ним членами комиссии значились академики и профессора, в том числе Ниланд. Своей фамилии Бережков в этом списке не нашел,— он был в те времена лишь одним из старших конструкторов института и не имел еще никакого ученого звания. Первое заседание по вопросу об основ-

ных принципах проектного задания было назначено через неделю. Сообщалось, что после доклада состоится широкая научная дискуссия. На заседание приглашались все сотрудники АДВИ. Теперь Бережков улыбнулся и подмигнул именитой комиссии.

12

Кто-то неслышно подошел сзади и обнял Бережкова за талию. Обернувшись, он увидел Шелеста.

— Что с вами было? — ласково спросил Шелест.— Вы плохо выглядите. Может быть, вам надо еще денек-два полежать? Пожалуйста.

— Нет. Благодарю вас.

— Ну вот. Я так и знал, что вы на меня обидитесь.

— За что?

— Дорогой мой, к чему нам дипломатничать? Вы же прочли приказ.

— Прочел.

— Не обижайтесь. В комиссию, как вы видите, привлечены исключительно академики и профессора. Это нам необходимо для авторитетности, для представительства во внешнем мире. А здесь у нас, внутри, я рассчитываю в первую очередь на вас. Я хочу, чтобы вы с самого начала принимали участие во всей этой работе. А через некоторое время, прошу вас мне поверить, мы и формально включим вас в комиссию. Не дуйтесь же. Подготовьте к заседанию все ваши соображения, ваши идеи...

— Август Иванович, у меня уже нет никаких соображений...

— Значит, все-таки обиделись?

— Ничуть. Соображения у меня были четыре дня назад, когда... Мне кажется, что я понял тогда, какую конструкцию вы хотели бы взять в качестве основы...

— Да, я и теперь это продумываю. Не следует ли нам в будущей компоновке... пойдемте-ка ко мне, поговорим... в будущей компоновке танцевать от «Райта»?

— Уже... Уже, Август Иванович, все сделано.

— Что сделано?

— Я вам принес не соображения, а конструкцию.

— Конструкцию? — Шелест внимательно посмотрел в зеленоватые глаза Бережкова.— Какую? Сверхмощного мотора?

— Да.

— Где же она?

— Вот!

Бережков щелкнул по фанере.

— Так покажите же!

— Сам этого жажду! Разрешите, Август Иванович, показать всем.

— А ежели разнесут в пух?

— Готов повоевать.

— Что же, давайте... Идите в зал. Поглядим, покритикуем.

Бережков со щитом вошел в чертежный зал. Следом ту же дверь отворил Шелест. Сунув руки в карманы, с виду очень спокойный, директор встал у дверного косяка.

13

Об этом появлении Бережкова в главном конструкторском зале института с двумя чертежными досками, которые он привез на грузовике, еще и поныне сохранились легенды в АДВИ.

Волнуясь, он долго не мог ни развязать, ни разорвать крепкую веревку. Кто-то из конструкторов, сидевший возле, протянул ему перочинный нож. Упала перерезанная бечевка. Упаковку из газет Бережков попросту сорвал. На стенах зала висели разные чертежи заграничных моторов, которые в то время исследовались, изучались в институте. Не долго думая, поверх двух такого рода чертежей Бережков повесил для всеобщего обозрения свои доски. Там, на листах ватмана, прикрепленных кнопками, была изображена в продольных и поперечных разрезах некая конструкция. Надпись гласила: «Авиационный двигатель в восемьсот лошадиных сил. Компоновка конструктора А. Бережкова».

Оглянувшись, он увидел, что в зале уже никто не работал; порывистые безмолвные действия Бережкова притянули все взоры; два-три конструктора уже поднялись с мест и подошли к его чертежам. В дальнем углу Бережков заметил покрасневшее от раздражения лицо Ниланда. Тот поднялся и прошагал к Шелесту.

— Это... Это... Это что? — выговорил он.

— Проект сверхмощного мотора, насколько я могу судить,— ответил Август Иванович.

— Позвольте, ведь проект должна разработать комиссия. На каком же основании он?..

— Представьте,— рассказывал Бережков,— Ниланд в негодовании не мог даже произнести мою фамилию. Ему мой поступок в самом деле казался какой-то несправедливостью, подвохом. Ведь только что сформировали комиссию, наметили определенный порядок, составили повестку заседания, где предстояли солидные доклады, солидные прения об основных принципах проекта, и вдруг, ни у кого не спрашиваясь, вылез, как из-под земли, этот Бережков, вовсе не член комиссии, и повесил на стену свою компоновку. Безобразие! Какое он имеет право?! Это, мой друг, была непередаваемая сцена...

Увлекшись, Бережков изобразил все в лицах: себя, скромно, с видом барашка, потупившего взор; Шелеста, который уже сел на табурет у чьего-то стола и, закинув ногу за ногу, созерцал чертеж; возмущенную физиономию Ниланда, выкрикивающего: «Беспорядок! Комиссия! Комиссия!»

— В глазах Шелеста,— добавил Бережков,— вспыхнули искорки юмора. Он ответил Ниланду: «Что поделаешь, Филипп Богданович, стихийное бедствие... Приходится считаться с этим... с этим явлением природы. Попробуем, однако, рассмотреть сей проект. Что вы скажете, Филипп Богданович, о вещи?»

14

— Когда Шелест со свойственной ему тактичностью,— продолжал Бережков,— несколько успокоил Ниланда, оба они повернулись к проекту. Я ждал и хотел их суда. Ниланд пронзал инквизиторским взором мою компоновку. Пусть-ка он найдет в этой вещи хоть один уязвимый пункт. Я стоял спиной к своим чертежам, но мысленно видел их перед собой, смотрел на них глазами Ниланда и вновь оценивал, вновь как бы прощупывал каждый узел. Нет, вещь неуязвима, неприступна. Замысел в целом и каждое отдельное решение опираются на опыт мировой техники, развивают уже существующие, проверенные опытом формы. Вышколенный Шелестом, я в этой работе ни в чем не отошел от его заветов.

— Что же вы скажете? — повторил Шелест.— Каково, Филипп Богданович, ваше мнение?

— Ничего особенного,— пробурчал наконец Ниланд.

А, ничего особенного! Ура! Значит, ему не к чему придраться. Но он ядовито добавил:

— По-моему, до Бережкова все это мы видели у «Райта».

— Простите,— скромно проговорил я.— Далеко не все. Где вы видели «Райт» в восемьсот сил?

Ниланд не удостоил ответом.

— Конструктор «Райта»,— сказал я,— сам не понимал, какие возможности таит его машина. А я их вскрыл. Только и всего. Ничего особенного.

Захваченный собственным рассказом, Бережков изобразил красочным боксерским жестом, как он парировал удар.

— Для вашей книги,— продолжал он,— я хочу разъяснить некоторые вопросы нашей профессии. Видите ли, я по призванию компоновщик. Я обладаю от природы свойством вообразить машину в целом, сделать компоновку вещи в целом. Этим свойством не всякий профессионал конструктор одарен. В современных конструкторских бюро, скажем, в автомобилестроении, есть, например, специалист заднего моста. Такой человек годами работает над этой деталью автомобиля и совершенствует ее от модели к модели. Есть специалисты по клапанам, по коробке скоростей и т. д. А меня всегда тянуло на компоновку вещи в целом, на общий замысел машины. Это решающий момент. Это, собственно, и есть авторство.

Вместе с тем тогда я не считал зазорным для себя взять из существующих моторов то, чему, как я был убежден, принадлежало будущее, и раскрыть в своем чертеже эту прогрессивную тенденцию, как я ее видел. Меня, как вы знаете, всегда влекли необыкновенные выдумки, но не менее силен был практический дух. И теперь в моей новой компоновке, которую я принес в АДВИ, не было ничего фантастического, никакого откровения. Воспитанный, вымуштрованный Шелестом, я тогда мыслил так: надо же с чего-то начинать! Ведь в нашей стране все еще нет ни одного отечественного авиамотора. Значит, следует учиться у чужестранцев. Или, говоря грубее, пройти этап подражательного твор-

чества. Я понимал, что такая концепция ограничивает, обуздывает фантазию, и сознательно на это шел. Зато любому критику, конструктору или производственнику, который стал бы доказывать, что такую вещь нельзя построить, что она не будет работать, я мог ответить: вот прообраз этой формы, она испытана практикой, она работает.

Но, как вы увидите далее, нам не помогла и такая концепция: мы и на этот раз не довели своего мотора, потерпели еще одно жесточайшее крушение.

Однако тогда, в зале института, я свято верил в свой проект.

15

Тогда, в зале института, Бережков свято верил в свой проект.

Уже все подошли к чертежам; компоновка подверглась атакам; Бережков их отражал. В подобных спорах он всегда обращался к карандашу и бумаге, развивал в беглых набросках-чертежах ту или иную свою мысль, буквально показывая ее. Его и теперь потянуло чертить; он направился было к черной доске, которая и здесь, в конструкторском бюро, носила свое повсеместное название «классной», но Шелест сказал:

— Молодежь, тащите-ка ее сюда.

К доске кинулись несколько молодых инженеров и мигом придвинули ее. Держа в одной руке тряпку, в другой — кусок мела, Бережков защищал свою работу, порой разя оппонентов остротой, вызывавшей смех и гул. Перепачкав мелом пиджак, он быстро его сбросил и подтянул рукава голубоватой рубашки.

Шелест по-прежнему сидел на высоком табурете у чьего-то чертежного стола и с видимым удовольствием слушал этот вольный, даже, пожалуй, беспорядочный спор. Спорили его ученики, питомцы его школы, воспринявшие от него систему научно-технических идей. Как быстро сумел этот разбойник подхватить и претворить в компоновку бродившую у него, Шелеста, мысль. И как пылко этот прихрамывающий щеголь с испачканным мелом лицом отстаивает девиз, который из года в год, изо дня в день внушал Шелест: «Ничего фантастического, если ты хочешь что-нибудь создать».

В разгар дискуссии вдруг застучали в боковую дверь. Эта дверь вела кратчайшим путем в мастерские и в испытательную станцию института. Ее обычно держали под замком, чтобы чертежный зал не был проходным. Колотили так энергично, видимо, несколькими кулаками, что все повернулись на стук.

— Кто там?

Выяснилось, что в зал стремились студенты-практиканты, выпускники, которые, специализируясь на авиационных моторах, работали в АДВИ. Они уже проведали, что в главном зале вывешен проект восьмисотсильного мотора, что там стихийно вспыхнул диспут.

Ниланд рявкнул:

— Нельзя! Эта дверь не открывается.

— В этом,— воскликнул Бережков, продолжая рассказ,— если хотите, весь Ниланд, весь его педантизм! «Эта дверь не открывается!» А студенты поднажали и — вы представляете момент?! — высадили дверь.

Бережков опять повествовал в своем стиле, прибегая к любимым выражениям, жестикулируя и блестя глазами, будто видя тысячные толпы у своих чертежей.

— Высадили? — переспросил я.

— Ну, скажем так,— легко уступил он,— дверь с треском распахнулась. Студенты ворвались, и первым был Никитин, тот самый Андрей Степанович Никитин, который уже не раз на короткое время появлялся в нашей повести то в военной папахе, то в оранжевой майке и трусах на футбольном поле Заднепровья. Помню, я на миг удивился: неужели это он, такой, казалось бы, сдержанный, солидный, поднажал широким плечом на дверь? Среди вторгшихся студентов я увидел и Федю.

— Федю? Какого? Недолю?

— Да, да, его! Вы, вероятно, помните, как он отступился от меня во времена моих мукомольных приключений? А потом мы снова встретились. Но дайте отдышаться. Сейчас все расскажу.

16

Охладев к своему бывшему кумиру, к Бережкову-мельнику, Недоля проделал путь, по которому шли тысячи его сверстников — рабочих: работал слесарем на большом заводе, два года занимался на вечерних общеобразова-

тельных курсах и затем по путевке комсомола поступил на подготовительное отделение Московского Высшего технического училища, куда хлынула в те годы рабочая волна.

Однажды с ним, уже студентом механического факультета, на улице столкнулся Бережков, теперь тоже иной — не владелец собственной мельницы или бродяга-изобретатель, вольный стрелок техники, а работник Научного института авиационных моторов, старший инженер-конструктор. Бережков сразу узнал несколько нескладную, долговязую фигуру, уже в брюках навыпуск, а не в черных обмотках, с которыми Федя не расставался много лет, непогрубевшее, почти девичье лицо с очень светлыми глазами, мягкие очертания губ, узнал также в следующую минуту и по-прежнему твердое Федино рукопожатие, крепкую, не под стать лицу, мужскую руку. Они вместе провели вечер. Бережков опять расфантазировался, разговорился о великой вещи, которую он все-таки создаст. Но прошло еще два года, а он ничего не создал, ничего не довел.

На последнем курсе Недоля вместе с группой товарищей-выпускников был направлен на практику в АДВИ. Он держался по-студенчески скромно, в отдалении, но порой, при случайных встречах, Бережков ловил его ожидающий взгляд. Казалось, Недоля хотел разгадать: придумает ли все-таки этот человек, увлечение его юности, когда-нибудь что-то чудесное? Или не ждать?

Теперь, вторгшись с товарищами-однокурсниками в главный зал института, он сразу увидел Бережкова, разгоряченного баталией, без пиджака, с воинственно подтянутыми рукавами голубой рубашки, со следами мела на возбужденном, порозовевшем лице, обращенном к залу, прочел надпись на чертеже «Компоновка конструктора А. Бережкова» и вдруг сам вспыхнул, покраснел. Неужели он дождался наконец минуты, в которую поверил так давно, неужели перед ним великая вещь Бережкова?

Вытянувшись, приподнявшись на цыпочки, Недоля стоял позади всех, но Бережков мгновенно заметил его светловолосую голову, его просиявшие глаза.

— Товарищи! — произнес Бережков, отчетливо видя во всем зале лишь глаза Недоли.— Товарищи, это еще не Вещь с большой буквы.

Он указал на чертежи рукой, в которой все еще держал тряпку, и, оставив на минуту спор, сказал, обращаясь к студентам:

— Попытаюсь, молодые друзья, объективно характеризовать эту конструкцию. Вы знаете, что мотор такой мощности нигде еще не создан. Но в этой работе еще нет новой, оригинальной идеи. Мы сами с абсолютной прямотой должны это сказать, нам нечего это скрывать, ибо...— Он взмахнул зажатой в кулаке тряпкой и повторил фразу, которую когда-то, много лет назад, в гостинице «Националь» преподнес американцу: — Ибо мы еще потягаемся с Америкой!

Он с невольной тревогой ожидал, что восторг в глазах Недоли сменится разочарованием. Нет, они по-прежнему горели. В зале было тихо. Молодежь внимала Бережкову.

— Что же для этого нужно? — продолжал он.— Я снова повторю, Август Иванович, вашу заповедь: встать обеими ногами на почву мирового опыта. Это, товарищи, традиция института. Но...— Бережков посмотрел вокруг, на белые гладкие стены, увешанные чертежами, и улыбнулся.— Но, с вашего разрешения, Август Иванович, я высек бы здесь на стене один девиз.

— Какой?

— «Быстрее! Быстрее! Быстрее!»

— Вы несколько увлекаетесь, мой дорогой,— мягко сказал Шелест.

Кто-то выкрикнул:

— Быстрее и лучше!

— Конечно! — подхватил Бережков.— И я утверждаю: в мировой технике сейчас нет ничего лучшего, чем то, что я взял и развил в своей компоновке. Я готов доказывать это по всем пунктам.

И дискуссия продолжалась.

Уже стало смеркаться, когда наконец Шелест, все время живо следивший за спором, воскликнул:

— Довольно, довольно!

Он сам снял чертежи со стены и положил на них руку.

— Давайте, Август Иванович,— сказал Бережков.

Шелест улыбнулся.

— Нет, Алексей Николаевич, этого я вам не отдам. Что с возу упало, то пропало. Это мы вместе будем защищать в комиссии. И назовем так...

Легко подняв фанерный щит, удобно устроив его на покатом столе, Шелест достал карандаш и сделал одну поправку в надписи. Теперь она читалась так: «АДВИ-800». Компоновка конструктора А. Бережкова».

На первом же заседании комиссия постановила принять компоновку Бережкова.

17

Однако комиссия прожила недолго.

— Я опять был охвачен огнем творчества,— повествовал Бережков.— Моя компоновка была принята, теперь следовало ее детально разработать. Комиссию собирали чуть ли не каждый день. Я утром прихожу, приношу наброски: такие-то блоки, такая-то схема; приносят свои предложения и другие. Начинаем спорить. У расчетчиков свои соображения. Я рисую, Ниланд возражает. Мнения членов комиссии разделяются. И вот — день, другой, третий, несогласия, столкновения, свара. Коллектив разложен, дело не идет.

Шелест нас мирил, старался никого не обидеть. Однажды я резко с ним поговорил, поставил вопрос ребром. Положение невыносимо; если он этого так или иначе не изменит, мы еще год протопчемся на месте.

В институте уже почти все понимали, что проектировать без главного конструктора нельзя, что по каждому пустяку нельзя созывать комиссию. И происходит большое событие в моей жизни. Август Иванович объявляет о разделении конструкторско-расчетного бюро. Вся расчетная часть остается Ниланду, а меня Шелест назначает главным конструктором АДВИ.

Это опять период моего серьезного творческого роста.

Тут мы с вами подошли к одному интереснейшему противоречию конструкторского творчества. С одной стороны, это, как вы могли убедиться, следя за моим рассказом, глубоко личный, глубоко индивидуальный, даже интимный творческий процесс, вдохновение, поэзия, а с другой стороны, это чертежный зал, десятки столов, дисциплина, четко работающий коллектив, техника современ-

ного проектирования. Надо уметь дать каждому нагрузку, разделить труд, указать направление в работе и гармонически все объединить.

Я многое понял в это время. Пожалуй, впервые уразумел, какое огромное значение в развитии техники имеет психология людей, создающих эту технику. Ныне, если что-нибудь случается с моим мотором, какая-либо неожиданная неприятность, я никогда не довольствуюсь техническим анализом, а стараюсь проникнуть в глубину человеческой психологии, ищу там причину аварии. Современный конструктор — это не только механик или глубокий естествоиспытатель, которому надлежит непрестанно учиться и учиться у природы, но и организатор, руководитель. Он не совершит в своей области ничего подлинно большого, если не добьется того, чтобы знать и понимать венец творения природы — человека, его духовную структуру, его душу. Современный конструктор — это и политик, и философ, и психолог, разбирающийся в мыслях, побуждениях, склонностях, способностях людей, ибо только с их участием, а потом их руками создаются все проекты и все механизмы.

Вспоминаю эти дни... Для меня это был не только рост, а буквально взлет. Мне словно открылся ранее неведомый новый мир творчества. Надо было подумать о каждом человеке, как-то совсем заново его постигнуть, дать ему увлекательную, интересную задачу, вести его. Может быть, тогда я впервые глубоко понял, какое счастье для конструктора работать в Советской стране, опираться на помощь вдохновенной, необыкновенной молодежи, нового поколения инженеров, уже взращенных революцией, проникнутых идеями и романтикой нашего времени. Впервые глубоко познал, какой мощной пружиной, какой силой является в психологии человека, в нашем конструкторском деле идея, идейность.

Вы можете представить, какой творческий подъем я переживал, если тогда же, между прочим, походя, сделал и проект тракторного мотора, того самого, о котором мне говорил Ганьшин. Прежде, когда душа была угнетена, я не мог выжать из себя, сколько бы ни силился, ни одной стоящей мысли о конструкции такого мотора, а теперь, словно в прозрении, словно сама собой, воображению явилась готовая вещь. Я даже не могу припомнить, когда же я ее начертил, знаю лишь, что сделал и сдал.

А в институте мы, весь наш молодой коллектив, сидели днем и ночью, вычерчивая тысячу деталей, или, как мы говорили, «раздраконивая» проект «АДВИ-800». Скорее, только скорее — это было нашим общим девизом. Стало известно, что Управление Военно-Воздушных Сил созывает конференцию по сверхмощному мотору, и мы решили, что придем на эту конференцию с совершенно законченным, разработанным во всех мельчайших тонкостях, отшлифованным до блеска проектом, поразим всех.

В чертежном зале, где я уже стал дирижером, мы по ночам работали и пели. В свое время мне безумно понравилось, как пели конструкторы Заднепровского завода, и у нас привился такой же обычай. Почему-то чаще всего затягивали «Садко — богатый гость».

Да, то были замечательные времена! Первая пятилетка! Мы на локомотиве времени! Вперед, на всех парах вперед!

18

Далее Бережков рассказал о конференции по авиационному моторостроению, созванной весной 1929 года. Он начал со своего излюбленного восклицания:

— Это было нечто уму непостижимое! В короткий срок, в какие-нибудь три-четыре месяца, появилось до сорока проектов мощного, или, как мы тогда говорили, сверхмощного мотора. Удивительное дело: лишь прозвучал призыв создать такой мотор, как оказалось, что мы, советские конструкторы, испытавшие столько неудач и еще не имевшие у себя в стране ни одного более или менее современного, по тогдашнему мировому уровню, авиамоторного завода, как будто только этого призыва и ждали.

Мощный советский мотор, мощная авиация, мощная страна — все это тогда как бы носилось в воздухе, этим мы жили, этим дышали. Откуда ни возьмись, хлынула стихия проектов. Помимо нескольких конструкторских бюро, которые по прямому заданию занимались проблемой сверхмощного мотора, с проектами выступили и разные другие коллективы, и отдельные конструкторы. Появился инженер Коломенского завода Грибков и предложил зве-

здообразный мотор без коленчатого вала. Принес свои чертежи Пантелеймон Гусин, наш милейший «Гуся», изобретатель аэросаней, чемпион мотоциклета. Инженер АДВИ Лукин, очень скромный человек, помалкивал и помалкивал, а в один прекрасный день вдруг выложил проект сверхмощного мотора на нефти. Отыскался на Украине старейший русский конструктор авиационных моторов Макеев, который еще в 1916 году на Русско-Балтийском заводе работал над авиадвигателем для тяжелых самолетов «Илья Муромец». Появились проекты Микулина, Бриллинга, Швецова.

Научно-технический комитет Военно-Воздушных Сил не мог в порядке своей обычной работы справиться с этим потоком конструкций. Какие из них строить? Какие забраковать? Как отделить, отсортировать добро от зла? Ясности в этих вопросах еще не было, ибо наше моторостроение в тот год, по существу, лишь зачиналось и мы переживали дни творения. Тогда-то и решено было созвать конференцию по сверхмощному мотору.

И вот в зале Научно-технического комитета, на Варварке, собралось около ста человек, в том числе и все авторы проектов.

— На этой конференции,— продолжал Бережков,— мне опять запомнился Родионов, опять поразило в нем сочетание деловой сухости и дерзновения. В небольшой вступительной речи он охарактеризовал задачу конференции: поспорить о проектах и выбрать из них лучшие.

Потом как-то без переходных фраз он нам сказал: «Мы с вами, товарищи, принимаем и даем сражение. Это — сражение с капиталистическим миром за мощность мотора. Судьба нашей страны, товарищи, решается теперь в таких сражениях». Меня опять прохватывало волнение, когда этот, как всегда, очень прямо державшийся, худощавый человек в синем френче с красными ромбами в петлицах произносил слово «сражение».

Больше никаких напутственных или приветственных выступлений не было. Конференция сразу перешла к делу, стали рассматривать проекты.

— О, это было Мамаево побоище! — весело воскликнул Бережков.— В зале заседания развешивались чертежи спроектированных моторов; каждый конструктор поочередно докладывал о своей вещи, а потом авторы других проектов разносили ее в пух и прах.

Мы выступили па конференции с проектом «АДВИ-800». Конструкция была вычерчена до мельчайших деталей в натуральную величину, в нескольких разрезах. Некоторые узлы были, кроме того, изображены на отдельных листах, размеры указывались с точностью до одной десятой миллиметра. Рядом мы вывесили таблицы расчетов. Мы стремились даже самой отделкой чертежей утвердить марку АДВИ как передовой конструкторской организации и, несомненно, по сравнению почти со всеми другими проектами показали работу более высокого класса.

Обоснование проекта дал Август Иванович Шелест, с авторитетом которого все считались в этом зале. Концепция нашей вещи была совершенно ясной. В основу взята блочная конструкция «Райта», мотора в пятьсот сил. Вот наши изменения: мы таким-то и таким-то способом еще усиливаем жесткость, меняем размеры, что позволяет резко увеличить число оборотов и добиться мощности в восемьсот сил. Вот наши конструкторские решения, вот наши расчеты.

На конференции при поддержке Родионова мы подвергли осмеянию, взяли под обстрел зловредное, беспочвенное изобретательство, так называемую «свинтопрульщину».

Как? Вы не знаете этого словечка? Тогда я обязан доложить о его происхождении. Это выражение пустил на конференции один из ее участников. Он выступил очень остроумно. И, в частности, рассказал следующее. Однажды к нему, в военное учреждение, вошел изобретатель.

— Товарищ, государственные секреты можно вам сообщать?

— Конечно. Специально для этого сижу.

Изобретатель наклонился и таинственно сказал:

— Газов больше нет.

— Любопытно. Почему?

— Потому, что я изобрел свинтопрульный аппарат, который отражает всякую газовую атаку.

Изобретатель показал чертеж. Представьте себе пулемет. Над дулом помещена подвижная кассета, в которую вставлено огромное количество винтов-пропеллерчиков. Когда противник начинает газовую атаку, надо стрелять из пулемета, который так устроен, что на носик каждой вылетающей пули садится пропеллер и, вращаясь на лету, создает ветер, прогоняющий газ в сторону неприятеля.

Изобретателю был задан вопрос:

— Почему же вы назвали это свинтопрульным аппаратом?

Последовал ответ:

— А как же? Пуля-то *с винтом прет*.

Вся конференция хохотала.

Особенно рьяно обрушивался на всяческую «свинтопрульщину» ваш покорный слуга. И знаете почему? Ведь по природе я сам в высшей степени к ней склонен. Мне всегда мечталось о чем-то совершенно небывалом, необыкновенном, о какой-то ультрафантастической, потрясающей вещи. Однако, к моему счастью, моя судьба сложилась так, что я шел в технике не темными, не дикими путями. К моему счастью, мне с детства довелось общаться с великим ученым и добрейшим человеком — Николаем Егоровичем Жуковским. Огромное значение имели и встречи с Ладошниковым. Сыграло свою роль и влияние моего друга Ганьшина, а затем строгая выучка в институте Шелеста. Все это обуздало меня.

Видите, в каких противоречиях пребывал я тогда: изобретатель, фантазер, я громил изобретательство; русский конструктор, который в душе жаждал потягаться с конструкторами всего мира, я требовал одного — пока лишь следовать за ними. Взять самое передовое из мирового технического опыта и только на этой основе что-то творить, изобретать — такова была наша позиция па конференции, таков был смысл конструкции «АДВИ-800».

19

— Это словечко «свинтопрульщина»,— продолжал Бережков,— стало крылатым на конференции. Однако иной раз оно употреблялось так, что во мне опять что-то бунтовало.

Помню, выступил Новицкий. Прошло уже несколько лет с того дня, когда я с ним впервые столкнулся, или, лучше сказать, схватился, в присутствии Родионова на обсуждении проекта «АДВИ-100». Теперь он уже был не начальником отдела моторов Научно-технического комитета, а директором «Моторстроя» на Волге, одной из грандиознейших строек пятилетки. Он по-прежнему ходил в полувоенном костюме, в суконной гимнастерке с отложным воротником, в хромовых сапогах, но поступь стала

потяжелее. У меня было впечатление, что среди вас, конструкторов, собравшихся со своими проектами, со своими выдумками и мечтами, он, человек большого реального дела, чувствует себя как бы взрослее всех. Наши страстные споры он слушал порой с чуть снисходительной умной усмешкой, которая, если и уходила с губ, все же читалась в живых карих глазах. Он был вызван с площадки, чтобы сообщить конференции о ходе строительства и перспективах завода. Дело действительно было колоссальным. Уже теперь, на первом году стройки, туда вкладывалось около полумиллиона рублей в день. Думалось ли кому-нибудь в старой России о таком размахе? Мы внимали, затаив дыхание.

— Какой же мотор мы там будем выпускать? — сказал Новицкий.

Он посмотрел на стены, сплошь увешанные чертежами, и я опять уловил умную усмешку, мелькнувшую в прищуре глаз.

— Возможно, надежнее всего будет,— продолжал он,— просто начать с выпуска проверенной иностранной модели, чтобы потом заменить ее собственной конструкцией, органически выросшей на базе завода. И, разумеется, без малейшей «свинтопрульщины»!

Не скрою от вас, меня передернуло. Ведь Родио́нов сказал нам: «Сражение! Сражение с капиталистическим миром за мощность мотора». А директор «Моторстроя», этот уверенный в себе, твердый на ногах человек, вдруг заявляет: «Начать с иностранной модели». Неужели для него все, решительно все наши проекты, что мы принесли сюда,— лишь детские затеи, «свинтопрульщина»? Нет, что-то не то, что-то не так он говорит.

Представьте, это словечко пришлось также по вкусу не кому иному, как Любарскому. Его уже убрали с Заднепровского завода, вышибли оттуда, как выразился, если вы помните, Петр Никитин, и перевели в аппарат Авиатреста. По-прежнему барственный, с острой холеной бородкой, он с трибуны выразил без всякой иронии благодарность за новый термин, обогативший, по его мнению, философию и науку. Я понимал: все наше, советское, русское, для него было «свинтопрульщиной».

Он очень едко, даже злобно, выступал против проекта, разработанного на Заднепровском заводе.

Об этом проекте нельзя умолчать в нашей книге.

Этот проект представили соавторы: старейший русский конструктор авиационных моторов Макеев и его напарник, кажется, самый молодой на конференции, Петр Никитин. Если не ошибаюсь, я уже упоминал, что Макеев в годы мировой войны участвовал на Русско-Балтийском заводе в постройке двигателя для самолетов «Илья Муромец». Во времена разрухи он жил где-то в глуши, чуть ли не в деревне, на Украине. Потом, как передавали, пришел в один прекрасный день этаким седобородым дядей с посохом на Заднепровский завод. Впрочем, может быть, его где-то разыскал Петр Никитин,— не могу вам об этом точно доложить. Так или иначе, они выступили с совместным проектом.

Мы отстаивали принцип максимальной жесткости мотора. А Макеев и Никитин, который раньше тоже руководствовался теорией жесткости, теперь выдвинули принцип максимальной гибкости конструкции. Их вещь была совершенно оригинальной для всей мировой техники и основывалась на интересных и глубоких мыслях. Известно ли вам, что такое гибкая конструкция? Это, например, Эйфелева башня. Во время ветра ее вершина колеблется, отклоняется и вновь возвращается в первоначальное положение. Небоскребы — тоже гибкая конструкция. Эти огромные здания тоже колеблются, «ходят» от ветра. Жесткие крепления были бы разорваны. Макеев и Никитин доказывали, что сверхмощный мотор надо делать максимально гибким, что позволит резко увеличить силу взрыва в цилиндрах. Применяя жуткую по сложности математику, они так рассчитали цилиндры, чтобы те играли на ходу, как клавиши. Это открывало новые возможности в повышении мощности мотора.

Конечно, последовала масса возражений. Их невозможно изложить, не углубляясь в сугубо специальные вопросы. Но авторы математически опровергали все сомнения. Теперь уже я мог вернуть заднепровцам упрек в абстрактности решения. Однако и здесь их позиция была защищена. Они изложили свой план реконструкции Заднепровского завода, что позволило бы, как они доказывали, выпускать предложенный мотор. Ни у кого из нас проект не был подкреплен такого рода разработкой производственно-технических проблем.

Наряду с нашим был принят и проект заднепровцев. Мы, вся группа АДВИ, голосовали за него.

Нашему мотору был дан номер «Д-24», заднепровскому — «Д-25». Не помню, объяснял ли я вам происхождение такой нумерации. Буква «Д» означала «двигатель». Все авиадвигатели, когда-либо построенные в Советском Союзе, отмечались порядковыми номерами. Эти номера уже, как видите, дошли до цифры «25», и все же на советских самолетах еще не был установлен ни один отечественный двигатель.

21

— Во время конференции,— продолжал Бережков,— произошел еще один эпизод, о котором невозможно умолчать.

Помню, взяв кого-то под руку и не без удовольствия судача на всяческие большие и маленькие злобы дня (что, как известно, именуется разговором в кулуарах), я прогуливался по коридору, примыкающему к залу заседаний. И вдруг чуть не упал. Навстречу шел,— нет, я не мог поверить собственным глазам! — навстречу преспокойно шел Подрайский. Он опять носил усы, по-прежнему с изумительной аккуратностью подстриженные, но теперь уже не черные, а слегка посеребренные. Его красила и благородная седина на висках. Он выглядел в меру полноватым, благообразным, солидным. Свежее лицо свидетельствовало об отличном здравии.

Как он сюда попал? Украл, что ли, у кого-нибудь проект мотора? Или выступает на ролях соавтора, заключив условие — пятьдесят на пятьдесят? Кого же он здесь облапошил?

С каждым шагом мы неуклонно приближались друг к другу. Думалось: глазки Бархатного Кота, наверное, забегают, он засуетится, когда столкнется со мной лицом к лицу. Представьте, не случилось ничего подобного. В глазах Подрайского, которые наконец встретились с моими, не выразилось ни малейшего смятения. Наоборот, Подрайский просиял. И даже причмокнул от полноты чувств.

— Алексей Николаевич! Вот и увиделись!..— воскликнул он.

Я буквально опешил. Он обращался ко мне, как к приятному давнему знакомому, будто ничего между нами не

случилось, будто никогда и не было особнячка близ Самотеки.

— Наслышан о ваших успехах,— благодушно продолжал он.— Леля просила вас приветствовать.

— Леля? — переспросил я.

— Да, Лелечка... Моя жена... Неизменная поклонница ваших талантов. Она в восторге, что мы с вами опять будем работать вместе.

Я был ошарашен невозмутимостью Подрайского.

— Почему вместе? Где? — не без испуга спросил я. Потом, набравшись духу, выпалил: — И, собственно говоря, кто вы теперь такой?

Подрайский с готовностью сообщил, что приглашен заведовать отделом опытного моторостроения в Авиатресте.

— Верю, Алексей Николаевич, в ваш мотор,— ворковал он.— Верю всей душой. Считаю своей священной обязанностью вам помогать. Вы найдете во мне преданного друга.— Вкусно причмокивая, он расточал комплименты и обещания, а я стоял, оцепенев, бормоча что-то невнятное.

Наконец мы расстались. Я немедленно разыскал Шелеста.

— Август Иванович, нашему делу угрожает серьезная опасность.

— Что случилось, дорогой?

— Я только что встретился здесь с величайшим проходимцем. Это тот самый, который украл у меня мельницу.

— Что, кстати сказать, пошло вам лишь на пользу...

— Август Иванович, не шутите... Это гнуснейший тип. Ради денег он готов на что угодно. Я его вижу насквозь. Советскую власть он ненавидит, нас с вами ненавидит, нашу авиацию ненавидит...

— Алексей Николаевич, к чему столько пыла? Шут с ним... плюньте.

— Не плюнешь... Мы с вами у него в руках. Он в Авиатресте будет ведать новыми моторами. Август Иванович, нельзя допустить этого.

— Позвольте, о ком вы говорите?

— Его фамилия Подрайский.

— Гм... Тот, что имел секретную военную лабораторию?

— Да... Потрясающий пройдоха.

— А не преувеличиваете ли вы, дорогой? В последнее время мне довелось иногда с ним соприкасаться. Он казался дельным человеком.

— Где же вы его встречали?

— Здесь... Он тут, в моторном отделе, организовал испытательную лабораторию.

— И вы не сказали мне о нем?

— Извините, не догадался доложить.

— Август Иванович, поверьте, это черный человек. Меня трясет от одной мысли, что Подрайский будет властен над нашим мотором.

— Во-первых, успокойтесь... Его роль в Авиатресте вряд ли будет столь значительна, как вам это представляется...

— Он нас зарежет! Найдет способ зарезать! Август Иванович, у вас огромнейший авторитет. По одному вашему слову его вежливо выпроводят.

— Не так это легко, дорогой. В штат Научно-технического комитета ваш Подрайский был принят, если не ошибаюсь, еще при Новицком. Не думаю, чтобы Новицкий мог это сделать опрометчиво. Вы знаете, как здесь строго проверяют людей.

— Так пойдемте же сейчас к Новицкому!

— Пойдемте...

22

Новицкий сидел в президиуме конференции. Август Иванович послал ему записку с просьбой выйти в коридор.

Новицкий вскоре вышел. Он шагал неторопливо, выпуклые карие глаза поглядывали несколько сонно — начальник «Моторстроя», видимо, сберегал нервную энергию, отдыхал на конференции. Шелест сказал:

— Павел Денисович, мы хотели бы с вами побеседовать. Тема довольно деликатная... Товарищ Бережков придает, как мне кажется, этому чрезмерное значение, но...

— Не страшно... Тирады товарища Бережкова мы научились воспринимать с поправочным коэффициентом... Так в чем же дело? Вы меня заинтересовали.

— Вопрос касается,— ответил Шелест,— одного человека. Повторяю, возможно, все это и не так серьезно. Одним словом, нас несколько смущает, что отдел опытного

моторостроения в Авиатресте поручен товарищу Подрайскому. Достаточно ли это солидная фигура? Вы, Павел Денисович, с ним работали, поэтому мы позволили себе...

— И отлично сделали!

Новицкий встрепенулся. На смугловатом лице уже не было и следа сонливости. Исчезло и насмешливое выражение, которое почти всегда таилось в его взгляде.

— Отлично сделали! — повторил он.— Подобные вопросы надо ставить на попа. Ложная деликатность тут может только повредить, Август Иванович.

— Позвольте... Теперь, кажется, я в чем-то виноват?

— Август Иванович, вы сказали, что все это, быть может, несерьезно. Разве вопрос о командных кадрах авиапромышленности можно считать несерьезным? Постараемся безотлагательно разобраться в том, о чем вы заявили. Поднимем документы. Слава богу, находимся в своей епархии.

Минуту спустя Новицкий вел нас в кабинет, который сам когда-то занимал,— в кабинет начальника моторного отдела при Научно-техническом комитете Военно-Воздушных Сил. В этот час комната .была свободна — ее нынешний хозяин находился на заседании конференции. Предложив нам сесть, Новицкий без дальних слов, без проволочек, вызвал по телефону отдел кадров, обратился к кому-то по имени-отчеству:

— Николай Степанович, ты? У меня к тебе вот что... Возникла необходимость глубоко ознакомиться с деловым и политическим лицом Подрайского. Подбери, пожалуйста, все материалы. Кстати, они, наверное, у тебя подобраны, раз он переходит в Авиатрест. Да? Очень хорошо... Не посчитай за труд, приходи ко мне. Да, да... Здесь нам никто не помешает.

Закончив разговор, Новицкий подтащил к столу один из стульев, расставленных около стен, сел, закинул ногу на ногу. Мне показалось, что в карих умных глазах мелькнула его обычная насмешливость. Впрочем, может быть, я и ошибся. В следующий миг я уже не мог ее поймать.

— Это вы, товарищ Бережков, забили тревогу?

Я взволнованно заговорил:

— Еще Николай Егорович Жуковский с брезгливостью отзывался о Подрайском. Называл его жулябией.

— Жуковский?

— Да... Я готов поклясться, что за всю жизнь этот

Подрайский не совершил ни одного честного поступка. Он продаст что угодно и кого угодно. Я боюсь за свой мотор, ибо к нему будет иметь какое-то касательство Подрайский. Как он вообще попал в авиацию?

В эту минуту в кабинет вошел работник отдела кадров — молодой военный в темно-синем кителе, что носили тогда командиры Воздушного Флота. Вежливо всем нам поклонившись, он подал Новицкому принесенную им папку.

— Вот, Павел Денисович,— негромко, со сдержанной почтительностью сказал вошедший.— Тут копия личного дела... А также и некоторые дополнительные материалы.

— Благодарю,— проговорил Новицкий.— Эти товарищи,— он указал на нас,— надеюсь, вам известны?

Да, оба мы были известны работнику отдела кадров. Он подтвердил это новым поклоном. Новицкий все же представил ему нас. Затем сказал:

— Прошу разрешить им ознакомиться с этим личным делом... Особые обстоятельства заставляют меня просить об этом.

Получив разрешение, он обратился к нам:

— Август Иванович! Товарищ Бережков. Придвигайтесь ближе. Давайте-ка почитаем вместе...

Новицкий раскрыл папку, перевернул заглавный лист. Представьте, взглянув на открывшуюся страницу, я опять чуть не упал от неожиданности. Эта страница являла собой фотокопию рекомендации, написанной Николаем Егоровичем Жуковским. Я сразу узнал его несколько небрежный крупный почерк. Письмо было датировано 1916 годом. В своей рекомендации Жуковский характеризовал лабораторию Подрайского как интересное, заслуживающее внимания и поддержки дело, причем особо упоминал, что лаборатория оказала услугу авиации, взявшись строить самолет Ладошникова и мотор «Адрос».

Я увидел, что Новицкий смотрит на меня.

— Это же...— растерянно заговорил я,— это же Николай Егорович написал, чтобы помочь своим ученикам. А Подрайский воспользовался...

Не возражая, Новицкий перевернул страницу. Нам предстала еще одна записка Жуковского, на этот раз скопированная на машинке. Как я тотчас понял, с этой запиской Гапьшин когда-то явился к Подрайскому. Николай Егорович выражал надежду, что молодой математик бу-

дет полезен «в разнообразных и ценных работах Вашей лаборатории». Эти слова теперь были отмечены на полях синим карандашом.

Отлично зная ухватку Подрайского, я все же опять был поражен его ловкостью. Как он ухитрился втиснуть сюда, в свое личное дело, даже и эту короткую записку Жуковского? А я, наверное, выгляжу злопыхателем, лжецом, неведомо за что очернившим человека.

Новицкий меж тем листал папку дальше. Ряд документов характеризовал Подрайского как выдающегося конструктора-изобретателя, автора вездехода-амфибии, руководителя большой лаборатории. Одна из бумаг была подписана военным министром царского правительства генералом Поливановым, другая — начальником штаба верховного главнокомандующего генералом Алексеевым.

— Эту амфибию он тоже прикарманил,— мрачно проговорил я.

Новицкий открыл следующую страницу. Я узрел документ, выданный Подрайскому в 1920 году Московским бюро изобретений. В бумаге сообщалось, что Подрайский является автором ценного предложения об использовании скипидара в качестве горючего для автомашин, предложения, которое в трудный период гражданской войны, в условиях почти полного отсутствия бензина, оказало существенную помощь автотранспорту. Это звучало весьма убедительно, солидно. Справка была подписана несколькими членами Московского бюро изобретений. Среди подписей затесалась, увы, и моя фамилия. Да, было дело, в свое время я подмахнул эту бумажку.

Новицкий не разглядывал ее. Слегка откинувшись на стуле, он уставился куда-то вдаль. Конечно, ему не бросилась в глаза моя фамилия. Ладно, промолчу и я. Однако едва я успел это подумать, тотчас прозвучал голос Новицкого:

— Насколько я понимаю, тут о Подрайском писал некий другой Бережков?

Черт возьми, когда же он успел рассмотреть подписи? Неужели все это он изучил ранее, еще в те времена, когда в качестве начальника отдела восседал в этом кабинете? И неужели запомнил?..

— Нет, это не другой, а я...

— Вы? — с нескрываемой иронией изумился Новицкий.

Он ничего больше не прибавил, но я почувствовал, что мои предостережения, мои горячие слова о нечестности Подрайского почти вовсе потеряли силу. Август Иванович сидел рядом со мной. Порой, склоняясь над тем или иным листом, он подавался ко мне, я ощущал его плечо. Сейчас он отодвинулся. Наверное, считает все случившееся одним из моих сумасбродств.

На следующих страницах была представлена история мельницы «Прогресс». Авторское свидетельство и различные справки подтвердили, что инженер Подрайский изобрел и успешно применил на практике новый тип мельницы с вертикально поставленными жерновами. Упоминалась и новая насечка жерновов по принципу Архимедовой спирали. Далее удостоверялось, что своим изобретением Подрайский принес пользу стране, облегчил положение городского населения, которое в период разрухи остро нуждалось в возможности молоть зерно.

Я молча прочитывал эти возникающие одна за другой бумаги. Ну и подал же себя, свою биографию, Бархатный Кот! Во мне пробудилось любопытство. Куда же он канул, где обретался после краха мельницы? Оказывается, в Управлении артиллерии Красной Армии. Справка гласила, что Подрайский в течение ряда лет работал над своим изобретением военного характера и зарекомендовал себя серьезным организатором и способным химиком. Вот как, еще и химиком?! Не взрывчатое ли вещество он предложил Управлению артиллерии? Не то ли самое, которое придумал и запродал Подрайскому неудачник Мамонтов, фигурировавшее сначала под названием «московит», а потом «лизит»?

Что я мог сказать, что мог противопоставить этому потоку бумаг?

— Величайший проходимец! Ультражулик! — сказал я.

Новицкий прищурился:

— Может быть, когда-нибудь он по отношению лично к вам совершил неблаговидный поступок? Мы слушаем... Сообщите, пожалуйста, об этом.

И вдруг по взгляду Новицкого, взгляду, который только что был острым, настороженным, а теперь стал равнодушным, даже, пожалуй, опять сонным, я понял: он опасается меня спугнуть, напряженно ждет ответа и намерен изобразить мой протест как попытку свести давние

личные счеты с Подрайским. Эх, как я сразу не сообразил: сейчас Новицкий защищает не столько Подрайского, сколько самого себя, свой авторитет, репутацию начальника, который не совершает ошибок.

— Пожалуйста, мы слушаем,— вновь обратился он ко мне.

Но я промолчал.

— Август Иванович,— сказал Новицкий,— как вы считаете: есть ли у нас основания требовать устранения Подрайского? Имеем ли мы моральное право бросать на него тень?

Шелест ответил:

— Признаться, Павел Денисович, я такого права за собой не чувствую.

Новицкий поинтересовался мнением и работника отдела кадров. Тот согласился с Шелестом.

Все вышли из кабинета, лишь я в одиночестве продолжал сидеть. Потом встал, постоял у окна. Куда, к кому теперь пойти? Новицкий сумел заткнуть мне рот бумагой.

Вновь хлопнула дверь. Обернувшись, я увидел Любарского. Мы поздоровались. Он с тонкой улыбкой протянул:

— Э, кто-то расстроил нашего Калло.

После ссоры или, вернее, стычки в Заднепровье я не раз уже встречался с Любарским. Отношения были прохладными, но все же иногда мы перекидывались несколькими фразами. На днях он даже поздравил меня с успехом; правда, и тогда в его тоне слышалась ирония.

— Вас огорчили эти сеньоры? — продолжал Любарский.— Они только что мне встретились. Во главе шествовал Новицкий.

Я угрюмо молчал.

— Будьте философом! — посоветовал Любарский.— Смиритесь, это единственное утешение.

Я не проявил деликатности, буркнул:

— Не нуждаюсь в утешении,— и покинул кабинет.

23

— Чувствую,— сказал с улыбкой Бережков,— что надо подхлестнуть нашу затянувшуюся повесть. Разрешите сразу перенести вас на восемь — десять месяцев вперед, изобразить один денек — опять последнее число декабря,

канун Нового года, наступающего тысяча девятьсот тридцатого.

Утром в тот день Бережков нервничал, ожидая, когда приедет Шелест. Они договорились встретиться в АДВИ в десять часов утра. Но Шелест опаздывал. Бережков в замасленной рабочей кепке, в черном, тоже кое-где поблескивающем маслом комбинезоне, натянутом поверх костюма, уже несколько раз пробежал по морозу из мастерских, где после очередной поломки был разобран и тщательно просмотрен «Д-24», в главное здание института и спрашивал там о Шелесте, выскакивал на крыльцо, оглядывая улицу, и, наконец, не выдержав, позвонил Шелесту домой. Из дома ответили, что Август Иванович уже час назад поехал на работу.

— Как — на работу? Мы его здесь ждем не дождемся.

— Кажется, он хотел по дороге заехать в редакцию.

— Еще в редакцию? В какую?

Бережков знал, что Шелест был членом редакционного совета в нескольких местах: в отделе техники Большой Советской Энциклопедии, в Научно-техническом издательстве и в журнале «Мотор». Не получив от домашних Шелеста более точных указаний, Бережков стал названивать во все эти редакции. Через несколько минут он напал на след.

— Да, Август Иванович у нас был и только что ушел.

— Куда?

— Одну минутку... Простите, оказывается, он еще здесь. Зашел в нашу парикмахерскую.

— В парикмахерскую? — вскричал Бережков.— Так передайте ему... Передайте ему, что все погибнет, если он не приедет сейчас же в институт.

— Как вы сказали? Что погибнет?

— Все.

Со стуком положив трубку, он мрачно посмотрел на телефон и зашагал в мастерские, к мотору.

Через некоторое время Шелест прибыл.

— Что у вас стряслось? Я думал, что АДВИ горит...

Они, директор и главный конструктор института, разговаривали в маленькой конторке мастерских. Шелест положил на стол большой желтый портфель, снял фетровую серую шляпу, которую носил и зимой, и энергично потер уши.

Бережков потянул носом.

— Вы, кажется, изволили и надушиться,— зло сказал он.

Шелест расхохотался. Видимо, он приехал в чудесном настроении.

— Хорошо, что я догадался,— сказал он,— кто мне позвонил. А то... А то, мой дорогой, остался бы неподстриженным под Новый год.

Он провел рукой по своим блестящим, цвета серебра с чернью, волосам, сейчас очень гладко зачесанным, и чуть их взбил. Бережков метнул на него свирепый взгляд.

— Какой, к черту, Новый год?! Август Иванович, погибаем без подшипника.

— Так я и знал... Если Бережков не раздобыл подшипника, то у него рушится вселенная... Садитесь-ка. Рассказывайте. Вместе что-нибудь придумаем.

— Я уже придумал. Но нужен, Август Иванович, ваш авторитет.

Бережков сообщил, что в разобранном моторе произведена подгонка и смена разных деталей. Поставлен новый кулачковый вал взамен сломавшегося. Но выяснилось, что треснул и шарикоподшипник на этом валу. Запасного подшипника таких размеров в институте нет.

— А рядом,— Бережков ткнул в пространство черным замасленным пальцем,— вы представляете, Август Иванович, рядом, на складе Авиатреста, есть такие шарикоподшипники. Но трест нам их не дает. Импортная вещь! Нужно чертовское оформление через тридцать три инстанции.

— Что же вы предлагаете?

— Конечно, немедленно позвонить Родионову. Вы, как директор...

— Ну знаете... Звонить начальнику Военно-Воздушных Сил из-за какого-то подшипника...

— А как же? Иначе, черт побери, мотор простоит несколько суток.

— Нет, я решительно отказываюсь. Во всем, дорогой мой, надо знать такт и меру.

— Тогда я позвоню сам.

— Попытайтесь,— иронически произнес Шелест.

— Хорошо.

Бережков потянулся к телефону.

— Алексей Николаевич, что вы?! Это... просто неприлично. Поищем-ка других путей. Надо быть совершенно невоспитанным, чтобы...

Бережков перебил:

— Теперь вы еще скажете о чести корпорации. Нет, Август Иванович. Вы же знаете, что Авиатрест вечно нас мытарит. Пора с этим покончить!

Больше не внимая предостережениям, Бережков взял трубку, назвал номер.

— Будьте добры, соедините, пожалуйста, с Дмитрием Ивановичем.

— Кто его просит?

— Передайте, что звонит Бережков, главный конструктор АДВИ.

— По какому вопросу?

— О моторе... Без Дмитрия Ивановича мы...

— О моторе? Сейчас ему доложу. Пожалуйста, подождите у телефона.

Насупившись, мрачно глядя на Шелеста из-под лоснящегося козырька нахлобученной кепки, Бережков ждал.

— Здравствуйте, товарищ Бережков,— раздался в трубке голос Родионова.— Я слушаю.

— Дмитрий Иванович, извините, что я обращаюсь к вашей помощи... Но мы можем потерять несколько суток из-за одного проклятого шарикоподшипника.

— Очень хорошо, что обратились... Нуте-с, в чем у вас затруднение?

— Дмитрий Иванович, Авиатрест не дает подшипника. И это не случайно. Нас там изматывают...

Жестикулируя, не стесняясь в выражениях, слыша порой внимательное «нуте-с, нуте-с», Бережков обрисовал положение.

— Так,— сказал Родионов.— Повторите, пожалуйста, размер подшипника, я запишу... Так... Сейчас же посылайте машину на склад и получайте там подшипник. Очень хорошо, что вы поставили этот вопрос, товарищ Бережков.

Мгновенно преобразившись, лихо сдвинув кепку на затылок, не забыв победоносно посмотреть на Шелеста, Бережков воскликнул:

— Спасибо, Дмитрий Иванович! Значит, к вечеру запустим. И в нынешнюю ночь «Д-24» будет отсюда вас приветствовать с Новым годом.

— А что, как остановится, да еще ровно в полночь?

— Ни в коем случае! Вы прислушайтесь под Новый год. Откройте форточку и слушайте. В полночь я дам такую форсировку, что вы дома нас услышите.

— И мотор выдержит?

— Обязан выдержать!.. Я, Дмитрий Иванович, загадал: если «Д-24» под Новый год будет работать, значит, в тысяча девятьсот тридцатом на нем взлетят наши самолеты.

— Примите, товарищ Бережков, такое же пожелание от меня... Эту ночь вы, следовательно, проводите с мотором?

— Да... Был бы только подшипник.

Родионов помолчал. Затем просто сказал:

— Нуте-с... Посылайте же машину.

— Нам тут и сбегать недалеко! — смеясь, воскликнул Бережков.— Спасибо, Дмитрий Иванович. До свидания.

Окончив разговор, Бережков выпрямился во весь рост, сунул руки в карманы своего черного промасленного комбинезона и встал в таком виде перед Шелестом.

— Да, дорогой мой,— задумчиво произнес Шелест.— Кажется, я становлюсь очень старомодным человеком... И помру, наверное, таким.

24

В мастерских несколько слесарей-сборщиков и молодых инженеров, младших конструкторов института, перебирали мотор.

Все детали уже были пересмотрены; наметанный глаз по мельчайшим признакам, по чуть заметным засветлениям на обточенной стальной поверхности, по узору смазки разгадывал или словно прочитывал немую выразительную речь металла. Некоторые узлы уже были после переборки вновь смонтированы; около других, полусобранных на строго горизонтальных стальных плитах, еще лежали снятые части.

К плитам быстро подошел Бережков. За ним не спеша следовал Шелест.

— Недоля! — позвал Бережков.

Опустившись у плиты на корточки, Недоля что-то устанавливал или регулировал в одном агрегате мотора.

Кепка была надета козырьком назад; голова прильнула к просвечивающему механизму; одна рука, словно обнимая сочленения металла, нежными, почти незаметными движениями массивных пальцев поворачивала блестящий диск, другая придерживала его снизу. Рядом на плите лежала синька — чертеж этого узла. Недоля не сразу откликнулся, лишь повел спиной; под пиджаком, некогда, видимо, коричневым, а теперь черно-лоснящимся, слегка двинулись лопатки. Наконец он отвел взгляд от мотора, поднялся и, откинув тыльной стороной ладони светлые волосы, выбившиеся из-под кепки, с довольной улыбкой произнес:

— На месте.

— Через два часа все у нас будет на месте,— сказал Бережков.— Подшипник есть! Надо, друг, слетать за ним на склад.

— И сегодня пустим?

— Да.

— Сейчас умоюсь...

Ни о чем больше не расспрашивая, Недоля опустил замасленные руки в ведро с керосином и принялся их отмывать. Потом на несколько минут ушел и появился почти неузнаваемый: в новой пушистой кепке, в хорошо проглаженном темном, в полоску, костюме, в теплом свитере верблюжьей шерсти, не закрывавшем белого воротничка, перехваченного галстуком,— молодой инженер, младший конструктор института.

— Ты сегодня что-то приоделся,— сказал Бережков.

Он теперь обращался к Недоле то на «ты», то на «вы», то по имени, то по фамилии. Недоля смущенно улыбнулся.

— Я знал,— ответил он,— что Новый год здесь будем встречать.— Помолчав, он продолжал: — Алексей Николаевич, к вам просьба...

— Пожалуйста. Какая?

— Алексей Николаевич, ребята...— Недоля, по студенческой привычке, называл ребятами своих товарищей, молодежь АДВИ,— ребята тоже хотят с нами тут встречать...

— Черт возьми, как я сам об этом не подумал? — воскликнул Бережков.— Потрясающая мысль! Это будет абсолютно необыкновенный новогодний вечер. Закатим адскую иллюминацию...

Бережков уже стал фантазировать, но спохватился.

— Добывай подшипник! Потом этим займемся.

— А меня вы не приглашаете? — раздался голос Шелеста. Тон был очень грустный. Недоля обернулся.

— Август Иванович, неужели вы приедете?

— Если не помешаю, то...

— Август Иванович, мы не смели вас просить...

25

«Д-24» ревел под навесом на открытом воздухе. Ночь прорезали огненные языки из шестнадцати выхлопных труб. В любом помещении от этих сгорающих отработанных газов задохнулись бы не только люди, но и сам мотор, тоже требующий кислорода, кислорода... Сильный рефлектор освещал длинную панель со всякими приборами, где дрожащие стрелки показывали количество оборотов в минуту, мощность, развиваемую двигателем, давление масла и т. д. Рядом, в здании института, в зале испытательной станции, действовала точно такая же дублетная панель — за работой мотора можно было следить и оттуда.

Под навесом, ни к чему не прикасаясь, лишь поглядывая на стрелки, прохаживался дежурный механик. «Д-24» ревел, сотрясая бетонный фундамент под собой, сотрясая воздух. Вот так — без перерыва, без единой остановки хотя бы на минуту — мотор должен был проработать пятьдесят часов на государственном испытании, к которому его готовил институт. Авиационный двигатель, как знает читатель, по существу, еще не создан, не доведен, если он не может выдержать столько часов непрерывного хода на разных режимах, не сдаст такой нормы (ныне, скажем в скобках, значительно повышенной).

В воротах испытательной станции, похожих на ворота гаража, открылась дверь-калитка. На покатый настил, на снег хлынул поток электрического света. В зал, некое подобие цеха, вторглась еще гурьба гостей, участников новогодней пирушки, энтузиастов института. В глубине, среди испытательных приборов и машин, виднелся стол, уставленный яствами и питиями, закупленными в складчину. Над ним скрестились два прожекторных луча — красный и зеленый. «Адская иллюминация» вперемежку с гирляндами хвои придавала залу фантастический вид. Вместо камина можно было греться у поднятого окна

пылающей газовой печи. От подкрановой балки до самого пола протянулось белое полотнище, развернутый рулон ватманской бумаги, где были выведены строчки Маяковского:

Быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.

На разметочной плите, словно на помосте, сидел ветеран института, почтенный работник бухгалтерии, страстный любитель-гармонист, и с упоением играл на своем инструменте. Кто-то плясал под гармонь и сразу сбился с такта, остановился, лишь раскрылась дверь. Гармонист продолжал играть, широко растягивая и снова сжимая мехи, но уже не было слышно ни звука — «Д-24» все заглушил.

В небольшой комнате-«дежурке», отделенной от зала легкой застекленной перегородкой, сидел в кругу молодежи Бережков, уже выбритый, вымытый, тоже молодой. Ему только что позвонили по телефону, он успел подать первую реплику, когда в дверь ворвался гул мотора. Повернувшись к стеклянной стене, он замахал руками, что-то закричал, но его не было слышно. Затем опять раздались звуки плясовой. Дверь-калитка плотно затворилась.

Бережков закричал в трубку:

— Повторите, Август Иванович, не разобрал... Скорее выбирайтесь, Август Иванович... Ждем, ждем... Не открываем бала. Что? Почему я так кричу? Простите, до сих пор уши забиты... Да, гудит, гудит... Что? Какой американец? Как?

Бережков опять замахал рукой, хотя все вокруг молчали.

— Что? Не знаю никаких американцев! — кричал он.— Кто? Как фамилия? Вейл? Первый раз слышу... Что? Гостиница «Националь»? А, рыжий Боб!.. Боб Вейл! Разыскал вас? Хочет меня видеть? Что? Имеет разрешение? Стоит у телефона рядом с вами? Давайте, я с ним поговорю.

Бережков хохотал в трубку, слушая американца и, в свою очередь, напоминая разные подробности их встречи, со дня которой минуло уже почти полтора десятилетия. Все с интересом прислушивались. Бережков, конечно, уже

не однажды рассказывал молодежи АДВИ о всяких своих приключениях, в том числе и о встрече с американцем Бобом Вейлом. И вот теперь из мира бережковских сказаний этот почти легендарный Боб вдруг заявился собственной персоной и, пожалуйста, где-то стоит у телефона. Закончив разговор, Бережков поднялся, улыбающийся, возбужденный, с лукавыми огоньками в сощуренных глазах, и объявил всем:

— Товарищи, неожиданная новость: к Августу Ивановичу каким-то образом добрался американец, американский инженер, мистер Роберт Вейл, которого я когда-то знал. Сейчас Август Иванович приведет его сюда. Прошу, товарищи, соблюдать дипломатическую вежливость.

Выйдя из «дежурки», Бережков потолкался по залу, сообщая всем новость, предупреждая о необходимости любезной встречи, потом надел шапку, кожаную куртку на меху, распахнул дверь-калитку, снова впустив все заглушающий рокот, и зашагал к мотору.

26

Четверть часа спустя раскрылись ворота института и по двору, слабо освещенному двумя-тремя фонарями, к испытательной станции подкатила машина директора. Приехали Шелест и заокеанский гость. Роберт Вейл выскочил первым, Август Иванович степенно сошел, указал американцу путь и, отворив дверь, пропустил гостя вперед.

Попав под Новый год в фантастическую обстановку разукрашенного производственного зала, где вдобавок к иллюминации пылало синим огнем разверстое окно газовой печи, американец казался здесь тоже театральным, феерическим. Он был одет в светло-желтое пальто, в непривычные для нашего взгляда брюки-бриджи, стянутые вокруг икр и свисающие, как шаровары. Из-под фетровой широкополой шляпы виднелась ярко-рыжая, цвета моркови, шевелюра. Усики были тонкими, подбритыми сверху. Он слегка прихрамывал. Под большими желтовато-дымчатыми стеклами очков искрились маленькие лукавые глазки. Однако в ту минуту, пожалуй, еще никто не разглядел этих подозрительно знакомых глаз.

Ничем не выдавая своего соучастия, Шелест любезно предложил мистеру Вейлу проследовать дальше в зал.

Американец проследовал. С широкой добродушной улыбкой он оглядывал молодые лица, явно ища Бережкова. И вдруг кинулся к почтенному бухгалтеру, восседавшему с гармоникой на разметочной плите, заключил его в объятия, радостно крича на ломаном русском языке:

— Мой дорогой друг! Мистер Бережков!

Огорошенный ветеран института пытался высвободиться, растолковать ошибку, но под общий смех американец его тискал, с размаху хлопал по плечу, дружески наградил тумаком в бок. Наконец недоразумение разъяснилось. Экспансивный Боб всплеснул руками, извинился и... Американец, несомненно, был парень не промах. Не растерявшись, он мигом вытащил из кармана пальто небольшую книжку. В руках невинно пострадавшего оказался бесплатный прейскурант фирмы «Гермес», со звездным флагом Соединенных Штатов на обложке.

— На память! На память! Наша фирма! — восклицал гость.

Он безукоризненно продолжал свою роль, хотя многие, конечно, уже догадались о шутке. Вновь оглядевшись, он вопросительно повернулся к Шелесту. Тот с самым серьезным лицом выразил предположение, что Бережков находится у мотора. Боб тотчас оживился:

— А, мòтор! Мòтор! — с нерусским ударением заговорил он.— Мòтор моего друга!

Потом он по-английски попросил о чем-то Шелеста. Август Иванович выслушал, любезно кивнул и, подняв руку, сказал всем:

— Товарищи, пойдемте с нами. Посмотрим, как понравится американцу наш мотор...

И вот гурьба молодежи, наскоро одевшейся, уже распознавшей, чьи глазки скрыты под очками, окружает на морозе под навесом новогоднего американца. Мотор ревет, сотрясается земля, из выхлопных труб бьет острое пламя, а мистер Роберт Вейл совсем не восхищен. Его подвижная физиономия неодобрительно кривится, он наклоняется, проводит пальцем по корпусу мотора и поднимает этот палец, вымазанный черным маслом. Да, в «Д-24» пока есть этот изъян: прокладки кое-где пропускают масло. Пренебрежительно махнув рукой, американец отворачивается, вытирает платком палец и вдруг, снова обретя экспансивность, выхватывает из кармана еще один прейскурант фирмы «Гермес». Здесь, во всепоглощающем гуле, нельзя

ничего произнести, ничего расслышать, но Боб энергично жестикулирует, демонстрирует звездный флаг на обложке прейскуранта и выразительно изображает размах — размах американской техники. Затем откидывает обложку и показывает снимок мотора. Он ударяет по странице пятерней: «Вот, господа, это мóтор!» Он ждет восторгов, но все хохочут. Все знают, что последняя модель «Гермеса» уже далеко превзойдена в мощности вот этой машиной, еще не доведенной, еще пропускающей масло, но уже живущей, рокочущей во дворе института! И только теперь мнимый американец выпрямляется, срывает с себя шляпу и парик, сдергивает очки и, хохоча со всеми, театрально кланяется.

27

Вскоре Бережков, уже без парика, в своей меховой шапке, в кожаной куртке, снова наведался к мотору. Собственно говоря, он мог бы спокойно оставаться в зале станции, ибо приборы, находящиеся там, показывали отличную ровную работу, равномерную нагрузку всех цилиндров, но его все-таки тянуло сюда, под навес. Хотелось снова видеть вылетающие из шестнадцати патрубков огненные лезвия, вглядеться в каждое, распознать по характеру выхлопа, как ведет себя цилиндр.

Присев на табурет, он ощутил, как под деревянными ножками дрожит мерзлая земля. Во всем мире еще нет авиационного мотора такой мощности. Как чудесно он гудит! Бережков закрыл глаза, пытаясь уловить какие-либо дисгармонические стуки. Нет, ничего не стучало. Прошел ровно год с того вечера, когда... В памяти всплыл этот вечер; всплыло худощавое лицо с крупной родинкой на конце носа, с бледноватой незагоревшей полоской вверху лба, лицо человека, который всегда держится так прямо, Родионова, начальника Военно-Воздушных Сил страны. Тогда, чуть подавшись к лампе под зеленым абажуром, этот человек раскрыл том Ленина с потрепавшимися уголками переплета и прочел оттуда: «...Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей...» И в те минуты там, в кабинете Родионова, год тому назад Бережкова вдруг залихорадило, затрясло так же, как... как сейчас на этом дрожащем табурете. Потом...

Бережков улыбнулся, вспоминая, как он выскочил, словно ошпаренный, с новогоднего вечера у Ганьшина и побежал по улицам ночной Москвы: чертить, чертить!

Он опять притронулся к картеру мотора, ощутил пальцами горячее живое трепетание. Год назад это было мыслью, мечтой, фантазией, а теперь вот она, фантазия, гудит, сотрясая землю. Он достал часы, взглянул, машинально поднес к уху, не уловил тиканья и еще раз взглянул: секундная стрелка мерно двигалась. Бережков усмехнулся — к мощности этого гула он еще и сам не мог привыкнуть. Пусть же разносится по Москве под Новый год этот будто водопадный рев, такой, какого Москва никогда еще не слышала. А в наступающем году — до него осталось всего четверть часа — моторы «Д-24» поднимут в небо самые большие, самые быстрые в мире самолеты.

Из-под края навеса виднелось звездное небо, табуретка дрожала, длинные острия пламени стлались по ветру, и Бережкову чудилось, что он несется сквозь пространства, мчится на локомотиве или на корабле времени. Двор института, слабо освещенный фонарями, казался очень далеким. Уносясь, Бережков смотрел туда со своего корабля, будто через какой-то оптический инструмент: все было видно, но ни единый звук не доходил.

...Вот из проходной будки вышел сторож, беззвучно хлопнул дверью, направился к воротам, что вели на улицу, открыл их. Возникли лучи фар, и во двор беззвучно въехала легковая машина. Чья она? Откуда? Автомобиль еще не совсем остановился, а кто-то в темноватой военной шинели, в военной шапке, в сапогах легким упругим движением спрыгнул на снег. Кто же это? Странно, как он прямо держится. Неужели Родионов? Да, это был он, начальник Военно-Воздушных Сил Союза. И уже шагал к навесу, на пламя выхлопов, на рев мотора.

28

Новый год встречали у мотора.

Родионов стоял у ярко освещенной панели, где по приборам можно было видеть, как работает «Д-24», но сейчас, сдержанно улыбаясь, смотрел не на приборы, а на молодых конструкторов, которые, захватив стаканы и бутылки, покинули теплый зал.

Шелест прокричал на ухо Бережкову:

— Сбросьте газ до малого!

И показал на часы. Две стрелки уже почти слились у двенадцати. Не полагаясь на свой голос, Шелест еще и жестами скомандовал, чтобы мотор гудел потише. Кто-то откупорил вино.

Первый стакан Недоля, смущаясь, протянул Родионову. Тот снял перчатку, взял стакан. Губы командующего авиацией шевельнулись. Шелест угадал, что это было всегдашнее родионовское «нуте-с», теперь поощрительное, даже ласковое.

— Снизьте обороты! — опять прокричал Шелест Бережкову.— И давайте тост.

Он жестами изобразил, что предоставляет слово главному конструктору.

Держа в левой руке поданный ему стакан вина, Бережков сжал рычажок управления газом. Стрелка на одном из приборов говорила, что сейчас на этом ровном режиме мотор развивает мощность около семисот лошадиных сил. Бережков взглянул на прибор, взглянул вокруг на всех, кто здесь, на морозе, на ветру, ждал новогоднего тоста, вскинул голову и со счастливыми блестящими глазами потянул рукоятку, потянул не вниз, а добавил оборотов. Послушно двинулась стрелка — семьсот пятьдесят, восемьсот, восемьсот двадцать... Ого, как легко принимает мотор форсировку! Наверное, на всех ближайших улицах в домах задрожали стекла. Наверное, за празднично накрытыми столами многие прислушались, переглянулись: кто же в такую минуту, ровно в полночь, когда часы отбивают двенадцать, приветствует Москву словно новогодним тостом? Кто? Восемьсот сорок, восемьсот пятьдесят... Это советский авиационный мотор! Слушай, Москва, слушай! Может, и Ленинград услышит? Восемьсот шестьдесят, восемьсот семьдесят... Бережков не решился дальше набирать мощность, она и так поднялась куда выше проектной. Показав на приборы, на мотор, взмахнув рукой ввысь, к звездному небу, он безмолвно предложил выпить.

Родионов поднял свой стакан, подошел к Бережкову, чокнулся с ним. Бережков никогда еще не видел у строгого и, казалось бы, суховатого Дмитрия Ивановича таких сияющих глаз. И не только сияющих. Родионов с нежно-

стью и с каким-то особым интересом вглядывался в конструктора, словно прозревая в этот миг что-то очень редкое, необыкновенное.

Толкаясь, чокаясь, беззвучно крича, ничего не слыша и все-таки друг друга понимая, все выпили здравицу, возглашенную без слов,— за свою страну, за авиацию, за мотор.

Кто-то крикнул, показал:

— Качать!

Кинулись к Шелесту и Бережкову. Молодые руки подняли и понесли под открытое небо пятидесятилетнего профессора, по трудам которого училось и это поколение, основателя АДВИ,— улыбающегося, слабо протестующего, придерживающего фетровую серую шляпу. А Бережков, кивнув на приборы, решительно отстранил всех. Потянув обратно легко поддающуюся рукоятку, он плавно перевел «Д-24» на прежний режим. Затем еще убавил газ. Рев постепенно сменился легким рокотом. Теперь уже можно было, пожалуй, и расслышать голос. Да, прекрасная машина. Сейчас она отлично выдержала форсировку. О, как понадобится летчику в любом трудном маневре эта «приемистость» мотора, способность почти мгновенно увеличивать обороты, отдавать полную мощность.

Потом Бережкова все-таки качали. Осмелев, молодежь добралась и до Родионова. Его, командующего авиацией, в строгой темно-синей шинели, тоже подкидывали и мягко ловили и снова подкидывали десятки рук.

А «Д-24» гудел. Родионов опять подошел к мотору, постоял, наклонился к Шелесту и что-то прокричал. Бережков, смеясь, подставил ухо.

— Когда же он сломается? — весело крикнул Родионов.

— Сломается, не беспокойтесь! — так же весело заорал в ответ Бережков.

Он уже не был птенцом в своем деле, твердо знал, что поломки еще будут, и запасся терпением, упорством, ультраупорством, по его выражению, чтобы доводить, доводить мотор.

— Оставайтесь с нами до утра! — прокричал он Родионову.— Тогда, может быть, дождетесь...

Родионов отрицательно повел головой.

Он так и не дождался поломки. Еще некоторое время он побыл у мотора, зашел в зал испытательной станции, потом попрощался со всеми и уехал.

Мотор действительно сломался лишь к утру, беспрерывно проработав четырнадцать с половиной часов. Для истории сохранилась краткая деловая запись об этом в журнале дежурных инженеров АДВИ, помеченная уже утренней датой: первым января 1930 года.

29

Несколько дней спустя Шелест привез в институт радостную весть. Высшими правительственными органами было принято решение: завод авиационных моторов, строящийся на берегу Волги, предназначить для серийного выпуска «Д-24». Шелест вскоре выезжал за границу в составе специальной комиссии, которой поручили заказать и закупить оборудование нового завода. Авиатресту было дано распоряжение изготовлять вне всякой очереди на своих предприятиях по заказам АДВИ все, что в процессе доводки мотора потребуется институту.

В связи с отъездом Шелеста Бережкову, как главному конструктору АДВИ, предложили временно замещать директора. Бережков наотрез отказался, даже когда ему позвонил Родионов.

— Не могу, Дмитрий Иванович, избавьте. А то меня непременно будут судить за кошмарнейшие преступления по службе.

— Почему так?

— Потому что у меня сейчас сомнамбулическое состояние.

— Какое?

— Сомнамбулическое. Я абсолютно невменяем. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю, кроме...

— Кроме мотора?

— Да. Я теперь, как пуля, устремлен только к одной цели: довести мотор.

— Вот, вот... И надо устремить весь институт к этой же цели... Кто же проведет это практически? Мне подумалось: конструктор мотора.

— Конечно, конструктор! — пылко воскликнул Бережков.

Родионов рассмеялся:

— Нуте-с... Нуте-с, пуля... Договорились. Жму вашу руку.

— Подождите, Дмитрий Иванович. Решайте, как хотите, лишь бы я знал только мотор, лишь бы меня от этого не отвлекали.

— А кто будет отвечать?

— Не знаю, Дмитрий Иванович, как это выйдет юридически, но ведь я все равно отвечаю за свою вещь всей своей судьбой.

Родионов помолчал, потом сказал:

— Хорошо. Что-нибудь придумаем. Занимайтесь мотором.

Комиссия по закупке оборудования, снабженная всеми чертежами, вскоре уехала. Предварительно были просмотрены многие десятки прейскурантов-каталогов машиностроительных фирм, разработаны спецификации. Бережков принимал в этом самое деятельное участие, внес массу предложений, сопровождая их моментальными набросками на полях каталогов или на любом попавшемся под руку листе бумаги. Проводив Шелеста, он продолжал с коллективом АДВИ улучшать мотор.

Однажды ему снова позвонил Родионов. Расспросив о работе, Родионов сказал:

— Алексей Николаевич, у меня к вам предложение: вылететь со мной завтра на площадку завода. Пора вам пройтись по цехам, где будет выпускаться ваш мотор, окинуть все хозяйским взглядом.

— А у меня,— живо ответил Бережков,— есть встречное предложение. Что вы скажете о поездке туда на аэросанях? Славно промчимся, Дмитрий Иванович.

— С двумя-тремя приключениями в пути?

— Что вы! Никогда.

— Уж никогда ли?

— Дмитрий Иванович, я, конечно, не принимаю в расчет уму непостижимых случаев.

Родионов улыбнулся, держа трубку. В эти дни, когда мощный советский авиамотор был уже, казалось, создан, он охотно шел на шутку, подшучивал над Бережковым.

— А почему, собственно, нам не испытать и приключений? — сказал он.— Нуте-с... Кто нам это запретил?

— Испытаем! — воскликнул Бережков.— Ручаюсь, испытаем. У меня ни один пробег еще не обходился без чего-нибудь невероятного...

— Не хотелось бы, Алексей Николаевич, только одного...

— Чего?

— Уму непостижимо засесть где-нибудь в сугробе.

— Никогда! Какие же теперь сугробы? Март. Самый дивный наст. Ничего чудеснее нет на свете.

— А сани в путь готовы?

— В АДВИ, Дмитрий Иванович, они всегда готовы.

— Что же, тогда завтра в шесть утра буду на Лефортовском плацу.

Бережков разыскал в мастерских Недолю. Там опять внимательно перебирали мотор.

— Фёдя, за дело!

Младший инженер-конструктор недоуменно посмотрел.

— Федя, завтра едем!

— Куда, Алексей Николаевич?

— На Волгу, на аэросанях.

— Зачем?

— На завод, где будет выпускаться наш мотор. Надо проверить, все ли там в порядке... Оглядеть все по-хозяйски.

Бережков с удовольствием повторял слова, только что услышанные от Родионова. Он послал Недолю подготовить сани к поездке. Теперь молодое поколение АДВИ быстро завладевало в институте всем. Недоля, как некогда и Бережков, жадно работал и в конструкторском бюро, и в мастерских, увлекался и аэросанями, проектируя для них с двумя товарищами свой первый собственный мотор.

30

Нет, в пути ничего не приключилось.

К десяти часам утра они вынеслись к Волге. Бережков заложил крутой вираж. Сани, накренившись, прочертили одним полозом по снежной целине красивую, геометрически точную кривую. С раскрасневшимся счастливым лицом Бережков оглянулся на Родионова, сидевшего в пассажирском отделении, поймал веселый взгляд, кивок и вовсю пустил сани по нехоженой белой глади русла, обозначенной высоким берегом с глубокими тенями оврагов.

Мартовское солнце уже пригревало, в кабинке потеплело. Наметенные вьюгой, затвердевшие маленькие гребешки снега, заметные только вблизи, нескончаемо выраставшие навстречу, уже подтаивали, стали хрупкими, чуть ноздреватыми.

Жмурясь от искрящейся белизны, прижав ногой до предела педаль газа, свободно положив руки на руль, почти не управляя, Бережков отдавался удовольствию неимоверно быстрого скольжения, что можно ощутить, лишь летя с горы на лыжах или вот так, мчась по насту на аэросанях, когда, будто утратив вес, не проламывая подмерзшей легкой корки, полозья оставляют только след. И вдруг...

Ни в одном своем рассказе о пробеге на аэросанях Бережков не мог обойтись без такого «вдруг». Я ожидал, что он, по своей манере, выдержит интригующую паузу, поднимет палец, посмакует мое нетерпение. Нет, он повествовал с воодушевлением, глаза блестели.

— И вдруг,— повторил он,— я вздрогнул. Поверите ли, это тоже был один из потрясающих моментов моей жизни! Догадались, что произошло? Завод! Мы увидели завод!

Как-то сразу, за какой-то излучиной реки взгляду Бережкова, взгляду всех, кто несся с ним на аэросанях, открылась площадка Моторстроя. Крутизна берега несколько заслоняла ее; еще не было видно взрытой земли, движения по дорогам, работ. Казалось, очертания огромного завода, смягченные далью, поднялись прямо из снегов. Предстали ряды кирпичных труб, кое-где еще не выведенных доверху; длинные остовы крыш, еще не застланных, ажурных; силуэт башенного крана; темные контуры градирен и газгольдеров; железные переплеты эстакад; электростанция в фанерном тепляке с характерными короткими черными трубами, похожими на пароходные. Над самой высокой строительной мачтой реяло по ветру красное полотнище.

С каждой секундой завод приближался, становился явственнее. Вот уже можно различить вонзившиеся в голубое небо острия громоотводов на кирпичных трубах; поворачивается подъемная стрела, несущая над крышами по воздуху стальную балку; чернеют фигурки верхолазов; на крыше заклепывают стропила; блеснули здесь и там молнии электрической сварки.

Бережкова била дрожь. Ведь это же завод для его мотора! Уже много месяцев подряд Бережков занимался утомительной доводкой; мозг был сосредоточен на тысяче мелочей, на какой-нибудь ничтожной кривизне, эллипсности валов, которую им следовало придать для долгой службы, на мельчайших зазорах, измеряемых сотыми долями миллиметра, что тоже надо было отыскать, поймать нескончаемыми опытами. Каждый день одно и то же: просмотры диаграмм температуры и прочих показаний всех самопишущих приборов, демонтаж мотора, смена деталей, настройка. И на следующий день опять: нелады с маслоподачей, перегрев, клапаны, подшипники, прокладки... И только в редкие минуты, как-нибудь под вечер, мечты.

А тут перед ним не в мечтах, а наяву, среди снегов, на крутом берегу русской великой реки раскинулся на несколько километров завод, который будет выпускать эти моторы, самые мощные авиадвигатели в мире.

Рядом с Бережковым сидел Недоля в черной жеребковой куртке, в меховой шапке со спущенными, завязанными у подбородка ушами. Он тоже смотрел на завод, подавшись к ветровому стеклу. Ему стало жарко. Дернув тесемки, он снял шапку, смахнул тыльной стороной ладони легкую испарину на лбу. Пробившиеся где-то струйки ветра чуть трепали его светлые волосы. Бережков взглянул на него. Вот также, наклонившись вперед, прильнув к пулемету, Федя сидел рядом с Бережковым ровно девять лет тому назад, когда они мчались на аэросанях по льду Финского залива. Впереди и по бокам вскипали белые взбросы битого льда и воды от рвущихся тяжелых снарядов. И теперь вдали на берегу вдруг возник такой же, только черный, взмет: на стройке рвали землю.

Наметив трассу подъема, Бережков направил сани вверх по береговому склону. Встающий белый гребень постепенно закрывал стройку. Родионов приподнялся, перегнулся через спинку водительского места, чтобы все-таки видеть завод. Уже только кончики труб маячили над гребнем да колыхался по ветру приближающийся красный флаг. Родионов вдруг потряс Бережкова за плечи и, смеясь, показывая вперед, крикнул, перекрывая гул мотора:

— А?!

Так они и взлетели в гору.

Бережков остановил сани у тепляка электростанции. Отсюда в глубь площадки к главным корпусам прокладывали траншею так называемого шинного туннеля. Линия работ просекала еще не застроенное поле. Промерзшую землю отогревали кострами, врубались в нее мотыгами, топорами, ломами, а там, где она не поддавалась и лому, вгоняли кувалдами железные клинья и все-таки откалывали кусок за куском. В пробитые колодцы запальщики закладывали бурки; звучал сигнальный рожок; люди отбегали; черные глыбы с глухим уханьем вздымались в воздух, оседала пыль; землекопы с лопатами и кирками снова шли туда.

Тогда еще в нашей стране не выпускали ни экскаваторов, ни грузовиков; на всем открытом взору пространстве курсировало лишь несколько грузовых автомобилей, переваливающихся на ухабах с боку на бок; всюду сновали лошаденки; выброшенную землю грабари, бородатые, в крестьянских армяках, в лаптях, кидали лопатами в сани и в телеги.

По свежему рву вслед за землекопами продвигались плотники и арматурщики. Здесь же на морозе на деревянную опалубку траншеи, на каркас железных прутьев выливали из бадей и утрамбовывали дымящуюся подогретую кашицу бетона. Перекликались то с волжским оканьем, то на украинской «мове», то по-московски акая. Виднелись солдатские папахи еще времен давней войны, кубанки, русские треухи, обтрепанные шлемы-буденовки, татарские стеганые шапки. В одном месте Бережков заметил странную группу в ватных, по-восточному пестрых халатах, в азиатских малахаях. Это были смуглолицые узбеки или казахи. «Вот так Моторстрой,— возбужденно подумал Бережков.— Всю страну подняли ради мотора».

Родионов в кожаном черном пальто без всяких воинских знаков и в мерлушковой шапке со звездой шел впереди. Недоля, шагавший рядом с Бережковым, оглянулся на тепляк, за которым в затишке под охраной сторожа были оставлены аэросани.

— Дальше не пойду! — сказал он.— Постою немного здесь, потом займусь санями.

— Успеется... Пойдем,— коротко кинул Бережков.

Его влекли длинные корпуса цехов в отдалении. Сквозь светлые пустые проемы окон и ворот можно было видеть,

как там, внутри цехов, двигаются паровозы и вагоны. Под остовом крыши покачивалась поднятая на стальных тросах тяжелая тележка мостового крана, которую подтягивали к верхним главным фермам.

Тропка вывела их к санному пути. Длинной чередой шли груженные землей розвальни. На дорогу сыпались комочки мерзлого суглинка и песка. Полозья давили их, втирали в снег. Вдали показалась легковая машина. Она медленно пробиралась по этой дороге, пролегшей в снежном поле светло-коричневой широкой полосой.

— Дальше, Алексей Николаевич, не пойду,— опять сказал Недоля.

И все-таки шагнул поближе к траншее, где кипела работа. Бережков взял его под руку. С минуту они стояли молча. Родионов тоже остановился.

— Черт возьми,— сказал Бережков,— ведь это чудо. Чудо-завод, а?

— Да,— откликнулся Недоля.— И смотрите, как работают... Смотрите, как нужен народу наш мотор...

Бережков счастливо рассмеялся.

— Ну, это ты, Федор, того... Такому дяде, наверное, наплевать на все моторы.

Он показал на проезжавшего мимо небритого возницу в папахе, который, сунув под мышку рукавицы, свертывал толстыми, запачканными землей пальцами цигарку махорки.

— А между тем, философски говоря,— улыбаясь, продолжал Бережков,— смысл его жизни, быть может, именно в том, что он служит созданию мотора. В том-то, Федя, и чудо, что всех этих мужичков, никогда не помышлявших о моторах, взяли крепкой рукой за ворот, стащили с русской печи, и вот...

Родионов стоял неподалеку. Внезапно его шея покраснела. Он круто повернулся.

— Не говорите пошлостей!

Бережков увидел его странно взметнувшиеся светлые брови, вспыхнувшее негодованием лицо. Недоля потупился и пошел в сторону.

— Куда ты? — растерянно выговорил Бережков.

Недоля лишь ускорил шаг.

— Неужели вы не понимаете,— с неутихающей резкостью быстро говорил Родионов,— что ему стало за вас стыдно!

— Дмитрий Иванович, я... Я только...

— Вы только сказали, что смысл жизни этих людей,— резко жестикулируя, Родионов показал вокруг,— в том, чтобы сделать ваш мотор. Подумаешь, существует этакий гений Бережков, а все эти мужички, как вы их изволили назвать, живут лишь для его мотора! Чудовищно! Постыдно! Они поднялись, чтобы разделаться с вековым угнетением, совершили величайшую в истории революцию, воевали за нее, лили кровь, голодали, валялись в тифах и все-таки выдержали, прогнали армии четырнадцати стран. И теперь работают, строят заводы на своей земле. Ради чего? Чтобы доставить удовольствие или, если вам угодно, творческое удовлетворение Бережкову? Черта с два! Им действительно наплевать на это, если только... Если только вы сами не служите народу! И, философски говоря, товарищ Бережков, смысл вашей жизни именно в том, что вы, желаете этого или не желаете, служите им, этим мужичкам, о которых позволили себе с таким пренебрежением говорить.

— Дмитрий Иванович, я... Я, конечно же...

— Вы, конечно же, наговорили вздору! Народ для мотора! Какая чепуха!

Бережков стоял, пытаясь улыбнуться, как провинившийся, пристыженный школьник. Родионов оборвал свою отповедь. Некоторое время он молчал. Вскинувшиеся брови опустились, краска возмущения схлынула с загорелого лица.

Рассказав мне об этом эпизоде, Бережков задумчиво проговорил:

— Можно ли это миновать в нашем романе? Нет, мой друг, нельзя. Вы должны знать все. Ваш герой был таким дураком, или, литературно выражаясь, настолько ограниченным, что никак не мог даже, как видите, уже не в первые годы революции глубоко понять, казалось бы, самую простую вещь: самую суть социализма — освобождение человека от гнета эксплуатации. Меня захватывали другие стороны нашей великой революции: патриотизм, невероятный размах индустриализации, дерзновенность пятилетки и так далее. А ее глубочайшая человеческая сущность, основа всех наших чудес,— это было последнее, что я осознал в социализме. К сожалению, приходится в этом признаваться... Вернемся теперь, мой друг, на площадку.

По дороге приближалась легковая машина. Родионов посмотрел туда и совсем иным тоном, будто и не было вспышки, сказал:

— Нуте-с... Это, кажется, Алексей Николаевич, за нами.

С подножки автомобиля соскочил Новицкий, директор Моторстроя.

— Дмитрий Иванович, здравствуйте! — весело закричал он.— Почему без предупреждения? Хотели застичь врасплох? Пожалуйста, вот и застигли... А, и товарищ Бережков! Здравствуйте, милости просим...

Пожав руку Родионову, он ударил ладонью по протянутой ладони Бережкова и крепко ее стиснул.

— Давно вас, Алексей Николаевич, сюда жду. Скоро переберетесь? Я ему, Дмитрий Иванович, уже и кабинет оштукатурил. Только где же мотор? Давайте, давайте, а то не поспеете за нами.

Новицкий был на два-три года моложе Бережкова, но теперь никто не назвал бы его молодым. Кожаное черное пальто, такое же, как у Родионова, не скрывало грузноватости. Его, видимо, увлекала работа: карие глаза, как и прежде, были очень живыми, но под ними набухли небольшие мешки. Сеточка красных жилок в белках глаз, краснота век были печатью многомесячного недосыпания.

— Нуте-с, как ваше здоровье? — спросил Родионов, внимательно вглядываясь в Новицкого.— Как сердце?

— О здоровье, Дмитрий Иванович, будем говорить, когда пустим завод. Тогда уеду лечиться... Этак месяца на два в санаторий. Позволите?

— Конечно.

— Боюсь, что для меня сразу найдется новая ударная задачка. Садитесь...— Новицкий раскрыл дверцу машины.— Дмитрий Иванович, с вашего разрешения, сначала повезу вас подкрепиться...

— Нет, благодарю вас...

— Тогда командуйте... Куда поедем? Что вы хотели бы посмотреть прежде всего? Или позвольте, я сам, Дмитрий Иванович, покажу вам стройку...

— Давайте-ка, Павел Денисович, попросту пройдемся.

— Охотно...

Они пошли по дороге. Новицкий рядом с Родионовым,

Бережков сзади. Посматривая по сторонам, задумавшись, он время от времени прислушивался к сильному баску Новицкого.

— ...Сейчас гоню шинный туннель,— объяснял Новицкий.— Высоковольтный ток дам мостовым кранам точно по графику: первого мая. И немедленно начну монтировать оборудование.

— ...Складируем, Дмитрий Иванович, неплохо. Сам это проверяю ежедневно. Не хотите ли туда проехать? Но уже вырисовывается, Дмитрий Иванович, угроза некомплектности. Я вам завтра вышлю рапортичку.

— ...Базу создали. Это, Дмитрий Иванович, выполнено. Имеем теперь свой лесокомбинат, свои подсобные заводы: ремонтно-механический, бетонный, кирпичный, котельный...

— ...С дорогами трудно. Транспорт режет, Дмитрий Иванович. Да, узкую колею веду... Но не хватает подкладок, костылей. Прошу вас, Дмитрий Иванович, в Москве нажать.

— ...Ограда? Это тяжелый объект, Дмитрий Иванович. Ограда встанет нам ровнехонько в миллион рублей. С весны возьмемся... Нет, только из железобетона. Самый дешевый и надежный материал.

Бережков шел, порой ловя эти долетавшие до него слова, глядя на приближающиеся корпуса цехов. Его снова охватывал восторг. Боже мой, какой завод! Миллион рублей ограда!

Внезапно Родионов остановился перед невзрачным длинным бараком, сбитым из нестроганых досок, с небольшими, запотевшими изнутри окнами.

— А это что у вас?

— Это, Дмитрий Иванович, времянка... Скоро ее выбросим.

— А что там?

Рабочая столовка.

— Вот как... Нуте-с, посмотрим.

33

В холодноватом помещении пахло щами. Под потолком стлался пар, заколыхавшийся, когда раскрылась дверь. Столы почти не были заняты, еще не настал час обеденного перерыва. Лишь несколько рабочих, не раздев-

шись, что-то ели из жестяных мисок. У самой двери, за столом, преграждавшим вход, сидела девушка в валенках, в пальто, в шерстяном платке и читала растрепанную книжку. Перед ней была навалена груда деревянных ложек. Не отрываясь от книги, она машинально нашарила и сунула Родионову ложку. Он нахмурился, взял, произнес:

— Странный порядок...

Девушка подняла взор и оторопела.

— Странный порядок,— повторил Родионов.— Для чего, собственно, вы тут сидите с этими ложками?

Запинаясь, она объяснила, что каждый, уходя из столовой, обязан сдать ложку. И показала большую плетеную корзину на столе, куда их следовало бросать.

— И вы здесь контролируете, чтобы рабочий, не дай бог, не унес вот эту деревяшку?

— Да...

Бережков увидел, что шея Родионова опять покраснела. Вынув из кармана совершенно чистый платок, Родионов протер полученную ложку. На полотне остался чуть заметный слой жира: ложка была плохо вымыта. Он повернулся к Новицкому. Брови круто взметнулись.

— Вам хотелось бы обедать здесь, товарищ Новицкий?

Несколько рабочих, сидевших неподалеку, заинтересованно прислушивались. Кто-то торопливо вышел из-за дощатой перегородки в глубине и нерешительно остановился.

— Дмитрий Иванович,— негромко ответил Новицкий,— во-первых, я столовыми не занимаюсь. Это дело кооперации...

— Не мое дело? И это говорит член партии, директор, коммунист?

— Дмитрий Иванович,— по-прежнему негромко, но твердо перебил Новицкий.— Вы могли бы сказать мне все это в кабинете, а не здесь...

Родионов сдержался. Не вымолвив больше ни слова, он бросил ложку в корзину на столе и зашагал к выходу. На воле Новицкий сказал:

— Должен повиниться, Дмитрий Иванович, я ни разу не бывал в этой столовой. Не находил времени...

— И очень плохо. Позор проверять эти несчастные ложки! И содержать столовую в такой грязи! Детские ясли у вас на стройке есть?

— Да...

— Но вы и там, наверное, ни разу не были?

— Не побывал, Дмитрий Иванович.

— Нуте-с, поедемте туда... А затем в партийный комитет... Вы и там, думается, не частый гость?

Новицкий промолчал.

У барака стояла легковая машина, которая ранее, когда они шли, медленно следовала за ними. Родионов обратился к Бережкову:

— Алексей Николаевич, вы, пожалуйста, пройдитесь по цехам. Все осмотрите по-хозяйски... Встретимся...— Отогнув кожаный обшлаг, Родионов взглянул на часы.— Встретимся, если не возражаете, через два часа вот там, у заводоуправления.

Он указал на очень заметное, четырехэтажное, уже оштукатуренное и частью застекленное здание в центре площадки. Потом сел с Новицким в машину. Она тронулась.

34

Ровно через два часа тот же облупленный пофыркивающий автомобиль подкатил к четырехэтажной коробке заводоуправления.

Фасад был залит мартовским солнцем, перевалившим за полдень. С крыши, обросшей сосульками, сбрасывали тяжелый, напитанный влагой снег. Широкое крыльцо из тесаных плит серого камня вело к главному входу: там уже были навешены массивные дубовые двери, еще не выкрашенные, а только зашпаклеванные. В некоторых окнах уже блестели стекла, забрызганные жидким мелом. А боковое крыльцо еще было забрано лесами. Шаткий наклонный настил из пары досок пока заменял здесь ступени. По этому настилу строители то и дело вкатывали с разбегу тачки или таскали носилки с цементом, известью, песком.

— Где же наш Бережков? — произнес Родионов, выйдя из машины и оглядываясь.

Новицкий ответил:

— Наверное, увлекся и про все забыл... Слишком импульсивная натура.

— А это неплохо... Нуте-с...

Сейчас родионовское «нуте-с» вызывало на разговор. Новицкий сдержанно пожал плечами. Но в ту же минуту

появился Бережков. Он вышел из здания, сбежал по главному крыльцу, взволнованно направился к Родионову:

— Дмитрий Иванович, меня зарезали!

Его энергичный вид — слегка разрумянившиеся на ветру щеки, сдвинутая немного набекрень меховая шапка, черненый полушубок, туго перехваченный ремнем, испачканный на плечевом шве известкой,— его вид так противоречил возгласу, что Родионов улыбнулся.

— Кто вас тут обидел?

— Форменным образом зарезали! Я обошел завод...

— Нуте-с, нуте-с...

— Прекрасный завод! Необыкновенный завод! Но для работы главного конструктора не создано абсолютно никаких условий.

— Какие же вам нужны условия? — сухо спросил Новицкий.

— Конструкторское бюро загнали в какой-то закоулок.

— Закоулок в двести пятьдесят квадратных метров.

— А мне нужно в несколько раз больше.

— Ого! Может быть, все это здание?

— Нет, другое... Которого еще здесь нет... Дмитрий Иванович, это страшное наше упущение. Где мы будем изучать мотор? Где наша испытательная станция? Главному конструктору необходимо свое здание. И оно должно быть самым лучшим, самым чудесным на заводе.

— Вот,— усмехнулся Новицкий,— поскакал в царство фантастики.

— Нет, почему же? — проговорил Родионов.— Послушаем его.

— Я, Дмитрий Иванович, категорически настаиваю на отдельном здании. Иначе мы сами зарежем наш мотор! Ведь он должен с каждым годом развиваться, совершенствоваться. Над ним надо работать! Но где же я буду этим заниматься? Где буду экспериментировать?

И Бережков возбужденно описал здание, которое ему виделось в воображении,— со специальными лабораториями, где можно создавать искусственно разреженную атмосферу, чтобы изучать поведение мотора на различных высотах, с небывалыми рентгеновскими установками, которые насквозь просвечивали бы работающий двигатель, и так далее и так далее. Невольно улыбаясь, Родионов опять, как и под Новый год, у ревущего мотора, вглядывался в конструктора с каким-то особым интересом.

— Павел Денисович, нуте-с, что вы можете возразить по существу?

— Ей-богу, с удовольствием бы все это построил,— весело ответил Новицкий.— И перетащил бы сюда весь институт Шелеста. Но мне дан проект. Для меня это закон. И я не могу строить того, что придет в голову мне или такому фантазеру, как наш уважаемый Алексей Николаевич... У нас, как на всяком современном заводе, есть контрольные лаборатории...

— Мне надобно не то!

— Во всяком случае, Дмитрий Иванович, проект обсуждался много раз, и никто об этом не просил.

— А я прошу!

— Хорошо,— сказал Родионов.— Дадим вам свое здание.

И опять, как всегда, когда он говорил, почувствовалось: что̀ он скажет, то и будет.

— Дадим, Павел Денисович, все,— продолжал Родионов,— о чем просит конструктор мотора. В этом нельзя жаться, ибо дело идет...— он помолчал,— о мировом соревновании. Проект надо соответствующим образом дополнить...

— Я сам все начерчу! — воскликнул Бережков.

35

Втроем они вернулись к тепляку электростанции. Солнце еще грело, но стало неослепительным, чуть золотистым. Впадины оврагов потемнели. Пора, пора было ехать! Обогнав спутников, Бережков энергично шагал к аэросаням. Родионов еще раз оглянулся на завод, потом посмотрел вдаль на белую равнину лугового берега, где виднелась деревенька, почти утонувшая в сугробах, глубоко втянул воздух, напитанный запахом талого снега, быстро нагнулся, сгреб белый, легко лепящийся комок и запустил в Бережкова. Снежок угодил в плечо. Бережков обернулся. Следующий ловко нацеленный удар пришелся ему пониже уха. Кусочки снега попали за шиворот.

— А-а-а! — крикнул Бережков.— И мы это умеем!

Снежки градом полетели в Родионова. Первый — мимо, второй — мимо, третий — в шапку, четвертый,— ага! — четвертый, кажется, в ухо. Бережков опять испу-

стил боевой клич и, наступая, хватал на ходу покрасневшими мокрыми руками снег, бросал и бросал без передышки, чтобы заставить Родионова показать спину. Однако Родионов, пригнувшись, легко увертываясь, отвечал меткими ударами. Черт возьми! Бережков остановился, повел шеей, за ворот опять поползли холодные струйки. Ну нет! Хоть вы, Дмитрий Иванович, и командующий авиацией, но... Бац! Бац! Бац! По кожаному черному пальто Родионова забарабанили снежки.

Из-за тепляка появился Новицкий. Увидев сражение, он побежал по целине, зашел во фланг Бережкову и, немного запыхавшись, стал его обстреливать. Бережков попятился.

— Наша берет, Дмитрий Иванович! — закричал Новицкий.

Но Родионов вдруг метнул в него снежок.

— Алексей Николаевич, вперед! Зададим директору! Бей формалиста!

Бережков расхохотался. Атакованный с двух сторон, Новицкий пустился было наутек, увяз в снегу, сел и поднял руки. Родионов подошел к Бережкову.

— Славно! — сказал он.— Теперь, дружище, едем.

36

— Далее я вам с прискорбием изложу,— продолжал свое повествование Бережков,— трагический финал истории «Д-24».

Представьте, прошел март, апрель и май, пролетело лето, подступила еще одна зима, приближался следующий Новый год, уже 1931-й, завод был уже совершенно готов к пуску, там уже шло опробование термических печей, прессов, паровых молотов; мастера-токари налаживали в прекрасном механическом цехе всякие умные машины, станки-автоматы, специально заказанные для изготовления деталей «Д-24»; уже ежедневно гоняли вхолостую главную сборочную ленту и все малые конвейеры, но... Но вот вам положение: завод есть, мотора нет!

Во время монтажа оборудования Шелест и я часто вылетали на завод, предъявляли свои требования монтажникам, решали вместе с ними всякие сложные вопросы; ко мне там уже привыкли обращаться, как к главному кон-

структору, даже здание испытательной станции, о котором я просил, уже высилось на краю завода, однако — проклятье! — мотор-то ведь все еще не был доведен.

Минул год, как мы его построили, этот самый «АДВИ-800», или «Д-24». Вы знаете, как чудесно он работал, как легко принимал форсировку, показывая мощность сверх проектной, но до нормы государственного испытания, то есть до пятидесяти часов непрерывного хода, мы никак не могли дотянуть. Перестав ездить на завод, забросив и многие другие дела, я снова отдался лишь мотору. Нас опять мучили бесчисленные задержки выполнения наших заказов на предприятиях Авиатреста. Приходилось по многу раз просить, кричать, учинять скандалы, чтобы на каком-нибудь заводе нам выточили партию валиков, клапанов или поршней. Поверьте, я шел на то, чтобы клянчить у Подрайского, засевшего в Авиатресте, всякую необходимейшую мелочь. Ведь в процессе тончайшей доводки требуются, без преувеличения, тысячи новых деталей. Постоянно мотор попусту простаивал, пока мы выцарапывали нужные части. Мы, работники АДВИ, изводились из-за этого. В вынужденном безделье мы теряли драгоценнейшие дни. У нас буквально крали время.

И все-таки, несмотря на эти изматывающие непрестанные мелкие подвохи, мы довели мотор до такого состояния, когда вполне определились точки, над которыми еще следовало работать.

Нас, например, резали поломки клапанов. Наш «Д-24», как мы говорили, «плевался клапанами». Вот мотор отлично идет, крутится десять часов, двадцать часов, и вдруг на форсированном ходу тот или иной цилиндр выходит из строя. Машина хрипит и свистит, резко падает мощность. Мы уже знали, что означает этот проклятый дикий свист. Останавливаем, смотрим. Там, где в ряд расположены клапаны цилиндров, в одном месте чернеет дыра. Весь мотор цел, лишь вырвало клапан. Мы потом часами искали этот оторванный клапан и находили где-нибудь на краю двора или на улице: бывало, он отлетал чуть ли не на четверть километра.

Все ждали, что мы вот-вот скажем: мотор готов для государственного испытания. А он по-прежнему «плевался клапанами», по-прежнему на двадцатом, на двадцать третьем, на двадцать восьмом часу работы начинал адски свистеть.

Мы ощупью, экспериментально, искали форму клапана, чертили все по-новому и по-новому эту деталь, отсылали заказы Авиатресту, и из нас снова выматывали жилы.

И проходили недели, проходили месяцы, а мы все еще не могли рапортовать: мотор готов!

37

— Нам несколько раз предоставляли отсрочки,— продолжал Бережков,— помогали. Дошло до того, что командующий авиацией сам занимался тем, чтобы выполнение наших заказов не задерживалось.

Но все сроки истекли. На Волге стоял новый, поистине грандиозный, первоклассный, полностью оборудованный завод авиационных моторов, стоял в бездействии из-за нас. Правительство не могло больше ждать. Было принято решение отказаться от нашего мотора и переоборудовать завод для выпуска иностранной модели. У немцев, у фирмы «ЛМГ», были куплены чертежи авиадвигателя, тогда самого мощного в Европе. Фирма обязалась передать вместе с чертежами и все так называемые операционные карточки, то есть всю технологию производства, и принимала гарантию за выпуск моторов.

Я понимал, что другого выхода нет. В эти последние месяцы меня порой удивляло или, вернее, трогало, что нас так терпеливо ждут, дают и дают нам время, приостановив пуск Волжского завода. Я ощущал, что наш недоведенный мотор задерживает, подобно пробке на шоссе, движение всей страны; был внутренне подготовлен к решению, о котором вам только что сказал, и все-таки оно на меня обрушилось, как страшное личное несчастье.

Ведь мотор был для меня ставкой всей жизни. Не удался мотор — значит, не удалась жизнь. Кроме того, поймите, конструктору, человеку творчества, присуще чувство, которое на страницах нашей книги однажды уже было названо словом «материнство». И как бы мать ни была подготовлена к тому, что дитя умрет, надежда не покидает ее до последней минуты.

Мне очень смутно, какими-то отдельными проблесками, помнится день, когда я узнал, что на «Д-24» поставлен крест.

Помню, Август Иванович пришел в мой кабинет. Я слушал доклад дежурного инженера, рассматривал лист-

ки миллиметровки, ночные показания самопишущих приборов о работе мотора. А он, наш мотор, ровно гудел за окном. На моем столе лежали разные его детали, то уже побывавшие в работе, сломанные или обнаружившие преждевременный износ, то совсем новые, матовые после обточки. Я подал Августу Ивановичу одну деталь, зная, что она заинтересует его. Он повертел стальную вещицу и, не взглянув на нее, молча положил на стол. Жест был таков, что я сразу все понял. Отпустил инженера. Спросил:

— Кончено?

Шелест стал говорить, но я расслышал, воспринял лишь одно: да, с мотором все покончено, мы не успели. Некоторое время, вероятно, сидел как оглушенный. Не могу вспомнить, как я встал, как очутился у окна, но последующий момент запечатлелся.

Я стоял, прислонившись к косяку окна, и смотрел на Шелеста, а он, присев на ручку кресла, обращался ко мне, говорил. Я заставил себя вслушаться. Ассигнования, расширение... О чем он? Дошло: институт решено расширить, будут выстроены новые производственные корпуса АДВИ, где через два-три года... Эх, через два-три года! Но сегодня или завтра мы вынесем в сарай, в могилу, наш мотор, навсегда похороненный.

Боже мой, но ведь вот же он — гудит за окном, живет! Я коснулся пальцами оконного стекла — оно вибрировало; ухо уловило его дребезжание, которое мы в институте по привычке перестали замечать. Так неужели же все кончено? И уже ничего невозможно сделать? Неправда, невозможного не существует! Спасать мотор, спасать! Далее опять слепое пятно в памяти. Знаю одно, я кинулся к Родионову. Как, на чем я к нему ехал или, может быть, попросту шагал, как попал в приемную, с кем там объяснялся — все это выпало, не помню.

Новый проблеск — кабинет Родионова. Длинная комната, которую когда-то я вам уже описывал. Очень много окон. Вдоль стен — модели советских самолетов. И вдруг в глаза бросилось то, чего раньше я здесь не видел. На специальной подставке, на высоком стальном стержне, была укреплена модель мотора. Я сразу узнал конструкцию Петра Никитина, наш первый отечественный авиамотор в сто лошадиных сил. Никитин дожал-таки свою

машину, довел до государственного испытания, до серийного выпуска. Я был поглощен собственным несчастьем, но на миг мне стало страшно по-иному. Представьте себе эту картину: десятки самолетов разных типов, вплоть до крупнейших воздушных кораблей, сконструированных и построенных в нашей стране, и среди них один-единственный моторчик мощностью всего в сто сил. И модель нашего «Д-24» не будет здесь стоять. У страны, которая так устремилась вперед, по-прежнему нет отечественного мощного авиамотора. Мы опять вынуждены купить заграничную марку. Дмитрий Иванович, нельзя с этим мириться! Дмитрий Иванович, ведь вы же сами говорили о сражении моторов! Нельзя, нельзя, тысячу раз нельзя позволить, чтобы нас побили!

Это была истерика — я не могу подобрать другого слова.

Родионов в военном френче спокойно меня слушал, не перебивая, лишь изредка вставляя свое «нуте-с». В интонации, как мне чудилось, звучало: «К делу, к делу! Что вы предлагаете?» Но я ничего не предлагал. Я попросту прибежал к нему в отчаянии. Помню его ясный ответ. Сражение за советский сверхмощный мотор, сказал он, вовсе не проиграно. Мы идем к этой же цели. Выкладываем большие деньги немцам, но пустим завод, освоим технику. Сейчас мы покупаем у них время, платим золотом за время. Ваш институт мы реконструируем или, вернее, выстроим заново, вооружим конструкторов. И снова в атаку! Нуте-с...

В этом словечке мне опять послышалось: «Что вы предлагаете?»

— Дмитрий Иванович, я вас прошу... Дайте мне еще неделю. Только одну неделю.

— Что же можно сделать за неделю?

— Не знаю. Наверное, ничего. Но я сделаю.

— Что?

— Решу эту проклятую задачу. Что-нибудь придумаю. Приду через неделю к вам и доложу: мотор готов для государственного испытания.

— Алексей Николаевич, неужели вы считаете это возможным?

— Нет. Соберите тысячу специалистов, и все ответят в один голос: нет! Я тоже на таком консилиуме сказал бы: нет! И все-таки я сделаю!

В этот миг взгляд Родионова вдруг переменился. Я заметил, что он снова, как бывало, смотрит на меня с каким-то особым интересом, с необычайной теплотой. Он мне поверил. Может быть, всего на одну минуту, но поверил. Показалось, даже радостно вспыхнул.

— Алексей Николаевич, если бы это было так... Скажите, что вам нужно?

— Ничего. Я должен думать. И через неделю буду вам рапортовать.

— Идет.

Он встал и протянул мне руку.

Надо уходить. Вероятно, отчаяние опять выразилось на моем лице.

Родионов улыбнулся:

— Не убивайтесь! Ведь мы же с вами побывали в переделках...

Я насторожился. О чем он?

— Вспомним Кронштадт... Первый штурм не удался, а вторым мы его взяли... Нуте-с...

Воля, вера, призыв прозвучали в этом «нуте-с»...

38

Но Бережков ничего не придумал, не смог спасти мотор.

— Это были мучительные дни,— рассказывал он.— Я часами сидел, сжав лоб, будто стараясь что-то выдавить из черепной коробки, какую-нибудь гениальную идею. Или шел к холодному замолкшему мотору, который после очередной поломки был так и оставлен на стенде, под навесом. К нему уже никто не прикасался. Все в институте уже знали, что наше недоведенное творение оказалось за бортом. Ко мне относились бережно, не приставая с расспросами или с делами, ничем не отвлекая от мыслей, и, наверное, еще ожидали от меня чуда.

Мне и самому верилось, что вот-вот блеснет озарение и я решу каким-то необыкновенным способом в один момент все задачи доводки.

Чего, казалось бы, проще: клапан цилиндра? К чему мудрствовать? Взять, например, клапаны «Райта» или «Гермеса», в точности повторить, скопировать эту деталь — вот вам и решение. Однако это было десятки раз

нами испробовано и столько же раз не удавалось: металл рвался до срока, клапаны выбрасывало черт-те куда.

Собственно говоря, я уже знал тогда разгадку. Нужна точка опоры, промышленность, производственный опыт, чтобы создать мотор. И не только авиамотор, своего рода пик современной индустрии, но и любой другой механизм.

Скажем, в те годы мы строили автомобильные заводы. Представьте себе, вы, получив некий образец, совершенно доведенную автомашину, предположим малолитражку, разберете ее, снимите самые точные чертежи, самые точные размеры и запустите по этим чертежам в производство. И у вас ничего не выйдет, ибо весь секрет в том, какова была технология производства, то есть как эта вещь обрабатывалась. Возьмите самую элементарную деталь, такую, например, как кузов, цельнометаллический кузов. Вот вы сделали его в абсолютном соответствии с чертежом, отшлифовали на пять с плюсом, а поставьте на место, и он может лопнуть. Почему? Потому что вам неизвестна история доводки. Вы не знаете, сколько операций, и какие именно, и в какой последовательности прошел этот стальной лист. А оказывается, это имеет значение.

Теперь другие времена. Мы так шагнули, что теперь копируют наши моторы.

Берем такой случай: война, наш самолет сбит над территорией неприятеля. Или даже мирное время: авария над чужим материком, самолет исчез, не найден. А на деле он попал в исследовательскую лабораторию какого-либо государства. Итак, наш мотор в чужих руках. Что же, заимствуйте, сдирайте... Во-первых, у вас долгое время ничего не выйдет, ибо мотор еще не приносит с собой своей истории, то есть технологии производства, всех операций, которые произвели его на свет. И во-вторых, уже в ту минуту, когда у вас возникло намерение скопировать, вы отстали, опоздали, у вас в руках лишь вчерашний день авиации, ибо конструктор, у которого вы списываете, уже находится далеко впереди, уже работает вместе с большим коллективом, вместе с заводом, над своей следующей вещью, доводит ее.

А самый материал, из которого сделана вещь, металл? Вот вы произвели химический анализ, выяснили состав металла и, казалось бы, получили у себя точно такой же. Нет, в работе он рвется, сдает. В чем дело? В том, что вы не знаете, как этот металл был выплавлен, как закали-

вался, как остужался. Тут важны мельчайшие технологические тонкости, о которых нельзя догадаться, которые познаются только долгим опытом.

Конструктор — это труженик. Он систематически работает, экспериментирует, изучает машину, производство. Я вам уже говорил, что, став зрелым человеком, почти никогда не называю себя изобретателем. Идешь по улице, в фантазии что-то сверкнуло, предстала вещь — готово, ты изобретатель. Конечно, тут тоже есть свои законы, но изобрести — это все-таки самое легкое в нашей профессии. А дальше труд, нескончаемый труд.

Над «Д-24» мы работали, как вам известно, около двух лет. Машина была почти доведена. Но с этого «почти» мы не могли сдвинуться. И потребовались бы еще долгие месяцы, может быть год, чтобы одолеть это ничтожное, это проклятое «почти». Вы спросите, почему бы не потерять на доводку еще год? Потому, помимо всего прочего, что конструкции авиационных моторов стареют. То, что было в момент рождения мотора современным, передовым, становится через три года отсталым, и уже нет смысла запускать это в производство. Таким образом, главной трудностью, которую нам пришлось преодолевать, было отсутствие собственного технологического опыта, производственной базы, современной промышленности авиационных моторов. Мы боролись с неисчислимыми трудностями, вытекавшими из самого существа задачи, боролись за дни и часы, а нас, кроме того, изматывали бесконечные проволочки, душила волокита.

Пришлось покупать мотор у немцев. Это решение казалось мне тогда чудовищным ударом, страшным поражением, но, как вы увидите далее, оно было единственно верным в той обстановке. Вместе с мотором к нам пришла и технология, культура производства; у нас быстро выросла армия производственников, которая научилась строить мощные авиамоторы. Мы купили время, как сказал Родионов. Но даже и он, человек очень ясного ума, еще мог на момент поверить мне, что я совершу чудо. Нет, я ничего не совершил, не спас мотора.

Крушение мотора нанесло мне жесточайшую психологическую травму. Страдая, убеждаясь в собственном бессилии, я, как мне казалось, изживал свои последние иллюзии. Довольно с меня неудач! Отныне я запрещаю себе конструировать сверхмощные моторы! И не сниму

этого запрета в течение, по крайней мере, пяти лет, пока у нас не возникнет новейшая промышленность моторов. Буду рвать свои чертежи, если вдруг, забывшись, начну рисовать некую новую сверхмощную конструкцию. Нет, не начну, не позволю себе этого. И пусть отсохнет моя правая рука, если я нарушу эту клятву, пусть отсохнет в ту минуту, как только я проведу первую линию.

К Родионову я обещал прийти через неделю. Но не пошел. Это было слишком тяжело. Даже не позвонил ему по телефону. Он и так все понял.

Я сложил оружие. Мотор «Д-24» был вычеркнут из моей жизни.

39

Следующий Новый год Бережков встречал у себя дома, с родными, с друзьями, с молодежью. Дадим лишь один штришок этого вечера.

Вдоволь натанцевавшись, Бережков поманил за собой Ганьшина. Они ускользнули в кухню, захватив бутылку вина и стаканы. Там все было заставлено, стояли блюда с остатками закусок, куча посуды, бутылки. Не долго думая, Бережков предложил сесть прямо на пол, спрятаться от всех за большой плитой. Он весь вечер веселился, славно выпил. Маленький очкастый Ганьшин, не прекословя, опустился на пол и прислонился к теплому белому кафелю печки. Вместо стола Бережков мгновенно приспособил оцинкованное железное корыто, поставив его вверх дном. Когда-то в этой же кухне он горестно откупорил заветную баночку эмалевой краски и выкрасил это корыто. На покатых бортах и кое-где на дне сохранился поблекший коричневый слой, все еще напоминающий цвет пенки на топленом молоке. Бережков снял пиджак, привычно поддернул брюки, чтобы не испортить свежей складки, и сел у корыта, скрестив ноги калачиком. Ганьшин сказал:

— Мы с тобой старые китайцы...

— Которые все понимают,— подхватил Бережков.

Он наполнил стаканы.

— За что же мы с тобой выпьем? — спросил Ганьшин.

— За что? За правила трамвайного движения. Помнишь? «Старик, оставь пустые бредни, входи с задней, сходи с передней».

— И ты оставил?

Бережков махнул рукой. Пережив духовный кризис, он уже оправился. И, право, чувствовал себя превосходно, отказавшись от фантазий, решив стать наконец реалистом, деловым человеком. Ныне он снова расставался с иллюзиями, как некогда с баночкой светло-коричневой эмалевой краски. Что же, и вышло неплохо. Ему тридцать шесть лет. Он главный конструктор института. И автор тракторного мотора в шестьдесят сил с вентиляторным обдувом, мотора, который уже осваивается в Ленинграде. Что ни говори, это немало. С этого можно начинать еще одну жизнь Алексея Бережкова.

— «У поэта нет карьеры,— проговорил он,— у поэта есть судьба». Но я, брат, больше не поэт. Следовательно... Следовательно, выпьем, Ганьшин, за тебя, величайшего скептика всех времен и народов!

Бережков с улыбкой поднял стакан.

— Славно! — сказал он.— Славно мы с тобой, дружище, провожаем этот год... Скатертью ему дорога!

Доносилась музыка. На стене тикали ходики. Где-то мчался локомотив времени. Друзья сидели в теплом уголке. Бережков философствовал. Он очень весело встретил Новый год.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

«Алексей Бережков-31»

1

Мне тоже пришлось долго доводить эту книгу. Временами мы с Бережковым были вполне довольны друг другом. Мне нравилось, как он рассказывает; ему нравилось, как я пишу. Но иногда он предъявлял мне самые неожиданные требования. Однажды, например, мы чуть не поссорились из-за вопроса о цвете его глаз.

У меня было написано: «его небольшие зеленоватые глаза». Бережков взял эту страницу и исправил: «его голубые глаза». Я запротестовал:

— Зеленоватые! Уверяю вас: зеленоватые с крапинкой.

— Кошачьи?

— Немного кошачьи,— необдуманно ответил я.

— Нет! Этого я не пропущу!

Я рассмеялся. Но Бережков без шуток требовал голубых глаз. Голубых глаз и застенчивой улыбки. С немалыми усилиями, с боями мне удалось отстоять право рисовать Бережкова по-своему — рисовать так, как я его вижу.

Были случаи, когда у Бережкова устраивались маленькие публичные чтения этой рукописи в присутствии его жены и двух-трех друзей. Я читал вслух; он поглядывал на слушателей, следя за впечатлением; потом повествование увлекало его; маленькие глазки начинали искриться; он улыбался, совсем позабыв, что это следует делать застенчиво; лицо розовело. Помню, посреди какой-то фразы Бережков расхохотался. Он откинулся на диванные подушки, почти повалился и хохотал, раскрасневшись, пытаясь что-то сказать сквозь взрывы смеха.

— Все это истина! — выкрикнул наконец он.— Чего только я в то время не проделывал!

Легко поднявшись, он тут же стал рассказывать, изображать в лицах приключение, о котором шла речь в книге. Я слушал его с удивлением, с удовольствием — мель-

кали неизвестные мне новые подробности, новые вставные эпизоды, неожиданные сопоставления. Бережков не повторял себя, а как бы заново видел перед собой то, о чем рассказывал. Он мне очень нравился таким — в нем чувствовалась одаренность.

Казалось, чтение сошло вполне удачно. Однако, когда я пришел к Бережкову в следующий раз, он меня встретил озабоченно.

— Почти все, что вы читали, мой друг, надо вычеркнуть,— сказал он.

— Как так? Почему?

— Не та вещь. Не то. Нужна совсем другáя книга.

— Как — другая книга?

— Да. У нас с вами получилось легкомысленное произведение. Кому, например, надо знать, как мы с Ганьшиным встречали Новый год? Или про какую-то баночку эмалевой краски? Все это мы выбросим. У меня родился абсолютно новый план.

Постепенно увлекаясь, он принялся развивать этот новый план. Я был подавлен. Год назад Бережков требовал, чтобы я ввел в книгу историю банки с эмалевой краской; он убежденно восклицал: «Без банки у вас никакого романа не получится!», зажег меня своим замыслом, своим рассказом, а ныне, когда все это написано, с легким сердцем намеревался это вычеркнуть. Сейчас ему рисовалось необыкновенное художественно-философское произведение о законах конструкторского творчества.

— Творчество и творчество, конструкторское творчество,— говорил он,— вот красная нить книги. А все остальное никому не нужно.

Я пытался возражать, но скоро понял, что мне надо не спорить, а слушать. Слушать и записывать все, что скажет мой герой о творчестве. Так я и поступил.

2

Хочется привести некоторые мысли Бережкова о литературе, об искусстве писателя, которые он высказывал во время наших споров.

— Я позволю себе,— говорил он,— сравнить писателя с изобретателем, с конструктором. Ныне создание каждой конструкции есть дело рук многих людей: конструкторских бюро, целых опытно-испытательных заводов. Разде-

ление труда глубоко проникло в эту область творчества. Поэтому тут, в нашем деле, с полной наглядностью отделено главное от второстепенного. Вы можете подойти к столам и посмотреть, чем занимаются помощники автора-конструктора и что делает он сам. Это главное есть идея, общий замысел, или, как мы говорим, компоновка вещи в целом. От конструктора ныне, в тридцатых годах нашего столетия, нельзя требовать, чтобы он сразу продумал компоновку до раздробления на мельчайшие составные элементы. Писатель сам трудится над всеми частностями произведения, а у нас это делают помощники автора-конструктора. У нас есть поршневики, специалисты по смазке, клапанам и так далее и так далее.

Я перебил Бережкова:

— Алексей Николаевич, в художественном творчестве это вряд ли возможно.

— Не знаю, не уверен. Не исключено, мой друг, что великий писатель будущего — это писатель-конструктор. В искусстве писателя, по-моему, тоже можно выделить нечто самое главное. Что же это такое? Вот вы читаете книгу, какое-нибудь замечательное произведение, например, «Войну и мир» или «Анну Каренину». Читая, вы непременно ощущаете, будто взбираетесь, карабкаетесь по какой-то центральной ферме произведения. Она незрима. Кажется, писатель дает вам только частности, но за ними или в них вы с наслаждением чувствуете эту ферму, продвигаетесь по ней. Это рельсы, по которым стремится и не срывается поезд. Вы по пути наблюдаете всякие картины, виды, но вас не покидает ощущение рельсов. Таким образом, главным в произведении, на мой взгляд, является общий замысел, идея, компоновка вещи в целом, то есть то, что принадлежит у нас изобретателю, автору-конструктору. Есть еще одно подходящее слово: концепция. Ведь это имя, женское имя. Знаете ли вы, что оно значит в переводе? Зачатие, зарождение.

Бережков повторил по слогам:

— Кон-цеп-ция! За-рож-де-ни-е!

Пояснив, что имеются и другие значения слова «концепция», например «понимание», «замысел», он продолжал:

— Нередко говорят, что искусство — это частность. Нет, я с этим не согласен. Искусство — это целое! Способность видеть целое, охватить воображением свою вещь в целом, способность подчинять этому целому все частно-

сти — это, по-моему, самый большой дар для человека искусства и для человека техники.

Связывая эти свои мысли с нашими спорами о книге, Бережков говорил:

— Что же является такой центральной фермой, такими рельсами для нашей книги? Творчество. Конструкторское творчество.

Многие суждения Бережкова казались мне глубоко верными. Я соглашался с ним. Однако у меня был свой замысел книги. Слову «творчество, конструкторское творчество», конечно, далеко не охватить этого замысла.

Бережков убеждал меня, говорил:

— Думается, тайну писательского дарования можно выразить в одном слове: проникновение. Вообще талант — это, по-моему, дар проникновения. Писателем я называю того, кто проникает в душу человека, в его характер. Для этого вы должны отдать себе совершенно ясный отчет в том, какова же основная черта, или, так сказать, ядро характера, который вы намерены изобразить. Ваша задача — добраться до того ядра, сделать его видимым, отбрасывая все наносное или несущественное. А вас отвлекают мелочи.

Мне действительно, как скульптору, лепящему с натуры, были дороги многие черточки моего героя, я не хотел их отбросить. Раздумывая над речами Бережкова, я вдруг вспомнил одну сценку, свидетелем которой мне довелось быть. Однажды утром Бережков просматривал при мне свежие газеты. И неожиданно ахнул. И крикнул на весь дом, зовя жену из другой комнаты:

— Валя! Статья про нас! Иди скорей сюда!

Она вошла, глядя на Бережкова с любящей, умной улыбкой. Статья тотчас была оглашена.

— Прелестно! Прелестная статья! — безапелляционно заявил Бережков.— Вчера я продиктовал все это корреспонденту в пять минут.

Он радовался в этот момент поистине словно ребенок. Однако спустя четверть часа, когда мы приступили к очередной беседе о моторе Бережкова, о творчестве, о страсти конструктора, он сказал, кивнув на газету, на статью, что все еще лежала перед нами:

— Да, это приятно. Но ведь вещь создается не ради этого. Если вы, конструктор, работаете ради этого, значит, ваша вещь ничего не стоит.

Эти слова врезались мне в память. Я понимал, что они вели к чему-то очень глубокому в личности Бережкова, к основной черте, или, по его выражению, к ядру характера; понимал — такова его вера. И вместе с тем я чувствовал, что если, рассказывая про моего героя, приведу лишь эти слова без предшествующей сценки, то у меня не получится, не выйдет живой Бережков.

Однако я больше не спорил. Я записывал. Возвращаюсь к своим записям.

3

— Удивительная это вещь — человеческая психика,— продолжал свою повесть Бережков.— Как она изумительно сконструирована природой! Ведь я окончательно и бесповоротно запретил себе думать о каком-нибудь новом сверхмощном моторе, решил больше не гнаться за этой синей птицей, зарекся: пусть отсохнет моя правая рука, как только она проведет первую линию. И как будто обрел полное душевное спокойствие. Но вот подите же...

Сейчас я вам расскажу о самом решительном и самом горячем этапе своей жизни.

Однажды в июне 1931 года, прекрасным летним вечером, я выехал в командировку в Ленинград по делам института. В Москве, с небольшим удобным чемоданом, я сел в поезд-«стрелу». Знакомо ли вам это чудесное чувство отрыва от бренной земли, от привычного круга вашей жизни, когда поезд наконец трогается и вы словно понеслись куда-то в иной, таинственно-привлекательный мир?

Осталась позади, была закончена целая полоса дел: сверстана и утверждена пятилетка авиапромышленности, в составлении которой принял участие и я; подписан пятилетний план института; разработаны всякие титульные списки, спецификации; вычерчены и утверждены проекты; распределены заказы; получены ассигнования, фонды, наряды и т. д. и т. п. С той самой минуты, как колеса двинулись, я уже стал отдыхать. Забрался на верхнюю полку, на приготовленную мне свежую постель. Помечтал о встречах, отнюдь не предусмотренных командировочным заданием, о встречах, которые, возможно, случатся в Ленинграде. Впрочем, блаженство, вкушаемое мной на верхней полке, нарушалось порой мыслью об одном ленинград-

це — о Ладошникове. Собираясь в поездку, я твердо решил: в Ленинграде к Ладошникову не загляну. Да, не хочу ему показываться. Если мы увидимся, от большого разговора не уйти. Сперва Ладошников спросит о Маше, о наших общих друзьях, потом неминуемо задаст вопрос, который я не желаю услышать. Категорически не хочу! Ведь я же поклялся: «Пусть отсохнет моя правая рука...» И надо быть последовательным. Пусть же отсохнут и ноги, если они понесут меня туда, куда не следует идти! И довольно об этом! К черту эти мысли!

Вагон на ходу мягко покачивался. Я достал из чемодана книгу, какой-то приключенческий роман. Маленькая лампочка над головой уютно освещала страницы. Ни разу я не поймал себя на том, что читаю механически, обдумывая что-то иное. С удовольствием почитав, я сладко потянулся, выключил свет и уснул.

Бережков улыбнулся.

— Пока ваш покорный слуга спит, покрывая расстояние от Москвы до нашей бывшей северной столицы, мы, как принято в старинных романах, сможем кратко обозреть события, которые произошли за те полгода, как мы с ним расстались.

4

— Вернемся к дням,— продолжал Бережков,— столь тяжелым для меня, когда «Д-24» потерпел фиаско.

Приблизительно в это же время в авиационной промышленности были произведены аресты. Арестованным оказался и небезызвестный вам Любарский, этот, по выражению Шелеста, «нежный поклонник и рыцарь моторов», ценитель новой французской живописи, негодяй с острой бородкой, который когда-то при мне чуть ли не со слезой декламировал: «Россия, нищая Россия», и хладнокровно душил русские моторы.

Я со дня на день ожидал, что наконец арестуют и Подрайского. Правда, мы ни разу не поймали его за руку, но у меня не было сомнения, что он по мелочам непрестанно мешал нам. А может быть, и не только по мелочам? Однако проходили недели, а Подрайский оставался на воле, на своем прежнем посту в Авиатресте. По-видимому, превратности судьбы научили Бархатного Кота крайней осторожности. Возможно, нюх предостерегал его против опас-

ных связей. Полагаю, что он в эти дни дрожал, но, так или иначе, не попался.

У нас в институте три или четыре вечера подряд продолжалось закрытое партийное собрание. Мне, конечно, не докладывали о том, что там происходило, но многое и не скрывалось от нас, беспартийных. Прежнее партийное бюро, которого, откровенно говоря, в повседневной жизни института я почти не ощущал, подверглось уничтожающей критике и было до срока переизбрано, заменено новым.

Вскоре в главном чертежном зале института было созвано открытое партийное собрание. На кумаче над столом президиума были начертаны слова: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

На повестке значился один вопрос: доклад директора АДВИ Августа Ивановича Шелеста об итогах и перспективах работы института. В этот напряженный политический момент, когда выяснилось, что мы так и не смогли дать государству отечественного мощного авиационного мотора, на собрание пришли поголовно все работники АДВИ. Меня повлекла к себе группа молодежи, младших конструкторов института, с которыми я провел столько дней и ночей за чертежными столами и в мастерских, в наших бедных мастерских с несчастными пятнадцатью станками, и на испытательной станции, и у стенда, выхаживая мотор.

Два года назад в этот самый зал, где сейчас столы сдвинуты к стенам, взгромождены один на другой, где шумят несколько сотен человек, два года назад, январским утром, я вошел сюда со своими щитами, сорвал бечевку, обертку из газет и, не промолвив ни слова, волнуясь, повесил на стену первую компоновку сверхмощной машины. Шелест стоял тогда вот там, прислонившись к косяку двери, потом сел на чей-то высокий табурет и, удобно закинув ногу за ногу, обхватив колено руками, разглядывал чертежи и до поры до времени помалкивал, никого не стесняя, следил, как я у доски, без пиджака, с засученными рукавами, отражаю все нападки, развиваю идею конструкции. И в серых глазах Шелеста, на удивление молодых, проскакивали и проскакивали искорки. И в боковую запертую дверь вдруг застучали кулаками:

в зал рвались студенты-практиканты, проведавшие, что здесь вывешен чертеж самого мощного в мире мотора и идет жаркая баталия. Ниланд свирепо им крикнул: «Нельзя, эта дверь не открывается!», но они нажали, и дверь распахнулась... Впереди был староста группы — курчавый, большой, улыбающийся Андрей Никитин, который мог бы высадить плечом и не такую дверь.

Как давно все это было!.. Отдано два года жизни, два года страстного труда и...

И вот это тревожное собрание, на котором будут говорить о трагической судьбе мотора. Молодежь, которая когда-то вторглась сюда без позволения, теперь главенствует в зале, занимает первые ряды, а также и места в президиуме. Там и Недоля, и Никитин, Андрей Степанович Никитин, новый секретарь парторганизации института. Вместе с группой студентов-выпускников он поработал у нас практикантом и затем остался в институте. Не отличаясь дерзновенным, бьющим в глаза, буйным дарованием, он стал отличным математиком-расчетчиком. Мне говорили, что брат в шутку называл его «Поздняя звезда».

Вот он не спеша встает. Все в нем как-то тяжелее, основательнее, чем у Петра: руки крупнее, плечи шире, брови гуще. Но выдающиеся скулы и упрямо оттопыренные уши — никитинские, родовые.

Тут же, у этого стола, накрытого зеленым сукном, сидит Шелест. Он выглядит свежим, спокойным; отлично одет, как всегда. С ним кто-то разговаривает; Август Иванович слушает, удобно облокотившись; отвечает с доброжелательной улыбкой. Под взорами сотен пар глаз он, основатель института, как будто ничем не обнаруживает смятения, вполне владеет собой.

Никитин стоит, не призывая к порядку, не постукивая карандашом по столу или по графину, проводит рукой по вьющимся крупными витками волосам. Разговоры стихают. Он ждет еще немного и открывает собрание.

5

— Случалось ли вам замечать,— спросил Бережков,— что трибуна, то есть место, откуда публично выступают, обладает одной странностью. Вот вы сидите, разговариваете, даже шутите и улыбаетесь, более или менее удачно

скрывая душевную сумятицу. Кажется, что вы уверены в себе, что вы ясно видите и понимаете свой путь, пройденный и пролегающий дальше. Но вот вам предоставляют слово, вы встаете, произносите с трибуны несколько первых фраз и вдруг подвергаетесь воздействию каких-то странных икс-лучей, пробивающих ваш панцирь. Вы словно просвечены. Видна ваша душа, страсть, стремление, убежденность или, наоборот, ваша растерянность, или беспомощность, или неискренность — то, что раньше оставалось незаметным. Почему так происходит, не знаю. Но я не раз это испытал.

Августу Ивановичу Шелесту было, слава тебе господи, не в новинку говорить на людях. Почти тридцать лет кряду он изо дня в день всходил на профессорскую кафедру в Московском Высшем техническом училище. Все мы, инженеры АДВИ, и только что выпущенные, и старожилы института, были его учениками, привыкли к его ясной, строгой речи.

В полной тишине Шелест поднялся для доклада, открыл большой желтый портфель, вынул папку, налил в стакан воды, посмотрел на аудиторию, произнес первые слова. И вдруг, едва он начал говорить, почувствовалось, что он растерян, неуверен, не знает, как и куда вести дальше свой корабль. Не заглядывая в лежащую перед ним папку, помня наизусть весь материал, каждую цифру, всю аналитику доводки, Шелест будто читал лекцию об итогах некоего научного эксперимента над неким мотором «АДВИ-800». По залу сразу прокатился гул. И не стихал. Делая вид, что он этого не замечает, Шелест прежним ровным тоном продолжал свой строго технический анализ, но все понимали, что Август Иванович делает вид, делает над собой усилие, чтобы... Ну, как бы вам сказать?.. Чтобы пройти по какой-то узенькой дощечке и не смотреть по сторонам, ибо там, за этой дощечкой чистой техники, для него все неясно, все зыбко. Позади Августа Ивановича стояла черная классная доска. Он направился к ней, чтобы начертить диаграмму, показать графически какую-то закономерность доводки мотора. Но кто-то крикнул из зала:

— Не о том говорите! Скажите о своих ошибках!

Шелест обернулся, побледнел. Пожалуй, еще никогда аудитория его учеников не встречала его так.

— Товарищи!

Ему изменил голос, чуть дрогнул, но Август Иванович опять овладел собой.

— Товарищи! Волнообразная кривая с резким затуханием после пика позволяет нам определить...

Его спокойно остановил Никитин:

— Август Иванович, простите, что я вас перебиваю...

— Пожалуйста,— машинально выговорил Шелест.

— Вы слышали вопросы из зала? Я тоже от имени бюро прошу вас поделиться с нами своими мыслями о том, каковы были ошибки руководства института.

— Извините, но я не чувствую себя обязанным здесь каяться.

— Дело не в покаянии. Дело в том, чтобы дать стране мотор. Почему же его нет? Мы хотим знать все.— Никитин помолчал.— Но, может быть, ошибок не было? — продолжал он.— И мы потеряли наш мотор, не сделав ни одной ошибки? Вы же, наверное, это продумали, Август Иванович?

— Да, думал об этом. Вспоминал весь путь института. И, извините меня, не мне говорить об этом, но... Россия имеет сейчас подлинный научно-исследовательский институт авиационных моторов. А что до ошибок...— Шелест пожал плечами.— Может быть, мне их укажут. Буду благодарен. Но теперь, с вашего разрешения...

Кто-то выкрикнул с места:

— Почему вы молчите о вредителях?

— Товарищ председатель!..— произнес Шелест.

Было видно, что ему нелегко прибегать к чужому авторитету, чтобы заставить себя слушать. И где же? В своем институте. Этого тоже еще не случалось на его веку.

— Август Иванович,— сказал Никитин,— этот вопрос вполне законен. Миновать его нельзя.

Шелест как-то выпрямился. Мне запомнились его сжатые губы и седоватая прядь, опустившаяся на смуглый лоб.

— Не знаю,— с некоторым усилием проговорил он,— не знаю, может быть, я слишком старомодный человек, но у меня не укладывается в голове, что эти люди сознательно вредили. С иными из так называемых вредителей я сидел рядом на студенческой скамье, встречался с ними на протяжении десятилетий, никогда не сомневался, что это талантливые инженеры, и не могу поверить, чтобы инженер, то есть по самому своему существу созидатель и

строитель, стал бы умышленно пакостить, уничтожать. Это выше моего понимания...

Его опять перебивали, выкрикивали возражения и вопросы, но Никитин попросил тишины.

— Продолжайте, Август Иванович, ваше сообщение,— сказал он.

На классной доске Шелест так ничего и не начертил — понял неуместность этого и не смог уже найти прежнего профессорского тона. Он развернул папку, начал в нее заглядывать и, видимо сокращая, комкал свою академическую стройную лекцию. Становилось ясно: дальше он не поведет АДВИ.

6

Рассказывать — так рассказывать все. На собрании произошел еще один очень странный случай, правда малозначительный, о котором сейчас, наверное, никто не помнит. Но я помню. Это стряслось со мной.

Как вам известно, я очень тяжело воспринял кончину мотора. Сначала метался, потом некоторое время был подавлен. Но все это было уже пережито. И, казалось бы, я вполне оправился, снова обрел душевное равновесие. Сидел на собрании рядом с молодыми друзьями, непринужденно наблюдал, обменивался с ними впечатлениями. Но, представьте, на трибуне я тоже оказался в сфере загадочных лучей и...

Вот как это было. Я не записывался для участия в прениях, не предполагал говорить. Выступали молодые инженеры, которые вместе со мной и с Шелестом пережили всю эпопею доводки, вместе со мной мучились, нервничали из-за непрестанных изматывающих, необъяснимых проволочек в выполнении наших заказов, постоянно тут и там чувствовали чью-то злую руку. Заявление Шелеста о том, что вредительство представляется ему невероятным, вызвало отпор. Шелеста опровергали, говорили о нем резко, не считаясь с его авторитетом, его возрастом. Август Иванович сидел, расстегнув коричневый пиджак, сунув пальцы за пояс брюк; он ни разу не опустил головы, куда-то смотрел перед собой.

После трех-четырех выступлений Никитин со своего председательского места во всеуслышание обратился ко мне.

— Товарищ Бережков, собрание хотело бы выслушать и главного конструктора.

Предложение застигло меня несколько врасплох. Но, впрочем, почему же? Ведь у меня имеется совершенно четкое мнение по всем вопросам, затронутым здесь. И нет причин его скрывать. Что же касается моих личных решений, моего тайного «табу», то... Разумеется, не стану же я об этом объявлять. Это моя душевная жизнь, она спрятана под панцирем. Что же, я готов!

Я выбрался из своего ряда; по пути в одну минуту схватил мыслью, представил всю речь, кристально ясную, абсолютно стройную. Ничуть не волнуясь, подошел к столу, обернулся к залу, произнес несколько первых слов и... Что такое? Я будто заиграл на каком-то расстроенном инструменте, издающем фальшивые ноты. Клянусь вам, я этого никак не ожидал.

Черт побери, ведь мне же все ясно! Еще три года назад я сам крикнул в лицо Любарскому: «В тюрьму! В тюрьму! Вот где для вас место!» Так почему же здесь, с трибуны, я говорю о нем какими-то пошлыми фразами, без вдохновения, без огня, без ненависти, которая, знаю, горела же во мне? Даже об измучившей нас вечной волоките в Авиатресте, в отделе, где восседает Подрайский, я сказал не взволнованно, не убедительно, а как бы по обязанности. Что-то неладно... И уже исчезла из зала напряженная тишина внимания. Где-то зашушукались, кто-то прокашлялся, заскрипели стулья.

Посмотреть со стороны — ничего особенного не произошло. Я продолжаю гладко говорить, но в душе творится черт-те что. Контакт потерян, нет живого тока между мной и теми, с кем я сейчас сидел в одном ряду, с кем столько поработал. Припоминаются вдруг строчки Маяковского: «Как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать, как перепел?! Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе!» Но разве же я серенький? Или... Или, может быть, стал сереньким? Неужели я так и не сумею рассказать по-настоящему, как из нас тянули жилы, не найду каленых слов? Повышаю голос и опять сам внутренне морщусь. Какой-то неприятный ложный пафос.

Но почему же? Ведь и Шелесту я прямо в глаза заявлял, что он погубит наш мотор, ибо окутан предрассудками солидарности так называемой инженерской корпо-

рации, ибо не решался, считал непорядочным открыто, резко обвинить тех инженеров, которые исподволь душили нас. Ведь я ссорился с ним, кричал ему: «Вы недостаточно любите свой институт, не любите мотора!» Теперь, после всего, что случилось, мне трижды это ясно.

Я говорю с трибуны об этой коренной ошибке Августа Ивановича и опять говорю плохо, без подъема, без страсти, словно отбывая какую-то повинность. Что же такое? Почему такой провал? И меня уже охватывает стыд, пробивается горячими пятнами на щеках. Нет, не перед Шелестом мне стыдно, хотя я краем глаза поймал укоризну или обиду на его лице, не перед Шелестом, а перед теми, кто сидит в рядах. Они чего-то ждали от меня, а я не могу этого им дать. Не могу их вдохновить. Смутно догадываюсь наконец, почему я так мямлю. И уже думаю только об одном: как бы скорее закончить, прилично закруглиться, уйти от этих пронизывающих икс-лучей. План моей речи, который еще несколько минут назад представлялся таким стройным, идет под откос.

Я смял и тему об реконструкции института. И уже понимал почему. Мощный мотор, сверхмощный советский мотор! Конечно, от меня ждали, что я разверну программу новой борьбы за такой мотор, кину убежденный горячий призыв: «Вперед, товарищи, снова в атаку!» Ведь сказал же мне Родионов о новом, втором штурме! Но я не хотел и не мог говорить об этом. Однако, словно под каким-то гипнотическим давлением, изменил своему намерению, сказал. Что называется, выразил уверенность. Нашел какие-то общие фразы. И на этом закончил. Мне зааплодировали. Как видите, все обошлось вполне прилично.

Сохраняя достоинство, держа себя так, будто ничего не случилось, но все-таки с жаркими пятнами на щеках, я отправился на место. Однако, представьте, не вернулся туда, прошагал мимо своего ряда, ушел в глубину зала.

Угрюмо сел у стены на чертежный стол и в мыслях очень явственно раздельно произнес: «Нет, товарищи, нет!» Я опять имел в виду свое «табу».

В этом, мой друг, было все дело. Раньше, когда я боролся за мотор, все мои поступки, все слова были одушевлены целью, а теперь я отступился от нее, сложил оружие. С трибуны я повторял как будто прежние слова, но из них вытекла живая кровь, осталась одна оболочка.

Я долго сидел там, в дальнем углу, погруженный в свои переживания, слушая в пол-уха и почти ничего не воспринимая.

Потом, под конец, слово взял Никитин. В подобном случае, как бы вы ни были удручены, вам интересно, что скажет тот, кто ведет собрание. Особенно, если вы сами выступали. И притом не вполне удачно. О каких бы значительных вопросах ни шла речь, может быть, очень вас волнующих, вы все-таки трепетно ждете, когда же будет названа ваша фамилия, что же будет сказано о вашем выступлении. И втайне понимаете, что вы, пожалуй, заслужили трепку. И вас уже бросает в жар заранее. И все-таки не оставляет надежда: обойдется. Препротивнейшее состояние. Вы когда-нибудь это испытывали? А вот ваш покорный слуга, не скрою, испытал.

Однако обо мне Никитин ничего не сказал. Или, во всяком случае, ничего не сказал прямо. И о Шелесте он говорил мягко. Но не хотелось бы когда-нибудь услышать по своему адресу такие мягкие слова. Они были очень тяжелы.

— Мне хочется признаться вам, Август Иванович,— говорил Никитин,— в одной своей давней мечте. В студенческие годы, когда я слушал ваши лекции, читал ваши труды, учился у вас, вы были для меня образцом или даже...

Никитин помолчал. Такова была его манера. Выступая, он разрешал себе длительные паузы, чтобы подумать, подыскать нужные слова. Порой, когда он молчал, под его скулами чуть заметно ходили желваки. Пожалуй, только в этом сказывалось его волнение. И странно, во время этих пауз в зале не нарушалась тишина.

— Образцом,— повторил он,— или даже идеалом ученого. Я мечтал — простите, Август Иванович, дерзкую мечту студента — стать когда-нибудь, через много лет, таким, как вы. Для меня вы...

Он снова подумал. На спинке свободного стула лежала его крупная рука. Шея Никитина была тоже очень крупной, мускулистой. Невольно казалось, что ему несколько тесен воротничок голубоватой рубашки, повязанной добротным галстуком. Но вся его фигура — немного сутуловатая, большая, я бы сказал, фигура грузчика,— в вытюженном

свежем пиджаке и в этом чуть подкрахмаленном воротничке, как-то гармонировала с неторопливой речью, с рассказом о студенческой мечте.

— Для меня,— продолжал он,— и не только для меня одного, вы, наш профессор, учивший нас теории авиационных моторов, были воплощением науки. Ваш облик всегда являлся мне, и, повторяю, не одному мне, когда мы, будущие инженеры, будущие ученые, думали о своем дальнейшем жизненном пути. И вот мы уже инженеры, вот мы уже сидим с вами за одним столом. Померкло ли наше стремление учиться, стать знатоком своего дела, овладеть высотами нашей специальности? Нет. Но ваш облик, Август Иванович, становится для нас уже не тем. Почему же?

Шелест сидел в прежней позе, лишь слегка повернув голову к Никитину. Выражение лица уже не было неприязненным или отчужденным. Он слушал. И, видимо, слова доходили.

Никитин продолжал:

— Почему же? Может быть, потому, что вы остались верны благородному знамени передовой техники, науки, а мы, грубые большевики, не признаем за вами этого права? Нет, как раз наоборот. Передовая наука, передовая техника — это наше знамя. А вы изменили самому себе...

Я хмуро сидел в своем углу среди взгроможденных столов. Сидел и слушал... Про меня в речи Никитина ничего не было сказано, но чудилось: он говорит и обо мне. «Изменили самому себе». Нет, дорогой Никитин, меня ты не уговоришь. Нет, хватит с меня неудач! Хватит витать...

8

Через несколько дней в жизни института произошло еще одно событие.

Август Иванович Шелест перестал возглавлять институт, был снят с должности директора. Ему предлагали, как я узнал, остаться у нас заместителем директора или своего рода главным консультантом, но этих предложений он не принял.

Шелест продолжал читать курс авиационных двигателей в Московском Высшем техническом училище, попрежнему работал в редакции Большой Советской Энцик-

лопедии и, кроме того, был введен в научно-технический совет при народном комиссаре тяжелой промышленности. Отставка, как видите, была более или менее почетной. Но в институте он с тех пор, помнится, года два не появлялся. Даже дела сдавал дома. Со мной он не попрощался. Мое выступление на собрании его, видимо, задело. Может быть, даже было воспринято им как неблагородное. Во всяком случае, он держался крайне холодно.

Вместо Шелеста директором АДВИ был назначен крупный работник, тогда только что награжденный орденом за успешное завершение строительства Волжского авиамоторного завода, известный нам Новицкий. Уже одно это показывало, что перевооружению института придается не меньшее значение, чем важнейшим стройкам пятилетки.

Придя к нам первый раз новым хозяином, Новицкий пожал мне руку и, смеясь, сказал:

— Вот, Алексей Николаевич, мой отпуск. Я же предсказывал... Вызвали телеграммой из Кисловодска.

Однако он все же успел отдохнуть, посвежел. Выбритое пополневшее лицо уже не выглядело серым, старообразным. Разгладились мешки под глазами. Одет он был по-прежнему на военный лад: в суконную защитного цвета гимнастерку с отложным воротником, перепоясанную широким ремнем, что отнюдь не скрывало достаточно заметного животика. Высокие сапоги безукоризненно блестели. Новицкий поймал мой взгляд.

— Ничего, скоро запылятся,— сказал он.

Он стоял у окна, покачивался с носков на каблуки и говорил:

— Сейчас объехал с планировщиком из Моссовета нашу будущую территорию. Поставили с ним вешки, воткнули несколько еловых веток. Следовательно, город заложен... Приятно, Алексей Николаевич, с этого начать первый рабочий день на новом месте.

И в самом деле, было видно, что он с удовольствием, со вкусом приступает к стройке.

— Все эти домики мы скоро снесем,— говорил он, показывая в окно.— Отсюда и вот до того поля, до самого края Москвы, все это будет городок АДВИ. Нет, назовем по-новому: ЦИАД. Центральный институт авиационных двигателей. ЦИАДстрой, а? Как это вам нравится, Алексей Николаевич?

— Нравится,— ответил я.— Это был бы какой-то необходимый рубикон, который...

— Прекрасно. Очень рад. Теперь, Алексей Николаевич, вот у меня к вам первая просьба. Подготовьте, пожалуйста, ваши соображения об экспериментальном заводе, об оснащении института. Фантазию не стесняйте. Надо видеть вперед на пятилетие. Нужен размах.

— Надеюсь,— скромно сказал я,— что этого у меня хватит.

Новицкий прищурил глаз.

— Вы думаете? В случае если перехлестнете через край, ну... Ну, я вас тогда немного ограничу.

— Заранее соглашаюсь.

— Прекрасно. Тогда, наверное, подружимся. Сейчас продолжайте, пожалуйста, свои дела.

— А мы почти ничего не делаем, Павел Денисович... У нас такой разлад...

— Ничего. Дайте мне одну неделю сроку. Я кое о чем подумаю, кое-чем займусь. А через недельку мы с вами основательно засядем, потолкуем...

Знаете, что он подразумевал, неопределенно говоря: «кое-чем займусь»?

В течение этой недели на улицы, прилегающие к институту, въезжали и выезжали грузовики с бревнами и тесом, буквально в несколько дней вырос тесовый забор, охвативший ближайшие кварталы вместе с домами, садиками и дворами, водопроводными колонками, даже с отрезком трамвайной колеи. Из домиков, несмотря на зимнюю пору, началось переселение жителей куда-то в другой конец Москвы, в какие-то новые квартиры. Те же грузовики, свалив лес на мостовую, на перемолотый колесами снег, увозили чей-то домашний скарб. Некоторые строения тут же шли на слом, другие предназначались пока под общежития для рабочих. Сносились заборчики, сараи. На площадке уже горели жаркие костры из гнилушек и всякой трухи. Все трещало на этой московской окраине вокруг института.

Новицкий уже действительно приходил в институт если не в запыленных, то в грязных сапогах. В одном из освободившихся домиков он устроил себе вторую резиденцию, которая вскоре у рабочих-строителей, а потом и у всех нас стала называться «контора Новицкого». Надо отдать должное его энергии. В эту же неделю Новицкий сформировал

проектно-строительный отдел. Нам в главном чертежном зале пришлось потесниться, отдать половину зала этому новому отделу.

Со мной в эти дни Новицкий лишь издали здоровался или перекидывался несколькими фразами. Но в одно прекрасное утро пригласил меня в кабинет.

9

Это был тот самый кабинет, еще обставленный по вкусу Шелеста, куда я так часто раньше приходил. Стояли обитые кожей дубовые кресла у большого стола; был, как и прежде, тщательно натерт паркет; лежал тот же ковер. За стеклами книжного шкафа хранились в том же порядке разные справочные издания и многотомные энциклопедические словари на русском и иностранных языках. Лишь со стены был снят один из чертежей, и на гвозде висели черное пальто и черная теплая кепка. Новицкий обычно поднимался сюда не через главный вестибюль, а со двора, внутренним кратчайшим ходом, и здесь же раздевался. На столе, поверх каких-то бумаг, лежала коробка дорогих папирос. Здесь же стоял наполненный до краев стакан чаю, видимо уже остывшего. Поблизости, на широком подоконнике, кипел блестящий электрический чайник.

— Пока все по-походному,— сказал Новицкий.— Садитесь. Чаю хотите?

— Нет, Павел Денисович, благодарю вас.

— А я позволю себе это удовольствие.

Он встал, выплеснул в полоскательницу холодный чай, налил горячего, положил сахар. Я покосился на письменный стол и вдруг увидел раскрытый на первом листе атлас чертежей мотора «Д-24». Странно, для чего Новицкий его выкопал? Какие еще могут быть разговоры об этом моторе, с которым уже все покончено? В большом блокноте, тоже раскрытом, было что-то записано крупным почерком, синим карандашом. Какие-то пункты: первый, второй, третий... Прищурившись, я прочел верхние строки.

«С Бережковым:

1) «Д-24»...»

Странно... Что это могло бы означать? Неужели?..

Новицкий подошел к столу с той же стороны, где стоял я.

— Уже смотрите? — произнес он и прихлебнул крепко заваренного дымящегося чаю.— Садитесь...

Он расположился напротив меня, поставил стакан, потянулся к атласу, придвинул его на край стола. Да, на листе был изображен главный разрез моего мотора. Новицкий сказал:

— Что же мы, Алексей Николаевич, будем делать с этой вещью?

— Не знаю... Как вам известно, вопрос о ней решен. Стоит пока в сарае под замком.

— Да, я там был, смотрел... Стоит в углу... Но по-хозяйски ли это? — Новицкий опять пригубил чаю, взял папиросу, закурил.— Конечно, Алексей Николаевич, назад нам ничего не повернуть. Да и не надо. Наверное, вы теперь и сами понимаете, что это,— он мягко постучал по чертежу,— это была романтика... Обреченная затея.

Я молчал. Удобно сидя в кресле, выпуская дым, он продолжал:

— Очень хорошо, что вы это понимаете... Сейчас я вам могу сказать, что я был с самого начала против того, чтобы предназначать Волжский завод для выпуска вашего мотора. Надо было сразу пойти к варягам. Но не послушали.

Он говорил дружелюбно и несколько покровительственно, словно поучая меня уму-разуму. Вспомнилась его усмешка, когда он два года назад, на конференции по сверхмощному мотору, заявил: «Я предпочел бы начать с иностранной модели». Неужели он действительно был тогда умнее всех? Все видел наперед? Но подмывало воскликнуть: «Что же, значит, не надо было и браться?!» Однако я снова промолчал.

— Не послушали меня,— продолжал Новицкий.— И все уже не то... Завод испорчен. Ставили оборудование для одного мотора, выпускать будем другой. Приходится многое переоборудовать, закупать новые станки...

— Какие же? — проговорил я.

Волжский завод был безвозвратно потерян для нашего «Д-24», и все-таки я со щемящим любопытством спрашивал, что делается там. Новицкий тоже еще в какой-то мере жил неостывшими мыслями о Моторстрое и, немного брюзжа, рассказал о новом оборудовании, закупленном для завода. Потом оставил эту тему.

— У нас с вами, Алексей Николаевич, теперь свои заботы. Что же мы будем делать с этим наследством, а?

Он взял со стола большой синий карандаш и опять постучал по чертежу.

— Насколько я знаю,— вновь заговорил он,— у вас самые слабые части вот и вот...— Он показал карандашом клапаны и некоторые другие детали.— Думали вы о том, чтобы решить этот вопрос кардинально? Попросту — все отяжелить.

— Думал. Безнадежно.

— Почему?

— Потому что... Ну, вам же понятно... Тогда меняются все габариты. Получится слишком тяжелая машина.

— Что же, пусть будет тяжелая... Сделаем двигатель для глиссера. Военные моряки такие суденышки соорудят, если получат этот мотор, что... Я у них уже побывал, позондировал... А? Возьмемся за это, Алексей Николаевич? Вытащим мотор?

— Для глиссера? — протянул я.

В один миг мне стало ясно, что Новицкий действительно отыскал способ вытащить из могилы нашу вещь. Конечно, это уже будет не то, о чем мечталось, не мотор для авиации... Ну, бог с ними, с мечтами. А это впрямь реальное дело. С таким мотором — да, да, его можно отяжелить — военные торпедные катера будут лететь, как пуля. Какой он, однако, молодец, этот Новицкий!

А он уже взял атлас на колени и обвел синим карандашом, грубо усилил уязвимые части. Потом, перекидывая страницы, задерживаясь на некоторых, высказал несколько мыслей о том, какие перемены в конструкции повлечет за собой это усиление. Тем же карандашом, уверенным, твердым нажимом, он то исправлял чертежи, то ставил знаки вопроса или другие заметки. Я охотно вступил в обсуждение. Нельзя было не признать, что со мной разговаривает специалист, вполне технически грамотный, находчивый, очень энергичный.

Захлопнув атлас, он сказал:

— Вот, Алексей Николаевич, и проясняются наши перспективы. Проведем это через Госплан, включим в пятилетку института...

Перечеркнув обложку, он там написал: «ГД-24». «ГД» — значило «глиссерный двигатель».

— Одну нашу задачу мы, следовательно, утрясли,— продолжал Новицкий и протянул мне атлас.— Пожалуйста, вам и книги в руки.

Я охотно принял это задание. И опять с уважением посмотрел на своего директора. Да, абсолютно реальная вещь! Итак, у меня на счету будет уже два мотора — тракторный в шестьдесят сил и этот, глиссерный. Неплохо!

10

— Второй вопрос у меня к вам,— сказал Новицкий,— это пятилетка института. В частности, по вашему отделу. По существу, в данный момент ее нет...

— Конечно, Павел Денисович, это так...

— Вот мы и должны ее сверстать. Кстати, на днях начинает работать комиссия по пересмотру пятилетнего плана всей авиапромышленности. Заводы принимают на себя дополнительные обязательства. Спрашивается: а институт? Что институт даст промышленности в этой пятилетке?

Я неуверенно проговорил:

— Это вы относительно сверхмощного мотора? Но я не представляю себе...

— Чего? Проблема, по-моему, совершенно ясна.

— Как же ясна? Если бы мне предложили сейчас сконструировать еще один сверхмощный мотор, то... Не знаю, Павел Денисович... По этому вопросу у меня нет никакой ясности.

— Проблема, по-моему, совершенно ясна,— повторил Новицкий.— Для того-то мы и строим ЦИАД, вкладываем сюда сотни миллионов рублей, чтобы взяться серьезно за создание советского мощного мотора. Будем решать эту задачу основательно, солидно, без преждевременных попыток завоевать голыми руками высоты техники... Сначала соорудим наш новый институт-завод, а уже потом...

Я слушал и кивал, соглашаясь с Новицким. Проблема как будто и впрямь становилась ясной.

— Со сверхмощным мотором мы выйдем в следующем пятилетии,— продолжал Новицкий.— Выйдем без истерических рывков, наверняка. И, пожалуй, никто нас не обгонит.

Он рассказал, как обстоит дело с работой Макеева и младшего Никитина. В процессе постройки этого мотора «Д-25», основанного на интересном конструкторском принципе максимальной гибкости, обнаружились чрезвычай-

ные технологические трудности. Доводка, как и у нас, затянулась на годы.

— Таким образом, мы с вами должны,— говорил Новицкий,— в этой пятилетке взять на себя иные обязательства. Надо, чтобы промышленность почувствовала помощь института...

Продолжая разговор, мы наметили несколько серьезных задач: в частности, переделку на воздушное охлаждение мотора «Испано», который все еще выпускался на одном из заводов. Это вместе с «ГД-24» уже составляло достаточную нагрузку для моего отдела.

— С этим мы выступим,— сказал Новицкий,— в комиссии по пятилетнему плану. По крайней мере, все это реально...

Он опять покровительственно улыбнулся. Меня это снова немного покоробило. Понимал ли я тогда, что Новицкий, этот несомненно очень сильный человек, способный работник, в чем-то, говоря нашим профессиональным языком, все-таки «недобирал»? Как вам сказать? Конечно, при всех его достоинствах ему явно не хватало того, что он называл романтикой, не хватало какого-то взлета, дерзновения. Но ведь в те дни и я, как вам известно, внутренне отказался от дерзаний. И поэтому внимал без возражений, учился уму-разуму.

— От нас с вами, Алексей Николаевич,— говорил Новицкий,— потребуют конкретных дел, выполнения плана, который будет подписан мной и вами и утвержден правительством. Взялся, подписал — значит, выполняй, отвечай головой. Вот, Алексей Николаевич, наше правило.

— Прекрасное правило! Я вполне, Павел Денисович, с вами согласен.

— Что же, второй вопрос мы, кажется, тоже исчерпали. Вы не станете, надеюсь, возражать, если я попрошу вас быть представителем от института в авиационной комиссии Госплана.

— Нет, отчего же,— с достоинством ответил я.— Наша линия мне ясна.

Наконец мы перешли к третьему вопросу, пожалуй, самому интересному для нас обоих, заговорили о проекте нашего огромного будущего института, нашего экспериментального завода. У меня уже был подготовлен ряд предложений. Мы их рассмотрели. Новицкий почти все одобрил. Кроме завода, мы запроектировали свыше десяти

лабораторий. Некоторую аппаратуру, о какой я давно подумывал, мы решили сконструировать собственными силами, у себя в институте. Это тоже была еще одна нагрузка для вашего покорного слуги. Разработали и ориентировочный календарный план изготовления чертежей.

Из директорского кабинета, где мы вдвоем провели три или четыре часа, я вышел твердой походкой, неся под мышкой атлас «Д-24», на обложке которого, перечеркнутой крест-накрест, было крупно выведено синим карандашом новое название, и свою папку с разными набросками и заметками для памяти, сделанными то моей рукой, то тем же крепким нажимом синего карандаша.

В окно в конце коридора светило мне навстречу невысокое зимнее солнце. Это показалось хорошим предзнаменованием. Впереди расстилалась ровная, прямая дорожка — ковровая дорожка в коридоре. Против света я не видел, где она кончается: чудилось, уходит далеко. Пожалуй, тоже добрый знак. Шагая, я прислушался, не пружинит ли подо мной пол. Нет, он что-то не пружинил... Ну и слава богу. Хватит с меня пружинящих полов и тротуаров. Было и сплыло. И довольно.

Что вы так смотрите? Ждете: «и вдруг»? Нет, в тот день, получив от Новицкого зарядку на полтора-два ближайших года, я полагал — более того, был убежден,— что совершенно гарантирован от еще каких-нибудь «вдруг».

11

Теперь, прежде чем обратиться к событию, о котором у нас далее пойдет речь, я бегло обрисую еще несколько моментов.

Первый из них — чисто лирический. Когда я вернулся от Новицкого в свой кабинет и положил на стол атлас чертежей мотора, который я считал уже вычеркнутым из своей жизни, о котором принудил себя не думать, который и теперь, сколько бы я его ни переделывал, уже не оживет как двигатель для авиации,— когда я положил атлас, откинул обложку, увидел опять свое творение, в душу хлынули воспоминания. Припомнилось все: с каким упоением дома, взаперти, после заседания у Родионова, я набрасывал компоновку; как мы здесь по ночам пели «Садко — богатый гость», «раздраконивая» проект; как на морозе у ре-

вущего мотора встречали Новый год и как я поднял стакан, показывая вверх, в звездное небо, куда наши моторы «Д-24» взнесут... Нет, ничего не взнесут. На мощных советских самолетах, на самолете Ладошникова, будет установлен двигатель иностранной марки «ЛМГ», который уже значится у нас под номером «Д-30» и уже вводится в серию на Волжском заводе.

В моем письменном столе лежали чертежи этой машины. В свое время я их внимательно, даже пристально рассматривал, стремясь понять, почему же, чем побили меня иностранцы. Достал и сейчас эти чертежи. Развернул. Нет, делайте со мной что хотите, хоть режьте на куски, но я все-таки не соглашусь, что эта конструкция лучше нашей. Мне было по-прежнему ясно, что по сравнению с «Д-24» эта последняя новинка является конструкторски отсталой, не имеющей перед собой будущего, ибо... Но к чему об этом думать? Это доказывается лишь на испытательном стенде; там мы были биты. Конструктор «ЛМГ» одержал надо мной верх не глубиной, не блеском, не талантливостью замысла, а... А чем же? В Европе — развитая техника, новейшая промышленность моторов, а мы создавали свой мотор без этого, создавали в отчаяннейшей борьбе. И кричи не кричи — не победили. Пришла на ум строчка Маяковского: «Ору, а доказать ничего не умею».

Не умею, вернее, не могу! К чему же тогда и орать? Или скулить, безмолвно, жалобно скулить, хотя бы даже здесь, в тиши, наедине с собой? Но разве же, черт побери, дело в моем личном несчастье?

Ведь у нашей авиации, такой замечательной, имеющей столько талантливых, отважных летчиков, давшей всему миру в работах Николая Егоровича Жуковского теорию летания, будут до той поры подсечены крылья, пока мы не сможем выпускать собственные авиадвигатели.

Вся страна взяла небывалый разбег, отмеченный волнующими названиями строек: Магнитки, Днепрогэса, Сталинградского тракторного, Горьковского автомобильного, Уралмаша и так далее, а здесь, на нашем участке, из-за нас, конструкторов авиационных моторов, остался зияющий прорыв пятилетки. И на каждом шагу, буквально на каждом шагу, это будет чувствоваться: у Советского Союза нет своих мощных авиационных моторов.

Новицкий сегодня определил линию института: «Мы выйдем со сверхмощным мотором в следующем пятиле-

тии». И я это подтвердил, я согласился. Боже мой, в следующем пятилетии! Неужели придется еще столько ждать? И ничего нельзя придумать? Но что же придумаешь, если нет базы, нет точки опоры? Да, сначала надо строить экспериментальный завод института. Другого пути нет. И к черту нытье!

Я прогнал все мысли о своем погибшем моторе, затолкал их, словно кулаками, куда-то под спуд и запер там на ключ. Повернул ключ я в буквальном смысле слова, сунул чертежи «ЛМГ» опять в ящик стола. Не хочу на них смотреть.

Теперь расскажу вам о том, как мы отметили день 17 марта 1931 года, десятую годовщину смерти Николая Егоровича Жуковского. Незадолго до этой даты мне позвонил Андрей Степанович Никитин.

— Алексей Николаевич, не зайдете ли к нам, в партийное бюро? Обдумываем, как провести вечер памяти Жуковского.

Я тотчас же пошел. В комнате партийного бюро было очень оживленно. Там уже составили первую наметку программы торжественного вечера. Никитин сказал, что бюро просит меня выступить с докладом «Жуковский и русские моторы».

— Э, что придумали! — протянул я.

И рассмеялся своей интонации. И тут же объяснил, что так, с такой же интонацией, говаривал в свое время Николай Егорович. За этим штришком вспомнилось другое: квадратная баночка-чернильница с обыкновенной пробкой, дешевая ученическая ручка, которой всегда пользовался Жуковский, листки бумаги, разложенные всюду, даже порой на полу, сотни и сотни этих исписанных крупным почерком листков. Я вспоминал вслух разные подробности о Николае Егоровиче, а молодежь, мои друзья, с которыми было столько пройдено, готовы были слушать без конца.

— Рассказывать можно сколько угодно,— заключил я.— Но успею ли я подготовить доклад? Ведь это целое исследование. И почти все материалы не опубликованы. Надо специально их разыскивать.

— Мы поможем, пойдем куда угодно,— сказал Никитин.— Вы понимаете, Алексей Николаевич, как необходим сейчас такой доклад, чтобы у всех укрепить веру в дело создания русского мощного мотора.

Я внимательно посмотрел на него. Знал ли он, этот несуетливый, большой, широкий в плечах секретарь партийного бюро, располагающий к себе спокойной, будто спружиненной силой, знал ли он, подозревал ли о моем внутреннем разладе? В ответ на мой взгляд он улыбнулся.

— Ведь Жуковский в это верил,— произнес он.

— Еще бы! — воскликнул я.— Позвольте, позвольте-ка, друзья! Ведь он сам мне говорил, что в своем курсе механики напишет о моторе, который сконструировали мы с Ганьшиным. Николай Егорович не закончил этой книги, но, наверное, сохранились же наброски, какой-нибудь план, конспект... Это надо обязательно найти. Потом...

Мне со всех сторон стали подсказывать:

— Алексей Николаевич, надо взять и письма Жуковского к Макееву о моторе для самолетов «Илья Муромец»...

— А статью Жуковского о принципе реактивного движения? Вы должны развить и эту тему: «Жуковский и Циолковский».

— И личные воспоминания! Обязательно ваши личные воспоминания!

— Берусь, друзья, берусь! — заявил я.— Чертовски много всяких дел, но это вытяну.

Мы еще посидели, поговорили о Жуковском, о том, как бы нам лучше отметить день его памяти.

Назавтра я отправился в Центральный институт авиации и попросил рукопись Жуковского о нашем «Адросе», которую когда-то я же сам сдал туда. Боже мой! Из этой работы я в свое время запомнил, как школьник, заглянувший в ответ, лишь уравнение, которое тогда практически использовал. А сколько там оказалось откровений! Изучение этих материалов, этих трудов Жуковского, частью, как уже сказано, даже неопубликованных, явилось для меня не только подготовкой к докладу, но, безусловно, и толчком к тому, что я сделал впоследствии.

12

— Итак, мой друг, поехали! — возгласил со свойственной ему энергией Бережков, когда мы начали новую беседу.— Поехали в командировку в Ленинград. Прошу вас снова в поезд, в купе мягкого вагона, где, покачиваясь, как

в люльке, сладко спит на верхней полке ваш покорнейший слуга.

Я вам уже докладывал, с каким приятным самочувствием отправился в эту поездку. Все, что мы с Новицким наметили несколько месяцев назад, уже было принято комиссией по пятилетнему плану, включено в пятилетку института, в том числе и глиссерный двигатель, и переделка на воздушное охлаждение мотора «Испано», и еще ряд конструкторских работ. За эти же месяцы мы изготовили чертежи «ГД-24»; проект был уже рассмотрен и одобрен. Сверхмощного мотора в плане института не было. За массой всяких дел я о нем почти не думал. Так, по крайней мере, мне казалось.

В Ленинграде срочно выполнялась часть наших заказов на оборудование для института; в ходе производства возникли разные неясности, трудности, вопросы: я ехал, чтобы решить все это на месте; вез также и некоторые дополнительные чертежи. Кроме того, у меня была и своего рода дипломатическая миссия — предстояло провести несколько разговоров с тремя-четырьмя ленинградскими профессорами, которых мы хотели в будущем перетянуть к себе, в наш новый ЦИАД.

Первый день в Ленинграде прошел весьма плодотворно. Я побывал на заводе «Двигатель», небезуспешно провел время в Политехническом институте, повидав нужных мне людей,— словом, был занят чрезвычайно. И все же как-то среди дня, мимоходом, в чьей-то приемной я взял телефонную трубку и, позабыв, что еще вчера клялся: «Пусть отсохнут ноги!», назвал номер Ладошникова. Мы условились, что вечером я навещу его дома, на Каменноостровском проспекте.

С вашего разрешения, сразу перенесемся туда, на Каменноостровский.

Ладошников встретил меня в передней и повел в кабинет. Обстановка, в которую я попал, ничуть не напоминала комнату в деревянном флигеле около Остоженки, где когда-то Ладошников, изучая законы летания, старался заснять самодельным киноаппаратом летающую муху. Теперь, ступая по навощенному паркету, оглядывая расположенную в строгом порядке мебель, я, признаться, даже затруднялся представить, что в эту чинную ленинградскую квартиру вообще когда-либо залетала муха.

Последний раз мы с Ладошниковым виделись на ново-

годнем вечере у Ганьшиных. С тех пор прошло больше двух лет. Я за это время пережил взлет и падение, успел оправиться от неудач и даже зарекся от будущих взлетов, но хозяин дома не заводил разговора о моих делах. Он радушно усадил меня в глубочайшее кожаное кресло, сам уселся в такое же и стал расспрашивать о Маше.

Упорный во всем, Ладошников был упорен и в дружбе. Над письменным столом в строгих дорогих рамах висели картины, подаренные ему моей сестрой. В центре пестрел огромный букет осенней листвы, списанный художницей с той самой золотистой охапки, которую Ладошников вручил ей перед отъездом в Ленинград.

— Передай, Алеша, что ее уроки не забыты... Сейчас я тебе кое-что покажу.

Откуда-то, из глубины книжного шкафа, был извлечен большой, тяжелый альбом в холщовом переплете. На ватманской бумаге уверенной рукой — то карандашом, то чертежным перышком — были сделаны рисунки, множество разных эскизов. Пропеллер, крыло, шасси, руль высоты, хвостовое оперение, весь самолет целиком — одномоторный, длиннокрылый, могучий... В прошлом Ладошников не раз говорил, что авиаконструктору надо уметь не только чертить, но и рисовать, уметь в рисунке выразить, передать свои фантазии. Теперь он, видимо, вполне владел искусством этого особого, конструкторского рисования. Признаюсь, я любовался новым творением Ладошникова, пока существующим только в альбоме, и не без некоторого усилия удерживался от восклицаний, опасаясь, как бы не зашла речь и о моих замыслах.

Водворяя альбом обратно в книжный шкаф, Ладошников буркнул:

— Пусть отлеживается...

Я не стал расспрашивать, чего должен дожидаться новый «Лад», а подошел к стене и принялся с повышенным интересом разглядывать небольшой, писанный маслом пейзаж. Ореховский пруд... Маша часто ходила сюда на этюды... Зеленоватая вода, ряска у глинистого берега... Здесь, на берегу, однажды в жаркий летний день, возясь с лодочным мотором, я впервые говорил с Ладошниковым, долговязым студентом в запыленных высоких сапогах.

«А ведь ты, Алексей, пожалуй, изобретешь собственный мотор...» Тогда-то я умел лихо ответить: «А как же! Обязательно!»

Я все еще изучал темную гладь ореховского пруда, когда в кабинет вошла жена Ладошникова.

— Знакомься, Алеша, Людмила Карловна.

Я видел ее впервые. Высокая, по плечо мужу, она выглядела очень эффектно. Возможно, приоделась для гостя, а похоже, что не разрешала себе ходить иначе. Конечно, она была душой этого отлично налаженного дома. Даже Машины картины развешаны, разумеется, ее руками, это она, Людмила Карловна, нашла каждой подобающее место.

— Прошу к столу.

Я чуть не наскочил на огромного породистого пса, сопровождавшего хозяйку, и, мысленно отругав себя, чинным шагом вошел в столовую. Массивная, старинного типа мебель, чистота. Во всем ощущается размеренный, ровный ритм жизни. Поинтересовавшись родословной собаки, я смиренно сел перед указанным мне прибором.

Признаюсь, мне, безусловно, хотелось произвести благоприятное впечатление на Людмилу Карловну, оказаться достойным в ее глазах. Я живо изобразил две-три сценки из московской жизни и был вознагражден: мне несколько раз удалось вызвать улыбку хозяйки. Правда, я тут же выслушал неодобрительные замечания по поводу суматошной жизни москвичей, коим противопоставлялась выдержка «петербуржцев».

Ладошников молча посмеивался и следил, чтобы моя стопка не оставалась пустой. Я провозглашал тосты, очень удачные, в меру остроумные. Людмила Карловна расспрашивала меня о теперешней работе под началом Новицкого. Чтобы подчеркнуть собственную выдержку, я поведал о клятве не заниматься более бесплодными фантазиями.

— Пусть отсохнет моя рука...

Хозяева почему-то не рассмеялись, хотя и не спорили, не возражали. И вдруг Ладошников, отставив рюмку, сказал:

— Возможно, «милостивый государь», вы правы, что устранились.

Это выражение Николая Егоровича, произнесенное по моему адресу, мигом прогнало хмель. Разговор больше не клеился. Вскоре «милостивый государь» пожелал хозяевам покойной ночи и побрел в гостиницу.

Утром меня захватили дела. Я побывал в нескольких местах, вел там деловые разговоры, в промежутках же любовался чудным городом, наслаждался солнцем, июньским, мягким солнцем Ленинграда. О визите к Ладошникову старался не вспоминать. Ни о каком сверхмощном авиационном моторе совершенно, казалось бы, не помышлял.

Однако, мой друг, повторю еще раз: самая изумительная на белом свете конструкция — это человеческая психика. Существует, насколько мне дано судить по собственному опыту, некий закон творчества, который я называю «законом пружины». Озарение есть как бы удар туго взведенной пружины, которая срывается в один момент. Если вы затратили очень большие усилия на решение какой-нибудь задачи, долгое время напряженно над ней думали, изучили в связи с этим много литературы или других материалов, то тем самым вы привели в действие, завели пружину своего творчества. Потом вы так или иначе покончили с вашей задачей; то ли решили ее, то ли, наоборот, признали свою несостоятельность, сложили оружие, отступились, официально прекратили о ней думать (Бережков так и выразился: «официально прекратили думать»; пусть здесь останется это выражение); переступили, как вам кажется, какую-то итоговую черту. И тем не менее туго сжатая пружина все же не перестает действовать: творческая проработка той же темы продолжается в каких-то областях сознания, где-то не в фокусе, не в поле зрения, а может быть, даже и в подсознательной сфере.

И, наконец, самое главное. Эта пружина постоянно как бы заводилась во мне вновь. Вспомните атмосферу того времени, которую я вам не раз старался очертить. Мощный мотор, сверхмощный советский мотор! Распростившись на время с мечтой стать автором такого мотора, я все же постоянно слышал о нем. В каждом выступлении, даже при каждой встрече говорил об этом Родионов. Да и неопубликованные труды Жуковского, недавно просмотренные мною, подводили к тому же. Это же было своего рода лозунгом на вечере памяти Жуковского. Это же на все лады обсуждалось на многих заседаниях, посвященных разработке пятилетнего плана, в которых я самым добросовестным образом участвовал. Воздух времени был заряжен,

точно электричеством, острой потребностью страны в таком моторе.

По-видимому, в течение всего полугодия, с тех пор как был поставлен крест на «Д-24», пружина творчества, туго скрученная во мне ранее, делала свое. Так я полагаю.

14

Примерно на пятый день моего пребывания в Ленинграде я поехал на завод «Коммунист». Никуда не торопясь, я просидел около часа в кабинете моего давнего знакомого — начальника конструкторско-чертежного бюро Ивана Алексеевича Макашина. Встреча была очень приятной, мы поговорили о всяких новостях, пошутили, посмеялись.

Затем, по-прежнему в прекрасном настроении, я отправился побродить по цехам. По внутренней лестнице спустился в цех. Что такое? У окна стоит на подставке какой-то полуразобранный авиационный мотор. Я присмотрелся. Черт возьми, ведь это «ЛМГ» — мой враг, мой ненавистный соперник, которому был отдан завод, построенный для «Д-24». Неужели эта машина уже выпущена у нас, на Волге? Да, вон наш гриф — «Д-30».

В институте мы некоторое время не принимали новых моторов для исследования: наша старая испытательная станция расширялась, там были разломаны стены. Я досконально знал по чертежам, долго анализировал в свое время этот немецкий мотор, но в натуре увидел «Д-30» лишь впервые.

Меня кинуло в дрожь. Я стоял и смотрел на «Д-30». И, представьте, было достаточно одного этого взгляда, чтобы во мне произошел творческий разряд. Это можно уподобить удару бойка в капсюль снаряда или, проще говоря, попаданию искры в пороховую бочку, когда мгновенно освобождается вся та потенциальная энергия, которую содержит в себе порох, этакий, до появления такой искры, как будто невинный порошок.

Буквально в одну минуту мне стало ясно, что новый мотор надо конструировать на базе «Д-30». Нет, я неправильно сказал. На базе оборудования, которое служит для производства «Д-30». «Зачем мечтать о своем моторе, зачем проектировать, если мы не имеем современной промышленности?» — думал я раньше. Как так не имеем?

Ведь этот мотор, проклятый «ЛМГ», уже выпущен, выпущен не в Германии, а на нашем, советском заводе!

Но вы, может быть, спросите: почему же на базе Волжского завода нельзя было выпускать конструкцию «Д-24», а некую новую вещь можно? Это было мне ясно: потому что «Д-24» мы не довели. Не довели, промучившись без мощной базы. И за два года, потерянные нами, конструкция, так и недоведенная, уже устарела. Теперь, видя перед собой базу для совершенно нового мотора, я понимал: ведь это же и база для доводки. Правильная предпосылка всегда приводит к удивительно правильным дальнейшим рассуждениям и выводам.

Повторяю: вероятно, вся эта проблема новой, сверхмощной конструкции отрывочно и неотчетливо была уже мной проработана в каких-то областях сознания, но только тогда, у мотора «ЛМГ» в цехе завода «Коммунист», мне с ослепительной яркостью предстала идея новой вещи. И я уже не рассуждал, я видел.

15

Что я взял от «Д-30»? Только одно: емкость цилиндра. Еще Август Иванович Шелест в результате длительных исследований указал наилучший литраж цилиндра для больших, мощных моторов. В «Д-30» были именно такие цилиндры. Но все остальное в этой машине я отвергал. Мне и раньше было ясно, что в ней, в ее компоновке, в самом замысле не выражены передовые, прогрессивные тенденции техники. Не были раскрыты и использованы возможности, таящиеся в больших цилиндрах. «Д-30» развивал тысячу восемьсот оборотов в минуту. Мало! Куда меньше того, что можно было бы взять, если бы... Да, да, я уже созерцал свою вещь. Цилиндры у моего врага не составляли слитной группы, а располагались по отдельности и были довольно хитро скреплены. Долой все это хитроумие, к черту всю компоновку! Блок, монолит металла — вот основа нового мотора. Мне сразу предстали его формы. Ого, как поднялось число оборотов! Две тысячи сто! Две тысячи двести! Воображаемую конструкцию я уже различал в деталях, даже в мелких деталях. Помню, я чуть не вскрикнул, когда вдруг мысленно узрел единую блочную головку мотора. Блочная конструкция головки — вот где зарыта

собака, вот в чем решение всей задачи. Я сразу представил себе эту головку в форме всасывающего патрубка, удобного для прохода газа. Ого, как завертелся главный вал! А что, если взять кое-что еще и от «Адроса»? В одно мгновение промелькнули рукописи Николая Егоровича, которые я недавно перечитал. Ого! Две с половиной тысячи оборотов! И даже больше! Почти три! Этой мощности уже не выдерживает конструкция. Значит еще, еще усилить жесткость. Здесь же, застыв, как в столбняке, я вдруг увидел способ жесткого крепления головки. Она притягивалась к картеру анкерными болтами. Анкерный — значит капитальный, основной. Да, передо мной была совершенно оригинальная конструкция, не похожая ни на какую в мире,— не американская и не германская, а наша, русская, наша, советская, машина, развивающая свыше двух с половиной тысяч оборотов, то есть... То есть машина в тысячу лошадиных сил. Ведь это скачок, поистине скачок в авиамоторном деле, ибо самые мощные иностранные модели, разные «Тайфуны», «Леопарды» или «ЛМГ», достигли тогда лишь восьмисот — восьмисот пятидесяти сил. Неужели же это... Неужели это Вещь с большой буквы? И неужели есть база, где можно ее построить и довести? Да, есть! Да, существует, работает завод на Волге. И ведь в этом-то, именно в этом ключ решения, весь смысл моей вещи.

Некоторое время я еще стоял в оцепенении, словно прислушиваясь к гулу нового мотора, словно ощущая его содрогание. Все же выдержит ли он такую мощность? Не разорвутся ли болты? Нет, в нем нигде не было слабого места.

16

Потом, совершенно позабыв, зачем, собственно, я сюда приехал и куда лежал мой путь, я по той же лестнице немедленно поднялся обратно. Помню, войдя снова к Макашину, я машинально выговорил:

— Здравствуйте.

Он посмотрел с удивлением:

— Здравствуйте. Давно не виделись.

— Иван Алексеевич, извините, у меня к вам просьба.

— Пожалуйста. Что-нибудь случилось?

— Ничего. Мне надо немного почертить. Сделайте одолжение, дайте мне доску.

— Только и всего? Сейчас я вам это устрою.

Случайно один инженер конструкторского бюро оказался в этот день больным, и Макашин, проведя меня в чертежный зал, предоставил мне его стол у раскрытого большого окна.

— Дать вам готовальню?

— Нет. Спасибо. Только карандаш и бумагу.

Приколов большой лист к доске, я тотчас принялся чертить. В экстазе творчества, с пылающими ушами и щеками, абсолютно ничего вокруг не замечая, ни разу не прикоснувшись к резинке, я изобразил все поперечные разрезы машины, перенося ее из воображения на бумагу. В какую-то минуту я взглянул на свою руку, которая держала карандаш. Боже, ведь совсем недавно я дал страшную клятву, на днях повторил ее у Ладошникова: «Пусть рука отсохнет, если...»

Нет, она не отсыхала...

Я чертил, а в сознании возникали, пробегали будто посторонние видения... Вот Родионов трясет меня за плечи, когда из аэросаней, несущихся по снежной глади Волги, мы увидели трубы завода. Вот снова Родионов, его радостно вспыхнувшее сухощавое лицо, когда он поверил мне, прибежавшему в отчаянии, поверил, что я еще найду какой-то ход и мы все-таки станем выпускать на Волжском заводе не иноземный, а свой мотор...

У окна я даже не заметил, как подступила ленинградская белая ночь. Макашин, который был занят на каком-то совещании, заглянул поздно вечером в конструкторский отдел. В огромном зале Макашин застал меня одного, ничего не видящего и не слышащего или, как он потом деликатно выразился, слегка обалдевшего. Впоследствии он уверял, что несколько раз меня окликнул. Но я очнулся лишь от какого-то странного нечленораздельного звука, раздавшегося за моей спиной. Это был возглас изумления, который испустил добрейший Иван Алексеевич, взглянув на мой чертеж. Он увидел поперечный разрез сверхмощного авиамотора, увидел блочную головку, анкерные стяжные болты, небывалую, ни на что не похожую конструкцию, отличающуюся простыми, плавными, естественно и легко округляющимися и завершающимися линиями. Макашин спросил:

— Что это?
— Тысячесильная машина.
— Но как же вы... Когда же вы все это сделали?
— Сегодня.
Он усомнился. И, представьте, не верит до сих пор.

17

— Иван Алексеевич,— сказал я,— разрешите мне еще немного посидеть.

— А вы обедали?

Только в ту минуту я вспомнил, что зван к знакомым на обед.

— Нет, не обедал. Сколько сейчас времени?

— Двенадцатый час.

— Двенадцатый?

Да, все пропустил. Надо скорее звонить по телефону, извиняться. Однако, представьте, я тотчас забыл об этом благом намерении. Помнится лишь такой миг: мой взгляд устремлен на телефон, и я не понимаю, зачем на него смотрю. И вновь с головой погружаюсь в мир воображения. Что еще сказал мне Макашин, как и когда он ушел, не могу восстановить в памяти.

Меня вторично отвлек тот же нечленораздельный возглас за моей спиной. Там опять стоял Макашин и опять удивлялся. Оказалось, что он уже побывал дома и, беспокоясь за меня, возвратился, принес мне поесть. Ему снова не верилось, что, с тех пор как он меня оставил, я успел столько начертить. Этот прекрасный человек, честнейший инженер принадлежал к той категории конструкторов, которые считают, что всякая компоновка должна долгими месяцами «высиживаться» за чертежным столом.

Конечно, законен и такой путь творчества. Разно складывается история конструкции. Но существует, по-моему, единое общее правило: если вы не проработали и, скажу более, не пережили вашей темы, если она не завладела тайниками сознания, то и пружина творчества не взведена, не может дать разряда.

Итак, к утру у меня были готовы все поперечные разрезы. До прихода сотрудников я прикорнул на часок-другой в кабинете Макашина. Днем ползавода перебывало у моего стола. Все смотрели компоновку. Разгорелись споры,

правильно или неправильно я решил то или иное: конструкцию главного вала, головки, способ крепления, клапаны и так далее и так далее. Я слушал, возражал, жил своей вещью, и она становилась для меня все яснее и яснее.

Надо вам сказать, что жизнь воспитала у меня черту, которую я считаю благодетельной для изобретателя-конструктора,— черту, вообще свойственную советскому инженеру. Когда к моему столу подходит товарищ по профессии, у меня никогда не бывает желания прикрыть свой чертеж, спрятать его, чтобы, упаси боже, у меня не украли какой-нибудь мыслишки. Я всегда рад услышать разнообразные суждения о своей работе. Я понимаю, как много значит для конструктора самый процесс рассказывания и спора. Ваша идея, которую вы представляете себе графически или предметно, как-то особенно ярко воплощается в словах, и тем самым производится проверка всех пробелов и неясностей. Вы рассказываете, передаете свою мысль, и перед вами яснее вырисовываются разные трудности, особо сложные места, а, кроме того, зачастую вдруг открываются такие стороны задачи, о которых дотоле вы не думали. Случается даже, что я загодя, еще ничего не решив, не начертив, а лишь думая о вещи, беру первый попавшийся, может быть, заведомо негодный вариант решения, иду к товарищу и говорю: «Дружище, знаешь, какую я придумал штуку!» И все выкладываю. Собеседник, конечно, говорит: «То-то и то-то неверно». Я и сам знаю, что неверно, но он приводит свои доводы и с какой-то новой стороны, совершенно индивидуально, со своей точки зрения освещает тему. В такой беседе я проясняю свой замысел.

Ладошников всегда заявлял, что лишь недалекие люди боятся конкуренции, а люди подлинного творчества ценят общение с каждым талантом, ибо этим они лишь облагораживают, очищают собственный талант...

И вот пока я находился на заводе «Коммунист», там устраивались целые консилиумы по моему проекту. Выслушивая множество мнений, я тем временем на второй, на третий день сделал продольный разрез. Такой разрез отличается повторением одних и тех же конструктивных форм, например: шесть цилиндров стоят рядом — поэтому я только носок изобразил, каждый особо трудный механизм, задок мотора наметил и так далее.

18

Когда чертежи были готовы, я прежде всего выспался. Вскочив утром, поспешил на Каменноостровский.

Меня приняла Людмила Карловна. Приодетая, тщательно причесанная, она самым вежливым образом втолковывала мне, что в дневные часы ее муж никогда не бывает дома.

— Где же он сейчас?

— Могу вам лишь сказать, что он, наверное, даже не в городе.

— Не в городе? А позвонить ему туда нельзя?

— Нельзя...

Вот незадача! В трюмо, находившемся в прихожей, я мог видеть, как выглядит человек, удрученный таким известием. Это — весьма трагическое зрелище, в особенности, если он застыл с прижатым к груди толстенным рулоном чертежей, то есть, так сказать, в классической позе изобретателя.

Не дожидаясь приглашения, я прошагал в комнаты, сел. Меня бесил невозмутимый вид этой ленинградки. Что в ней нашел Ладошников? Чопорная. С рыбьей кровью...

Однако тут же пришлось убедиться в своей неправоте. Клянусь, эта женщина преобразилась, услышав слова «сверхмощный мотор». Она заставила меня изложить историю последних дней, потом принялась энергично звонить по телефону. Наконец она вызвала машину и вместе со мной поехала разыскивать Ладошникова. В дороге она сказала:

— Михаил говорил, что от вас можно всего ожидать.

Поверите? Эта фраза в ее устах прозвучала, как одобрение.

19

Людмила Карловна доставила меня к проходной будке аэродрома, принадлежавшего, как я понял, заводу, на котором выпускались «Лады». Сначала мне не хотели давать пропуск. Вызванный к воротам дежурный объяснил, что в данный момент к Ладошникову нельзя ни пройти, ни позвонить: Михаил Михайлович следит за испытанием; строжайше запрещено в это время чем-либо его отвлекать.

Я поклялся, что не отвлеку, что буду смиренно ждать, пока Михаил Михайлович не освободится. Молвила сло-

вечко и Людмила Карловна. При ее поддержке сопротивление заслона в проходной будке было сломлено: я получил пропуск. Мне указали двухэтажный дом, видимо, очень светлый внутри, так много в нем было стекла. Вскоре я очутился в приемной — представьте, даже здесь, на аэродроме, завелась эта неистребимая приемная,— решительно прошагал мимо растерявшегося секретаря и вошел в кабинет главного конструктора.

У одного из окон стоял большой, чтобы не сказать огромный, письменный стол. Неподалеку поместился покатый чертежный стол, на нем белела прикрепленная кнопками бумага. Ни за тем, ни за другим столом никого не было. Где же Ладошников? Наконец сквозь широко раскрытую, ведущую на балкон дверь я его заметил. Он сидел там, на балконе, в плетеном легком кресле, удобно привалившись к спинке и вытянув длинные ноги. В руках у него был мощный призматический бинокль. Несомненно, Ладошников не слышал, как я к нему вошел. Его поза была очень спокойной; казалось, он ничего не делал, а просто смотрел вдаль. Вспомнилось, что вот так же в усадьбе Орехово, в саду, каждое утро сидел на скамейке Жуковский. С этого начинался его рабочий день. Глядя в пространство, он отдавался свободному течению мыслей.

Внезапно Ладошников поднес к глазам бинокль. В голубом небе я увидел точку самолета. Очевидно, Ладошников следил за испытанием своей новой машины. Я шагнул на балкон.

— Михаил, извини, что я ворвался... Но произошло нечто такое...

— Нечто потрясающее?

Ладошникову-то было известно, сколько раз мне случалось попадать впросак. Я сам рассказывал ему, как некогда явился к Шелесту с чертежами изумительной газотурбины и получил в ответ приглашение занять должность младшего чертежника. Однако сейчас я не пожелал заметить иронию Ладошникова.

— Вот именно! Я сконструировал мотор в тысячу сил.

— За один день?

— Не совсем так. Но решение, представь, пришло в одно мгновение.

— Вдруг?

Работая всю жизнь планомерно, Ладошников не ведал никаких «вдруг». Однако сквозь насмешку проступало

нечто иное. Он смотрел на меня совсем иначе, чем у себя дома, когда я повторял свою клятву. Теперь я ему выложил все: как приехал на завод «Коммунист», как бросил взгляд на иностранный мотор, уже выпущенный нами на Волге, как застыл в неподвижности, созерцая возникший в воображении новый двигатель.

— Пойдем к столу... Покажу чертежи,— настаивал я.

Михаил встал, оглядел меня из-под бровей.

— Ну, давай чертежи...

На его огромном письменном столе я расстелил прежде всего общий вид мотора, затем продемонстрировал один за другим все разрезы. Ладошников подолгу смотрел каждый чертеж. Кое-что я пытался пояснять, но он всякий раз останавливал меня, буркал:

— Понятно...

Наконец положен последний лист. Что же сейчас вымолвит Ладошников? Он поднял голову. Боже, как давно я этого не видел: его глаза, обычно казавшиеся маленькими, прятавшиеся под лохматыми бровями, сейчас были большими, яркими.

— Хочешь знать мое мнение? — спросил он.— Вряд ли я имею право сказать с одного взгляда. Но, по-моему, ты должен немедленно лететь в Москву и сегодня же доложить Новицкому...

Пришел мой черед усмехнуться.

— Ну, уж и сегодня...

— Да. Я дам самолет.

Вид у меня, вероятно, был преглупый. Я не придумал ничего лучшего, как задать вопрос:

— А где же я отмечу командировку?

— Это не самое сложное,— сказал Ладошников,— отметим.

Представьте, два часа спустя я уже летел в Москву, в двухместном «Лад-3». Конструктор «Ладов» сам посадил меня в кабину.

20

В Москве из аэропорта я позвонил Новицкому. Удалось застать его в кабинете.

— Павел Денисович, я вернулся.

— Почему так скоро? Произошло что-нибудь важное?

— Да, очень важное. Я говорю из аэропорта и сейчас прибуду к вам.

— Хорошо. Посылаю вам машину.
— Не надо. Быстрее доеду на такси.
— Разве так спешно?
— Да, Павел Денисович, очень спешно.
— Хорошо. Жду вас.

С чемоданом и портфелем, с длинной трубкой чертежной бумаги, перевязанной веревочкой, я втиснулся в первую подвернувшуюся автомашину и помчался в институт.

И вот снова наша улица, вдоль которой протянулся на версту свежий дощатый забор, вот подъезд института, вестибюль, широкая лестница на второй этаж, дверь директорского кабинета. Впрочем, через нее к Новицкому уже не входили. Она была обита войлоком, обшита клеенкой и наглухо закрыта. В кабинет вела новая дверь из смежной комнаты, где Новицкий расположил свою приемную-секретариат.

И самый кабинет изменился. К боковой стене переместился письменный стол. Новый чернильный прибор из авиационной стали, а также несколько папок и книг были расположены в полнейшем порядке. Некоторые книги на столе представляли собой переплетенный машинописный текст: «Титульный список ЦИАДстроя», «Пятилетний план авиапромышленности» и т. д. Переплеты были красные, золотообрезные — пожалуй, кто-то перестарался для директора. Уже не было в помине ни кепки на гвозде, ни электрического чайника на подоконнике — чай Новицкому теперь приносили из приемной. Над столом висел наклеенный на коленкор генеральный план ЦИАД. В окно виднелась стройка. Площадка была уже спланирована, выводились корпуса.

И Новицкий был одет по-иному, не в гимнастерку военного сукна, как я вам всегда его описывал, а в летний просторный парусиновый костюм. За эти полгода, с того дня, как он принял дела, Новицкий много и, как говорится, напористо у нас поработал, запустил на полный ход стройку, выправил положение в институте, добился четкости во всем. Он предполагал после моего возвращения ехать в отпуск. На выбритом полном лице стали снова заметны следы утомления — нездоровая желтизна, одутловатость, небольшие отеки под глазами, по-прежнему, однако, очень живыми. Сейчас взгляд был несколько встревоженным. Поднявшись мне навстречу, Новицкий пошутил:

— Значит, как сказано у Гоголя: «Должен сообщить

вам, господа, пренеприятное известие». Какое же, Алексей Николаевич?

— Наоборот. Очень приятное, Павел Денисович.

Мигом развязав веревочку, я положил чертежи на стол директора, наскоро прижав углы ватманской бумаги тем, что попалось под руку: увесистым чернильным прибором, пепельницей, стопкой папок, толстой книгой. Новицкий молча наблюдал. Потом не спеша склонился над столом.

— Что это у вас?

— Тысячесильная машина.

Больше я ничего не прибавил. Всякому инженеру-мотористу, а тем более столь незаурядному, наделенному и конструкторской жилкой, как Новицкий, без комментариев было ясно, что означали в мировом соревновании моторов эти два слова: «тысячесильная машина».

Новицкий стоял, опершись на край стола обеими руками. Я почему-то до сих пор помню эти руки, поросшие на пальцах, на тыльной стороне ладони густым волосом.

— Так,— выговорил он, все еще глядя на чертеж.— Ваше произведение?

— Да, Павел Денисович.

Он молча поставил на прежние места пепельницу, чернильный прибор, папки и книгу. Листы ватмана сами собой свернулись.

— Так,— повторил он и сел в свое кресло.

Теперь я видел, что Новицкий очень рассержен. Сразу набрякли мешки под глазами. Он, однако, сдерживался.

— Садитесь...

Все острее угадывая неладное, я опустился в кресло, словно сваливаясь с небес на землю.

— Вашими личными делами,— продолжал Новицкий,— мы, если позволите, займемся позже... Расскажите, пожалуйста, что вы сделали.

— Павел Денисович, какое же это личное дело?

— Хорошо. Не будем пока спорить. Как наши заказы?

Я не ответил. Собственно говоря, ни одно из порученных дел я не довел до конца, а Новицкий жестко задавал вопросы, перечислял все задания, с которыми я поехал в Ленинград, словно на память читал их по списку. В этом списке был и глиссерный мотор, и оборудование, изготовление которого задерживалось, и многое другое.

— Так... С кем же вы виделись из профессуры? — спрашивал Новицкий.— С кем договорились?

Я буркнул:

— Начал переговоры.

Он скрестил руки на груди. Видимо, все в нем кипело. Я чувствовал, что вот-вот — и он стукнет по столу кулаком. Но Новицкий встал, подошел к окну, достал из кармана папиросы, закурил и повернулся ко мне.

— Вот что, товарищ Бережков... Одно из двух... Или мы будем вместе работать, или...— Он шагнул к столу, резким движением вырвал чистый лист из большого блокнота и положил передо мной.— Вот бумага, пишите заявление об уходе. И расстанемся.

— Павел Денисович, но почему же? Ведь вы даже как следует не посмотрели чертежи, не выслушали моих...

— Я посмотрю. Это я вам обещал. Но, извините меня, вы проявили крайнюю степень безответственности. Это анархический или, в лучшем случае, мальчишеский поступок.

— Павел Денисович!

— Извольте меня выслушать. Я с вами разговариваю не как добрый знакомый, а в качестве директора, вашего начальника, представителя советской государственности. Вы уезжаете в командировку, беретесь выполнить поручение, от чего зависит своевременный ввод в строй важнейшего объекта, за который мы отвечаем головой перед правительством, который записан вот сюда...— Новицкий все же стукнул по столу, стукнул книгой в красном твердом переплете.— Уезжаете и, забыв о своем долге...

— Павел Денисович, мой долг...

— Потрудитесь не перебивать... Забыв о своих обязанностях, изволите заниматься личными делами, какими-то изобретениями, о которых никто вас не просил.

— Павел Денисович, это...

— Это анархизм с начала до конца... Индивидуалистическое гениальничанье. Если вы желаете работать с нами, то прежде всего подчиняйтесь государственному порядку, плану, дисциплине. На фронте за такой поступок я отправил бы вас в ревтрибунал. А здесь... Пожалуйста, можете писать заявление об уходе. Сегодня же будете свободны от всех ваших обязанностей.

Я молчал, чувствуя, как он, этот властный человек с тяжелой рукой, подминает, подчиняет меня. Он тоже помолчал.

— Так... Я должен объявить вам выговор в приказе.

— Павел Денисович, у меня имеется лишь единственное оправдание.

— Какое?

— Эта вещь! — Я показал па листы ватмана, которые, свернувшись, все еще лежали на столе.— Павел Денисович, ведь я не так уж задержал всех. Сегодня же можно отправить в Ленинград кого-нибудь другого, а я не смею сейчас терять ни одного дня. Вы знаете, как этот мотор нужен. Я был вправе...

— Нет, не вправе. Это опять рассуждение индивидуалиста. Взбрело в голову, и к черту всех и вся! Извините, это не наш принцип.

Его манера произносить эти слова: «наш», «с нами», «мы», опять, как когда-то, в давнюю первую встречу, коробила, колола меня. Опять подмывало вскричать: «А я кто, не наш? Не мы? Не государство?» Но в те минуты, растерявшись, я не отдал еще себе отчета в этом чувстве.

Новицкий нажал кнопку звонка. Явилась стенографистка-секретарь.

Он сказал:

— Будьте любезны, запишите... Потом отстукаете на машинке и принесете мне на подпись. «Главному конструктору института А. Н. Бережкову. Считаю недопустимым ваше самовольное возвращение из командировки, вследствие чего сорваны возложенные на вас задания. Ставлю это вам на вид и прошу...» Нет, зачеркните «прошу»... «и требую, чтобы...».

Я выговорил:

— Павел Денисович, я понимаю, что действительно нарушил дисциплину.

Новицкий быстро на меня взглянул. Насупленное лицо изменилось. Я вдруг увидел дружелюбную улыбку.

— Алексей Николаевич, этого признания мне достаточно... Дайте сюда...

Он взял у стенографистки недописанный листок, разорвал и бросил в корзину.

А я... Что поделаешь, мой друг, рассказывать — так рассказывать все. Я в глубине души чувствовал, что если бы моя поездка повторилась сызнова, то я — хоть убейте! — опять поступил бы так же, забыл бы все на свете и начертил мотор. Ибо знал, как он нужен, ибо верил, абсолютно верил в свою вещь!

Новицкий сказал стенографистке:

— Можете идти... И пришлите нам, пожалуйста, два стакана чаю.

Потом обратился ко мне:

— Что же, посмотрим, Алексей Николаевич, вашу тысячесильную машину. Берите стул... Присаживайтесь-ка рядом.

Этот тон, эти два стакана чаю были, конечно, знаком примирения. Новицкий сам расправил чертежи, внимательно посмотрел сначала один лист, потом другой, третий.

— Не могу понять,— произнес он,— какую конструкцию вы взяли за основу. Это что-то...

— Новое! — воскликнул я.— Такого решения, Павел Денисович, вы не найдете ни в одном моторе мира. Гильза цилиндра, и этот несокрушимый блок, усиленный блочной головкой, и эти стяжные болты, которые стягивают всю вещь, придают ей исключительную жесткость,— все это, Павел Денисович, не американское и не немецкое, а новое, наше. Вы сказали «взбрело». Нет, Павел Денисович, это — логическое завершение моих творческих исканий за много-много лет. Сколько я думал о жесткости и только тут ее поймал! И самое главное, знаете, в чем? Эта вещь опирается на базу, на технологию Волжского завода. Знаете, как явилась мне эта идея?

Новицкий слушал, опять закурил, прихлебывая горячий чай, поглядывая то на меня, то на расстеленные чертежи. Я сидел уже рядом с ним, сидел, не чувствуя собственного веса. Ко мне вернулась вся моя увлеченность, подъем, упоение собственным созданием. Я рассказывал о том, как увидел мотор «Д-30» уже с табличкой Волжского завода, как замер перед ним, как сел за чертежный стол и забыл обо всем, кроме машины, которая вычертилась в воображении,— вот этой тысячесильной машины.

— Тысячесильная... Гм...— Новицкий улыбнулся.— Тысячесильная авантюра, Алексей Николаевич.

Второй раз в этот день я будто сверзился на землю.

— Авантюра? Почему же, Павел Денисович?

Он стал разбирать вещь. Теперь он говорил со мной, как с сотоварищем, как инженер с инженером, и высказал прежде всего ряд чисто технических сомнений. Сомнительно, не разорвутся ли болты? Как будет вести себя блоч-

ная головка? Все это рискованно, нигде и никогда не испытано...

Я должен опять отдать ему справедливость: он сразу сформулировал возражения, которые потом я слышал столько раз, что они навязли у меня в ушах.

Мы долго спорили. Мне не удалось его переубедить. Ссылка на Ладошникова только рассердила Новицкого.

— С каких это пор конструктор самолетов считается высшим авторитетом среди мотористов? Ладошников может фантазировать у себя, в своей епархии. Но я не допущу, чтобы наш институт опять залихорадило ради этой сомнительной вещи.

Я снова запротестовал, однако Новицкий утвердился в своем мнении.

— С какой стороны ни подойти,— говорил он,— ваша вещь сомнительна. Или, в лучшем случае, преждевременна. Ну, нашумим, опять выбьем институт из колеи... Да что институт? Собьем с толку завод. Знаете, что сейчас там делается? Осваивают новую технику, не выполняют программы. Если теперь переменить модель мотора, это вовсе сорвет освоение. У нас, Алексей Николаевич, другой план. Из «Д-30» естественно вырастет путем модификации советская конструкция. Мы приняли определенную стратегию. А вы, по существу, сейчас пытаетесь ее сорвать. Уверяю вас, этим мы лишь замедлим темпы...

— Павел Денисович, я же хочу ускорить...

— Для этого у вас есть путь. Организуйте получше работу ваших конструкторских групп. Выполняйте свою пятилетку в три года... Конечно, Алексей Николаевич, вы огорчены, но с государственной точки зрения...

Я не выдержал, вспыхнул:

— Почему вы считаете государственную точку зрения своей привилегией? Только потому, что вы директор? А не может ли статься, что в своей области творческий работник, конструктор, вернее, чем вы, понимает задачи государства?

Со спокойной усмешкой Новицкий взял со стола одну из книг в золотообрезном переплете — пятилетний план авиапромышленности.

— Вот государственный документ,— сказал он.— Не возражаете?

Я промолчал. Новицкий продолжал:

— Составленный к тому же, если мне не изменяет память, при вашем участии. Так?

— Так.

— Однако ваша вещь здесь не числится. Что же, вы будете выступать против собственной подписи?

— Да.

— И, следовательно, против пятилетки?

— Павел Денисович, извините, это формальный довод.

Он прищурился.

— Формальный?

— Да.

И мне вдруг ярко вспомнилась игра в снежки на площадке Моторстроя, вспомнилось, как Родионов, повернувшись к Новицкому, крикнул: «Бей формалиста!» Э, не зря, видимо, у Родионова вылетело это слово, сказанное тогда будто в шутку.

— Да,— твердо повторил я.— Эта книга не догмат. Мы можем, даже обязаны ее дополнять своими делами.

— Так. Желаю вам успеха.

— Напрасно иронизируете... Этого проекта раньше у нас не было. А он нужен, его ждут. Значит, с тех пор, как он появился, что-то прибавилось и в пятилетке.

Он опять усмехнулся.

— С той самой минуты?

— Да, с той самой минуты.

— Алексей Николаевич, можно ли так увлекаться? Вы какой-то одержимый!

— Как вам угодно, но я буду настаивать на своем проекте.

Новицкий нахмурился.

— Что же, созовем совещание старших конструкторов института. Послушаем, что они скажут.

22

До совещания, назначенного на следующий вечер, я опять не мог ни о чем разговаривать, ни о чем думать, кроме своей вещи. Мне было интересно показать ее одному, другому, выслушать разные мнения.

Однако, представьте, я встретил исключительно единодушный отпор со стороны старших конструкторов института. Как это объяснить?

Надо отбросить, мой друг, какие-либо предположения о личных счетах, скажем о зависти, недоброжелательстве ко мне, главному конструктору, который пришел в институт младшим чертежником.

В эти годы, начиная с первых дней службы, с известной вам головки для мотора «АИШ», я приносил десятки проектов, компоновок, взбудораживал институт, и что же? Что из этого вышло? Где мои великие дела, мои творения?

Вы видите, что вся моя жизнь, вся моя биография конструктора, казалось бы, оправдывала такое настороженное ко мне отношение.

Потом, после многих неудач, я угомонился, вошел в колею, изо дня в день работал, руководил своим отделом, сдал проект глиссерного двигателя, переконструировал мотор «Испано» и так далее. Постепенно наладились и отношения с моими давними соперниками в нашем коллективе, инженерами старшего поколения, которым раньше вольно или невольно я нанес столько обид.

Со мной, в общем, примирились, приняли, признали меня. И вдруг я снова взорвался. Это опять было непонятным и пугающим. И, естественно, сотоварищи-конструкторы отнеслись к моему проекту сугубо критически, сугубо недоверчиво.

Вечером я помчался к Ганьшину, самому близкому, самому старому другу. Он уже обитал в своей новой квартире, в новом жилом корпусе авиационной академии имени Жуковского. Большой кабинет был завален книгами, журналами, листами чертежей. Ганьшин работал над вторым томом своего капитального труда: «История и теория авиационных двигателей». Первый том тогда уже вышел в свет, уже стяжал Ганьшину славу. Пользуясь тем, что волосы на макушке поредели, Ганьшин завел себе ермолку и в таком виде — в черной ермолке, в очках, в потрепанном домашнем пиджаке, с испачканными чернилами пальцами — был, хоть бери кисть и пиши, готовым портретом вдохновенного ученого. Я немедленно разложил на его столе, поверх разбросанных страниц гениального труда, свои чертежи.

Великий скептик посмотрел и нежнейшим голосом спросил:

— С винтом прет?

— Ганьшин, перестань!.. Скажи серьезно.

— Вполне серьезно.

И вот знаменитый автор непревзойденного исследования «История и теория авиационных двигателей» принялся критиковать мою компоновку. Хороший друг — это также и хороший критик. Я защищался, аки лев, но был благодарен Ганьшину, ибо вещь становилась для меня все яснее и яснее. И она устояла: в ней ничего не мог расшатать или разъесть язвительный анализ Ганьшина. Под конец и он поколебался, согласился признать, что я схватил и выразил в своем проекте самую передовую тенденцию развития авиадвигателей.

Но у него осталось еще множество сомнений. Я с пламенной верой заявил:

— Вот увидишь, в твоем курсе последняя глава будет посвящена моему мотору.

— Нет,— сказал он.— Сначала надобны несколько глав, еще не написанных историей.

Собственно говоря, это была та же точка зрения, которую мне уже изложил Новицкий: моя машина преждевременна. Ганьшин дружески увещевал меня.

— Посчитай,— говорил он,— сколько раз ты уже проваливался. И ведь ты отлично знаешь, что для конструктора достаточно двух-трех неудач — и он сходит с круга. Его уже никто всерьез не принимает. Тебе просто посчастливилось, что ты уцелел в этой передряге после краха «Д-24». Оставили тебя главным конструктором — так уймись и не делай глупостей. Сейчас тебе нельзя браться за рискованные вещи. Пойми, еще одна неудача — и твоя карьера кончена.

Но я не хотел его слушать.

— К черту карьеру!

— Ну, тогда, как бишь ее, судьба... Судьба Алексея Бережкова.

— К черту судьбу! У меня есть мотор! Он на два, на три года сократит расстояние, которое нам надо пробежать, чтобы обогнать моторостроение за границей. Я пришел к тебе не о себе говорить. Тут не судьба Бережкова, тут судьба советского авиамотора! И в какой-то степени судьба всей нашей страны!

— Ты все-таки поэт! — сказал Ганьшин.

— Брось это... Слушай, Ганьшин, давай вместе подумаем, что сказал бы об этой вещи Николай Егорович. Неужели стал бы, как ты, лишь сомневаться?

Ганьшин снова посмотрел на чертеж, помолчал.

— У меня есть мотор! — повторил я.— И знаешь, мне сейчас действительно не важно, мой ли или чей-нибудь еще. Я все равно буду за него бороться.

Ганьшин снял очки, подошел ко мне. Я близко увидел внимательные серые глаза, которые блестели теперь уже не насмешкой, а волнением.

— Помогу тебе всем,— произнес он,— чем только сумею!

И, разряжая серьезность, даже торжественность этой минуты, Ганьшин улыбнулся.

— На худой конец,— добавил он,— раскинешь здесь свою штаб-квартиру. Засядем вместе, как в былое время. Ты будешь чертить, а я рассчитывать.

В восторге я сорвал с головы Ганьшина его почтенную ермолку и запустил в стену. Потом сгреб друга в объятия и расцеловал.

23

На следующий день Новицкий собрал у себя в кабинете узкое совещание, пригласив всего семь-восемь человек. Я сделал сообщение. Затем один за другим поднимались наши старшие расчетчики и старшие конструкторы и разносили проект. Основной мишенью была абсолютно новая конструкция цилиндровой группы, которая до сегодняшнего дня отличает «Д-31» от всех существующих моторов. Никто не верил в оригинальную рубашку охлаждения, в блочную головку, в анкерные стяжные болты. Говорили, что этого никогда и нигде не было, что это — пагубное зловредное изобретательство. Ссылаясь на учебники, на книги Шелеста, придираясь чуть ли не к каждой детали, утверждали, что то, другое, третье обязательно сломается. За все, за все мне тут досталось.

Новицкий спокойно руководил заседанием. Анализ, который я выслушал от него вчера, был, казалось, всецело подтвержден обсуждением. Сам он в этот раз не выступал. Но я... Чем больше я слушал возражений, тем глубже понимал, что вещь решена правильно, что мной найдена наконец конструкция самого мощного, самого лучшего в мире мотора. Я с полным убеждением это высказал и просил, несмотря на все возражения, поставить в план конструкторского отдела разработку моей компоновки. Новицкий был несколько удивлен моим упорством.

— Я подумаю,— произнес он.— И завтра дам ответ.

Утром я пришел к нему, Новицкий сказал, что он подумал и решил, что дальнейшая работа над проектом нецелесообразна. Он говорил твердо и вместе с тем миролюбиво, старался как-то утешить, ободрить меня:

— В нашем деле недопустимы авантюры. Выстроим новый институт — и тогда мы с вами, Алексей Николаевич, основательно займемся проблемой сверхмощного мотора. Некоторые ваши идеи, вероятно, еще пригодятся. А пока отложите ваш проект.

Я все-таки пытался спорить, однако Новицкий стал официален и оборвал разговор. Несколько дней спустя он уехал в отпуск. Надолго. На целых полтора месяца.

24

Что же произошло дальше? Вы мне не поверите, ибо это в самом деле уму непостижимо, но как раз в те дни, даже скажу точно, в ближайшее же воскресенье после заседания, после убийственного для меня приговора, я... Повторяю, это уму непостижимо: вдобавок ко всем моим переживаниям я еще и отчаянно влюбился.

Итак, представьте обстановку. Старший персонал института высказался против моей вещи. Новицкий вынес приговор, наложил запрет. Что делать? Я решил на один денек из всего выключиться, отвлечься от гипнотизирующей меня вещи, чтобы потом взглянуть на нее как бы свежими глазами.

Надо вам сказать, что к тому времени у меня уже был свой маленький автомобиль марки «АДВИ-Т». Помните, в те годы, в начале первой пятилетки, когда лишь строился великолепный Горьковский автозавод и еще не появились его первые произведения — незабываемые «газики», вам иногда попадались на улицах Москвы смешные автомобильчики — букашки, выкрашенные в белый цвет. Ручаюсь, что вы когда-нибудь видели на одной из таких машин и главного конструктора АДВИ, тогда вам незнакомого,— вашего покорного слугу, гордо восседающего за рулем. Мы сами сконструировали и построили в мастерских института несколько таких малюток. Как сказано, они у нас именовались «АДВИ-Т». Загадочная буква «Т» означала «тарахтелка».

Потом всюду замелькали «газики», народились «эмки», которые казались тогда очень шикарными, а мы по-прежнему, на удивление москвичам, ездили на своих «адвишках».

И вот, получив от Новицкого последний и окончательный афронт — это, как нарочно, случилось в субботу,— я, отбросив уныние, решил поутру предпринять автомобильную прогулку.

Воскресенье выдалось чудесное, солнечное. Моя тарахтелка набирала скорость, а я упивался охватившим меня чувством, чувством молодости, дерзновения, силы,— словно летел на корабле времени. Вчера на заседании меня, что называется, изрубили в капусту, а утром я вскочил, точно спрыснутый сказочной живой водой. Где-то внутри звучал мотив: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней».

Выехав на Ленинградское шоссе, я уже распевал эту песню вслух. Мелькали жилые дома, магазины. Вскоре завиднелось знакомое здание, где в былые времена помещался «Компас». Тут я покатил тише, зато запел, по всей вероятности, громче. Здесь-то — заметьте, у самого «Компаса»! — меня остановил свисток милиционера. Постовой утверждал, что пение за рулем является нарушением правил уличного движения. Я протестовал со всей свойственной мне энергией. В результате милиционер стал требовать документы — права водителя и так далее. Никаких удостоверений у меня с собой не оказалось. Милиционер предложил последовать в отделение. Прощай, воскресная прогулка! Кто знает, сколько времени уйдет, пока установят мою личность. Да и настроение уже будет не то...

Собравшаяся вокруг машины толпа была не на моей стороне. Не внушала доверия ни букашечка, ни ее непутевый владелец. Фамилия «Бережков», ссылка на звание конструктора никого не убеждали.

— Двинулись, гражданин,— наконец потребовал милиционер.

С той поры я верю, что милиционеры приносят счастье. В ответ раздалось:

— Я могу поручиться за товарища Бережкова.

Меня словно подкинуло от звука этого голоса. Я выскочил из машины. К милиционеру подошла молодая женщина. Она или не она? Из-под синего берета выби-

вались светлые волосы. Она не смотрела в мою сторону, она протянула милиционеру какой-то документ (как я потом узнал, это была ее зачетная студенческая книжка) и стала очень тихо что-то втолковывать.

Надо было срочно увидеть ее глаза. Карие или не карие? Нужно было еще раз услышать ее голос...

— Вы меня знаете? — громко спросил я.

Не помню, что она ответила, но голос был знакомый и глаза карие.

Милиционер тем временем смилостивился, согласился ограничиться лишь штрафом, я с громадным удовольствием уплатил.

— Разойдитесь, граждане,— приказал блюститель общественного порядка и, откозырнув, пошел на угол.

Не разошлись только двое. Я и она.

— Все-таки, Валя, несмотря на некоторые воспоминания, вы поручились за меня. И вы правы. У вас потрясающая интуиция.

Валентина рассмеялась.

— Никакой интуиции, просто мне рассказывали о вас.— Она лукаво добавила: — Я многое слышала. Например, об институте авиационных двигателей.

— Вы занимаетесь авиацией?

— Именно занимаюсь. Я ведь студентка.— Валя пояснила: — До института долго была на комсомольской работе.

Распахнув дверцу машины, я предложил своей спасительнице присесть, не беседовать же нам стоя. Поколебавшись, Валентина устроилась на заднем сиденье, я сел за руль. Надо было быстро и незаметно осуществить один блеснувший мне замысел.

Некоторые части внутри моей машины были закреплены маленькими велосипедными гаечками. Я незаметно отвинтил одну гайку и протянул Валентине.

— Видите? Хранил всю жизнь.

Почему-то я не увидел свою будущую жену ни потрясенной, ни растроганной. Взяв «сувенир», она лишь сдержанно улыбнулась.

Вскоре я добился разрешения включить мотор, продлить прогулку. Миновали Петровский парк. Вдруг сзади протянулась розовая ладонь, на которой лежали две одинаковые гайки.

— Тоже хранила всю жизнь,— не без яда сказала Валя.

Я обернулся. У правой дверцы не хватало одной гаечки.

— Вы очень наблюдательны,— любезно сказал я.

— Наблюдательна и правдива,— ответила моя пассажирка.

Я поддал газку и, не раскрывая рта, домчался до знаменитого Архангельского. Меня гнал страх, что Валентина откажется от дальнейшей прогулки. Но прогулка оказалась изумительной. Эта прогулка и следующие...

В общем, мой друг, почему, как и отчего приходит любовь, не объяснишь. Во всяком случае, далее должны бы следовать страницы не из этой, а из другой книги. Ее мы с вами, может быть, еще напишем. Вот ведь как бывает. Совершенно не думая ни о какой любви, поглощенный, казалось бы, большой творческой задачей, борьбой за свою вещь, я вдруг безумно влюбился. Верите, буквально через месяц Валентина стала моей женой.

25

Вернулся из отпуска Новицкий посвежевший, благодушный. Он нашел меня в главном чертежном зале и еще издали приветливо мне улыбнулся. Подойдя, он крепко сжал мне руку и сказал:

— Поздравляю вас, Алексей Николаевич.

— С чем?

— А как же? Слухом земля полнится: Бережков женился.

Я скромно кивнул.

— Поздравляю,— повторил он.— Жаль, я опоздал на вашу свадьбу.

— Никакой особой свадьбы не было. Так... Очень маленькое торжество.

— Почему же?

— Не до того, Павел Денисович. Надо работать. Пятилетка...

— Золотые слова. Но боюсь,— он весело прищурился,— что вы за этот месяц не слишком были поглощены работой.

— Наоборот, Павел Денисович. Сделал очень много.

— Тогда совсем отлично. Завтра с утра с вами зася-

дем, потолкуем о делах.— Снова сощурив карий глаз, он испытующе посмотрел па меня.— Значит, женился, остепенился?

Я засмеялся. Остепенился? Еще чего!.. Однако браво ответил:

— Так точно, товарищ начальник.

— Рад! Очень рад за вас! Перед вами прекрасное будущее. Алексей Николаевич, передайте, пожалуйста, от меня привет вашей жене.

Затем Новицкий прошелся по залу, порой останавливаясь около того или другого конструктора, спрашивая о здоровье, о работе. Летний свободный парусиновый костюм скрывал его грузноватость, но неторопливая, спокойная поступь все же была, как и прежде, тяжеловатой. Остановился он и у стола Недоли.

— Здравствуйте, товарищ Недоля. Как ваши успехи? Я вижу, вы стали очень недурно чертить...

Поднявшись, когда к нему обратился директор, Недоля, конечно, черт бы его взял, смутился, покраснел.

— Приятный чертеж... На пятерку, товарищ Недоля. Это для какой же машины?

Недоля замялся. Я поспешил было на помощь моему славному другу, но Федя не дождался меня.

— Для... для...— запинаясь повторял он.

Федя совершенно не умел врать. Он напрямик выпалил:

— Для тысячесильной!

— Какой тысячесильной?

В первую минуту Новицкий даже не понял, не сообразил, что все это время, пока он был в отпуске, я вместе с несколькими молодыми конструкторами, моими друзьями, кому я доверился, разрабатывал в чертежном зале института проект моего нового сверхмощного авиамотора. Но когда это наконец до него дошло, разразился колоссальнейший скандал.

Разумеется, Новицкий моментально позабыл, что передо мной «прекрасное будущее». Взъярившись, он кричал мне:

— Это приемчики мелкого жулика! Уважающий себя конструктор не позволил бы себе...

— Павел Денисович, я попросил бы...

— Я вас не желаю слушать. Вы, кажется, забыли,

что это государственный советский институт, а не частная лавочка, не конструкторская фирма гражданина Бережкова. Я не допущу, чтобы вы разлагали коллектив, протаскивали контрабандой собственные забракованные изобретения. Если вы не желаете честно работать, можете совсем оставить институт. Больше предупреждать я вас не буду.

Наговорив мне оскорблений, резкостей, Новицкий вышел из зала. В тот же день мне был объявлен выговор в приказе.

Конечно, Новицкий имел против меня очень веский, формально решающий довод: протокол совещания старшего персонала института, где мой проект был забракован. Что же я мог этому противопоставить? В тот момент только одно: мою убежденность. Я сам понимал, что после всех моих бесконечных неудач это весило очень немного. Но как же, по-вашему, я должен был поступить? Пойти к Родионову? Да, я так и решил сделать. Но не очертя голову, не с пустыми руками, не с карандашными набросками. Пока у меня не готов рассчитанный, проработанный проект, который можно защищать перед любым научным синклитом, до тех пор я не имею права рисковать. Дело было настолько серьезным, настолько большим, что я не разрешал себе ввязываться невооруженным или недостаточно вооруженным в новый тур борьбы.

Впрочем, тут уже надо говорить не «я», а «мы»...

26

Мне так и сказал в тот же день Андрей Степанович Никитин. Все последнее время он тоже работал вместе с нами, взявшись рассчитывать мотор.

Я мрачно сидел у себя в кабинете, вспоминая все, что пришлось выслушать, а Никитин вошел, посмотрел на меня и улыбнулся.

— Придется, значит, сегодня записать,— произнес он,— один ноль в пользу Новицкого.

— Андрей Степанович, как вы можете шутить?! Вы представляете, я настолько верю в эту вещь, настолько убежден, что в ней есть все, чего от нас ждут, что... Пускай мне сто раз запрещают, а я все-таки буду чертить.

Как хотите, а я решил уйти в подполье. И в конце концов один все начерчу.

Никитин засмеялся, сел. Было очень приятно видеть его спокойное лицо с вьющейся темно-русой шевелюрой, с упрямой, сильной челюстью. Тут-то он мне и сказал:

— Знаете, Алексей Николаевич... Давайте теперь не говорить «я». Будем говорить «мы».

Я встрепенулся.

— Мы? Идет! — Вскочив, я протянул Никитину руку.— Давай руку!

Первый раз в жизни я обратился к нему, секретарю партийного бюро, на «ты», сам не заметив, как у меня вырвалось это.

Никитин крепко стиснул мою пятерню.

— Ну, слушай... Всю драку я беру на себя, а твое дело — работать!

Так случилось, что вопрос о «я» и «мы» для нас решился еще одним маленьким местоимением — не сговариваясь, мы перешли на «ты».

— Но где же работать? И с кем?..

— В подполье...— Никитин расхохотался, произнося это слово.

— Нет, я серьезно тебя спрашиваю.

— Будешь работать дома по вечерам и по ночам с нашими ребятами.— Он назвал Недолю и еще нескольких моих учеников, молодых конструкторов.— И я тоже буду там с вами. Думаю, Валентина нас не выгонит?

— Что ты? Она сама сядет с нами чертить!

— Ну вот... Здесь, в институте, веди себя так, чтобы... В общем, свято исполняй обязанности. А с Новицким уж мне предстоит схватиться.— Он с улыбкой потянулся, расправил широченные плечи.— Тебя я не позволю отвлекать ничем. Твое дело скорее чертить и чертить компоновку. И не терять ни часу.

Мы еще раз обменялись рукопожатием. И я перенес домой проектирование мотора.

27

Мы собирались каждый вечер, а по воскресеньям с девяти часов утра у меня на квартире, которая превратилась в чертежное бюро. Моя чудесная жена была возведена приказом вашего покорного слуги в ранг

младшего чертежника-конструктора и вместе с нами просиживала ночи за чертежным столом. Таков, мой друг, был наш медовый месяц.

Никитин обычно являлся с опозданием — случалось, даже чуть ли не к полуночи,— но все же обязательно ежедневно приходил. Он радостно окунался в атмосферу кипучей деятельности, немедленно принимался за работу.

Молодые конструкторы охотно подсказывали отдельные решения, разрабатывали детали. Среди дела подчас сверкала шутка. Например, кто-то, вбежав, кричит:

— Новицкий идет! Федя, в окно!

Клянусь, если б мы не жили на четвертом этаже, Федя действительно выпрыгнул бы в окно.

Ради чего эти ребята, молодые инженеры, поверившие мне, просиживали со мной все вечера и все воскресенья? Кто им платил, кто их вознаграждал? Никто. Разве что Маша, которая и среди ночи неутомимо разливала чай, а порой и настоящий кофе. Но даже хлеб и сахар мои помощники деликатно приносили с собой, ибо в те времена мы получали все это по карточкам. Ни один из нас не выдержал бы такого напряжения, если бы не ощущал всем своим существом, как нужна стране наша работа.

Зов времени! Это-то и было крыльями, которые нас несли. Всех нас, даже Ганьшина, известного скептика, который не раз приходил к нам и помогал в трудную минуту. По существу, он руководил Никитиным в дьявольски сложном расчете мотора.

Наконец все расчеты, все чертежи, четыре больших листа и несколько десятков малых, были закончены. Теперь вещь стала кристально ясной, проработанной во всех деталях.

28

В одно августовское утро я позвонил в секретариат Родионова. Меня соединили с Дмитрием Ивановичем.

— Здравствуйте, товарищ Бережков. Нуте-с, чем порадуете?

Волнуясь, я сказал:

— Дмитрий Иванович, я прошу принять меня по очень важному делу.

— Знаю... Приезжайте...

— Дмитрий Иванович, что же вы знаете?

Он засмеялся.

— Давно уже вас жду... Нуте-с, как ваша тысячесильная? — И другим тоном, деловито, добавил: — Приходите сегодня в десять часов вечера.

И вот я снова у Родионова. Поощряя меня своим любимым «нуте-с» и взглядом, в котором я опять читал и доверие, и какой-то особый интерес ко мне, что так располагает к откровенности, он внимательно слушал мою взволнованную речь. С абсолютной искренностью я рассказал о том, как решил было больше не заниматься проектированием сверхмощных моторов и как все-таки во мне, под влиянием толчков жизни...

— Нуте-с, каких же толчков?

Мне казалось, что в его лице все время будто мелькала улыбка, доброжелательная, даже радостная. Я поведал ему всю творческую историю тысячесильной машины вплоть до момента, когда я, как при разряде молнии, вдруг увидел вещь, которая зрела где-то в подсознании.

— Нуте-с, нуте-с, в подсознании.

Опять показалось, что Родионов улыбнулся.

— Дмитрий Иванович, со мною часто насчет этого спорят... Говорят, что марксизм не признает подсознания.

— Вот как? Позвольте, Алексей Николаевич, вы сами заправский марксист в этих вопросах.

— Я? В этих вопросах?

— Да, да, представьте себе.

Как вы считаете, шутил он или разговаривал серьезно? Признаться, кое-что в последнее время прочитав, я склоняюсь все-таки к тому, что это не было шуткой. У меня есть одна прекраснейшая выписка...

Впрочем, я отвлекся. О своей вещи я сказал Родионову:

— Дмитрий Иванович, я в нее непоколебимо верю. В ней много нового, что не встречалось еще ни в какой другой машине. Из-за этого ее легко критиковать и даже вовсе отвергнуть. Но как раз это новое, что отличает мой мотор от всех иных, и является сутью конструкции. В этом весь смысл. Именно это и должно поставить ее на первое место в мире. Но мне никто не верит, кроме

нескольких моих друзей. Я знаю, Дмитрий Иванович, что моя честь конструктора, авторитет — все пойдет насмарку, если... Но я могу прозакладывать голову за эту вещь. Вот моя голова! Рубите ее, если мотор будет неудачным.

— Думается, ваша головушка еще послужит,— ответил Родионов.— Но вера верой... Вы, Алексей Николаевич, вполне готовы к бою?

— Да.

— Тогда...— Родионов перешел на деловой тон.— Тогда созовем послезавтра расширенное заседание Научно-технического комитета. Поставим на обсуждение ваш проект.

29

Обсуждение проекта состоялось в том самом зале, где два года назад, в 1929-м, заседала конференция по сверхмощному мотору.

Теперь для дискуссии о моей тысячесильной машине опять была созвана своего рода конференция. В Москву на этот вечер по вызову Родионова прибыли на самолете директор и главный инженер Волжского завода. Несколько конструкторов были приглашены из Ленинграда. Присутствовали представители Авиатреста, представители московских моторных заводов, руководители конструкторских организаций, авторитетные столичные профессора, а также весь старший персонал ЦИАД во главе с Новицким.

По стенам были развешаны наши чертежи. До начала заседания их рассматривали собравшиеся здесь специалисты. В одной группе стоял Шелест, устремив взгляд на чертеж, заложив руки за спину. Я прошел мимо, он не заметил меня. Или, может быть, не пожелал заметить. Но вот он обернулся, встретился со мной глазами, ответил на поклон, кивнул. И как будто приветливо. Или это лишь его всегдашняя корректность? Он, как и прежде, элегантен, но волосы уже не цвета серебра с чернью, а, пожалуй, попросту белые. Мой старый учитель... Подойти? Но Шелест уже опять стоял ко мне спиной, опять смотрел на чертеж. Первый раз в жизни я выступаю здесь сегодня без его благословения и под-

держки, без поддержки института. Что же скажет сегодня Август Иванович? Захочет ли говорить?

Здесь же похаживал и Подрайский. Потрясения былых лет, казалось, не оставили на нем следа. Он по-прежнему занимал должность начальника отдела новых моторов в Авиатресте. Все такой же общительный, благовоспитанный, свежий, он даже слегка потолстел. Вот он приблизился к Шелесту, о чем-то спросил, почмокал, отошел. Ну, от Подрайского-то, разумеется, мне добра не ждать.

Не скрою, перед заседанием я очень волновался. Знал, что предстоит жестокий бой. Из друзей со мной здесь Андрей Никитин. А Валя дома. Вместе с нею там же, в маленьких комнатах, заставленных чертежными столами, ждут моего возвращения все, с кем я создал этот проект. Никитин подготовился, он будет обосновывать расчетную часть, скажет, наверное, горячее слово. Но кто с ним посчитается? Какие ученые труды, какие диссертации у него за плечами? Пока никаких, кроме расчета вот этой машины, отвергнутой дирекцией института.

Кто-то стиснул мой локоть. А, Ганьшин... Он наклонился, шепнул:

— Не робей!

— А я и не робею.

— На меня можешь положиться.

— Знаю, старина... Спасибо.

Да, голос Ганьшина здесь авторитетен. Но всем известно, что он мой старый близкий друг. А кто еще, кто еще меня поддержит?

В зале появился Родионов, обогнул ряды, сел не за председательский стол, а в стороне, у окна. Оттуда ему видны чертежи.

Председатель позвонил. Еще с минуту рассаживались, потом он открыл собрание. Были произнесены какие-то обязательные или, может быть, вовсе не обязательные фразы. Я ничего не воспринимал. Услышал только:

— Товарищ Бережков, пожалуйста... Доложите о проекте.

Ну, Бережков, в бой! «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней».

И вот перед этим высококвалифицированным собранием я стал излагать свои революционные идеи. Каза-

лось, я отрицаю все, что утверждал раньше, два года назад, в этом же зале. Тогда я требовал, чтобы мы лишь следовали опыту мировой техники, лишь развивали существующие, проверенные практикой формы,— сам ограничивал, обуздывал себя, боялся своей тяги к «свинтопрульщине», своей страсти фантазера. А теперь впервые заговорил во весь голос.

Я показал, что в новой компоновке, в этой тысячесильной машине, я, во-первых, иду от Жуковского, опираюсь на его малоизвестные работы, посвященные авиадвигателям, и, во-вторых, продолжаю ту же тенденцию жесткости мотора, что отстаивал и прежде, но продолжаю по-своему, не следуя никаким иностранным образцам. Довольно подражательного творчества, мы уже прошли этот этап,— в мучениях, в неудачах, но прошли! Не повторять конструктивные формы, уже созданные, разработанные за границей, а смело давать новое, свое, смело выходить на первое место в мире! Два года назад мы не имели новейшей промышленности авиамоторов, а теперь она у нас есть. На этом и основана моя конструкция!

Еще никогда я так взволнованно не выступал. Было такое ощущение, словно,— ну, как вам это объяснить? — словно не я произношу речь, выбираю слова, строю фразы, а она, моя речь, сама собой стремительно несется, льется каким-то прорвавшимся потоком. Меня била дрожь, когда я, закончив, сел на стул.

Затем слово было предоставлено Никитину, расчетчику конструкции. Я полагал, что он, как секретарь парторганизации, сначала даст, так сказать, партийно-политическую постановку вопроса, раскроет принципиальное значение проекта, но он вместо этого направился прямо к доске, взял мел и без дальних слов, без предисловий, приступил к математическому обоснованию машины. Не в силах следить за доказательством, которое я, конечно, помнил назубок, я смотрел на плечистую, крупную фигуру, видел упрямо оттопыренные уши, смуглую большую руку, уверенно выводящую на доске формулы. И ловил настороженность, тишину в зале.

Впоследствии или, вернее, не впоследствии, а в эту же ночь, когда мы с Никитиным приехали ко мне домой, где нас нетерпеливо ждали, он, смеясь, рассказывал всем, что я, беспартийный конструктор, выступал, как

ярый большевик а он, партийный работник, предстал перед собранием сухарем-расчетчиком, узким специалистом, который ничего на свете не желает знать, кроме математики. И мы с ним обнялись, расцеловались...

Однако я снова отвлекся. Вернемся, мой друг, на заседание.

30

Начались прения. Стали выходить производственники, заводчики. Они утверждали, что неправильно подсчитано литье, что вес неверен, расчет неверен, не принято во внимание то, другое, третье, поэтому машина не даст тех результатов, которые обещаны в докладах. И самое главное — блочно-стяжная конструкция не выдержит проектной мощности, обязательно поломается, развалится, и тогда вообще все ни к чему. Любопытно бы прочесть сейчас стенограмму этого собрания. Может быть, вы ее разыщете где-нибудь в архивах?

От имени Авиатреста выступил Подрайский. Он сохранил умение говорить со вкусом, с расстановкой. Вначале он пустился в воспоминания.

— Я знал товарища Бережкова еще совсем молодым,— оповестил он присутствующих.

Далее он помянул об «Адросе».

— Кто мог в то время поверить в эту конструкцию изобретателя-студента, основанную на совершенно новом принципе?

Задав этот риторический вопрос, Бархатный Кот сделал движение, напоминающее легкий поклон. Это надо было понимать так: «Своих заслуг касаться я не буду».

— Лишь при содействии Николая Егоровича Жуковского,— мурлыкал он,— нам удалось приступить к постройке мотора.

Нам удалось... Гм... Не намерен ли он и сейчас предложить мне пятьдесят на пятьдесят? Да, похоже на то...

— Как и пятнадцать лет назад,— продолжал Подрайский,— я склонен поддержать новую конструкцию Бережкова.

Черт возьми, наверное, он когда-нибудь еще похвастается, что выступил первым в защиту моей тысячесильной машины. (Забегая вперед, скажу, что обнаруживший

и далее невероятную живучесть Бархатный Кот действительно стал причислять к своим историческим заслугам поддержку моего нового двигателя.)

В своей речи Подрайский постарался не поссориться и с производственниками и тут, что называется, проявил понимание. Признав, что промышленности сейчас было бы тяжело взяться за постройку такого двигателя, он внес предложение: во-первых, машину необходимо строить, во-вторых, приступить к этому через год-полтора, когда окрепнет промышленность авиационных моторов.

Год-полтора... Недурно придумано... Я-то понимал, что потерять время в создании авиационного мотора — значит потерять все.

Потом заговорили теоретики. Выступил, конечно, Ниланд, мой давний недоброжелатель. Ну и поизмывался же он над проектом! Никитина он постарался, что называется, стереть в порошок. Тоном экзаменатора профессор Ниланд риторически задавал ему вопросы и в заключение заявил, что поставил бы двойку за такой расчет.

Но знаете, о чем я думал, когда он выступал? Ведь с самого первого дня нашего знакомства, с достопамятной гайки, мы только и знали, что схватывались один с другим. Однако его сугубая придирчивость ко всему, что я приносил в институт, строжайший педантизм — ведь все это тоже воспитывало, подтягивало, муштровало меня. И в наших чертежах, висевших сейчас в этом зале, что-то — какая-то частица и, может быть, немалая,— принадлежало и ему, моему недругу Ниланду. А он-то... Он этого не понимал.

Наконец поднялся Новицкий. Я увидел его уверенную, спокойную усмешку. Он уже торжествовал.

— Товарищи, собственно говоря, все основное,— начал он,— здесь уже сказано. Это избавляет меня от необходимости подробно объяснять, почему проект не был принят дирекцией института.

И с той же усмешкой, не повышая голоса, он учинил такой разнос моему проекту, что после этого уже было не с чем, казалось, спорить. Надо признать, его речь, несомненно, произвела впечатление: он суммировал, словно собрал в кулак, все возражения и бил этим кулаком. На миг мне бросилось в глаза расстроенное лицо Ганьшина.

Это были тяжелые минуты. Один ругает, другой ругает, третий с грязью смешал.

Вы представляете, каково было мое состояние — трепет, надежда, нетерпение,— когда я услышал:

— Слово имеет профессор Август Иванович Шелест...

Председатель произнес это имя с уважением. Смещенный с административного поста, Август Иванович был теперь членом технического совета при наркоме тяжелой промышленности и оставался для всех нас, кто присутствовал в зале, крупнейшим ученым, основоположником отечественной научной школы моторостроения. Я и сейчас дословно помню его речь.

— На своем веку,— сказал он,— мне доводилось высказываться о многих проектах. В моих руках перебывали сотни чертежей. Это были и всякие заграничные конструкции, и студенческие дипломные работы, и все проекты, которые обсуждались здесь, на заседаниях Научно-технического комитета. Среди них были и мои собственные произведения, были и такие, которые разрабатывались под моим руководством. Однако теперь первый и единственный раз в моей жизни я не смогу сделать ни одного критического замечания о проекте. Ни одна деталь в нем не вызывает у меня возражения. Я обязан сказать, что это самое талантливое произведение, которое мне когда-либо доводилось видеть.

Вот, мой друг, какие слова он произнес. Я слушал, и мурашки бегали у меня по телу. «Самое талантливое произведение»! Боже мой, неужели все это происходит наяву?

Затем Август Иванович отметил все основные достоинства машины: жесткость, выраженную с неуклонной последовательностью, как он сказал, во всей композиции; наличие жестко стянутых болтов, которые, как он утверждал, не поломаются; наличие особого рода клапанов, которые повышают возможности форсирования мотора, и так далее и так далее. Он заявил, что мотор надо немедленно строить, не теряя ни одного дня.

— Некоторые товарищи,— продолжал он,— к сожалению, не поняли, в чем талантливость этой конструкции.

Новицкий не выдержал. Он подал ироническую реплику:

— Может быть, гениальность?

Шелест помолчал, взглянул на чертежи и ответил:

— Нет. Гений попадает в цель, которую видит только он. В данном же случае цель нам всем ясна. И наш товарищ попал в самое яблочко. Поздравляю его и всех, кто ему помогал. И горжусь, что был в числе его учителей.

Мне хотелось кинуться к Августу Ивановичу, но я сидел, как пригвожденный: отнялись руки и ноги. На меня будто обвалилось счастье. Даже дышать было больно.

Новицкий снова со свойственной ему самоуверенностью перебил Шелеста какой-то репликой. Но он не рассчитал, что старика было опасно задевать. Шелест приостановился, его выразительный профиль слегка вскинулся. Август Иванович все время держался с подчеркнутой корректностью по отношению к Новицкому, сменившему его на посту директора АДВИ. Несомненно, ему и сейчас было трудно преодолеть какую-то внутреннюю сдерживающую его преграду. Но он перешагнул ее. Оборвав нить мысли, Шелест отчеканил:

— Вы хотите, товарищ Новицкий, чтобы я объяснил вам ваши ошибки? Если вам угодно, могу это сделать. Вы, во-первых, не поняли возможностей, таящихся в настоящем таланте, и, во-вторых, не видите, что существует путь убыстрения темпа.

— Скажите пожалуйста! — иронически выкрикнул Новицкий.— А вы всегда видели?

— Да, я совершал серьезные ошибки,— четко проговорил Шелест.— Но я их понял, а вы своих до сих пор не понимаете. В этом между нами разница. Теперь вы мне, может быть, разрешите продолжать?

Новицкому пришлось проглотить эту пилюлю. Меня подтолкнул локтем Никитин и шепнул:

— Ай да Август Иванович! Не ожидал!

Я тоже, признаться, не ожидал. Но надо иметь в виду, что Шелест уже несколько месяцев работал в непосредственном общении с таким человеком, как Серго Орджоникидзе,— с народным комиссаром тяжелой промышленности. Шестидесятилетний заслуженный профессор наново проходил школу жизни, глубоко воспринимал ее уроки. А Новицкий... Мне становилось абсолютно ясно, что Новицкий, этот признанный директор больших строек, властный, сильный, способный человек, будет смят нашим движением, если не сможет быстро и реши-

тельно отмести, как сор, все то, что тянуло и тянет его вспять, свои ошибочные представления, которые когда-то были не так заметны. Впрочем, о Новицком у нас еще будет разговор.

Следующим выступил Ганьшин. Ого, как он воспрянул после речи Шелеста! Он тоже дал блестящую оценку проекту и твердо заявил, что вещь настолько интересна, сулит такие перспективы, что было бы преступлением, если бы мы не построили мотор, не проверили бы теоретический спор практикой. И строить надо быстро.

Спасибо, дружище! Мне больше ничего и не надобно. Только это, только одно: построить, быстрее построить мотор!

Мне дали заключительное слово, я ответил оппонентам. Родионов ничего не сказал на совещании, но просидел до конца, выслушал все. Никакого решения не было объявлено.

31

После заседания, сам не зная зачем, я подошел к Родионову, уже покинувшему место у окна. Что-либо говорить ему я не собирался; очевидно, просто хотелось встретить еще раз его подбадривающий взгляд, услышать какое-то слово напоследок. Несколько человек уже обступили его.

Массивный, похожий на борца-тяжеловеса, директор Волжского завода Кущин наседал на Родионова. Подойдя, я мгновенно понял, что они разговаривают о моем моторе.

— Дмитрий Иванович,— взывал тяжеловес-директор,— отправляйте куда хотите эту музыку... Пусть строят, воля ваша... Только не взваливайте этого на наш завод.

— Преждевременно волнуетесь,— сказал Родионов.— Еще ничего не решено.

— Нет, сейчас самое время. Чую, куда клонится дело. Учтите, Дмитрий Иванович, вы задержите освоение завода... Вся тяжелая авиация не получит вовремя моторов, если мы...

Шея Родионова вдруг покраснела.

— Хватит! — оборвал он Кущина.— Коммунисту, советскому директору подобные речи не пристали.

Кущин, однако, не потерялся.

— За директорское кресло я, Дмитрий Иванович, не цепляюсь. Не о своей особе думаю, а о заводе...

Родионов усмехнулся.

— Эка, похвалился!.. Кто же в таких делах думает о собственной особе?

Тут прозвучал голос Новицкого. До сих пор он помалкивал, стоя несколько поодаль.

— За примером, Дмитрий Иванович, ходить недалеко,— не громко, но уверенно, веско произнес он; я уловил злость в его тоне.— Товарищ Бережков больше всего думает как раз о своей особе. Прочее ему безразлично. Пусть развалится завод, два завода... Пусть самолеты, ждущие моторов, не войдут вовремя в строй... Пусть все кругом провалится в тартарары, лишь бы ему, Бережкову, выстроить собственный мотор! — Повернувшись ко мне, Новицкий язвительно добавил: — Адски хочется прогреметь? Возвеличить имя Алексея Бережкова?

Родионов хотел что-то сказать, но я не дал ему вмешаться. Предвкушая, как я раздавлю сейчас своего противника, чувствуя, что меня несет горячая волна азарта — азарта борьбы за мотор,— я закричал:

— Это неправда! Это чудовищная ложь! Чтобы опровергнуть ее раз навсегда, я заявляю, что никогда нигде не назову этот мотор созданием Алексея Бережкова... Его создатель — коллектив! Если потребуется дать нашему мотору имя, мы назовем его «СМ-1»: советский мощный первый!

Родионов рассмеялся.

— Не рано ли устроили крестины? Не рано ли делить шкуру неубитого медведя?.. Нуте-с, по домам!

Домой я поехал вместе с Андреем Никитиным. Нас ожидали друзья, ожидал пир на весь мир. Валентина и Маша позаботились об угощении. Вино, правда, не лилось рекой — Валентина, которую я иногда по-прежнему звал «строгой девочкой», и на этот раз, несмотря на исключительность события, проявила строгость,— но я и без того был разгорячен, был как во хмелю. Вскоре собравшиеся запротестовали. Хватит о Новицком! Хватит о проблеме индивидуализма! Но я все-таки не мог остановиться, даже мобилизовал Маяковского.

— Сто пятьдесят миллионов автора этой поэмы имя! —

в упоении продекламировал я, указывая на свернутые чертежи мотора.

Ко мне подошла моя кроткая сестрица и шепнула на ухо:

— Не городи глупостей!

На минуту я был ошарашен. Потом, вероятно, я дал бы сокрушительный отпор, однако семейному раздору не суждено было разыграться. В передней затрезвонил телефон: наконец-то междугородная станция соединила нас с Ленинградом, с Ладошниковым. Меня к аппарату не допустили. На все расспросы Михаила отвечал Никитин. Я с этим примирился, сообразив, что, зная некоторые мои склонности, Ладошников не поверил бы сообщению о грандиозных сегодняшних событиях, если бы услышал про эти события от меня.

32

Еще несколько дней мы провели в неизвестности. Наконец меня вызвали в Научно-технический комитет и сообщили, что решено строить мой двигатель в самом архисрочном порядке. Ему был дан номер «Д-31».

Новицкий, очевидно, получил основательную взбучку, стал со мной любезен, дружелюбен, будто между нами и не было войны. В мое распоряжение предоставили большие, практически неограниченные денежные средства, чтобы скорее закончить проектирование. Конструкция была разбита на узлы, руководителем каждого узла был назначен инженер по моему выбору, группы соревновались, я выдавал премии, оплачивал работу аккордно и т. д. Словом, в небывало короткий срок, в полтора месяца, мы изготовили рабочие чертежи для запуска вещи в производство.

Но, представьте, опять что-то заело. Машина назначена к постройке, а Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) категорически отказывается строить. По этому вопросу происходили совещания и в Управлении Военно-Воздушных Сил, и в Наркомтяжпроме, и в Главном мобилизационном управлении, и где только они не происходили, и всюду представители авиапромышленности упирались, повторяли, что заводы за-

гружены и перегружены серийными моторами, что производственные планы не выполняются, что новые заводы не вылезают из полосы непрестанных поломок оборудования, мелких аварий и поэтому нельзя, немыслимо в таких условиях строить еще и наш мотор.

Как раз в это время Дмитрий Иванович Родионов был назначен начальником ГУАПа. Техника, промышленность давно стали близки Родионову. Возглавляя наши Военно-Воздушные Силы, он, как вы знаете, не ограничился тем, что составляло, казалось бы, непосредственный круг его обязанностей. Нет, он знал не только эскадрильи, маневры, учения, личный состав авиации, но привлек, включил в свое, так сказать, ведомство ряд научных институтов, постоянно общался с конструкторами, инженерами, бывал на заводах и требовательно вмешивался, руководил, двигал, ускорял дело. Поэтому его назначение в промышленность было всем нам понятно.

Меня вызывали еще на одно совещание — опять в Наркомтяжпром. Там впервые я увидел Дмитрия Ивановича в штатском. Его выправка, прямизна стана как-то слились в моем представлении с военной формой, с гимнастеркой или темно-синим френчем, а теперь, в новом сером костюме, Родионов вдруг наново показался мне удивительно стройным. Он носил уже фетровую шляпу, но на лбу, у крепко зачесанных волос, все же оставалась незагорелая бледная полоска от военной фуражки. На совещании представители заводов и инженеры ГУАПа опять говорили о тяжелом положении на предприятиях, о том, каким мучительно трудным оказался период освоения новой техники, о том, что постройка нового двигателя приведет в данный момент к еще более глубокому прорыву в выполнении плана. Директор Волжского завода опять категорически отказался принять наш заказ.

Родионов слушал, задавал вопросы, убеждал. Потом покраснел, встал и как стукнет кулаком по столу.

— Довольно! Я не буду сто раз вам объяснять значение этого мотора для страны. Приказываю с завтрашнего дня начать постройку мотора на Волге!

Все замолчали. Почувствовали — пришел человек, с которым не поспоришь. Родионов сел и, обратившись ко мне, сказал:

— Товарищ Бережков, выезжайте завтра с чертежами на завод и начинайте строить. Возьмите с собой

группу инженеров. Если встретите сопротивление на заводе, немедленно мне телеграфируйте. Сообщите поименно обо всех, кто станет вам мешать.

На следующий же день вместе с Андреем Никитиным, Федей Недолей, разумеется, и с Валентиной Бережковой и еще с двумя-тремя помощниками я выехал на Волгу.

33

Завод, как сказано, находился в глубочайшем прорыве по количеству сдаваемых моторов «Д-30». Там адски не хватало квалифицированных рабочих рук. И их неоткуда было взять. Их вообще не могло хватить стране, ранее по преимуществу крестьянской, при таком развороте и темпе индустриального преобразования. И только беспредельная вера большевиков в силы народа, развязанные революцией, только эта беспредельная революционная вера позволила им решиться на такой, казалось бы, безумный, с обычной инженерской точки зрения, шаг, чтобы взять тысячи людей прямо из деревни, от земли, привезти их на заводскую площадку, разместить в бараках и потом, выстроив завод, поставить их же, вчерашних землеробов, к нежнейшим станкам-автоматам, вручить им самую тонкую, самую требовательную, самую точную технику, какую представляет собой авиационное моторостроение. В грандиозные цехи Волжского завода, только что оборудованные всевозможными новейшими механизмами — всякими конвейерами, электроавтоматикой,— пришли люди с грубыми, необвыкшими руками.

И вот эти люди, которые прежде никогда в жизни не видали чертежа, которых на ходу обучали, проявили такую же волю и напор, как и в те времена, когда они же или их отцы на бесчисленных фронтах с оружием сражались за Советскую власть.

И, представьте, начав со ста процентов брака, постепенно пройдя, уже на моей памяти, через девяносто, восемьдесят, семьдесят пять, эти же самые люди через некоторое время стали блестяще выполнять программу, теперь они выпускают самые точные двигатели новой, советской конструкции.

Итак, к тому моменту, когда наша группа приехала на Волгу, завод работал над созданием кадров. Не только на плакатах, но и на бортах грузовиков, на стенах заводских зданий виднелись надписи: «Кадры решают все». Продолжалось строительство второй очереди, площадка все еще была разворочена, лежали груды земли, глинистой, по-осеннему мокрой. В цехах происходили поломки оборудования, крупные и мелкие аварии, на тачках вывозили тысячи и тысячи забракованных деталей, действовали всякие курсы по повышению квалификации, кружки молодежи по овладению техникой, выпускались листовки, шла напряженная борьба за освоение завода.

И поэтому, когда еще и мы вклинились туда со своими чертежами, со своими синьками, то, конечно, это никакого впечатления не произвело, ни ошеломляющего, ни вдохновляющего. Просто прибавилась еще одна капля в море трудов и напряжения.

Нельзя сказать, что мы встретили сопротивление на заводе. Мы сами понимали, что здесь людям не до нас. Все, начиная от планового бюро, нам пришлось организовать самим для производства деталей нашего мотора. Мы выписывали рабочие карточки, сидели в конструкторском бюро, переделывали чертежи по нормам этого завода. Вообще мы втиснулись во все заводские органы и выполняли все работы, начиная от функций рядового конторщика и до главного инженера и даже директора, ибо умудрялись правдами или неправдами отстранять некоторые детали серийного производства, чтобы продвинуть свои. Для завода мы явились тем вредным грибком или, скажем, жуком-древоточцем, который заводится в бревенчатых стенах и разрушает эти стены, проедая в них каналы, по которым он в дальнейшем движется. Вот таким древоточцем, который преследовал свою цель, протачивал для себя пути, мы и были. Мы строили свой двигатель за счет срыва серийного производства, его плановости, за счет каких-то просьб, иногда хитростей, порой скандаля, порой стараясь расположить к себе, улестить мастеров, чтобы, скажем, в термическом или в механическом цехе наши детали шли впереди деталей мотора «Д-30».

Сначала я приехал туда с пятью друзьями, потом прибавилось еще десять человек, потом еще двадцать,

потом сорок, и в конце концов наша группа уже насчитывала семьдесят работников. Среди них было восемь инженеров-конструкторов, а остальные — студенты Московского авиационного института, практиканты, зеленая молодежь, ничего еще не смыслившая в производстве. Не скрою, у меня волосы поднялись дыбом, выражаясь фигурально, когда мне прислали этих юнцов. Я требовал производственников, инженеров или мастеров, а прислали студентов. Что я буду с ними делать? Однако в присылке этой молодежи был свой смысл...

Рассказать обо всем подробно нет возможности: у нас получился бы еще целый роман. Поэтому ограничимся немногими отдельными картинками, всплывающими сейчас в памяти.

...Комнатка в городе. Маленький, старый, когда-то тихий городок. А рядом вырос завод, прекрасные корпуса. И вот над тихим городком повис непрестанный гул моторов, которые испытывались на заводе. Осень, холод, слякоть неимоверная. Некоторые рабочие еще в крестьянской одежде, в лаптях. Ежедневно утром, чуть свет, шли мы по этой слякоти на завод. Калош нельзя было купить нигде, ни за какие деньги...

...Для иностранцев — инструкторов и инженеров — были построены коттеджи. Привезли им ванны. Кормили в особой столовой. Черт с ними, не жалко. Они, наверно, ничего вокруг не видели, кроме дикости, азиатчины, грязи... На их лицах словно застыло презрительное выражение. А мы, строившие тут же «Д-31», самый мощный в мире мотор, перед которым хваленый «Д-30» был попросту отсталой машиной, мы проходили мимо них и думали: «Погодите, мы еще посмотрим, кто кого!»

Они засмеялись бы, если бы тогда им кто-нибудь сказал, что у них на глазах в этом как будто хаосе, в сплошном потоке брака, неудач, неразберихи идет сражение, битва моторов...

...В цехах обеденный перерыв в разное время. Как раз в те часы, когда конструкторский отдел уходил обедать, мне требовалось бывать в литейном, или в термическом, или в другом цехе, и я не успевал пообедать. В результате я почти не ел. Даже моя строгая жена ничего не могла со мной сделать. Часа в два, в три ночи

она кормила меня дома, а в семь часов мы уже вскакивали, выпивали молока и — на завод!

Несколько раз оставался на заводе спать, где-нибудь на столе или на стульях. Вначале я получал только взбучку от Валентины, но потом и от Родионова пришел приказ: если Бережкова увидят на заводе позже двенадцати часов ночи, выводить с милицией...

...Нельзя, чтобы бригаду на чужом заводе возглавлял такой фанатик, каким являлся я. В Москву докатился слух, что я, устремленный к цели, все разрушаю на своем пути. Прислали ко мне комиссара товарища К., как будто я был Чапаевым, к которому прикомандировали Фурманова. Сначала мы с ним жили мирно, а потом у нас стали происходить столкновения. Я не хотел ни с чем считаться и действительно, подобно бронебойному снаряду, все сокрушал перед собой. И мне уже казалось, что этот человек, который приехал помогать, задерживает постройку нашего «Д-31».

Я давал телеграммы Родионову: «Немедленно уберите К., он мешает мне работать». К. тоже писал: «Удалите Бережкова, а то мы не будем иметь ни его мотора, ни завода...»

...Все брак и брак. Для того чтобы сделать десяток хороших деталей, запускали их сотнями. Токарные цехи работали в три смены. День и ночь точили, и только десятая часть оказывалась годной. Мы тоже запускали сорок деталей, чтобы получить четыре.

Моя изящнейшая небывалая блочная головка никак не удавалась. Двадцать два раза отливали — все брак. Наконец одна хороша. Надо сверлить...

...Все говорят: «Нельзя сверлить, провалится металл», а я требую:

— Сверлите! На чертеже здесь дырка — значит, и сверлите эту дырку.

— Не дам. Это наша последняя головка.

— Сверлите. Я буду отвечать перед правительством.

— Не дам! Надо считаться с мнением опытных людей.

— Сверлите! Если провалится, тогда... Тогда, ладно, отстраняюсь. Вы будете командовать!

И вот при гробовом молчании мастер сверлит эту дырку. Около станка стояло человек пятнадцать. Я был уверен в нашем чертеже, и действительно, когда просверлили и продули эту дырку, алюминий не провалился.

— Вот видите! Я сейчас протелеграфирую Родионову, что вы мне не давали сверлить дырку...

...К сборке мотора нужно было во что бы то ни стало привлечь из Москвы двух инженеров, лучших экспериментаторов, лучших сборщиков, каких я знал. Мне их не давали. С огромным трудом мне все-таки удалось добиться их откомандирования в мое распоряжение. Сначала они меня просто возненавидели. Из теплой Москвы их притащили в эту адскую слякоть, в этот холод, поместили куда-то в барак, в общежитие, где еще не было водопровода и прочих так называемых «удобств». И вот, можете себе представить, год спустя величайшей гордостью этих людей было то, что из их рук вышел первый мощный советский мотор...

...Дмитрий Иванович каждый раз с величайшим вниманием выслушивал мои истерики. Другим словом я не могу назвать свое состояние, когда я в крайних случаях обращался к нему. У него была секретарша, которая всегда говорила:

— А, товарищ Бережков? Вы приехали с завода? Я сейчас пойду к Дмитрию Ивановичу и доложу.

Родионов без малейшей паники относился к тем вопиющим фактам, о которых я ему рассказывал. Он очень дружески похлопывал меня по плечу, всячески подбадривал и говорил, что вызовет к себе того, другого и даст все указания.

— А вы, Алексей Николаевич, спокойно поезжайте и работайте...

Я в ту же ночь обычно уезжал обратно на Волгу, а он вызывал, кого надо, и вообще все, что надо, устраивал.

34

Мы начали сборку одного блока. Моя конструкция, как вы знаете, была совершенно необычной. Неизвестно было, соберется ли она, придутся ли вплотную головка и цилиндр, не прорвется ли газ, как будет работать алюминий

уплотняющего кольца и т. д. и т. п. Словом, все это предстояло проверить при сборке и при испытании, первом испытании первого блока.

Вы понимаете, какими волнующими были те минуты, когда мы по чертежу, который недавно был всего-навсего фантазией, монтировали обточенный, весомый металл. Станут ли эти металлические части, алюминиевые, бронзовые, стальные, аккуратно разложенные около нас, механизмом, машиной, блоком мотора, первого советского мощного авиамотора? Заработает, зарокочет ли он? Ждешь только этого, думаешь только об этом...

Однако тогда же, в день испытания, у нас произошло еще одно большое событие.

Прежде всего вообразите обстановку. Вообразите ночной предрассветный час в механосборочном цехе, протянувшемся на полкилометра. Цех кажется пустынным, вечерняя смена ушла, утренняя выйдет не скоро. Вдаль, в какую-то туманную дымку, уходит линия сияющих больших электроламп. В цехе так много простора, высоты, куда едва достигает электрический свет, что бывает: взглянешь вдоль линии фонарей, и вдруг почудится, что ты на палубе, на океанском пароходе, прорезающем волны в ночной тишине.

С легким шорохом крутятся несколько станков, чуть жужжат электромоторы. Почти бесшумно работают наладчики, ремонтные слесари, электрики, готовя цех к утру. Идет проверка электроавтоматики. В высоте, на невидимой панели, вспыхивают, словно на мачте, сигнальные огни: желтый, фиолетовый, зеленый. И опять кажется, что ты двигаешься, несешься в пространстве.

В такой час весенней ночью мы монтировали наш блок, чтобы испытать его в тиши — без зрителей, без корреспондентов, без представителей из центра, постоянно наезжавших на завод. Нам, нашей группе, был отведен отдельный пролет цеха. Начальником пролета стал Андрей Никитин. К началу сборки у нас было все вычищено, вымыто, протерто до сияния. Матово поблескивали поверхности разметочных и сборочных плит. Два инженера, командированные из Москвы в мое распоряжение, о которых я уже упоминал, аккуратнейшие люди, лучшие сборщики страны, надели в цехе белые халаты — они признавали лишь одну эту спецодежду при работе с авиационными моторами. Некоторые члены нашей группы — Неделя

и другие — тоже получили в эту ночь белые халаты. Никитин организовал всю подготовку к сборке. И нашел время побриться, переодеться перед тем, как ночью прийти в цех. Он явился в лучшем праздничном костюме и не взял себе халата. Сосредоточенный, серьезный, бледноватый от скрытого волнения, он без суеты ходил по цеху от наших плит к станкам, где кое-что подтачивалось для нас по ходу сборки, без суеты распоряжался.

Мне оставалось только наблюдать. Но мог ли я сидеть без дела? Взобравшись на металлический помост, я свесился оттуда к мотору и помогал товарищам, вставляя в отверстия болты, мои анкерные стяжные болты, и наживляя гайки. Отверстия отлично сошлись, один за другим болты вставали на места.

В эту ночь, решив провести испытание до начала утренней смены, мы работали как-то особенно слаженно, четко, понимая друг друга с полуслова, а подчас и вовсе без слов. Каждый молча передавал другому нужные детали и инструменты. Увлекшись, я не замечал ничего кругом, видел только механизм, чудесно возникающий под нашими руками. И работал, работал... Глядя попрежнему только на мотор, я протянул руку за очередным болтом. Но почему-то мне никто его не подал. Я крикнул:

— В чем дело? Давайте...

Никакого ответа... Я осмотрелся. Невдалеке, в нашем пролете, стоял полноватый, высокий человек в распахнутой длинной шинели.

Хорошо, пусть себе стоит. Но возле него почти все наши сборщики. Вон без всякого дела стоят оба аккуратнейших, педантичных инженера в своих белых рабочих халатах. Черт возьми, бросили сборку! И Недоля и Валя — от них я этого никак не ожидал — тоже оставили работу и удрали туда. И еще кто-то там, рядом с военным, кажется корреспондент газеты «За индустриализацию», который уже не раз донимал меня. Вот ведь нашли время для расспросов! Не раздумывая, я закричал:

— Товарищ военный! Надо иметь все-таки совесть! Если вы уж пожаловали сюда, то не отвлекайте, по крайней мере, людей от работы.

В ответ на столь любезный оклик военный поднял голову. Представляете, это было всем знакомое по портретам лицо — немного свисающие густые усы, слегка трону-

тые сединой, орлиный нос, черные, как спелая вишня, глаза. Когда-то, в незабываемый день 1919 года, я видел эти усы, в то время еще черные, с острыми, как бы слегка закрученными концами, видел эти глаза — глаза члена Реввоенсовета 14-й армии. Сюда, в наш пролет, к нашим сборочным плитам, пришел народный комиссар тяжелой промышленности. Орджоникидзе, товарищ Серго, как его называли повсюду.

35

Едва успев опомниться, я заметил, что к группе, собравшейся вокруг Серго, идет Никитин, начальник нашего пролета. Походка была, как обычно, неторопливой, несколько развалистой. Он так же, как только что и я, еще не разглядел, не догадался, кто этот человек в шинели, оказавшийся глубокой ночью у наших сборочных плит. Я еле сдержался, чтобы не крикнуть Андрею: «Что же ты, друг, не видишь, что у нас за гость?!» Он все приближался и вдруг, будто на что-то натолкнувшись, приостановился. В этот миг он узнал наркома. Всегда немного тугодум, Никитин на минуту замер от неожиданности.

Затем, уже другой походкой, ставя ногу по-военному, он подошел к Орджоникидзе.

— Товарищ народный комиссар! Во вверенном мне пролете группа конструктора Бережкова, строящая отечественный мощный авиационный двигатель «Д-31», ведет сборку первого блока.

Серго слушал, отдавая честь. И все, кто окружал Орджоникидзе, тоже стали по-военному. Хочется передать вам эту картину. Ночь. Освещенный цех. Его просторы пустынны. Тихо. Нарком и Андрей Никитин стоят друг против друга. Вокруг, как группа бойцов, замерли сборщики. Валя тоже вытянулась, как и все, и не отрываясь смотрит на Серго. Недоля очень серьезен. На нем белый халат. Светлые волосы ничем не покрыты. Где я его видел таким? И внезапно вспомнилась другая ночь — ночь штурма Кронштадта. Там, на балтийском льду, тоже в белых халатах, только иного покроя, длинных, с капюшонами, мы стояли у аэросаней, прогревая моторы. И потом ринулись вперед... И сейчас она близка, такая же минута!

Выслушав рапорт, Орджоникидзе пожал Никитину руку. Никитин сказал:

— Разрешите продолжать работу?

Орджоникидзе кивнул.

— Товарищи, все по местам! — скомандовал Никитин.

36

Я соскочил с помоста и направился к наркому, намереваясь извиниться. Он увидел меня, сам шагнул навстречу, протянул руку, улыбнулся.

— Давненько не встречались... Годков, кажется, двенадцать?

Я пробормотал:

— Товарищ народный комиссар, извините, пожалуйста, меня... Прошу вас забыть мою неловкость.

— Нет, не забуду! — Под усами показалась улыбка.— Не забуду! — повторил он.— Если здесь так меня встречают, то... то, значит, уже есть дисциплина и порядок. А?

Он неожиданно взял меня под руку и пошел со мной по цеху.

— Ну как? Собралось?

Странно, он употребил наше, особенное, профессиональное словцо. Я не удержался и в ответ показал большой палец.

— Так точно, собралось, товарищ Серго.

Это обращение — «товарищ Серго» — как-то естественно вылетело у меня.

— Головка вплотную пришлась?

Я опять поразился. Откуда он знает все то, о чем больше всего беспокоился и я? Прохаживаясь со мной, Орджоникидзе задал еще несколько вопросов, свидетельствовавших, что он до тонкости знал все о нашем моторе и о нас, кто работал над этим мотором. Затем он спросил:

— А эти искусники что говорят? — Он показал на двух инженеров, посланных к нам из Москвы, и обменялся со мной улыбкой, давая понять, что ему известно, как я их сюда вытягивал.

— Сегодня у них настроение поднялось,— ответил я.— Домой, в Москву, уже не просятся...

— Ничего, если и поворчат... Так идите, работайте, товарищ Бережков. Когда предполагаете произвести запуск?

— Думаю, часа через полтора-два...
— Хорошо... До тех пор не буду вам мешать.
— Товарищ Серго, пожалуйста, сколько угодно.
— Нет... Но если вы не возражаете, я немного отвлеку товарища... Как его зовут? Командующего вашим пролетом.
Отпустив меня, нарком снял фуражку, посмотрел, как идет сборка, затем подозвал Никитина и пошел с ним по цеху.

37

Впоследствии мне довелось убедиться, что для Орджоникидзе отнюдь не было редкостью приехать вот так, без предупреждения, на завод и направиться прежде всего не к директору, не в кабинет, а прямо на производство, в цех или на стройку. Он любил взять под руку (так же, как подхватил, например, меня) того или другого инженера, или мастера, или рабочего и, прохаживаясь, разговаривать с ним полчаса-час, разузнавая, если можно так выразиться, из первых рук все, что его, наркома тяжелой промышленности, интересовало. Уже пожилой, грузноватый, он поднимался на самые верхние площадки металлургических печей, спускался в строительные котлованы, в колодцы, туннели, ходил и ходил вдоль и поперек по заводу, забирался в самые дальние углы, не стесняясь ни расстоянием, ни временем суток, ни погодой. И разговаривал, разговаривал, разговаривал с людьми. Слушал, доискивался, допытывался.
Поговорив с Никитиным, Серго покинул наш пролет. Мы продолжали сборку. Наконец уже на заре, когда посветлели окна и стеклянный фонарь крыши, была довернута последняя гайка.
Теперь оставалось лишь нажать стартер. Разумеется, мне нестерпимо хотелось сделать это самому, я уже подошел туда, оглядел всех, но вдруг увидел обращенное ко мне лицо Недоли.
И я произнес:
— Прошу всех отойти! Внимание! Недоля, запускай!
Ну, пойдет или не пойдет? Даст ли хоть одну вспышку? Или останется недвижим? Или... Эти мысли еще не успели промелькнуть, как вдруг мотор зарокотал. Он сразу принял газ и пошел, заговорил какими-то особенными,

мягкими, бархатными звуками. Мне казалось, что еще никогда я не слышал ничего более приятного, более мелодичного...

Мы застыли на местах и слушали. Чья-то рука мягко легла на мое плечо. Я встрепенулся. Рядом со мной стоял Орджоникидзе. Шинель была влажной: на дворе моросило. Фуражку он держал в руке. В черных волосах, все еще густых, непокорно вьющихся, виднелось несколько дождевых капель. Был мокрым от дождя и лоб.

— Теперь, надеюсь, не прогоните? — сказал он, наклоняясь к моему уху.

Я в восторге воскликнул:

— Товарищ Серго, слышите, какой бархатистый звук?!

И вдруг Серго расхохотался.

— Бархатистый? Да ведь он ревет как сто чертей!

Никитин пробасил:

— Товарищ Серго, это только один блок. А будет тысяча чертей!

Серго все еще не мог унять смеха.

— Бархатистый?! — повторял он.— Вот это творец мотора!

38

Через некоторое время блок был выключен. Моя бригада принялась разбирать, изучать части впервые запущенной машины. Мы знали: предстоит долгая доводка. В данном случае мы не задавались целью испытать мотор на длительность работы, а выясняли лишь коренной вопрос: станет ли действовать конструкция.

После опробования, которое, как вы знаете, было удачным, Орджоникидзе направился со мной в конторку, устроенную здесь же, в пролете, огороженную тонкой застекленной переборкой.

Тут произошел один, казалось бы, незначительный случай, о котором надо рассказать. Я вам уже говорил, что к моменту сборки мы навели блеск и чистоту в нашем пролете. Но и конторка выглядела празднично: это уже постаралась моя дотошная Валентина. Ей, выросшей в детском доме, ничего не стоило быстро протереть окна, обмахнуть пыль. На стенах висели новенькие плакаты. На письменном столе красовался прикрепленный кнопками большой лист зеленоватой бумаги, такой же, как в нашей

московской квартире. Признаться, поглощенный волнениями сборки, я ни разу не заглянул в мой обновленный кабинет и теперь с удовольствием видел, как там все преобразилось.

Орджоникидзе огляделся, подошел к стеклам перегородки, посмотрел сквозь них на наш производственный участок, где тоже все блестело, и сказал:

— Да, постепенно учимся порядку. Наводим чистоту. Что же, у вас, товарищ Бережков, есть специальный уполномоченный по этой части?

— Имеется. Сейчас, товарищ Серго, я вам его представлю.

Я раскрыл дверь и позвал Валю, мысленно благодаря ее за то, что она не посрамила нас перед наркомом. Не снимая шинели, Серго сел, жестом пригласил сесть и меня, положил на стол свою защитного цвета фуражку с красной звездой над козырьком и неожиданно нахмурился.

— А это что у вас?

Он указал пальцем на новенький настольный календарь, представлявший собой своего рода рекламный прейскурант немецкой машиностроительной фирмы «Демаг». На многие наши заводы, которые когда-либо покупали оборудование «Демага», фирма ежегодно посылала в качестве подарка подобные изящно отделанные календари. На своем столе я впервые видел эту вещицу и, признаться, не вдумываясь, отметил ее, как некое достижение в обстановке.

— Это? — сказал я.— Календарь...

— Вижу, что календарь... Но зачем вы его сюда поставили?

Я не знал, что ответить. В этот момент в конторку вошла Валя и остановилась в дверях. Серго, нахмурясь, листал календарь. Валентина, видимо, догадалась, о чем шел разговор, и покраснела, мгновенно поняв, что сделала что-то не так.

— Это я положила,— быстро сказала она.— Тут стоял другой календарь. Очень невзрачный... Знаете, «Светоч»? А мне хотелось как-то украсить стол. Вот я и спрятала «Светоч».

— А ну, покажите его,— попросил Серго.

Нагнувшись, Валя вынула из ящика хорошо знакомый мне календарь. Серго положил его перед собой и стал вни-

мательно рассматривать оба календаря. Посмотрел сверху и с изнанки, заинтересовался, как прикреплены листки к подставкам. Потом стал перелистывать немецкий календарь. На каждом листке была напечатана фотография той или иной машины, выпускаемой фирмой. Подписи он прочитывал вслух:

— «Подъемники Оттиса»... Сами теперь делаем... «Блуминги»... Делаем на Ижорском заводе... «Вагон-весы»... Сами выпускаем в Свердловске и в Одессе... «Экскаваторы»... В будущем году получим с Уралмаша.

Он перекидывал листки немецкого календаря, прочитывал названия машин и говорил: «Делаем, выпускаем, начинаем выпускать». Это производило огромнейшее впечатление. Шел 1932 год, последний год первой пятилетки, выполненной в четыре года, и мы, Советская страна, уже выпускали оборудование, которое раньше покупали в Германии, в Англии и в Америке.

Положив календарь «Демага», Серго взял «Светоч». Бумага была темнее, хуже; деревянная красная подставка отделана грубо. Он стал перелистывать и этот скромный календарь и прочитывать отмеченные там памятные даты.

— «Декрет о создании Красной Армии»,— произносил он.— «Расстрел адмирала Колчака»... «Выступление Владимира Ильича Ленина с броневика на Финляндском вокзале в Петрограде»... «Первый коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге»...

Наступила минута тишины. Серго молча смотрел на листок с красным числом: «7 ноября». Затем он стал читать, строчка за строчкой, все, что уместилось на этом листке:

— «Тысяча девятьсот семнадцатый. Великая Октябрьская социалистическая революция. Взятие Зимнего дворца революционными рабочими, солдатами и матросами Петрограда. Открытие Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего Советское правительство во главе с Владимиром Ильичем Лениным».

Ниже была указана еще одна дата: «1929. Статья И. В. Сталина «Год великого перелома». Серго прочел вслух и эту строку, взглянул на нас и проговорил:

— Мы еще посмотрим, какие страны... Помните, товарищи, как сказано в этой статье? «Мы еще посмотрим,

какие из стран можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые».

Держа в руках оба календаря, он усмехнулся.

— Ну вот... Мы-то все сумели сделать, чем они здесь хвалятся, а они далеко поотстали от нашего списка.

Он взглянул на Валю. Она, снова вспыхнув, сказала:

— Дайте мне этот прейскурант!

И сунула его в нижний ящик. Орджоникидзе продолжал уже шутливо:

— Ничего, у нас с вами тоже будут красивые календари. Раз уже блуминги научились делать, то с этим справимся.— Он протянул Вале «Светоч».— Поставьте-ка на стол нашему конструктору советский календарь. Как видите, стыдиться его нечего...

39

Затем Серго поговорил с Валей. В те времена он был озабочен проблемой культуры в цехах, во всей нашей молодой индустрии. Ему очень понравилось, как содержались станки и другие рабочие места в нашем пролете, и он интересовался всеми мелочами, имевшими к этому касательство, вплоть до конструкции индивидуальных шкафчиков, введенных нами. Впрочем, слово «интересовался» не вполне подходит к характеру Серго. Надо бы найти выражение посильнее. Он так близко принимал к сердцу каждое дело, которым занимался, что и тут хотел тотчас же опять пойти в пролет и рассмотреть эти шкафчики вблизи, но взглянул на меня и произнес:

— Как идет ваша работа? Чем вам помочь, чтобы мотор скорее был готов?

— Разрываемся, товарищ Серго. Надо прикомандировать к моей группе еще хотя бы трех-четырех сильных технологов.

Я откровенно и подробно обрисовал обстановку на заводе.

— Мы понимаем,— говорил я,— что в данный момент, когда коллектив завода буквально в муках осваивает новую технику и бьется над выполнением государственного плана, нельзя требовать, чтобы заводские работники уделяли внимание еще и нашему экспериментальному мотору...

— Нельзя требовать? — с сомнением переспросил Орджоникидзе.

— Не то чтобы нельзя... Мы требуем, даже скандалим. Но попросту заводу не до нас...

Тут я привел понравившееся мне сравнение нашей группы с жуком-древоточцем, протачивающим свои пути, но почувствовал, что наркому оно не пришлось по вкусу. Он промолчал, потом неожиданно спросил:

— С Никитиным вы ладите?

— Отлично ладим! Он моя первая опора.

— Позовите его.— Серго встал.— Пройду вместе с ним по всем этим каналам, которые вы тут прогрызли.

Мне показалось, что он произнес это сердито. Пожалуй, даже со сдержанным гневом.

— Товарищ Серго, ведь я...

Но, видимо, не на меня был обращен его гнев. Он не дал мне договорить.

— Творец мотора! — с улыбкой сказал он.— Другой бы, наверное, не прогрыз...

40

К десяти часам вечера я и Андрей Никитин были вызваны на совещание в вагон Орджоникидзе. Кущин проявил любезность — прислал нам машину. Вместе со мной уселась в автомобиль и Валя.

— Я вас провожу,— сказала она.— Подожду на станции, погуляю, дождусь конца совещания.

Совещание могло затянуться, но я не спорил, знал, что Валентина в одном схожа со мной — нетерпелива. Конечно, ей было бы трудно усидеть дома в такой час.

Минут за десять до назначенного срока мы с Андреем вошли в вагон наркома. Нас провели в поместительный, обставленный удобной мебелью салон. Орджоникидзе был одет по-летнему — в парусиновые брюки и такой же китель. Ветерок слегка колыхал занавески на открытых окнах.

Мы появились в ту минуту, когда Серго говорил по телефону. Жестом он пригласил нас сесть, а сам тем временем продолжал разговор. Вскоре стало понятно, что он говорит с Москвой, допытывается, задута ли

первая доменная печь Кузнецкого завода. Ответы были, очевидно, не вполне определенными, не удовлетворяли его.

— Выясните поточней, потом звоните мне,— распорядился он и положил трубку.

Затем обернулся к нам и со свойственной ему раскрытостью души признался:

— Иногда, товарищи техники, я завидую вам, дьявольски завидую. Задуть новую печь, запустить новый мотор, какое это заманчивое дело!

Андрей сказал:

— А революция, товарищ Серго, разве не заманчивое дело?

Я подхватил:

— Да, разве это не заманчиво: потрясти, изменить весь мир?

Серго наклонился ко мне, поднес к густым усам ладонь, словно собирался шепнуть на ухо, и произнес:

— Скажу по секрету: все-таки, товарищ Бережков, не поменялся бы с вами специальностями.

В дверь постучали. Вошел директор Волжского завода, тяжеловес Кущин, в новом добротном костюме, в начищенных ботинках, выбритый. Поздоровавшись с ним, Серго сказал:

— Почему бы, товарищ директор, вам каждый день не иметь такого вида? Глядишь, и завод стал бы почище.

Пришли еще несколько человек, вызванных Орджоникидзе. Часы на стене вагона начали отбивать десять. Последний удар еще не прозвучал, как в дверях, к моему крайнему удивлению, появился Новицкий в неизменных сапогах, в суконной, военного покроя гимнастерке, перехваченной широким ремнем.

— Новицкий,— представился он.— Согласно вашему разрешению, товарищ нарком, прибыл.

— А, лорд — хранитель государственного плана,— сказал Орджоникидзе.— Точен...

— Вылетел самолетом, товарищ нарком.

— Лорд — хранитель государственного плана,— повторил Орджоникидзе.— Плана, переплетенного в золоченую обложку. А неуемные таланты, черт бы их побрал, ломают все установления, нормы, не дают спокойно жить.

Очевидно, Орджоникидзе досконально знал о том, что произошло в институте.

Новицкий, стоя по-военному, держа руки по швам, произнес:

— Товарищ нарком, разрешите мне здесь, в присутствии товарища Бережкова, заявить: полностью признаю свою вину. Был момент или, верней сказать, период, когда я не понимал значения предложенного им мотора. Теперь весь институт будет повернут лицом к задаче создать в кратчайший срок первый мощный советский авиамотор.

— Сказано, словно по-писаному,— протянул Орджоникидзе.

— Глубоко продумал.

— Что же, если вина открыто признана, долой злобу из сердца. Товарищи, миритесь...

Новицкий повернулся ко мне:

— Алексей Николаевич, я был неправ. Поверьте, нелегко это сказать.

Заявление Новицкого тронуло меня.

— Павел Денисович, больше ни слова!

Он протянул мне руку.

— Алексей Николаевич, с нынешнего дня вместе будем драться за мотор!

— Мировую утверждаю,— сказал Орджоникидзе. Помолчав, он испытующе посмотрел на Новицкого.— А не настанет ли денек, когда один покаявшийся консерватор станет яростно защищать этот мотор от посягательств одного неуемного конструктора? Не скажет ли однажды Бережков: «Павел Денисович, это уже не годится, устарело, все переделаем по-новому...» — Обратив ко мне большие, блестящие, как спелая вишня, глаза, Серго добавил: — Дай бог, товарищ Бережков, чтобы когда-нибудь вы сами раньше всех это сказали.

Затем он открыл совещание.

— Давайте-ка, товарищи, подумаем, как нам скорей выпустить этот мотор. Он нужен нам до чертиков, как воздух, как вода. Иностранцы нам продали авиадвигатель, а у самих уже есть кое-что получше. В случае чего нас с этим их двигателем будут бить как миленьких. А мы не хотим быть битыми. Хотя товарищ Кущин, если судить по его делам...

— Товарищ Серго,— взмолился Кущин,— разве же я против?

— Теперь не найдется таких чудаков, которые сказа-

ли бы, что они против советского мотора. Теперь пошли другие речи: нельзя ли как-нибудь помедленнее взять шаг? Нельзя ли как-нибудь отодвинуть это дело? Кто ставит так вопрос, тот, по существу, способствует врагам социализма, врагам нашей страны, рассчитывающим, что в решающий час мы будем слабы.

Резко, без единого смягчающего слова это высказав, Орджоникидзе обратился ко мне:

— Изложите, пожалуйста, в чем вы нуждаетесь.

Я перечислил наши нужды и в заключение попросил усилить мою группу, командировать в мое распоряжение еще нескольких сильных работников.

Меня поддержал Новицкий:

— Мы выделим для товарища Бережкова нужных ему людей из состава института. Мобилизуем все наши резервы. Я прошу разрешить мне, товарищ нарком, самому выехать сюда с новой бригадой института, чтобы вместе с товарищем Бережковым добиться в кратчайший срок победы.

Орджоникидзе спросил:

— А что думает по этому поводу товарищ Никитин?

Андрей кратко сказал, что согласен с моими предложениями. Затем и Кущин заявил, что не возражает против усиления моей группы.

Орджоникидзе прищурился. Мне показалось, что я вижу хитрые огоньки в его глазах.

— Вот как? Пришли к одному мнению? А я, товарищи, намереваюсь поступить наоборот. Придется немного подсократить группу Бережкова, кое-кого у него забрать.

— У меня? Ни в коем случае!

— Лишь одного человека. Буду просить у вас товарища Никитина. Плохо ли будет, если он поработает здесь заместителем директора завода? Дадим подмогу Кущину. Чего, Кущин, молчишь? Думаешь, поведет свою линию? Поведет! Не будет относиться к советскому мотору, как к подкидышу. Прекратит эту позорную историю, когда группе Бережкова приходится чуть ли не контрабандой добывать детали для мотора... Твое мнение, Кущин? Может быть, возражаешь против такого заместителя?

— Не возражаю...

— А почему мрачен? «Не возражаю...» Не так, товарищ Кущин, надо разговаривать, когда речь идет о

важнейшем для партии, для Советской власти деле. Вот на Сталинградском тракторном я видел инженера, начальника механического цеха. В нем дьявольский запас энергии. Для него невозможного не существует. Это надо сделать? Сделаем! В какой срок? Сделаем! Трудности? Преодолеем! И делает, дает! Вот таких инженеров, таких директоров надо нам побольше... Товарищ Никитин, вы принимаете мое предложение? Возьметесь? Проведете нашу с вами линию?

Я не выдержал:

— Возьмется! Проведет!

В глазах и под усами, в уголках крупных губ Серго, мелькнула улыбка. Сразу яснее обозначилась ямочка на подбородке.

— А я опасался,— не без лукавства сказал он,— что товарищ Бережков действительно ни в коем случае не отдаст никого из своей группы. Ну, раз конструктор мотора благословляет, то...

Он взглянул на Никитина.

— Поработаю, товарищ нарком... Берусь.

— Вам, товарищ Никитин, придется посоревноваться с вашим братом... Его мотор тоже на подходе...

Я быстро спросил:

— Вы там, у него, были?

— Понаведался... Сейчас вы впереди на полголовы, но... Если зазеваетесь — обгонит.

Нарушая строй заседания, следуя, видимо, течению своих мыслей, Серго вдруг заговорил на другую тему:

— Сравниваю я вот двух конструкторов — Бережкова и Петра Никитина. До чего же разные!.. Один — вспышка, пламень, озарение, другой — методика, ровное напряжение, умение все предусмотреть. До чего разные таланты! И ведь оба большевики в технике. И не скажешь даже, который лучше.

Слушая, я предвкушал, как изложу все это своей Валентине. Талант... Большевик в технике... Физиономия, очевидно, выдала меня. Возможно, я даже порозовел от удовольствия. Во всяком случае, Серго тут же позаботился о том, чтобы я не слишком занесся.

— А ведь Петр Никитин лучше работает с людьми, товарищ Бережков, Лукин-то оказался у него превосходным работником.

— Лукин? — только и нашелся молвить я.

В памяти всплыл добродушный, рыхловатый блондин, старший конструктор АДВИ, с которым я не поладил с первых же дней работы у Шелеста. Этот тугодум раздражал меня своей, как мне казалось, вечной вялостью, медлительностью. Став главным конструктором, я порой, не выдержав, отбирал у него чертежи, чертил сам. И вот... У Петра Никитина, в его группе, он оказался хорошим работником, даже отличным, раз уж нарком так отзывается о нем. Придется и об этом рассказать Вале.

Меж тем Орджоникидзе повернулся к Новицкому,

— Как видите, усиливать группу Бережкова не придется.

— Считаю все же необходимым, товарищ нарком, принять личное участие в работе здесь, на месте.

— Если вы так рветесь потрудиться для мотора Бережкова, то для вас, возможно, найдется другое серьезное задание.

Орджоникидзе, к моему торжеству, заговорил о заводе, который, вероятно, придется строить для выпуска «Д-31». Он спросил Новицкого:

— Хотели бы вы строить этот завод?

— Почел бы долгом и честью для себя.

— Хорошо. Буду это помнить. Память у меня хорошая.

Затем совещание продолжалось. Серго обсудил с нами и решил еще несколько организационных и технических вопросов. Около полуночи ему позвонили из Москвы. Открытое, крупных очертаний лицо Орджоникидзе — человека, которому было уже под пятьдесят — живо, по-молодому передавало движение души.

— Значит, буду уже в пути, когда задуют? Шлите мне молнию по линии. Что? Не страшно, если разбудят...

Он рассмеялся в ответ на какую-то неслышную нам реплику и проговорил:

— Мечтаю, чтобы разбудили... Шутка ли, первая домна в Кузнецке!

Положив трубку, он сказал:

— Помните, какие были толки за границей по поводу Магнитки и Кузнецка? Предсказывали, что сядем в лужу... Оказывается-то, не мы садимся в лужу.

Затем он вернулся к обсуждению наших дел.

...После совещания Орджоникидзе вышел вместе с нами из вагона, надев шинель внакидку.

Сияла полная луна. Путевые будки, вагоны на запасных путях, столбики около скрещений отбрасывали четкие тени. Фонари у здания станции освещали перрон. Там было людно, вскоре ожидался поезд на Москву.

Где же Валя? Пересекая запасные пути, поглядывая по сторонам, я направился к станции. Бригада железнодорожников, расхаживающих с фонарями, готовила к отправлению длинный товарный состав. Я приостановился. Возле одного из вагонов можно было различить женскую фигурку в знакомой мне светлой косынке. Любопытно, что там делает моя Валентина?

Нагнувшись, она с таким вниманием наблюдала за работой смазчика, что не заметила, как я приблизился.

— Добрый вечер, дорогая жена,— не выдержал наконец я.

Валя выпрямилась, подозвала меня.

— Погляди, как работает. Глаз не оторвешь.

Смазчик меж тем перешел к другой оси. Фонарь висел у него на груди, руки были свободны. Быстро откинув крышку подшипника, он одним движением невидимого в полутьме крючка извлек черную, напитанную маслом паклю, прикрывавшую шейку оси, поднес к блеснувшему металлу масленку, снабженную, очевидно, каким-то особенным приспособлением, и почти мгновенно налил требуемую порцию масла, даже не капнув на утоптанную гальку. Он не обращал на нас внимания, не взглянул и на Серго, который подошел сюда же в накинутой на плечи шинели, подставляя обнаженную голову свежему ночному ветерку.

— Расчетливо действует, обдуманно, точно,— сказал Орджоникидзе.

— Я давно уже смотрю, товарищ Серго,— откликнулась Валя.

Смазчик обернулся. Мы увидели обросшее курчавой бородкой привлекательное круглое лицо. Худощавый, небольшого роста, он нас живо оглядел. Свет его фонаря задержался на фигуре Орджоникидзе.

— Разрешите продолжать, товарищ народный комиссар?

— Работаете вы, товарищ, замечательно. Приятно смотреть,— сказал Серго.

— Раньше мне не позволяли так работать. Мол, нарушаешь правила. А теперь доверили...

— Нарушаешь правила? — с интересом переспросил Серго.— Какие же это правила?

— Вы извините, товарищ Орджоникидзе, я сейчас разговаривать не могу. Я должен заканчивать.

— Заканчивайте, заканчивайте...

Смазчик пошел дальше, к следующей оси, а за ним, любуясь им, его сноровкой, следовал Орджоникидзе. Вот он снова обратился к смазчику:

— Скажите, вы не проехались бы со мной немного? Поговорили бы... Встречным вернетесь.

— А отпустят? — спросил смазчик.

— Попробуем нарушить правила,— улыбнулся Орджоникидзе.— Может быть, окажут нам доверие, разрешат.

Серго заметил на перроне дежурного в красной фуражке и направился к нему. Мы с Валей пошли вслед. Дежурный вытянулся перед наркомом.

— Через двадцать минут, товарищ народный комиссар, подойдет московский... К нему прицепим ваш вагон.

— Знаю... Я к вам, товарищ, по другому поводу. Можно попросить вас отпустить со мной вон того смазчика на несколько часов? Как он у вас? На каком счету?

— Хороший рабочий... Быстро обрабатывает составы.— По-видимому, желание наркома казалось дежурному удивительным.— Но ему, товарищ народный комиссар, следовало бы помыться, переодеться. Он все там у вас измажет.

— Ничего. В вагоне найдется умывальник. Да и переодеться, пожалуй, что-нибудь ему найдем.

Попрощавшись с Валей и со мной, Серго, сопровождаемый дежурным, снова пошел к смазчику.

Мы с Валей еще побродили у станции, потом по тропке, проложенной вдоль насыпи, зашагали домой. Валя озябла в своей вязаной кофточке, мы шли, прикрывшись одним пиджаком.

Близ выходного семафора, светившего зеленым глазком, нас обогнал московский поезд. Он не развил еще полного хода, мимо нас проплывали освещенные вагоны. Вот и последний вагон... Я сразу узнал занавеску,

которую раньше, когда окно было открыто, слегка колыхал ветер. Теперь оконная рама была подпята. Две тени смутно вырисовывались на занавеске. Был различим профиль Серго, подавшегося к сидевшему напротив собеседнику, лицо которого охватывала короткая курчавая бородка.

— Смазчик! — в один голос произнесли мы.

Поезд прогрохотал. Мы стояли в тишине под открытым небом.

— Калло! — вдруг сказала Валя.

— Тебе тоже пришла на ум эта легенда? — удивился я.

— Да... Помнишь, ты мне рассказывал про Любарского, как он расписывал старый мир. Калло-де возможны только там, а у нас царство стандарта.

Валя смотрела вслед исчезнувшему поезду, стояла, уткнувшись подбородком в мое плечо.

— Серго с этим смазчиком так же, как с тобой? Верно? Он везде ищет талантливых людей, нарушителей шаблона.

У меня вылетело:

— Не то что Новицкий.

— И сравнивать не смей! Я и сегодня не верю ему!

По-прежнему прикрывшись одним пиджаком, мы пошли дальше под сверкающими весенними звездами.

Постройка мотора и, главное, доводка его заняли еще приблизительно полгода. Наконец ранней зимой 1932 года, по первому снежку, мотор погрузили и повезли в Москву на государственное испытание. На заводе он был уже испытан, непрерывно проработал семьдесят пять часов. Это была новая, повышенная государственная норма.

42

— А затем,— сказал Бережков,— я опишу вам, мой друг, одну ночь, последнюю ночь государственного испытания «Д-31».

Я провел эту ночь дома. Перед этим больше двух суток я не спал и никуда не мог уйти от стенда, на котором происходило испытание,— то где-то сидел, то бродил, шатался без дела, ибо на государственном испыта-

нии конструктору уже не разрешено ни во что вмешиваться.

«Д-31» уже миновал заветную когда-то зарубку — пятьдесят часов непрерывной работы на разных режимах. Но теперь была новая норма — семьдесят пять! Еще сутки должен был крутиться мой мотор. На пятьдесят девятом часу испытаний приехал Родионов, увидел меня, почти оглохшего от страшного воя, с каким-то одеревеневшим, как я сам это чувствовал, от бессонницы лицом, и распорядился немедленно посадить меня в машину, отправить домой спать.

Помнится, было девять или десять часов вечера. Дома мне приготовили ванну, накормили, уложили, но я не мог заснуть. Рядом сидела Валя, мы тихо разговаривали. Форточка была открыта. И сквозь все шумы Москвы — дребезжание трамваев, стрекот и гудки автомобилей, звуки шагов под окном, то быстрых, молодых, то шаркающих, невнятные обрывки разговоров, иногда чей-то возглас, смех,— сквозь все это я различал далекую-далекую ноту мотора.

— Валя, слышишь? Дали форсаж...

Она улыбалась.

— Это Маша возится с примусом... Спи...

— Нет, примус само собой... Слушай, слушай... Гудит, как шелковая ниточка.

Она уступала, как ребенку:

— Конечно, гудит... Засыпай...

Пожалуй, никто, кроме меня, не смог бы в городском шуме уловить ее, эту тончайшую ниточку звука, простите, не подберу другого выражения. Вот мотор отлично выдержал форсаж. Сбавлена сотня оборотов. Хорошо, очень хорошо работает... Ровно вибрирует в воздухе Москвы струна, которую слышу только я.

И я уснул. Спокойно, глубоко, без сновидений. Уснул, как утонул. И вдруг меня словно подбросило. Я в темноте вскочил. В первый момент не понял, что случилось; лишь душу томило ощущение какого-то страшного несчастья. Форточка по-прежнему была открыта. Под окном слышались скребущие звуки железа: скребком или лопатой дворник счищал с асфальта снег. Прошел трамвай. Ага, уже светает. Москва просыпается. Но что же случилось? Какое несчастье? Почему так ноет сердце? Боже, а мотор?

Я кинулся к форточке. Вчера вечером ничто, даже шипение примуса, не помешало мне воспринимать далекий звук мотора, единственную волну, на которую я весь, всеми кончиками нервов, был настроен, а сейчас в тихой предутренней Москве ухо уже не улавливало этой ноты. Нет, не может быть! Я снова вслушивался. Высунулся в форточку. Напрасно. Ниточка оборвалась. Мотор замолк. Это был... Где мои часы? Это был шестьдесят седьмой час испытания. Значит, мотор не дотянул восьми часов.

Не помню, как я оделся, выбежал, как нашел где-то такси или просто какую-то проходящую машину и полетел на завод, где происходило испытание. Всюду лежал свежий, выпавший за ночь снег. Выдалось очень тихое, безветренное утро. В рассветной полумгле было заметно, как дым из труб столбами поднимался в бледнеющее небо, на котором еще не погасли последние две-три звезды.

Безветренное... Черт побери! А ведь вчера был ветер! И Валя сказала — да, да, это внезапно припомнилось с невероятной ясностью,— сказала: «Прикройся. Ветер прямо в форточку...» Да, был ветер в нашу сторону. Так, значит...

Я с размаху стукнул шофера по колену.

— Стой!

Он удивленно взглянул.

— Подождите. Сейчас проедем площадь.

— Стой! — закричал я.

Он затормозил. Я открыл дверцу, выскочил. Это были Красные ворота. Отсюда до места испытаний на несколько километров ближе, чем от моей форточки. Я стоял на асфальте, на пути машин, как столб. Да, так и есть! В утреннем безветрии я опять уловил ее, тончайшую нить звука. Мотор жил, мотор гудел. И ничего другого я не слышал.

Опомнился от свистка милиционера. Он подошел почти вплотную и свистел мне чуть ли не над ухом. Я стал извиняться. Не знаю, наверное, в этот момент у меня была бессмысленно счастливая улыбка. Строгий постовой покачал головой и вдруг тоже улыбнулся. Он хотел провести меня на тротуар. Но я сам прошагал туда.

В ушах — нет, не в ушах, а будто во всем теле или, вернее сказать, в душе,— звучала далекая ровная нота

мотора. Я шагал к Лефортову. Это восточная часть Москвы. И вдруг где-то на Басманной, прямо перед собой я увидел солнце — большое, пламенеющее, чуть поднявшееся над горизонтом. На пустынной улице, где в этот час еще почти не было прохожих, я протянул к нему руки.

Шесть часов спустя закончилось государственное испытание. Правительственная комиссия приняла «Д-31». Наконец наша страна имела свой мощный авиационный мотор, самый мощный мотор в мире.

43

— Следующая, еще более нравоучительная эпопея,— продолжал Бережков,— это первые шаги мотора «Д-31» в серийном производстве. Оказалось, что борьба, которую я вам описал, все достижения, самые блестящие результаты государственного испытания — все это почти ничто в сравнении с трудностями серийного выпуска мощного авиационного двигателя, не имевшего за собой базы естественноисторического плавного развития.

Но это войдет уже в новый роман, который, может быть, мы с вами когда-нибудь еще напишем.

А пока расскажу еще об одной встрече с Орджоникидзе. Это было уже после трагической гибели Дмитрия Ивановича Родионова, после авиационной катастрофы, которая так потрясла всех нас...

Итак, шла осень 1935 года. В институте авиационных двигателей, где я по-прежнему был главным конструктором, заканчивался рабочий день. И вдруг звонок из секретариата народного комиссара тяжелой промышленности. Что такое? Оказывается, я срочно понадобился Орджоникидзе. Пока машина мчала меня до площади Ногина, я, глядя сквозь залитое струями дождя стекло, прикидывал, о чем сейчас со мной будет говорить нарком. Выходило, что разговор пойдет о моторе «Д-31».

Для производства этого мотора был сооружен новый огромный завод. Туда в качестве начальника строительства был переведен, или, как говорится, переброшен, Новицкий. Он сумел там проявить, надо отдать ему должное, свои сильные качества и был после пуска назначен директором завода.

И вот проходит 1933 год, 1934-й, 1935-й, завод работает, там выпускается моя конструкция, наш отечественный мощный авиационный мотор, а ко мне это словно не имеет никакого отношения. На завод меня не приглашают, не зовут. Оставшись в институте АДВИ, уже неузнаваемо разросшемся, получившем собственную прекрасную экспериментально-производственную базу, я, конечно, наряду с прочими делами занимался время от времени и мотором «Д-31», исследовал, изучал его — теперь уже в том виде, как он сходил с заводского конвейера: образцы одного года, второго года, третьего.

Да, мотор выпускался, выпускался в точности таким же, каким когда-то мы его сдали на государственное испытание. Сначала это радовало, потом стало тревожить, потом... Не буду, однако, описывать своих переживаний. Изложу существо вопроса. Дело в том, что мотор почти не совершенствовался. Его мощность не возрастала. А в технике беспощадные законы. Сегодня ваш мотор самый передовой, самый мощный в мире, а через год-два, если вы не сумели еще повысить его мощность, или, как мы говорим, «форсировать», он неизбежно, неотвратимо становится отсталым, нежизнеспособным, оттесняется в мировом соревновании. Не мог дальше развиваться и новый скоростной большой самолет Ладошникова, оснащенный нашим мотором.

Я все с большей тревогой рассматривал очередные экземпляры «Д-31», прибывающие в институт,— того самого, точь-в-точь такого же «Д-31» , над которым еще столь недавно я так восторженно работал.

Не буду описывать и моих попыток вмешаться в заводские дела, всяких моих предложений, с которыми я обращался на завод. Новицкий сухо отстранял, оттирал меня.

— Я отчитываюсь перед правительством,— заявлял он,— а не перед вами. И о заводе можете не беспокоиться. Вас это совершенно не касается.

— Как «не касается»? Ведь это же мой мотор!

— Ваш? Извините, у нас нет частной собственности на моторы.

И проходили, как я сказал, годы, а завод так и не давал стране форсированных, то есть с повышенной мощностью, моторов «Д-31».

Что делать? В мыслях не раз представал Родионов таким, как он мне запечатлелся,— со свойственной ему прямизной во всем: в деле, в слове, даже в очертании внешности. Вы знаете, кем он для меня был.

Завод, где выпускался «Д-31», назвали именем Родионова, но к самому Дмитрию Ивановичу я уже пойти не мог...

Давний друг Андрей Никитин был далеко; он до сей поры работает на Волжском заводе. Иногда думалось, что надо бы обратиться прямо к Орджоникидзе.

И вот он сам вызывает меня.

44

Позже я узнал, как это случилось. Оказывается, в тот день Орджоникидзе созвал у себя руководящих работников завода имени Родионова. Мне не было ничего известно об этом совещании. Между тем в кабинете наркома происходило следующее. Серго поставил вопрос в упор: «Почему завод не дает форсированных моторов? Почему «Д-31» мало-помалу становится отсталым мотором?» И стал выслушивать объяснения, вникая, по своему обыкновению, во все мелочи, добираясь до корня беды. Объяснения, конечно, приводились всякие. Говорилось, что на заводе слабы испытательные лаборатории, что следовало бы повысить класс точности в обработке ответственных деталей, что некоторые цехи надо дополнительно оснастить оборудованием. Ссылались и на конструкцию: она-де по своему характеру крайне трудно поддается форсировке, мотор ломается при всякой попытке повысить его мощность.

Тут Серго, как мне передавали, спросил:

— Позвольте, а где же конструктор мотора?

Директор завода — известный вам Павел Денисович Новицкий — ответил, что мотор создавался общими усилиями, что конструктором является, по существу, коллектив — в свое время коллектив АДВИ, а ныне конструкторское бюро завода.

— А я помню,— сказал Орджоникидзе,— что встречался с автором мотора Бережковым. Почему он не присутствует на совещании?

Новицкий объяснил, что Бережков-де на заводе не работает, а служит в АДВИ, в Москве. Тогда-то Орджо-

никидзе и распорядился немедленно вызвать меня на совещание.

Как только я приехал, мне тотчас, без малейшей проволочки, предложили войти в кабинет наркома. Там в эту минуту говорил Новицкий. Глядя в блокнот, он приводил какие-то цифры. Неподалеку, держа наготове, или, может быть, лучше сказать, наизготовку, раскрытую пухлую папку, сидел Подрайский, его заместитель. Все в этом толстяке было в отличном состоянии: костюм, бархатистые седые усы, розовый цвет лица. «Непотопляемый! — мелькнуло у меня.— Непотопляемый, как вездеход-амфибия». Подрайский дружески кивнул мне. Новицкий продолжал невозмутимо докладывать. Однако Орджоникидзе жестом остановил его. Поздоровавшись со мной, нарком строго спросил:

— Товарищ Бережков, кто является творцом мотора «Д-31»?

Меня поразила эта неожиданная строгость его тона. Не задумываясь, я ответил, как привык отвечать всегда:

— Творцом мотора является создавший его коллектив.

— Но кто же автор? Автор конструкции, несущий за нее ответственность? От этого вы не отказываетесь?

— Нет, товарищ Орджоникидзе.

— Можете ли вы объяснить, почему не возрастает мощность вашего мотора?

— Могу. Потому, что над ним неправильно работают.

— В чем же заключается неправильность?

— В том, товарищ Орджоникидзе, что нет единой конструкторской мысли в деле усовершенствования этого мотора. На заводе сменилось три главных конструктора. Каждый что хочет, то и делает. Нет единой воли. Организованного и направленного конструкторского творчества на заводе нет.

— И вас это совершенно не мучило?

— Мучило...

— Почему же вы, конструктор, не проявили энергии в борьбе за развитие вашего мотора? Оказывается, над вашей машиной по-всякому мудрили, губили ее будущее, а вы терпели.

— Товарищ Орджоникидзе, я написал много заявлений.

— Вас это не оправдывает. Что вы, не могли прийти

ко мне? Кто мог вас остановить, когда дело шло о жизни или смерти вашего творения? Кто же будет заботиться о вашем детище, следить за каждым его шагом, если вы, создатель машины, молчите?

Мне нечего было отвечать, я не оправдывался. Серго продолжал мягче:

— Скажите, товарищ Бережков, вы смогли бы форсировать мотор?

— Да. Я глубочайше уверен, что если я сконструировал мотор, то мог бы его и форсировать.

— И вы взялись бы?

— Еще бы... В любую минуту готов.

Серго посмотрел на Новицкого.

— Не понимаю, товарищ Новицкий, почему вы все-таки не привлекли Бережкова к работе на заводе?

Лицо Новицкого казалось красным: на нем проступили мелкие склеротические жилочки. Под глазами набрякли мешки. Он твердо ответил:

— У меня, товарищ нарком, на этот счет были свои соображения.

— Выкладывайте их...

— Товарищ нарком, мне нужен на заводе сплоченный, здоровый коллектив. Мы, долго работавшие бок о бок с Бережковым, знаем его замашки. Он недисциплинирован, нередко ведет себя, как индивидуалист, как анархист, может разложить любой коллектив. Разумнее было обойтись без его услуг.

— Разумнее? Может быть, спокойнее?

Серго произнес это побагровев, вспылив. Он с грохотом отодвинул стул, поднялся, бросил карандаш, который полетел на пол, и, тяжело дыша, добавил:

— Воображаю, как чувствовал бы себя Бережков, работая у такого руководителя.

Выразительнее всего в лице Серго были глаза. Существует выражение: глаза метали молнии. Там, в кабинете, глядя на охваченного гневом Серго, я воочию увидел, что это не только пишется в книгах. Сдержав себя, он стал прохаживаться вдоль своего стола.

— Что же, товарищи,— наконец заговорил он,— будем подводить итоги. Мы разобрали серьезнейший, весьма поучительный случай.— Взгляд Орджоникидзе остановился на мне.— Товарищ Бережков сконструировал, изобрел, довел машину. Спрашивается: кто является хо-

зяином, отцом этой машины? Вы, товарищ Бережков, ее отец. А вместо вас воевать за ваше детище приходится мне. Не правильнее ли взять и назвать мотор вашим именем? То есть именовать его не «Д-31», а «Алексей Бережков-31». Тогда всем будет понятно, кто является хозяином машины. Тогда и вы, товарищ Бережков, почувствуете свою ответственность.

Затем Орджоникидзе предложил принять решение: официально обратиться к правительству с просьбой о переименовании мотора.

— Может быть, кто-нибудь желает возразить?

Нет, возражающих не было.

— Главным конструктором завода,— продолжал Серго,— должен быть тот, кто является автором мотора... Товарищ Новицкий! Обязуетесь ли вы создать вашему новому главному конструктору необходимые условия для работы?

Теперь Новицкий заговорил по-иному:

— Разумеется. Все условия будут созданы.

— Смотрите... Верю вам в последний раз.

Вместо эпилога

Истекло два десятилетия. Самолеты Ладошникова, моторы Бережкова хорошо поработали в годы великой войны. В мирные дни страна узнала и имя Ганьшина: величайший скептик среди математиков дал в развитие трудов Жуковского теорию и расчет реактивного двигателя.

Как-то отнесутся они, столь маститые, прославленные работяги, ставшие уже старшим поколением авиации, к этой книге об их молодости?

Взяв с собой рукопись романа, я поехал к Бережкову. В прихожей меня встретила Валя, то есть, разумеется, Валентина Дмитриевна. Лицо ее, подсушенное временем, было, как всегда, приветливо. Однако она насторожилась, когда я протянул ей две объемистые папки, на каждой из которых было выведено: «Талант. (Жизнь Бережкова)».

— Что ж это? Еще один портрет?

— Разве такие работы уже были? Про Алексея Николаевича? — не без некоторого беспокойства спросил я.

— Бывали...— неопределенно ответила хозяйка дома.

Вместе со мной Валентина Дмитриевна прошла в просторную комнату с большим роялем. У рояля, перебирая клавиши, сидела худенькая девица, возможно, уже студентка. Валентина Дмитриевна представила ее:

— Наша старшая...

Тем временем в комнату вошел Бережков. Ого, он располнел, мой герой! Прихрамывающая походка стала грузноватой.

Я указал на папки, которые положил на круглый полированный стол.

— Алексей Николаевич, читайте... Требуется ваша виза.

Бережков почему-то помедлил, покосился на жену и дочь, потом все же развязал тесемки на одной из папок, раскрыл наудачу рукопись. Небольшие зеленоватые глазки побежали по случайно открывшемуся тексту. В какое-то мгновение проступила, заиграла прежняя плутовская улыбка. Рассмеявшись, Бережков начал читать вслух. Я выслушал знакомый диалог:

«— А на аэродром мне с вами нельзя, Алексей Николаевич?

— Нельзя.

— Секрет?

— Да... Тссс... Ни звука...»

В этом месте Бережков оборвал чтение. Что-то он скажет? Он, однако, молчал. Вновь покосившись на близких, он аккуратно сложил потревоженные листы рукописи, завязал папку.

— Не буду читать!

— Алексей Николаевич, почему же?

— Зарекся... Обещал Ладошникову, да и вот этим строгим девочкам,— Бережков посмотрел на жену и дочь,— никогда не давать заключений по поводу моих портретов... Есть, знаете ли, один роковой закон.

— Роковой? Какой же?

В глазах Бережкова мелькнули юмористические искорки. Подняв, как и в давние времена, указательный палец, он прошептал:

— Тссс... Ни звука... Секрет...

Виза все же требовалась. Пришлось обратиться к Ладошникову. Так, волей судьбы, рукопись романа, а вместе с ней и автор пропутешествовали в Ленинград.

Квартира Ладошникова, пережившая войну, ленинградскую блокаду, показалась мне отнюдь не столь величавой, как я сам расписал ее в романе со слов Бережкова.

Хозяйка вышла ко мне в прихожую приодетой, тщательно причесанной. Впрочем, по описаниям Бережкова, я помнил ее темноволосой, теперь строгая прическа была сплошь белой, серебристой.

Голова Ладошникова — выражаясь точнее, голова академика Ладошникова — тоже стала седой. Лишь лохматые брови устояли, не поддались времени, остались сивыми.

Худощавый, немного сутулящийся, Михаил Михайлович что-то буркнул о переменах, происшедших в моей внешности, и усадил на диван, куда я положил и папки с рукописью. Естественно, я рассказал про недавнюю встречу с Бережковым, про его загадочную фразу относительно «рокового закона».

Ладошников усмехнулся.

— Секрета в этом нет...

И поведал следующую историю.

Как-то после войны один известный московский художник выразил желание написать портрет Бережкова. Тот, польщенный, согласился. Поначалу это было тайной от жены и друзей. Лишь впоследствии близкие установили, что перед сеансами Бережков каждый раз прибегал к услугам парикмахера, выезжал в мастерскую художника тщательно выбритый, в парадном, подбитом ватой генеральском мундире, при всех звездах, орденах и медалях. Дознавшись, Валентина Дмитриевна попробовала вмешаться, но Бережков объявил:

— Художник на правильном пути. Я сам руковожу его работой.

За несколько дней до открытия выставки, где среди прочих полотен должен был экспонироваться и портрет Бережкова, он повез своих близких полюбоваться законченным произведением. Случайно в Москве находился Ладошников. Бережков пригласил и его.

Наш герой был изображен во весь рост. Золотые пуговицы, погоны были выписаны с завидным мастерством. На зрителя смотрели красивые голубые глаза.

— Ну как? Что скажете? — допытывался, волнуясь, Бережков, будто он сам был автором картины.

Собравшиеся отмалчивались. Ладошников сказал:

— Поедем-ка к тебе. Потолкуем за стаканом чаю.

У Бережковых Ладошников сразу прошагал в кабинет хозяина, прошелся взглядом по книжным шкафам.

— Где-то здесь я видел книгу «Мастера искусства об искусстве».

— По-моему, была,— неуверенно сказал Бережков.— Да, помнится, я покупал когда-то.

— И прочел?

— А как же?! — не сморгнув, ответствовал Бережков.

Книга была общими усилиями отыскана. Ладошников полистал ее, открыл «Мысли об искусстве» знаменитого французского скульптора Родена, отчеркнул несколько абзацев, подал Бережкову. Тому пришлось проглотить горькую пилюлю. Читатель, надеюсь, не посетует, если мы приведем эти абзацы, мысли Родена, отмеченные рукой Ладошникова. Вот они:

«По какому-то непонятному и роковому закону заказывающий свой портрет всеми силами противодействует таланту художника, которого сам же выбрал.

Человек очень редко видит себя таким, каким он есть, а если даже и знает себя, то неприятно поражен, когда художник передает его наружность правдиво.

Он желает быть представлен в самом безличном и банальном виде официальной или светской куклы. Его личность должна быть совершенно поглощена его должностью и положением в свете. Прокурору интересна только его тога, а генералу — расшитый золотом мундир.

...Чем напыщеннее портрет или бюст, чем он более похож на безжизненную деревянную куклу, тем больше он удовлетворяет клиента».

— Я бы на твоем месте не появлялся в залах выставки, пока там будет красоваться твой портрет,— посоветовал Ладошников.

В итоге разговора, участницами которого явились и две «строгие девочки» — жена и старшая дочь Бережкова,— наш герой дал слово своему другу никогда больше не быть приемщиком собственных портретов.

Ладошников согласился прочесть рукопись. Несколько дней спустя я вновь побывал у него. Роман был уже прочитан.

Михаил Михайлович начал свой отзыв так:

— Оказывается, в вашем деле тоже бывают удивительные случаи.

Отвечая на немой вопрос, выразившийся на моем лице, он пояснил:

— Бережков нафантазировал, вы нафантазировали, а в результате...

Я подхватил, уловив одобрение в его тоне:

— Минус на минус дает плюс?

— Некоторые минусы все же остались... Но вы, пожалуй, от них не избавитесь. Они в натуре вашего рассказчика. Уж очень красочно наш уважаемый Бережков расписывает минуты своих озарений... Впрочем, писателю указывать не берусь.

Но я настоял, чтобы Ладошников высказался.

— В качестве своего героя вы взяли безусловно талантливого человека,— продолжал Ладошников.— Но особенности его таланта вовсе не являются наиболее характерными или самыми распространенными. На вашем месте я бы это подчеркнул. Бережков лишь один из многих, не похожих друг на друга по стилю работы конструкторов. Кроме того, нам-то всем это хорошо известно, он слишком любит распространяться о себе. И порой забывает о своих помощниках, товарищах, о коллективе, главой, душой которого является автор-конструктор.

— А вы, Михаил Михайлович, по-иному изложили бы все эти вопросы творчества?

— Я? Несомненно. Да и всякий иной из наших конструкторов тоже изложил бы по-своему. Но это была бы уже другая книга.

— Другая книга?

— Да. И такая же толстая.

— Михаил Михайлович, может быть, мы с вами возьмемся за нее?!

— Что ж, пожалуй, дело стоящее...

Друг читатель, могу тебе сообщить: беседы с Ладошниковым начаты. Хочется после «Жизни Бережкова» дать еще одну книгу о конструкторе — конструкторе совсем иного склада.

1940—1956

Комментарии

Талант (Жизнь Бережкова)

Впервые — «Новый мир», 1956, №№ 1—5 под названием «Жизнь Бережкова». Первоначально роман носил название «Талант», но вышел в свет и был переиздан как «Жизнь Бережкова». В последнем прижизненном издании (М., «Художественная литература», 1969) автор вернулся к прежнему названию.

«Происхождение романа таково,— писал Бек.— Военное издательство замыслило выпустить большую книгу в память погибшего в трагической аварии Петра Ионовича Баранова (прототип одного из персонажей «Таланта» — Дмитрия Ивановича Родионова.— *Т. Б.*), в прошлом в течение многих лет начальника Советских Военно-Воздушных Сил, а затем руководителя авиационной промышленности нашей страны. Дело ставилось по образцу горьковского «кабинета». Были привлечены «беседчики». Среди них вновь оказался и я. В ту пору были только что совершены исторические перелеты на Северный полюс и в Америку. Мне поручили повстречаться с создателями самолетов и моторов, производственниками и конструкторами... В итоге этих встреч в воображении возник еще неотчетливый, невыкристаллизовавшийся образ героя книги...» (См. подробнее «Страницы жизни» — т. I наст. издания, с. 42).

В 1940 году Бек приступил к непосредственной работе над «Талантом», которая была прервана войной. Уходя на фронт, писатель спрятал рукопись незавершенного романа и около двадцати блокнотов записей бесед, к нему относящихся, под лестницей дачного дома, где он работал до войны. Эти материалы в 1942 году сгорели. Уцелели лишь один из блокнотов и несколько листков рукописи. Сохранилось и начало романа, находившееся в другом месте.

После окончания войны, в 1945 году, Бек вернулся к систематической работе над романом. Во вступлении к одному из его чер-

новых вариантов писатель рассказывает: «По уцелевшим листкам, этим своего рода обломкам, а также по памяти я долго восстанавливал погибшую рукопись. Порой приходилось вновь беспокоить тех, у кого я когда-то черпал материалы для книги... Набрасывая страницу за страницей, чтобы заполнить этой новой кладкой огромные проломы в рукописи, я порой сам удивлялся: получалось не по-прежнему. Мой герой уже как бы не слушался меня; не считался с принятым мною решением; разговаривал, действовал уже как бы помимо моей воли...» (Архив Бека).

В 1948 году роман был завершен и сдан в редакцию журнала «Новый мир». Высоко оценив его достоинства, редколлегия, возглавляемая в то время К. М. Симоновым, предложила, однако, план для переработки романа, в целом принятый автором.

Сохранив прежнюю композиционную структуру «Таланта», писатель создал ряд новых сцен и эпизодов (штурм Кронштадта, линия «строгой девочки» и пр.), сократил рассказ о блужданиях героя во времена нэпа, значительно расширил роль Н. Е. Жуковского, показал участие коллектива в создании мотора, ввел образ конструктора Ладошникова. «Дать атмосферу созидания, творчества, романтики, раскрепощения сил России, вдохновляющую молодого конструктора, героя романа...» — так определил Бек коренную задачу переработки романа в письме к А. Т. Твардовскому, в 1950 году пришедшему на пост главного редактора «Нового мира» (там же).

В 1951 году, в процессе пересоздания образа Соловьева,— такова была фамилия главного героя «Таланта», впоследствии Бережкова,— Бек записывает в дневнике: «...Вчера мне подумалось: в старом, прежнем «Таланте» я как бы сфотографировал... представителя, выразителя «нового поколения». Конечно, оно частью таково. Но это не торжествующий тип. Не должен быть торжествующим. И я гораздо лучше покажу время, эпоху, если дам нового Соловьева,— если покажу, как время его изменяет. И роман станет также средством такого изменения. Хочется сохранить колорит Соловьева,— его остроумие, легкомыслие, «искристость» (там же).

Не меньшее место в размышлениях автора над новой концепцией романа занимал образ Ладошникова, введенный в повествование как принципиально иной тип конструктора, цельный и бескомпромиссный (не случайно в одной из записей к «Таланту» Бек сравнивает Ладошникова с инженером Макарычевым, героем своих первых произведений о доменщиках). «Новое действующее лицо — конструктор самолетов, на два-три года старше Соловьева... Этот человек должен играть такую роль в романе, чтобы название «Талант» могло бы относиться и к нему...» — писал Бек в тетради

1951 года, озаглавленной им «Заметки к переработке романа «Талант» (там же). В дневнике того же года читаем: «Исключительно важна линия Ладошникова. Его задавил старый режим, ему открыл новый — простор для творчества... Надо, чтобы читатель почувствовал, пережил это. Рисовать Ладошникова, все время рисовать Ладошникова (у Жуковского, далее под Кронштадтом). Выражать идею произведения (новую идею)...» (там же).

Формулировка этой «новой идеи» романа, вложенная автором в уста Н. Е. Жуковского, пришла к писателю после выступления А. Твардовского на юбилейном вечере А. Фадеева.

«Приведя последние слова из «Разгрома» «Надо было жить и исполнять свои обязанности»,— записывает Бек в дневнике 25 декабря 1951 года,— Твардовский сказал, что талант — это обязанность. Человек, получивший дар из духовной сокровищницы народа, обязан отдать народу этот дар. ...И вместе с тем,— продолжал Тв[ардовский],— талант — это глубокая страстная личная потребность высказаться, отдать народу то, чем ты владеешь.

В его формуле «талант — это обязанность» дано преодоление индивидуализма, индивидуалистической трактовки таланта.

Эту мысль положу в основу моего «Таланта». Она очень плодотворна. Носителем этой мысли будет Ладошников, а потом и сам Соловьев. Вообще, весь роман будет подводить к этому» (там же).

По выходе в свет роман получил высокую оценку критики. Наталья Соколова, автор обширной рецензии на появившуюся в «Новом мире» «Жизнь Бережкова», отмечала жанровую самобытность этого романа с «очерковым привкусом, особым документальным колоритом» и своеобразие его тематики: «У нас много критических заклинаний о радости труда, о романтике созидательной деятельности человека, но много ли произведений, где это выражено хотя бы с той силой, с какой воспето жизнерадостное трудолюбие цехового мастера эпохи Возрождения Кола Брюньона? Оптимистическая, задорная вещь А. Бека, искрящаяся блестками юмора, вся пронизана радостью творческого усилия, трудового напряжения, радостью борьбы, как бы она ни была трудна, борьбы с сопротивлением материала и сопротивлением людей» («Судьба таланта».— «Литературная газета», 1956, 10 июля, № 81, с. 3).

При подготовке к отдельному изданию (М., «Советский писатель», 1957) Бек пересмотрел в ряде случаев принцип членения романа на главы, а также ввел в него отсутствовавшие в журналь-

ной редакции вставные рассказы «Пергамент» и «Картина» (часть вторая) и четыре главы об открытом партийном собрании в АДВИ (часть шестая, главы 4—7).

Роман печатается по последнему прижизненному изданию: М., «Художественная литература», 1969.

Стр. 15. *«...отец русской авиации, как он назван в декрете, подписанном В. И. Лениным».*— Декрет Совета Народных Комиссаров 1920 года об учреждении премии им. Н. Е. Жуковского за лучшие труды по математике и механике, об издании его трудов, а также о ряде льгот для самого ученого.

Стр. 30. *«Тона-Бенге»* — роман Герберта Уэллса.

Стр. 52. *«...кто-то из товарищей прозвал его повелителем мух...»* — Прозвище дано по аналогии с названием романа Гофмана «Повелитель блох».

Стр. 197. *«Роковая минута приближалась...»* — Цитата из неоконченного романа Пушкина «Арап Петра Великого».

Стр. 299. *«Россия, нищая Россия!..»* — Строка из стихотворения А. Блока «Россия».

Стр. 354. *«Война неумолима...»* — цитата из работы В. И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (1917) — см. Полн. собр. соч., т. 34, с. 198.

Стр. 485. *«Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней!..»* — Строка из стихотворения Н. Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море...»).

СОДЕРЖАНИЕ

ТАЛАНТ
(Жизнь Бережкова)

Роман

Бек А.

Б 42 Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 3. Талант (Жизнь Бережкова). Роман. Коммент. Т. Бек. М., «Худож. лит.», 1975.

544 с.

В третий том собрания сочинений Александра Бека вошел роман «Талант» («Жизнь Бережкова»). В нем автор достоверно и увлекательно повествует о судьбе конструктора первого советского авиамотора, передает живо атмосферу творческого созидания, романтику труда и борьбы.

Б $\frac{70302\text{-}209}{028(01)\text{-}75}$ подписное **Р 2**

Александр Альфредович Бек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ III

Редактор
З. Батурина

Художественный редактор
А. Виноградов

Технический редактор
С. Журбицкая

Корректоры М. Муромцева и
И. Филатова.

Сдано в набор 19/IX 1974 г. Подписано в печать 18/IV 1975 г. А02079. Бум. типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 17 печ. л. 28,56 усл. печ. л. 29,634+вкл.=29,684 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 1501. Цена 90 коп.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.

